ТОМАС ЧАРЛЬЗ МОРГАН

ОЧЕРКИ ФИЛОСОФИИ ЖИЗНИ И МОРАЛИ

ПЕРЕВОДЫ С ИЗДАНИЙ
1819 И 1822 ГОДОВ

ECHAFAUD - 2026

В этом издании сочинений британского материалиста Томаса Чарльза Моргана (1783-1843) мы объединили две его важнейшие книги, которые по собственному признанию автора являются двумя частями одной работы. Первая часть – более физиологическая по содержанию, и многие её положения будут снова повторены во второй, более философской и общественно-политической части. Однако, тем кто захочет сразу перейти к «Очеркам философии морали» - я всё-таки советую прочитать **пятую главу** из «Очерков философии жизни», поскольку она напрямую касается влияния мозга на психику, т.е. философской проблематики теории познания. Особенно пристальное внимание стоит обратить на 4, 5 и 6 главы второй книги, где Морган во многом предвосхищает исторический взгляд марксистов и позитивистов, снимая с «права» мистический ореол, и сводя его к балансу сил между группами общества, и выстраивая теорию институционализма, которая отлично работает сама по себе, но при этом постоянно редуцируется к способу существования людей. Конечно, книга полнится расистскими и сексистскими предрассудками того времени, и автор во многом предвосхитил не только позитивизм и марксизм, но также и элементы социал-дарвинизма почти в духе Герберта Спенсера. Но с поправками на эти элементы (которые можно найти во многих других работах физиологов того времени) – книга очень даже качественная и интересная, и тем более достойная изучения и вторичного переоткрытия.

Содержание

Содержание 1

Очерки философии жизни 2

Предварительные замечания 3

Глава I. О характере и причинах органических соединений 14

Глава II. Об организации 32

Глава III. О сочетании органов и функций 51

Глава IV. О законах жизненного действия 102

Глава V. Психические явления 135

Глава VI. Общие замечания о природе болезней, лекарств и т. д. 192

Очерки философии морали 233

Предисловие, содержащее некоторые замечания относительно «Рассуждений о скептицизме» преподобного Т. Реннелла 234

Глава I. Об организации и её отношении к морали 248

Глава II. Свобода и необходимость 281

Глава III. О происхождении и развитии нравственных идей 299

Глава IV. О физических причинах, способствовавших нравственному развитию 326

Глава V. О влиянии общественных институтов на нравственность 375

Глава VI. О правах и обязанностях 406

Заключение 444

Томас Чарльз Морган

Очерки философии жизни

Перевод с издания 1819 года
(оригинал издан годом ранее)

«Всё течет подобно реке» (греч.)

«Нет никакого сомнения в том, что физические потребности зависят непосредственно от организации; но разве нравственные потребности не зависят от нее в той же мере, хотя и менее прямым или менее ощутимым образом?» (фр.)
— **Кабанис**. «Отношение физического и нравственного в человеке»

Предварительные замечания

«Всем людям надлежит постигать врачебное искусство, о Гиппократ, ибо оно в равной мере прекрасно и полезно для жизни... Ибо я полагаю исследование мудрости сестрой и сожительницей медицины» (греч.)

— Письмо Демокрита к Гиппократу о природе человека.

«Познание истины есть высшее благо человеческой природы»

— «Опыты» Бэкона.

Из всех видов усилий, порождаемых потребностями нашего рода, труд мышления, по всей видимости, неизменно почитался самым тягостным; и во все века общество было склонно с готовностью доверять, и осыпать наградами тех, кто вызывался взять на себя бремя диктовать мнения и направлять поступки остальных своих соплеменников. Деспотическое правление, а также правовой, религиозный и медицинский обман — всё это плоды **интеллектуальной лености**. Даже страсть к накоплению богатств, которая, кажется, запечатлена в человеке как инстинкт, и ради которой столь часто приносятся в жертву все прочие интересы, при подобном положении дел уклоняется от своей явной цели, и превращается в бремя, возложенное на плечи многих и ради исключительной выгоды немногих.

В особенности **медицина** была заклеймена как область, наиболее подверженная шарлатанству и обольщению; и крайнее невежество, повсюду господствовавшее в этом вопросе, вполне оправдывает подобное обвинение.[1] В древнейшую эпоху истории эта прибыльная отрасль науки находилась в руках жрецов, которые к притягательности её собственных внутренних тайн добавляли чары еще более непостижимых суеверий. Вотивные приношения, заполнявшие стены их храмов, доказывают, что их успех был, по меньшей мере, равен их невежеству.[2] Когда же эти два поприща разделились, тогда и врачебная практика, по-видимому, была предоставлена низшим слоям общества, и зачастую переходила даже в руки рабов. Поэтому **Гораций** ставит лекарей в один ряд с цыганами и прочими подобными им обманщиками;[3] а **Афиней** сообщает нам, что даже сам **Аристотель** сделался врачом,

[1] «Клянусь Геркулесом, только в этом искусстве случается так, что всякому, объявившему себя врачом, верят на слово, хотя ни в какой другой лжи нет опасности большей» - Плиний, «Естественная история», 29.1.

[2] Среди трудов древних врачей, дошедших до наших дней, лишь сочинения Гиппократа проникнуты подлинно философским духом. Демокрит, который, вероятно, лишился зрения вследствие чрезмерного напряжения глаз (ибо рассказ о том, будто он сам ослепил себя, слишком нелеп, чтобы в него верить), по-видимому, понимал верный метод исследования природы; но его труды, к несчастью, не сохранились. Прочие греческие философы смешивали свои скудные познания в физиологии с собственными причудливыми теориями, а профессиональные медицинские писатели копировали друг друга с досадным раболепием.

[3] Sat. II.

когда потерпел неудачу в занятиях, которые, вероятно, считались более достойными средствами к существованию.[4]

И только начиная с тех пор, как искусство книгопечатания способствовало более равномерному распространению знаний, медицина и хирургия возвысились до уровня подлинной общественной пользы. Ибо подобно тому, как Реформация в религии, приучив народ к дискуссии на нравственные и полемические темы, заставили духовенство умерить высокомерие своих притязаний, обратиться к учености и истинному благочестию, так и распространение естественных наук способствовало искоренению шарлатанства в области медицины. Оно побудило дипломированных врачей расширить свои наблюдения за пределы той суеверной рутины, в которой, словно в магическом кругу, доселе были столь ревностно заточены их способности.

Однако потребность во всеобщем распространении этого рода знаний является еще более насущной. Известная пословица гласит, что к сорока годам каждый становится «***либо глупцом, либо лекарем***»; и впрямь, после сорокалетнего опыта заблуждений в обращении с собственным организмом, лишь совсем ограниченный человек не усвоит через страдания хотя бы несколько правил заботы о себе. Тем не менее, того скудного запаса эмпирических знаний, приобретаемых подобным путем, редко бывает достаточно для достижения желаемой цели. Напротив, они скорее порождают ту долю предубежденности и упрямства, которой как раз хватает, чтобы вводить в заблуждение окружающих, и препятствовать усилиям лечащего врача, чьим наставлениям эти знания противопоставляются.

Живая машина человеческого тела является инструментом, над которым в повседневном течении жизни ставится бесконечное множество опытов, и даже малейший из них способен расстроить его работу. Тем не менее, представители всех слоев общества — как образованные, так и самые невежественные, продолжают дерзко, слепо и самоуверенно подвергать его воздействию всевозможных реагентов. Они злоупотребляют его силами, пребывая в абсолютном неведении относительно скрытых пружин и принципов действия этого механизма. Лечение болезни, когда она уже возникла, редко можно без опаски доверить кому-либо, кроме профессионального врача; однако её предотвращение становится возможным лишь благодаря ясному знанию того, как влияют на нас внешние факторы и в чём заключаются истинные потребности живого организма.

---

[4] «Зная также, что Эпикур, величайший любитель истины, говорил о нем (Аристотеле) в письме о занятиях, что, промотав отцовское наследство, он отправился на военную службу, а потерпев там неудачу, принялся торговать лекарствами» - Athenæi Deipn. VIII. (Афиней, «Пир мудрецов», книга VIII).
Pharmacopola (торговец снадобьями) был аналогом нашего понятия «шарлатан» и, как следует из замечания Марка Катона, был столь же многословен и щедр на обещания: «Итак, вы слушаете их, но не вверяетесь им, словно торгашам снадобьями; ибо слова их слышны, но никто не доверит им себя, если он болен» - Apud Aul. Gell (У Авла Геллия).

Эти соображения, сколь бы весомы они ни были применительно к отдельным лицам, приобретают ещё большее значение, когда речь заходит о целых сообществах и законодательных органах. Нелепые карантинные законы, налоги, косвенно поощряющие фальсификацию предметов первой необходимости, или препятствующие чистоте и вентиляции, а также ложные представления и абсурдные постановления, касающиеся безумия, отравлений и детоубийства, — это лишь некоторые из множества прямых последствий глубочайшего невежества, которое царило и продолжает царить в данной области.

> Ut teipsum serves, non expergisceris? Atqui
> Si noles sanus, curres hydropicus.
> (Чтобы спасти себя, неужели не пробудишься?
> Но если не хочешь бегать, пока здоров, будешь бегать, когда заболеешь водянкой).

Помимо этих насущных, и в некоторой степени очевидных интересов, существуют и иные — более отдалённые, но не менее тесно связанные с распространением физиологических знаний. Потребности человека и средства, которыми он располагает для их удовлетворения, находятся в непосредственной зависимости от его **телесной организации**. Все его общественные связи проистекают из того или иного источника, и являются следствиями, обусловленными законами органической деятельности. Мысли и желания суть лишь видоизменения функций тех органов, которыми они порождаются; а нравственные побуждения, подобно физическим стимулам, черпают свою силу в состоянии той структуры, на которую воздействуют. Эти соображения до настоящего времени слишком часто упускались из виду. Моралисты и законодатели, пребывая в неведении относительно собственного устройства, упорствовали в стремлении рассматривать разум в отрыве от физической организации, довольствуясь лишь созерцанием одной половины предмета своего изучения.

Тем не менее, связь между нравственными рассуждениями и физиологией ощущалась теми мыслителями, которые наиболее успешно развивали философию разума и языка. Аристотель, измыслив для этих изысканий название «метафизика» (после физики), увековечил собственное понимание того пути, который вернее всего ведет к их постижению. Впрочем, не только авторитет великих имен служит подтверждением этого положения. Неоспоримые свидетельства его истинности можно найти в прискорбной деградации метафизики как науки, последовавший за её изъятием из ведения естествоиспытателей, и слиянием со схоластическим богословием. Разнообразные теории, сменявшие друг друга со времён возрождения наук и призванные объяснять феномены разума, а также служить мерилом для оценки нравственных устоев, своим скорым закатом и быстрым забвением представили достаточно доказательств ошибочности тех методов, на которых они основывались. Лишь рассматривая эти предметы как ветви **естественной истории**

человека, можно добиться успеха в их изучении; и стремительное, впечатляющее движение мысли в этом новом направлении, внушает самые радужные надежды на будущие достижения. **Добро** и **зло** — это принципы, постижимые лишь в их отношении к законам органического существования. Порочность в морали, подобно вредоносности в медицине, напрямую связана с нарушением здорового отправления функций — будь то в отдельном индивиде или в целом обществе; принятие же любого иного критерия для оценки поступков - неизбежно ведёт к ложным выводам и к пагубным, разрушительным предрассудкам.[5] Имея этот ключ в качестве путеводной нити, корыстному обману было бы невозможно подменить деятельное благодеяние, и разумные наслаждения трудно было бы подменить абсурдными обрядовыми практиками и вредоносными лишениями; еще менее удалось бы ему ополчить одну половину человечества против другой в ненависти и войне, проповедуя резню и грабеж именем Всевышнего. Как только эта истина раскроется в полной мере, искушение совершить преступление существенно уменьшится — за исключением тех случаев, когда несовершенство общественных институтов может сделать существование одних индивидов несовместимым с существованием других. Подобная несовместимость, становясь повсеместной, неизбежно и неудержимо ведет к распаду социальных связей и к **переустройству общества**. Разумеется, само по себе обладание каноном еще не гарантирует его правильного применения. При любой системе сильные страсти и неистовые желания неизбежно ведут к ложным представлениям о последствиях поступков; однако, если бы критерием нравственных аксиом и законодательных актов было их соответствие физическим потребностям нашей природы, заблуждения в отношении целых классов деяний вряд ли могли бы иметь место; и отдельные случаи ошибочных расчётов стали бы менее частыми, менее масштабными и менее губительными.

Но, не останавливаясь на умозрительных и теоретических воззрениях, следует признать, что практический вред, проистекающий из незнания устройства человеческого организма, неодолимо побуждает к более широкому ознакомлению с **основами физиологии**. Ложные представления о воздействии природных сил ввергают тело в болезнь, а отсутствие верных идей о самой природе недуга лишает пациента всякого разумного взаимопонимания с тем человеком, кому он вверяет исцеление. В этом вопросе господствуют заблуждения самого противоположного свойства. Среди подавляющего большинства почтение к медицине граничит с идолопоклонством. К излюбленным оракулам современности обращаются за советом, и повинуются им с поистине суеверными слепотой и легковерием. С другой стороны, немногие «вольнодумцы» (esprits forts) относятся к врачебному

[5] «То же самое, о чем мы рассуждаем, и есть то, что называют полезным; в этом вопросе общепринятое мнение, сбившись с пути, постепенно дошло до того, что, отделяя честность от пользы, установило, будто может существовать нечто честное, но не полезное, и нечто полезное, но не честное; большего вреда для человеческой жизни и быть не могло» — Цицерон, «Об обязанностях».

искусству с незаслуженным презрением, полагая, что нет «*ничего более забавного в своем притворстве, ничего более нелепого, чем человек, который вознамерился лечить другого*» (Мольер).

Подобное положение дел неизбежно в той области, где не существует никаких положительных знаний. Для низших сословий врач — это **чудотворец, природный маг**, и сами термины его искусства звучат подобно заклинаниям и обрядам экзорцизма; но даже среди людей более образованных, когда их медицинские наставники «*весьма сведущи в изящной словесности и знают греческие названия всех болезней, что же касается их исцеления...*», тогда пациент слепо и безоговорочно полагается на их авторитет.

Однако, несмотря на столь противоположные взгляды на фигуру врачевателя, оба класса придерживаются одинаковых представлений о самом искусстве медицины. И те, и другие смотрят на нозологическую номенклатуру как на перечень **реально существующих, самостоятельных сущностей**, столь же постоянных и определенных в своих свойствах, как лошадь, корова или собака. Подобным же образом они считают лекарства строго соответствующими конкретным болезням; полагая, что одно создано для другого, как гнездо для шипа, и воздействует на него так же, как вода гасит пламя. При таких убеждениях главной целью во время болезни становится *поиск названия* для недуга; считается, что неудача врача объясняется исключительно ошибкой в этом конкретном вопросе. Ибо, если болезнь распознана, тогда, согласно данной гипотезе, не может возникнуть трудностей с применением подходящего средства, которое во всех случаях должно действовать безотказно, причем без какого-либо содействия со стороны самого больного. С этой верой в то, что одноразовый прием некоего чудодейственного снадобья, превозносимого как «*средство от такой-то и такой-то болезни*», избавит от всякой необходимости упорядочивать те воздействия, которым организм подвергается ежедневно, люди забывают или пренебрегают **физическими упражнениями и умеренностью**; и, подобно тому, как привычные грехи, по общему убеждению, искупаются умерщвлением плоти и молитвами в положенные сроки, или эпизодическим подаянием, заносимым на кредит небесного счета, так и здоровье считается вполне совместимым с постоянным и безмерным излишеством — ценой нехитрой уступки в виде временного подчинения врачебным предписаниям, и нескольких фунтов, ежегодно оставляемых в аптечной лавке. Крушение столь непомерных ожиданий, пожалуй, более всего способствовало возникновению того глубокого презрения, с которым многие вдумчивые умы взирают на медицинскую практику. У натур же более слабых, чьи надежды слишком призрачны, чтобы поддаваться доводам рассудка или уступать убеждению, это порождает иную крайность — страсть к охоте за рецептами и готовность поглощать любое предложенное снадобье, даже если оно тошнотворно и отвратительно.

Абсолютная достоверность в медицине — вещь **заведомо невозможная**. Она редко достижима, за исключением тех простых соотношений, что могут быть

выражены в числах. Даже свидетельства чувств во многих случаях требуют поверки иными способами. Каждый человек видит и слышит по-своему, и у каждого есть собственные убеждения, которые могут как соответствовать природе вещей, так и противоречить ей. Согласно прекрасному объяснению Хорна Тука, истина есть то, что каждый человек «полагает» (troweth). И в самом деле, для человеческого существа истина неизбежно сводится лишь к соответствию видимым проявлениям, ибо сокровенная суть вещей (или истина абсолютная и метафизическая) может пребывать лишь с тем Высшим Существом, от которого ничто не сокрыто.

В различных естественных науках, где столь многое остается — и, быть может, вовеки останется — неразгаданным, приближение к достоверности возможно лишь в рамках общих положений. Применение же их к частным случаям почти неизменно сопряжено с непредвиденными обстоятельствами, которые влияют на каждое конкретное явление и придают ему черты своеобразия.

Болезненные явления слагаются отчасти из привычного функционирования органов, а отчасти из расстройств, вызванных случайными внешними воздействиями. При бесконечном повторении подобных сочетаний соотношение сил возмущающих и сил постоянных во многих случаях становится очевидным. На основании этих наблюдений могут быть выведены аксиомы, приложимые с большей или меньшей точностью к каждому частному случаю; однако безусловная истинность может быть приписана им лишь как **среднему результату** множества наблюдений.[6]

Те, кто привык к созерцанию природы, знают, сколь велики трудности, сопутствующие классификации животных и растений, чьи свойства остаются неизменными и отчетливо различимыми из поколения в поколение. Все эти трудности становятся несравненно более обременительными, когда предметом для систематизации выступают феномены болезни. Симптомы, характеризующие недуг, будучи по своей природе по преимуществу случайными, варьируются не только в каждом отдельном случае, но и на каждой стадии одного и того же заболевания. Мимолетные и ускользающие, они возникают, сочетаются в различных степенях и модификациях и вновь затихают по мере развития болезни с тем непостоянством,

[6] «Посреди изменчивых и неведомых причин, которые мы объединяем под понятием случая и которые делают ход событий неопределенным и нерегулярным, по мере их умножения обнаруживается поразительная закономерность, которая, кажется, проистекает из некоего замысла и которую принято считать доказательством существования Провидения, управляющего миром. Однако при размышлении вскоре становится ясно, что эта закономерность есть лишь раскрытие соответствующих возможностей простых событий, которые должны происходить тем чаще, чем они вероятнее. Из предшествующей теоремы можно вывести следствие, которое следует рассматривать как общий закон, а именно: соотношения результатов природных процессов остаются почти неизменными, когда эти результаты рассматриваются в большом количестве. Так, вопреки изменчивости отдельных лет, сумма произведенного за значительное число лет остается практически одинаковой». - **Лаплас, «Опыт философии вероятностей»**.

ключ к которому удается отыскать лишь в редких случаях. Поэтому искусство медицины, хотя и преподается в своих **общих принципах**, на практике всегда имеет дело с **частными случаями**; и успех неизбежно варьируется, будучи зависимым не только от глубины познаний, но и от природного таланта каждого врачевателя.

Другое воззрение, связанное с этим предметом и представляющееся в высшей степени химерическим, заключается в убеждении, будто для всякого недуга в природе заготовлено подобающее средство, если бы только врач обладал проницательностью, достаточной для его открытия. В хирургической практике, если жизненно важному органу нанесено столь тяжкое повреждение, что оно делает его совершенно непригодным для отправления своих функций, неизлечимый характер подобного случая признается незамедлительно. В терапии такие ситуации тоже постоянно встречаются, однако их не рассматривают под тем же углом; любую внутреннюю болезнь почитают по самой её природе вполне излечимой — при условии, что искусство будет доведено до своего высочайшего совершенства. Перемены, которые время от времени происходят в самих феноменах заболеваний, весьма неблагоприятны для подобного предположения. Новые недуги возникают ежедневно, тогда как старые формы болезней исчезают, поскольку общественный прогресс меняет характер привычных воздействий на живые твердые части организма, или же само тело привыкает к тем из них, что воздействуют на него постоянно. Подобным же образом употребление — или злоупотребление — определенными лекарствами порождает случайные сочетания болезней, ранее не известных. Среди всех этих многообразных перемен было бы нелепо воображать, что в сокровищнице природы существуют противодействующие средства, пригодные для каждого отдельного случая и соразмерные любой беде.

Однако вернемся от этого отступления. Практический вред от невежества в вопросах здоровья не ограничивается лишь сферой профессиональной медицины. Роковые ошибки совершаются и в повседневной жизни, когда следствия приписываются ложным причинам; немало личных невзгод проистекает из неверных представлений о характере привычек, которые усваиваются ради сохранения здравия, и поддерживаются ради целительного действия, коим они на деле не обладают. С другой стороны, эти разрушительные привычки сохраняются из-за совершенно необоснованного чувства безопасности, внушенного мнимыми противосредствами, не имеющими никакой действительной силы. Одним словом, если невежество есть бессилие, лишение и страдание, то последствия его нигде не проявляются столь непосредственно и глубоко, как в том, что касается заботы о здоровье, а также превратностей и недугов человеческого тела.

При столь очевидной важности предмета, может показаться странным, что физиология удостаивается столь малого внимания со стороны широкого круга читателей, по сравнению с другими отраслями естествознания. Разгадка этого феномена, вероятнее всего, кроется в трудностях, которыми, как принято считать, окутан данный предмет. В любых исследованиях первые шаги сопряжены с

определенным замешательством. **Разум**, в равной мере не знающий ни границ предмета, ни природы объектов, которыми ему надлежит заняться, отступает перед кажущимся лабиринтом, представшим перед его взором; всё кажется чуждым и непостижимым; факты представляются разрозненными и потому не вызывают интереса; аксиомы принимаются с пассивным согласием, а определения усваиваются медленно и несовершенно. Сами органы чувств действуют не в полную силу, не будучи укреплены практикой, и не направляемы опытом. Эти трудности особенно характерны для наук, чьи основания покоятся на наблюдении за организованной природой. В математических изысканиях существуют идеи, по сути своей элементарные, которые можно изложить отдельно от их следствий; но в творениях мироздания связь фактов столь тесна, а смешение причин и следствий столь повсеместно, что, где бы ни было положено начало, с какой бы стороны ни предпринимались первые попытки подступа к предмету, учащийся обнаруживает себя заброшенным в самую его гущу, и на каждом шагу вынужден ощущать нехватку предварительных сведений. В природе нет ничего строго элементарного, ничего безусловно простого; и лишь путем произвольных абстракций, и принимая многое на веру, создаются искусственные первоосновы и устанавливается некая отправная точка, имеющая лишь видимость начала.[7]

Тот туманный и мрачный лик, который наука обращает к своим последователям, не может не внушать отвращения праздным и не пугать робких; лишь жажда наживы или честолюбие способны заставить человека вступить на поприще, чей путь столь запутан, а вид столь непривлекателен. Гораздо больше людей, не успев еще согреть воображение и почувствовать сердечный отклик, пасуют скорее перед сухими правилами и начатками знаний, нежели перед всеми истинными трудностями, сомнениями или противоречиями самых сложных разделов научного поиска.

Дабы в некоторой степени избежать этого неудобства, следовало бы in limine (с самого начала) избрать иной способ обучения, нежели тот, что принят повсеместно. Излагая первые основы науки для людей, совершенно не знакомых с её задачами и сутью, нужно следовать путем, обратным тому, которым шли первооткрыватели при первоначальном развитии её принципов. Путь открытия пролегает от частного к общему, от единичных экспериментов и наблюдений к афоризмам, применимым к длинным рядам фактов. Каждый шаг здесь совершается в неведении относительно того, что последует за ним, с осторожностью, продиктованной неуверенностью, и в нерешительном ожидании. Лишь по прошествии значительного времени и ценой огромных трудов почва оказывается достаточно расчищена, а взору открывается возвышенность, с которой можно охватить пределы и очертания новооткрытой страны и по достоинству оценить успехи её исследования.

[7] «По моему мнению, в теле нет никакого начала, но всё в равной мере есть начало и всё — конец; ибо в начертанном круге начала не найти» — Гиппократ, «О местах в человеке».

Для тех же, кто следует за первооткрывателями, положение дел существенно иное. Край, который предстоит пересечь, уже разведан, все карты составлены; и представляется не только более быстрым, но и более привлекательным, а возможно, и более научным методом - начать с самого общего и всеобъемлющего обзора территории. Следует спускаться вглубь постепенно: запечатлев основные контуры и взаимное расположение наиболее примечательных черт ландшафта, перейти к изучению более мелких делений и, наконец, подтвердить точность тех самых наблюдений, на основании которых наши предшественники составили предложенные нам карты.

Обладание столь широкими и общими выводами на раннем этапе обучения льстит самолюбию и пробуждает воображение учащегося, что служит поощрением его прилежанию, одновременно пробуждая и удовлетворяя любопытство. Подобный образ действий также облегчает понимание тех связей, которые сама наука поддерживает со всей совокупностью человеческих знаний; он выявляет то «commune quoddam vinculum» (некое общее связующее звено), что соединяет всё сущее в единую систему, и указывает направление, в котором условия существования человеческого рода могут быть улучшены наилучшим образом — а в этом и заключается великий венец и цель всякого научного изыскания. Признано, однако, что краткие и общие очерки, составленные согласно этому методу, мало пригодны для передачи глубоких и основательных сведений. «Царские пути» к знаниям любого рода, пожалуй, лишь способствуют угасанию прилежания и порождают самодовольство; изречение «nil sine magno labore» (ничто не дается без великого труда) применимо к потребностям умственным ничуть не меньше, чем к нуждам физическим. Однако для сообщения того рода сведений, в которых нуждается обычный читатель, не имеющий ни времени, ни склонности к глубоким изысканиям, подобных очерков вполне достаточно; если же истинные достоинства предмета побудят его к более детальному изучению, они сослужат службу полезных первопроходцев и верных путеводителей, ускоряющих путь.

Работая над настоящим трудом, автор стремился по мере возможности очистить его от суждений чисто теоретических, однако исполнить эту задачу оказалось отнюдь не просто. Сложность ограждения себя от пережитков и последствий изначальной предрасположенности к гипотезам, воистину кажется почти непреодолимой. **Теологию** и **медицину** объединяет одно общее обстоятельство: первая обращена к предметам сверхъестественным, совершенно недоступным человеческому пониманию, а вторая охватывает самые сокровенные и сложные явления природы. Таким образом, обе они открывают широкий простор для воображения и того «nimis magnum studium multamque operam in res obscuras»,[8] что в итоге приводит к ложной и обманчивой изощренности ума. Вследствие этого ученость подменяет собой подлинное знание, слова ошибочно принимаются за

[8] «Чрезмерного усердия и великого труда, затрачиваемых на вещи темные», - Цицерон, «Об обязанностях».

идеи, а на исследователя ложится тягостное бремя необходимости постоянно проверять и перепроверять исходные посылки, «ne incognita pro cognitis habeamus, hisque temerè assentiamus» («дабы не принимать неведомое за познанное и не соглашаться с ним опрометчиво»). Крайне трудно освободиться от влияния терминов, связанных с устаревшими теориями, и от идей, представляющих собой разрозненные обломки потерпевших крах гипотез. Существуют понятия, настолько укоренившиеся в человеческом сознании, что они проникают в обыденную речь народов; подчас сама **структура языка** способна ввести в заблуждение даже самых точных мыслителей. Об этом свидетельствует частое употребление таких слов, как «жизнь», «жизненные силы», «чувствительность» и им подобных, необходимых для обозначения первопричин органических явлений, исподволь внушает уму некую полу-уверенность в том, что за ними стоят реальные сущности, с которыми он якобы доподлинно знаком. Подобные выражения — например, «вибрации», «животные духи», «sensorium commune» — будучи обломками опровергнутых систем, сами просятся на язык, и по сей день сохраняют известную власть над рассудком. Признание нашего абсолютного невежества касательно причин жизненных движений и сокровенной природы всех органических явлений - есть лучшая защита от подобной склонности к самообману; и эта мысль должна как можно чаще занимать наше воображение. Именно к этой области исследований наиболее применим афоризм поэта: Sapientia prima est, stultitia caruisse («Первая мудрость — в том, чтобы избавиться от глупости»).

Трудность, не менее обременительная, порождается стремлением, прямо противоположным страсти к теоретизированию. Философы, подобно остальным представителям рода человеческого, получив новый импульс, — пусть поначалу и с колебанием или даже неохотой, — в конечном счете слепо и безропотно влекутся в заданном направлении. После почти двухтысячелетнего застоя **философия Бэкона** даровала человеческому духу внезапный простор; едва преодолев застарелую приверженность теоретическому методу, она в итоге привела к порочной и чрезмерной уверенности в выводах, основанных на опыте.[9]

В трудах современных физиологов отчетливо прослеживается стремление отвергать любые общие рассуждения, и сводить науку к беспорядочному и несвязному нагромождению из противоречивых наблюдений. Среди почти бесконечного числа экспериментаторов лишь немногие обнаруживают талант к точному и верному построению умозаключений. Каждый исследователь собирает плоды собственных трудов в отдельную группу и, пренебрегая опытом своих предшественников или опровергая его, поспешно приходит к собственным выводам. Каждая система физиологии отличается от предыдущей; каждый врач предлагает новый метод лечения. Средства самого противоположного свойства применяются в схожих обстоятельствах разными практиками, и всегда — «e sempre

[9] «Когда опыт проведен, лучшее, что можно сделать — это долгое время сомневаться в том, что видел и что совершил» - Вольтер. «О странностях природы».

bene» (с неизменным успехом). Разрешение столь горячо оспариваемых вопросов и установление для разума и опыта тех пределов, в которых они могли бы наилучшим образом способствовать приумножению подлинного знания — задачи слишком тонкие для тех скромных способностей, на которые притязает автор этих страниц. Сцилла и Харибда разверзли свои пасти на его пути, и он, по всей вероятности, не раз был поглощен обоими водоворотами.

История **строения и функций животных**, равно как и описание их болезненных и отклоняющихся от нормы проявлений, составляет существенную отрасль естественной истории и находится в тесной связи с ней. В физиологических рассуждениях также находят постоянное применение доктрины **химии**. Посему некоторое знакомство с этими науками является необходимым предварительным условием для исследования органического бытия. К счастью, сведения такого рода получают более широкое распространение, и всё чаще признаются неотъемлемой частью **классического образования**; недвусмысленным свидетельством этому факту служит постепенное проникновение физических образов в поэтические и ораторские произведения. Элементарные труды по химии и естественной истории ныне входят в состав каждой библиотеки; энциклопедии же множатся во всевозможных видах, и приспособлены ко всякому кошельку. Эти обстоятельства избавляют от необходимости излагать многие предварительные подробности, которые, хотя и выходят за рамки настоящего труда, в противном случае были бы необходимы для его пояснения.

Физиология, в самом строгом значении сего слова, охватывает обширнейшее поле, и включает в себя необозримое разнообразие предметов. Отдельные её части могли бы составить занятие на всю долгую и исполненную трудов жизнь. В труде, подобном настоящему, подробности не могут быть изложены сверх того, что абсолютно необходимо для общего очерка предмета. В данной работе предпринимается попытка представить скорее **философию физиологии**, нежели саму физиологическую науку во всей её полноте; и автор, не дерзая вести своего читателя сквозь чертоги храма природы, сочтет себя удовлетворенным, если ему удастся оставить его у самого порога — подготовленным к тому, чтобы вопрошать богиню, и способным постигать её веления.

Глава I. О характере и причинах органических соединений

«То, что мы называем разрушением в природе, есть не что иное, как превращение больших масс в меньшие и разделение субстанций, которые покидают одно сложное соединение, дабы образовать другие, новые, и предстать в ином обличье».
- «Флегрейские поля» аббата Феррары. Разд. 5.

Первые попытки исследования феноменов жизни предпринимались с единственной целью — излечивать болезни; и ранние изыскания в области строения организмов не простирались далее анатомии человека и одного-двух животных, наиболее близких к нему по строению.[10] Более широкие и всеобъемлющие идеи, почерпнутые из созерцания всего ряда органических существ, стали завоеванием нынешнего века. Благотворное влияние этого расширения физиологических изысканий не ограничивается лишь физической историей человека; эта наука вступила в более частое и тесное соприкосновение с другими областями исследований, сделавшись тем общим средоточием, из которого **моралист** и **метафизик** могут извлекать понятия более прочные и способствующие человеческому счастью, нежели те, что были выработаны их трудами прежде.

Рассматриваемая в обособленности, нравственная и физическая история человека представляет собой неразрешимый лабиринт. Его многообразные и сложные функции не поддаются анализу, а начало и конец его бытия в равной степени лежат за пределами всех определений или догадок. Но когда он рассматривается в связи с другими видами, коим он родственен, когда его видят как звено в великой цепи бытия, он перестает быть аномалией в мироздании; и если главная пружина его движений скрыта в том же мраке, что окутывает первопричины всех природных явлений, они всё же остаются подчинены закону, не имеющему ни частного, ни ограниченного применения.

Все разнообразные вещества в природе, наделены определенными силами, посредством которых они оказывают друг на друга взаимное действие; они связаны в единое целое, в котором ничто не является строго и абсолютно независимым. **Неорганические** вещества оказывают друг на друга **механическое** воздействие, посредством которого изменяется их взаимное положение в пространстве, и составляющие их части равным образом подвергаются подобным переменам. Кроме

[10] Анатомия человека не практиковалась еще долгое время после того, как были сделаны первые наблюдения над домашними четвероногими. Гиппократ упоминает как предмет гордости тот факт, что ему довелось осмотреть человеческий скелет: «То, что мы узнали из костей человека. О природе костей».

того, они воздействуют друг на друга **химически**, порождая в результате взаимных соединений и распадов новые виды материи.

Органические тела, помимо этих механических и химических воздействий, подвластны также причинам, которые, не меняя их видимого строения и устройства, производят в них глубокие и сокровенные преобразования. Вследствие этого изменяется самый характер их жизнедеятельности, и они становятся восприимчивы к впечатлениям, отличным от тех, что проистекают из их изначальной природы. Таковы перемены, вносимые культивацией в свойства растений; таковы и те различия, которые климат и воспитание налагают на животные виды.

Различие между органическими и неорганическими телами, вполне очевидное в крайних своих проявлениях, отнюдь не столь ясно в тех случаях, когда эти два класса сближаются. Это замечание применимо вообще ко всем **искусственным разграничениям**, измышленным человеком для классификации творений природы. Каждый вид тесно связан с теми, что наиболее ему уподоблены, и резкие разрывы в непрерывной цепи существ представляются нам заведомо невозможными. Элементарные материалы,[11] из которых слагаются органические виды, не наделены какой-либо особенной природой; они в равной степени входят в состав как органических, так и неорганических соединений.[12] Различие между этими классами носит сугубо формальный характер; у низших видов живых существ формы настолько просты, а жизненные отправления столь ограничены, что едва ли возможно провести между ними четкую демаркационную линию. Исходя из этих соображений, представляется весьма вероятным, что не существует достаточных оснований для теории, приписывающей движения органических видов причине, отличной от общих законов материи, и рассматривающей феномены жизни как явления какого-то иного порядка, чем, что свойственны неодушевленному существованию.

Однако, какова бы ни была теория, остается непреложным факт: образование органических соединений является результатом более тонкой игры **химического**

---

[11] В современной философии термин «элемент» применяется к тем телам, которые устояли перед всеми попытками химического анализа. Число веществ, признаваемых элементарными, подвержено постоянным изменениям: ибо сей эпитет относится к нашим собственным возможностям воздействия, а не к качествам, имманентно присущим предмету; он становится применимым или нет в зависимости от того, как на исследуемый вид влияют успехи химических изысканий.
Анализ щелочей, осуществленный сэром Г. Дэви, исключил эти тела из класса элементов и обнаружил в их основаниях иные вещества, которые должны быть добавлены в список. Следовательно, термин «элемент» не должен восприниматься как некое положительное утверждение касательно сокровенной природы тела, к которому он прилагается. Он означает не «неразложимый», а «неразложенный». В этом отношении он отличается от «элемента» древних, наделявшегося гипотетическими свойствами, что послужило благодатной почвой для множества философских заблуждений.

[12] Теория органических частиц Бюффона давно и заслуженно предана забвению; ее влияние едва ли распространялось за пределы круга идей самого автора.

сродства, нежели та, что порождает неорганизованные виды. Их существование поддерживается совершением определенных внутренних движений, которые видоизменяют обычные стремления составляющих их элементов. Между характером любого организованного соединения, а также размахом и скоростью этих движений, существует фиксированное и необходимое соотношение. В силу этого сложность и тонкость строения элементов становятся мерилом силы и широты того жизненного действия, которым поддерживается данное строение. Движения растительного царства, состав которого прост, менее сложны и обширны, чем движения животных; растения допускают более длительную и полную приостановку этих движений без вреда для отдельной особи.

Для совершения жизненных движений те части, в которых они происходят, наделены определенным, присущим каждой из них строением. Эти различные устройства называются органами; а движения, которые они совершают, технически именуются их функциями. Так, пищеварение является функцией желудка, а секреция желчи — функцией печени. **Совокупность всех функций, которые способен выполнять отдельный организм, составляет его ЖИЗНЬ**.

Как только составные элементы неорганических соединений приходят в соприкосновение при обстоятельствах, благоприятствующих проявлению их химического сродства, их соединение происходит немедленно; новообразованное же вещество, способное к неопределенно долгому существованию, может быть разрушено лишь воздействием внешних сил. Составляющие его частицы пребывают в состоянии относительного покоя, и не оказывают друг на друга никакого взаимного влияния, за исключением того, что именуется силой сцепления.

Поскольку неорганические тела таким образом оказываются независимы от каких-либо функций, они освобождены от необходимости иметь строго определенное внутреннее устройство.[13] Их размер зависит исключительно от количества частиц, вовлеченных в сферу взаимного действия. Величина их может увеличиваться путем приращения или уменьшаться вследствие истирания; если же такое тело будет разбито силой, его фрагменты сохранят все свойства исходной массы, становясь отдельными и независимыми единицами. Следовательно, неорганическое тело может пребывать в твердом, жидком или газообразном состоянии, в зависимости от воздействия на него **теплорода**; оно свободно переходит из одного состояния в другое без неизбежного разрушения своего внутреннего устройства. Но в органических существах даже незначительного

[13] Кристаллизация, которую многие считают аналогичной органическому строению, отличается от него почти в каждой детали. Она является лишь случайным свойством и отнюдь не обязательна для неорганических веществ. Вероятно, однако, что мельчайшие частицы любой материи могут иметь определенную форму, зависящую от формы **элементарных атомов**. С этой мнимой аналогией связано мнение, будто минералы «растут»; это представление, хотя его и разделял Линней, основано на явном злоупотреблении терминами. Неорганические тела увеличиваются лишь путем поверхностного наслоения новой материи.

изменения формы бывает достаточно, чтобы приостановить жизнедеятельность и разрушить целостность структуры.

Поскольку органические соединения являются результатом чего-то большего, нежели простое химическое сродство (а именно — сродства, видоизмененного функцией), существование каждой частицы зависит от содействия всей массы в целом. Таким образом, каждому атому предписаны его собственная особая форма и строение, благодаря которым он оказывается приспособлен к исполнению своей роли в общей экономии организма. Число органов, их форма и соразмерное развитие каждого из них приведены в строжайшую гармонию, и весь индивид в многообразии и слаженности своих частей подобен **искусно созданному механизму**. Изучение лишь одной детали, не подкрепленное предшествующим знанием, не позволит составить адекватного представления о целостной организации, такое знание будет не более полным, чем суждение об архитектуре и внутреннем устройстве храма или крепости по единственному кирпичу.[14] Так, дробление мраморной глыбы дает лишь малые фрагменты того же карбоната извести, из которого состояло целое; в то время как препарирование животного или растения обнаруживает множество различных органов: мышцы, нервы и кости, либо древесину, листья и цветы.

Следовательно, в случае органических и неорганических тел, аналитический труд имеет разное завершение. Первоосновы органического строения следует искать в простейших структурах, посредством которых осуществляется жизненная функция. За этим пределом разложение обнаруживает лишь неорганические элементы; ибо оно не может быть продолжено без разрушения каждого свойства, определяющего органический характер. Там, где заканчивается препарирование, начинается химический анализ.

Физические свойства элементов, несмотря на то что они подчинены и изменены в органических соединениях, всё же сохраняются во всей своей силе и полноте. В некоторых случаях они даже содействуют в порождении жизненных явлений; подобно тому, как эластичность кровеносных сосудов способствует поддержанию кровообращения. Всякий раз, когда по какой-либо причине функциональные движения теряют былую мощь, те физические силы, что прежде были подавлены и пребывали в состоянии бездействия, вновь обретают свое влияние. Они стремятся разрушить органические соединения, заменив их иными, более соответствующими внутренним свойствам самих элементов. Общеизвестный пример действия этого закона — отеки, возникающие к вечеру в ногах у истощенных больных. В данном случае силы функционального отправления недостаточно для преодоления сопротивления, которое тяжесть жидкостей оказывает их возвращению к сердцу;

[14] Эти простые факты на характерном для него таинственном языке **Кант** сводит к следующему общему положению: «Основание способа существования каждой части организованного существа заключается в целом; в то время как в неорганической материи основание существования каждой части следует искать в ней самой».

как результат, они скапливаются в наиболее низко расположенных частях тела. Во время лихорадок, сопровождаемых изнеможением, когда жизненные процессы расстроены, избирательное сродство элементарной материи частично берет верх над функциональными силами. Это знаменует собой шаг к дезорганизации, что проявляется в гнилостном характере всех телесных жидкостей. Таким образом, во всяком живом соединении таится неизменное стремление к распаду, которое, при прекращении функций, влечет за собой гибель организма. Это происходит со скоростью, пропорциональной разрыву между органическими и физическими соединениями его составляющих элементов.[15]

Вновь обретенное влияние физических сил на материю, некогда обладавшую жизнью, составляет суть различных видов **брожения**. Все вещества, способные подвергаться этому процессу, прежде были порождены действием жизненных сил.[16]

Происхождение жизненной функции окутано неразрешимой тайной. Поскольку существование организованной материи зависит от функции, а функция, в свою очередь, требует организованного строения, то они образуют своего рода круг, в котором невозможно отыскать ни начала, ни конца. Древнейшие философы полагали, что в начале времен пластическая сила природы (в её первозданной свежести) была достаточна для создания органических соединений путем прямого воздействия стихий; считалось, что остаток этой созидательной мощи сохраняется в так называемом самопроизвольном зарождении личинок и других насекомых.[17]

Эксперименты **Реди**, итальянского философа, продемонстрировав ложность этого примера, подорвали доверие и к самому умозаключению в целом. Однако, поскольку существование любого материального сочетания подразумевает наличие достаточных для того причин, то всё же представляется разумным относить возникновение живых видов к иному физическому состоянию природы, отличному от того, которое она являет нам ныне. Весьма любопытным совпадением, на первый взгляд имеющим прямое отношение к данному вопросу, кажется тот факт, что почти у всех народов сохранились предания о некоем состоянии земного шара, более благоприятном для его порождений, нежели нынешнее. Однако это поразительное единодушие, пожалуй, правильнее будет объяснить попытками осмыслить происхождение зла, чем результатом сохранившихся воспоминаний. Повседневный опыт всё настойчивее доказывает, что первые попытки разгадать эту непостижимую тайну у всех народов были одинаковы; повсюду они вели к более или менее явному

---

[15] Кости, содержащие значительную долю минерального вещества и сохраняющиеся в значительной степени благодаря химическому сродству, гораздо долговечнее после смерти, нежели мягкие ткани животных.

[16] Самопроизвольное разложение животной материи в просторечии именуется гниением; в строгой же терминологии химии оно называется гнилостным брожением.

[17] «Или земля, лишь недавно от верхнего неба отделяясь, / Семя хранила еще небесного сродного края...» (Овидий. «Метаморфозы», кн. I, 80). И далее:
«Прочих животных земля породила в различных обличьях / Самопроизвольно тогда...» (Там же, 415).

манихейству — т.е. к системе, в которой благой дух, как предполагается, создал мир совершенным, тогда как некое завистливое и злое начало вмешалось в этот процесс, чтобы осквернить и пресечь благодетельные намерения своего противника.[18] Более достоверные доказательства физических перемен могут быть почерпнуты из общего облика Земли и **ископаемых останков животных, ныне более не встречающихся на её поверхности в живом виде**. Следует полагать, что связи этих существ с природой были столь глубоко нарушены неким переворотом, который претерпел земной шар, что их дальнейшее существование стало невозможным.

Вопрос о том, возможно ли в нынешнем порядке вещей **самопроизвольное зарождение** (generatio aequivoca) или спонтанное соединение элементов в органические формы, остается весьма сомнительным. Насколько позволяют судить прямые наблюдения, живые организмы неизменно ведут свое начало от зародышей, возникших в недрах других, подобных им и ранее существовавших особей. Однако существует множество видов, о происхождении которых ничего доподлинно не известно: либо их чрезвычайная малость, либо условия, в которых они развиваются, исключают возможность опытного исследования. Микроскопические инфузории, растения, окрашивающие стоячую воду, поросль, именуемая плесенью, гидатиды[19] и иные мельчайшие существа, развиваясь в болезненно измененных структурах или в жидкостях, являющихся продуктами человеческой деятельности, возникают в таких условиях, при которых предполагаемое присутствие зародышей сопряжено с многочисленными трудностями.[20] Максима omne animal ab ovo (все живое — из яйца), несомненно, основывается на весьма широкой аналогии; однако корни её, возможно, лежат ещё глубже — в иных доктринах, обретших непоколебимость под влиянием интересов и страстей. Между этими мнениями нет обязательной связи; но даже если бы она и существовала, воображаемые последствия того или иного

---

[18] «Ибо если ничто не может возникнуть без причины, а добро не может быть причиною зла, то природа должна иметь в себе отдельный источник и начало как для добра, так и для зла» - Плутарх. Об Исиде и Осирисе.
«Мир приводится в движение не одной душой, но, вероятно, многими, во всяком случае — не менее чем двумя: одна из них творит добро, другая же ей противостоит и является творцом противоположного». - Там же.

[19] Гидатиды — это мелкие животные пузыревидной формы, причисленные Кювье к ленточным червям. Они зарождаются в самой толще различных внутренних органов человека и высших животных. Их часто находят в головном мозге овец; в подобных случаях они вызывают вертиго, за которым вскоре следует смерть. Если эти и подобные им паразитические животные являются продуктом зародышей, проглоченных с пищей и разнесенных по организму током жидкостей, то они должны быть либо способны к самостоятельному существованию, либо появлению их зародышей в порядке сотворения мира должны были предшествовать зародыши тех животных, внутри которых им было суждено развиваться.

[20] «Можно лишь заметить, что те, кто настаивает на невозможности зарождения без семени, должны одновременно признать, что зародыши всех мыслимых видов рассеяны в природе повсеместно, ожидая подходящих обстоятельств для своего развития; а это, в сущности, есть лишь иной способ сказать, что любые части материи способны принимать любые формы организации» — Кабанис. «Отношение физического и нравственного», т. 2, стр. 241.

убеждения — это слабейшие из аргументов, которые можно противопоставить его вероятности. Следовательно, при нынешнем состоянии знаний этот вопрос нельзя считать окончательно закрытым.

Но если оставить в стороне эти случаи кажущихся исключений, то подавляющее большинство видов животных и растений обретают свою функциональную силу и получают начальную организацию от жизненной энергии родительской особи. Семена, яйца и зародыши даже на самых ранних стадиях, доступных для изучения, уже являются живыми. Процесс функций, призванный завершить их внутреннее строение, уже запущен, и, наблюдая за ним, невозможно обнаружить ничего, кроме непрерывности действия, передающегося от родителя к потомству с самого начала нынешнего миропорядка. Именно в этом факте кроется разительное отличие между неорганическими и органическими соединениями. В то время как образование веществ первого класса меняется при малейшем колебании в сочетании их элементов, а их разновидности переходят друг в друга через почти незаметные оттенки, виды организованных существ **строго ограничены** числом уже существующих родительских родов. Они отделены друг от друга существенными различиями — постоянными и неизменными на протяжении бесконечной смены поколений. Это своеобразное состояние органического бытия есть прямое следствие мощного стремления составляющих его элементов к образованию определенных бинарных неорганических соединений, предпочтительно перед теми тернарными и кватернарными соединениями,[21] составляющих животную и растительную материю. Это стремление, на преодоление которого направлено всё воздействие **жизненной силы**. И та же самая причина обусловливает краткость существования, и вызывает распад органических соединений.

Силы, определяющие образование неорганического соединения, одновременно достаточны для его сохранения и неизменности; срок же его бытия ограничен лишь вмешательством новых элементов. **Кусок мела**, будучи огражден от всякого внешнего влияния, сохранял бы свою природу неизменной ad infinitum (до бесконечности). Однако если привести в соприкосновение с ним иное вещество, способное воздействовать на его составные части (известь и угольную кислоту) — скажем, серную кислоту, — произойдет переустройство; самобытность мела будет уничтожена, и в результате соединения серной кислоты с известью возникнет новое вещество (**парижский гипс**). Угольная же кислота при этом высвободится и, покинув сферу химического взаимодействия, обретет индивидуальное существование. Органическое соединение, напротив, поддерживается непрерывностью жизненных процессов, и склонно к прекращению под воздействием любой причины, способной

[21] Растительная материя по большей части представляет собой тройное соединение водорода, кислорода и углерода. В животных веществах также в большей или меньшей степени присутствует четвертый элемент — азот. Иногда в этих соединениях встречаются и другие вещества, такие как сера, фосфор и т. д.; однако их роль локальна и, возможно, в некоторых случаях даже случайна. Поэтому в общих рассуждениях ими можно до определенной степени пренебречь.

приостановить эти функции. Продолжительность существования индивида (если оставить в стороне всякого рода случайности) соразмерна износу машины и долговечности её внутреннего механизма. Таким образом, каждому виду свойственна определенная средняя продолжительность жизни, неизбежно вытекающая из его особого строения; и смена поколений протекает столь же закономерно, как и движение планет, которыми измеряется их длительность.

Точная природа тех импульсов, которые жизненные функции сообщают подвластным им элементам, остается совершенно неведомой. В самом общем виде их можно рассматривать как двойной ряд движений: (**1**) первое обеспечивает притяжение внешней материи в субстанцию индивида, и превращение её в вещество, аналогичное по своей природе самому притягивающему телу; (**2**) второе же осуществляет отторжение тех частей его собственного вещества, которые, завершив свой краткий цикл в жизненной экономии, более не отвечают своему месту и назначению.

Необходимость притяжения новой материи в сферу органического действия носит двоякий характер. Во-первых, под воздействием определенной силы элементы принудительно вовлекаются в соединения, которые можно счесть **неестественными**; при продолжении этого воздействия они стремительно минуют ту грань, за которой их свойства еще соответствуют жизненным функциям, и, таким образом, становятся бесполезными для внутренней экономии организма. Во-вторых, само отправление функций сопровождается убылью вещества, что истощает телесную основу.

Необходимость выведения отработанной материи обусловлена равно как химическими расстройствами, которые может вызвать её присутствие, так и механическими препятствиями, которые она может чинить движениям остального механизма. Достижению этих двух целей более или менее непосредственно подчинена вся организация существа; всё в ней настолько гармонично, что каждый вид поставлен в строго определенное отношение к окружающей природе, обеспечивающее выполнение поставленной задачи.

Из этого краткого обзора отличительных черт органической и неорганической материи становится очевидным, что зарождение путем рождения, прекращение жизни смертью, органическое строение и внутренние движения - суть следствия, с необходимостью вытекающие из физических свойств элементов, из которых состоят животные и растения. Те химические соединения, кои мы именуем плотью, древесиной и тому подобным, не могли бы существовать in rerum natura (в природе вещей) иначе как посредством воздействия жизненной силы; равным образом и функции, что исполняют существующие чувствующие и раздражимые существа, не могли бы осуществляться, не будь эти существа составлены именно из тех материалов, и не обладай они тем самым строением, которые мы наблюдаем в действительности.

Процессы ассимиляции и выделения, невзирая на разительные отличия в их целях, осуществляются при помочи чрезвычайно схожих механизмов. Ассимиляция по большей части совершается живой энергией плотных частей организма, воздействующей на вещества либо жидкие, либо приведенные в жидкое состояние этой самой энергией. Для этой цели органическое строение является по преимуществу сосудистым, то есть состоящим из трубок, в которых содержатся переработанные жидкости. Системы этих сосудов становятся тем сложнее, чем многочисленнее и обширнее органические функции. Рассматриваемые в своей совокупности, они берут начало от определенных поверхностей, способных вступать в контакт со специфической пищей, которой питается особь, и обладающих способностью растворять её и превращать в жидкость. Заканчиваются же они во всех частях тела особи открытыми отверстиями, обладая силой преобразовывать каждую из жидкостей в специфическую материю того внутреннего органа, в котором эти сосуды расположены.

Выделение равным образом осуществляется сосудами, которые начинаются открытыми отверстиями в каждой точке плоти и на поверхности различных органов. Окончания этих сосудов существенно разнятся в различных системах организации. У высших классов животных, на примере которых их функции прослеживаются лучше всего, они сливаются в общий ствол, возвращающий свое содержимое обратно в кровеносную систему; окончательное же удаление отработанного вещества осуществляется особыми органами, называемыми железами, специально предназначенными для этой цели. Сокровенная природа превращений, посредством которых совершаются эти процессы, окутана глубочайшей тайной. В конечных разветвлениях сосудов различных органов не обнаруживается никаких видимых различий в строении, которые могли бы объяснить причины, по которым в одном месте откладывается костная ткань, в другом — мышечная, в третьем — нервное вещество и так далее. Физиологи приписывают всё это модификациям, вызванным жизненным действием; оно же, в свою очередь, должно зависеть от структурных различий, слишком тонких, чтобы их могли уловить чувства человека.

Таким образом, наиболее простое и общее представление об **организации** — это совокупность трубок, начинающихся на ассимилирующей поверхности и заканчивающихся бесчисленным множеством отверстий, способных создавать материю, аналогичную материи тех органов, которые они снабжают; а также вторая серия трубок, начинающихся во всех частях органического существа отверстиями, наделенными способностью разъедать и растворять различные его составляющие; и оканчивающихся в некоей системе, через которую выводится это разрушенное вещество. Данная общая концепция требует множества важных уточнений и расширений, чтобы её можно было применить к частному случаю каждой отдельной организации; эти модификации могут рассматриваться лишь последовательно и не являются принципиально важными для текущего исследования.

Далеко не все субстанции одинаково пригодны для процесса ассимиляции. Каждому виду животных и растений требуется пища, которая в силу своего особого строения становится сходной с ним по составу. Необходимым условием является наличие в пище одного или нескольких из четырех элементов: **углерода**, **водорода**, **кислорода** и **азота**, взаимодействие которых порождает животные и растительные формы. Таким образом, земли и металлы совершенно неспособны к превращению в органическую материю.

Пища редко — если вообще когда-либо — бывает настолько тождественна составу питаемого ею вида, чтобы быть пригодной для немедленного включения в ткани. Напротив, требуются определенные промежуточные процессы, посредством которых её исходное соединение распадается, а элементы перегруппировываются в ином порядке. В простейших формах организации, и особенно в растительном царстве, число этих процессов невелико; однако по мере того, как элементарный состав усложняется, они становятся более многочисленными и разнообразными: у человека и высших животных они включают в себя пищеварение, кроветворение, кровообращение, дыхание и питание.

Чтобы вещество могло подвергнуться этим преобразованиям, оно должно не только содержать в себе элементы органической материи, но и удерживать их в таких соединениях, чье химическое сродство было бы менее прочным, нежели пищеварительная сила того существа, которому надлежит их усвоить. Растения в значительной степени способны черпать средства к существованию из определенных неорганических веществ; животные же могут поддерживать жизнь лишь той пищей, которая уже была организована. Некоторые виды требуют даже высшей степени организации материи, нуждаясь в том, что ранее служило плотью других животных. Из этого следует, что великая цепь творений существует не в абсолютной, а в относительной гармонии; существование и благоденствие одних индивидуумов, таким образом, оказывается несовместимым с жизнью других. И вся жестокость подобного устройства, которую настолько трудно объяснить в рамках любого миропорядка,[22] на самом деле есть следствие — подобно всем прочим случайным свойствам организации — **химических свойств** определенных веществ, и их отношения к *жизненным силам*, к восприятию которых предрасположены те или иные одушевленные структуры. Это физическая необходимость, неразрывно связанная с наиболее общими законами материи; она составляет неизбежную часть того миропорядка, который мы именуем природой.

Поскольку функции ассимиляции и выделения служат дополнением к химическому сродству, они преобладают в различных органических структурах соразмерно утонченности их первичного строения. Плоть краснокровных животных

[22] Очевидно, однако, что утрачивается не более того, что приобретается, и то, что является злом для страждущего, есть несомненное благо для причиняющего страдание. И всё же каждое чувствующее существо само по себе представляет некое целое и вправе клеймить как зло любое устройство, враждебное его собственному благополучию.

являет собой наиболее совершенный продукт органического развития; при этом и мощь их жизненной силы достигает своего апогея. Спускаясь по «**лестнице существ**» к простейшим растительным формам, мы замечаем, что всякое изменение в способности к чувствованию сопровождается соответственным преобразованием структуры, которая всё более приближается к чисто химическим сочетаниям тех же элементов. На низшей ступени этой лестницы проявления жизненной силы столь ничтожны, что их скорее допускают по аналогии, нежели удостоверяют органами чувств.

Между силами ассимиляции (усвоения) и элиминации (выделения) неизменно сохраняется определенное соотношение, и лишь оно одно совместимо со здоровым существованием. Это соотношение, однако, существенно меняется на разных этапах жизни. В юности силы усвоения преобладают; сфера их деятельности выходит за пределы текущих размеров тела, которое под их мощным импульсом расширяется во всех направлениях. В зрелом возрасте процессы ассимиляции и элиминации приходят к относительному равновесию, однако баланс все еще склоняется в пользу первых; это подтверждается развитием тела вширь, массивностью костяка и полнотой, свойственными этому периоду. В старости же силы элиминации берут верх, о чем свидетельствуют сморщенная кожа и истонченные мускулы того самого «худого Панталоне в туфлях»:

> Берег он панталоны прежних лет,
> Что широки теперь для ног усохших.

Внутренние органы подвержены этому закону не меньше, чем остальные части тела; даже кости уменьшаются в объеме, да и сам мозг с годами сжимается — несомненно, этому обстоятельству следует приписать ослабление мыслительных способностей и забвение прошлого, традиционные и неприглядные спутники для сенильности и дряхлости.[23]

---

[23] Стоики, рассуждая о старости, впали в то же заблуждение, которое портит их дискуссии о зле в целом: они отрицали, что она является бедствием. По отношению к природе в её совокупности ничто не может быть злом, ибо сама по себе она — «целостна, гладка и совершенна» (totus teres atque rotundus) и неуязвима для вреда. В этом смысле «ничто не может казаться злом, коль скоро оно сообразно природе». Но человек, будучи сочетанием бренным и подверженным внешним влияниям, оказывается во многих обстоятельствах, неблагоприятных для его долговечности и, по отношению к нему самому, безусловно пагубных. В эту категорию заслуженно попадает и старость; она, как правило, есть болезнь, и всегда — лишение и немощь; а посему она есть malum in se (зло само по себе). Однако, хотя стоики и заблуждались в выборе выражений, ими нельзя не восхищаться за их возвышенные взгляды на человеческую природу и за их стойкость в борьбе с превратностями и несчастьями человечества. Тщетность сетований на бег времени должна заставить замолчать человека разумного; нечестивость же их должна внушать трепет верующему; «ибо что иное есть битва с богами на манер гигантов, как не противление самой природе?» (quid enim est aliud gigantum modo bellare cum diis nisi naturæ repugnare). Но прежде всего, постепенное изменение чувств, сопровождающее закат жизни, подготавливает разум к расставанию с даром, который более не приносит пользы его владельцу — если только

Интенсивность ассимилирующих и выделительных сил может быть в некоторой степени измерена быстротой протекания их процессов. Органические движения наиболее стремительны в самые ранние периоды существования; они замедляются по мере течения жизни, причем в такой степени, которая менее чем пропорциональна арифметическому увеличению возраста. Внезапный расцвет вегетации, знаменующий весну, служит примером этого закона; ибо листья и цветы многолетних растений суть новые индивидуумы, обладающие независимой жизнью, и во всех отношениях они строго аналогичны целому растению различных однолетних видов.

Органическое существование поддерживается путем последовательного отложения новых элементов и удаления исходной субстанции, вследствие чего **материальное тождество индивида** по прошествии определенного времени должно быть полностью утрачено. Существовали различные мнения относительно точного периода, необходимого для совершения этого превращения в человеческом теле; при составлении подобных расчетов принимались во внимание самые разные данные. Аргументация, основанная на соотношении суточного потребления пищи к общему весу тела, является в высшей степени ошибочной, поскольку невозможно точно определить ту долю питания, которая расходуется на отправление жизненных функций или выводится из организма как непригодная для целей ассимиляции. Другой показатель, и столь же ненадежный — это время, требуемое для заживления ран и эксфолиации, т. е. отделения секвестров омертвевшей кости от окружающей здоровой массы. Ибо это время отнюдь не остается неизменным даже в обстоятельствах, на первый взгляд идентичных.

Согласно весьма распространенному мнению, **полное обновление всего человека** происходит примерно **за сорок дней**. Однако, поскольку каждый орган отличается по своему строению, он столь же разнится и по силе своих функций, и по скорости разложения и возобновления. Кость обладает одной мерой энергии; мышца — другой; мембрана — третьей. Циклы обновления каждой из этих тканей должны подчиняться своим особым законам. В целом, жизненные процессы в той или иной части тела протекают тем медленнее, чем выше степень плотности его вещества.[24] И весьма вероятно, что в частях, наделенных высокой жизненной силой, и имеющих жидкое строение - существует **непрерывный ток материи**. Это препятствует любой частице оставаться в одном и том же положении в течение долгого времени, и увлекает ее далее по выделительной системе, сразу после того, как она была отложена питающим сосудом. В таком случае одна и та же частица должна исполнять множество функций в организме, и претерпевать ряд последовательных изменений, прежде чем она станет пригодной для выделения.

напрасные сожаления об упущенных возможностях или чрезмерные планы на будущее не поддерживают интеллект в состоянии неестественного волнения.

[24] Сие положение следует принимать со значительными оговорками. Зимняя спячка (гибернация) представляет собой феномен, служащий примечательным исключением из этого правила.

Подобный взгляд представляется тем более вероятным, что он поразительно согласуется с известной нам экономией средств и многообразием ресурсов, что обнаруживаются во всех чудесных и почти бесконечных деяниях природы.

Возникает вопрос: может ли жизненная сила в каком-либо случае существовать в полной независимости от жизненного движения; или, выражаясь иначе, способна ли жизнь проявлять себя как-то иначе, нежели через изменения? Яйца животных и семена растений могут быть побуждены к развитию по прошествии весьма долгих периодов кажущегося бездействия. Если взять образцы почвы с различной глубины и выставить их на воздух, то нередко в каждом из них прорастает свой собственный, характерный лишь для него набор сорных трав. Семена этих растений, должно быть, оставались погребенными в земле с самых отдаленных эпох формирования последовательных геологических пластов, и этот факт, казалось бы, дает утвердительный ответ на поставленный вопрос. Однако трудно определить, является ли неизменность этих форм следствием их организации, или же она зависит исключительно от химического сродства; иными словами, является ли жизнь в данном случае непрерывным процессом, или же она существует лишь как **случайная потенциальность**. В отсутствие экспериментальных данных, всё что можно утверждать, что рассуждение по аналогии говорит в пользу последнего предположения. Жизнь познается исключительно через функцию; функция предполагает движение, движение — изменение, а изменение — разрушение. К этому следует добавить, что растительные семена, будучи защищены от воздействия воздуха и влаги, представляют собой формы, мало подверженные разложению, и можно с полным основанием предположить, что своей долговечностью они всецело обязаны своему химическому составу.

Ассимиляция и элиминация, эти условия органического бытия, суть та великая цель, к которой устремлены все способности и функции самых сложных живых существ. Именно для их осуществления приспособлены и различное устройство конечностей, и многогранная сила чувств, и безошибочность инстинкта, и блуждания страстей. В притягательной силе ассимиляции можно усмотреть физическую основу самолюбия; к ней же, посредством связующего звена в виде приятного ощущения, привито и продолжение рода. Поэтому организованные существа должны рассматриваться как фокусы (см. **Кювье**, «Лекции по сравнительной анатомии»), точки, в которые окружающие элементы на время притягиваются, и вовлекаются в своеобразные сочетания, дабы исполнить свою временную роль в жизненной экономии, после чего они выводятся из организма и отбрасываются. То, чем одушевленное существо было вчера, оно перестает быть сегодня. Материалы, из которых оно сложено, подобно водам реки,[25] находятся в

[25] «Мы в действительности, физически подобны реке, все воды которой текут в вечном стремлении. Это та же река благодаря своему руслу, берегам, истоку, устью — всему тому, что не есть она сама; но ее вода, составляющая ее существо, меняется каждое мгновение. Для этой реки не существует ни идентичности, ни самости» - Философский словарь. Статья «Тождество».

непрестанном движении. Даже сама организация претерпевает постепенные, но неизбежные изменения; и **нравственное устройство** меняется вслед за **физической структурой**. Страсти возникают, властвуют, утихают и исчезают; руководящее же начало меняется по мере последовательного развития отдельных органов. В таком случае, в чем заключается тождественность подобных существ? Не в неизменности субстанции и не в непрерывности функций — ибо в противном случае родитель и потомство были бы однородны; и не в непрерывности восприятия, поскольку восприятие не является универсальным свойством органического существования. Тождественность может быть прослежена только в тех рядах приобретенных действий, которые, возникая в каждый миг прожитого существования, в той или иной мере влияют на образ бытия во всём последующем.

Функции питания (термин, который удобно принять как для обозначения ассимиляции, так и для выделения), наряду с функциями, служащими **воспроизведению вида**, включают в себя все явления, неразрывно связанные с понятием жизни, и охватывают всё то, что по праву может быть приписано растительному существованию. Некоторые склонные к фантазиям авторы и впрямь приписывали растениям способность к **восприятию**, руководствуясь при этом соображениями скорее поэтическими, нежели философскими.[26] И все же, способность восприятия неразрывно связана с функцией передвижения, которой она единственно и служит. Без восприятия не могла бы возникнуть воля, а органы движения не могли бы прийти в согласованное действие. Не обладай существо способностью избегать боли и стремиться к удовольствию, чувствительность к внешним впечатлениям стала бы уделом слишком мучительным, чтобы быть долговечным. Подобное состояние поэт весьма метко описал скорее как склеп, нежели как тело:

> Ne sol qui spirito umano
> Albergo in questa pianta rozza et dura,

Сравнение человеческой жизни с течением потока является излюбленным образом поэтов всех стран.

[26] См. «Введение в ботанику» Смита, стр. 3, труды Дарвина и др. Факты, на которых зиждется сие представление, многообразны и прекрасны. Корни деревьев, приближаясь к основанию стены или скалы, сквозь которые они не могут прорасти, сворачивают в сторону за некоторое расстояние до препятствия. Если дерево растет у края рва, его корни не следуют привычным горизонтальным путем, рискуя оказаться обнаженными, но, приближаясь к откосу, внезапно уходят вертикально вниз, пока не окажутся ниже дна рва, после чего вновь принимают естественное горизонтальное направление. Феномены «стыдливой мимозы» (Mimosa pudica), десмодиума вращающегося (Hedysarum gyrans) и венериной мухоловки (Dionæa muscicapa) также способствовали предположению о наличии у растений восприятия. Листья последнего растения усажены шипами, а их поверхность выделяет сладкую жидкость, весьма привлекательную для мух. В тот миг, когда насекомое касается поверхности сего вероломного аппарата, две лопасти листа сближаются, и шипы, перекрещиваясь, пронзают несчастное животное, подобно тому, как действует сей одиозный механизм — эгоизма и корыстолюбия — человеческим капканом. Росянки (Drosera longifolia и rotundifolia) обладают схожим механизмом.

Ma ciascun altro ancor. Franco o Pagano,
Che lassi i membri a piè dell'alte mura,
Astretto e qui, da nuovo incanto e strano,
Non so s'io dica in corpo ò in Sepoltura.
Sono di sensi animati i rami ed i tronchi,
E mecidial sei tu, se legno tronchi.[27]

Быть может, этот спор, как и многие другие, является лишь терминологическим, и зависит от большей или меньшей широты того значения, что придается слову «восприятие»; в ходе настоящей работы этот термин должен быть определен со всей точностью. Совсем немногие будут склонны признать за растительным царством способность к чувствованию, сопоставимую с той, что присуща животным; в остальном же это различие касается скорее наших собственных способов рассмотрения предмета, нежели состояний самих существ.

Питательные функции осуществляются исключительно внутри организма индивида. Они связаны между собой в непрерывную цепь, образуя замкнутый круг действий, независимый от внешнего мира — за исключением того, что из него черпаются материалы, над которыми эти функции оперируют. Функции чувств и движения, напротив, всецело обращены к внешним сущностям,[28] с которыми они поддерживают многообразную и обширнейшую связь. Любой объект в природе способен давать повод для их проявления, пробуждать идею или определять движение. Посему они были удачно определены как «**функции отношений**».

Функции отношений и функции питания, хотя и составляют вместе единое целое, нераздельное в действии и цели, всё же могут быть с пользой рассмотрены по отдельности, как если бы они были независимы друг от друга. Законы, управляющие соответствующими движениями этих функций, во многих отношениях различны, и подобный метод анализа приводит к весьма важным и поразительным выводам. Функции отношений являются результатом действия живой силы, значительно превосходящей ту, что управляет отправлением процессов питания. Органы, посредством которых они осуществляются, устроены гораздо сложнее; их движения обладают большей широтой и быстротой, а сама их

[27] Не только мой здесь дух людской живет,
В сей грубой и незыблемой коре;
Любой другой — будь франк иль сарацин,
Кто жизнь сложил у стен высоких града,
Здесь чарами отныне заточен;
Не в теле — в гробе, вернее сказать.
Чувствительны здесь ветви и стволы,
И ты — убийца, коль кору надрежешь.
(с) Тассо. «Освобожденный Иерусалим», песнь XIII, 43.

[28] Ощущения боли, возникающие внутри тела, могут рассматриваться как происходящие от внешних причин; таковые причины действительно являются внешними по отношению к нервной системе, которая в более непосредственном смысле составляет «я» (moi) индивида.

субстанция есть продукт более тонких взаимодействий — сил сродства, бесконечно далеких от чисто химического происхождения, и наименее предрасположенных к неизменной прочности.

Постоянство вещества и жизнестойкость, как правило, находятся в обратной зависимости от сложности структуры и элементного состава. Низшие животные более живучи, нежели те, у которых отчетливо развита нервная система. По мере совершенствования этой системы, а также усложнения сосудистого, дыхательного и пищеварительного аппаратов, животное становится всё более подверженным расстройствам, вызываемым самыми разнообразными случайными причинами. Если бы развитие интеллекта не шло в ногу с усложнением строения, создавая тем самым принцип противодействия, соразмерный возрастающим опасностям, то человек и высшие животные, вместо того чтобы господствовать на земном шаре, стали бы первыми видами в системе природы, исчезнувшими с её лица.

Большая часть любого растительного организма состоит из элементарного вещества (**углерода**), которое при обычной температуре и прочих физических условиях атмосферы - не проявляет склонности к вступлению в новые химические связи; такие структуры крайне мало подвержены изменениям. Дубовая древесина, использованная при возведении некоторых наиболее примечательных британских зданий, на протяжении многих столетий успешно противостоит разрушительному воздействию воздуха и влаги.

Сравнительная простота элементного состава растений также свидетельствует о том, что их внутреннее устройство находится в более тесной связи с физическими свойствами их компонентов, и в меньшей степени зависит от жизненной энергии, нежели соединения животные. Если пренебречь редкими исключениями, в состав растений входят лишь три элемента,[29] в то время как продукты животного происхождения редко содержат менее четырех. Между тем, общеизвестен закон, согласно которому химическое сродство проявляется тем энергичнее, чем в меньшем числе субстанции представлены друг другу; элементы более склонны образовывать бинарные соединения, нежели тернарные или кватернарные. Жизненная сила, необходимая для того, чтобы удерживать компоненты животной материи (азот, водород, углерод и кислород) от объединения в пары (с образованием аммиака, воды и угольной кислоты), неизбежно должна обладать большей энергией, нежели та, что требуется для поддержания тройных растительных соединений

[29] Природа никогда не делает скачков (per saltum). Следы любой специфической черты, характерной для того или иного класса или отряда, всегда можно обнаружить в звене, непосредственно предшествующем ему в великой цепи природы — что служит неизменным доказательством несовершенства научных систем. Азот, который можно рассматривать как специфический элемент анимализации, также входит в состав некоторых растений, в особенности — едких крестоцветных. Однако он никогда не присутствует в пропорциях, достаточно значительных, чтобы существенным образом пошатнуть выдвинутое здесь общее положение.

кислорода, углерода и водорода, и для подавления их склонности к бинарным союзам.

Именно в этом, более близком сходстве между растительным и чисто химическим синтезом, можно усмотреть причину способности растений извлекать питание из **неорганической материи**. Эта способность коренным образом определяет их место в «лестнице существ», освобождая их от необходимости в передвижении. Вещества, служащие растительным питанием (углекислота и вода), распространены по земному шару почти повсеместно, и вступают в контакт с растением, какое бы положение оно ни занимало. Взвешенные в облаках и влекомые потоками, эти субстанции при содействии ветров и благодаря неровностям земной поверхности проникают в каждый край, равно даруя жизнь и зелень как альпийским вершинам, так и сокрытым в лощинах долинам.[30]

Животные, напротив, нуждаются в органической пище, дабы она могла быть усвоена их более утонченной природой; пропитание они способны добывать лишь путем активных усилий. Удовольствие и боль служат для них главными пружинами тех действий, без которых они неминуемо бы погибли. Поставленные в силу этой необходимости в зависимость от всего сущего на земном шаре, они нуждаются в навыках, в силе и ловкости в различных степенях, чтобы обеспечивать себя средствами к жизни и избегать окружающих их опасностей. Отсюда и происходит бесконечное разнообразие вспомогательных органов: крыло, плавник, копыто и всё то многообразие орудий, которыми природа вооружила как малейшее, так и величайшее из своих созданий.

Многочисленные и энергичные действия, совершаемые этими орудиями, предполагают соответствующее им развитие жизненной силы. Они также обуславливают усложнение и расширение процессов питания, поскольку сами органы отношений[31] должны получать питание, и для этой цели требуют материи гораздо более сложного состава, нежели та, что необходима для частей с более низкой жизненной энергией. Именно по этой причине существование функций отношений несовместимо с той простотой органов питания, что наблюдается в растительном царстве. То, насколько глубоко необходимость поиска пропитания влияет на природу и жизнедеятельность животных, наглядно иллюстрируется классом существ, именуемых **зоофитами**. Будучи связаны с прочими животными

[30] В местах, лишенных обильных запасов воды, некоторые растения все же выживают благодаря особенностям своего строения, которые позволяют им притягивать и удерживать те малые частицы влаги, что растворены в раскаленной атмосфере. Большинство растений, встречающихся в песчаных пустынях Африки, обладают клеточной структурой и содержат значительное количество воды в своих межклеточных пространствах.

[31] «Тилландсия, или дикий ананас Вест-Индии, имеет на конце каждого листа у стебля полый резервуар, вмещающий от полупинты до кварты воды. Доктор Слоун упоминает об одном виде алоэ, снабженном листьями, которые, подобно дикому ананасу и банану, удерживают воду. У непентеса на конце каждого листа имеется кувшинчик для той же цели» - Э. Дарвин, «Любовь растений», Песнь I, ст. 367, прим.

племенами потребностью в органической пище, зоофиты, подобно им, наделены желудками; в некоторых случаях они также обладают хватательными органами для доставки питания к ротовому отверстию. Однако, обитая в водах, они поглощают пищу, приносимую к ним течением и приливом, и в этом отношении в значительной степени уподобляются растениям. Подобно представителям флоры, многие из них лишены способности самостоятельно передвигаться, оставаясь прикрепленными к тому месту, где они появились на свет. Как и растения, они не обладают ни мозгом, ни органами внешних чувств. Примечательно также, что зоофиты, наподобие вегетативных организмов, размножаются почкованием, и могут быть искусственно приумножены путем последовательного черенкования. Таким образом, можно проследить неизменную и постоянную связь не только между строением каждого вида и его химическим составом, но и между его функциональными способностями и элементарным устройством. Какова бы ни была сокровенная природа жизненных сил — проистекают ли они из неведомых энергий уже признанных элементов, или берут начало в присутствии доселе не открытого первоначала, — они всё же являются обычными следствиями и результатами физических свойств материи. Между буйными и необузданными страстями **общественного животного** и простым притяжением **химического сродства** различия, несомненно, огромны; однако, если проследить великую цепь бытия звено за звеном, то на каждом последующем этапе приращения движущей силы окажутся столь незначительными, что будет трудно определить ту границу, за которой вступает в силу некий новый принцип действия. Там, где первопричины всех явлений сокрыты от нас, тщетно измышлять гипотетические принципы для объяснения каждого из них в отдельности. Аналогии, объединяющие различные формы природы в **единое и совершенное целое**, глубоки и очевидны; и напротив, те различия, что были измышлены изощренным человеческим гением ради разделения и обособления, опровергаются и приходят в расстройство с каждым новым шагом успешного научного поиска.

Глава II. Об организации

«Признаюсь, воистину, что труды эти грубы, несовершенны и неполны; и хотя вина в том по большей части ложится на меня, некоторую долю должно приписать состоянию самой науки. Всякому исследователю природы ведомо, в сколь глубокой тьме пребывает знание даже об этой бесчувственной земле и сколь мало преуспели мы доселе в познании вещей неодушевленных. Но в науке о теле человеческом сокрыто от нас и всё то же самое, и многое иное, что свойственно лишь существам живым».
- Геберден, «Комментарии», в конце.

Нелегко с точностью определить те условия, при которых органическое строение обретает способность обладать **жизненными силами**. Жизненность присуща существам, на вид чрезвычайно простым; даже у самых сложноустроенных животных имеются наделенные жизнью части, состоящие из нежнейшей перепонки — в иных случаях столь же тонкой, как воздушные пузыри, выдуваемые детьми из трубки (см. Биша). Насколько нам позволяют судить имеющиеся наблюдения, для жизнедеятельности необходимо соединение твердого и жидкого начал. Микроскопические существа перестают подавать признаки жизни, когда жидкости, в которых они обитают, высыхают, и они вновь обретают жизненные силы вместе с возвращением влаги. Знаменитый **Джон Хантер**, в самом деле, учил, что кровь жива, и рассматривал её свертывание как результат действия жизненной энергии; но если это и так,[32] то жизненная сила быстро истощается, стоит лишь сей жидкости выйти из-под воздействия твердых частей. К тому же науке не известен ни один другой живой вид, обладающий сугубо жидким строением.

Соотношение между твердыми и жидкими составляющими в различных организмах весьма разнообразно. Было подсчитано, что в человеческом организме жидкости преобладают над твердыми частями в пропорции шесть или даже восемь к одному. В деревьях же это соотношение не превышает трех к одному (см. **Ришеран**). Подобное различие наблюдается и в разных органах одного и того же индивида. Существуют значительные расхождения во мнениях относительно относительной важности твердых и жидких частей в животной экономии. В то время как ранние авторы приписывали все жизненные явления исключительно действию **жидкостей**, представители современной школы возлагают всё на активность

[32] Джон Хантер, утверждая, что кровь жива, исходил из своего теоретического представления о materia vitæ diffusa — рассеянной жизненной материи, присутствие которой он предполагал в циркулирующей жидкости. Едва ли можно сомневаться в том, что свертывание крови представляет собой явление, обусловленное жизненными причинами. Следовательно, не будет большим насилием над языком назвать это свертывание функцией и, как следствие, приписать жизнь самой жидкости. Ошибка, которая вероятнее всего может возникнуть при подобной терминологии, заключается в чрезмерно поспешной вере в реальность субстанционального существования, соответствующего самому понятию «жизнь».

твёрдых частей. Однако влияние этих составляющих, очевидно, взаимно. Ибо, поскольку жидкости служат одновременно и материалом, из которого образуются твердые части, и стимулами, побуждающими их к действию, то их целостность и неизменность необходимы для здоровья всего организма; твёрдые же части, в свою очередь, благодаря своей жизненной энергии перерабатывают и совершенствуют жидкости. И если первые поражены недугом, они неизбежно влияют на состав вторых, отравляя тем самым самые источники жизни.

Скорость и широта функций возрастают пропорционально обилию жидкостей в природном сложении индивида. Растущие части растений значительно более сочны, нежели старая древесина, а в строении животных доля жидкостей выше, чем у растений. В теле женщин и детей, чьи функции протекают с особой быстротой, содержится больше влаги, чем в сухом организме взрослого мужчины; именно этим обусловлены характерная мягкость, округлость и упругость их телосложения.

Закон жизненной энергии гласит: её проявление сопровождается **уплотнением вещества** того органа, в котором она действует. Следовательно, чем в более ранний период развития исследуется субъект, тем большую долю в его составе будут занимать жидкости. Повышенная плотность отдельных органов, подвергающихся постоянному и интенсивному воздействию, огрубевшие ладони рабочих и плотность мышц в руках кузнецов – все они служат яркими примерами действия этого закона.

Это прогрессирующее уплотнение твердых тканей, хотя поначалу оно и ведет тело от слабости к силе, со временем вызывает жесткость волокон, несовместимую со здоровой деятельностью капилляров. В то время как питательные функции таким образом затрудняются, нервное волокно становится менее восприимчивым к внешним воздействиям, пока, наконец, движения не становятся скованными, и вовсе не прекращаются, и тогда машина организма переходит в исключительное владение физических законов. Именно это событие и составляет то, что единственно может считаться **естественной смертью**, или распадом — результатом процессов, по своей сути абсолютно здоровых. Все прочие виды кончины являются в большей или меньшей степени следствием несчастного случая или внешних причин. Если исследовать живое организованное существо в пору его наивысшего совершенства, когда структура достаточна для выполнения функций, а функции адекватны для поддержания структуры, то можно заметить такую взаимную связь причины и следствия, которая почти обещает бессмертие. Однако более пристальное изучение обнаруживает причины распада в самих тех действиях, которыми и поддерживается жизнь, оно показывает, что в самом глубоком философском смысле — «среди жизни мы пребываем в смерти».

> Nascentes morimur, finisque ab origine pendet. (Едва родившись, мы умираем, и конец наш предрешен с самого начала).

Продлевать существование подобных сочетаний до бесконечности физически невозможно. То, что случайно, ещё может быть подчинено воле, а то, что вызвано насилием, может быть исправлено; но всё, что заложено в самом фундаменте природного замысла, существует в силу необходимости, неподвластной контролю и неспособной к изменению. Развеивая таким образом **грезы алхимиков**, и сокрушая теории о достижимом совершенстве человека, философия — хоть она и прогоняет пленительный сон, и навеки гасит столь долго лелеемую надежду на земное бессмертие — всё же не оставляет разум без утешения, и не обрекает его на созерцание гибели, лишив защиты от отчаяния. Человечество в массе своей привыкло воспринимать смерть как насилие над человеческой природой, как последствие и кару за прегрешения; кара же, в силу очевидных ассоциаций, неизменно влечет за собой мысль о страдании. Однако познание природы показывает нам, что разрушение находится в не меньшей гармонии с законами бытия, чем сама жизнь.[33] «*Смерть не была установлена бессмертными богами ради наказания, но является либо необходимостью природы, либо отдохновением от трудов и невзгод*».[34] То же всеобщее согласие, та же слаженность функций, что дарует надежду, бодрость и неутомимое любопытство в пору юности, неизменно властвует и в час кончины; погружая чувства в оцепенение и смятение, она уготовляет разум не в меньшей степени, чем тело, к предстоящему переходу. Смерть, избавленная таким образом от навязанных ей представлений о насилии и каре, становится одной из обычных функций нашего бытия, и если не принимается с безразличием, то ожидается со смирением.[35]

Родиться можно лишь затем,
Чтоб умереть.

---

[33] Слова императора Антонина: «Ведь каково созревать и стареть, расти и расцветать, обзаводиться первыми зубами, бородой и сединой, зачинать, вынашивать и рожать, — таковы же и все прочие природные отправления, приносимые временами года в нашей жизни; таково и само разрушение» - Кн. 9. «К самому себе».

[34] Цицерон. «Против Катилины», IV.

[35] Чрезмерная жестокость смертной казни заключается в необходимости встречать смерть в момент, когда каждая функция организма настроена на здоровое и радостное продолжение жизни; в ней отсутствует то согласие между состоянием ума и тела, которое должно подготовить преступника к этой встрече. Подобное несоответствие сопутствует и некоторым немногим болезням. Однако смертный одр редко становится ареной борьбы или сожалений.

Поскольку лишь свежесть восприятия придает впечатлениям глубину, а усилиям — энергию, сие есть благодатное провидение, что удаляет человека со сцены, которая, будь она продлена, неизбежно завершилась бы тошнотворным пресыщением и безнадежным отвращением. Струльдбруги Свифта — омерзительный образ смертного бессмертия! Мистер Годвин в своем романе «Сент-Леон», однако, дает более верное отражение наших праздных желаний, сочетая обновление тела со старческим увяданием ума; и это сочетание он справедливо изображает как нечто абсолютно невыносимое. Но если воображение дарует юношескую бодрость интеллекту, освобожденному от притупленных впечатлений опыта, как следствие его тайны, разрушает идентичность, и предполагаемое обновление жизни ничем не отличается от того, которое уже существует посредством естественной преемственности поколений.

От сотни бед избавит смерть.
Кто жаждет жизнь испить сполна,
Тот жаждет мук.
...
Разумно ль нам
Бежать того пути?
То — шторм, что к берегам
Нас должен привести.[36]

Сокровенная природа организации представляет собой предмет чрезвычайной сложности. Она испытывала терпение и истощала изобретательность множества исследователей. Выдающиеся физиологи прошлых веков, глубоко проникнутые математическими представлениями, стремились утвердить в анатомии некий элемент, столь же простой, как и **геометрическая линия**.[37] Сообразно с этим они воображали существование некоего **первоначального волокна**, или **нити**, которую почитали универсальной основой организованных структур. Наблюдение ни в одном случае не подтвердило этого учения, ибо так и не достигло того гипотетического предела изысканий, который оно предполагает. Конечные результаты вскрытия обнаруживают ту же **сложность строения**, что и совокупность, из которой они были выделены.

Чтобы составить точное представление об организации, необходимо помнить, что ни одна частица живой материи не может существовать без взаимодействия, по меньшей мере, двух функций; в строении же сложных органов их сочетается гораздо больше. Малейший укол иглой в кожу вызывает боль и появление крови. Следовательно, в этой крошечной точке сосредоточены нерв и кровеносный сосуд, не считая питательных и лимфатических сосудов, необходимых для жизнедеятельности каждого из них. Насколько простираются возможности наблюдения, даже подкрепленного микроскопом, эта сложность структуры остается неизменно ощутимой. Поэтому физиологи, оставив бесплодные поиски некоего простого организованного элемента, предпочли остановиться на тех рубежах, на которых может сосредоточиться воображение, пока предмет еще свободен от путаницы, неизбежно возникающей при созерцании вещей, слишком мелких для охвата человеческим разумом.

При изучении анатомии крупных и более доступных для наблюдения структур обнаруживается, что, помимо общих частей, необходимых для роста и поддержания жизни, существует некая **особая субстанция**, которая сообщает каждому органу его специфический характер, и делает его наиболее приспособленным к выполнению соответствующей функции. Так, в мышцах, помимо их артерий, лимфатических

[36] Кино (Quinault). Красота этих строк должна служить извинением за тривиальность заключенной в них мысли.
[37] «Ибо волокно для физиолога есть то же, что линия для геометра, из которой, разумеется, возникают все фигуры» - Галлер, «Элементы», т. I, стр. 2.

сосудов, нервов и прочего, имеется вещество, обладающее исключительной способностью к сокращению; в нервах же заключена материя, которая единственная наделена способностью передавать впечатления. Современные физиологи принимают эти специфические субстанции за элементы организации, и используют их в своих рассуждениях как конечные пределы исследования. Число их неизбежно соответствует числу функций, которыми способен обладать индивид.[38] К сим субстанциям французы применили наименование «**ткани**» (tissues).

Хотя ткани и допускают отвлеченное рассмотрение, но, по-видимому, они существуют лишь в неизменном сочетании друг с другом. Таким образом, простая элементарная ткань есть чистое ens rationis — мысленная абстракция, призванная представить частный способ рассмотрения предмета, а не реально существующая форма. Тем не менее, принятие её в качестве элементарного или последнего звена организации совершенно оправдано, так как ткани суть sedes ipsissimæ — истинные средоточия жизненных сил, за границами которых ни органы чувств не могут ничего обнаружить, ни воображение — помыслить.

Основой всех животных и растительных форм является особая ткань, которую, в силу свойственного ей строения, назвали **клетчатой**.[39] Теперь представляется очевидным, что каждая отдельная молекула организованной материи заключена в оболочку из этой ткани, которая служит ей одновременно и **матрицей**, и **опорой**. Следовательно, её можно рассматривать и как форму, в которой отливаются различные органы, и как остов, на котором они держатся. Клеточная ткань животных отличается от растительной главным образом присутствием азота в ряду её элементов. В своём строении и функциях клеточная ткань обоих классов совпадает; организация следует единому общему закону во всех существах, созданных её действием.

Клеточная ткань в большем или меньшем количестве присутствует в любой организованной структуре. Пролегая между органами и заполняя их промежутки, она удерживает их на своих местах, изолирует и защищает их от взаимного влияния. Она также входит в состав других тканей, исполняя для каждого отдельного волокна или сосуда те же службы, что и для целых органов; в то же время она выступает связующим звеном, цементирующим и укрепляющим всё целое.

---

[38] Заслуга в подобном взгляде на предмет принадлежит справедливо прославленному французскому анатому **Биша**. Применяя термин «элемент», он строго следует аналогии с его химическим употреблением, которое не подразумевает никакого безусловного утверждения.

[39] Мозг повсеместно, но по совершенно непостижимым причинам, считали лишенным клетчатой оболочки. Pia mater [мягкая мозговая оболочка], очевидно, исполняет все функции этой оболочки и, вне всякого сомнения, тождественна ей. «Мягкая оболочка, — пишет Джон Белл, — является для мозга тем же, чем клеточная перепонка для прочих внутренностей и частей тела... посему, по моему суждению, мягкая оболочка справедливо рассматривается некоторыми анатомами как клеточное вещество»
— «Анатомия человеческого тела»

Клеточное вещество животных состоит из совокупности беловатых прозрачных пластинок, пересеченных нитями с млечным блеском. Они настолько тесно переплетены друг с другом, что образуют **ячейки** различной формы, которые сообщаются между собой по всему телу. По своей структуре эта ткань более рыхлая и обильная в промежутках между органами, но более плотная и концентрированная в самой их толще. Размер ячеек подвержен значительным колебаниям; их стенки обладают изрядной степенью сократимости и растяжимости.

Поверхности клеточной ткани постоянно увлажняются парообразным выпотом, выделяемым ее собственными сосудами, который именуется серозной жидкостью. Клетчатка также является исключительным местом сосредоточения секрета, называемого **жиром**.

При наполнении любым из этих веществ ячейки способны увеличиваться в два, три или четыре раза по сравнению с тем размером, который они имеют в пустом состоянии. Таким образом, именно клетчатка становится средоточием того увеличения объема тела, которое составляет «l'embоupoint» (полноту). Ибо как у самого тучного, так и у самого худого человека (при условии отсутствия явного истощения) нервные и мышечные структуры, cæteris paribus, имеют почти одинаковые размеры.

Свободное сообщение, существующее между ячейками этой ткани, проявляется при различных обстоятельствах; так, избыточная серозная жидкость, повсеместно изливающаяся из всей клеточной ткани при **водянке**, меняет свое положение при каждом перемещении тела и скапливается в тех частях, которые оказываются наиболее низко расположенными.

После продолжительного пребывания в горизонтальном положении жидкость распределяется по всему телу более равномерно; именно этим вызвана та одутловатость лица, которую можно наблюдать у больных водянкой, прежде чем они поднимутся с постели. Однако к вечеру она совершенно покидает верхнюю половину туловища и, просачиваясь сквозь ячеистую ткань, скапливается в голенях и бедрах, раздувая их до огромных размеров.

Проницаемость клеточной, т.е. ячеистой структуры доказывается также и той легкостью, с которой отечная жидкость может быть выведена через несколько незначительных проколов в коже. Этим свойством пользуются мясники, дабы придать мясу обманчивый вид упитанности, наполняя ткани воздухом; известно также, что и нищие прибегали к подобному приему, дабы придать своему облику видимость болезни, и тем самым вымогать милостыню у людей доверчивых и невежественных.

Механическая проницаемость клеточной ткани существенным образом ограничивается **жизненной энергией**. После смерти все жидкости без разбора устремляются к наиболее низко расположенным частям тела, придавая им

пятнистый и багровый вид, который неопытный человек может принять за следы насилия. При жизни же ячеистое вещество совершенно непроницаемо для любых других естественных жидкостей, кроме серозного секрета; да и эта жидкость, по-видимому, не находит здесь свободного пути, за исключением тех случаев, когда жизненные силы в некоторой степени истощены или подавлены бременем болезни.

Жир распределен по разным частям тела неравномерно: в основном он скапливается под кожей, в соединительной ткани органов, требующих большой свободы движений, а также вокруг некоторых внутренних органов брюшной полости. Подкожный жир в значительной мере способствует красоте лица, смягчая резкие линии, возникающие при игре мускулов, и придавая коже гладкую, округлую поверхность. Однако для достижения подобного эффекта накопление жира не должно быть чрезмерным, иначе из-за непропорционального растяжения клетчатки он поглотит и скроет под собой мышцы, затрудняя их движение и лишая лицо выразительности.

Именно в этом отношении праздная и нежащаяся жизнь, которую ведут **дамы высших сословий**, благоприятствует сохранению их внешней привлекательности. Накопление подкожного жира препятствует образованию морщин, в то время как мягкость и гибкость тела, порождаемые тем же образом жизни, отдаляют наступление старческих недугов. Это не только сберегает их очарование, но и продлевает саму способность наслаждаться радостями светского существования. Поистине, нет более нелепого ханжества, чем те ежедневные рассуждения о преимуществах бедности и никчемности богатства. Богатство — это сила, и, подобно любой другой силе, оно приносит зло лишь тогда, когда им злоупотребляют. Бедность же, напротив, есть вечное младенчество, невежество и бессилие; единственное же её достоинство заключается в том последнем холодном утешении, что сопутствует пределу человеческого горя:

> Qui procumbit humi, non habet unde cadat.
> («Кто лежит на земле, тому некуда падать».)

Тончайшее строение клеточной ткани не менее туманно, чем устройство прочих органических структур. Пластинки её, по всей вероятности, представляют собой лишь расширения питающих сосудов, которые, собираясь в пучки, образуют пересекающие их волокна. В здоровом состоянии эта ткань почти не являет следов сосудов; однако при воспалении её сосудистая природа становится очевидной вследствие наполнения капилляров кровью. Из-за их множества и деликатности поверхность ткани приобретает в такие моменты равномерно алый цвет. Наличие нервов в этой субстанции до сих пор не обнаружено; однако трудно с уверенностью сказать, проистекает ли это из фактического отсутствия означенных органов или же из-за того, что они скрыты за общей белизной всей массы. Не будучи поражена болезнью, клеточная ткань обнаруживает мало признаков чувствительности; её можно разрывать или подвергать воздействию химических раздражителей, не

вызывая при этом боли. Жизненная сила её неизменна, располагается ли она внутри органа или в его промежутках, и не имеет ничего общего со свойствами той части тела, к которой она принадлежит. Оно не обладает чувствительностью нерва, не сокращается, подобно мышце, и не выделяет секрета, подобно железе. Однако при воспалении его чувствительность чрезвычайно возрастает, в чем почти каждый мог убедиться на собственном опыте во время нагноения фурункула.

Клеточная субстанция, образующая основу всего тела, является самой универсальной из тканей, участвующих в строении организма. Каждый отдельный орган можно рассматривать как сетчатую структуру этого вещества, которая определяет его очертания и размер и содержит в каждой из своих обособленных и мельчайших ячеек частицу того особого вещества, которое придает данной части тела её свойства и назначение. На самых ранних стадиях внутриутробного развития, доступных для изучения, **эмбрион** представляет собой однородную массу клеточной ткани, пропитанную жидкостями; со временем структура становится всё более отчетливой, другие ткани развиваются шире, и клетчатка во многом утрачивает свое видимое преобладание. В этой, казалось бы, гомогенной массе, наблюдаемой вначале, трудно вообразить или объяснить локальные проявления жизненной силы, которые должны предшествовать формированию различных органов. Но в науке самый трудный, хотя и самый необходимый урок — **это признание ограниченности человеческих возможностей** в познании. На каждом повороте Изида являет свой лик под покрывалом смятенному исследователю, взирающему с любопытством, и указывает на сокрушительное изречение: —

ΤΟΝ ΕΜΟΝ ΠΕΠΛΟΝ ΟΥΔΕΙΣ ΠΩ ΘΝΗΤΟΣ ΑΠΕΚΑΛΥΨΕΝ.[40]
(Мой пеплос никто из смертных ещё не открыл).

В строении мышц, которые, в силу широты своих движений, требуют более рыхлого расположения вещества, устройство клеточной ткани обнаруживается с наибольшей ясностью. В этих органах самое малейшее из различимых волокон облечено в тонкую клеточную ткань, соединяющую его с другими волокнами того же рода. Таким образом, несколько собранных воедино волокон заключаются в большее количество клеточной ткани, посредством которой они в аналогичном порядке соединяются с соответствующими пучками. Через восходящий ряд таковых соединений завершается формирование целого органа; напоследок он заключается в более плотную оболочку из той же клеточной ткани, которая проводит отчетливую границу между ним и прочими частями. Вдоль промежутков, образуемых таким образом клеточным веществом, распределяются артерии, вены, нервы и лимфатические сосуды, которые по мере своего продвижения следуют за

[40] Плутарх, «Об Исиде и Осирисе».
«Таково уж несчастье человеческое, что всякая конечная история физических вещей покоится на шатком основании, подобно тому, как и другая история, памятница деяний, теряется в пределах мифических».
- Галлер. Elementa, т. II, стр. 176.

мельчайшими разветвлениями, образованными клеточной тканью, дабы обеспечить каждую частицу собственными сосудами и нервами.

Подобное устройство, в той или иной степени присущее всем одушевленным структурам, сообщает им общий характер организации. Разнообразие форм, размеров, плотности, цвета и иных отличительных признаков каждого органа проистекает либо из самой природы составляющего его вещества, либо из механических или физиологических связей, коими он соединен с остальным организмом.

Так, в силу уже изложенных причин, строение мышц более рыхлое и гибкое, нежели строение костей или даже желез. Красный цвет их обусловлен стремительным расходом жизненной силы, сопровождающим отправление их функций, и, как следствие, обильным снабжением кровью. **Мягкая консистенция мозга** точно так же связана с утонченностью его функций; белизна же его проистекает из мельчайшего разветвления кровеносных сосудов, поддерживающих его структуру, что препятствует чрезмерно сильному напору алой крови в нежную субстанцию органа. Организованные структуры по самой своей сути сосудисты; питательные жидкости, поддерживающие их вещество, повсеместно заключены в трубки, живой энергией внутренних поверхностей которых, по-видимому, сохраняются и регулируются их свойства. Форма и распределение этих различных систем сосудов адаптированы к природе и привычкам вида таким образом, чтобы каждая частица получала достаточное снабжение для своего поддержания. У высших животных сосудистые системы по своим очертаниям напоминают дерево с его стволом, крупными сучьями и ветвями. Они состоят из: *артерий*, по которым циркулирует та часть крови, что уже подверглась воздействию воздуха; *вен*, содержащих кровяную жидкость до того, как она испытала это влияние; *абсорбирующих сосудов*, которые продвигают жидкость, образованную из продуктов общего распада всего организма. Капиллярные питательные сосуды, поддерживающие субстанцию отдельных частей тела, являются ответвлениями артериальной системы, в то время как абсорбенты можно рассматривать как ветвь венозного аппарата. В действительности среди физиологов до сих пор ведется спор о том, не может ли абсорбция осуществляться и самими венами. Многие обстоятельства придают этой теории некоторую долю вероятности; в частности, она была принята для объяснения быстрого переноса поглощенных жидкостей из желудка. С другой стороны, трудности, сопутствующие подобному взгляду на всасывание, многочисленны, а факты, которыми его подкрепляют, далеко не убедительны. Превыше всего, можно усомниться в том, могли бы вены обладать абсорбирующей силой, не подвергая смертельной опасности весь жизненный строй организма из-за внезапного смешения инородных веществ с циркулирующими жидкостями.

Самое простое представление, которое можно составить о сосуде — это перепончатая трубка цилиндрической или слегка конической формы, состоящая по

большей части из нескольких концентрических слоев, соединенных между собой рыхлой клетчаткой. Внутренняя оболочка, или та, что непосредственно соприкасается с содержащейся в сосуде жидкостью, образована особой тканью, свойственной каждой системе сосудов и специально приспособленной для того, чтобы находиться в гармонии с той средой, которую она обычно переносит. Поверх этой специфической ткани располагается еще одна мембрана: в одних случаях она состоит из волокнистого эластичного вещества, в других же по своей природе более близка к мышечной ткани. Именно благодаря ей полностью или частично осуществляются механические движения, возникающие в данной системе. Снаружи всё это почти повсеместно покрыто плотным, упроченным слоем клетчатки, которому сосуд обязан большей частью своей прочности.

Всякий раз, когда сосуд оканчивается раздвоением (бифуркацией), сумма диаметров двух образовавшихся ветвей превышает диаметр исходного ствола. Вследствие этого сосудистые системы животных, в которых преобладает такая форма строения, сравнивают с конусом, вершина которого помещена в сердце, а основание — у периферии тела. Если бы жидкости, согласно расхожему мнению, протекали по этим трубкам так же, как река течет в своем русле, то, по законам гидростатики, скорость их движения должна была бы уменьшаться по мере удаления от центра системы. Однако биения пульса, будучи изохронными во всех частях тела, доказывают, что скорость кровообращения повсеместно одинакова. Для объяснения этого факта достаточно заметить, что эластичность сосудов поддерживает их в постоянно наполненном состоянии, а так как сопротивление во всех частях системы равно, то и сила продвижения жидкости везде должна быть пропорциональной.

Различные системы сосудов — артерии, вены и лимфатические сосуды — переплетены с величайшей сложностью в толще плотных тканей, разделяясь и разветвляясь в почти бесконечной последовательности. Настолько детально это строение в тканях животного организма, что если наполнить сосуды какого-либо одного рода окрашенной жидкостью, вся масса примет этот цвет с такой однородностью, что будет казаться состоящей исключительно из этих сосудов. Если наполнить артерии, орган представится скоплением артерий; если расширить вены, они точно так же будут казаться занимающими всё его вещество. Это переплетение сосудов, клетчатки и (в животных органах) нервов образует основу органического строения; они суть инструменты для *формирования*, *питания* и *оживления* органа, но не сам этот орган. Последний же следует рассматривать как состоящий исключительно из вещества, составляющего его **собственную ткань**, которая непосредственно выполняет его функции и сообщает ему его своеобразие и индивидуальный характер.

Собственное вещество тканей для каждого органа уникально, и оно строго адаптировано к тем функциям, которые ему надлежит исполнять. Взаимосвязь между физическими свойствами ткани и её механическим предназначением

представляется совершенно очевидной. Волокна сухожилий и связок отличаются прочностью и отсутствием эластичности, оставаясь при этом гибкими. Не обладай сухожилие такими свойствами, значительная часть сократительной силы мышц была бы утрачена; если бы их не доставало связкам, кости были бы подвержены постоянным вывихам. Средние оболочки артерий, напротив, обладают исключительной эластичностью, благодаря чему они участвуют в регуляции кровообращения. Кости же тверды, неэластичны, неподатливы и негибки, что позволяет им выполнять роль рычагов для перемещения тела. Напротив, наличие подобных свойств в мышце препятствовало бы её движениям, поскольку они очевидно несовместимы со способностью к сокращению.

Связь физических свойств тканей с их жизненными функциями остается совершенно неизученной. Поскольку сокровенная природа самих функций скрыта от наблюдения, сам их **modus operandi** (образ действия) не может быть понят. Однако то, что они тесно взаимосвязаны, не подлежит сомнению, поскольку за изменением видимой структуры органов неизменно следует соразмерное искажение их функций. Так, индурация (уплотнение) печени влечет за собой изменение секреции желчи, а размягчение костей и вовсе сводит их функцию на нет.

По своей форме собственная ткань нервов — мягкая и кашицеобразная; в мышцах она волокнистая; в железах же она, по большей части, является зернистой. По своему вещественному составу эта ткань также варьируется в различных органах. Собственная ткань мышц состоит почти целиком из особого вещества, называемого *фибрином* или глютеном. В костях это землистая соль, именуемая *фосфатом извести*. В белых частях животных это *желатин*; основой древесного волокна является *углерод*, а более мягких растительных частей — *растительная слизь*. Из этих фактов можно заключить, что каждая отдельная ткань обладает своими химическими признаками, которые, будучи точно определены, разграничивали бы их не менее отчетливо, чем различия в жизненных свойствах, коими каждая из них наделена.

Ткани соединяются в органах не в одинаковом количественном составе. Можно предположить, что питательные и абсорбирующие ткани, а также клеточное вещество - присутствуют во всех органических соединениях, поскольку их функции неотделимы от самого понятия жизни. Следующими по частоте встречаемости идут артерии и вены, и, наконец, нервы, которые, по-видимому, отсутствуют в белых волокнистых тканях, служащих для выполнения механических функций организма, а возможно, и в некоторых других органах. Эти части, в силу их более или менее повсеместного присутствия во всех органических соединениях, именуются общими тканями, в отличие от тех, что встречаются лишь в структурах определенного рода, таких как мышечная, волокнистая, костная ткани и т. д.

В представленном здесь объяснении органического строения факты были отобраны преимущественно из анатомии животных, поскольку они более очевидны по своей природе, и до настоящего времени были исследованы наиболее успешно. Однако эти положения в равной степени применимы ко всем организованным видам. Клетчатая ткань растений по своим функциям и строению весьма сходна с таковой у животных. Процесс всасывания осуществляется как их корнями, так и листьями, а их сосуды для сока аналогичны артериям и венам животных. Теория питания и, следовательно, вопрос о сокровенном внутреннем строении строго идентичны для обоих царств. Маслянистые, эмульсионные и смолистые продукты растений представляют собой секреты желез, что подразумевает наличие соответствующих тканей. Древесные, углеродистые волокна аналогичны костному скелету животных. Многие растения также обнаруживают способность к спонтанному движению, которое, хотя и не совершается по велению воли, предполагает существование ткани, во многих отношениях аналогичной мышечной ткани животных, несмотря на то что подобные органы никогда не выделялись в анатомии растений отдельно.

Исходя из этого общего сходства в механизме органов и тождественности их функций, невозможно сомневаться в том, что сокровенная природа организации одинакова у всех видов, и что **единая сила одушевляет**, а **единый закон управляет всем сущим**. Там, где наблюдается сходство целей, следует усматривать и единство средств. Ибо природе свойственно извлекать множество следствий из немногих причин, а не прибегать к многообразию средств ради достижения одного и того же результата.

Жидкости (**флюиды**), входящие в состав органических структур, могут быть разделены на два разряда: те, что накапливаются в качестве материала для жизненной деятельности, и те, что прошли через процесс секреции. Первые состоят из весьма немногих специфических веществ (именуемых химиками «ближайшими началами»), находящихся во взвешенном состоянии в водном растворе, и смешанных с малой долей солей. Эти ближайшие начала, весьма сходные между собой, присутствуют также — с некоторыми незначительными изменениями — и в составе твердых тканей. Оттого акт питания, пожалуй, можно рассматривать лишь как их осаждение из растворяющей жидкости; именно по этой причине кровь не без оснований называют «chair coulante» (жидкой плотью).

Секретируемые же жидкости обладают более разнообразным и специфическим характером; в процессе секреции они претерпевают изменения, которые в большей или меньшей степени нарушают их подобие и гармонию с живой системой. Вследствие этого они в большинстве случаев выводятся из организма, как только исполнят ту задачу, ради которой были произведены.

Все субстанции, предназначенные стать частью жидкостей организованных существ, подвергаются изменениям in limine (у самого порога) под воздействием твердых тел; лишь вода, по всей видимости, проникает в систему в неизменном виде, дабы служить универсальным растворителем. Растительный сок, который по своим функциям строго аналогичен крови животных, хотя с виду и напоминает обычную воду, всё же обнаруживает способность к брожению, если собрать его в сосуд. Следовательно, благодаря деятельности жизненных сил, он уже успел приобрести слизистые вещества и сахар. Сок клёна, к примеру, содержит около одной двадцатой доли последнего вещества.

Кровь животных представляет собой жидкость гораздо более высокого порядка; процесс пищеварения в данном случае уподобляет пищу природе самого индивида гораздо теснее. Пока кровь циркулирует в живом теле, она сохраняет жидкое состояние и однородный вид; однако, будучи извлеченной из организма и оставленной в покое, она претерпевает самопроизвольное изменение. Кровь разделяется на: красное твердое вещество — crassamentum (сгусток) и на тонкую, прозрачную, желтоватую жидкость, называемую сывороткой. В то же время некое пахучее и резкое начало, которое обычно не принимают во внимание, испаряется и улетучивается.

Причина этого свертывания крови остается неизвестной; оно не зависит исключительно ни от состояния покоя, ни от перемены температуры, ни от воздействия атмосферы. Наиболее удовлетворительное объяснение дает мнение **Джона Хантера**, который приписывал это явление *жизненному действию*. Интенсивность данного процесса пропорциональна силе жизненной энергии того существа, у которого была взята кровь: в то же время свертывание полностью прекращается, если животное погибло от удара молнии, или по любой иной причине, которая мгновенно истощает всю раздражимость тела.

При помощи химических методов в крови можно выделить определенные животные соединения, называемые **фибрином**, **альбумином** и (по мнению некоторых авторов) **желатином**. Все они представляют собой сочетания кислорода, водорода, углерода и азота, и отличаются друг от друга главным образом пропорциями последнего элемента; содержание **азота** возрастает в каждом из этих веществ в том порядке, в котором они здесь перечислены. Эти начала различаются между собой прежде всего своим отношением к воде: фибрин нерастворим даже при температуре кипения; однако при нагревании выше этой точки в аппарате, называемом дигестором, он наконец уступает растворяющей силе среды — вероятно, по причине некоего изменения в его химическом составе. Это наиболее высокоорганизованное из всех органических соединений, и оно кажется специально созданным для формирования мышечных структур, коих составляет преобладающую часть.

Альбумин встречается в почти чистом виде в яичном белке, отчего и получил свое название. Он растворим в воде, из которой вновь выделяется под воздействием тепла, минеральных кислот и дистиллированных спиртов. В ходе этого процесса он изменяется настолько, что перестает быть растворимым без длительного кипячения. Помимо обычных элементов, присущих животной материи, альбумин содержит серу; общеизвестным доказательством тому служит потемнение серебряных ложек, которое происходит при употреблении в пищу яиц. Альбумин преобладает в строении белых частей организма: в волосах, роговом веществе и хрящах; также он является составной частью мышц, нервов и прочего.

Желатин, по мнению некоторых авторов, является продуктом питания и формально не присутствует в крови. Именно это начало составляет основу желе, шлихты и клея. Он смешивается с водой в любых пропорциях и не свертывается под воздействием тепла. Одна часть этого вещества, растворенная в ста пятидесяти частях воды, при остывании принимает твердую и дрожащую форму, свойственную желе.

Солевая часть крови состоит преимущественно из соды, а также из муриата и фосфата этого щелочного основания.

Красный цвет крови обусловлен особым веществом, природа которого еще недостаточно изучена. Микроскопические наблюдения представляют его в виде шарообразных или, скорее, дисковидных тел, имеющих диаметр, согласно Галлеру, равный одной пятитысячной части дюйма.[41] Эти тельца, хотя и растворимы в воде, вновь отделяются от неё путём осаждения. Будучи собранными и сожжёнными, они оставляют золу, содержащую значительное количество железа. Касательно их химической природы по сей день существуют великие разногласия. **Фуркруа** утверждал, что железо находится в соединении с фосфорной кислотой и удерживается во взвешенном состоянии в жидкости при помощи соды; однако, если бы это было так, железо обнаруживалось бы посредством обычных химических реактивов, что опровергается практикой. Те авторы, которые отрицали применимость теории Фуркруа, не предложили взамен никакого иного, более удовлетворительного объяснения. Помимо железа, в красных тельцах содержится малая доля альбумина.

Красные тельца, по-видимому, проявляют выраженное сродство к фибрину: они соединяются с ним в процессе спонтанного свёртывания крови, и весьма плотно прилегают к нему в мышцах краснокровных животных; тем не менее, их можно отделить друг от друга простым промыванием. Функции этих телец, равно как и их строение, остаются неясными. Железо рассматривали как некое связующее звено, способствующее тому химическому превращению, которое происходит в крови во

[41] Halleri Elementa, t. iii. p. 56. Дезагюлье определяет диаметр красных шариков в 1/2550 дюйма. Левенгук оценивает их в 1/25000. Все это, однако, весьма туманно, неудовлетворительно и (к счастью) совершенно бесполезно.

время дыхания. Однако, поскольку дышат все животные, а кровь лишь немногих семейств содержит красные тельца, это предположение следует оставить как необоснованное. Никоим образом нельзя отрицать, что они связаны с высокой степенью развития жизненной силы, поскольку они в изобилии встречаются исключительно у теплокровных животных; их присутствие более ограничено у пресмыкающихся и рыб, и они вовсе отсутствуют, за редчайшими исключениями, в жидкостях беспозвоночных классов.[42]

В связи с этими фактами возникает весьма любопытный вопрос, касающийся состояния крови во время её циркуляции в организме: является ли она гомогенной жидкостью единообразного состава, или же представляет собой смесь составных начал, обнаруживаемых лишь при свертывании? Иными словами, заключается ли процесс свертывания в непосредственном формировании фибрина, альбумина и прочих элементов, или же в простом их отделении друг от друга?

Нерастворимость фибрина, которая говорит против его существования в явном виде в жидкой крови, служит веским доводом в пользу первой гипотезы. Если этот взгляд верен, то азот, так неравномерно распределенный между компонентами свернувшейся крови, находясь в циркулирующей жидкости - распределен по всей массе равномерно. В таком случае свертывание представляет из себя новую перегруппировку составных химических элементов. Состав крови представляется одинаковым у всех краснокровных животных; не претерпевает он и значительных изменений у одной и той же особи в различные периоды её существования; если только не тогда, когда находится под влиянием болезни. Тем не менее, чистота крови подвергается угрозе как через пути всасывания, так и через процессы ассимиляции; однако баланс органических функций по большей части сохраняет состав этой жидкости неизменным. Разнообразные болезнетворные яды, проникающие в кровоток путем всасывания с внешних и внутренних поверхностей тела, присутствуют в крови в столь малых количествах, что их невозможно обнаружить опытным путем. Кровь человека, страдающего от натуральной оспы, заметно не отличается от той, что взята при любом другом воспалительном заболевании.

Справедливо, что определенные продукты питания существенно меняют состав крови. Так, морская цинга вызывается исключительным употреблением соленой провизии. Однако этот результат, по-видимому, проистекает из внешнего воздействия на живые твердые ткани, а не первоначально из какого-либо смешения или загрязнения самих жидкостей; ибо нет никаких доказательств того, что сыворотка или водянистая часть крови содержит избыточное количество солей. Следовательно, нет почти никаких оснований для расхожих предрассудков

[42] Когда в белых тканях теплокровных животных возникает воспаление, их мельчайшие сосуды претерпевают такое изменение жизненной силы, что начинают пропускать цельную красную кровь; следовательно, присутствие красных телец представляется необходимым условием этого процесса.

относительно «чистоты» или «едкости» крови, а также для существования в кровотоке различных «гуморов», предрасполагающих к болезни. В подтверждение этого мнения можно заметить, что целая плеяда «очистителей», которые все почтенные дамы — как из числа дипломированных врачей, так и из числа эмпириков — столь щедро назначают, совершенно бесполезны; их благотворное действие куда заметнее сказывается на кошельке аптекаря, их готовящего, нежели на здоровье пациента, их принимающего.

Потери, которые несет кровь при поддержании жизненных функций, восполняются из двух источников: (**1**) из хилуса (млечного сока), являющегося продуктом пищеварения, (**2**) и за счет всасывания, происходящего как из внутренних тканей, так и с поверхностей всего тела. Из этих двух источников лишь первый может считаться способствующим действительному росту организма. Ибо, хотя при высокой влажности атмосферы легкие и кожа способны поглощать значительное количество воды, представляется весьма маловероятным, чтобы через эти поверхности когда-либо поступали питательные вещества. Ванны из молока и бульона неизменно применялись как средство поддержания жизни в случаях непроходимости пищевода, когда пища не могла попасть в желудок; однако истощение и смерть наступали столь же быстро, как если бы подобные средства вовсе не использовались.

Хилус, какова бы ни была природа пищи, из которой он получен, всегда представляется почти одинаковым.[43] Это млечная жидкость, которая при извлечении из лимфатических сосудов и воздействии воздуха свертывается и приобретает легкий красноватый оттенок. Это последнее обстоятельство привело к предположению, что млечный сок превращается в кровь в процессе дыхания. Млечный сок (хилус), по всей видимости, содержит в себе все основные начала крови, хотя и в более разбавленном состоянии. Его молочный вид обусловлен присутствием белых шариков, которые, судя по всему, идентичны тем, что под воздействием воздуха становятся источником красного цвета крови.

Лимфа, или общий продукт всасывания, по своему строению напоминает серозную часть крови. Это водянистая прозрачная жидкость, которая свертывается при извлечении из организма; она представляет собой лишь смесь основных начал, полученных в результате разложения различных тканей.

Теория образования этих различных жидкостей до сих пор представляется крайне несовершенной. Организация химических элементов — процесс медленный и длительный. Ибо, хотя растения и способны питаться водой и углекислым газом, они не могут быстро развиваться и размножаться без притока материи, полученной от уже организованных тел. И все же, жизнедеятельность растений непрестанно

[43] Г-н Эстли Купер утверждает, что хилус, полученный из растительной пищи, сохраняет свойства своего происхождения и менее склонен к гниению, чем тот, что получен из пищи животной. Однако это мнение оспаривается другими физиологами.

направлена на то, чтобы путем разложения воды и углекислоты формировать те тройные соединения водорода, кислорода и углерода, которые составляют их собственные основные начала.

Пища всех животных, прямо или косвенно, обнаруживается в этих тройных соединениях; их пищеварение же заключается в превращении оных в четверные сочетания путем добавления азота. Источник, из которого извлекается сей последний элемент, остается совершенно неизвестным. Помимо азота, в животных соединениях обнаруживаются и другие начала, такие как **фосфор**, **известь** и **железо**, которые не присутствуют в растительной материи в количествах, соразмерных потребностям животного организма.

Что касается азота, то этот элемент в изобилии содержится в атмосфере; однако было доподлинно доказано, что он не проникает в кровь во время дыхания. В подтверждение сего следует заметить, что хилус травоядных животных уже содержит азот еще до того, как эта жидкость вступает в контакт с атмосферой. Существовало предположение, что преобладание азота в животных соединениях обусловлено теми ничтожно малыми его количествами, что содержатся в некоторых растениях, путем выделения трех других начал в ходе различных жизненных процессов. Однако, будь это так, жидкости плотоядных животных должны были бы содержать больше азота, нежели жидкости травоядных племен — положение, которое решительно опровергается наблюдениями. Покойный сэр Б. Харвуд имел обыкновение демонстрировать переливание крови, опорожняя вены собаки, и наполнял их кровью овцы. Собака, будучи животным плотоядным, пребывала в добром здравии, пока в её жилах текла кровь травоядного; эксперимент не причинил ей иного беспокойства, кроме естественной усталости и болезненности самой раны.

На основании этих соображений можно заключить, что **азот** либо входит в состав водорода или углерода (предположение весьма маловероятное), либо сам является соединением неких элементов, содержащихся в растительных веществах. Одно из этих двух допущений необходимо принять для объяснения явлений анимализации, поскольку нет иного мыслимого источника для этого **четвёртого начала**, входящего в состав хилуса (млечного сока) при переваривании растительной пищи. Такие же наблюдения применимы к сере, фосфору и всем остальным составляющим органических тел, которые до сих пор не поддавались химическому разложению.[44] Сера выделяется в ходе самых разнообразных процессов, проводимых как над растительной, так и над животной материей; и это вещество, равно как и фосфор, присутствует в организме в слишком значительных количествах, чтобы их появление в жизненном цикле могло остаться незамеченным. Не только весь костный скелет, чью основу составляет тройной состав из фосфора,

[44] «Весьма значительное число наблюдений заставляет меня предполагать, что количество фосфора, выделяющегося после смерти, пропорционально активности нервной системы при жизни». — Кабанис.

кислорода и извести; но также фосфор может быть выделен почти из всех твердых частей тела, а значительные количества фосфорной кислоты ежедневно выводятся с мочой.[45]

Вероятность правильности этого взгляда значительно возросла после недавнего открытия способа разложения земель и щелочей. Однодольные растения выделяют большое количество **кремнезема**, входящего в состав их эпидермиса; а цельная яичная скорлупа, содержащая в себе весьма много извести, формируется в организме птицы в течение всего нескольких часов.[46] Ни один из этих фактов не может быть удовлетворительно объяснен иначе, как прямым образованием извести и кремния силами **животной химии**. Подобно тому как животная материя образуется из растительных веществ, она может быть вновь приведена к аналогичному им состоянию посредством химических операций. Если подвергнуть кусок мышцы воздействию азотной кислоты, то азот улетучивается, а сама масса превращается в горючее вещество, по своему составу напоминающее растительные масла. Похожий результат достигается и при длительном воздействии потока проточной воды, в результате чего образуется своеобразное вещество, весьма напоминающее спермацет и получившее название адипоцир (жировоск).

Что касается солевых компонентов крови, то поваренная соль и некоторые землистые сульфаты могут поступать в организм вместе с пищей и проникать в кровеносную систему в неизменном виде. Сода, фосфорная кислота, известь и, возможно, железо, скорее всего, усваиваются путем абсорбции; при этом фосфат извести вырабатывается питающими сосудами костей, а сода — печенью в процессе секреции желчи.

К **животным жидкостям**, вырабатываемым путем секреции, можно применить лишь немногие общие наблюдения. Поскольку каждый конкретный продукт выполняет определенную функцию, он обладает свойствами, которые специально адаптированы для этой цели. Все они в той или иной степени отличаются от крови — общего материала, из которого они образуются, — однако все сохраняют следы своего происхождения в виде присутствия в их составе **альбумина** или **фибрина**. Как правило, они содержат такую же пропорцию солевых веществ, какая обнаруживается в сыворотке крови.[47] Однако желчь и моча, которые наиболее сильно отличаются от циркулирующей жидкости, содержат особые соли, выделяющиеся в процессе их секреции.

Берцелиус утверждал, что секреты, предназначенные для выведения из организма, имеют кислую реакцию, в то время как те, что возвращаются в систему

[45] См. Дэви, «Основы химической философии», стр. 480.
[46] Воклен также обнаружил в выделениях птиц вдвое больше фосфорнокислой извести, чем ее содержалось в зерне, которым они питались. Образование извести жизненными силами животных, по-видимому, является общим законом. Решающим доказательством сего факта служат кораллы и меловые скалы.
[47] Юнг, «Медицинская литература».

кровообращения, обладают щелочной природой. Данное замечание, пускай и не вполне справедливое, но всё же имеет под собой то основание, что анимализация в своем развитии тяготеет к образованию оксидов и кислот с двойными и тройными основаниями. Поэтому предполагается, что в соединениях гиперанимализованной материи, как правило, преобладает кислота.

Глава III. О сочетании органов и функций

«Ибо никогда еще не рождалось такое животное, которое имело бы облик одного существа, а разум другого; но всегда и тело, и душа принадлежат одному и тому же, так что за телом определенного рода неизбежно следует и соответствующий нрав».
- Аристотель, Сочинения.

Подобно тому, как свойства различных тканей и жидкостей организованных существ проистекают из химических качеств составляющих их элементов, так формы и сочетания их органов также обусловлены сходными потребностями; они не являются ни произвольно установленными, ни подверженными бесконечному разнообразию. Органы питательной функции (в особенности) строго определены как по числу, так и по строению законами, допускающими лишь незначительные отклонения; и если органы отношений допускают кажущуюся большую широту, то сие обстоятельство объясняется исключительно более обширным кругом явлений, с которыми их существованию суждено пребывать в гармонии

В этой необходимой связи можно усмотреть то **единообразие**, которое пронизывает весь органический мир, и благодаря которому природа, даже в самых причудливых своих проявлениях, неизменно следует одной **архетипической модели**. Именно этой причиной объясняется всеобщность сосудистого строения органических структур, повсеместное присутствие одних и тех же элементов во всех растительных веществах, и тождество состава у различных видов животных. Закономерное разделение растений на корень, стебель и ветви, а животных — на голову, туловище и конечности, подобным же образом указывает на давление некой общей необходимости. В тех же случаях, когда у отдельных видов наблюдается отклонение от этой модели, причины такого отступления следует искать в неких локальных или внутренних обстоятельствах, присущих конкретной особи.

Ассимилирующие органы, будучи общими для всех живых существ, тем не менее, различаются по степени своей сложности. Поскольку широта и сила их функционирования зависят от глубокого химического строения твердых частей, и сопровождаются соответствующим потреблением жидкостей, процессы питания возрастают в своей энергии и сложности пропорционально общим силам всего остального **органического механизма**. Тем не менее, ассимилирующий аппарат может быть сведен к двум основным типам: (1) Растительная организация; (2) Животная организация. Корни растений, поглощая окружающие их питательные вещества, одновременно превращают их в ту слизистую и сахаристую субстанцию, которая составляет их циркулирующую жидкость, без участия специфического локального органа пищеварения. Однако очевидно, что животные, вынужденные принимать пищу через промежутки времени, обусловленные не столько их потребностями, сколько возможностями её добычи, нуждаются во внутреннем

устройстве, которое служило бы резервуаром для содержания питательных веществ. Это позволяет особи удовлетворять иные нужды в то время, пока происходит превращение пищи в хилус. Таким хранилищем является **желудок** — самый универсальный из органов животного мира.

Пищеварение, будучи функцией желудка и кишечника, представляет собой процесс, настолько неразрывно связанный с животным существованием, что наличие органов пищеварения было принято натуралистами в качестве наилучшего критерия для разграничения растительных и животных форм жизни. Поскольку различные виды пищи весьма близки по своему элементному составу, а с другой стороны, основные компоненты животных жидкостей имеют общее сходство, потребности всех животных в отношении процессов пищеварения почти одинаковы. Их ассимилирующие органы, состоящие из одних и тех же тканей, различаются между собой главным образом теми приспособлениями, которые обусловлены физическими свойствами и внешними обстоятельствами их привычного рациона.

В строении животного нет частей более разнообразных, чем органы, посредством которых осуществляются захват и пережевывание пищи — начальных этапов процесса усвоения. Эти органы столь строго сообразованы со свойствами пищи, служащей пропитанием для каждого конкретного существа, что именно они дают самые устойчивые признаки, по которым могут быть определены роды высших и благородных животных.

Вещества, употребляемые в пищу, обладают всевозможной консистенцией: они бывают твердыми и мягкими, плотными и жидкими. Они могут находиться на поверхности земли, в воде или в воздухе; равным образом и сама пища может быть мертвой и пассивной либо живой, способной к сопротивлению или бегству. Ко всем этим различным обстоятельствам ротовой аппарат и зубы каждого живого вида адаптированы через соответствующие особенности их механики и организации. Так, коренные зубы травоядных животных гладкие и устроены для перетирания растительных волокон, тогда как у хищников они неровные и зазубренные, дабы ими было удобно разрывать и расчленять плоть. Резцы тех животных, что срезают или откусывают пищу, остры и плоски; они расположены таким образом, что в своем взаимодействии подобны работе лезвий ножниц. Клыки, расположенные по обеим сторонам челюсти хищных зверей, достигают чрезмерной длины, превращаясь, таким образом, в грозное оружие нападения. Схожее устройство мы находим и у слона: оно служит ему инструментом для вскрытия стволов молодых сочных деревьев, побегами которых этот исполин любит кормиться.

Хищные рыбы, которые заглатывают добычу целиком и не пережевывают пищу, обладают зубами, приспособленными исключительно для захвата и удержания жертвы. С этой целью они расположены рядами на языке, нёбе и в глотке и загнуты

назад, по направлению к желудку, дабы предотвратить любое ускользание того, что однажды попало в пасть.

Клювы птиц не менее точно адаптированы к характеру их питания. Крепкие и крючковатые у плотоядных и хищных племен, они приспособлены для битвы и захвата. У более мелких семейств, питающихся червями и насекомыми, они мягкие и почти гибкие; в то время как у тех родов, что существуют за счет семян и нуждаются в отделении их твердой шелухи, клювы остроконечны и имеют роговую структуру. Ширина этого органа у утиных, позволяющая животному искать пропитание на поверхности мелководья, и его длина у вальдшнепа, извлекающего добычу из мягкой болотистой почвы, не требуют дополнительных комментариев.[48]

Пережевывание не является необходимым, когда пища по своей природе кашицеобразна или жидка. Кроме того, во многих случаях его действие заменяется силой растворяющих соков желудка; а у куриных птиц функции зубов выполняет особый мускулистый желудок, или пупок, который оказывает на пищу колоссальное давление и подготавливает ее. Чтобы составить некоторое представление об измельчающей силе этого органа, достаточно упомянуть, что **Спалланцани** помещал острия ланцетов в свинцовые пули и вводил их в мускульные желудки индеек; и хотя сам орган в ходе эксперимента остался невредимым, ланцеты были полностью разрушены действием желудка.

Потребность в жевании, у каких бы животных она ни наблюдалась, подразумевает наличие мускулистых губ, подвижного языка и железы (или системы желез) для выделения слюны, которой пища смачивается во время пережевывания. Именно у таких животных эти органы достигают своего совершенного развития.

Феномен пищеварения на протяжении многих лет занимал умы физиологов, однако до сих пор он в значительной степени ускользал от их изысканий и понимания. Было бы ни полезно, ни интересно подробно разбирать различные теории **мацерации** (размачивания), **тритурации** (растирания), **ферментации** (брожения) и прочие, которые, основываясь на частных и неполных воззрениях, давно были опровергнуты.[49] На данный момент опытным путем установлено лишь следующее: пища после проглатывания поступает в желудок, где удерживается в течение значительного времени и подвергается воздействию естественных секретов этого органа. Под их влиянием она медленно растворяется, превращаясь в

[48] Каракатицы, охотящиеся на мелких ракообразных, имеют роговой клюв, подобный клюву хищных птиц.

[49] Вольтер, хоть и не будучи физиологом, ясно видел нелепость подобных спекуляций современных ему врачей, которые объясняли физиологические факты попеременно то математическими, то химическими принципами, в зависимости от того, какая отрасль науки была в моде. «Я позволяю, — замечает он, — Борелли приписывать сердцу силу в восемьдесят тысяч фунтов, которую Киль сводит к пяти унциям. Я позволяю Экке превращать желудок в мельницу, а Ван Гельмонту — в химическую лабораторию».
— «Диалоги».

сероватую, однородную, кашицеобразную массу, называемую химусом. Как только это превращение свершается, нижнее отверстие привратника, остававшееся до того закрытым, открывается вследствие расслабления его сфинктера,[50] и химус проходит в верхний отдел кишечника — двенадцатиперстную кишку. Здесь он подвергается воздействию обильного секрета желчи и панкреатического сока, природа действия которых остается совершенно неизученной. Тем не менее, результатом этого процесса становится отделение питательной части пищи, или хилуса (млечного сока), от фекального осадка. Хилус не смешивается с остальной массой, а прилипает к оболочке кишечника; можно наблюдать, как он проникает во всасывающие сосуды, имея вид млечной жидкости. В нижнем отделе пищеварительного тракта, который из-за своего большего диаметра именуется толстой кишкой, происходит третье превращение остатков пищевой массы, к этому моменту уже полностью лишенной питательного хилуса; вследствие чего она обретает свой фекальный вид и свойства. На эту функцию кишечника эксперименты не пролили никакого света. Физиологи пребывают в столь же глубоком неведении и относительно пути, которым следуют обычные разжижающие жидкости. Скорость, с которой определенные вещества проникают в органы выделения, порождает убежденность в том, что водянистые субстанции попадают в кровоток незамедлительно; однако маршрут, по которому они транспортируются, до сих пор оставался скрытым от исследователей.

Тщетно строить теории на столь скудном основании из немногих фактов. Существуют люди, склонные считать феномен пищеварения процессом ***электрическим***; так, доктору Уилсону Филипу удалось возобновить сей процесс после его приостановки путем перерезки восьмой пары нервов, пропустив гальванический ток через область желудка. Этот эксперимент, хотя и дает весомые основания предполагать идентичность нервного и гальванического воздействий, в строгом смысле слова доказывает лишь то, что последнее является одним из мощнейших стимуляторов живых тканей. До тех пор, пока электричество не удастся применить таким образом, чтобы достичь аналогичных результатов в химических сосудах, мы будем вынуждены приписывать их той неведомой силе, которая управляет всеми прочими жизненными процессами, — **жизненной энергии**. Но вернемся к теме.

Зоофиты, занимающие во многих отношениях промежуточное положение между растениями и высшими животными, по-видимому, существуют за счет уже усвоенных соков тех видов, на которых они охотятся, не подвергая их при этом сколь-нибудь значительному изменению. Их орган пищеварения представляет собой простой желудок, или мускульный мешок, имеющий всего одно отверстие, служащее как для приема пищи, так и для извержения продуктов выделения. У всех

[50] Сфинктеры — это мышцы, закрывающие отверстия. Они образованы круговым расположением мышечных волокон, размещенных вокруг отверстия таким образом, что при их сокращении просвет последнего полностью перекрывается. Естественное состояние истинного сфинктера, в отличие от прочих мышц, — сокращенное. Термин происходит от греческого σφιγγω — «сжимать».

прочих отрядов пищеварительная трубка имеет значительную длину, снабжена одним или несколькими расширениями, или желудками, и обнаруживает на различных своих участках определенные структурные особенности, сообразные с соответствующими различиями в их функциях. В этих случаях всегда имеются два четко разделенных отверстия: одно — для принятия пищи, другое — для удаления фекальных остатков.

Внутренняя оболочка кишечного канала, равно как и любая иная внутренняя поверхность, входящая в соприкосновение с чужеродными веществами, принадлежит к тому типу тканей, который получил наименование слизистых оболочек. Эти ткани, несмотря на множество модификаций в различных органах, где они встречаются, повсюду сохраняют свой общий характер, обнаруживающий немало сходств со свойствами кожи. Некоторые полипы, будучи вывернуты наизнанку, подобно пальцу перчатки, продолжают жить и переваривать пищу той поверхностью, которая прежде была внешней стороной их тела. Слизистые оболочки, выстилающие поверхность пищеварительного тракта, легких, почек, носа и т. д., по-видимому, обладают свойствами, которые меняются в зависимости от их различной степени жизненной силы, но при этом сохраняют определенное сходство в силу идентичности своего строения; в этом отношении они отличаются от кожи не более, чем друг от друга. Все слизистые ткани способны к всасыванию своей поверхностью, хотя и с разной степенью интенсивности. Точно так же все они, по-видимому, изменяют состав атмосферы при контакте с ней, превращая кислород в углекислый газ; и все они выделяют жидкость, обладающую способностью растворять различные питательные вещества. Однако, несмотря на то что эти свойства в той или иной мере общи для всех слизистых тканей, у высших классов животных лишь слизистая оболочка легких способна поддерживать жизнь посредством дыхания, и только слизистая оболочка желудка обладает растворяющей способностью, достаточной для питания организма.

Слизистые оболочки — это части организма, наделенные великой жизненной энергией и богатой сосудистой сетью. Они изобилуют поглощающими и выделительными сосудами и щедро снабжены нервами. Они также усеяны многочисленными мелкими железистыми тельцами, именуемыми фолликулами, которые вырабатывают ту особую жидкость, от которой ткань и получила свое название. Слизистый секрет, как правило, обладает известной степенью вязкости, что служит для защиты оболочки от слишком грубого и резкого воздействия веществ, соприкасающихся с ней. Он, однако, варьируется в различных органах, приспосабливаясь к их частным функциям. Слизистый секрет желудка вязкий и по внешнему виду ничем не примечателен: в нем нет никаких особых черт, которые указывали бы на мощь его растворяющей способности. Эта сила, весьма значительная у всех животных, достигает своего пика у плотоядных видов, так как у них она способна разрушать даже костную ткань. В примечательном случае, зафиксированном в больнице Святого Томаса, когда некий человек проглотил

несколько складных ножей, после его смерти было обнаружено, что их роговые рукояти были в той или иной степени полностью разъедены.

Желудочные соки также обладают исключительной способностью свертывать белок. Именно по этой причине желудки телят, пропитанные их собственным соком, засаливают и хранят для нужд молочного хозяйства: их используют для створаживания молока при производстве сыра. Путем вымачивания (мацерации) этого вещества в теплой воде можно получить достаточное количество сычужного фермента, чтобы коагулировать массу молока,[51] в шесть или семь тысяч раз превышающую вес самого фермента. Белковые жидкости при попадании в желудок сначала подвергаются свертыванию, а затем растворяются под воздействием желудочного сока.

Таковы общие свойства, характерные для слизистой оболочки желудка. В остальных отделах кишечного канала секрет не проявляет столь интенсивной растворяющей и свертывающей силы, какую обнаруживают желудочные соки. Жизненная энергия кишечника также представляется менее развитой по сравнению с желудком, а его функции значительно более ограничены; они, по-видимому, сводятся лишь к поглощению хилуса и мало способствуют перевариванию пищи.

Продвижение пищи по этой сложной трубке регулируется слоем **мышечных волокон**, который извне прилегает к слизистой оболочке и меняется в различных своих частях в соответствии с потребностями того или иного отдела. Мышцы, действующие в начале трубки, подвластны воле, и акт глотания совершается по желанию живого существа; однако, когда пища уже поступила в пищеварительный канал, её дальнейший путь определяется теми возбуждающими свойствами, которые она приобретает в процессе последовательных изменений. Мышечные волокна этой оболочки расположены так, что при сокращении они уменьшают просвет канала. Они действуют не одновременно, а последовательно в разных своих частях, сообщая кишечнику движение, напоминающее **ползание червя**. В желудке, помимо этого, так называемого перистальтического движения, мышечные волокна совершают постоянное и соразмерное сокращение. Это заставляет орган плотно облегать свое содержимое, каков бы ни был его объем, и поддерживать это состояние, не допуская образования пустот или незаполненного пространства. Дабы противодействовать этой силе и удерживать пищу в желудке до тех пор, пока она не подвергнется полному воздействию растворяющих соков, выходное отверстие желудка, или **привратник** (pylorus), замыкается мышцей-сфинктером; такое устройство, которое преграждает путь содержимому органа, за исключением тех случаев, когда эта мышца находится в состоянии расслабления.

На всем протяжении той части кишечного канала, что находится внутри брюшной полости, он снаружи от своего мышечного слоя выстлан серозной

[51] «Анатомия» Белла.

оболочкой, именуемой брюшиной. Её функции, впрочем, не связаны напрямую с процессом пищеварения.

Пищеварительный тракт у всех животных состоит, по сути, из слизистой оболочки, обладающей активной способностью к действию и секретирующей соки, приспособленные для растворения и усвоения пищи, и мышечного слоя, наложенного поверх слизистой оболочки и предназначенного по своей структуре для регулирования продвижения питательных веществ на различных стадиях их пути.

Подобное общее устройство допускает лишь две основные модификации, обусловленные природой веществ, на переработку которых рассчитаны эти органы. У животных, питающихся растительной пищей — какое бы положение они ни занимали на лестнице существ — органы пищеварения устроены сложно и отличаются большим объемом; тогда как у плотоядных видов они короче и проще.

У плотоядных животных всё устройство рассчитано на то, чтобы обеспечить пище легкое и быстрое прохождение: два отверстия желудка расположены друг напротив друга и лежат почти на оси пищеварительного канала; в то время как у травоядных видов эти части расположены ближе друг к другу, из-за чего желудок образует своего рода слепой мешок (cul de sac). У плотоядных животных длина кишечника редко превышает длину тела более чем в пять раз, тогда как у растительноядных она значительно существеннее. У барана, к примеру, она почти в двадцать семь раз превосходит длину самого животного. Помимо столь значительного удлинения, пищеварительный канал различных видов травоядных увеличен и в поперечном сечении благодаря ряду специфических особенностей строения. Семейства жвачных обладают тремя весьма объемистыми мешками, или добавочными желудками, не считая того, в котором происходит собственно процесс пищеварения. У других семейств увеличение площади поверхности достигается за счет расширения толстого кишечника. Кишечный тракт тех существ, что питаются продуктами обоих царств безразлично, занимает промежуточное положение между трактами плотоядных и травоядных племен. У человека длина кишечника примерно в шесть или семь раз превышает длину тела.

Взаимосвязь, установленная таким образом между организацией пищеварительного тракта и пищей, для переработки которой он предназначен, вполне очевидна. Общий объем преобразований, необходимых для превращения животной материи в хилус (питательный сок), неизбежно меньше того объема изменений, посредством которых происходит усвоение («анимализация») растительной пищи. В то же время жесткие и неподатливые волокна растений оказывают гораздо большее сопротивление жизненному воздействию желудка. Доля хилуса, которую можно получить из определенного объема растительной пищи, также значительно меньше того, что дает аналогичная порция животного вещества. В силу этих причин становится необходимым, чтобы растительная пища

дольше задерживалась в кишечнике, а также чтобы существовал некий резервуар, способный вмещать одновременно значительные объемы питательных веществ.

Необходимость в столь различном устройстве органов существенно влияет на внешние очертания различных животных из класса млекопитающих (Mammalia). Плотоядные животные, обладая коротким кишечником, отличаются узкой поясницей и менее выраженным, подтянутым животом; в то же время быстрота и сила, необходимые для захвата добычи, подчеркиваются сравнительно широкой и глубокой грудной клеткой. Травоядные же животные характеризуются объемистым туловищем и, за редким исключением, менее развитой грудью.

Изложенные здесь наблюдения над строением кишечника применимы ко всем отрядам животных,[52] так что повадки неизвестного вида могут быть установлены путем вскрытия, или же, напротив, особенности анатомии могут быть предсказаны на основании знакомства с его образом жизни. Даже те насекомые, которые в стадии гусеницы питаются листьями растений, но, достигнув совершенной формы, сосут цветочный нектар, в течение своих метаморфоз[53] претерпевают соответствующее изменение в устройстве кишечного канала. Таким образом, они являют собой прекрасную иллюстрацию того положения, что жизненные явления суть следствия **физических законов материи**, и что различия в строении отдельных органов проистекают из свойств тех тел, с которыми они находятся в непосредственной связи.

При попытке определить различные обстоятельства, обуславливающие существование и развитие тех или иных органов, изыскания физиолога неизбежно ограничиваются теми частями, функции и польза которых осознаны со всей ясностью. В тех случаях, когда предназначение какой-либо части в экономии организма понимается не вполне, ее связи с внешней природой остаются столь же туманными, как и те отношения, которые она поддерживает с остальными частями животной машины.

---

[52] Относительная длина кишечного канала у млекопитающих больше, чем у других классов, и последовательно уменьшается у птиц, рептилий и рыб. У некоторых хищных рыб он даже короче самого тела.

[53] Метаморфоз насекомых — факт весьма любопытный, хотя ныне и хорошо знакомый большинству читателей. В первом состоянии своего существования, именуемом стадией личинки или гусеницы, насекомые чрезвычайно прожорливы; их рост происходит стремительно, а органы пищеварения в значительной степени преобладают в организме. «У личинки, — говорит де Тиньи, — все есть желудок, от самого пищевода до анального отверстия».

В последнем, или совершенном состоянии, они принимают мало пищи или не принимают ее вовсе: кишечный канал сокращается, уступая место органам размножения, которые отныне берут верх и определяют почти исключительно нравы животного. У высших животных в период полового созревания также происходит изменение функциональной силы органов и переворот в инстинктах и привычках, что имеет некое отдаленное сходство с метаморфозом насекомых.

Это наблюдение с особой силой применимо к печени — органу, который, несмотря на свои внушительные размеры и преобладающее влияние на конституцию организма, выполняет функции, природа и насущная необходимость которых изучены далеко не полностью. О важности этого органа в животной экономии можно судить по его раннему развитию у плода, а также по его повсеместному присутствию у всех животных, наделенных сердцем. Даже насекомые, будучи лишены прочих желез, выделяют из внутренней поверхности определенных перепончатых мешочков желтую жидкость, по всей видимости, аналогичную желчи.

Химический состав желчи был тщательно изучен и хорошо известен; однако то, каким образом связь её элементарных составляющих влияет на процесс осаждения хилуса (млечного сока), от этого не стало более понятным. Желчь представляет собой маслянистое или мылоподобное соединение зеленовато-желтого цвета, вязкой консистенции и крайне горького вкуса. Содержащееся в ней маслянистое вещество по своим свойствам весьма близко к спермацету; оно удерживается во взвешенном состоянии в жидкости благодаря значительному количеству соды и некоему белковому веществу, имеющему сильную склонность к разложению (см. Фрукруа). Каким именно образом этот щелочной продукт способствует образованию хилуса, невозможно даже предположить. Хотя при закупорке желчных протоков пищеварительные функции расстраиваются, а метеоризм и диспепсия становятся обычными спутниками желтухи, тем не менее, полная приостановка хилопоэтического действия (процесса образования млечного сока) отнюдь не является неизменным следствием отсутствия желчи в кишечнике. Основываясь на слабительном эффекте искусственного мыла, физиологи склонились к мнению, что желчь служит естественным раздражителем кишечника. Для такого предположения, по-видимому, есть определенные основания, поскольку присутствие избыточного количества этой жидкости в пищеварительном тракте чрезмерно усиливает интенсивность перистальтики. Раннее развитие печени в эмбриональном периоде — в то время, когда функции кишечного тракта еще не задействованы и этот орган как часть пищеварительной системы совершенно бесполезен — навело французских физиологов на мысль, что он каким-то образом связан с поддержанием особого здорового состава крови. Значительные размеры этого органа также подтверждают данную гипотезу, ибо он гораздо крупнее, чем требовалось бы для одной лишь выработки желчи, объем которой, вероятно, уступает объему выделяемой слюны. Печень, особенно у рыб, представляет собой орган, изобилующий жиром; а количество углерода и водорода, содержащееся в этом веществе, равно как и в компонентах желчи, дает основание предполагать, что данные элементы извлекаются из крови именно в этом органе. На последующих страницах будет отмечено, что выведение углерода из крови является прямой функцией легких и что эта функция имеет жизненно важное значение в каждый момент существования. У плода процесс очищения крови от углерода в легких еще не начался; вполне возможно, что значительные размеры печени плода

обусловлены активностью этого органа, выступающего в роли заместителя органов дыхания. Однако то, что печень действительно производит подобное изменение в крови, отнюдь не доказано. В пользу этого предположения говорит, однако, и тот дополнительный аргумент, что печень — единственная железа, получающая материал для своей работы из венозной системы, кровь в которой характеризуется избытком углерода. Греческие врачи приписывали печени важную роль в кроветворении; и ее обширное влияние на общее устройство организма, безусловно, не согласуется с представлением о её функциях лишь как одного из хилопоэтических (пищеварительных) органов. Но прежде, чем французская теория будет признана чем-то большим, нежели простое предположение, необходимо доказать одно существенно важное положение: а именно, что секреция осуществляется путем отбора определенных элементов из крови, а не заключается в изменениях, происходящих во всей массе жидкостей, на которые воздействуют железы.

Полезная роль панкреатического сока в процессе пищеварения еще менее очевидна, чем роль желчи. Это прозрачная жидкость, чрезвычайно напоминающая слюну, и по этой причине ее самым нелепым образом считали приспособлением, предназначенным для разбавления желчи. У человека и у многих млекопитающих имеется придаток печени, называемый желчным пузырем, специально предназначенный для накопления и концентрации желчи (путем поглощения ее водянистой части) в то время, когда двенадцатиперстная кишка и желудок пусты; желчный пузырь изливает свое содержимое в кишечник именно в тот период, когда орган растянут химусом. Сосуществование одного органа, предназначенного для концентрации желчи, и другого — для её разбавления, представляет собой очевидную нелепость.

Поджелудочная железа не является органом, повсеместно встречающимся в животном мире; она формально отсутствует у всех известных семейств рыб, за исключением акул и скатов. Однако у прочих рыб имеется сложный конгломерат органов, называемых пилорическими придатками, которые вырабатывают жидкость, признанную натуралистами аналогичной секрету поджелудочной железы. С пищеварительным аппаратом по своему расположению связана селезенка — орган, функции которого остаются совершенно неизвестными. Она не проявляет раздражимости, не имеет выводного протока, и в отношении её тонкого строения до сих пор не было обнаружено ничего удовлетворительного. Её наличие ограничивается исключительно животными класса млекопитающих; и среди них она демонстрирует огромное разнообразие форм, размеров, цвета и положения.

Поскольку имеющиеся данные позволяют сделать только совсем немногие обоснованные выводы, то и гипотезы относительно функций селезенки были пропорционально этому многочисленны. Ибо объяснения явлений множатся в прямой зависимости от подлинной неясности предмета, подлежащего объяснению, — точно так же, как множатся «специфические средства», когда болезнь

неизлечима. Древние полагали, что селезенка вырабатывает atra bilis — ту воображаемую субстанцию, «черную желчь», которая занимала столь значительное место в медицине Галена. Ученые нового времени рассматривали ее как своеобразную «подушку» для поддержания желудка; однако с большей долей вероятности ее считали diverticulum — резервуаром для накопления в периоды покоя желудка того объема крови, который необходим для его усиленной жизнедеятельности во время активного функционирования. Некоторые авторы предполагали, что селезенка играет вспомогательную роль скорее в печеночном, нежели в желудочном кровообращении. В последнее время проводились опыты с целью доказать, что именно в селезенке происходит всасывание, посредством которого жидкое содержимое желудка поступает в общую систему организма, однако убедительных результатов достигнуто не было. Селезенку также удаляли в надежде определить ее назначение: порой животное, казалось, почти не страдало от подобной травмы, в других же случаях операция приводила к расстройству пищеварения, но никакой постоянной закономерности в ходе этих экспериментов выявлено не было.

О кровеносной и дыхательной системах

Жидкости всех органических существ, судя по всему, заключены в сосуды; за редчайшим исключением, они постоянно находятся в состоянии более или менее быстрого движения. В простейших организмах это движение обусловлено исключительно *раздражимостью* самих сосудов. К примеру, представители растительного мира перемещают питательный сок благодаря именно этой силе, которая приводится в действие под влиянием тепла атмосферы. Особенности их жизненного строения допускают временные перерывы в отправлении жизненных функций, поэтому их циркуляция может без вреда зависеть от столь случайного и прерывистого фактора. Сок активно течет в теплые летние дни, замедляется в ночное время и полностью останавливается зимой, не подвергая опасности само существование растения.

Напротив, кровообращение у животных требует непрерывности — от первых мгновений внутриутробного существования до последнего биения жизни. У высших семейств остановка этого процесса даже на несколько минут оказывается для особи роковой.

Сложная природа животного организма и разнообразие положений, в которых могут находиться его части, создают серьезные препятствия для свободного прохождения жидкостей по сосудам. Эти две причины обуславливают необходимость наличия сердца, или нагнетателя (embolus), чья высокая энергия придает импульс циркуляции и поддерживает неослабевающий ток крови ко всем частям системы.

Кровеносная система высших отрядов животных, в которой она достигает своего совершенного развития, состоит из: **артерий**; **вен**; **лимфатических сосудов**. Последние два типа могут рассматриваться как образующие одну систему, в то время как артерии образуют другую. Если для большей наглядности рассматривать каждую из этих систем как единый сосуд, то кровеносный аппарат можно представить в виде резервуара, состоящего из **сердца**, **артерии** и **вены**, соединенных последовательно и образующих собой круг. По этому кругу кровь движется в бесконечной последовательности, отдавая при каждом обороте часть своего объема секреторным и питательным сосудам на артериальной стороне и принимая продукты всасывания и пищеварения на венозной.

Между окончанием вены и началом артерии расположено сердце. Оно представляет собой полый мускул, состоящий по меньшей мере из двух камер, называемых предсердием и желудочком, и снабженный клапанным аппаратом для предотвращения обратного тока крови в момент сокращения. При таком устройстве предсердие соотносится с веной, а желудочек — с артерией. Как только из вены поступает достаточно крови, чтобы растянуть предсердие, оно сокращается и выталкивает свое содержимое в желудочек; желудочек, в свою очередь наполнившись, также сокращается и проталкивает кровь дальше в артерию. Таким образом, движения этих двух камер являются поочередными.

Импульс (букв. Impetus), который кровь получает от сокращения желудочка, слегка расширяет артериальную систему вплоть до ее самых отдаленных ветвей: эластичная оболочка этих сосудов поддается давлению, но стенки сосудов вновь принимают прежний диаметр, как только это давление прекращается. Наличие клапанов в устье аорты, или главном стволе артериальной системы, препятствует возврату крови в сердце; в результате через мельчайшие разветвления системы выталкивается объем крови, равный тому, что был получен из желудочка.

Причины, обеспечивающие дальнейшее продвижение крови за пределы этого этапа круговорота, еще не получили точной оценки. Однако представляется вероятным, что, когда жидкость достигает мельчайшей капиллярной сети, она более не подчиняется власти сердца, поскольку в этих органах биение пульса уже не ощутимо. Наиболее сообразным аналогии кажется приписать дальнейшее движение крови жизненной энергии капилляров, проявляющейся отчасти в сокращении их стенок, близком по своей природе к мышечному движению, а отчасти, возможно, во всасывающей силе венозных устий. Как бы то ни было, крупные вены совершенно пассивны; кровь проталкивается через них силой vis a tergo (напором сзади), возникающей под давлением новых порций жидкости, поступающих в их отверстия. По этой причине вены снабжены клапанными складками своей внутренней оболочки везде, где существует опасность того, что образующиеся длинные столбы крови своим весом могут затруднить кровообращение.

Такова в самом общем, абстрактном представлении кровеносная система животных; однако она допускает некоторые любопытные модификации в различных классах, обусловленные подчинением этой функции процессу дыхания.

Общеизвестным фактом является то, что каждое живое существо нуждается в прямом или косвенном контакте с атмосферным воздухом. У **высших животных** потребность в его воздействии носит непрестанный и неотложный характер, и его отсутствие даже в течение нескольких секунд достаточно для прекращения жизнедеятельности. Природа изменений, производимых этим агентом в живых тканях, еще не была изучена в полной мере; однако представляется, что любая **живая материя** при соприкосновении с атмосферным воздухом в той или иной степени склонна изменять свой состав и сама подвергаться взаимному воздействию. Многие из простейших видов животных воздействуют на воздух всей своей поверхностью и не имеют органов, предназначенных исключительно для дыхания. Однако растения в целом и все высшие разряды животных дышат через специфические органы, коими у растений являются листья, а у животных — легкие или жабры. Многочисленные эксперименты доказали, что те же изменения, которые являются результатом дыхания, в меньшей степени производятся внешними покровами мягкокожих животных; а **Спалланцани** обнаружил, что рептилии, будучи лишенными легких, все же продолжали осуществлять подобные преобразования. Отсюда следует, что наличие обособленного органа дыхания зависит скорее от количественных соотношений, нежели от чего-либо особенного в его функции, необходимой для самого существования.

Процесс дыхания у всех органических существ заключается в воздействии воздуха на циркулирующие в них жидкости, вследствие чего происходит взаимное изменение их свойств. У животных с красной кровью эта перемена вполне очевидна для чувств. Достаточно самого поверхностного наблюдения, чтобы обнаружить существенную разницу между кровью, текущей из артерии, и той, что истекает из вены при повреждении любого из этих сосудов. Первая, если оставить в стороне прочие отличия, имеет ярко-алый цвет, тогда как вторая обладает густо-пурпурным оттенком, близким к черному. Более пристальное изучение показывает, что изменения, за которыми стоит эта разница, происходят во время работы мельчайших капиллярных сосудов, соединяющих артериальную и венозную системы: пурпурная кровь становится ярко-алой в капиллярах легких и вновь обретает свой темный цвет в капиллярах остального организма.

Множество фактов и экспериментов подтверждают, что темно-пурпурная венозная кровь, если она каким-либо образом проникает в артериальное русло, действует как смертельный яд, поражая параличом всякий орган, в который она попадает. Соответственно, анатомия демонстрирует, что легкие получают питание

не от той крови, которая циркулирует в них ради целей дыхания, но снабжены соответствующими питающими артериями,[54] подобно прочим органам.

Степень насущной потребности в подобной аэрации крови непосредственно определяет соотношение между аппаратами кровообращения и дыхания. У всех существ, наделенных общим центром кровообращения, дыхание осуществляется обособленным органом, расположенным по отношению к сердцу таким образом, чтобы при каждом круговороте кровь полностью или частично подвергалась аэрации; причем эффективность этого органа напрямую зависит от возможности последовательно проводить всю кровь через единую центральную точку кровеносной системы. Так, листья растений, не имеющих центра кровообращения, прикреплены к каждой почке; насекомые же, чьи жидкости можно считать застойными, снабжены воздухоносными сосудами, пронизывающими все части тела; таким образом, у этих животных функции дыхания и кровообращения находятся в обратном соотношении.

Степень аэрации, в которой нуждаются питательные жидкости различных животных, сопряжена с объемом и активностью их общих жизненных функций, и в особенности — с мышечным движением.[55] Среди всех тканей организма мышечная и нервная наиболее обильно снабжаются кровью; по мере развития этих систем возрастает и общий объем крови, что, в свою очередь, обусловливает насущную потребность в более мощном и вместительном органе дыхания.

Из всех одушевленных существ птицы обладают наиболее обширной способностью к передвижению. Будучи тяжелее воздуха, они не могут удерживаться в этой среде без такого напряжения мускульной силы, которое намного превосходит величайшую энергию, доступную прочим представителям животного царства. По этой причине органы дыхания птиц достигают наивысшей степени развития. Помимо легких, они наделены воздушными мешками, заполняющими обширные полости тела, а их кости вместо костного мозга содержат воздух. Подобное устройство не только способствует уменьшению удельного веса животного, как полагали некоторые авторы, но и облегчает процесс дыхания, избавляя от необходимости в слишком частом вдохе во время стремительного полета. Вслед за птицами человек и живородящие четвероногие обладают наибольшей мускульной силой; их орган дыхания совершенен, однако в их строении нет ничего аналогичного воздушным мешкам птиц. Эти два класса существ объединяют всех **теплокровных животных**, чья температура тела постоянно превышает температуру

[54] Бронхиальные артерии.

[55] «История соотношений, наблюдаемых у различных животных между интенсивностью их дыхания и энергией их двигательных сил, представляет собой одно из прекраснейших доказательств, кои сравнительная анатомия может предоставить физиологической теории; в то же время она является одним из наиболее блестящих применений сей сравнительной анатомии к естественной истории».
- Кювье, «Лекции», т. IV, стр. 501.

окружающей среды: совершенство их дыхательного аппарата состоит в том, что она столь тесно связана с сосудистой системой, что принимает в себя всю массу крови при каждом цикле ее обращения.

Для этой цели они наделены двойным сердцем, а ток крови через легкие отделен от ее движения по остальному телу. Фактически существуют два круга кровообращения: легочный и системный (малый и большой). Легочный круг расположен между окончанием системных вен и началом системных артерий; его работа обеспечивается правой половиной сердца. Кровь поступает из системных вен в правое предсердие, откуда выталкивается в правый желудочек, а затем через легочную артерию направляется в легкие, где подвергается воздействию воздуха. Легочные вены принимают обогащенную таким образом (аэрированную) кровь и переносят ее в левое предсердие. Системный круг, начинаясь от левого предсердия, продолжается через левый желудочек в системные артерии, и оттуда через вены возвращается к правой стороне сердца, чтобы начать новый цикл.[56]

Благодаря такому устройству органов кровообращения и дыхания ни одна капля крови не проникает в системные артерии, не будучи предварительно аэрированной. В случаях удушья, когда кровь, протекая по легочным сосудам, не получает живительного воздействия воздуха и возвращается в левую часть сердца темно-лиловой, жизненно важные функции немедленно прекращаются.

Жизнеспособность рептилий не находится в столь тесной зависимости от присутствия воздуха, а потому их дыхание несовершенно. Сердце у этих животных, хотя и различается по своему строению у представителей разных семейств данного отряда, во всех случаях устроено так, что функционирует как единый орган. Легочные артерии не образуют круга кровообращения, обособленного от общей системы, но берут свое начало из аорты. Следовательно, вместо того чтобы принимать всю кровь при каждом цикле, легкие воздействуют лишь на малую ее часть. Эта часть, пройдя через легочную ткань, возвращается по легочным венам в венозную систему, где, смешиваясь с «пурпурным» потоком, сообщает всей массе лишь несовершенную степень аэрации — большую или меньшую, в зависимости от того, в какой пропорции находится легочная артерия к аорте, от которой она отходит.

Мышечная энергия этих животных, подобно степени насыщения их крови кислородом, уступает энергии млекопитающих. Даже змеи, чьи движения порой бывают стремительными и яростными, не способны к длительному напряжению сил без последующего крайнего истощения; по этой причине они оказывают лишь слабое сопротивление, если на них нападают сразу после того, как они выследят и проглотят свою добычу.

[56] Движения обеих сторон сердца изохронны: сначала одновременно сокращаются предсердия, а затем — желудочки.

У рыб сердце представляет собой непарный орган, однако оно отличается от сердца рептилий тем, что обслуживает исключительно систему дыхания. Вся кровь, поступающая из системных вен в этот орган, направляется через легочную [жаберную] артерию к жабрам. Жаберные же вены, сливаясь в единый ствол, образуют аорту, по которой кровь течет за счет уже полученного импульса, без участия второго или «левого» сердца.

Следовательно, механизм дыхания у рыб можно назвать совершенным, так как при каждом цикле кровообращения через жабры проходит абсолютно вся кровь; однако степень аэрации, которую она получает в этих органах, не столь значительна. Находясь в водной среде, жабры способны воздействовать лишь на те малые доли воздуха, которые удерживаются в жидкости в растворенном виде. По этой причине эффект от такого дыхания гораздо слабее, чем в тех случаях, когда орган дыхания находится в непосредственном контакте с самой атмосферой. В силу этого обстоятельства данную функцию нельзя оценить как высокоэффективную, и мышечная энергия животного вполне соответствует этому расчету. Поскольку удельный вес рыбы почти равен плотности среды, в которой она обитает, ее движения совершаются с приложением лишь незначительных усилий. Тем не менее, даже самые крупные рыбы быстро выбиваются из сил, когда обстоятельства вынуждают их приложить всю свою мощь в попытке сорваться с крючка рыболова.[57]

У низших классов животных функциональные аналогии прослеживаются с бóльшим трудом. Органы дыхания высших моллюсков подобны органам дыхания рыб. Интенсивность же дыхания насекомых следует оценить весьма высоко: она соразмерна их способности к активному передвижению, так как воздушные сосуды, пронизывающие их тела, приводят почти каждую частицу их вещества в соприкосновение с атмосферой. Спалланцани утверждает, что гусеницы поглощают за определенное время столько же воздуха, сколько лягушки, а бабочки — гораздо больше и тех, и других.[58]

Связь между дыханием и мышечным движением заметна даже на уровне особей одного и того же вида: наиболее сильные животные, как правило, обладают и самой объемистой грудной клеткой. Кроме того, при значительных нагрузках потребляется больше воздуха, чем в состоянии покоя; смерть же от удушья влечет за собой полную утрату мышечной возбудимости.

Устройство дыхательного аппарата также обнаруживает ряд различий, обусловленных тем, в какой среде обитает животное и каким образом оно взаимодействует с вдыхаемым воздухом.

---

[57] Следует помнить, что китообразные, чья сила столь грозна, принадлежат к классу млекопитающих и обладают полноценным воздушным дыханием.

[58] Rapports de l'air avec les êtres organizés, redigés, par J. Senebier («Отношение воздуха к организованным существам», под редакцией Ж. Сенебье).

Структура легких у животных, вдыхающих воздух непосредственно из атмосферы, образована соединением легочных и бронхиальных сосудов с разветвлениями дыхательного горла. У животных, обладающих жабрами, эта последняя система полностью отсутствует, поскольку жабры, омываемые водой и, извлекая из неё элемент, необходимый для дыхания, вовсе не нуждаются в подобном аппарате.

У животных, наделенных высокими дыхательными способностями, разветвления дыхательного горла чрезвычайно мелки, а легочные ячейки, соответственно, многочисленны; их совокупная поверхность, пожалуй, обширнее поверхности всего тела. В целом этот орган имеет ячеистый и губчатый вид. У холоднокровных же животных, напротив, легкие имеют пузырчатое строение и состоят из гораздо более крупных отделов, представляя пропорционально меньшую площадь для соприкосновения с атмосферой.

В классе млекопитающих грудная полость полностью изолирована от внешнего воздуха; от брюшной полости её отделяет широкая мышца, называемая диафрагмой, чьи движения служат для попеременного расширения и сужения объема этой полости. Когда грудная клетка расширяется вследствие сокращения диафрагмы, в ней образовалось бы пустое пространство, если бы внешний воздух, устремляясь по дыхательному горлу, не расширял легкие и не восстанавливал тем самым равновесие. Когда диафрагма вновь расслабляется, упругость стенок грудной клетки и давление брюшных мышц вытесняют избыточный воздух, заставляя легкие вернуться в их прежнее, сжатое состояние. Благодаря чередованию этих движений обеспечивается непрерывный приток воздуха к крови во время её циркуляции по легочным сосудам.[59]

При определенных заболеваниях и при чрезмерном физическом напряжении, когда возникает необходимость в более глубоком вдохе, объем грудной клетки может быть расширен еще сильнее за счет увеличения её диаметра в направлении от позвоночника к грудине. Это достигается благодаря действию всех мышц, способных приподнимать ребра. Мучительные сокращения этих органов в случаях тяжелой одышки накладывают на облик больного явственный отпечаток страдания и агонии.

Дыхание птиц осуществляется посредством механизма, в некоторых отношениях схожего с тем, что был описан в предыдущем абзаце. Для того чтобы воздух имел свободный доступ к воздушным мешкам, распределенным по всем полостям тела, легкие птиц пронизаны несколькими отверстиями. Следовательно,

[59] «При обычных вдохах, совершаемых спокойно и без усилий, диафрагма действует почти в одиночку, и её сокращения почти достаточно для надлежащего увеличения объема груди». – Кювье. Лекции, т. IV, стр. 357.
Кювье также учит, что выдоху способствует эластичность воздухоносных путей и мышечное сокращение их оболочек; однако этот факт невозможно проверить экспериментальным путем, и он не представляется необходимым для объяснения данных явлений.

изменение состава содержащегося в них воздуха не может быть достигнуто простым расширением их ячеек; диафрагма, в силу этого, бесполезна и отсутствует, а дыхание осуществляется за счет движения самой грудной клетки, имеющей весьма значительные размеры. В акте дыхания грудная клетка приподнимается при помощи мышц, при этом пропорционально увеличивается и брюшная полость: таким образом создается вакуум и внешний воздух, устремляясь через дыхательное горло, проникает в легкие и проходит далее в брюшные воздушные мешки. Последующее опускание грудной клетки, сжимающее эти мешки, выталкивает поток воздуха обратно через легкие; таким образом, воздух в них непрерывно обновляется, что обеспечивает эффективное насыщение крови кислородом.[60]

Дыхание лягушек осуществляется посредством процесса, в точности подобного глотанию: порция воздуха сначала заглатывается, а затем выталкивается обратно под давлением мышц брюшного пресса. Животное погибает от удушья, если его рот насильно удерживать открытым, так как в таком состоянии глотание невозможно; поэтому лягушка дышит при плотно сомкнутых челюстях, совершая вдох исключительно через ноздри.

Органы дыхания насекомых, как уже было сказано, распределены по всем частям их тела. Они сообщаются с внешней атмосферой через трахеи, которые открываются по бокам туловища на уровне сегментов брюшка. Если закупорить любое из этих отверстий маслом, части тела, снабжаемые ими воздухом, парализуются. Ракообразные же наделены полноценными легкими или жабрами.

Важность дыхания не ускользнула от внимания древних натуралистов, однако истинная природа его специфических результатов могла быть осознана лишь благодаря помощи современных экспериментальных исследований. Язык древности глубоко проникнут философией, в которой воздуху отводится едва ли не самая заметная роль. Гиппократ отмечал, что воздух составляет часть питания организма и служит *пищей для огня*. Он также предполагал наличие воздуха в воде как необходимое условие для поддержания жизни водных существ;[61] этот факт был впервые доказан Бойлем с помощью воздушного насоса. Используя этот аппарат, Бойль в дальнейшем доказал, что один и тот же объем воздуха не может бесконечно долго служить функции дыхания: животные погибали, если он не обновлялся достаточно быстро. Этот факт ученый приписывал изменению **механических свойств воздуха**, делавшему его непригодным для дыхания; однако более поздние авторы, высказав более удачную догадку, объясняли это неким неведомым изменением его **химического состава**.

Со времен Уиллиса и Мейоу, несмотря на то что этот период отмечен трудами Галлера и Бургаве, знания о предмете дыхания не прирастали — вплоть до того

[60] «Кювье». Джон Белл.

[61] «Ибо плавающие существа никогда не могли бы жить, не приобщаясь к дыханию» (Hippocr. de Flat).

момента, пока **Пристли** и **Шееле** своими бессмертными открытиями в области химии не озарили ярким светом весь горизонт науки, совершив переворот почти во всех отраслях естествознания. Благодаря экспериментам этих авторов и их сподвижников, — Лавуазье, Блэка, Бертолле и других — было обнаружено, что атмосфера содержит два невидимых упругих флюида, из которых лишь один (кислород) способен поддерживать жизнь и горение. Другая часть (нитроген, или азот) при вдыхании в чистом виде вызывает мгновенное удушье.[62] Эта аналогия между жизнью и пламенем, столь долго служившая лишь темой для метафор, оказалась тем более верной, что в обоих процессах кислород соединяется с углеродом, образуя углекислоту.

С момента этих открытий данный предмет подвергался более детальному изучению множеством исследователей — как химиков, так и физиологов; однако успех их был отнюдь не соразмерен тому рвению и таланту, что прилагались к изысканиям. Во всем, что касается жизненных процессов, существует столь много аспектнов, требующих учета, столь много поправок и допущений, которые необходимо сделать, прежде чем результаты опытов обретут чистоту и точность, что едва ли не каждый автор подводит под своими трудами иной итог. Химик не обязательно является хорошим физиологом, равно как и физиолог — точным экспериментатором; оттого редко встретишь человека, в равной мере подготовленного к обсуждению вопросов, возникающих в ходе подобных исследований. Но поскольку почти каждый автор, писавший на эту тему, полагается на собственные наблюдения, из разрозненных результатов частных изысканий в силу превратного использования метода индукции сформировалось **множество теорий**. Следовательно, чем усерднее велись эти труды, тем острее становилась нужда в повторении экспериментов и тем досаднее была потеря времени, затраченного на расчистку почвы для возведения новых теоретических построений.

Все исследователи сходятся во мнении, что главной целью дыхания является извлечение углерода из крови, который выводится при выдохе в соединении с кислородом атмосферного воздуха в виде углекислоты — однако: (1) остается спорным вопрос, поглощается ли кислород кровью и происходит ли его соединение с углеродом внутри сосудов, или же углерод выделяется вовне, и это соединение совершается непосредственно в легочных ячейках/клетках.[63] (2) Равным образом ведутся дискуссии о том, не могут ли в легких происходить и иные химические реакции. Первые химики,[64] исследовавшие этот предмет, полагали, что в процессе дыхания исчезает больше кислорода, чем того требуется для образования получаемой в результате углекислоты; они считали, что этот избыток расходуется

[62] Помимо кислорода и азота, атмосфера содержит около 1/100 части углекислоты, которая, впрочем, в такой степени разбавления не оказывает влияния на дыхание.
[63] Эллис о дыхании.
[64] Кроуфорд. Лавуазье. Дэви.

на соединение с водородом для образования воды, которая, согласно их учению, выдыхается в виде паров влаги.

Более поздние авторы, хотя и не пришли к единому мнению относительно количественного соотношения кислорода и углекислого газа, склонны сомневаться в том, что между кислородом воздуха и водородом крови происходит какое-либо химическое соединение.[65] Однако французские физиологи во главе с **Кювье** по-прежнему придерживаются взглядов Лавуазье по этому вопросу.

Другой вопрос, связанный с предполагаемым образованием воды в легких путем химического союза кислорода и водорода, касается исчезновения части вдыхаемого воздуха; это явление объясняли уменьшением объема образующейся при этом влаги. Сия мнимая убыль, подкрепленная авторитетом сэра **Г. Дэви**, была объяснена более современными исследователями как следствие трудности или, вернее, невозможности привести легкие в конце опыта в то же состояние расширения, в котором они находились в самом начале процесса. В подтверждение этой точки зрения было установлено, что потеря объема не имеет никакой прямой зависимости ни от продолжительности эксперимента, ни от количества воздуха, пропущенного через легкие.

Что касается азотистой составляющей атмосферы, **Дэви** и **Пристли** утверждают, что некое ее количество поглощается; последний оценивает эту величину немногим более чем в пять кубических дюймов в минуту; однако другие авторы,[66] пользующиеся высокой репутацией, утверждают, что подобную убыль обнаружить невозможно. Хотя эта, самая значительная часть атмосферы, не оказывает прямого воздействия на легочную ткань, она, по-видимому, имеет существенное значение, обеспечивая необходимую степень разбавления всей смеси. Несмотря на некоторые противоречия в опытах Лавуазье, не подлежит сомнению, что вдыхание чистого кислорода не может продолжаться долго, не вызывая при этом болезни; и любая аналогия подтверждает утверждение, что, если бы весь мир был окружен атмосферой из этого газа, органические виды природы либо погибли бы, либо подверглись изменениям, полностью разрушающим их естество и самобытность.

Главное изменение, которое кровь претерпевает в легких, заключается в потере углерода; отсюда, казалось бы, следует, что изменение, происходящее с ней в капиллярах большого круга кровообращения, зависит от присоединения углерода — факт, который, если его признать, не поддается удовлетворительному объяснению. Чтобы преодолеть это затруднение, было выдвинуто предположение, что кислород проникает в кровоток, проходит через артерии в состоянии слабой связи с кровью и вступает в тесное соединение с углеродом лишь тогда, когда достигает системных

[65] Бостон о дыхании.

[66] Лавуазье, Воклен, Спалланцани, Эллис, господа Аллен и Пепис единодушно отрицают исчезновение азота, и их мнение, по-видимому, лучше всего согласуется с результатами общих рассуждений.

капилляров. Согласно этой теории, дыхание состоит из двух различных процессов: **поглощения кислорода** и **выделения углекислого газа**, образующегося в ходе превращения алой крови в багровую.[67]

Это и другие подобные объяснения феномена дыхания уязвимы для *очевидного возражения*: они носят **слишком химический характер**, при этом роль жизненного начала учитывается недостаточно. Воздух воздействует не на чистые химические элементы, а на живые соединения, подлинная природа которых сама по себе остается неизвестной. Превращение артериальной крови в венозную — процесс, окутанный глубочайшей тайной. Достоверно известно лишь то, что в той части круга кровообращения, где происходит эта перемена, к общей массе ничего не добавляется. Однако невозможно даже предположить, изымается ли оттуда какой-либо отдельный элемент или же само изменение зависит от перегруппировки всех составляющих элементов между собой. Со стороны легочных капилляров доказано, что вовне выделяется углекислота, а соответствующее (или почти соответствующее) ей количество кислорода исчезает. Помимо этого факта, ни одно утверждение по данному предмету не может быть высказано с полной уверенностью. Многочисленные теории, предложенные на сей счет, могут рассматриваться лишь как **правдоподобные объяснения**, призванные умиротворить воображение, но не способные удовлетворить разум.

Согласно имеющимся оценкам, за двадцать четыре часа в процессе дыхания расходуется немногим более шести с половиной унций углерода,[68] а в минуту выделяется три грана влаги, что составляет 4320 гранов, или чуть менее десяти унций в сутки.[69] Однако к применению математических исчислений в отношении жизненных процессов следует относиться лишь как к приближению к истине, поскольку интенсивность функций меняется при малейшем изменении внешних или внутренних стимулов. Так, во время физических упражнений или после обильной трапезы потребляется больше воздуха, нежели в состоянии покоя или при воздержании от пищи.

С теорией дыхания неразрывно связан и другой ряд явлений, касающихся сохранения животной температуры. Объяснение этих процессов также принято искать в принципах современной химической философии.

Все живые существа имеют строго определенный температурный предел, лишь в рамках которого они способны осуществлять свои жизненные функции. Поскольку они в той или иной степени подвержены колебаниям тепла и холода, обусловленным климатом и сменой времен года, природа наделила их

[67] Гассенфрац и др.
[68] Босток.
[69] Мюррей, Абернети.

способностью к сопротивлению этим воздействиям в той мере, в какой это необходимо для их индивидуального выживания.

Диапазон температур, в котором органические существа сохраняют жизнь и способность к движению, значительно шире у растений и низших классов животных, нежели у видов, наиболее близких к человеку; первые более зависимы от изменений в атмосфере. Тем не менее, даже если подвергнуть деревья исследованию в пору лютых морозов, то обнаруживается, что деревья сохраняют температуру несколько выше точки замерзания. Растения же из рода аронников (Arum) в тот миг, когда цветок прорывает свое покрывало, испускают от цветоносного початка, поддерживающего органы плодоношения, тепло, значительно превышающее температуру человеческого тела. Это явление кажется тем более удивительным из-за внезапности, с которой оно возникает, и краткости его действия.[70]

Температура птиц обыкновенно несколько выше, нежели у млекопитающих. Внутренняя температура человеческого тела в нормальном состоянии составляет менее 100° по термометру Фаренгейта, хотя при некоторых лихорадочных заболеваниях наблюдалось ее повышение до 109°.[71]

Теплота низших животных редко превышает на несколько градусов температуру среды, в которой они обитают, вследствие чего их именуют хладнокровными.

Смена времен года и климата оказывают лишь самое незначительное влияние на температуру человеческого тела. Как на палящих равнинах Африки, так и под суровым полярным небом животная теплота остается неизменной. Дюамель в ходе своих экспериментов установил, что даже в жару печи, в которой пеклось мясо, живой организм претерпевал лишь крайне малое повышение температуры. Эти факты так и не получили удовлетворительного объяснения: наше неведение относительно истинной природы и происхождения явлений самого огня воздвигает очевидную преграду на пути к пониманию того, каким образом эта стихия воздействует на организованные существа.

Первым, кто внес реальный вклад в эту отрасль науки, был доктор Кроуфорд. Опираясь на открытые в то время законы, регулирующие температуру газов, он был склонен приписывать происхождение животной теплоты дыханию. Было доказано, что на температуру тел в целом влияет некая особая материальная причина,

---

[70] Гюбер исследовал Arum Cordifolium. Початки, раскрывшиеся накануне вечером, выказали температуру на двадцать пять градусов выше атмосферной. К следующему утру она упала до двадцати одного градуса, а к вечеру — до семи. Место расположения мужских органов было на тринадцать градусов теплее, нежели то, где находились женские. Внешняя поверхность початка является средоточием сего процесса, коий требует присутствия воздуха и сопровождается выделением углекислоты. Ламарк обнаружил то же явление у обычного придорожного растения — аронника пятнистого (Arum maculatum, известного также как «Лорды и леди»).

[71] При скарлатине.

порождающая явления, соразмерные тому количеству, в котором она может присутствовать. Эта гипотетическая субстанция получила название **теплород** (caloric).

Температурные явления также указывают на присутствие этой причины в двух различных модификациях. В первом случае она, по-видимому, остается химически связанной с телом, в котором пребывает, не обнаруживая при этом никаких ощутимых для наблюдателя эффектов, ввиду чего она была названа скрытым теплородом. В другом же случае она представляется в свободном состоянии или же связана весьма слабо, будучи лишь смешана с иными телами; таким образом, она продолжает проявлять свое ощутимое воздействие и сообщать этим телам те свойства, которыми отличается сама. Данная форма получила название ощущаемой теплоты.

Скрытая теплота, соединяясь с телами в различных пропорциях, определяет их агрегатное состояние: твердое, жидкое или газообразное. Различным телам требуются весьма неодинаковые количества теплорода, чтобы в них произошло какое-либо определенное изменение. Способность подобным образом поглощать и скрывать в себе некое детерминированное количество теплорода именуется теплоемкостью.

Ощущаемая теплота имеет стремление к равномерному распределению между всеми веществами, находящимися в сфере ее действия. Переходя от одного предмета к другому, она производит в них перемены, которые могут быть зафиксированы нашими чувствами или термометром. Для того чтобы поднять температуру различных веществ до одного и того же термометрического показателя, требуются совершенно разные количества теплорода; при этом тела, обладающие наименьшей теплоемкостью, подвергаются наиболее сильному воздействию при получении заданной дозы.

Твердые тела в момент превращения в жидкость, а жидкости при переходе в газообразную форму внезапно обретают колоссальное приращение своей емкости к теплороду. Любое изменение плотности тела неизменно сопровождается соответствующим изменением его теплоемкости. Если смешать равные по весу части кипящей воды и воды, находящейся в точке замерзания, смесь примет температуру, весьма близкую к среднему значению между двумя крайними точками — температуру, составляющую 122 градуса по термометру Фаренгейта. Однако смесь равных частей кипящей воды и льда охладится до 32 градусов. Лед растает, и все избыточное тепло кипящей воды исчезнет, соединившись с ним, дабы удовлетворить возросшую теплоемкость вещества при переходе в жидкое состояние.

Из этого факта следует, что когда тела переходят из твердого состояния в жидкое или газообразное, окружающие их материи охлаждаются; и наоборот, когда

газообразное или жидкое вещество переходит в твердое, выделяется тепло, и температура массы повышается.

Опираясь на эти данные, доктор Кроуфорд обнаружил, что объем углекислого газа и прочих веществ, выдыхаемых легкими, обладает меньшей теплоемкостью и, следовательно, содержит гораздо меньше теплорода, чем вдыхаемый кислород. Согласно его расчетам, две трети всего теплорода, содержащегося в кислороде, высвобождаются таким образом в процессе дыхания; из чего он заключил, что это тепло должно передаваться крови во время ее аэрации, неизбежно способствуя повышению ее температуры.

С другой стороны, он обнаружил, что алая (артериальная) кровь обладает большей теплоемкостью, чем темно-пурпурная (венозная), в соотношении одиннадцати с половиной к десяти. Оказывается, что если бы кровь в процессе аэрации не получала таким образом **теплород из воздуха**, её температура понизилась бы настолько, что это привело бы к охлаждению на 104° ниже нуля по Фаренгейту. Между этими двумя обстоятельствами наблюдается удивительное соответствие. Воздух в легких выделяет количество тепла, достаточное для того, чтобы погубить субъект, если бы не существовало средств для его немедленного отвода; с другой стороны, аэрированная кровь поглощает тепло в таких объемах, которые оказались бы мгновенно смертельными, если бы под рукой не было постоянного притока теплорода, выделяемого из кислорода.

Таким образом, в нескольких словах можно выразить теорию Кроуфорда: газообразный кислород при превращении в углекислый газ теряет две трети своей скрытой теплоты, в то время как кровь в процессе аэрации увеличивает свою теплоёмкость; следствием этого является переход данного агента от одной субстанции к другой при незначительном или вовсе отсутствующем повышении ощутимой температуры в легких.[72] Однако когда кровь вновь принимает свой багровый оттенок, её теплоёмкость уменьшается; накопленный в лёгких теплород (caloric) таким образом переходит в ощутимое состояние. Распространяясь по всему телу, он сообщает каждой частице достаточное количество тепла, чтобы поддерживать её температуру на уровне, необходимом для жизнедеятельности. Следовательно, согласно этой теории, именно капилляры питательной системы являются непосредственным очагом животной теплоты.

[72] Весьма примечательно, как заметил Мюррей в своей системе химии, сколь часто этот момент упускался физиологами из виду. «Если бы единственным источником жизненной теплоты были легкие, она должна была бы быть в этих органах несравненно сильнее, чем где-либо еще; и интенсивность этого горения, необходимого для обогрева всего тела, привела бы к разрушению тканей самих органов, являющихся его очагом».
- Дюма, «Начала», т. III, с. 566.
«То же возражение было выдвинуто Лагранжем и Гассенфрацем, которым следовало бы лучше понимать учение об удельной теплоемкости».

Простота этого объяснения, строгость рассуждений, а также ореол тщательных расчетов и экспериментов, которыми оно окружено, сделали теорию Кроуфорда общепринятой; на протяжении долгого времени её преподавали в ведущих школах Европы. Однако в последние годы она подверглась решительным нападкам. В частности, мистер Броди, поддерживая искусственное дыхание у недавно умерщвленного животного, не преуспел в сохранении температуры тела субъекта, что привело многих к заключению о ложности всей теории. Тем не менее, данный вывод не вытекает из предпосылок, поскольку при искусственном дыхании невозможно соблюсти пропорцию между количеством воздуха, нагнетаемого в лёгкие, и тем количеством, которое расходуется на образование углекислоты. Таким образом, огромное количество теплорода может выводиться из организма, когда вводится больше холодного воздуха, чем того требует физиологическая функция.

Основное возражение, выдвинутое против теории Кроуфорда, основывается на некотором ряде ценных экспериментов, и они указывает на то, что выделение тепла является результатом процесса, протекающего под руководством нервной системы; однако признание этого факта скорее подтверждает, нежели опровергает химическую гипотезу. Данная теория утверждает лишь то, что скрытая теплота поглощается в легких и выделяется в общих капиллярах. В то же время общепризнано, что количество теплорода, высвобождаемого таким образом в любом органе, пропорционально силе кровообращения и, следовательно, интенсивности жизненной энергии; а также то, что тепловые явления сопутствуют определенным изменениям, которые твердые ткани производят в циркулирующих жидкостях. Таким образом, единственные коррективы, которые новые факты вносят в теорию Кроуфорда, заключаются в большей точности при оценке жизненных причин, порождающих химические явления, а также в дополнительных сведениях о том, что теплород выделяется не только во время пурпуризации крови, но и при всех иных изменениях, которым сосудистая система подвергает циркулирующую жидкость.

Согласно теории Кроуфорда, отвод избыточного тепла объясняется испарением выделяемой влаги, что, без сомнения, должно приводить к значительному снижению температуры. Тем не менее, эта часть гипотезы, пожалуй, является наименее совершенной, так как она открыта для множества возражений. Сама же способность животных сопротивляться избытку теплорода остается совершенно необъяснимой.

В данном вопросе теорию Кроуфорда следует принимать лишь с учетом её действительной ценности; не стоит забывать, что животные, не обладающие обильным потоотделением, выказывают ту же способность сопротивляться воздействию внешних температур. Некоторое снижение избыточного жара можно приписать истощению **жизненной энергии**, вызываемому избытком теплорода в организме. Такое истощение неизбежно ослабляет или вовсе приостанавливает те процессы в капиллярах, благодаря которым температура животного

поддерживается на уровне выше окружающего воздуха. Однако сила, удерживающая тепло животного на уровне здоровой нормы даже в условиях раскаленной печи, должна быть куда более значительной, нежели любая из упомянутых причин или все они вместе взятые. Это, по всей видимости, указывает на существование некоего закона теплового действия, который нам доселе неизвестен.

При рассмотрении этого вопроса нельзя игнорировать глубокую и всеобщую аналогию между дыхательной способностью животных и их привычной температурой; сие обстоятельство дает веские основания склониться к воззрениям доктора Кроуфорда. Тем не менее, законы распространения тепла изучены еще слишком мало, чтобы делать какие-либо окончательные утверждения. Существует немало весьма уважаемых ученых мужей, которые и вовсе отрицают наличие материальной причины в феноменах теплорода; эти явления они объясняют некими неведомыми и неопределимыми **вибрационными движениями**, к коим, по их предположению, восприимчива любая материя.

Не вдаваясь в подробное обсуждение этого предмета, следует заметить, что, помимо уже упомянутых случаев скрытой и явной теплоты, **теплород** высвобождается при трении и ударе (как в общеизвестном опыте с ковкой гвоздя, который под ударами молота раскаляется докрасна). Он также проявляется в электрических и гальванических экспериментах в количествах, не допускающих объяснения тем, что он якобы находился в подопытных телах в скрытом состоянии. Теплород также излучается нагретыми телами благодаря присущей ему особой подвижности и, возможно, подчиняется иным способам возбуждения, нам пока не известным, которые могут связывать его с проявлением **жизненной энергии**.[73]

В целом, теория Кроуфорда, хотя она несовершенна и недостаточна, не является заведомо ложной; она по-прежнему будет обладать тем весом, который обусловлен строгостью её индукций, а также многочисленностью и точностью её экспериментов и наблюдений.

Связь между жизнью и дыханием совершенно туманна. Очевидно, что она не заключается в одном лишь выделении углерода, поскольку растения под воздействием света поглощают из воздуха огромные количества этого вещества путем разложения углекислоты. Таким образом, в то время как животные преобразуют часть содержащегося в атмосфере кислорода в углекислый газ, растения, посредством противоположного процесса, восстанавливают запасы кислорода и уничтожают углекислоту.[74]

---

[73] Выделение тепла при ударе и трении обнаруживает поразительное сходство с выработкой электричества обычными машинами.

[74] Эта гармония, впрочем, не представляется необходимой для сохранения чистоты атмосферы, которая, по-видимому, является результатом метеорических явлений, происходящих в гораздо более значительных масштабах. Животный мир составляет

Среди тех мыслителей, что допускают материальную причину жизни, принято считать, что этот элемент существует в растворенном виде в воздухе или же сам является воздухом. Однако представляется более вероятным, что влияние дыхания заключается не в добавлении некоего неизвестного начала в систему, а в изменении состава органических жидкостей. Явная связь жизненной энергии с температурой и развитием дыхательной функции наводит на мысль, что именно тепло является тем специфическим связующим звеном. Многие вещества, содержащие водород и углерод (элементы чрезвычайно горючие), примечательны также своей способностью повышать чувствительность животных тканей; и в целом наиболее подвижные и активные элементы — **кислород**, **водород**, **углерод**, **азот**, **свет** и **электричество** — преобладают в жизненных соединениях. Представление о содействии **тепла** как о факторе, необходимом для жизни, является понятием столь универсальным и древним, что кажется едва ли не инстинктивным. Все эти рассуждения, однако, суть лишь досужие грёзы, и подлинное прямое влияние дыхания на жизнь еще только предстоит открыть.

О различных видах секреции

Под родовым понятием **секреции** можно понимать всякий случай, когда часть крови выходит из круга кровообращения для нужд животной экономии, независимо от того, меняются ли при этом её химические свойства или нет. В столь широком значении это слово охватывает и явления питания, коих существует ровно столько же разновидностей, сколько есть тканей, нуждающихся в питании. Обычно, однако, термин «секреция» ограничивают лишь процессом образования жидких веществ, которые либо выполняют в живой машине определенные функции, либо отделяются исключительно с целью их удаления из организма.

Анатомы и физиологи установили три основных вида секреции: (1) Выпот (эксгаляция), при котором наиболее жидкие части крови выделяются без существенного изменения их свойств; (2) Секреция слизистых фолликулов; (3) Железистая секреция. Однако эти разграничения не представляются в достаточной мере обоснованными. Для того чтобы подобное деление имело под собой основания, необходимо было бы установить различия в самом способе действия каждого из подразделений. Однако, поскольку сокровенная природа секреции остается неведомой, тем менее возможно выявить те родовые отличия, на основании которых можно было бы проводить классификацию её видов. Каждое отдельное выделение является продуктом своей собственной, специфической ткани; и в живом организме нет иных частей, которые обнаруживали бы столь разительные отличия друг от друга, как ткани железистые.

слишком малую долю в мироздании, чтобы сколько-нибудь существенно влиять на состав атмосферы.

Слизистые фолликулы представляют собой малые железистые тельца, заложенные в толще слизистых оболочек; они выделяют ту особую жидкость, которая смазывает эти поверхности. По своему устройству они, несомненно, проще прочих желез, однако их внутренняя структура и отправления представляются совершенно тождественными. Равным образом, различие между выпотеванием (эксгаляцией) и секрецией также не имеет под собой прочных оснований. Некоторые авторы, в действительности, придерживаются мнения, что выпотевание есть процесс почти механический[75] — своего рода просачивание сквозь поры, вызванное исключительно силой давления сзади (vis a tergo), при котором твердые части организма остаются чисто пассивными. Однако несостоятельность этого взгляда со всей очевидностью подтверждается патологическими явлениями. При водянке не только увеличивается количество выпотеваемой жидкости, но и существенным образом меняется её качество — изменение, которое может быть объяснено лишь соответствующей переменой в жизненной силе сосудов, из которых она проистекает, и должна быть независима от причин чисто механического свойства.

Мальпиги и анатомы прежних времен были склонны приписывать различия выделяемых жидкостей механическому разнообразию строения желез; им казалось, что с помощью микроскопа они обнаружили в этих органах наличие фолликулов. Однако позднейшие авторы соглашаются с Рюйшем, полагая, что в структуре желез нет ничего сверх того, что находят в питательной паренхиме других органов, а именно: артерии, вены и выделительного (секреторного) сосуда.

Специфическая природа каждого секрета отнюдь не зависит от механических причин, но проистекает из особой жизненной силы соответствующей части; она претерпевает значительные изменения в зависимости от колебаний чувствительности органов в их здоровом или болезненном состоянии. Железы представляют собой органы с высокоразвитой чувствительностью и потому особенно подвержены недугам. Количество и качество их секретов постоянно меняются, а сама их субстанция чрезвычайно склонна к патологическим изменениям, порождающим самые трудноизлечимые заболевания.

Под термином «железа» (термином, чье определение весьма несовершенно) объединяют и те части организма, которые не имеют явной связи с секрецией. К ним относятся тимус (орган, имеющий значительные размеры в младенчестве, но дегенерирующий по мере взросления), селезенка и прочие. Существует обширный класс образований, относящихся к лимфатической системе, которые, хотя и объединяются общим названием «железы», во всех отношениях отличаются от органов секреции. Речь идет о лимфатических узлах (железах). Они встречаются в различных частях тела по ходу лимфатических сосудов. Некоторые авторы рассматривают их как простые сплетения этих сосудов, однако и их строение, и

[75] Мажанди четко формулирует это положение.

назначение в равной степени окутаны тайной. Столь нелепое применение термина к столь мало родственным образованиям служит опасным источником заблуждений для широкого читателя и создает определенные неудобства даже в специальных анатомических описаниях.

Среди различных железистых структур те, что обеспечивают функции питания, встречаются наиболее регулярно и наиболее точно соответствуют некоему архетипическому образцу. Все полости, допускающие контакт с неорганической или чужеродной материей, выстланы слизистыми оболочками. Выделяемый ими секрет помогает защищать живые ткани от вредоносного воздействия инородных тел, вступающих с ними в соприкосновение. Это достигается путем обволакивания излишне раздражающего вещества слизью, что предотвращает его тесный контакт с чувствительной тканью. Согласно общему закону, усиление раздражения побуждает все секретирующие поверхности к более обильному выделению их специфических жидкостей, которые при этом нередко становятся жидкими, водянистыми и неполноценными. Таким образом, они способствуют смыванию и механическому удалению раздражителей, чья стимулирующая сила не может быть нейтрализована. Попавшая в глаз соринка вызывает мгновенный приток слез, посредством которых она удаляется с глазного яблока. Нюхательный табак оказывает такое же воздействие на слизистую оболочку носа людей, не привыкших к подобному раздражению. Шпанская мушка при соприкосновении с кожей провоцирует выделение серозной жидкости, которая, приподнимая надкожицу, образует прослойку между раздражителем и расположенной ниже истинной кожей. Тот же механизм лежит в основе действия слабительных и рвотных лекарственных средств. Этот закон, столь благотворный, когда причина раздражения материальна, становится крайне обременительным и даже фатальным, если избыток жизненной энергии в тканях обусловлен скорее переменой в их чувствительности, нежели присутствием необычных стимулов: водянки, гуморальные астмы, диареи и многие другие безобразные и губительные недуги являются следствием подобного стечения обстоятельств.

Внутренние полости, не имеющие сообщения с внешней средой, увлажняются серозным экссудатом, который в здоровом состоянии поглощается так же быстро, как и образуется.

Из всех секретов, способствующих функциям питания, моча встречается в природе реже всего. Она свойственна исключительно позвоночным животным и вырабатывается в изобилии лишь у представителей класса млекопитающих. По своему характеру эта жидкость является чисто экскреторной; она не только бесполезна, но и пагубна для внутренней экономии организма.

Составные части мочи удерживаются вместе слабым химическим сродством, и она разлагается немедленно по выходе из сферы жизненного действия. Сразу после выделения из организма она имеет явно кислую реакцию, однако вскоре становится

щелочной вследствие разложения растворенных в ней **четверных животных соединений**: азот и водород образуют аммиак, который перенасыщает оставшиеся кислотные компоненты.

Аппарат, предназначенный для секреции и выведения этой жидкости, чрезвычайно сложен. Будучи одним из последних венцов биологической организации, он, кажется, наследует те несовершенства, которые как в органических, так и в механических системах неизменно сопутствуют наиболее замысловатым устройствам.

Почка,[76] или железа, посредством которой секретируется эта жидкость, по необъяснимому капризу природы расположена высоко в области поясницы и сообщается с мочевым пузырем при помощи длинных тонких трубок, называемых мочеточниками. Тонкая игра химического сродства, благодаря которой формируется этот секрет, делает процесс его образования чрезвычайно подверженным расстройствам. В таких случаях образуется особое вещество, именуемое песком, движение которого из-за специфического расположения почек становится бесконечно более болезненным, тягостным и опасным, чем если бы проводящие пути были устроены иначе. Тщетно было бы скрывать: песок и камни суть болезни, являющиеся прямым следствием некоего несовершенства в механизме самих органов; несовершенства, без сомнения, необходимого, раз оно существует, но в той мере, в какой оно проявляет себя — несовместимого с благополучием индивида, а зачастую и губительного для самого его существования.

Вся мочевыделительная система выстлана слизистой оболочкой, которая, не имея прямой связи со слизистыми пищеварительного тракта или грудной клетки, всё же оказывает на них значительное симпатическое влияние.

Различия в составе мочи при разных состояниях организма служат еще одним аргументом против разделения жидкостей на «испарения» и «секреции». Порой она содержит лишь водные и солевые составляющие крови в чистом и неизменном виде; в иных же случаях состав ее становится сложным и замысловатым. Случается даже, что сама кровь в своем натуральном виде проходит через почки без какого-либо разрыва кровеносных сосудов.

Эти различия в свойствах мочи наиболее приметны в периоды голодания или, напротив, пресыщения; равным образом и сильное душевное волнение вызывает обильное выделение бледной, водянистой мочи, которая образуется с непостижимой быстротой.

---

[76] С почками пространственно связаны два тела, имеющие, по-видимому, железистую структуру и называемые аттрабилиарными капсулами, почечными железами или renes succenturiati. Они не имеют видимых выводных протоков и, судя по всему, не связаны с мочевыделительной системой ничем, кроме топографической близости.

В своем отношении к общей экономии организма эта секреция, по-видимому, служит дополнением к высшим силам анимализации (см. Фрукруа); она предназначена для удаления **гиперорганизованной материи**, которая, останься она в кровеносном русле, неизбежно вызвала бы разложение крови.

Существует существенное различие между мочой плотоядных и травоядных животных. У первых преобладание азота (azote) порождает особое вещество, именуемое мочевиной (urée), которая вместе с образующейся из неё мочевой кислотой в изобилии содержится в их моче. У травоядных же животных преобладает бензойная кислота, тогда как содержание мочевой кислоты ничтожно.

Специфический характер этой жидкости объясняет опасность, сопряженную с её излиянием в клетчатку или брюшную полость, а также обуславливает ряд тяжелых симптомов, возникающих при прекращении её секреции. Из всех естественных выделений организма моча по своим свойствам наиболее далека от крови и живых тканей. В случае излияния она действует как раздражитель крайней едкости, и за её воздействием в не предназначенных для того местах быстро следуют гангрена или омертвение.

Приостановка этой секреции, даже кратковременная, перегружает циркулирующие жидкости гиперанимализированным веществом. Последнее, стимулируя твердые ткани к чрезмерной деятельности, само при этом склонно к разложению; таким образом, оно нарушает химический состав крови и провоцирует лихорадочное состояние.

Секреции, связанные с животной жизнью, отличаются большим разнообразием и своеобразием, нежели те, что относятся к функциям питания. Так, хотя слизистые оболочки всех животных выделяют почти идентичные жидкости в однотипных органах, кожа, напротив — по своему строению и функциям столь тесно напоминающая слизистую ткань, — обнаруживает в своих выделениях различия, сообразные с многообразными повадками различных видов.

У тех групп животных, что облачены в твердую и прочную оболочку эпидермиса, призванную защищать их от внешних повреждений, коим они подвержены в силу своего образа жизни, кожная секреция весьма ограничена или вовсе отсутствует.

У рыб и тех животных, чье естественное обитание неразрывно связано с водной стихией, природные выделения кожи более или менее маслянисты либо же крайне близки к истинной слизистой секреции.

Животные с мягким кожным покровом, наделенные способностью потеть, выделяют через кожу жидкость, свойства которой меняются в зависимости от различных обстоятельств. Опыты **Санкториуса** впервые доказали испарение огромного количества влаги в виде невидимого пара. Когда кожа стимулируется теплом или воздействием определенных лекарственных средств, эту секрецию

можно собрать в жидком виде. Она представляет собой водянистую жидкость со слабой кислотной реакцией, смешанную с небольшим количеством жира, выделяемого мельчайшими железистыми тельцами, заложенными в тканях кожи. Количество выделяемого пота находится в обратной зависимости от объемов секрета слизистой оболочки кишечника и, в особенности, почек.[77] В тесных, перегретых и многолюдных помещениях конденсированные кожные испарения приобретают отчетливый урицинозный (мочевой) запах; весьма вероятно, что в подобных обстоятельствах жидкости, секретируемые почками, поглощаются обратно и выводятся через кожу. Зафиксированы случаи выделения кожной поверхностью берлинской лазури[78] — соединения железа и особой животной кислоты, близкой по своему составу к мочевине. Подобно моче, кожные испарения претерпевают изменения при определенных болезненных состояниях, что, однако, проявляется преимущественно в их запахе.

На основании этих фактов можно заключить, что потоотделение является функцией, дополняющей и замещающей (викарной) секрецию почек; по этой причине его, пожалуй, следует отнести к числу секреций, зависящих от системы питания (нутритивной системы).

Многие секреты, относящиеся к системе органов взаимодействия, неразрывно связаны с механикой соответствующих частей тела; таковы, например, ушная сера или слезная жидкость глаз. Само существование желез, выделяющих эти жидкости, напрямую зависит от наличия того органа, вспомогательную роль для которого они играют.

Некоторые секреции также возникают из поведенческих или физических потребностей животного; таковы, к примеру, яд гадюки для нападения и зловонные испарения некоторых животных для защиты. Эти выделения находятся в прямой связи: одни — с повадками животного как существа плотоядного, другие — со средой его обитания, а именно с дыханием атмосферным воздухом. Ядовитая железа была бы бесполезна змее, если бы та питалась растениями; равным образом и зловонный секрет наземных животных не мог бы распространяться, выделяй его морское существо. С другой стороны, чернильный секрет каракатицы, который это животное использует, чтобы сбить врага с толку и избежать погони, приносит пользу именно благодаря своей способности рассеиваться в воде. Существует небольшое насекомое, именуемое **бомбардиром**,[79] которое при преследовании с взрывоподобным шумом выпускает синеватый едкий пар, крайне раздражающий органы чувств его противника — насекомого того же семейства, но превосходящего его размером и силой в три или четыре раза. К этому необычайному аппарату

[77] При легочной чахотке чередование обильного потоотделения с колликвативной (изнуряющей) диареей представляет собой один из самых трудно поддающихся лечению и губительных симптомов болезни.
[78] Абернети.
[79] Carabus crepitans. — Бингли, «Биографии животных».

последнее замечание применимо в той же мере, что и к маслянистым выделениям копчиковых желез водоплавающих птиц, которыми эти животные смазывают свои перья для защиты от воздействия влаги. Эти и другие подобные секреции, обусловленные особыми обстоятельствами, не могли бы существовать повсеместно, не нарушая жизненного уклада (economy) большинства видов; не будь они столь строго ограничены, содержали бы в себе несовместимые элементы; и если бы плодотворное лоно природы могло порождать подобные сочетания, то органы либо постепенно атрофировались бы в длинном ряду поколений из-за невостребованности, либо сам вид исчез бы из перечня организованных существ. Этот закон подтверждается наличием сосцов у самцов животных: будучи лишены связи с теми инстинктивными импульсами, что присущи женскому организму, они никогда не достигают полного развития и не приходят в то состояние физиологического возбуждения, которое сопутствует секреции молока. У самок функции этого органа пробуждаются особым состоянием матки; и так как это звено в цепи причинных связей у самцов отсутствует, дошедшие до нас свидетельства о мужчинах, вскармливавших грудью своих осиротевших детей, представляются крайне невероятными. Из-за отсутствия означенного стимула мужская грудь, по всей видимости, подверглась постепенной редукции. Рамки задокументированной истории слишком тесны, чтобы предоставить достоверные данные для фиксации тех последовательных изменений, которые могли произойти в строении организованных видов; однако не исключено, что с течением времени этот орган может окончательно исчезнуть из физиологического устройства самца.

О нервном аппарате

Обстоятельства, вызывающие необходимость в нервном органе, не вполне очевидны. Во всем растительном царстве, равно как и у некоторых низших животных не обнаруживается ни малейшего следа подобного строения. Следовательно, оно не является необходимым для поддержания жизненной деятельности.

Функция, находящаяся в самой непосредственной зависимости от нервной ткани, — это **восприятие**; оно неизменно достигает наивысшей степени совершенства у тех видов, чей нервный аппарат развит наиболее полно. Тем не менее, значительная часть этой ткани (симпатическое сплетение) не имеет отношения к задачам восприятия; в то же время кости и фиброзные органы, которые, казалось бы, изолированы от нервного влияния, в определенных болезненных состояниях становятся средоточием острой боли.

Специфическая природа функционального действия в нервной ткани слишком туманна, чтобы давать сведения о тех потребностях, коими оно обусловлено. Почти все теоретики единодушны в том, чтобы считать нервы лишь проводниками некоего тонкого и подвижного агента; а недавние опыты, опубликованные доктором

Уилсоном Филиппом, по-видимому, позволяют заключить, что этим агентом является гальваническое электричество. Первоначальные опыты **Гальвани**, продемонстрировавшие способность гальванического флюида имитировать воздействие нервов на мышечную систему, широко известны. Доктор Филипп продвинулся на шаг вперед, показав, что влияние нервов на секрецию также может восполняться гальваническим током. На этом основании он приходит к выводу, что роль сосудистой системы ограничивается простым распределением жидкостей; в то время как химические изменения, сопутствующие секреции, производятся электрическими разрядами, передаваемыми через них нервами.

Однако, если принять общее положение о том, что **нервная система является лишь гальванической батареей**, необходимо все же искать иные механизмы, дабы объяснить огромное разнообразие веществ, вырабатываемых из одной и той же крови в различных органах секреции; а также обосновать процессы секреции, происходящие в растительном царстве, где подобный аппарат нервной системы вовсе отсутствует.

При изучении всего ряда животных видов обнаруживается определенная соразмерность между развитием нервной ткани и сложностью и широтой функций организма в целом. У человека и высших разрядов животных спинной мозг значительно массивнее, нежели связанные с ним нервы, а головной мозг по объему превосходит спинной. У низших животных головной мозг постепенно уменьшается, и, следовательно, спинной мозг оказывается развит относительно сильнее. У насекомых последний орган представляет собой лишь тонкий шнур, узловатый из-за расположенных на определенных расстояниях утолщений его вещества, называемых ганглиями. Верхний ганглий, занимающий место головного мозга, едва ли отличим от остальных, за исключением своего расположения.

Этим различиям в строении нервной ткани не соответствуют никакие различия функций. Большинство животных видят, слышат, чувствуют вкус, обоняют и осязают; более того, некоторые из них могут обладать такими органами чувств, о которых человек не может составить ни малейшего представления. Все они точно так же чувствуют — то есть осознают впечатления, полученные через органы чувств, — и реагируют на них сообразным образом. При изучении органов чувств мы обнаруживаем, что у различных видов их механическое устройство не в равной степени адаптировано для восприятия физических воздействий специфических раздражителей. Следовательно, мы должны заключить: хотя менее совершенные животные и получают те же впечатления, что и представители высших классов, они воспринимают их в меньшем количестве и меньшем разнообразии. По этой причине их **волевые акты** должны определяться меньшим числом побуждений, которые, в силу самой своей простоты, реже вступают в противоречие друг с другом. Как следствие, они гораздо реже нуждаются в том интеллектуальном взвешивании, которое именуется **разумом**. Подобные животные должны ощущать свои впечатления более остро и стремиться к своей цели более прямолинейно, нежели

существа, подверженные влиянию множества разнообразных причин. В остальном же вся последовательность явлений — от внешнего впечатления к сознанию, а от него к волевому импульсу и мышечному действию — представляется совершенно одинаковой как у самых низших, так и у наиболее совершенных организмов.

Из приведенных соображений можно заключить, что существование и развитие нервной системы определяется скорее объемом и непрерывностью деятельности, необходимой для сохранения различных видов, нежели какими-то особенностями их состояния. Специфическая же цель этой системы в организме заключается в подъеме жизненной энергии всего живого механизма.

Поскольку функциональное действие всего нервного аппарата в целом изучено пока недостаточно, представляется еще более трудным закрепить определенные функции за его отдельными частями. Анатомы обычно разделяют нервную систему на: **головной мозг** (включающий большой мозг и мозжечок); **продолговатый мозг**; **спинной мозг**; **нервы**. Однако, так как обособленные функции не могут быть безоговорочно приписаны каждой из этих частей, подобное деление следует рассматривать как во многом произвольное.

Восприятие, являющееся непосредственной функцией нервной ткани, представляет собой жизненный акт огромной интенсивности. Оно требует высокой степени жизненной энергии не только в соответствующем ему аппарате, но и в различных органах питания, которыми поддерживается всё жизнеустройство организма. Соответственно, нервная ткань, по-видимому, проявляет двоякое действие: (1) обращенное исключительно к **внешнему миру** и (2) связанное с **внутренней организацией** живого существа. С физиологической точки зрения нервную ткань целесообразнее разделять на церебральную систему и систему симпатических сплетений. Эти отделы отличаются друг от друга своими анатомическими особенностями не менее явно, чем различиями в их функциональных проявлениях.

По мере того, как часть нервной ткани, служащая целям восприятия, становится более развитой, она одновременно обретает большую сосредоточенность, а ее действия всё более определенно тяготеют к единому центру. У высших классов животных, чей головной мозг наиболее совершенен, функциональная энергия нервов зависит от их беспрепятственной связи с этим органом. Если перерезать нерв или наложить на него лигатуру, все части тела, находящиеся под влиянием этого нерва ниже места повреждения, мгновенно парализуются. Внешние воздействия на них более не воспринимаются, равно как и воля не может, как прежде, приводить их в движение. Аналогичные последствия наступают и при подобных повреждениях спинного мозга. Однако у рептилий, у которых головной мозг занимает гораздо меньший объем по отношению к спинному, его влияние менее существенно. Животные этого и более низких классов проявляют неоспоримые признаки восприятия и воли в течение долгого времени даже после

того, как были обезглавлены. Следовательно, положение, заимствованное из физиологии человека и утверждающее, будто восприятие есть функция, обусловленная исключительно особым строением головного мозга и имеющая в нем свое единственное средоточие, **является несостоятельным**. Напротив, представляется, что концентрация этой способности в определенной точке нервного аппарата подчиняется закону, аналогичному полярности магнитов: подобно тому как каждый из осколков разбитого природного магнита обретает собственную полярность, так и разделенные части нервной ткани обретают новый центр действий.[80] Исходя из подобного взгляда на предмет, следует заключить, что восприятие есть результат более высокой интенсивности той же самой причины, которая порождает иные нервные явления и управляет органической чувствительностью, не зависящей от нервов. Таким образом, спинной мозг высших животных не способен к восприятию после обезглавливания не в силу отсутствия необходимого строения, но по причине нехватки требуемой для того силы.

Впрочем, во всей истории изучения нервного аппарата нет раздела более затруднительного, нежели вопрос о разделении его функций. Картина, которую являет нам анатомия этой ткани, дает основания полагать, что чувствительные и двигательные нервы, головной и спинной мозг совершенно тождественны по своему веществу и устройству. Физиологи в массе своей согласны в том, чтобы приписывать различия в ощущениях, передаваемых теми или иными органами, исключительно особенностям окончаний различных нервов. Однако, несмотря на это кажущееся тождество структуры и возможность того, что при определенных обстоятельствах средоточие восприятия может находиться в спинном мозгу, исключительным свойством нервов остается **способность чувствовать**, тогда как восприятие и волеизъявление составляют преимущественную область деятельности головного мозга. Малейшее давление на мозг погружает животное в глубокий сон, подавляя способности к восприятию и воле; при этом поверхность этого органа можно царапать или подвергать воздействию химических раздражителей, не вызывая при этом никакой реакции со стороны животного.

Если признать гальваническую теорию допустимой, она, вероятно, могла бы послужить ключом к разрешению этого затруднения. Если весь этот аппарат в самом деле представляет собой гальваническую батарею, то каждую пару нервов вместе с тем участком спинного мозга, от которого они отходят, можно рассматривать как отдельную пару пластин; в таком случае все явления можно разделить в зависимости от того, являются ли они результатом действия части батареи или же всей её совокупной силы. Разумеется, в строении нервов невозможно обнаружить никаких механических делений, подобных пластинам гальванических элементов; однако не похоже и на то, чтобы гальванический ток вырабатывался в нервах теми же средствами, что и в искусственных машинах. С другой стороны, **Кювье** отмечал, что, какой бы схожей ни казалась их видимая структура, различные пары нервов не

[80] Кювье — Лекции (Cuvier — Leçons), ii. 95.

в равной степени служат одним и тем же целям: ухо никогда не снабжается зрительным нервом, а глаз — слуховым; при этом части тела с аналогичными функциями всегда получают нервы из одного и того же источника, как бы удалены они ни были друг от друга. Согласно этой гипотезе, восприятие и различные его формы, волеизъявление, влияние страстей на различные органы, последствия обширных повреждений головного мозга для всей системы организма и (по мнению доктора Филиппа) деятельность симпатического сплетения должны рассматриваться как результат работы всей машины, в то время как обособленные действия каждой отдельной мышцы или органа проистекают из функционирования соответствующих им нервов.

Данная теория заслуживает самого пристального внимания, поскольку она полностью согласуется с анатомическими данными. Те части тела, что находятся под властью воли и передают воспринимающему органу впечатления, полученные извне, снабжены нервами, берущими начало в строго определенных отделах головного и спинного мозга. Между этими конкретными участками мозга и соответствующими им органами связь осуществляется простым и прямым путем; каждый отдельный нерв представляет собой пучок (fasciculus) более тонких нервных волокон, пролегающих параллельно друг другу и обеспечивающих отчетливое сообщение между двумя оконечностями. Таким образом, каждое волокно тела, подвластное воле, соотносится с определенной точкой в головном или спинном мозге, и можно предположить, что волевой акт воздействует на него посредством импульса, сосредоточенного исключительно в этой точке.

Однако нервы симпатического сплетения, которые влияют на органы, изъятые из-под контроля воли, устроены иначе. Симпатическое сплетение представляет собой сеть нервов, соединяющихся друг с другом во всевозможных вариациях, а также с многочисленными ганглиями, или узлами мозгового вещества, которые, по всей видимости, исполняют роль множества самостоятельных нервных центров. Эта система нервов соединяется с головным мозгом и со всеми отделами спинного мозга посредством многочисленных связей. Поэтому ее можно рассматривать как структуру, принимающую импульсы изо всех этих точек и, следовательно, восприимчивую к их совокупному влиянию, не подвергаясь при этом специфическому воздействию со стороны каждой из них в отдельности. Соответственно, обнаруживается, что органы, в которых распределены эти нервы, хотя и освобождены от власти воли, в полной мере подвластны влиянию **страстей** и иных причин, воздействующих на всю нервную систему в целом.

При нынешнем уровне знаний очевидно, что нельзя полагаться на какие-либо суждения касательно нервных тканей, если они не основаны на строгом эксперименте; и к данному предмету с особой силой применимо испанское изречение: «De las cosas mas seguras, la mas segura es dudar» («Из всего достоверного самое достоверное — сомнение»). Тем не менее, представляется доказанным следующее: нервный аппарат не передает другим тканям напрямую никакого начала

или влияния, непосредственно необходимого для их жизни; он не является ни вместилищем, ни секретором некоего «жизненного флюида». Мышечные структуры не только существуют в полной независимости от нервного посредничества, но и способны совершать сокращения без его вмешательства. Нервы волевого управления воздействуют на произвольные мышцы лишь как соответствующие стимулы; нервы же симпатического сплетения влияют на непроизвольные мышцы неким иным образом, еще более опосредованно; и это, пожалуй, всё, что можно с уверенностью утверждать по данному вопросу.

Строение и устройство нервных органов занимали умы анатомов во все времена, и малейшие подробности были ими добросовестно зафиксированы. Однако физиологам до сих пор не удалось связать отмеченные таким образом внешние признаки с соответствующими им действиями или результатами. Собственно ткань этих органов одни исследователи считали железистой, другие — простой мягкой массой (пульпой);[81] однако господам **Галлю** и **Шпурцгейму** удалось доказать её волокнистое строение, а также то, что волокна различных отделов мозга направлены в разные стороны. Тем не менее теорию, провозглашенную этими мыслителями, которая закрепляет за различными участками мозга обособленные функции и приписывает каждому из них определенную склонность, в настоящее время следует рассматривать как простое бездоказательное утверждение (gratis dictum). Более того, она противоречит наиболее достоверным фактам, установленным метафизической наукой.

Хотя связь между строением и функциями нервных органов столь туманна, существует весьма очевидная приспособленность аппарата относительной чувствительности к физическим свойствам внешней природы, осуществляемая посредством органов чувств. Глаз, как хорошо известно, представляет собой оптический инструмент, подобный камере-обскуре; посредством которого на зрительном нерве запечатлевается образ предметов, находящихся в поле зрения. Существует также и дальнейшее приспособление самого нерва к тонкости и неуловимости светового импульса: ибо сетчатка, или чувствительное окончание зрительного нерва, представляет собой разветвление нервного вещества — мягкого, пульпозного и лишенного привычных оболочек, — что позволяет ей находиться в непосредственном контакте с лучами света.

Подобно тому как строение глаза адаптировано к свойствам света, механизм уха устроен таким образом, чтобы соответствовать колебательной упругости воздуха и иных сред, в которых распространяется звук. Вкусовые и пахучие вещества вступают в контакт с органами вкуса и обоняния благодаря их растворимости в слизистом секрете, выделяемом поверхностями этих органов. Осязательные впечатления носят чисто механический характер, и природа ощущения, возникающего при соприкосновении тел с различными участками организованной поверхности,

[81] Лекции Кювье (Cuvier Leçons).

определяется большей или меньшей тонкостью эпидермиса, или надкожицы, расположенной между чувствительной тканью и воздействующим телом, а также степенью развития самих тканей. Исключительная чувствительность кончиков пальцев зависит главным образом от этой последней причины.

Помимо этих явных механических различий в органах чувств, существуют и иные, пока неведомые нам жизненно важные особенности, связанные, по-видимому, с неизученным структурным разнообразием нервных окончаний. Если пропустить через глаз слабый электрический разряд — процедура, в которой механический аппарат органа никак не задействован, — возникнет ощущение света; если же он пройдет через вкусовые или обонятельные нервы, возникнет ощущение вкуса или запаха. Этот взгляд на предмет подтверждается данными сравнительной анатомии, которая учит нас тому, что, несмотря на структурные различия в строении органов чувств (из-за которых у низших животных впечатления становятся менее точными и хуже дифференцируются), ощущения, закрепленные за каждым конкретным нервом, по своей сути остаются неизменными для всех живых существ. Они порождают как у низших, так и у высших классов животных действия, строго соответствующие вызвавшей их причине.

Потребности, обуславливающие существование различных чувств, также вполне очевидны. Необходимость осязания самоочевидна: ни одно животное, предназначенное для передвижения по земле, не смогло бы выжить без него. Полезность вкуса — как средства различения пищи и как стимула к ее поглощению — понятна в не меньшей степени. Этой же цели служит и чувство обоняния; оно достигает наивысшего развития у тех животных, которым необходимо знать о существовании пищи, находящейся от них на значительном расстоянии, — то есть у плотоядных видов. О необходимости зрения для **самосохранения** говорить излишне;[82] слух же, служащий той же цели, становится необходимым ввиду периодического отсутствия света, а также из-за существования опасностей, которые, в отличие от световых лучей, не всегда распространяются по прямым линиям.

Поскольку эти потребности в той или иной степени присущи всем высшим классам животных, органы чувств, находящиеся на различных стадиях развития, являются в равной степени универсальными. Если образ жизни вида не благоприятствует использованию какого-либо чувства, соответствующий орган у этих животных, по-видимому, соразмерно редуцируется: так обстоит дело, например, с глазами кротов. Постоянное же упражнение того или иного чувства, напротив, способствует его развитию. Так, слух пугливых животных отличается необычайной остротой. Истинность этого предположения подтверждается различиями, наблюдаемыми между отдельными особями одного и того же вида.

[82] Хотя отдельные индивиды и могут существовать без помощи органов зрения, очевидно, что для целых сообществ это было бы невозможно.

Чувства дикаря развиты значительно сильнее, чем у человека цивилизованного: дикарь сохраняет способность шевелить ушами, утраченную более утонченными народами; его ноздри также более расширены. Еще одним фактом, подтверждающим то же учение, является обострившаяся чуткость осязания у людей, лишившихся зрения.

По мере того, как телесное строение животных всё более удаляется от человеческого, возрастает и сложность установления аналогии между их чувствами и нашими собственными. Тем не менее, изучая различные виды, мы замечаем, подвержены они воздействию определенных впечатлений или нет; на основании этого мы заключаем о наличии или отсутствии у них соответствующих органов. В ряде случаев в общем устройстве органов чувств обнаруживаются существенные различия; так, известно, что глаз некоторых насекомых умножает зрительные образы во многие тысячи раз, однако влияние подобного строения на сам способ их видения остается для нас, очевидно, непостижимым.[83]

Вопрос о том, не могут ли некоторые животные обладать чувствами, о которых мы не имеем ни малейшего представления, является положением, чья абстрактная возможность не подлежит сомнению. Однако, поскольку сама способность вообразить сопутствующие ощущения или потребности, с которыми они могут быть связаны, лежит вне пределов нашего органического устройства, невозможно найти данные для того, чтобы подтвердить этот факт.

Мышцы и кости

Органы передвижения подвержены влиянию столь многих внешних факторов, что-то строгое подчинение единому архетипу, коим отмечены функции питания, здесь оказывается заведомо невозможным. В любых условиях, допускающих поддержание жизни, природа преисполнена своими творениями. Воздух, земля во всех её пределах, моря и пресные воды, внутренности живых животных и растений, а равно и их разлагающиеся после смерти останки — всё кишит животными существами. Способность к движению у каждого из них приспособлена к той среде, в которой им суждено обитать, и к тем усилиям, которые им необходимо прилагать для сохранения своей жизни.

---

[83] Поверхность сложных глаз насекомых представляет собой череду шестиугольных, слегка выпуклых граней, разделенных неглубокими бороздками, которые нередко усажены короткими волосками. Еще более примечательным обстоятельством является наличие слоя черного вещества, подобного pigmentum nigrum человеческого глаза, который полностью покрывает внутреннюю поверхность этих многочисленных роговиц и, по всей видимости, преграждает дальнейший путь свету. Очевидно, что отношение этого механизма к световому пучку иное, нежели в обычном глазу; по-видимому, и передаваемые им ощущения имеют иную природу, тем более что существуют насекомые, наделенные обоими типами этих органов.

Огромное разнообразие строения, обусловленное этой необходимостью, может быть, однако, сведено к трем первичным формам: первая — та, при которой костная структура расположена снаружи; вторая — та, где она скрыта под мягкими двигательными волокнами; и третья — та, в которой она вовсе отсутствует. Аппарат передвижения обычно состоит из трех разрядов частей: во-первых, из механического сочетания твердых, плотных и неподатливых органов, обладающих малой чувствительностью и незначительной жизненной силой. Во-вторых, мышечная структура, посредством которой, собственно, и осуществляется движение. В-третьих, нервы, через которые волевые импульсы воздействуют на мышцы, определяя их действия. Между этими частями существует необходимая гармония: сложное устройство скелета подразумевает наличие многочисленных мышц и соответствующей степени чувствительности, способной воспринимать побуждения и проявлять волю, соразмерную масштабу и разнообразию его двигательных способностей.

У тех животных, что передвигаются скачками (per saltum), скелет совершенно необходим; он состоит из множества частей, соединенных многочисленными сочленениями. У видов же, чье перемещение ограничивается лишь ползанием по поверхности, подобный механизм полностью отсутствует.

У различных племен насекомых рычаги и неподвижные точки опоры находятся во внешнем скелете, или панцире, образованном путем уплотнения и отвердения кожных покровов. В то же время четыре высших класса животных — млекопитающие, птицы, пресмыкающиеся и рыбы — опираются и приводятся в движение посредством системы сочлененных костей, расположенных внутри мягких частей тела, которые ими и управляют.[84]

Общая модель, по которой устроено это приспособление, едина для всех; однако она допускает некоторые различия, проистекающие из потребностей каждого отдельного вида. В самом схематичном своем начертании скелет состоит из: **позвоночного столба**, составленного из множества мелких фрагментов, называемых позвонками, которые пронизаны в центре так, что при их соединении образуется непрерывный канал, предназначенный для размещения спинного мозга; **костного вместилища** на переднем конце, служащего для защиты головного мозга, вкупе с костным основанием лицевого отдела; **ребер** и **грудины** в средней части, формирующих грудную полость; и, наконец, четырех систем **костных рычагов**, образующих передние и задние конечности. Эти последние отсутствуют у змей и некоторых рыб. Задние конечности также отсутствуют у китообразных млекопитающих (китов) и у безногих рыб; передние же конечности — лишь у одного

[84] Одиночную кость каракатицы (которую используют при изготовлении пунса — порошка для осушения чернил) можно рассматривать как рудимент внутреннего скелета. В этом отношении, как и во многих других, род Sepia, по-видимому, стоит во главе семейств беспозвоночных, связывая их с высшими классами, обладающими членистым позвоночником.

вида ящериц. Ни одно позвоночное животное не имеет более четырех конечностей, за исключением рептилии, именуемой летучим драконом (draco volans), который обладает своего рода крыльями, поддерживаемыми шестью хрящевыми лучами, соединенными с позвоночником.[85]

Из костей, составляющих грудную клетку, грудина, или грудная кость, отсутствует у змей и рыб; ребра также отсутствуют у некоторых видов этого последнего класса и у всего семейства лягушек. Голова и позвонки присутствуют повсеместно. Хотя число позвонков варьируется в зависимости от длины животного, а их строение — в соответствии с движениями, совершаемыми той частью тела, в которой они расположены, причины подобных различий вполне очевидны.

Кости головы и позвоночника, предназначенные для того, чтобы вмещать и защищать головной и спинной мозг, связаны с важнейшими и незаменимыми органами животного организма; именно поэтому они присутствуют неизменно. Грудная клетка, напротив, будучи связанной с функцией дыхания, претерпевает изменения, обусловленные различными способами осуществления этого процесса: так, подвижные ребра были бы бесполезны, например, для лягушки, чье дыхание происходит путем заглатывания воздуха. Наконец, конечности, устройство которых определяется средой обитания животного и его потребностями в передвижении, неизбежно являются наиболее изменчивыми частями всего скелета — как по своему числу, так и по расположению.

При сравнительном изучении скелетов различных животных обнаруживается, что простейшие организмы отличаются от наиболее совершенных лишь отсутствием определенных элементов; у промежуточных же видов эти недостающие части зачастую пребывают в упрощенном, редуцированном состоянии, образуя своего рода связующую цепь между двумя крайностями.

Так, **крылья птиц** обладают костной структурой, аналогичной запястью и кисти; то же самое можно сказать и о конечностях китообразных, имеющих форму **плавников**, хотя движения, для которых эти части приспособлены у более совершенных животных, при подобном строении оказываются невозможными. Иной пример того же рода можно встретить при изучении предплечья некоторых животных: у наиболее совершенных существ этот член состоит из двух костей, тогда как у немногих видов он образован единой деталью. Однако и в последнем случае на упомянутой кости имеется борозда или разделение, указывающее на попытку природы прийти к более совершенному строению. Подобным же образом и большой палец человеческой ноги представляется лишь несостоявшейся попыткой образования большого пальца руки.

[85] Кювье, «История животных».

На основании этих и множества других схожих фактов можно предположить, что в период зарождения органической жизни в природе существовало некое nisus (**устремление**) к определенному способу сочетания, которому с той или иной силой препятствовали противодействующие причины. Некоторые мыслители усматривали в этом структурном сходстве доказательство того, что организация началась с самых простейших видов, и что путем поступательного самопроизвольного развития из них возникли более совершенные животные — точно так же, как бабочка развивается из гусеницы; при этом организация каждого рода видоизменялась под влиянием внешних обстоятельств, в которые ее поместила воля случая.[86]

Строение кости аналогично строению других тканей; иными словами, она состоит из ретикулярной основы клеточного вещества, в которой откладывается специфическая субстанция, присущая именно костной ткани. Эта субстанция представляет собой минеральную соль, именуемую фосфатом извести. Её формирование требует значительного напряжения жизненной силы, а потому на ранних стадиях развития плода оно не происходит. До появления костей их место занимает хрящ — эластичное вещество, более известное под простым названием «хрящевая ткань».[87] Первым шагом к образованию кости служит появление на хряще сосуда, несущего красную кровь; вслед за этим быстро происходит рассасывание частицы изначального вещества и выделение крупицы фосфата извести. Из этой точки, словно из центра, во всех направлениях под непрерывным воздействием новообразованных сосудов расходятся лучи нового костного вещества. В каждой кости окостенение начинается из нескольких подобных центров и продолжается до тех пор, пока различные образования не встретятся, не сольются и не укрепятся в единое целое. В ряде случаев, однако, подобные соединения завершаются лишь в зрелом возрасте — тогда линия разделения называется швом. Закон, регулирующий этот процесс, весьма туманен. Этот процесс стремительно начинается в поздние периоды развития плода и продолжается в течение всей жизни, постепенно теряя свою интенсивность (в том, что касается скелета); при этом он редко, если вообще когда-либо, полностью вытесняет хрящевую ткань. Напротив, наличие хряща в каждой части скелета, где две кости сочленяются для обеспечения подвижности, представляется фундаментальной необходимостью. Ибо без посредства этого эластичного и сжимаемого вещества движения не могли бы совершаться ни с должной грацией, ни с безопасностью для тех нежных и хрупких тканей, кои необходимы для поддержания жизни. Тем не менее в преклонном возрасте процесс окостенения, по-видимому, обретает новую силу, однако хрящи более не являются средоточием этого процесса. Окостенение данных частей редко заходит так далеко,

[86] Те теоретики, которые полагают, будто в начале времен земля была повсеместно покрыта водой, считают водных животных прародителями видов сухопутных — velut ægri somnia! (словно бред больного!)

[87] Это обстоятельство прекрасно согласуется с тем давлением, которое плод испытывает при выходе в мир.

чтобы препятствовать движению, хотя в анналах медицины зафиксированы поразительные примеры подобного болезненного поражения суставов. В глубокой старости излюбленным местом оссификации становятся внутренние оболочки артерий. Согласно свидетельству **Биша**, из каждых десяти человек, перешагнувших шестидесятилетний рубеж, по меньшей мере у семерых обнаруживаются следы этого недуга.[88]

Интенсивное проявление жизненной энергии, необходимое для секреции фосфата извести, порой требует от организма усилий, превышающих его конституциональные возможности. Незначительное отклонение в этом процессе лежит в основе заболевания, называемого рахитом: из-за дефицита минеральных веществ в структуре кости становятся неспособны выдерживать вес тела; они изгибаются и подвергаются деформациям, которые со временем принимают необратимый характер. В более редких случаях недостаток фосфата извести оказывается настолько полным, что весь скелет становится сначала хрупким, а затем гибким. В подобных обстоятельствах пациент погибает от повреждений жизненно важных органов, вызванных отсутствием опоры со стороны костной системы. Костная ткань рыб менее тверда, чем ткань наземных животных; существует также многочисленное семейство, чей скелет на протяжении всей жизни остается хрящевым — такое состояние становится возможным благодаря высокой плотности среды, в которой обитают эти животные.

Форма и положение различных костей, составляющих скелет, определяются законами механики; они представляют собой ряд рычагов, блоков и шарниров, аналогичных тем, что используются в искусственных механизмах. Однако и в этом отношении, как и во всех прочих, жизненная сила вмешивается в процесс, в большей или меньшей степени видоизменяя детали строения.

В комбинациях **искусственных механизмов**, главная цель из создателя заключается в том, чтобы достичь прироста силы; различные части соединяются таким образом, чтобы каждая воздействовала на другую с механической выгодой. Что касается рычага — этого важнейшего инструмента животных движений, — то подобное преимущество достижимо лишь за счет преобладания длины движущегося плеча, благодаря чему оно описывает вокруг точки опоры сегмент окружности весьма большого радиуса. Последствия подобного устройства в строении животного нетрудно себе представить. Предположим, что кости голени сочленялись бы с костями бедра не в своих оконечностях, а посередине: при вытянутом положении конечности верхняя половина голени заходила бы за бедро,

[88] Это — одно из проявлений того уплотнения, возникающего вследствие жизненной деятельности, о котором упоминалось ранее. Клапаны артериальной или левой стороны сердца часто становятся очагами этого поражения, что влечет за собой значительные расстройства кровообращения. Костное уплотнение артерий, поскольку оно уничтожает их эластичность и ведет к тем же нарушениям, однако это редко достигает таких масштабов, чтобы стать причиной смерти.

а при сгибании она образовывала бы с этой костью прямой угол. Такое состояние было бы совершенно несовместимо с сохранностью артерий и нервов и полностью разрушило бы изящество и форму конечности. Следовательно, в большинстве движений животного рычаги действуют с огромным механическим проигрышем, и этот недостаток уравновешивается соответствующим увеличением энергии в мышцах. Однако подобное устройство дает огромное преимущество в быстроте движения. Если плечи рычага равны, то за определенный промежуток времени одно плечо проходит путь не больший, чем другое; но когда сила приложена к более короткому плечу неравноплечего рычага, она заставляет более длинное плечо проходить за то же время расстояние, пропорциональное длинам окружностей, диаметрами которых являются соответствующие плечи рычага.

Этим же законом механики определяются и взаимоотношения отдельных суставов, образующих конечности. Кости, расположенные ближе всего к туловищу, отличаются большой длиной и сочленены таким образом, чтобы обеспечить широкую амплитуду движений; ведь всякое перемещение, передаваемое этим костям, с еще большей интенсивностью транслируется на те части рычага, что удалены от центра. Суставы, находящиеся в отдалении от центра, сами по себе не предназначены для движений большой протяженности, но получают этот импульс от проксимальных сочленений; их устройство служит **скорее для выполнения сложных и многообразных манипуляций**. Наблюдения, связанные с этим предметом, могли бы составить множество томов, ибо колоссальное разнообразие движений, свойственных животным, обуславливает соответствующие особенности в строении органов перемещения. Впрочем, подобное изыскание потребовало бы отдельного рассмотрения в рамках самостоятельной отрасли естествознания.

Существование Мышечной ткани обусловлено двумя факторами: на саму ее субстанцию влияет связь с жизненной силой, а на ее форму и расположение — законы механики. Первая из этих причин совершенно непостижима. Известно, что некоторые растения совершают мускульные движения без наличия животных волокон; мышцы же четырех великих классов животных столь значительно разнятся между собой в своих явных свойствах, что это делает тщетной любую попытку установить сущностные условия мышечной сократимости. Очевидные различия между рыбой и мясом нельзя объяснить какими-либо известными расхождениями в их жизненной силе или двигательных способностях, за исключением того, что мышечная энергия наземных животных более интенсивна и менее подвержена истощению, нежели у племен рыб.

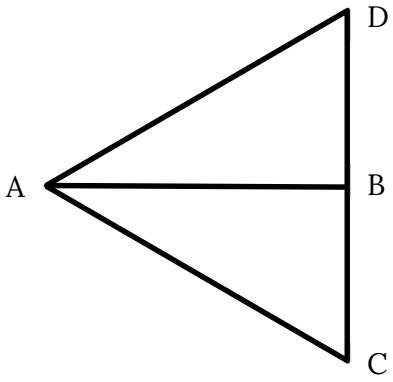
Что касается расположения мышц, то оно подчинено законам чисто механическим. Везде, где необходимо значительное напряжение мышечной силы, движущие волокна вплетаются в прочный неэластичный тяж волокнистого строения, называемый сухожилием. Благодаря этому на определенную точку может воздействовать гораздо большее количество движущих волокон, чем если бы они крепились непосредственно к кости. Сухожильная ткань в различных частях тела

принимает самые разнообразные формы: иногда она напоминает канат, чаще же — расширенную поверхность, в зависимости от физических потребностей конкретного органа.

Волокна мышц редко располагаются строго в направлении того движения, которое они должны производить; напротив, они образуют с ним более или менее значительный угол. Таким способом они перемещают подвижную точку на заданное расстояние при гораздо меньшей степени собственного сокращения. К примеру, при перемещении точки A в точку B –

A ------- B

мышце AB пришлось бы полностью сократиться, утратив всю свою длину, что заведомо невозможно. Однако



если то же действие совершается мышцами AC и AD, то в момент своего максимального сокращения они всё равно сохраняют длину CB и CD соответственно.[89]

Мышцы зачастую заключены в сухожильные оболочки, называемые апоневрозами. Это делается вовсе не для придания им дополнительной прочности; мышечные волокна зачастую крепче как сухожильных, так и костных тканей, и при резком, значительном напряжении способны скорее вызвать перелом или разрыв этих органов, нежели пострадать от разрывов самим в процессе сокращения. Предназначение апоневрозов состоит в удерживании мышечных волокон, препятствуя их отклонению от основной линии тяги во время сокращения, и обеспечивать точку опоры (point d'appui) для выполнения ими своих функций.

Движения животных редко осуществляются силами лишь одной мышцы; как правило, они вверены сочетанному действию нескольких. Дело в том, что при различных изменениях положения, которые конечности принимают относительно друг друга на разных этапах движения, отдельная мышца может существенно приобретать или терять в механическом преимуществе, что приводило бы к

[89] См. Баркли, «О мышечном движении» (Barclay on Muscular Motion).

прерывистости и неустойчивости движений. В целом, по мере того как одна мышца утрачивает это преимущество, другая, воздействующая на ту же точку, пропорционально обретает его при каждой смене позиции; таким образом, усилие, прилагаемое к движущейся точке, во все моменты времени сохраняется равномерным.

Резкие и порывистые движения конечностей дополнительно предотвращаются одновременным действием мышц-антагонистов, или тех, что тянут в противоположных направлениях. Благодаря тому, что одна группа мышц расслабляется лишь соразмерно сокращению другой, возникновение внезапного рывка становится гораздо менее вероятным.

Философия мышечных движений, общее представление о которой можно составить на основе этих немногих примеров, представляет собой, подобно изучению строения костной системы, предмет самостоятельного исследования. Для целей настоящего труда достаточно заметить, что во всех этих деталях превалируют законы механики и что жизненная энергия, особенности строения и расположения мышц определяются иными факторами лишь в тех случаях, когда преследуется некая иная цель, отличная от простого механического удобства.

Взаимосвязь нервной и мышечной систем носит сугубо жизненный (витальный) характер и потому до сих пор окутана глубочайшей тайной. Даже если допустить, что сократительная способность мышц возбуждается прохождением электрического импульса по нервам, обстоятельства, обуславливающие сам этот разряд, остаются невыясненными. Ныне представляется вполне доказанным, что **мышцы сами по себе обладают источником движения**, в то время как нервы выполняют по отношению к ним лишь роль возбудителей. Природа того влияния, которое нервная система оказывает на непроизвольные мышцы, совершенно непостижима. Их иннервация осуществляется преимущественно через симпатическое сплетение и пребывает в полной независимости от воли.

Попытка проследить мельчайшие обстоятельства, обуславливающие форму и устройство различных органов движения или определяющие наличие тех или иных средств нападения и защиты, была бы задачей бесконечной и не всегда надежной. Наши познания о природе слишком несовершенны, чтобы позволить себе в каждом отдельном случае проводить прямую и однозначную параллель между причиной и следствием. Достаточно будет показать, что в совокупности именно давление неодолимой необходимости предопределяет для каждого биологического вида строго определенное сочетание органов и очерчивает круг его действий. Остается, однако, еще один источник своеобразия, который до сих пор не был затронут и который проистекает из особенностей **репродуктивных функций**.

Из всех органических функций именно эти наиболее глубоко окутаны тайной и непостижимостью. На первый взгляд они обнаруживают некое отдаленное сходство с функциями ассимиляции, поскольку одни создают ткани, а другие — органы;

однако это сходство слишком призрачно, чтобы на его основании можно было прийти к каким-либо точным выводам. На самых ранних доступных изучению стадиях формирования животных их различные органы уже существуют; следовательно, путем наблюдения невозможно определить, создается ли особь сразу во всей полноте (de toutes pièces) или же она просто развивается родителем.

Простейшие животные могут множиться делением; однако их естественный способ размножения заключается в появлении новой особи на какой-либо части поверхности их тела. Она остается прикрепленной и является составной частью родителя до тех пор, пока не достигнет значительного развития, после чего отделяется и переходит к самостоятельному существованию. Этот способ приращения в специальной литературе именуется почкованием (gemmiparous).

У высших видов способность к размножению ограничена определенным органом; у некоторых для этого требуется взаимодействие двух органов, которые в редких случаях объединены в одной и той же особи, но чаще принадлежат разным животным, обретающим таким образом половое различие. Гермафродитные виды в некоторых случаях вполне самодостаточны для размножения, в других же нуждаются во взаимном оплодотворении. У весьма немногих видов[90] оплодотворение требуется лишь единожды для целого ряда последующих поколений; у некоторых одного и того же акта достаточно лишь для определенного числа последовательных приплодов; однако, как правило, каждая отдельная особь является результатом индивидуального оплодотворения.

Еще одно важное разделение этого предмета основывается на состоянии, в котором зародыш отделяется от родителя; именно это различие лежит в основе деления на живородящее и яйцекладущее размножение.

Причины этих различий совершенно неизвестны; до сих пор не удалось пролить свет и на то, какое влияние оказывает каждый из полов на формирование нового живого существа. Было бы нетрудно собрать воедино огромное множество догадок и теорий, выказав тем самым изрядную эрудицию в этом туманном вопросе; однако объем достоверных сведений по-прежнему оставался бы ничтожным, а неблагодарность подобного труда была бы столь же тягостна для составителя, сколь его обширность — обременительна для читателя.

Влияние различных условий, обусловленных этими многообразными способами воспроизводства, на организацию и способности особей весьма широко и примечательно. Так, наличие млечных желез неразрывно связано с живорождением; ибо, хотя существуют некоторые виды, которые, на первый взгляд, производят на свет живое потомство, способное самостоятельно добывать пропитание с самого момента рождения. Однако в действительности они являются

[90] К числу таковых относятся тли.

яйцекладущими: зародыш развивается в яйце, которое лопается еще до того, как покинет тело родителя.

У различных групп насекомых, принадлежащих к яйцекладущим, имеются разнообразные приспособления для откладывания яиц в таких местах, где молодняк будет обеспечен подходящей пищей в момент выхода из оболочки. Весь процесс производства меда и воска, равно как и удивительные инстинкты, связанные с этой особенностью организации пчел, всецело подчинены данной необходимости.

Некоторые виды насекомых, по-видимому, меняют саму стихию своего обитания и обретают крылья исключительно ради продолжения рода. Так, светящийся секрет, выделяемый самкой светляка, служит восполнением отсутствия крыльев в её строении, позволяя преодолеть невозможность поиска самца в воздушных пространствах.

Влияние органов размножения на общую жизнедеятельность организма отчетливо проявляется в различных половых признаках, которые при внимательном изучении можно обнаружить даже у низших живородящих четвероногих, да и у большинства других видов. Умственные способности, склонности, потребности и привычки меняются вместе с переменами в устройстве и жизненной силе этих важнейших частей организма. Поэтому не должно вызывать удивления то обстоятельство, что они в значительной степени видоизменяют общие условия строения животного организма и вносят весомый вклад в определение сочетаний сопряженных органов.

Во всем органическом мире существует одна примечательная особенность органов размножения, заслуживающая особого внимания: **интенсивность их функций не соразмерна тем средствам, которые природа предоставляет для поддержания жизни отдельных особей**. Икра сельди и трески столь плодовита, что их размножение переполнило бы бескрайние просторы океана, если бы численность особей не сокращалась столь же стремительно, как они появляются на свет. Прирост растительных зародышей происходит еще быстрее.

Действие этого закона насущно необходимо для удовлетворения двойной потребности: обеспечения преемственности видов и предоставления достаточного запаса органической пищи для поддержания различных родов. «**Ешь и будь съеденным**» — таков общий закон органического бытия. Человеку, благодаря силе своего разума, удалось отчасти избежать действия этого закона; однако, оградив себя от нападений низших животных, он из-за своего стремительного размножения подпал под удары представителей собственного вида. **Человеческий род множится быстрее, чем того допускает благополучие отдельных его членов**; посему нищета и преступность внутри общества, а также войны между народами становятся необходимыми инструментами для восстановления утраченного равновесия. Это прискорбный факт, но это факт. Нелепо полагать, будто один лишь человек не подвластен этому закону организации, в остальном являющемуся всеобщим; и

господин Мальтус, возможно, избежал бы многих нападок и значительных трудностей, если бы положил в основу своей глубокой и философской системы не частное, а общее положение.

В силу непреложной необходимости совокупность внешних причин определяет характер и самобытность каждого вида. Если условия меняются, должна измениться и организация существа, в противном случае вид погибает. Следовательно, число возможных типов организации ограничено. Птичье оперение в сочетании с рыбьими жабрами породило бы создание с нарушенными функциями, неспособное к длительному существованию. Совершенное знание этого закона позволяет анатому по самым ничтожным признакам судить о повадках, характере и общем строении животного. Мощный клык с необходимостью подразумевает плотоядное устройство кишечного тракта, сильные челюсти, плотные мышцы, массивные нервы, поджарое и гибкое тело, когтистые лапы, а также кровожадные и свирепые нравы. Таким образом, **единственная кость** дает общее представление обо всем скелете, на основании которого можно сделать вывод о характере движений животного, о нервах и мышцах, необходимых для приведения его в действие, а также об органах чувств и аппетитах, дающих мотивы для проявления его воли.

Сочетания, порожденные поэтическим воображением — гиппогрифы, кентавры, летающие люди, гидры, и «лютые химеры» не могли бы существовать in rerum natura — в самой природе вещей. Справедливо, что природа порой производит несовместимые сочетания, обычно называемые уродствами. Однако они неизбежно погибают, и вечное различие видов сохраняется нерушимым.[91]

На численность организованных существ равным образом влияет их **взаимное равновесие**. Подобно тому как земледелие искореняет многие растения, считающиеся сорняками, так и умножение человеческого рода вытеснило из его окружения определенные виды животных. Весьма вероятно, что тот же закон действовал и среди низших животных, уменьшая общую сумму органических форм. В этих царствах серая крыса полностью истребила черный вид и, вероятно, будет поступать так же везде, где бы она ни появилась. **Вымирание не только видов, но и целых родов — факт**, ныне доказанный вне всяких сомнений свидетельствами их останков, сохранившихся в недрах земли.

Вопрос о том, возникают ли время от времени новые сочетания путем гибридизации или же вследствие закрепления разновидностей, сформированных под влиянием физических обстоятельств, является предметом любопытного исследования.

Взгляды, изложенные на этих страницах, по-видимому, окончательно разрешают давно обсуждаемый вопрос о множественности обитаемых миров, доказывая, что виды животных и растений, существующие на нашей планете,

[91] Лоуренс, «Труды Медико-хирургического общества» (Medical and Chirurgical Transactions).

должны быть присущи исключительно ей. Каждое отдельное существо обладает своей особенной организацией в силу физических условий, в которых оно находится; и даже незначительного изменения степени близости к Солнцу было бы достаточно, чтобы преобразить каждое из этих условий. Химический состав этой планеты не может в точности походить на состав какой-либо другой; следовательно, и их органические творения не могут быть тождественными. В самом деле, предположение о том, что бесчисленные небесные тела, вращающиеся в безмерном пространстве, являются лишь повторением друг друга, противоречит как общепринятым представлениям о Великой Первопричине, так и нашим познаниям о фактах. Нелепо полагать, будто шар, на котором мы обитаем, есть сокращенное подобие Вселенной и что он вмещает в своих тесных пределах образцы всего сущего.[92]

[92] «Поскольку солнце своим благотворным воздействием света и тепла вызывает к жизни животных и растения, покрывающие землю, мы по аналогии судим о том, что оно производит подобные же действия и на других планетах. Ибо неестественно думать, будто материя, чья активность проявляется столь разнообразно, оставалась бы бесплодной на такой великой планете, как Юпитер, который, подобно земному шару, имеет свои дни, ночи и годы, и на котором наблюдения указывают на перемены, предполагающие действие весьма мощных сил. Однако было бы чрезмерным расширением этой аналогии заключать из нее о сходстве обитателей планет с обитателями Земли. Человек, созданный для той температуры, которой он наслаждается, и для той среды, которой он дышит, по всей видимости, не мог бы жить на других планетах. Но разве не должны ли там существовать бесконечное множество органических систем, сообразных с различным устройством небесных тел в этой Вселенной? Если одно лишь различие стихий и климатов порождает столь великое многообразие в земных творениях, то насколько же сильнее должны отличаться друг от друга обитатели различных планет и их спутников? Самое живое воображение не в силах составить об этом ни малейшего представления, однако их существование представляется весьма вероятным».
— Лаплас, «Опыт философии вероятностей»

Глава IV. О законах жизненного действия

«Истинные пружины нашей организации — это вовсе не те мышцы, вены, артерии и нервы, кои описываются с такою точностью и тщанием. В телах организованных, как мы уже говорили, сокрыты силы внутренние, кои вовсе не подчиняются законам грубой механики, нами вымышленной и к коей мы желали бы всё свести».
- Бюффон, Том 2.

Предшествующие страницы были посвящены исследованию закона, управляющего формой и существованием различных живых сочетаний, а также беглому и общему обзору **механизма организации**. В ходе изложения была выявлена взаимосвязь между строением и функциями каждого вида и элементарным составом его субстанции; было показано, что его характерные особенности проистекают из необходимости, определяющей высшие способности интеллекта, в той же мере, что и простейшие побуждения растительного питания; эта необходимость действует столь же деспотично, порождая **Цезаря** или **Ньютона**, как и создавая **Полипа** или **Тремеллу**.[93]

В этих фактах обнаруживается связь между неорганическим и организованным царствами природы; она должна привести к предвосхищаемому выводу о том, что оба этих класса тел ведут свое происхождение из одних и тех же источников. Связующее звено до сих пор действительно ускользало от исследователей; однако столь часто выдвигаемое предположение, будто феномены жизни принадлежат к порядку, отличному от неживой материи, является лишь поспешным выводом, порожденным этим неведением. Напротив, любая аналогия подкрепляет убеждение в том, что всё сущее пребывает во взаимной зависимости, повинуясь единому и всеобщему закону.

Тем не менее, при нынешнем состоянии физиологических знаний феномены организованного бытия должны рассматриваться как обособленные от остальной природы; а наиболее общие факты следует относить к неведомым силам, заложенным в различных тканях. Существование этих сил, пока их истинная природа остается непознанной, должно приниматься как неоспоримый факт. Формирование смутных и неопределенных теорий для их объяснения нисколько не способствовало приумножению знаний; философия гораздо более плодотворно направляет свои изыскания на установление законов, согласно которым жизненная сила проявляется в различных тканях и у разных видов.

Стремление к распаду, как уже было сказано, неодинаково во всех органических соединениях. В одних формах влияние химического сродства более эффективно,

[93] Природа дала быкам рога,
Копыта дала коням,
Мужам же — мудрость (цит. на греческом).

чем в других, и в них развитие жизненной силы пропорционально менее необходимо для их формирования и сохранения. Следовательно, жизненные силы проявляются в огромном многообразии модификаций в различных органических тканях, в отношении которых можно установить некоторые полезные разграничения. Все явления жизни в конечном анализе могут быть сведены к двум простым фактам: **ощущению** присутствия инородных тел при их соприкосновении с органической тканью и **реакции**, посредством которой ткань, а в некоторых случаях и само инородное тело, претерпевает последующее изменение.

Следует оговориться, что термин «ощущение» используется физиологами в особом смысле. Для объяснения его употребления необходимо понять, что далеко не все тела воздействуют на любую живую ткань без разбора; каждая конкретная организация устроена таким образом, чтобы находиться в определенном соотношении со своим собственным специфическим рядом агентов, под действием которых только и может подвергаться воздействию. Подобные агенты именуются **стимулами** организма.

Поскольку действие, возникающее в ответ на присутствие стимула, не является ни химическим, ни механическим, принято считать, что ткани «чувствуют» или различают вещества, с которыми они соприкасаются. Любое внешнее воздействие должно вызывать некое состояние живой ткани, определяющее её активность или покой. Это состояние, коль скоро оно зависит не от неорганических свойств ткани, а проистекает из самой её жизненной силы, требует особого наименования; по аналогии оно было названо ощущением.

Во всех тканях, не имеющих сообщения с нервным аппаратом, подобные явления происходят независимо от сознания; и так как они наблюдаются у существ, совершенно лишенных нервов, их нельзя рассматривать как связанные с восприятием. Следовательно, **чувствительность** в данном узком значении слова представляет собой лишь неведомое изменение состояния ткани, которое заставляет её реагировать или оставаться инертной в зависимости от того, является ли воздействующее вещество одним из подобающих ей стимулов. В этом видится немногим большее, нежели некая предрасположенность ткани к своим стимулам, аналогичная тому, что в химии называют *избирательным сродством*.

Подобное использование слова «ощущение» по аналогии вряд ли можно считать оправданным ввиду его очевидной склонности вводить воображение в заблуждение. Его тесная этимологическая связь с органами чувств, на каждом шагу наводящая на мысль о **сознании**, делает его весьма ненадежным термином для выражения силы, не зависящей от восприятия — силы, коя присуща растениям, отделенным частям тел животных, яйцам и семенам.

Однако языку редко под силу передавать идеи с совершенной точностью.[94] Не только порча речи, но и само развитие знаний ведет к неустойчивости в употреблении слов. Новые идеи по мере своего возникновения незаметно сплетаются со старыми выражениями, смысл которых в результате расширяется, варьируется, а зачастую и вовсе меняется.[95] Изобретать новые термины при каждом приращении идей невозможно. Ибо, поскольку новое может быть осмыслено лишь через его аналогии и связи с фактами уже известными, изолированный и ни с чем не связанный специальный термин, будучи введен в язык, редко служит цели своего создателя. Именно по этой причине человечество неизменно прибегало к чувственным образам и известным их сочетаниям как к источникам, из которых они черпали средства для расширения своего словаря; при этом люди предпочитали приспосабливать старые термины к новым значениям всякий раз, когда это было возможно, считая это наиболее легким способом сделать свои идеи доступными для общего понимания. В данном случае обыденная речь слишком прочно завладела термином «**ощущение**» (sensation), чтобы можно было полностью избежать некоторой путаницы при его специальном применении. Однако, дабы по возможности исключить неясность, на последующих страницах будут использоваться понятия «**восприятие**» (perception) и «**восприимчивость**» (perceptibility) во всех тех случаях, когда относительная чувствительность противопоставляется той низшей разновидности чувствительности, что была описана выше и которая ведает исключительно функциями питания.

Относительная чувствительность представляет собой ту модификацию жизненной силы, которая сопровождается сознанием; по всей видимости, она локализуется исключительно в нервном аппарате. В силу этого её, пожалуй, следовало бы рассматривать скорее как функцию, нежели как первоначальную силу.[96] Однако различия между тканью и органом, жизненным свойством и функцией слишком произвольны, чтобы допускать их универсальное и строгое применение; и лишь соображения пользы должны определять их употребление в каждом конкретном случае.

Для выражения реакции, возникающей в живых тканях при воздействии на них соответствующих раздражителей, физиологи приняли термин «сокращение»; в этом, как и в предыдущем случае, физиологи заимствуют свои представления из наиболее очевидных движений, происходящих в животных тканях высшего порядка.

---

[94] «Языки обязаны своим изобретением не философам, а нужде». — Гельвеций.

[95] Так, слово virtus, которое этимологически означает «мужественность», у моралистов подразумевает обязанности человека в обществе; у теологов оно обозначает малодушное отречение от права суждения; а у итальянцев производное от него virtuoso означает нечто, прямо противоположное мужу. Порой термины в силу любопытных операций разума принимают прямо противоположные значения; как в случаях, когда слово presently [«в настоящий момент»] используется для обозначения времени, не являющегося настоящим [«вскоре»], а probably [«вероятно»] — для того, что не может быть доказано.

[96] Мажанди. «Краткое руководство по физиологии» (Précis de Physiologie).

Точная природа простейшего способа организованной реакции, составляющей питательную, автоматическую или органическую функцию, совершенно неизвестна. Она протекает в столь малых частицах живого тела, что они не могут быть подвергнуты визуальному наблюдению. Можно проследить путь частицы крови через сосуд; можно увидеть, как она входит в железу, из которой выходит, полностью изменив свой состав, в форме определенного секрета; однако природа процесса, который она претерпела, ускользает от чувственного познания и окутана глубочайшим мраком.[97] Точно так же можно проследить за пищей на каждой стадии процесса пищеварения и отметить её постепенные изменения; однако специфическое действие живого пищеварительного канала ни в малейшей степени не обнаруживает себя при наблюдении. И только по аналогии с ощутимыми сокращениями, происходящими в мышечных волокнах, эти разнообразные незаметные движения обозначаются термином «сокращение».

Биша, основоположник такого взгляда на жизненную силу, выделяет три разновидности органической реакции. Первую из них он называет называет «неощутимым органическим сокращением», но для которого более уместны термины **автоматическое** или нутритивное (питательное) сокращение,[98] включает в себя все мельчайшие сосудистые акты ассимиляции и всасывания. Будучи независимыми от воли, они обусловлены причинами, заложенными в самих органах.

Вторую разновидность он именует органическим ощутимым сокращением; оно охватывает те явные мышечные движения, что происходят в органах, свободных от влияния воли, — таких как сердце или мышечная оболочка кишечника.

Последний вид был назван им животным сокращением. Под этим термином подразумеваются все те мышечные движения, которые управляются волей. Однако подобная классификация, очевидно, неприемлема, поскольку она основывается на различии, внешнем по отношению к самому предмету исследования. Оба последних типа сокращений совершенно тождественны по своей сути и были объединены Галлером под общим названием раздражительности. Тот факт, соединена ли мышца с нервным аппаратом или нет, и является ли она вследствие этого подвластной воле или независимой от неё, совершенно не касается её структуры как мышцы. Даже если нервное сообщение между мозгом и органом животной сократимости будет прервано, его мышечные свойства всё равно останутся нетронутыми и неизменными.

---

[97] Как уже отмечалось, прохождения электрического разряда недостаточно для объяснения различий в секреции.

[98] Использование термина «органическое» в противопоставлении «животному» действию ошибочно, поскольку все жизненные отправления являются органическими. К тому же это порождает досадную какофонию: «органические органы».

Безусловно, существуют некоторые незначительные различия в механическом устройстве волокон тех мышц, которые осуществляют **органические движения**, и тех, что повинуются **влиянию воли**. Физиологу необходимо учитывать эти нюансы, и в данном отношении классификация Биша не лишена определенного удобства. Однако следует неизменно помнить, что в обоих случаях эти две силы настолько схожи, что едва ли найдутся веские научные основания для разделения их проявлений на обособленные и противопоставленные друг другу порядки.

Различные разграничения, проводимые здесь как между способами сокращения, так и между видами чувствительности, следует в значительной степени считать искусственными. Их ценность обусловлена скорее пользой для процессов обобщения, нежели их близостью к строгой научной точности.

Каждая отдельная ткань обладает собственной специфической **жизнеспособностью**; и различия в чувствительности, дающие начало цветку или мышце, должны быть куда более разительными, чем те, что проводят грань между автоматической и животной функциями. То, что разновидности чувствительности, установленные Биша, различаются скорее по степени, а не по своей природе, представляется очевидным также ввиду внезапного развития воспринимающей чувствительности при воспалении органов, изначально лишенных этого свойства в здоровом состоянии.[99] Подобным же образом переход от неощутимых сокращений, обеспечивающих питательную функцию, к видимым действиям произвольных мышц совершается столь тонкими, едва уловимыми градациями, что это вовлекает физиологов в бесконечные споры о мускульной или немускульной природе тех или иных органов.

Прослеживая явления природы — от высших и сложнейших волевых движений до простого тяготения материи к общему центру, — трудно уловить те точки, в которых прекращается влияние одного видоизменения силы и начинается действие другого.

Есть все основания (за исключением разве что прямых доказательств) полагать, что все **жизненные явления зависят от единого общего начала**, по-разному проявляющегося в различных живых тканях. Различия между низшими проявлениями этого начала и случаями простого химического сродства едва ощутимы; сходство же между химическим сродством и силой притяжения масс представляется еще более поразительным.

---

[99] Своеобразным подтверждением этого факта может служить мучительная колющая боль, сопровождающая воспаление легких. Очаг этого недуга локализуется в мембране, выстилающей грудную клетку, — оболочке, которая в здоровом состоянии не способна передавать ощущения в мозговой центр. Точно так же кости и связки, остающиеся в здравии нечувствительными к самым грубым воздействиям, в состоянии болезни обретают крайнюю степень болезненной восприимчивости.

Образ действия всех этих различных сил столь разительно схож, что в языке существует лишь одно общее понятие как для симпатического влечения любви и дружбы, так и для взаимного притяжения тел неорганических. Именно по этой причине философы-мистики древности приписывали всё сущее божественному Эросу,[100] а **Лукреций** начинает свое изложение системы природы с воззвания к Венере.

Следует, однако, повторить, что гипотеза, вытекающая из подобного взгляда (столь же величественная, сколь и простая), при нынешнем состоянии наших знаний относится скорее к области поэзии, нежели физиологии.

Чувствительность и сократимость организованных тканей, не будучи изначальным свойством их первичных частиц, развиваются в ходе функциональных процессов, происходящих между твердыми и жидкими элементами организма; прекращение же этих процессов неизбежно влечет за собой смерть.[101] Если прекратить приток крови к конечности с помощью наложения лигатур на артерии, всякого рода чувствительность угасает в кратчайшие сроки; сама же часть тела отмирает, и в ней наступают те же изменения, что происходят при смерти всего организма. Именно на этом принципе основано удаление опухолей и иных наростов путём их перетягивания шелковой нитью или даже волосом — операция, часто применяемая в хирургической практике.

Влияние кровообращения на относительную чувствительность проявляется ещё более непосредственно. Если по какой-либо причине приток крови к голове в привычном её объёме прекращается, функции восприятия мгновенно приостанавливаются; животное впадает в беспамятство, и, если причина не будет быстро устранена, обморок сменяется смертью.[102] Если, напротив, кровообращение остаётся непрерывным, а лигатура накладывается на нервы конечности, тем самым прерывая её связь с церебральным центром, прочие ткани будут продолжать свои функции, не затронутые этим вмешательством. При повреждении нервного аппарата передача ощущений в мозг и волевых импульсов к мышцам, разумеется, неизбежно прекратится; однако конечность продолжит жить, а её мышцы — сокращаться под воздействием иных раздражителей, как если бы подобная операция вовсе не проводилась. Вышеописанные опыты со всей очевидностью доказывают, что нервная система не является источником жизни для всего остального организма; напротив, она обретает свою жизненную силу — наравне со

---

[100] Прежде всего во вселенной Хаос зародился, а следом…
Гея…
…и Эрос, который прекраснейшим был из богов бессмертных.
У всех богов и людей он силы телесные множит,
Разум из груди похищает и волю смиряет рассудную.
— Гесиод. «Теогония».

[101] Это, в сущности, следует из самого значения термина: жизнь есть по преимуществу действие.

[102] Такова теория обморока, столь часто случающегося при процедуре кровопускания.

всеми прочими тканями — в результате взаимодействия между её собственными сосудами и циркулирующими в них жидкостями.

То, каким образом кровь распределяется по различным органам, находится в строгом согласии с этим выводом: объем притекающей к любому из них крови строго соразмерен интенсивности его функций. Согласно расчетам, у человека через мозг проходит **одна шестая часть** всего объема циркулирующих жидкостей; точно так же и мышцы, будучи частями, наиболее щедро снабженными нервами, обладают в своей структуре и наибольшим количеством кровеносных сосудов.

Поскольку жизненная сила, таким образом, является одновременно и **порождением**, и **причиной** функционирования, перед нами предстает некий круговорот действий, не имеющий ни начала, ни конца, в котором первопричина сокрыта от нашего созерцания. Однако возобновление жизненной энергии неким образом связано с функцией дыхания. Кровь млекопитающих, оживляя плотные ткани организма, претерпевает то неведомое изменение, которое, придавая ей багровый оттенок, делает её непригодной для повторного исполнения своих функций. В легких же совершается обратный процесс, и оживляющее свойство крови восстанавливается. Следовательно, химико-витальное воздействие воздуха в этих органах служит очевидным источником возрожденной жизненной силы.

У этой всеобщей закономерности существует лишь одно исключение, да и то, пожалуй, лишь кажущееся. Кровь, циркулирующая в артериальной системе плода, по своему цвету неотличима от той, что течет по венам; на этом основании предполагается, что она не подвергается воздействию кислорода. Однако старая теория, согласно которой этот элемент поступает из материнских артерий, заслуживает серьезного внимания. Кровообращение через плаценту — орган сообщения между матерью и ребенком — непрерывно необходимо для жизни плода; в то же время его прекращение проходит без вреда, как только младенец получает доступ к внешней атмосфере. Вывод о том, что функции плаценты и легких являются взаимно замещающими, представляется неоспоримым.

Для того чтобы раздражитель произвел эффект на живую ткань, необходимо, чтобы они находились в контакте в течение определенного времени. Вспышки молнии часто проносятся в поле зрения незамеченными из-за их чрезвычайной быстроты; по той же причине пули иногда прошивают тело, не вызывая при этом сильного ощущения.

Продолжительность времени, необходимая для возникновения стимуляции, неодинакова для различных раздражителей или тканей: в ряде случаев она бывает весьма значительной. Этим законом пользуются при отравлениях, назначая рвотные средства, которые возбуждают обратное действие желудка, чтобы опорожнить его содержимое прежде, чем яд успеет подействовать на ткани и породить болезнь. Нарывные средства не вызывают раздражения кожи, пока не пробудут на ней несколько часов; возбудители лихорадки пребывают в скрытом состоянии на

протяжении многих дней; а ядовитая слюна водобоязненных животных не вызывает специфической болезни до тех пор, пока не истечет срок самой разной и неопределенной продолжительности. Скорость, с которой реакция следует за приложением раздражителя, меняется в зависимости от силы самого раздражающего начала и жизненной энергии тех тканей, на которые оно воздействует.

С другой стороны, когда раздражитель уже произвел свое воздействие, вызванная им реакция продолжается в течение некоторого времени и после того, как причина была устранена. Первый приступ рвоты обычно изгоняет всё принятое рвотное средство, однако позывы повторяются с той или иной частотой, пока влияние лекарства не изгладится окончательно. Этот закон жизненной энергии находит наглядное подтверждение в простой забаве, столь обычной среди детей. Если привязать горящую щепу к бечевке и вращать её с достаточной быстротой, возникает зрительный эффект огненного круга. Ибо впечатление, оставленное пламенем на сетчатке глаза в любой точке его кругового пути, возбуждает процесс, длящийся до тех пор, пока щепа не совершит полный оборот и не вернется в ту же самую точку, дабы возобновить свое воздействие; таким образом, на сетчатке образуется круг действия, соответствующий круговому движению раздражителя. Именно так в животной экономии под воздействием периодических причин возникают постоянные следствия; а повторное введение одного и того же лекарственного вещества вызывает стойкие изменения в функциональной деятельности.

Эффект, который любой раздражитель способен оказать на живую ткань, варьируется в зависимости от количества, в котором он представлен. В слишком малой дозе его воздействие на функции оказывается совершенно ничтожным. Чрезмерная же доза может усилить, приостановить или извратить деятельность органа, к которому она приложена, либо же вызвать действие совершенно нового характера. **В органах чувств** избыточное раздражение вместо ощущения вызывает боль; в **мышцах** оно заменяет упорядоченное движение судорогой; в **секреторных органах** оно сначала усиливает, а затем приостанавливает секрецию. Спустя некоторое время, однако, выделение секрета возобновляется, но продукт его в той или иной степени претерпевает изменения; а в некоторых случаях кровь течет через секреторные сосуды в чистом и неизменном виде. Все эти явления можно наблюдать при тяжелой простуде воспалительного характера. Если местом чрезмерного раздражения становятся питающие сосуды, обычными последствиями являются острое воспаление и лихорадка.

Когда неумеренный раздражитель наносит вред скорее своей продолжительностью или повторяемостью, нежели своей абсолютной силой, сосуды возбужденной таким образом железы склонны к параличному состоянию, и секреция постепенно уменьшается или вовсе прекращается. Если паралич сосудов распространяется на систему питания органа, то сама его часть истощается и

уменьшается в размерах. Однако в некоторых случаях питающие сосуды, напротив, начинают действовать с удвоенной энергией вследствие нарушения баланса сил, вызванного прекращением секреции; тогда орган увеличивается в объеме и одновременно с тем становится плотнее. Оба этих состояния ежедневно наблюдаются при исследовании печени лиц, привычно злоупотребляющих спиртными напитками.

Воздействие даже здорового стимула — или же такого, который лишь незначительно превышает меру, необходимую для приведения органа в состояние нормального функционирования, — влечет за собой определенное **истощение жизненной силы**. За этим, в свою очередь, следует более или менее выраженное снижение функции, в течение которого жизненная сила накапливается вновь. Таким образом, хотя каждая ткань обладает своей специфической степенью жизненной энергии, эта степень не определена с той же жесткой и непоколебимой точностью, какая наблюдается в физических силах неорганической природы. Масса косной материи заданного размера и веса во все времена притягивается к земле с одинаковой скоростью (при условии прохождения через одну и ту же среду и падения с одинаковой высоты), и приращение её быстроты всегда неизменно на одних и тех же последовательных отрезках пути. Подобным же образом и сила химического сродства всегда постоянна; результаты же соединений, будучи однажды познаны, могут впоследствии быть вычислены **a priori** с невероятной точностью. В организованных телах, напротив, наблюдается непрестанное колебание движущих сил в определенных пределах. Это обуславливает большую или меньшую реакцию на применение заданного раздражителя, в зависимости от того, воздействует ли он на ткань, чувствительность которой в данный момент истощена или же, напротив, накоплена сверх ее средней интенсивности. Следовательно, понятия **чрезмерного** или **недостаточного** раздражителя применимы не к строго определенным количествам чужеродного вещества, но к дозам, варьирующимся сообразно состоянию живых тканей.

Диапазон возбуждения, в рамках которого органы можно подстегивать и при этом ожидать их возвращения к здоровому функционированию, не слишком широк. Стоит лишь преступить этот предел, как они обретают новые способы действия, которые несовместимы ни с их собственным существованием, ни с гармоничной работой остальной машины; следствием этого становится болезнь или, возможно, смерть индивидуума. На этом физиологическом факте зиждется изречение ne quid nimis (ничего сверх меры). Ни сила, ни быстрота органических движений не могут наращиваться до бесконечности; и всякая попытка довести до крайности приятные ощущения, извлекаемые из функциональной деятельности, не достигает своей цели и сменяется соразмерным периодом бессилия, расстройства и недуга.

Таким образом, организованные существа являются таковыми не только в силу одних лишь текущих обстоятельств, но находятся под мощным влиянием условий их предшествующего существования. Принцип ratio recipientis (способность

воспринимающего) имеет куда большее значение для живых существ, нежели для неорганической материи. Этот закон действует непрестанно, регулируя воздействия, оказываемые на живые ткани окружающими элементами.

Если на некоторое время погрузить одну руку в очень горячую, а другую — в очень холодную воду, а затем обе перенести в воду умеренной температуры, то согретая рука ощутит **холод**, в то время как озябшая почувствует **прилив тепла** от перемены среды. В ходе этого опыта жизненная сила согретой руки оказывается сравнительно истощенной чрезмерным раздражителем в виде горячей воды, и потому теплая жидкость возбуждает её слабее, нежели охлажденную конечность, жизненная энергия которой накопилась за время пребывания при низкой температуре. Люди, заходящие с мороза под кров теплой комнаты, подобным же образом испытывают боль, покалывание и покраснение кожи от того умеренного тепла, которое кажется едва комфортным тем, кто не подвергался воздействию холода. Именно вследствие аналогичного **накопления возбудимости**, вызванного зимним оцепенением, пробуждение природы весной начинается при такой температуре, которая осенью была бы недостаточна для поддержания жизни в истощенной листве.

Сферы применения этого закона бесконечны. **Русские**, руководствуясь в своих действиях исключительно накопленным опытом, следуют велениям этого закона при лечении органов, пораженных суровыми морозами их климата. Воздействие на организм столь чрезвычайно низких температур до такой степени повышает восприимчивость к специфическому тепловому воздействию, что внезапный прилив тепла вызывает реакцию, мгновенно губительную для жизни. Посему, когда какая-либо конечность оказывается обморожена, первым средством, которое к ней применяют, является легкое растирание снегом. Снег, будучи на несколько градусов теплее окружающего воздуха, становится для пораженного участка раздражителем, соразмерным его новому состоянию, и возбуждает в нем ровно столько деятельности, сколько необходимо для возвращения к здравию. Остановка кровообращения, вызванная столь сильным холодом, не сопровождается болью; вследствие этого люди рискуют незаметно для себя впасть в подобное состояние и в таком виде войти в натопленные помещения. В этих случаях возбудимость обмороженного органа полностью утрачивается, развивается гангрена, и часть тела оказывается безвозвратно потеряна.

Из вышеизложенных обстоятельств представляется вероятным, что катар — это досадное мучение нашего островного климата — гораздо чаще становится следствием внезапного перехода от холода к теплу, нежели (как принято считать) от тепла к холоду. Справедливо, что катар часто подхватывают на ночном воздухе, покидая многолюдные собрания; однако общее истощенное состояние организма в это время суток, что делает его более склонным к беспорядочным реакциям, вполне объясняет сей факт. Вред в подобных случаях может быть также приписан возвращению с открытого воздуха в теплоту спальных покоев; и в пользу сего

предположения говорит ещё и то дополнительное обстоятельство, что люди, идущие домой пешком и входящие в дом с тем жаром на коже, который порождается телесным упражнением, менее подвержены риску простудиться, нежели те, кто возвращается под кровом закрытого экипажа.

Неудобства, проистекающие от недостатка стимуляции, гораздо менее тягостны, нежели те, что вызваны чрезмерным возбуждением. Если раздражение оказывается слабее естественного, возбудимость накапливается и тем самым стремится приспособить орган к новым условиям. Это, впрочем, верно лишь до определенных пределов. Отсутствие привычных стимулов служит источником животных влечений. Голод есть тягостное ощущение, в некоторой мере связанное с накопившейся чувствительностью желудка; и любовное неистовство животных, не извращенное разумом, берет свое начало исключительно в подобной же причине. Недостаток умственного возбуждения порождает недуг, который французы именуют ennui [скукой]. Накопленная чувствительность проявляется в той беспокойной склонности к движению, которую на простонародном языке называют «ерзаньем», «отбиванием дроби» и тому подобным. Движения, производимые таким образом, суть попытки растратить ту жизненную силу, которой мало кто умеет распорядиться, на скудность которой все сетуют и с которой, часто обладая без удовольствия, человек никогда не расстается без сожаления.[103] С этими непроизвольными движениями связаны и те судороги, что составляют недуг, именуемый пляской святого Витта — болезнь, свойственная избыточной возбудимости юношеского возраста и во многих случаях, вероятно, обусловленная принудительным затворничеством в стенах учебных заведений и светских гостиных.

Среди бесконечного разнообразия обстоятельств, порождаемых климатом, а также нуждами и страстями индивида, было бы невозможно сохранить равновесие между возбудимостью и раздражителем, если бы в действие не вступало некое иное начало, призванное устранять пагубные последствия неизбежных излишеств. Таким началом является **привычка**, или тот закон органической экономии, в силу которого действие данных стимулов становится тем менее резким, чем чаще они прилагаются. Влияние привычки, по-видимому, особенно сильно сказывается на тех впечатлениях, что пробуждают эмоции удовольствия или боли, а также на тех, что воздействуют на кожу и слизистые оболочки. Когда стимул воздействует на эти ткани в течение долгого времени, его эффект постепенно ослабевает, пока, наконец, он не становится совершенно инертным. Вкусовые вещества, если долго удерживать их во рту, перестают возбуждать свойственный им вкус. Точно так же кольца и иные предметы, стесняющие тело, поначалу вызывают явственное чувство неудобства в

[103] Аннуи (ennui — скука) происходит от некоего устаревшего глагола, корнем которого является существительное «nuit» (ночь). Нет заблуждения более распространенного, чем принимать вялость, порожденную праздностью и апатией, за истинную усталость; и полагать способности исчерпанными, тогда как они лишь оцепенели от отсутствия побуждающих мотивов.

местах давления, но спустя короткое время перестают ощущаться. Именно поэтому существует старинный обычай освежать память, переодевая кольцо на другой палец: легкое раздражение, вызванное его непривычным положением, связывается в сознании с тем обстоятельством, которое надлежит помнить, и тем самым время от времени возвращает его в мысли владельца.

Подобно тому как длительное воздействие раздражителя притупляет чувствительность тканей к данному веществу, так и частое его применение снижает интенсивность эффекта, производимого его присутствием. Физические и нравственные следствия этого закона столь многочисленны, что не поддаются исчерпывающему описанию. Привычное злоупотребление опьяняющими напитками, как известно, ослабляет их воздействие на разум. Неискушенного кутилу могут свалить несколько бокалов, в то время как закоренелый пьяница способен осушить столько же бутылок, не теряя тех крох рассудка, что у него еще сохранились.

Это положение в равной степени справедливо и в отношении опиума, а также других быстродействующих стимуляторов. Некоторые люди привычно принимают такие дозы этих снадобий, которые мгновенно оборвали бы жизнь, будь они приняты впервые. Врачи вынуждены постоянно увеличивать дозировку лекарств или заменять их другими, обладающими схожей эффективностью, дабы противодействовать этой склонности организма, когда ставится цель сохранить непрерывное воздействие на систему.[104]

Влияние привычки на восприятие природных стихий общеизвестно. **Крестьянин**, чей быт проходит в постоянном соприкосновении с силами природы, гораздо меньше страдает от смены времен года, нежели изнеженный горожанин, для которого внезапные и резкие перепады температур непривычны. Секрет восточных фокусников, которые во время недавних представлений в нашей стране вводили мечи себе в желудок, заключается в притуплении болезненных ощущений, кои эти предметы вызывают поначалу; достигается это путем многократного и методичного соприкосновения их поверхности со слизистой оболочкой пищевода.

Великое искусство жизни состоит в том, чтобы избегать этого усыпляющего влияния привычки и так распоряжаться приятными ощущениями, дабы сохранить способность наслаждаться ими и в преклонные годы. Безразличие, порождаемое привычкой даже в отношении самых острых ощущений, есть враг, против которого

[104] Один человек, находившийся под наблюдением автора, имел обыкновение ежедневно принимать по две рюмки лауданума. Количество опиума, обычно потребляемое жителями Турции, оказалось бы смертельным для организма, не привыкшего к подобному стимулу. Однако это влияние привычки лишь временно: чувствительность тканей быстро восстанавливается после краткого воздержания. Поэтому при использовании цикуты, дигиталиса и других наркотических средств, если их прием был прерван на короткий срок, необходимо возобновлять лечение с самых малых доз, а не с тех, в которых они принимались в последний раз.

человечество ведет непрестанную борьбу. Удовольствия стола, литературы и искусств, даже волнующие превратности азартных игр — всё теряет свое очарование от частого повторения. Люди, ищущие встречи с жаром, расстаются с безразличием; даже высокие достоинства не всегда способны удержать привязанность друга, а красота — сковать непостоянство любовника. Пожалуй, величайшее преимущество **богатства** заключается в той легкости, с которой оно позволяет менять череду наших ощущений и пробуждать интерес частой переменой занятий, круга общения и места жительства.

Более высокая восприимчивость органов чувств к притупляющему влиянию привычки заставила **Биша** усомниться в её воздействии на функции питания. Однако власть привычки становится весьма очевидной в том постепенном замедлении, которое по мере течения жизни происходит во всех автоматических движениях. Жизненные функции отправляются с наибольшей быстротой в самые ранние периоды существования; затем они незаметно угасают до самого момента их окончательного прекращения.[105] Подобным же образом многие болезненные симптомы спустя короткое время исчезают под влиянием привычки, несмотря на продолжающееся присутствие вызвавшей их причины. Тот факт, что некоторые инфекционные болезни, сопровождающиеся высыпаниями, поражают человека лишь единожды, со всей очевидностью объясняется привыканием системы к воздействию заразных **миазмов**. Точно так же жители болотистых местностей закаляются против пагубного влияния местных испарений; они менее подвержены лихорадке, нежели чужестранцы, посещающие их края лишь изредка. Наконец (ибо количество подобных примеров поистине безгранично), инородные тела, такие как пули и им подобные, будучи скрыты в плоти, поначалу вызывают яростное воспаление, но со временем перестают причинять какое-либо беспокойство.

Подобное действие привычки на **чувствительность** являет собой любопытный контраст с её влиянием на **сократимость**. Когда орган или ткань привыкают к определенному виду сокращения, они при каждом повторении стимула обретают склонность воспроизводить это действие с еще большей силой, легкостью и устойчивостью. Пища, к которой желудок привык, переваривается легче всего. Привычная ноша переносится с наименьшим трудом: и если бы носильщик паланкина и грузчик поменялись своими обязанностями, они оба, оказавшись в новых условиях, потеряли бы и в силе, и в ловкости.

Это различие в последствиях привычки отчетливо прослеживается в её влиянии на восприятие и суждение. Благодаря неоднократному изучению предмета те движения сенсориума, в которых, по сути, и заключаются идеи, укрепляются и становятся более точными; они легче воспроизводятся в памяти и сочетаются во всевозможных вариациях. Таким образом, привычка повышает точность

[105] Артериальный пульс младенцев бьется более 120 раз в минуту; в глубокой старости он редко превышает 65.

сравнительных понятий, и в то же время притупляет **чувственные впечатления** удовольствия и боли, которыми эти понятия были первоначально вызваны. В этом кроется физиологическое основание прекрасного замечания Фонтенеля о том, что *«удовольствия недостаточно прочны, чтобы вынести углубленное изучение. Их нужно лишь слегка касаться. Они подобны топким землям, по которым должно пробегать легко, ни на мгновение не останавливаясь»*.[106] Именно по этой причине стремление к познанию столь часто пагубно сказывается на человеческом счастье.

Всё бежим от Природы, чтоб знать её строй,
В изученье причин притупляем восторг,
Забывая, насколько для нас, пред судьбой,
Греза сна выше истин, что разум исторг.
— **Томас Мур**

Совокупное действие привычки, которое подавляет живость впечатлений и укрепляет заведенный порядок действий, одновременно делает человека недовольным настоящими обстоятельствами и «приковывает его к веслу», зачастую мешая даже попыткам сбежать. Привычные способы мышления и действия со временем обретают преимущество перед благотворными нововведениями; предрассудки укрепляются годами, и прецедент воцаряется на месте разума. Тем временем чувство укоренившейся несправедливости притупляется, и цепь от долгого ношения перестает уязвлять. Так самые пагубные государственные правления находят себе добросовестных приверженцев, а самые унизительные суеверия — своих доверчивых мучеников. То, что не встречает одобрения, — терпится; то, что существует издревле, кажется естественным и неизбежным; и века сменяют друг друга, не становясь свидетелями сколь-нибудь существенного продвижения общества к мудрости или счастью.

Когда какой-либо орган истощен частым повторением одного и того же стимула, его чувствительность все еще может быть возбуждена воздействием другого. Чай, кофе, вино, спиртные напитки, эфир и опиум, принимаемые последовательно, производят более стойкий эффект, нежели при отдельном и настойчивом употреблении любого из них. К этому закону могут быть отнесены весьма своеобразные феномены зрительных спектров, описанные в «**Зоономии**» доктора Дарвина. Если взгляд в течение долгого времени неподвижно зафиксирован на одном из основных цветов, так что глаз утомляется от его созерцания, а затем внезапно переведен на какой-либо сложный цвет, составной частью которого является первый, — этот второй цвет не вызовет в сознании того же, обычно

[106] «Тот, — говорит Шамфор, — кто желает чрезмерно подчинить свое счастье разуму, кто подвергает его исследованию, кто, так сказать, придирается к своим наслаждениям и допускает лишь изысканные удовольствия, в конце концов лишается их вовсе. Он подобен человеку, который столь усердно взбивал и чесал свой матрас, что тот истончился, и в итоге несчастному пришлось спать на жестком».
— «Диалоги мертвых».

вызываемого им представления, но то, которое возникло бы в том случае, если бы первоначальный цвет, созерцаемый ранее, полностью отсутствовал в данной комбинации. Пусть, к примеру, красная облатка будет закреплена в центре листа белой бумаги и ярко освещена. Если пристально зафиксировать на ней взгляд так, чтобы исходящие от нее лучи непрерывно падали на одни и те же точки сетчатки, и если затем, когда это усилие начнет вызывать чувство утомления и боли, перевести взор на другую часть листа, глазу явится ярко-зеленое пятно, по размеру и форме напоминающее эту облатку. Объяснение этого любопытного эксперимента просто. Белый цвет — это ощущение, возникающее при должном смешении красного, синего и желтого (если абстрагироваться от промежуточных оттенков); зеленый же цвет рождается из сочетания синего и желтого. Следовательно, пучок белого света казался бы зеленым, если бы из него были удалены все красные лучи. Но так как тот участок зрительного нерва, который был утомлен созерцанием облатки, более не возбуждается красными лучами, он реагирует так, словно они вовсе отсутствуют в цветовой комбинации. Таким образом, в сознании запечатлевается образ зеленого круга, соответствующий области истощенной ткани зрительного нерва.

Этот закон жизненного действия находит частое применение. Он объясняет то чувство бодрости, которое приносит смена рода занятий, когда ум утомлен усердными занятиями;[107] а также продление аппетита, возникающее при чередовании сладкого и кислого, пряных яств и простой пищи. Этим свойством чувствительной ткани можно объяснить и многие факты, касающиеся цветов — как тех, что находят применение в живописи, так и тех, что служат целям украшения. Основные цвета, как правило, отвергаются при убранстве жилищ и в одежде, поскольку интенсивность вызываемых ими ощущений утомительна и рождает пресыщение. Полутона, состоящие из множества красок в первичных и вторичных сочетаниях, менее ярки и освежают глаз своими смешанными впечатлениями. Кричащие краски в картинах неприятны, ибо они неестественны; однако ими восхищаются в театральных представлениях и торжественных шествиях, так как подобных зрелищ ищут ради получения живых, ярких ощущений, а быстрая смена предметов в таких увеселениях препятствует утомлению. В тех случаях, когда при подборе красок требуется контраст, наиболее удачные сочетания дают цвета, дополняющие друг друга до белого, как, например, алый и синий или красный и зеленый. Но там, где необходимы гармония и единство эффекта, следует выбирать те цвета, которые содержат почти одни и те же первичные оттенки; по этой причине третичные составы предпочтительнее бинарных цветов, так как они обеспечивают более тесное сближение тонов.

Если воздействие, не будучи чрезмерным, регулярно повторяется через такие промежутки времени, которые позволяют чувствительности восстановиться после предыдущей дозы, его влияние на систему не только не уменьшается, но, напротив,

[107] Жиль Менаж превратил этот факт в максиму: Πόνε μεταβόλη ἐίδος ἐστ᾽ ἀμπαυσέως («Перемена труда есть своего рода отдых»).

возрастает. Доктор Дарвин объясняет сей примечательный факт сочетанным действием раздражения и ассоциации. Однако это положение, по всей видимости, приложимо главным образом к тем стимулам, что используются для восстановления здоровой жизнедеятельности при ослаблении организма; в подобных случаях периодический прием лекарств может усилить их эффективность, согласуясь с теми естественными ритмическими процессами, которые были нарушены недугом и которые врач призван восстановить.

Различные органы высших классов одушевленных существ столь тесно взаимосвязаны, что едва ли возможно сильное воздействие на один из них без последующего изменения во всех прочих; и даже немногие из легчайших впечатлений остаются исключительно в пределах тех органов, в которых они возникли.

Существует, однако, и более специфическое влияние, проявляющееся между отдаленными органами, при котором один из них приводится в действие вследствие определенных импульсов, воздействующих на другой. Это влияние получило наименование **симпатии** — термина, лишь констатирующего сам факт, но, подобно иным схожим понятиям, слишком часто принимаемого за объяснение причины этого самого факта.

Природа симпатии совершенно неведома, а обстоятельства, при которых она проявляется, изучены лишь отчасти.[108] Замечено, что она возникает между частями организма, связанными самым различным образом. Одной из причин симпатического действия, по-видимому, является непрерывность поверхности. Так, воспаление редко ограничивается одним участком оболочки, но распространяется на всю её протяженность. Подобным образом и некоторые лекарства, принятые в желудок, одновременно воздействуют на весь пищеварительный тракт.

Симпатия также существует между различными тканями, составляющими один и тот же орган; так, воспаление плевры возбуждает симпатическое воспаление слизистой оболочки легких.

Органы, связанные функционально, обычно оказывают друг на друга подобное влияние. При воспалении одного глаза другой редко остается совершенно здоровым. Приятные ощущения, воздействующие на язык и нёбо, вызывают симпатическое усиление секреции слюнных желез; точно так же воздействие света на сетчатку обуславливает сокращение радужной оболочки.

Активная симпатия наблюдается и между отдаленными тканями сходного строения. Слизистая оболочка пищеварительного тракта подвергается

[108] Цицерон определяет συμπάθεια как действие, возникающее «вследствие природной связи и некоего созвучия и согласия» (ex conjunctione naturæ et quasi concentu atque consensu). - De Divinat. l. i.
Объяснения современных философов оказались не более удачными.

болезненному воздействию при заболеваниях слизистой оболочки, выстилающей почки. Оттого рвота и становится симптомом прохождения камня через мочеточники.

Наконец, симпатические связи возникают между органами, не имеющими явного родства в строении или функциях,[109] — как, например, когда палец ноги воспаляется вследствие подагрического раздражения в желудке.

Помимо этих тканевых симпатий, существуют и другие, более общие и всеобъемлющие связи между важнейшими внутренними органами; благодаря им каждый орган влияет на остальные и обладает, так сказать, правом голоса в управлении всей «живой машиной». Симпатические поражения желудка и кишечного тракта заслуживают в этом отношении преимущественного внимания. Расстройство функций пищеварительной трубки порождает: головную боль; беспокойные сновидения; различные галлюцинации. Оно же является одной из весьма вероятных причин гидроцефалии. Оно равным образом расстраивает артериальную систему, побуждая сердце к учащенному и неритмичному биению; повергает мышцы в различные спазматические сокращения и вызывает некоторые виды астмы.[110] Пищеварительный тракт также сохраняет тесную связь с кожей, вероятно, вследствие непрерывности их поверхностей и общего сходства строения.

С другой стороны, и сам желудок находится под влиянием деятельности иных внутренних органов. Так, сотрясение мозга или даже сильное душевное волнение бывают достаточны, чтобы вызвать рвоту; нередко и диарея сопутствует глубокой скорби. В действительности едва ли найдется какое-либо болезненное состояние, каков бы ни был его очаг, в котором желудок и кишечник не принимали бы живейшего участия. Оттого Аретей справедливо заметил: «Στομάχος ἡδονῆς καὶ ἀηδίης ἡγεμών», — то есть желудок есть великий источник как приятных, так и тягостных чувствований.

Симпатическое воздействие важнейших внутренних органов на формирование характера и страстей как отдельных индивидов, так и целых видов еще только предстоит изучить метафизикам. Тем не менее, влияние известных болезненных состояний печени, пробуждающих особый ход мыслей, хорошо известно; врачи также отмечали противоположный эффект легочной чахотки, которая поднимает дух, внушает радужные надежды на будущее и освещает путь к могиле блуждающими огнями начинающегося разрушения. Полное преобразование всего живого существа в период полового созревания и неодолимый порыв материнского инстинкта служат прекрасными иллюстрациями того же закона.[111]

---

[109] Биша.

[110] Гамильтон о слабительных средствах. Бри об астме.

[111] См. Кабанис – «Отношения между физической и нравственной природой человека».

Симпатическим влиянием определенных органов на мозг следует объяснять и все те действия, которые животные совершают в установленные сроки и под воздействием особых физиологических условий; к таковым относятся гнездование птиц, временная свирепость самцов некоторых травоядных видов, великое многообразие причудливых склонностей в племенах насекомых и возрастающая угрюмость хищников, подстегиваемых голодом.

Влияние этого последнего фактора — даже на человека — хорошо известно тем, кто пристально изучал человеческую природу. Мало найдется людей, не знающих, что благосклонности легче всего добиться в тот момент, когда нрав смягчен приятными ощущениями, кои суть следствие удовлетворенного аппетита и легкого пищеварения. Благодаря этому симпатическому воздействию органов пищеварения на разум в немалой степени формируется даже национальный характер. Долгие привычки к постоянной нужде и страданиям из-за преобладания тягостных ощущений порождают свирепость нрава и безразличие к пороку. Напротив, приятное возбуждение от здорового функционирования организма, возникающее при достаточном обеспечении предметами первой необходимости, способствует развитию более мягких чувств и теснее связывает узы общества, предрасполагая индивида сопереживать радостям своего рода. В этом заключается одно из физических оснований той тесной связи, что существует между благодетельным правлением и послушным народом; это же помогает объяснить неизбежность той разрушительной ответной реакции, которая время от времени сметает тиранов с лица земли и подводит кровавый баланс между деспотизмом и рабством.

Все эти движения, по сути своей необходимые для сохранения жизни и совершающиеся без участия определенного, направляемого намерением волевого акта, должны зависеть от **изначальной симпатии**, неразрывно связанной с самой организацией живого существа. Так, воздействие воздуха при появлении на свет побуждает диафрагму к сокращению, а аромат молока вызывает первые попытки сосания тотчас после рождения — без какого-либо усилия воли или иного известного принципа действия. Естественные проявления страстей, которые служат основой для языка искусственного и без которых последний не мог бы существовать,[112] точно так же не зависят от подражания и не направляются сознанием. Это движения, симпатически возбуждаемые определенными изменениями чувственных впечатлений; и поскольку они в равной мере охватывают как автоматические, так и относительные органы, они, очевидно, никак не связаны с волеизъявлением.

Можно предположить, что, сводя феномены инстинкта к общему закону симпатии, мы едва ли расширяем истинное знание, поскольку одна неведомая причина лишь подменяется другой. В известной мере это справедливо. Однако если, соотнеся инстинктивные движения с иным разрядом хорошо изученных явлений,

[112] Дежерандо. «О знаках».

удастся устранить хотя бы часть тумана и таинственности, окружающих это понятие, польза, которую философия извлечет из подобного упорядочивания, окажется весьма существенной. Польза, однако, гораздо значительнее, поскольку подобный взгляд на предмет вновь объединяет два класса действий — произвольные и инстинктивные, которые прежде разделялись весьма необоснованно. В самом деле, что есть разум и воля, как не симпатические действия нервных органов, обусловленные их необходимой и фундаментальной связью с органами чувств? Определенные ощущения порождают конкретные идеи; совокупность же идей, присутствующих в интеллекте, вызывает определенные реакции воли, столь же несомненные и безошибочные, как и любые чисто инстинктивные акты. Основное различие, по-видимому, заключается лишь в большей быстроте инстинктивных движений — быстроте, которая несовместима с участием сознания.

Симпатии, возникающие в результате здорового отправления функций, в большинстве своем способствуют сохранению машины организма. К таковым относятся: движение диафрагмы в согласии с легкими; мгновенный прилив нервной энергии вследствие присутствия пищи в желудке и тому подобное. Те же симпатии, что проявляются при болезни, редко имеют столь же благотворную направленность. Спазматические сокращения, возникающие при некоторых поражениях кишечника и принимающие форму судорог, служат лишь к обострению недуга. То же замечание справедливо для боли в плече, сопровождающей болезни печени, для головной боли при расстройстве желудка, рвоты при патологиях почек и так далее. Здесь, следовательно, можно найти еще один аргумент против предполагаемой **vis medicatrix naturæ**. Эти симпатические движения представляют собой неизбежный результат общего закона, который может оказаться благотворным или же пагубным в зависимости от стечения прочих обстоятельств; они, очевидно, возникают без какого-либо определенного намерения, которое могло бы проистекать из некоего исцеляющего начала в животном механизме.

Симпатические связи, возникающие вследствие болезненных состояний, могут проявляться в ощущениях, в мышечных движениях или в расстройствах системы питания. Примеры всех этих видов симпатии уже приводились выше. В случае подагрического приступа, сопряженного с особым расстройством желудка, все три вида проявляются в боли, судорогах и воспалении, коими и характеризуется данная болезнь.

Предпринимались различные попытки объяснить явление симпатии через нервную проводимость, связь кровеносных сосудов или посредством соединительной ткани;[113] однако, по всей видимости, это — изначальный закон организации, не допускающий иного объяснения, кроме того, что со временем

[113] Симпатические связи возникают между частями тела, вовсе не связанными нервами и получающими кровь из разных сосудов. Связь через соединительную ткань слишком повсеместна, чтобы объяснять частные случаи; следовательно, каждое из этих объяснений несовершенно.

раскроет перед нами тайну самой жизни. Доподлинно известно лишь то, что влияние впечатлений тем обширнее, чем выше общая жизненная сила биологического вида. Попытки свести симпатию к нервному влиянию представляют собой объяснение общего факта через частный; и было бы гораздо логичнее объяснять само нервное влияние через симпатию, если бы одну из этих форм выражения можно было сделать более понятной, нежели другую.

Одним из вероятных источников симпатических болей может выступать ошибка восприятия, при которой сенсориум ложно приписывает ощущение боли здоровому органу, удаленному от истинного очага болезни. Подобные заблуждения случаются при бреде и в некоторых иных малоизученных состояниях мозга, напоминающих ипохондрию, при которых воображение наделяет свои грезы реальностью, ни в чем не уступающей подлинным ощущениям. Многие пациенты при приближении эпилептического пароксизма воображают явление некоей ужасной фигуры, которая, как им представляется, наносит им удар в само мгновение их падения. Это болезненное состояние было остроумно использовано для объяснения свидетельств, кои даже люди выдающихся дарований давали касательно призраков и прочих явлений, по самой своей природе невозможных; явлений, в реальности которых никакие показания не смогли бы убедить здравомыслящего человека.

Нам остается рассмотреть еще один вид естественной симпатии, о котором, впрочем, нельзя сказать многого. Это та связь, что существует между особями одного и того же вида или видов, близкородственных между собою. Она наиболее полно проявляется у высших классов животных и постепенно ослабевает по мере нисхождения по ступеням природной шкалы.

В низшей своей степени она, по-видимому, свойственна лишь тем движениям, что связаны с сохранением вида; в высших своих проявлениях — она распространяется на каждое чувство, которому только доступен разум. Между двумя людьми, чья привязанность искренна, чувства скорее передаются взглядами, нежели выражаются словами; эмоции же отражаются и разделяются через знаки более точные, тонкие и верные, чем те, что носят чисто условный характер. Именно исключительная восприимчивость человека к подобным впечатлениям, а не органическое устройство его речевого аппарата, послужила истоком создания системы искусственных знаков. Условный язык глухонемых доказывает, что речь не является обязательным условием для социального общения, хотя она и представляет собой наиболее удобное и совершенное средство обмена мыслями.[114]

[114] Собаки, лошади и другие одомашненные животные считывают естественное выражение человеческого лица и благодаря этому поддерживают с человеком узы даже более тесные, чем с представителями собственного вида. В этом заключается вся теория «смышленых собак», «ученых свиней» и им подобных, которых посредством языка природы приучают понимать условные знаки и связывать их с определенными действиями.

Симпатическое влияние **человека на человека** действует подобно физическим силам — в силу самой массы. Скопление великого множества людей само по себе является обстоятельством волнующим, а когда эта толпа приходит в движение, она воздействует на чувства независимо от того, известна ли нам цель этого движения.

...или страстей толпы. Волнение Ксеркса при виде собранных им армий было совершенно естественным, а потому заслуживает доверия как подлинный исторический факт. Когда некое чувство овладевает собранием, то чем многочисленнее толпа, тем более единообразными и неизменными становятся её движения. Оратор обращается лишь к тем немногим, кто окружает его: только они способны слышать его доводы или проникаться игрой его страстей; однако его волнение передается от **человека к человеку** (de proche en proche) даже самым отдаленным слушателям. Гнев, негодование или пылкое благоговение распространяются в массах подобно **электрическому разряду**.

Именно на этих фактах зиждется бесстыдное и омерзительное шарлатанство **месмеризма**, или животного магнетизма. Суть этого обмана полностью раскрывается в ходе контрольных опытов: когда испытуемого заставляют поверить, что он находится под воздействием магнетизма, хотя на самом деле это не так; и когда над ним проводят подлинный сеанс без его ведома. Пока разум не вовлечен, никакого эффекта не наблюдается; когда же он захвачен волей экспериментатора, эффект следует без участия какой-либо мнимой причины.

Помимо симпатических связей, естественным образом существующих в устройстве организма, в процессе выполнения тех или иных функций возникают и другие связи, согласно закону, получившему название **Ассоциации**. Всякий раз, когда два или более органа часто действовали совместно или последовательно, их функции становятся связаны столь тесно, что действие одного из них неизбежно и незамедлительно приводит в движение другое. Именно таким образом совершаются все обычные движения конечностей: различные мышцы, участвующие в каком-либо акте, поначалу действуют независимо друг от друга, а их одновременные и согласованные сокращения обуславливаются сознательным волевым усилием, сопровождаемым напряженным вниманием к самому процессу. Однако после многократного повторения подобных усилий мышцы обретают навык совместного действия, достигая быстроты и точности в той самой последовательности, силе и амплитуде, которые необходимы для выполнения требуемого движения.

Поскольку каждый этап процесса таким образом побуждается предыдущим, он более не нуждается в конкретном волевом импульсе, но осуществляется **независимо от воли** и может продолжаться без участия внимания живого существа.

Данный закон не ограничивается лишь сократительными волокнами, но распространяется и на **ткани чувствующие**. Опытный органист, обладающий подлинным мастерством, способен не только исполнять стремительные пассажи,

но и следовать за всеми хитросплетениями импровизированной фуги в то самое время, когда его внимание занято беседой; при этом слух по каждому аккорду предугадывает последующий, а пальцы совершают необходимые движения без участия сознания отвлеченного исполнителя.

Влияние ассоциаций на мышечные движения весьма значительно ограничивает возможности волевого усилия. Повседневный опыт наглядно демонстрирует, с каким трудом искореняются дурные привычки, неловкость походки и жестов, а также неграциозные и неэстетичные манеры.

То упорство, с которым сопряженные движения сохраняют свою связь, проявляется в трудностях при изучении иностранных языков или в попытках обрести ловкость в физических упражнениях в зрелом возрасте. Известная максима «nulla dies sine linea» (ни дня без строчки) зиждется именно на этом физиологическом законе; она в равной степени применима ко всем нашим трудам и ко всем нашим достижениям.

Влияние различных раздражителей на живой механизм отнюдь не единообразно. Некоторые вещества воздействуют специфически на ту часть тела, к которой они прикладываются, или на другие части, связанные с ней симпатически. Так, рвотные средства заставляют сокращения желудка действовать в обратном направлении; слабительные воздействуют почти исключительно на кишечный тракт; скипидар и шпанские мушки влияют преимущественно на почки, а ртуть обнаруживает наибольшую силу воздействия на железистую систему. Существуют и иные вещества, чье действие носит более общий характер, вследствие чего они известны под наименованием **диффузных раздражителей**; к таковым относятся вино, опиум, эфир и проч. По-видимому, столь обширное влияние веществ этого последнего класса на организм обусловлено их воздействием на ткани головного мозга, а не какими-либо особенностями самого способа их действия. Некоторые стимулы, оказывая лишь незначительное воздействие на ткань, с которой они непосредственно соприкасаются, вызывают бурную реакцию в какой-либо удаленной части тела. Так, щекотание горла пером провоцирует судорожные позывы желудка, а несколько капель эфирного масла горького миндаля, нанесенных на язык, мгновенно пресекают функции головного мозга.

Когда раздражитель той или иной силы или продолжительности воздействует на живую ткань, её капиллярные сосуды приходят в состояние повышенной активности; они принимают из соответствующих артерий больше крови, чем обычно через них циркулирует. Если, к примеру, в плоть вонзится шип, окружающие его капилляры немедленно расширяются, наполняясь алой кровью, что вызывает воспалительное покраснение кожи; в клетчатку также изливается повышенное количество сыворотки, порождая значительную припухлость; а в очаге раздражения ощущается боль, что свидетельствует об обострении чувствительности. Словом, все питательные функции данной части тела начинают действовать с необычайной

силой и быстротой. Подобные явления наблюдаются, хотя и в меньшей степени, всякий раз, когда тот или иной орган призывается к усиленной деятельности.

В силу действия этого закона равновесие кровообращения претерпевает непрестанные изменения; каждый орган, в свою очередь, становится средоточием усиленного прилива крови, как только он вовлекается в общую жизнедеятельность организма. Необходимость такого устройства самоочевидна. Жизнеспособность тканей не является их самостоятельным, внутренне присущим свойством; она всецело зависит от непрерывного притока артериальной крови. Из этого следует, что между потребностью органа и его снабжением должна существовать неразрывная связь. Если бы стимулы, побуждающие орган к исполнению его функций, одновременно не приводили бы его питающие сосуды в состояние повышенной активности, жизненные силы этой части тела быстро бы истощались, и орган впадал бы в состояние более или менее продолжительной немощи при каждом, даже самом незначительном усилии.

Склонность к оргазму — или к этому возбужденному состоянию сосудистой системы — выражена у различных органов неодинаково. Легче всего он возникает в тех частях тела, которые обладают наибольшей независимостью от церебрального центра. Так, глаз способен переносить раздражение сильным светом в течение весьма долгого времени, прежде чем в нем разовьется подобная воспалительная реакция; точно так же должно пройти много часов умственного труда, прежде чем появятся головная боль и покраснение лица, свидетельствующие о том, что мозг получает избыточный объем циркулирующих жидкостей.

Вполне вероятно, что повторяемость определенных недугов каким-то образом связана с периодическими приливами (оргазмами) к тем или иным внутренним органам, обусловленными нашими повседневными привычками. Так, эпилепсия часто проявляется во время сна, а некоторые виды головной боли очевидным образом сопряжены с особыми состояниями желудка.

Чрезвычайно редко случается так, чтобы два органа одновременно становились центрами флюксии; выраженная активность в одной части тела скорее служит причиной бездействия остальных. Умственные занятия или сильное душевное волнение, начатые непосредственно после приема пищи, приводят к нарушению пищеварения, поскольку насильственно делают мозг средоточием возбуждения (orgasm); с другой стороны, обильная трапеза, превращая желудок в центр прилива (fluxion), вызывает путаницу в мыслях и неспособность к движению, которую можно преодолеть лишь напряженным усилием воли. Таким образом, когда два органа стимулируются одновременно, либо один из них становится центром прилива, а другой перестает отвечать на раздражение, либо оба впадают в расстроенную и несовершенную деятельность.

Взаимная смена активности между кожей и почками, обусловленная колебаниями температуры атмосферы, представляет собой общеизвестный пример этого закона.

Ощущение озноба, которое люди слабого сложения испытывают после еды, объясняется той же причиной: когда органы брюшной полости становятся центром прилива, кожа переходит в состояние относительного истощения. Кровообращение в ней замедляется, и на поверхности выделяется меньше тепла. По той же причине нервы, в свою очередь, менее энергично реагируют на температурные воздействия атмосферы и, как следствие, передают в сенсорий ощущение, которое обычно возникает лишь при действительном понижении температуры.

Этим же принципом можно объяснить тот весьма примечательный факт, что сильное душевное волнение приостанавливает или вытесняет ощущения физической боли, находит здесь свое объяснение. Это также проясняет природу того облегчения, которого ищут солдаты во время телесного наказания, изо всей силы прикусывая пулю. В последнем случае вся энергия воли расходуется на возбуждение челюстных мышц; превращая таким образом мозг в некоторой степени в центр флюксии (интенсивного притока жизненных сил), это действие снижает чувствительность тканей, раздираемых плетью палача.

Именно на этом принципе основано действие нарывных пластырей при облегчении внутренних болей, а также тот факт, что энергичные хлопки по ладоням уменьшают силу истерического припадка. Сама Природа указывает на этот способ облегчения в естественных проявлениях страдания, когда человек ищет передышки от душевных мук через болезненные ощущения, причиняемые телу. Критика философа Биона в отношении той строки Гомера, где Агамемнон изображен вырывающим на себе волосы от горя, представляется на редкость неудачной:[115] «*Подобно сему, глупейший царь в печали рвет на себе волосы, будто скорбь может быть облегчена облысением*».[116] Эти движения — вырывание волос, удары в грудь и прочее — инстинктивны, и поэт в точности следовал Природе, описывая подобным образом неистовство скорби своенравного монарха. Под влиянием горя или гнева человек ищет выхода в подобных насильственных действиях, служащих своего рода противовесом эмоциям; эта склонность проявляется в различных явных поступках, сообразно преобладающему в тот момент расположению духа. Иудейский обычай раздирать на себе одежды после кончины близких основан на этом естественном выражении скорби; хотя со временем, подобно прочим устоявшимся обрядам, он стал чисто формальным и подчас выглядит нелепо, когда последователи сего верования предусмотрительно облачаются в свое худшее платье, едва прослышав, что кто-то из членов семьи находится при смерти.

---

[115] Πολλὰς ἐκ κεφάλης προθέλυμνους ἕλκέτο χαίζας. (Греч. «Много волос из главы вырывал он с корнями своими»).
[116] Ciceronis disput. Tusc. 26. Ed. Davisii. (Лат. «Тускуланские беседы» Цицерона).

Воздействие стимуляции на чувствительное волокно заключается, во-первых, в непосредственном истощении жизненных сил, а во-вторых — в косвенном их накоплении при посредстве кровеносной системы. Класс летучих раздражителей, которые симпатически возбуждают нервные органы и через них усиливают энергию сердечных сокращений, проявляет это второе влияние в высшей степени. На данном факте зиждется та часть **браунианской медицинской практики**, которая при болезнях, вызванных слабостью, предписывает поддерживать организм строго выверенным применением этого класса стимуляторов до тех пор, пока тело вновь не обретет бодрость, необходимую для продолжения своих функций без помощи врачебного искусства.

Способность подобным образом возбуждать нервную систему не беспредельна, так как сама нервная ткань в конечном итоге истощается этим процессом. Посему требуется величайшая осторожность при назначении дозировки этих средств следует подбирать с величайшей тщательностью, дабы поддерживать в организме постоянный и единообразный отклик. Нельзя допускать ни чрезмерного влияния лекарства вследствие слишком частого или обильного приема, ни полного прекращения его действия из-за излишне медленного или недостаточного повторного применения.

Когда принимается избыточная доза летучего стимулятора, первым её следствием становится колоссальное возрастание чувствительной силы. В таких обстоятельствах малейшие и самые обыденные раздражители производят мощные и несоразмерные эффекты. Мысли, порожденные пустяковыми впечатлениями, сменяют друг друга с быстротой, лишающей рассудок возможности ими управлять.[117] Именно так вино пробуждает страсти и обнажает слабые стороны характера. Сопутствующие движения точно так же возбуждаются с возрастающей легкостью; воображение обретает мимолетный блеск, а остроты и меткие ответы льются без малейших усилий и доставляют более острое наслаждение.

Однако постепенно деятельность ума ускоряется еще сильнее; идеи формируются менее отчетливо и утрачивают связь друг с другом. Мозговая реакция **волеизъявления** становится беспорядочной; мышцы слабеют, вследствие чего речь запинается, а способность к самостоятельному передвижению частично или полностью утрачивается. Это избыточное возбуждение тем временем извращает мышечную деятельность желудка, в результате чего возникает сочувственное головокружение, за которым вскоре следует глубокий и тяжелый сон, в течение которого действие снадобья постепенно ослабевает. Редко, однако, движения живого механизма полностью восстанавливают свою правильность менее чем за двадцать четыре часа; на протяжении этого времени те, кто не привык к столь чрезмерному возбуждению, страдают от легкого приступа лихорадки,

[117] Дарвин — «Зоономия».

сопровождаемого головной болью, тошнотой и зачастую избыточным выделением желчи.

В период, непосредственно следующий за опьянением, мучительные ощущения истощенной чувствительности становятся крайне тягостными; и природа, в силу несчастной необходимости, побуждает пьяницу искать в новых излишествах облегчения от этого гнетущего состояния. Несчастная жертва, таким образом, становится рабом привычки, которая с каждым повторением лишь набирает силу. В минуты трезвости на человека давит груз душевных и физических страданий, становясь со временем всё более невыносимым; и он вновь бросается в пучину опьянения, дабы усмирить тошноту в желудке и унять обличающую совесть.

Едва ли стоит добавлять, что чрезмерная доза этих летучих возбудителей мгновенно уничтожает жизнь. Известно, что пинта неразбавленного спирта, выпитая залпом, способна убить подобно удару молнии; и в этом своем качестве подобные средства более милосердны, нежели в тех многообразных и затяжных муках, которые в меньших дозах они причиняют закоренелому пьянице, столь же неизбежно увлекая его по «сумрачному пути к смерти». И все же на этот путь соблазняются целые народы, дабы государство могло извлекать доход; и пусть ценой тому становится множащееся число больниц и виселиц, а также подрыв трудолюбия, здоровья и нравственности обманутых подданных. Ибо человек, «облеченный мимолетною властью», пренебрегает велениями разума и до самого конца пребывает в самообмане и лжи; вечно держа на устах религию и мораль, он, тем не менее, своими установлениями лишь потворствует росту преступности. Одной рукой он карает то, что поощряет другой, и ополчает небо и землю против тех бесчинств, что порождены его собственным невежеством и взлелеяны его же порочностью!

В противоположность летучим стимуляторам, по своему воздействию, существуют вещества, вызывающие менее заметную, но более стойкую реакцию в организме. Из них наиболее могущественной является кора хинного дерева. Механизм действия этих лекарств совершенно неизвестен. Само название «**тонизирующие**», присвоенное подобным средствам, основано на явно ложных представлениях, ибо в живом организме нет ничего, что было бы аналогично механическому тонусу или упругому напряжению. Многие полагают, что действие растительных тонизирующих веществ обусловлено их химическим соединением с живым волокном, подобно их соединению с кожей мертвых животных в процессе дубления. Однако танин не является универсальным компонентом всех укрепляющих средств, и опыт не подтверждает действительного уплотнения материи у лиц, восстановивших здоровье благодаря применению этих лекарств. Их воздействие, несомненно, носит жизненный характер; однако направлено ли оно на мельчайшую капиллярную систему или же осуществляется через желудок, а через него — симпатически — на другие ткани, до сих пор доподлинно не выяснено.

Реакции сократимых тканей на воздействие раздражителей варьируются в зависимости от природы органов и функций, которые им надлежит исполнять. В мышечной ткани, наиболее доступной для исследования, они проявляются в видимых сокращениях волокон, вследствие чего эти органы укорачиваются в продольном направлении и соответственно увеличиваются в своих поперечных размерах. В этом состоянии сцепление их составных частей чрезвычайно возрастает. Ибо мышцы, способные выдерживать огромные веса в состоянии активности, легко разрываются под действием растягивающих сил, если те приложены к ним в расслабленном состоянии.

Особенности различных мышц в отношении сокращения весьма разнообразны. Сфинктеры, охраняющие отверстия внутренних полостей, остаются постоянно сокращенными, если только не растягиваются противодействующими причинами; то же относится к мышечной оболочке желудка и мочевого пузыря, оказывающих мягкое давление на содержимое этих органов при любой степени их наполнения. В мышцах, отвечающих за передвижение, сокращение не является постоянным состоянием; оно без труда поддерживается лишь в течение нескольких секунд кряду. Даже в этот краткий промежуток волокна сокращаются неодновременно: каждое из них поочередно переходит из состояния сокращения в состояние расслабления и обратно. При длительных усилиях, и в особенности у людей слабого телосложения, это вызывает тремор конечностей, сопровождающий их движения.

Продолжительное мышечное напряжение вызывает утомление, которое сопровождается стремительно нарастающим затруднением в поддержании их деятельности. В этом отношении, однако, между различными мышечными органами существуют определенные различия: (1) Те из них, что обеспечивают функции жизнеобеспечения, такие как сердце и диафрагма, на протяжении всей жизни пребывают в постоянном и мерном чередовании действия и покоя, допуская лишь весьма незначительные колебания своей интенсивности. (2) Те же мышцы, что подчиняются велениям воли, неизбежно подвержены значительным переменам в объеме своей работы. Подобно другим органам, чья активность проявляется лишь время от времени, они становятся средоточием местного возбуждения — центрами прилива, откуда черпают временное приращение своих жизненных сил.[118] По этой причине первые усилия при мышечном движении никогда не бывают столь мощными, как те, что совершаются после того, как состояние возбуждения (orgasm) уже установилось и просуществовало в течение некоторого времени. Однако в конечном счете поддержание этого состояния имеет тенденцию приводить к воспалению; первые подступы последнего отмечены тем тягостным чувством, которое мы называем утомлением — ощущением, весьма схожим с ревматическими болями. Под влиянием болезненного раздражения мышцы могут впадать в судорожное состояние, заключающееся либо в быстрой смене сокращения и расслабления, либо в стойких и неподвижных контрактурах. Наглядными

[118] Парк в «Журналах Королевского института».

примерами тому служат две болезни: пляска Святого Витта и сведение челюстей (locked jaw). Весьма примечательно, что при последнем из упомянутых недугов кровь обнаруживает признаки чрезмерного воспалительного процесса; как если бы затяжное сокращение мышц вызвало подлинное воспаление в самих тканях.

Явления нутритивного сокращения слишком удалены от возможности непосредственного наблюдения, чтобы можно было описать их в удовлетворительных подробностях. В процессах питания и секреции плотные части организма, очевидно, проявляют активность; их роль не ограничивается простым просачиванием жидкостей. Однако природа этого действия не позволяет строить даже догадок; представления, связываемые с термином «сокращение», весьма туманны и справедливы лишь в той мере, в какой они относятся к простому продвижению жидкостей через капилляры.

Регулярность стимуляции органов питания (возникающая вследствие взаимосвязи их функций), а также та готовность, с которой они становятся средоточиями прилива крови, в значительной степени освобождают их от необходимости в периодическом покое. В той мере, в какой они подвержены влиянию внешних причин, их можно довести до состояния воспаления или же, напротив, погрузить в вялость; однако при естественном отправлении своих функций они не истощаются до такой степени, чтобы нуждаться в периодических приостановках деятельности ради поддержания жизни.

Напротив, огромное разнообразие объектов, с которыми взаимодействуют **органы внешних сношений**, каждое мгновение вызывает более или менее резкие изменения в уровне их возбуждения. Сравним положение узника, лишенного движения, книг, света и развлечений, отрезанного от большей части естественных раздражителей чувств, с положением человека, пробирающегося сквозь людные улицы большого города, занятого важными делами, часто меняющего обстановку и предмет своих усилий и вкушающего поочередно пиршества, театральные представления и светские собрания. Со всей очевидностью становится ясно, что для столь противоположных условий необходим иной закон действия, нежели тот, что управляет отправлениями питательной функции.

Ткани, служащие функциям внешних сношений, допускают, следовательно, гораздо большую широту стимуляции, не приходя при этом в состояние более острого возбуждения, чем то, что составляет чувство усталости. Однако совокупный объем их ежедневного напряжения превышает меру, которую можно было бы поддерживать непрерывно; это равновесие сохраняется лишь благодаря чередованию с периодами покоя, во время которых анимальные функции пребывают в более или менее полном бездействии.

Природа Сна рассматривалась различными физиологами по-разному. Некоторые считали его определенной функцией; однако, поскольку термин «функция» равнозначен «действию», было бы явным злоупотреблением языком

применять его к состоянию, которое по сути своей является отрицанием всякого действия. Другие авторы полагали, что сон зависит от изменения баланса кровообращения, при котором кровь скапливается в венозных сосудах головы. Это положение, выведенное по аналогии с апоплексическим ступором, представляется крайне маловероятным, поскольку оно уподобляет «утомленной природы сладкий исцелитель» опаснейшему и смертельному недугу. Состояние кровообращения в мозгу во время сна остается совершенно неизвестным; не установлено и никаких фактов относительно механизма этого состояния, которые позволили бы вынести какое-либо определенное суждение по данному вопросу. Известно, однако, следующее: сон не обязательно охватывает все анимальные органы одновременно. Когда какой-либо из них подвергался особенно сильному возбуждению, он может погрузиться в покой, в то время как другие органы продолжают бодрствовать. Так, воображение часто сохраняет активность, когда органы чувств уже закрыты и пребывают в покое; это порождает состояние, широко известное под названием **Сновидений**. Нередко случается и так, что одно или несколько чувств продолжают бодрствовать; их импульсы, смешиваясь с образами воображения, пробуждают волю и вызывают явления **Сомнамбулизма**. Таким образом, совершенный покой не является результатом какой-то определенной функции одной ткани, а представляет собой скорее совокупность множества «частичных снов», каждый из которых обусловлен состоянием своего непосредственного средоточия.

Различные животные органы, как правило, погружаются в состояние покоя не одновременно. Обычно первыми затихают органы чувств; это неизбежно влечет за собой приостановку волевой деятельности, после чего расслабляются мышцы (этот момент знаменуется поникновением головы, когда сон настигает человека в вертикальном положении); и, наконец, когда замирают функции сенсориума, сон становится глубоким и совершенным. Следовательно, сновидения, которые заключаются в движениях, вызванных внутренними впечатлениями или раздражителями, воздействующими на чувства в состоянии неполного покоя, происходят преимущественно в первые минуты сна или непосредственно перед пробуждением.

Периодическая смена сна и бодрствования, по-видимому, в значительной степени зависит от привычек, сформированных ввиду очевидного удобства ночного отдыха. Часы темноты мало пригодны для житейских занятий; с другой стороны, отсутствие солнца, влекущее за собой оскудение света и тепла, благоприятствует наступлению сна и делает ночь наиболее подходящим временем для привычного отдыха.

Эта связь между ночью и покоем в силу закоренелой привычки становится в значительной степени необходимой для здоровья. Несоблюдение должного распорядка — будь то ради **предания порокам** или ради **ночных ученых бдений** — предрасполагает к болезням, нарушая суточный круговорот взаимосвязанных жизненных отправлений. Однако то, что ночной сон не является абсолютно и по

существу необходимым, можно заключить из повадок некоторых животных. Хищные звери обычно бодрствуют в ночные часы. Ибо как в роде человеческом «ut jugulent homines surgunt de nocte latrones» (разбойники встают по ночам, дабы губить людей), так и грабители среди бессловесных тварей с наибольшей эффективностью проявляют свою жестокость и алчность под покровом тьмы. Помимо преимуществ психологического свойства, извлекаемых из нападения на спящую жертву или на того, кто, будучи внезапно пробужден, оказывается ошеломлен окружающей мглой, хищные животные обладают по ночам физическим превосходством благодаря строению своего глаза. Их сетчатка по большей части столь сильно возбуждается малым количеством света, что они не способны к совершенному зрению при дневном сиянии, но видят наиболее отчетливо в слабом мерцании вечера или ночи; и та самая мгла, что приводит в замешательство других животных, помогает им обнаруживать и настигать добычу, и тем самым обуславливает их особые привычки к ночному бдению.

Однако более убедительный аргумент можно вывести из наблюдений за состоянием здоровья людей, которые в силу общественной необходимости вынуждены трудиться по ночам. Охранники и возницы ночных экипажей, едва переборов привычку к ночному отдыху, по-видимому, сохраняют почти столь же доброе здравие, как и прочие люди, — при условии, что они не злоупотребляют спиртными напитками. Подобным же образом и солдаты в ходе активных военных действий, пройдя некоторую закалку, отдыхают при первой возможности, не страдая при этом от ночных маршей и караулов, сопряженных с исполнением их сурового долга.

Частичный сон отдельных органов проявляется наиболее явственно, когда волею случая внезапно нарушается привычный порядок периодического отдыха, а истощение жизненной чувствительности доходит до своего предела. В этом состоянии отдельные органы чувств «засыпают» один за другим, как только прекращается их активное применение. Говорят, что во время ночных переходов в период памятного отступления к Ла-Корунье солдаты в отдельных случаях спали прямо на ходу (настолько полным было их истощение от усталости), и потому, не заметив остановки своих товарищей, оказывались далеко впереди полка. В таких случаях, по всей видимости, лишь одно из чувств продолжало бодрствовать, сохраняя влияние на волю, в то время как остальные органы под гнётом непомерного напряжения погружались в вынужденный покой.

Длительное отсутствие сна ослабляет тело и приводит к быстрому истощению его тканей; замечено, что тучные люди, как правило, спят очень крепко. По прошествии определённого времени потребность в отдыхе берет верх над любыми усилиями воли, направленными на поддержание внимания. Женщины во время затяжных и изнурительных родов глубоко засыпают в промежутках между схватками; известны даже случаи, когда преступники погружались в дремоту под пытками — теми затянувшимися истязаниями «допроса», которые варварская и

безрассудная политика обрушивала на своих жертв под благовидным предлогом правосудия.

Подобно тому как сон может быть на время отогнан воздействием внешних стимулов, он также может быть развеян болезненным избытком возбудимости. Это состояние наблюдается при маниакальных расстройствах и лихорадках вследствие чрезмерного прилива крови к голове, что проявляется в покраснении лица и живом, но диком блеске глаз.

Когда чувствительная ткань приходит в состояние столь сильного возбуждения (orgasm), органы чувств под воздействием легких внутренних стимулов начинают повторять те действия, которые в норме должны вызываться лишь внешними впечатлениями. Таким образом, порождая идеи, не имеющие внешних прообразов, они вызывают **бред**. В подобных случаях доступ дневного света, даря реальные ощущения, иногда вытесняет бредовые видения; однако если возбуждение становится более неистовым, оно, напротив, лишь усилит бред вследствие чрезмерного противодействия мозга, что порождает боль, вызывает отдаленные ассоциации и повторяет бесчисленные движения, побуждаемые малейшими внешними образами. В подобных случаях сон служит естественным исцелением от недуга или, вернее, само его появление знаменует тот факт, что болезненное возбуждение уже утихло.

Необходимость подобного приостановления соотносительных функций во время сна приводит к тому, что общая мера животной жизни оказывается значительно меньше меры жизни органической. Большая часть младенчества проходит в забвении покоя. Сенсориум, еще не привыкший оперировать приобретенными идеями, побуждается к деятельности лишь чувственными образами, и младенцу довольно лишь сомкнуть веки, чтобы уснуть. В эту пору жизни кровь расходуется главным образом на процессы питания, а соотносительные органы еще не обрели в системе того преобладания, которое позволило бы им поддерживать длительное бодрствование. По мере развития организма для сохранения здоровья требуется всё меньше сна. В пору полного расцвета сил от одной четверти до одной трети суток вполне достаточно для поддержания тела в бодрости и крепости. Многие довольствуются лишь шестичасовым отдыхом; этого, однако, едва хватает, чтобы избежать некоторой степени истощения. В старости, которая во многих других отношениях подобна младенчеству, вновь требуется большее количество сна. Таким образом, немногим более трети нашего существования проходит в бездействии и фактической смерти; при этом продолжительность жизни внутренней почти вдвое превышает длительность бытия внешнего, или морального.

Хотя прохладная свежесть ночного воздуха и благоприятствует сну, более сильный холод, вызывая болезненные ощущения, часто становится причиной бессонницы. Напротив того, сильный мороз, в силу стремительного истощения

чувствительности при попытках организма поддержать «животную теплоту», непреодолимо склоняет к оцепенению и сну. Тем не менее, среди различных классов животных существуют определенные семейства, на которые понижение температуры — гораздо менее значительное, чем то, что губит жизнь, — оказывает воздействие, аналогичное сну; это явление известно под названием **Гибернация**. С приближением зимы эти животные отыскивают уединенное место, обычно под землей и отчасти защищенное от воздействия атмосферы, где они могут пребывать в покое до тех пор, пока благодатная весенняя пора не вернет их к новому существованию. В этот промежуточный период они погружаются в состояние глубочайшего покоя: они ничего не едят, дышат с долгими интервалами, пульс их замедляется, а температура падает ниже привычной нормы, хотя всё же остается выше температуры окружающей среды. Пищеварение полностью прекращается, что было доказано прямыми **опытами Спалланцани**. Если животное упитано (как это обычно бывает в начале гибернации), то за время своего затворничества животное худеет; само вещество его тела расходуется на поддержание жизни.

Причины, предрасполагающие к зимней спячке, равно как и причины многих других общеизвестных физиологических явлений, остаются неизвестными. Эти феномены наблюдаются у животных, столь различных по своему строению и в то же время столь мало отличающихся от своих сородичей, не впадающих в спячку, что данная особенность кажется совершенно не зависящей от видимого и осязаемого устройства организма. Любопытен тот факт (если он правдив), что ласточки, обычно избегающие суровых зим наших широт благодаря ежегодной миграции, также способны впадать в спячку, если случай мешает им примкнуть к общему перелету и вынуждает остаться позади своих собратьев. В пылу литературной полемики, развернувшейся на страницах «Gentleman's Magazine», приводилось немало примеров этого явления, и достоверность данных свидетельств кажется почти неоспоримой. Однако существуют столь же убедительные свидетельства и о живых жабах, замурованных в цельных глыбах мрамора, и о фактах еще более невероятных. Человеческие свидетельства имеют столь малую цену даже в самых простых и обыденных обстоятельствах, что принимать их следует с величайшей осторожностью. **Сомнение есть начало мудрости, а скептицизм — вернейшая нить, способная провести сквозь лабиринт заблуждений**, в котором по большей части сокрыты основания науки.

Периодическое прекращение активности растений, проявляющееся в закрытии их листьев и лепестков при приближении ночи или ненастной погоды и именуемое их **сном**, с бóльшим основанием можно было бы уподобить **гибернации**. Ибо эти явления более непосредственно связаны с отсутствием стимулов, при прекращении действия которых приостанавливается растительное кровообращение. Многие

растения, по-видимому, также перестают дышать в этом состоянии;[119] обстоятельство, которым оно существенно отличается от сна животных.

Хотя питательные функции во время сна не приостанавливаются, скорость их осуществления несколько снижается. Движения мышц и впечатления, воздействующие на чувства в состоянии бодрствования, сообщают кровообращению определенный стимул. Отсутствие этих источников раздражения во время покоя соответствующих органов замедляет пульс; однако, становясь реже, он делается более полным, и кровь с большей силой устремляется к капиллярам. Вследствие этого данные сосуды приходят в состояние легкого напряжения и исполняют свои функции с большей свободой и мощью. Этот факт подтверждается усиленным потоотделением, сопутствующим сну, тем обстоятельством, что рост тела происходит преимущественно в это время, а также в этот период заживление ран и выздоровление от болезней протекают гораздо успешнее, нежели в часы бодрствования и активной деятельности.

Неспособность к сону, характеризующая органы питания, влечет за собой весьма значительные неудобства для общей экономии организма. Когда те или иные обстоятельства вызывают чрезмерное напряжение в органах, отвечающих за взаимодействие с внешней средой, равновесие восстанавливается последующим глубоким сном — этим благодатным средством, обеспечивающим полное возмещение сил. Однако избыточное возбуждение в системе питания не знает подобного целительного принципа восстановления; за ним неизбежно следует либо воспалительная реакция, либо болезненное томление. Этот закон имел бы мало значения, если бы органическое существо, будучи само по себе totus teres atque rotundus (цельным и в себе замкнутым), не испытывало на себе внешних импульсов со стороны окружающего мира. Но, извлекая материал для своего функционирования из пищи, принимаемой сообразно склонностям чувствующего существа, оно косвенно оказывается во власти капризов воли и заблуждений аппетита. Таким образом, оно подвергается той же нерегулярности действия, которая свойственна органам внешних сношений, но при этом лишено тех же средств к устранению ее последствий. Растения и зоофиты подвержены лишь немногим болезням, и те в большинстве своем являются результатом случайного насилия; в то же время высшие разряды животных становятся подвержены недугам в той же мере, в какой возвышается характер их животной природы, а **физическое начало всё более подчиняется началу нравственному**. Чувственное удовлетворение аппетита обычно принято называть «скотским» — и в этом кроется величайшая несправедливость по отношению к самому предмету сравнения. Неумеренное потакание чувствам является пагубной прерогативой разума; и чем дальше животное отстоит от человеческой организации, тем чище его повадки и тем здоровее его жизнь.

[119] Darwin's Phytologia, iv. 5. 5.

Глава V. Психические явления

«Сии тонкие связи и некие темные узы
Смертный род тщетно пытался раскрыть и тайны вещей обнажить.
Сие устройство души сокрыто в глубинах нашего разума и пребудет сокрытым вовек.
Ныне рушатся долго прославляемые системы, и нам
Остается лишь полное неведение в столь великих делах».
- **Стефан Людовик Жоффруа**, «О гигиене».

Ибо всё для меня — мрак неведения, и черная ложь, и бескрайнее заблуждение, и смутное видение, и нескончаемое невежество.
— **Гермий**, «Осмеяние языческих философов», из трудов Св. Иустина Мученика, Париж, 1636

Относительная чувствительность — способность, дополняющая функции питания у животных и возникающая из их насущных потребностей, — устанавливает связь индивидуума с объектами внешней природы и позволяет ему воздействовать на окружающие его вещества таким образом, чтобы напрямую способствовать собственному сохранению и благополучию. Неразрывно связанная со способностью к передвижению, относительная чувствительность распределена среди различных животных в точном соответствии с потребностями их организации. Она сосредоточена в ткани, развитие которой у разных видов обусловлено той сферой деятельности, что необходима для их самосохранения.

Сокровенная природа этой функции, как и природа всех иных первичных органических процессов, остается за пределами досягаемости наших нынешних средств исследования; однако нет веских оснований полагать, будто проявляемые ею феномены отличаются от прочих физиологических процессов или требуют иных первоначал, нежели те, что обеспечивают органическую жизнедеятельность. Воздействие внешних тел на органы чувств аналогично действию соответствующих стимулов на другие ткани. Жизненная сила, на которую они влияют, черпается из крови — так же, как и та сила, что одушевляет прочие органы. Она подчиняется почти тем же законам, её интенсивность возрастает и убывает под влиянием тех же причин; во всех отношениях она сохраняет подобный характер действия, что не оставляет сомнений в её тождестве с великим первоначалом органического существования.

Анатомы затратили немало трудов на препарирование мозга: мельчайшие различия в форме и строении отмечались ими с прилежанием и точностью, однако не было получено соразмерных знаний касательно функций подчиненных частей. Практически каждая отдельная часть мозга обнаруживалась у различных субъектов в состоянии разрушительного недуга без какого-либо определенного и

соответствующего ему расстройства психических функций.[120] С другой стороны, насекомые и подобные им животные, чьи церебральные органы развиты крайне слабо, по-видимому, способны чувствовать и здраво рассуждать о фактах, доступных их органическому устройству; от высших видов они, судя по всему, отличаются скорее числом своих восприятий, нежели самим характером ответных реакций.

Однако если связь между организацией и функцией в данном случае ускользает от наблюдения, было бы крайне ошибочным и поверхностным делать вывод, будто её не существует. Придерживаться подобного хода рассуждений — значит допустить, что мозговая ткань существует без какой-либо точной и определенной задачи, и является совершенно избыточной в жизненной экономии организма. Подобное утверждение, помимо своей очевидной нелепости, является ложным по существу: существуют определенные пределы, за которыми нарушение работы этих органов неизбежно влечет за собой полное угасание способностей. Если судить по результатам вскрытий, патологические изменения в сосудистой системе этой ткани оказывают немедленное и деспотическое влияние на её функциональные возможности. Даже незначительное усиление кровообращения в мозгу (о чем свидетельствует едва заметное повышение кровенаполнения его оболочек) сопровождается существенными расстройствами функций. Легкая же степень давления в крупных сосудах полностью парализует высшие функции, вызывая оцепенение и бесчувственность, характерные для апоплексического приступа.

Среди физиологов долгое время было популярно умозрительное стремление отыскать в церебральной организации некую особую точку, которую можно было бы назвать средоточием восприятия. «Сенсориум», или centrum commune мысли — τὸ πρῶτον αισθητήριον (первичное чувствилище), — представляет собой метафизическое понятие, производное от идеи индивидуальности. Хотя оно и принято по необходимости для выражения наших мыслей, оно не имеет под собой никаких оснований в области физиологических наблюдений. Как уже отмечалось, у рептилий и некоторых низших животных восприятие осуществляется спинным мозгом даже после обезглавливания. Более того, к нелепости существования специфического «общего центра» — этого конечного предела ощущения и начального импульса воли — добавилось еще и то, что его стали рассматривать как обиталище души. Таким образом, как это обычно и бывает, **представления о**

[120] Не только отдельные части мозга подвержены деструктивным заболеваниям без сопутствующего нарушения функций органа, но и вся его ткань в целом порой демонстрирует случайные вариации своего вида. Иногда мозговая масса бывает необычайно плотной и твердой, иногда — водянистой и мягкой. Оба этих состояния наблюдались у лиц, не проявлявших никаких признаков безумия; и напротив, у многих душевнобольных при посмертном исследовании не обнаруживается никаких явных признаков нарушения структуры мозга. Те же наблюдения применимы и к другим внутренним органам, которые допускают определенную степень перерождения, прежде чем их работа будет приостановлена или нарушена. В условиях нашего полного неведения относительно первичных жизненных процессов трудно отделить сущностное от случайного.

материи и духе смешивались, а непостижимая сущность бессмертия превращалась в простое осязаемое существо; своего рода «внутреннего человека», двойника организованного животного и (как замечает Аретей о матке) ὀκοῖον τι ζῶον ἐν ζώῳ — некое живое существо внутри живого. Мнение **Декарта**, возведшего душу на престол шишковидной железы, ныне более всего известно благодаря *насмешкам*, коими осыпали его острословы прошлого столетия. Внутренние полости мозгового органа, именуемые его желудочками, также почитались седалищем восприятия; и (что еще более удивительно) серозное испарение, обнаруживаемое в форме жидкости в желудочках покойного, но при жизни существующее лишь в виде пара, также принималось за ipsissimum sentiens мозга — саму суть чувствующего начала, точку сообщения между телом и душой.

Восприятие есть результат первоначального закона организации, непостижимого по своей природе; и, подобно пищеварению или мышечному сокращению, оно познаваемо лишь в своих проявлениях. Воображению крайне трудно связать феномены мысли с движением материи, и философы дерзко полагали их независимыми от неё. Однако факт их связи должен быть признан.

Органы чувств, эти **единственные врата к знанию**, специально приспособлены для установления связей между животным и материальным миром; и за этим пределом сфера психической активности не существует. В самой природе вещей (in rerum natura), несомненно, могут существовать такие формы материи, чьи свойства не имеют отношения к нашим органам чувств, а чьи состояния и способы действия мы не в силах даже вообразить. Однако для любых целей разума подобные субстанции для человека — всё равно что не существующие.[121] Они не могут стать частью его системы познания, как не могут они быть приведены в согласие или неразрывно сопряжены с материальным воздействием. Следовательно, по крайней мере в той мере, в какой идеи являются предметом **человеческого** созерцания, их следует рассматривать как изменения, запечатленные в веществе мозга под влиянием тел, внешних по отношению к его тканям. Лишь до этого предела изыскания могут проводиться удовлетворительным образом. Исследования, выходящие за рамки органического устройства, завершаются лишь самыми дикими догадками и наиболее противоречивыми суждениями; в то же время сведение интеллектуальной деятельности к тем же законам, что управляют иными органическими явлениями, создает надежный и убедительный фундамент для нравственных и метафизических изысканий.[122]

---

[121] «Для нас не существует иных внешних причин, кроме тех, что способны воздействовать на наши чувства, и всякий предмет, к которому мы не можем приложить наши способности ощущать, должен быть исключен из сферы наших изысканий». - Кабанис.
См. также: Локк, «О пределах человеческого познания», § 6.

[122] Тот факт, что мысль состоит из движений и, следовательно, подчиняется общим законам движения, очевиден уже из того обстоятельства, что для её совершения необходимо время.

Признание этого факта не имеет никакого отношения к учениям о бессмертной душе или к любым иным догматам, основанным на вере и не зависящим от разума.[123] Богословскую душу следует четко отличать от primum mobile [перводвигателя] относительной чувствительности; это необходимо, дабы избежать очевидной дилеммы: либо наделять бессмертием не только животных, но и растения, либо, напротив, отказывать в нем человеку.[124]

Связи различных тканей с нервным центром регулируются в строгом соответствии с их насущными потребностями. Восприятие не возбуждается в равной мере одним и тем же воздействием, если оно прилагается безразлично к любой ткани; напротив, каждый орган подчиняется собственным специфическим законам, направляя внимание лишь на те состояния, которые наиболее важны для его собственного благополучия. Любое воздействие, способное нарушить функции организма, вызывает более или менее неприятные ощущения; и так как каждая часть тела подвержена повреждениям своим особым образом, она воздействует на центр восприятия посредством различных и специфических факторов. Кишечный тракт побуждается к болезненным ощущениям неудобоваримыми веществами; кожа — внезапными переменами температуры, а также разрушительными химическими и механическими агентами; связки — насильственным растяжением; легкие — нечистым воздухом и так далее. Однако, поскольку для сохранения живого существа, помимо самого восприятия вреда, требуется еще и способность его избегать, **пять чувств** устанавливают более тесное знакомство с внешней природой. Они активируются при малейших изменениях в ее состоянии, дабы дать более точное представление о причинах внешнего воздействия. Сведения о состояниях удаленных тел, получаемые через импульсы отраженного света и колебания воздуха, предвосхищают болезненные впечатления и позволяют существу уберечься от зла, пока оно еще находится на расстоянии.

Метафизическое положение «nihil in intellectu quod non prius in sensu» (нет ничего в разуме, чего прежде не было бы в чувствах), которое составляет основу **бессмертного труда Локка** и ныне является общепризнанным, требует небольшого уточнения, чтобы соответствовать физиологической истине. Внутренние ощущения,

---

[123] Эти догматы зиждутся исключительно на авторитете Священного Писания; наиболее здравомыслящие теологи воздерживались от смешения философских изысканий с религиозной верой. См. «Мемуары Б. Уотсона — о местонахождении души», т. I.

[124] *«Здесь я позволю себе заметить: если Ваша Милость признает наличие ощущений у бессловесных тварей, то из этого следует либо то, что Бог может наделить (и наделяет) некие частицы материи способностью к восприятию и мышлению, либо то, что все животные обладают нематериальными и, следовательно — согласно Вашей Милости, — бессмертными душами наравне с людьми; утверждение же о том, что блохи и клещи имеют бессмертные души, как и люди, вероятно, сочтут чрезмерным допущением ради спасения гипотезы».*

- **Письма Локка** к епископу Вустерскому.

Любопытно наблюдать, как величайшие метафизики мучаются, пытаясь обосновать спиритуалистическую теорию.

порожденные болезненным состоянием или возникающие при обычном отправлении функций, служат источником некоторых идей; равно как и изменения во внутренних органах оказывает мощное влияние на характер наших размышлений. В связи с этим они представляют собой кажущееся возражение против вышеупомянутой теоремы; однако по отношению к собственно чувствующим органам эти внутренности являются внешними — и в еще большей степени это касается стимулов, приводящих их в возбуждение. Следовательно, не меняя самой формулировки положения, достаточно лишь несколько расширить область его применения, чтобы включить в него эти источники идей, которые следует рассматривать как принадлежащие к классу **осязательных ощущений**.

Механическое устройство глаза, благодаря которому картина видимых объектов запечатлевается на зрительном нерве, побудило метафизиков уподобить идеи образам; а способность комбинировать их в обыденной речи получила название **воображения**. Этот вольный метафорический стиль изложения привел ко многим заблуждениям, в особенности к предположению о существовании сходства между идеями и их внешними прообразами. Совершенно очевидно, что подобного сходства быть не может. Как уже отмечалось, электрический разряд, проходя по различным чувствительным нервам, возбуждает запахи, вкусовые ощущения, зрительные образы и тому подобное. Сильный удар по глазу вызывает ощущение яркой вспышки света. Определенные расстройства органов брюшной полости порождают не только отчетливые физические ощущения, но и длинные ряды рефлексивных идей, не имеющих соответствующих внешних прототипов. К явлениям подобного рода следует отнести и **«демона» Сократа**; ибо общий характер этого философа ставит его выше любых подозрений в намеренном обмане. Такова же, по всей вероятности, была природа тех сверхъестественных явлений — бесов и прочего, — о которых свидетельствовали анахореты раннего христианства; по крайней мере, те из них, что не были чистым вымыслом людей более мирских и расчетливых. Экстатическое возбуждение ума, побуждающее отшельника покинуть общество и обречь себя на суровые лишения, вкупе с изнурительными постами и строгой дисциплиной, делает его идеальным субъектом для «роя теснящихся видений» и ментальных галлюцинаций. Специфический же характер этих видений еще более отчетливо предопределяется предметами его постоянных раздумий. Но вернемся к нашему предмету:

В различных идеях, вызванных подобным образом, очевидно, не может существовать подобия между причинами и их следствиями. Подобное представление никогда не возникло бы в среде метафизиков, если бы их размышления сопровождались физиологическими наблюдениями. Ибо, как только мы ясно осознаем, что **идея есть лишь движение, совершаемое в мозговой ткани**, возможность какого-либо сходства между нею и объектами внешней природы мгновенно рассеивается. Становится очевидным, что для целей восприятия вполне

достаточно такого соответствия, при котором одна и та же возбуждающая причина во всех случаях вызывает одно и то же движение мозга.

Для возникновения ощущения недостаточно того, чтобы специфический раздражитель воздействовал на орган чувств, и был приведен в соприкосновение с соответствующим ему нервом; необходимо также, чтобы **внимание** было свободно от поглощенности иными раздражителями. Ибо мозговое вещество не способно воспринимать неограниченное число одновременных сенсорных движений. По этой причине часто случается, что чувственные впечатления, воздействуя на органы и становясь источником ассоциативных идей, не осознаются разумом со всей отчетливостью.

Чувственные впечатления могут проявляться в двух модификациях: (1) В одном случае разум воспринимает их пассивно; (2) В другом же он, кажется, прилагает усилия и, так сказать, сам отправляется на поиск своих идей. Когда объект вступает в такое отношение к воспринимающему, которое пробуждает интерес, он становится предметом более пристального изучения. В таком случае живое существо не просто видит и слышит, но **смотрит**, **слушает** и **исследует**. Природа этого процесса, по-видимому, понимается превратно. Глаз, ухо, пальцы и прочее — это инструменты, приспособленные для конкретных целей; и, подобно всем прочим инструментам, они могут применяться более или менее совершенным образом для исполнения своих функций. Когда внешние объекты вызывают лишь слабый интерес, они не дают побуждения к особой точности в использовании этих органов; но когда действуют **страсти**, придающие объекту значимость, мышцы, прилегающие к органам чувств, приводятся в такое состояние, которое, согласно опыту, наилучшим образом способствует выполнению их функций. Устремляя взор на отдаленный предмет, глазное яблоко неподвижно фиксируется для того, чтобы одни и те же участки сетчатки в течение длительного времени пребывали в строгом соответствии с одними и теми же точками объекта созерцания. Брови равным образом сближаются, дабы отсечь те лучи света, которые мешают лучам, исходящим от самого объекта, и тем самым искажают его образ. При вслушивании ухо схожим образом обращается в ту сторону, откуда доносится звук; а при осязательном изучении с величайшей тщательностью подбирается именно та сила давления, которая вызывает наиболее тонкий отклик нервных окончаний. При активном задействовании вкуса и обоняния интенсивность и длительность впечатлений возрастают за счет намеренного удерживания вкусовой субстанции в полости рта и усиленного втягивания пахучих частиц через ноздри. Все эти усилия, каждое по-своему, направлены на то, чтобы вызвать более мощную стимуляцию чувствительных волокон и, как следствие, сформировать в разуме более отчетливое и яркое представление. Однако они не дают никаких оснований для подтверждения общепринятого мнения, будто активное использование органов чувств сопровождается качественным изменением самого способа восприятия ощущений, обусловленным некой отдельной способностью или функцией самого мозга.

Объекты чувственного мира, воздействуя на органы, с которыми они соприкасаются, вызывают в тканях мозга некую неведомую перемену, именуемую **сознанием**. Это изменение включает в себя восприятие впечатления, осознание индивидуальности воспринимающего субъекта и отнесение впечатления к его внешней причине. Немало усилий было положено на поиск доказательств существования внешней природы; однако само её бытие принадлежит к числу тех фактов, которые неразрывно связаны с нашей **организацией**. В них, сколь бы они ни были недоказуемы, невозможно усомниться. Один лишь взгляд на природу мгновенно опровергает априорные рассуждения метафизиков и показывает, что убеждённость в реальности идеальных прообразов является неотъемлемой частью чувственного впечатления.[125] Полезность всякой организации зависит от этого факта. Впечатления могли бы сменять друг друга ad infinitum (до бесконечности), не вызывая ни малейшей ответной реакции, если бы было возможно для разума усомниться в реальности их источников; ибо побуждения воли должны неизбежно угаснуть, едва лишь станет известно, что причины ощущений суть явления внутренние, а их предполагаемые объекты — чисто призрачны и воображаемы. Инстинктивные действия животных, начинающиеся тотчас после рождения, также должны служить доказательством **интуитивной веры во внешнее существование**. Ибо если бы животному требовалось убедить себя путем рассуждений в наличии связи между его собственными ощущениями и их внешними причинами, жизнь угасла бы прежде, чем оно успело бы прийти к столь необходимому заключению. **Лукиан** повествует, что души философов-скептиков так и не нашли дороги к Островам Блаженных, дабы присоединиться к теням усопших, ибо они еще не составили окончательного мнения о самом факте существования сего места, а потому и не пустились в путь. «*Об Академиках же говорили, что они хотя и желают прийти, но всё ещё медлят и пребывают в раздумьях; ибо не могут постичь даже того, существует ли в действительности подобный остров*».[126] Это в точности описывало бы состояние младенца, если бы он не соотносил мгновенно чувственные впечатления, доставляемые материнским молоком, с грудью, в

---

[125] Едва ли есть необходимость опровергать праздное суждение касательно свойств внешней материи. Нам говорят, что одно и то же вещество при различных обстоятельствах может производить впечатления разного рода. Сегодня оно может быть сладким, а завтра — горьким; следовательно, в самом теле нет такого качества, как сладость или горечь (Сэр У. Драммонд, «Академические вопросы»).

На это следует ответить, что существует постоянная связь между химическим составом или физическим строением конкретных тел и чувствующими волокнами определенных организмов, в силу которой они способны возбуждать определенные идеи. Термины «горький» и «сладкий», «шероховатый» и «гладкий» в применении к чувствующим существам относятся к соответствующим ощущениям; когда же они приписываются внешнему веществу, они точно так же обозначают совокупность причин, порождающих его специфическое воздействие. Посему справедливо будет сказать, что сахар сладок или что он обладает тем строением, которое обычно возбуждает идею сладости при соприкосновении с человеческим нёбом. Измените это строение или же, с другой стороны, измените организацию — и эффект исчезнет в обоих случаях.

[126] Лукиан. «Правдивая история», кн. II.

которой оно образуется, и не выводил бы существование внешнего объекта из самого факта ощущения. **Теория Беркли** по этому вопросу высмеивалась многими острословами; однако верное понимание этого аргумента даже в наши дни не является достаточно распространенным среди метафизиков.

То обстоятельство, что осознание внешних прообразов не зависит от реальности и возникает вследствие определенного состояния самих органов, со всей очевидностью подтверждается феноменами бреда. Поразительным примером этой истины служит знаменитая **галлюцинация Паскаля**. Этот философский и наделенный острой логикой гений не мог убедить себя в том, что подле него не разверзается вечно зияющая бездна. Подобная идея возникла как следствие ипохондрического расстройства, которое возбуждало в мозгу движения, аналогичные тем, что должны были бы сопровождать зрительное восприятие реальной пропасти. В данном случае опыт должен был бы указать больному на «пустой обман» его воображения; и все же, оставаясь наедине с собой, он был не в силах противиться органической склонности доверять впечатлениям, которые, казалось, транслировали его органы чувств.

Предметом скептического разыскания может стать вопрос о том, производят ли внешние агенты одинаковое воздействие на мозговую ткань каждого животного; представляется ли, к примеру, луч красного света одинаковым для сознания всех созерцателей. На этот вопрос можно без особых колебаний ответить утвердительно: ибо, хотя данный факт по самой природе вещей не может быть подтвержден экспериментально, всеобщий принцип **аналогии**, предполагающий сходство следствий при сходстве причин, возводит его в степень почти несомненную. Однако способность вызывать ответную реакцию, которой обладает любой заданный стимул, неизбежно должна варьироваться у разных людей, а также у одного и того же человека в разное время. Степень реакции на определенный раздражитель определяется жизненной энергией органа, на который он воздействует, привычностью этого органа к данному стимулу, а также тем, насколько орган уже занят другими стимулами в момент воздействия. Возраст, пол, темперамент, болезни, образование, климат и врожденные особенности строения точно так же накладывают отпечаток на каждого индивида. Они определяют присущий лишь ему образ мыслей и действий, составляющий его индивидуальность. Следовательно, хотя для общих нужд общества грубая и приблизительная система правосудия распределяет награды и наказания с достаточной точностью, с точки зрения строгой морали в человеческой душе **не существует критерия для оценки поступков других людей**. Каждое живое существо образует внутри себя маленькую республику, чьи законы и обычаи уникальны; и осуждать одного человека, исходя из склонностей и привычек другого — значит призывать его к ответу coram non judice, перед трибуналом, которому он не подвластен.

Одно всегда окутано покровом тьмы —
Мотив, что движет ими;

И так же смутно судим мы,
Насколько совесть их терзает перед ними.
— **Бернс**

Движения, возбуждаемые в мозгу внешними впечатлениями и составляющие суть **идей**, производят в этом органе перемену, более или менее стойкую; в силу чего в будущем они становятся легче возбудимыми, согласно закону органического сокращения, именуемому **привычкой**. Именно в этой перемене следует искать то, что Локк полагал способностью к сохранению (retention). Если бы все приобретенные понятия существовали в мозгу одновременно, подобно тому, как они (пользуясь излюбленной метафорой) хранятся на складе, то замечание поэта было бы применимо даже к самому заурядному уму:

И всё росло в них изумленье:
Как мозг один вместил все эти сведенья?

Очевидно, однако, что идеи обладают лишь **потенциальным существованием**; и их восстановление может оставаться в пределах возможного, хотя за отсутствием возбуждающей причины может казаться, будто они окончательно преданы забвению. Сенсорные движения в высшей степени подвержены влиянию **ассоциаций**. Впечатления, возникавшие одновременно или последовательно, имеющие сходство или, напротив, контрастирующие друг с другом, взаимно выступают причинами своего повторного появления и вызывают друг друга в почти бесконечной последовательности.

Порядок, в котором следуют друг за другом ассоциированные идеи, может варьироваться в зависимости от различных побуждений; и к этой способности можно возвести те интеллектуальные процессы, которые обычно приписываются отдельным дарованиям. Когда текущее впечатление вызывает цепь идей в порядке их первоначального возникновения, такой процесс приписывают деятельности памяти. Если же порядок этой цепи определяется вмешательством второй идеи, имеющей множество общих черт с первой, согласно принципу сравнения, это именуется актом суждения. Когда последовательность строится на принципе исключения, она формирует абстракции; когда же на принципе комбинирования — она рассматривается как изобретательность, или гений. Выбор того или иного направления ассоциации обусловлен необходимостью, в которой находится живой механизм: необходимостью сообразно реагировать на получаемые им впечатления.

Впечатления, вызывающие определенную степень удовольствия или боли, а также те, что в опыте прочно связались с этими чувствами, побуждают церебральную систему к волевому акту — действию, которое воздействует на мышцы и определяет их сокращения в четкой и слаженной последовательности.

Действия, произведенные таким образом, могут следовать непосредственно за впечатлением, находясь в тесной связи с ним: тогда их называют инстинктивными.

Они могут также проистекать из ассоциаций, вызванных впечатлением, и направляться сознанием конечной цели; в таком случае их именуют произвольными.

Инстинктивные действия напрямую служат сохранению жизни и диктуются ощущениями удовольствия или боли в значительной степени остроты. В некоторых случаях они возникают под влиянием специфических состояний внутренних органов, в других — вследствие сильных впечатлений, воздействующих на органы чувств. У низших животных почти все локомоторные акты продиктованы потребностями желудка и органов размножения. Побуждения же высших классов животных более разнообразны и многочисленны.

У человека и наиболее близких к нему существ здоровое отправление функций сопряжено с бесконечным множеством обстоятельств, над которыми опыт дает животному определенный контроль. Поэтому им движут не только сиюминутные порывы аппетита, но и все причины, опосредованно связанные с его удовлетворением; отсюда проистекают алчность, честолюбие и вся та сложная цепь мотивов, что управляет человеком в обществе. Все причины, способствующие здоровому функционированию органов, неизбежно признаются благом; те же, что ведут к их нарушению или расстройству, столь же неизбежно считаются злом.[127] В этом заключается истинное и единственно разумное значение данных терминов, злоупотребление которыми привело к возникновению стольких ложных этических систем и ложных философских концепций. **Стоики**, находившиеся в плену веры в объективную реальность и единство блага и зла, впали в величайшие заблуждения в своих бесплодных спорах на эти темы. Они были вынуждены прибегать к грубейшим уловкам и самым бесстыдным софизмам, отрицая что боль есть зло; к тому же вел и их вывод о том, будто всё случайное недостойно внимания человечества. Как будто само человеческое существование не подвластно всецело и абсолютно власти случая, и как будто человек не обязан самой своей природой извлекать пользу из всех жизненных превратностей: богатства, почестей, распрей, раздоров, труда, а также тех стечений обстоятельств, что мы именуем удачей и фортуной, — стремясь, насколько это возможно, умножать впечатления здоровые и приятные и уменьшать те, что имеют противоположную направленность. Качества добра и зла не присущи по сути своей никаким веществам или их сочетаниям, воздействующим на человека, но определяются их отношением к воспринимающему субъекту, — отношением, которое всегда преходяще. Обладание неким благом, которое препятствует наслаждению благом высшего порядка, само становится злом; и, напротив, беды обращаются в добро, когда они побуждают к успешному напряжению сил и расширяют сферу человеческой деятельности и могущества. В действительности существует лишь немного предметов, способных влиять на человечество только в одном направлении, и о которых можно было бы абсолютно и отвлеченно

[127] «Все, что природа отвергает, следует относить к злу; то, что она принимает — к благу». Цицерон.

утверждать, что они суть добро или зло. Именно поэтому представляется тем более необходимым отыскать **мерило**, позволяющее оценить их воздействие — мерило, которое не может находиться вовне, но должно быть найдено в природе и свойствах самого субъекта, на который они воздействуют. Но вернемся к предмету нашего обсуждения. Впечатления боли и удовольствия, достигая высокой интенсивности, становятся столь мощными побуждениями к действию, что им невозможно противостоять. Связанные с ними ответные реакции возникают немедленно и интуитивно.

Где нож прошел, там кровь течет вослед;
А стон и вздох — естественный ответ на боль.

Те же впечатления, что отдалены во времени или менее выражены, могут быть уравновешены противодействующими факторами: предчувствиями, надеждами и страхами. Следовательно, степень и характер пробуждаемой ими реакции неизменно варьируются у каждого индивида и в каждой конкретной ситуации. Представляется вполне вероятным, что в самом начале жизни любые физические впечатления сопровождаются ощущением либо удовольствия, либо боли. Младенцы находят явное наслаждение в самом процессе упражнения своих чувств; их непрестанная активность, несомненно, черпает свои мотивы в соответствующей живости восприятия. Закон привычки объясняет то безразличие, с которым в конечном итоге начинают восприниматься те впечатления, что не ведут к изменению органического состояния.

В различных органах заложен некий принцип активности, из-за которого отсутствие подобающих им стимулов становится источником боли и беспокойства: вызываемые этим эмоции — влечения, желания и страсти — относятся к числу мощнейших побуждений к действию. Их присутствие не только с изрядной силой порождает определенные движения в органах передвижения, но и сопровождается особыми расстройствами органических функций, над которыми воля не имеет абсолютно никакой власти.[128]

Связь между **душевными аффектами** и органами, под влиянием которых они возникают или на которые преимущественно направлено их действие, не всегда очевидна. Любовь, ревность и материнская привязанность сопряжены с развитием и деятельностью определенных органов и служат необходимым дополнением к их функциям. Однако страх, мужество, гнев, печаль, ненависть и прочие чувства вызывают такие изменения в работе организма, которые не имеют столь же явного

[128] Гален («De Causis Symptom.») сводит все страсти к двум движениям: одно — от периферии к центру, другое — от центра к периферии. Первое охватывает страх, печаль и ослабляющие страсти; второе включает противоположные им состояния — гнев, радость и т. д. Это представление разделяет и Драйден:
То жар, то хлад в груди ведут войну;
Все страсти — бред иль злая лихорадка.
(«Индейский император»)

обоснования с точки зрения их целесообразности. Радость и скорбь в равной мере влияют на всю совокупность процессов питания. Страх заставляет сердце трепетать, отгоняет кровь от поверхности тела и бурно воздействует на кишечный тракт. Мужество, напротив, сообщает сердцу более мощный жар, тогда как гнев приводит кожные капилляры в состояние сильного возбуждения и устремляет кровообращение преимущественно к голове. По этой причине ярость весьма часто становится случайным поводом к приступу эпилепсии и апоплексии, порождая феномены, которые невежество и фанатизм приписывают суду и каре разгневанного Божества.

В человеческом существе возникают также и иные движения, которые в случае их избыточности метафорически именуются **страстями**. К ним относятся алчность, честолюбие, пристрастие к игре и тому подобное. Подобные эмоции, однако, не причастны к истинной природе страсти, поскольку совершенно не сопровождаются органическими расстройствами. Они заключаются в порочных сочетаниях мозговых движений, которые сообщают отдельным идеям чрезмерную живость и силу, вызывая реакции, несоразмерные породившим их причинам и пагубные для самого воспринимающего субъекта.

Связь истинных страстей с их органическими проявлениями побудила **Биша** рассматривать органы, подвергающиеся их влиянию, как первопричины самих чувств, их тревожащих. Подобное утверждение — за исключением тех случаев, когда оно касается физиологических потребностей (appetites) — совершенно произвольно и, по сути, малопонятно. Страсти, будучи однажды пробуждены неким объектом, могут настолько тесно с ним ассоциироваться, что впоследствии будут оживать при одном лишь воспоминании о нем или его повторном появлении, даже если сам объект более не обладает способностью или силой влиять на благополучие человека. На этом факте зиждется красота и истинность исполненного патетики послания **Поупа «Элоиза Абеляру»**.

Деятельное начало, проистекающее из необходимости функционального действия, проявляется в мозговой ткани как **жажда ощущений**. Даже страдание, доведенное до определенной степени, представляется более заманчивым, нежели совершенное отсутствие интереса к жизни.[129] Оттого и говорят, что праздность — мать всех пороков. Однако, поскольку частое повторение одних и тех же ощущений притупляет их остроту, источники наслаждения неизбежно иссякают; в особенности это касается случаев, когда к искусственному удовлетворению чувств прибегают преждевременно, стремясь предвосхитить естественное возвращение потребности в приятном действии. В подобных обстоятельствах человек пытается возродить угасшие влечения и пресыщенные желания в череде сменяющих друг

[129] «Именно ради спасения от скуки, даже под угрозой получения слишком сильных и, как следствие, неприятных впечатлений, люди с величайшим рвением ищут всего, что способно их глубоко волновать» и т. д.
- Гельвеций, «Об уме», т. II, стр. 46, гл. 5.

друга разнообразных стимулов. Это порождает непостоянство в привязанностях, а также беспокойную, непрестанную тягу к смене обстановки и рода занятий. Воображение, презирая настоящее, ищет своего упоения лишь в призрачных образах грядущего; так жизнь ускользает, не принося радости, погубленная безмерным и нерассудительным стремлением умножить наслаждения. Этим же принципом следует объяснять возникновение тех необузданных и ложных страстей, которые унижают нравственное существо человека и служат жалкой подменой чистым и живым восторгам, дарованным самой природой.[130]

Страсти, порожденные потребностями организма, затихают по мере их удовлетворения; потакание им — если оно не чрезмерно — способствует здоровью, бодрости и ощущению счастья. Однако **искусственные страсти**, такие как зависть, честолюбие, тяга к азартным играм и им подобные, лишь усиливаются по мере их насыщения. Своей неумолимой тиранией они неизбежно и роковым образом ведут к разочарованию и невзгодам.

Среди причин, изменяющих характер реакций, следует упомянуть те, что действуют через **общественные привязанности**. Человек от рождения обладает сильнейшими инстинктивными наклонностями сопереживать превратностям судьбы и страданиям представителей **своего вида**.

> Naturae imperio gemimus, quuum funus adultae
> Virginis occurrit, vel terra clauditur infans,
> Et minor igne rogi. Quis enim bonus et face dignus
> Arcana, qualem Cereris vult esse sacerdos,
> Ulla aliena sibi credat mala.
> (По велению природы мы стенаем, когда на пути встречается погребение взрослой девы или когда земля скрывает младенца, слишком малого для погребального костра. Ибо кто же из добрых и достойных священного факела — таким, каким желал бы видеть жреца сокровенной Цереры, — сочтет чужим для себя любое чужое горе?)

Однако не стоит соглашаться с последующим выводом поэта (Ювенал) о том, что этот закон отличает человека от низших животных. В тех случаях, когда беда доступна их пониманию и может быть выражена внятным знаком, стадные животные проявляют глубокое сочувствие друг к другу — множество примеров этого факта предстанет перед всяким внимательным исследователем природы. Склонность разума, напротив, слишком часто вступает в противоречие с естественными симпатиями. **Простой и неискушенный человек** — при условии, что его чувства не притуплены, а сердце не ожесточено чрезмерными трудностями в

[130] Согласно Гельвецию, именно поэтому кокетка является лучшей любовницей для человека праздного и истощенного. «Сильнейшая страсть кокетства — быть обожаемой; что же делать для достижения этой цели? Постоянно разжигать страсти мужчин, никогда их не удовлетворяя».

поиске первейших средств к существованию и сопутствующей им жизнью в нищете и лишениях — открыт всем добрым природным порывам и с готовностью сопереживает даже незнакомцу. Ему достаточно лишь увидеть страдание, чтобы попытаться облегчить его, порой даже с риском для собственной жизни. Напротив, **дитя утонченной цивилизации**, чьи возросшие потребности и искусственные страсти заставляют его обдумывать каждый шаг и просчитывать каждое действие, слишком часто оказывается холодным, равнодушным и сосредоточенным лишь на себе. Он извлекает почву для личного удовлетворения даже из неудач своих друзей,[131] бедствий своего отечества или на могилах тех, с кем его связывали самые долгие и испытанные узы. Для таких людей бескорыстие — это глупость, а патриотизм — лишь притворство. «*В нынешнем состоянии общества*, — говорит **Шамфор**, — *человек кажется мне более развращенным своим разумом, нежели своими страстями. Страсти (я имею в виду те, что присущи человеку первозданному) сохранили в общественном устройстве те крохи естественности, которые в нем еще можно найти*».[132] Однако даже у самых порочных членов общества редко случается так, чтобы всякое социальное чувство было полностью подавлено, и чтобы ими не двигали никакие иные мотивы, кроме стремления к сугубо личному наслаждению. Благополучие вида является необходимой целью для существа, предназначенного жить в обществе; и благороднейшие, лучшие натуры наиболее беспрекословно повинуются его призывам — подобно тому, как самые сильные и развитые животные в стаде выходят вперед в момент вражеской атаки.[133]

Теория внешнего воздействия и органической реакции — предмет давних споров среди метафизиков. Великая проблема **нравственного зла**, а также воздаяний и наказаний, наложила на их рассуждения отпечаток предвзятости, который может быть устранен лишь обращением к **физиологическим фактам** — обращением, против которого в равной мере восстают и гордыня, и страсть к гипотезам.

Феномены относительной чувствительности, подобно процессам питания, заключаются, по существу, в воздействии стимулов, ощущении их присутствия и

---

[131] «В несчастии наших лучших друзей мы всегда находим нечто такое, что нам не неприятно». Максимы Ларошфуко.

[132] Сочинения Шамфора. Максимы и размышления.

[133] Естественная склонность разума — распространять наше внимание с отдельного индивида на весь вид; ибо истинная философия всегда исполнена благожелательности. Однако разум, постоянно сбиваемый с толку ложными системами и укоренившимися предрассудками, редко основывается на безупречно здравых предпосылках. Большая часть человечества настолько поглощена добыванием средств к повседневному существованию, что у них нет времени оглядеться вокруг; они вынуждены рассуждать лишь на основании тех немногих скудных фактов, что попадают в их сферу наблюдения. Поскольку поводы для эгоистических выводов встречаются чаще всего, светский человек вырабатывает для себя систему личного интереса, тем более законченную, чем сложнее устроено общество. Заслуживает внимания тот факт, что Франция — страна, где до Революции общественное бытие было наиболее изысканным и утонченно-сложным, — породила одновременно и класс эгоистов par excellence, и само наименование, коим они ныне отличаются.

последующей реакции сократительных тканей; и явления эти следуют друг за другом в неизменном порядке и согласно одному и тому же закону в обоих случаях. Однако, в то время как за органической жизнью признается господство строгой необходимости, метафизики упорствуют в убеждении, что законы материального воздействия не имеют влияния на соотносительные функции; что не существует определенной связи между стимулом и реакцией; что отношения причины и следствия упразднены или, вернее сказать, что два или более различных следствия могут безразлично проистекать из одной и той же причины.

Чтобы прийти к такому заключению, потребовалось принять два различных принципа движения в животном организме, которые различаются наименованиями **инстинкта** и **разума**. Признается, что первый из этих принципов действует в силу необходимости, поскольку простота и, как следствие, очевидная регулярность его проявлений исключают всякую возможность ошибки. В более же сложной природе волевых импульсов, определяемых разумом, открывается более широкое поле для споров; и именно на этой почве было воздвигнуто, укреплено и ограждено рвами причудливое здание **свободы воли**, выстроенное со всей тонкостью и софистикой полемической метафизики.

В действиях, именуемых инстинктивными, связь между причиной и следствием является непосредственной. Едва новорожденное животное ощущает воздействие атмосферы, оно совершает акт вдоха; те же виды, что рождаются с полностью развитой мускульной системой, тотчас же способны ходить. Подобным же образом представители любого вида животных при нападении принимают ту позу для защиты или бегства, которой требует их организация, не прибегая к размышлению и не обладая предвидением. Эти движения, сущностно и непосредственно связанные с сохранением жизни животного, происходят от единого, мощного и не встречающего сопротивления стимула. Существует лишь один сообразный способ действия, и если бы он не вытекал из самого строения организма, вид в конечном счете неизбежно бы погиб.

В актах **преднамеренной воли**, сопровождаемых осознанием цели, процесс протекает не столь просто. Действие, которое надлежит совершить, не имея столь непосредственного значения для жизненного уклада, может находиться под влиянием иных причин, присутствующих в интеллекте, или, выражаясь более физиологическим языком, иных **стимулов**, воздействующих на ткани головного мозга. Средства причинения вреда и получения удовольствия, предоставляемые природой независимо от нужд немедленного самосохранения животного, многочисленны и разнообразны; память или воображение могут воспроизводить их во множестве сочетаний, дабы противостоять текущему впечатлению или видоизменять его. Когда две или более идеи почти равной силы вступают в подобное противоборство, немедленная реакция не соответствовала бы великой цели всякого действия. Необходимо, чтобы каждый мотив был воспринят ясно и отчетливо, а его относительная ценность — прочувствована; для этой цели

колебание становится обязательным. В течение созданного таким образом интервала различные идеи, связанные с каждым мотивом, проходят через ум, и реакция в конечном итоге определяется тем мотивом, который, со всеми его ассоциациями, производит сильнейший импульс на сенсориум.[134]

Согласно Локку, колебание, возникающее в тот момент, когда на живое существо одновременно воздействуют противоборствующие мотивы, является произвольным; и именно в этой предполагаемой способности сдерживать действие он усматривает свободу воли человека. Однако колебание есть необходимый результат, обусловленный противостоянием идей. Если одна идея прочно овладевает интеллектом, если она с огромной силой стимулирует мозговой орган к реакции, она неизбежно вытесняет остальные и препятствует их ясному восприятию и осознанию; в этот миг колебание прекращается, и индивид более не в силах воздерживаться от действия.

Чем внимательнее и точнее изучаются факты, тем меньше обнаруживается физиологических оснований для разграничения **реакции инстинкта** и **реакции разума**.[135] Многие действия проистекают безразлично как из одного, так и из другого источника. Первые попытки сосания младенца автоматичны, однако впоследствии этот процесс осуществляется посредством преднамеренного волевого акта с заранее осознанным знанием достигаемой цели. Напротив, первые попытки игры на музыкальном инструменте совершаются осознанно, тогда как движения опытного музыканта следуют инстинктивно и без раздумий, будучи тесно связаны со зрительным восприятием нот в лежащей перед ним книге.

В любой ситуации, в которой может оказаться человек, могут существовать две или более возможности для действия; однако из этого не следует, что индивид волен выбрать любой из этих путей безразлично. Подобное можно утверждать о человеке вообще, но было бы грубым искажением понятий заявлять, будто тот же самый человек волен выбирать последствия своего положения. Инстинктивно храбрый человек вступит в бой, трус же неизбежно обратится в бегство. Человек нравственный будет руководствоваться своими представлениями о должном, в то время как тот, кому подобные мотивы чужды, не более способен проявить волю в согласии с ними и наперекор иным своим склонностям, чем желудок, наполненный до пресыщения, способен по желанию стать голодным. Особые обстоятельства, обладающие исключительным влиянием, могут вызвать подобные отклонения от

---

[134] «Мы полагаем, что размышляем, когда нам приходится, к примеру, выбирать между двумя удовольствиями, почти равными и находящимися в равновесии; однако в этом случае мы принимаем за размышление лишь ту медлительность, с которой из двух почти равных весов более тяжелый перетягивает одну из чаш весов».
- Гельвеций.

[135] Кондильяк, убежденный в этой истине, считал инстинктивные действия результатом быстрых и неразвитых умозаключений. Не является ли разум, напротив, более развитым и сложным инстинктом?

обычного поведения, но связь между причиной и следствием остается неизменно прежней.

В тех действиях, что совершаются под влиянием доводов разума и потому считаются подконтрольными воле, каждый этап этого процесса, каждая промежуточная идея неизбежно обусловлены тем, что им предшествовало; и **волевое решение** столь же строго соразмерно природе стимулов и самого воспринимающего субъекта, как и в более простых проявлениях инстинкта. Это утверждение не подвергается сомнению и в тех случаях, когда одна доминирующая идея подавляет и превозмогает все остальные. Так, **самооборона** признается допустимым оправданием убийства; и не потому, что она оправдывает само преступление — ибо мораль учит, что лучше претерпеть обиду, чем нанести её, — но потому, что, согласно общепризнанному закону человеческой организации, подобные порывы непреодолимы. Исходя из того же принципа, крайний голод освобождает вора от карательных последствий его деяния.

Подобный ход рассуждений позволяет смягчать моральное порицание, принимая во внимание силу искушения даже в тех случаях, когда закон, ради сохранения общества, вынужден нанести удар. Такой образ мысли был бы лишен всякого основания, если бы в действительности существовала некая способность к сопротивлению, не зависящая от мотива.

Сила, которой тот или иной мотив обладает абстрактно, зависит от обстоятельств, над которыми воля не имеет власти. Существует множество случаев, когда интенсивность впечатлений совершенно не соотносится с их влиянием на благополучие индивида. Страсти, разжигаемые противодействием, вызывают самые опасные и мучительные последствия, которые в равной мере поражают как вегетативную, так и релятивную системы организма. Длинные цепи непреодолимых ассоциаций идей влекут за собой самые беспорядочные поступки; они вносят разлад не только в нравственную жизнь человека, но и в само его физическое устройство.[136] Возьмем, к примеру, любовную страсть, последствия которой вошли в поговорку своей неистовостью:

> В любви все эти беды: оскорбления,
> Подозрения, вражда и перемирия,
> Война и снова мир; коль вздумаешь

[136] «...Тонкий пламень под кожей пробегает,
В глазах темнеет, в ушах звенит,
Холодным потом я обливаюсь, дрожь
Овладевает всем телом, и становлюсь я
Бледнее трав; кажется мне, что смерть близка,
И дыхание замирает» (цит. на греческом).
Эти расстройства зависят от нарушения равновесия в кровообращении и иных вегетативных функциях; они являются неизбежным и неподвластным контролю следствием душевного волнения.

Ты разум в деле столь непостоянном обрести,
То преуспеешь лишь в одном: безумствовать разумно.

Эти бедствия, эти волнения и страдания, отравляющие жизнь, лишающие ее радости и вытесняющие любые иные интересы, невозможно избрать по доброй воле; точно так же и жертва их не может стряхнуть их с себя по собственному желанию. Они проистекают из особого состояния организма. Они неведомы тому, кто физически не предрасположен к подобной страсти; равно как не поддаются они контролю и в том, в ком само совершенство природы действует как непрестанный порыв.

То, что страсти неподвластны одному лишь волевому акту, со всей очевидностью доказывается их деспотичным влиянием на органические функции. Даже самый искушенный лицемер не в силах подавить те непроизвольные движения, которые естественным образом возбуждаются господствующей и волнующей страстью. Внезапный румянец стыда, мертвенная бледность тревоги, невольная слеза скорби, сияющий блеск радости в глазах — всё это отвергает диктат воли и выдает сокровенные тайны сердца даже самому невнимательному наблюдателю. Убийца бледнеет при виде своей истерзанной жертвы не по своей воле; лжесвидетель медлит и содрогается на открытом судебном процессе не по собственному желанию. С другой стороны, даже самый красноречивый адвокат не сумеет вызвать эти физиологические реакции в тех, кто в силу привычки или природной бесчувственности избавлен от чувств, коим эти реакции сопутствуют. Следовательно, едва ли можно сомневаться в том, что нравственные реакции индивида столь же предопределены и независимы от его волеизъявления.

Естественные пределы влияния страстей устанавливаются их взаимным равновесием — равновесием, которое в гармонично устроенном живом существе соразмерно потребностям текущего момента. У такого существа преобладание каждой эмоции строго пропорционально вызвавшему её возбуждению: так, гнев вызывается лишь истинной обидой, а любовные чувства не переживают той причины, ради которой они были заложены. Однако движения души, составляющие суть страстей, подчинены закону привычки и от частого повторения легче приходят в возбуждение; а поскольку каждому темпераменту свойственны свои преобладающие страсти, большинство людей от рождения становятся жертвами неких чувств, коим они вынуждены повиноваться.

Поскольку реакции, порождаемые этими движениями, редко соразмерны вызвавшим их причинам, страсти в своем избытке становятся подлинными недугами; общество же заинтересовано в их подавлении путем предъявления противодействующих мотивов.

Учителя нравственности, хотя и заявляют о своей вере в то, что страсти находятся под властью индивида, всегда действовали так, словно им была ведома их истинная природа. Они либо боролись с ними, подрывая физические силы человека

посредством растительной диеты и кровопусканий (как в системе, именуемой minutio monachi), либо противопоставляли одну страсть другой. Против алчности и мирской суетности они направляют живые описания иного, лучшего мира; против же плотских страстей — тщеславие, страх и воодушевление.

Правительства по большей части используют страх как великий регулятор иных движений; родители же в целом поочередно задействуют каждую страсть как противовес той, что оказывается преобладающей или доставляющей беспокойство в данный момент. Возможно, один из самых губительных источников непомерных страстей кроется в том неосмотрительном обращении, которое допускают наставники юношества в своих жалких системах образования.

Когда привычки к действию уже сформированы, они редко разрушаются под влиянием тех побуждений, что возникают под воздействием иных страстей. Куда более действенным оказывается резкое чувственное впечатление. Так, болезненный удар, полученный во время приступа ярости, с большей вероятностью подавит склонность к этой страсти, нежели самые убедительные доводы, которые может предложить разум.

Искусственные потребности и желания, порожденные общественной жизнью, в значительной степени умеряют естественные страсти благодаря множеству возникающих при этом мотивов противоположной направленности. Человек должен быть крайне вспыльчивым, чтобы выказать гнев по отношению к покровителю, от которого он зависит. Дикари гораздо менее способны к притворству, нежели европейцы; и не потому, что их страсти сильнее, а потому, что у них нет тех же поводов для противодействия им.

По мере того, как жизнь движется вперед, страсти вытесняют друг друга,[137] ибо многие из них несовместимы. Эти перемены обычно приписывают решительному проявлению воли; в действительности же воля лишь пассивно следует в свите страстей, поочередно повинуясь тирану текущего часа.

Отсутствие внутреннего деятельного принципа, способного корректировать преувеличенные впечатления, порождаемые страстью, ощущается во всех общественных институтах. Когда искушение преступить закон возрастает, европейские законодатели не находят лучшего средства для его подавления, чем ужесточение наказаний. Однако в деле воспитания куда больших успехов можно достичь искусным избеганием случайных поводов к страсти, нежели прямым противоборством с её преобладающими склонностями.

Самые распространенные и успешные усилия в этом направлении заключаются в своего рода «**прививке**» субъекту искусственных страстей: соперничества, амбиций, корыстолюбия, тщеславия и фанатизма. Под руководством таких

[137] В человеческом сердце происходит непрерывная смена страстей, так что гибель одной из них почти всегда означает торжество другой. (Ларошфуко)

ориентиров наставнику порой удается блестяще сформировать то, что мир именует «порядочным человеком»:

Не столь безумен, чтоб забиться в корчах, коль паштет упал,
И слишком мудр, чтоб угодить в колодец.

Таких людей в мире предостаточно; они не срежут кошелек и не перережут горло (разве что согласно установленному этикету) и в целом не предаются порокам, вызывающе вопиющим. Но на поверку подобные люди могут оказаться совершенно никчемными и деградировавшими; эгоистичными, ограниченными и продажными. Они являются «стоиками» лишь до тех пор, пока «si fractus illabatur orbis» (Если рухнет мир...) – но даже если бы весь мир рухнул, они остались бы непоколебимы — при условии, что в этой всеобщей гибели уцелеет их крошечный, обособленный мирок личных корыстных интересов.

То, сколь пассивно воля повинуется сильнейшему из мотивов, со всей очевидностью проявляется в разнообразии последствий одних и тех же внешних обстоятельств, преломляемых через различные состояния одного и того же человека. Если «совесть виснет на шее у сердца»; если страх перед опасностью или угроза законного наказания порождают более сильный импульс, чем искушение совершить преступление, даже самый отъявленный злодей воздержится от него. Но дайте этому человеку хмельной напиток (который, ускорив кровообращение, придаст ему смелости и вместе с тем подхлестнет поток мыслей, затмив способность к рассуждению), и преступление будет неизбежно совершено.[138]

Случается, что в образе мыслей и действий, определявших дотоле облик человека, происходит внезапный переворот. Из благоразумного и добродетельного он превращается в распутного и неистового; или же, после жизни, полной беспорядка и излишеств, он внезапно отрекается от преступного прошлого. Подобные случаи не являются исключениями из общего правила. Угасание одной страсти или зарождение другой, внезапная утрата, неожиданное разочарование, приступ болезни или пароксизм меланхолии — любое из этих событий, нарушая равновесие внутренних сил, чаще всего и служит объяснением сей тайны. Именно в такие критические моменты чаще всего происходят резкие перемены в убеждениях; именно тогда фанатизм овладевает своей жертвой, замещая своим непомерным возбуждением иные порывы, менее опасные как для общества, так и для самого индивида.[139] Без подобных чрезвычайных причин люди в зрелом возрасте редко

[138] Мне думается, спесь человеческой гордыни несколько поутихла бы, если бы мы осознали, что достаточно лишь ускорить или замедлить движение неких жидкостей в нашем «живом механизме», дабы окрылить душу светлыми надеждами или ввергнуть её в пучину глубочайшего отчаяния; чтобы превратить героя в труса или возвысить труса до героя. — «Письма Фицобсорна», письмо VIII.

[139] Женщины особенно подвержены порывам фанатичного благочестия в тот период жизни, когда их былая красота увядает, мужчины оставляют их, а страсти, составлявшие некогда весь смысл их существования, подавляются или угасают. Отсюда и справедливость того,

решаются на коренные перемены в своих взглядах и поступках. Ибо подобно тому, как члены тела благодаря привычке обретают характерную жестикуляцию и становятся искусными в выполнении определенных движений, так и разум формируется под влиянием устойчивого своеобразия восприятия, понимания, суждений и наклонностей. Так он обретает определенный образ волеизъявления, из плена которого редко кому удается вырваться.

То, что страсти никогда не уничтожаются иначе как с исчезновением их физических причин, и то, что они не подвластны контролю воли, еще более отчетливо это обнаруживается в феномене **раскаяния**. В деяниях преступного характера за обладанием желанным объектом обычно следует сожаление о содеянном. В подобных случаях не меняется ничего, кроме состояния самого индивида по отношению к господствующей в нем страсти. Когда страсть удовлетворена, ее тираническая власть временно ослабевает, и желания человека претерпевают изменения; он раскаивается — то есть «передумывает», и общая сумма его впечатлений относительно данного поступка становится совершенно иной.

Специфические модификации страсти не только определяют круг идей, которые ассоциация подносит на суд размышления, но и влияют на восприятие самих органов чувств. Человек, находящийся под властью непомерного тщеславия, остается нечувствителен к взрывам смеха, которыми все собрание разражается в его адрес. Внешние признаки, который позволяют отличить аплодисменты от торжествующего издевательского хохота, очевидны для всех, кроме самого объекта насмешек. Он один не видит и не слышит ничего, кроме внушений своего всепоглощающего возбуждения; он ликует, в то время как его друзья сгорают от смущения и стыда.[140]

Если многочисленная группа людей путешествует по стране, их взорам предстают одни и те же видимые объекты. Те же города, леса, реки, равнины, горы и т.д, пройдут перед сетчаткой глаза каждого человека; и все же каждый увидит их по-своему, в присущей только ему манере. Взору солдата предстанут укрепленные позиции, равнины, теснины и овраги; земледелец увидит лишь посевы, а также скудость или плодородие почвы; живописец будет впечатлен игрой света и тени, живописными группами и пейзажами; гурман же обратит внимание исключительно на плоды земные, служащие роскоши и гастрономическим удовольствиям. Не только постоянные привычки умственной деятельности, но и преходящие сочетания обстоятельств меняют характер впечатлений. Одни и те же предметы совершенно по-разному воздействуют на воображение в тишине и уединении и тогда, когда они предстают в сиянии огней, под музыку и в веселой компании. Образ

быть может, излишне шутливого замечания, что Небеса всегда получают «les beaux restes du beau sexe» (прекрасные остатки прекрасного пола).

[140] Это составляет физическую основу фактов, породивших афоризм: «Красота — в глазах любящего».

смерти в стенах монастырей или на кладбищах подавляет и навевает тоску; однако египтяне сделали его зримым средством для возбуждения веселья, обнося его среди гостей за праздничным столом.[141] Если вышеописанные движения души неподвластны контролю; если невозможно, чтобы живописец, земледелец, воин, отшельник и пирующий египтянин смотрели на мир одними и теми же глазами, — то нелепо полагать, будто в одних и тех же обстоятельствах они могут по своей воле совершать одни и те же действия.[142]

Для того чтобы разум обладал над страстями той мерой власти, которая подразумевается под **свободой воли**, он должен был бы иметь возможность по первому желанию вызывать любую цепь идей, имеющих отношение к предмету, и придавать каждой из них надлежащую силу впечатления; условие, очевидно, невыполнимое. Когда желудок страдает от болезненного расстройства, живое существо не может одним лишь усилием воли направить свои симпатические связи так, чтобы вызвать, к примеру, головную боль вместо приступа подагры; точно так же оно не может заставить одну цепь ассоциативных идей возникнуть предпочтительно перед другими, дабы обусловить ту или иную нравственную реакцию. Сознавая бессилие воли в подобных случаях и понимая, что невозможно «логическим доводом унять» ни пульс, ни эмоцию, люди слишком часто пытаются воздействовать на свою чувствительность через органические функции, прибегая к помощи вина, спиртных напитков и опиума, дабы прогнать печаль, заглушить угрызения совести или воспламенить отвагу. Подобная практика была бы столь же бесполезной, сколь и опасной, если бы разум мог по собственному желанию управлять своими образами и произвольно вызывать определенные модели поведения.

Болезненные состояния демонстрируют эту истину еще нагляднее. При недуге, именуемом **ипохондрией**, неведомая, но своеобразная симпатическая связь между мозгом и органами брюшной полости порождает некую причудливую и беспочвенную идею, которая, смешиваясь с обыденными размышлениями, нарушает их связность и приводит к несообразным поступкам. В тех вопросах, которых эта идея не касается, больной рассуждает здраво: он способен вести дела, сочинять стихи, анализировать задачи. Так, если предметом его галлюцинации становится убеждение, что его тело сделано из **стекла** (весьма распространенная

---

[141] Геродот сообщает нам, что во время самых пышных празднеств этого народа слуги обносили вокруг стола деревянное изображение покойника, искусно вырезанное и отделанное, призывая при этом собравшихся дорожить временем.
«Взирая на него, пей и наслаждайся; ибо после смерти ты станешь таким же». — «Евтерпа».
[142] «Мне кажется, мы судим о вещах не иначе как через тайное обращение к самим себе... Было метко сказано, что, если бы треугольники создали себе бога, они наделили бы его тремя сторонами». — «Персидские письма».
«Но если бы быки, лошади или львы имели руки и могли ими рисовать и ваять, как люди, то кони рисовали бы богов похожими на коней, а быки — на быков, и ваяли бы их тела по образу и подобию своего собственного». — Ксенофан Колофонский (у Климента Александрийского, «Строматы», кн. V).

мысль среди ипохондриков), он заключает — и вполне логично, исходя из подобных посылок — что любое движение сопряжено с опасностью разбить жизненно важные органы; и никакие доводы не заставят его сменить положение тела. Он не властен освободиться от этого болезненного впечатления; его патологическая сила побеждает все прочие идеи и подчиняет их себе. Между состоянием такого человека и состоянием того, кто находится во власти всепоглощающей страсти, по-видимому, нет никакой явной разницы, за исключением лишь некоторой степени силы самой галлюцинации.

Как бы неохотно человечество ни признавало этот вывод в своих теориях, но поведение людей в большинстве случаев согласуется с **учением о моральной необходимости**. Образование дается нашим детям по той причине, что для самообразования человека требуется поистине редкое стечение внешних обстоятельств. Процесс этот начинается в младенчестве, исходя из убежденности в непревзойденной силе самых ранних привычек, которые неизбежно накладывают неизгладимый отпечаток на всю оставшуюся жизнь. Внушение религиозных догматов до того, как разум станет способен их постичь, было бы очевидной нелепостью, если бы предполагалось, что каждый индивид должен судить сам за себя и верить лишь на основании собственного исследования и убеждения; однако цель родителя вовсе не в этом. Будучи сам твердо уверен в истинности своего вероучения и сознавая, что человек целиком и полностью является **созданием обстоятельств**, он стремится заранее расположить младенца в пользу своей веры. Его задача — закрепить составляющие её идеи в сознании столь прочно, чтобы они могли противостоять любым возможным доводам зрелого размышления. Таким образом обычно обеспечивается покорность ребенка тому порядку вещей, который одобряет родитель. К этому же принципу можно возвести те **национальные особенности мышления** и поведения, от которых столь трудно избавиться и которые столь пагубно препятствуют прогрессу. Каждая нация, говоря в совокупности, слепо привержена своей религии, своему своду законов, морали и обычаев; из поколения в поколение она продолжает сохранять своеобразный склад ума, не менее примечательный, чем сложения и черт лица. И потому одним из самых непостижимых парадоксов остается то, что во все века и во всех краях столь велика нетерпимость среди людей, притязающих на превосходство над чернью и свободу от предрассудков. Ведь очевидно, что изо всех достояний человека именно мнения — это то, на что он имеет меньше всего права, чтобы называть своим собственным.

Если же от неизменных черт национального характера мы обратимся к различиям, разделяющим один и тот же народ в разные эпохи, то и они послужат подтверждением общего тезиса. В ходе того великого переворота, который совершился за последние два столетия, каждое последующее изменение происходило вместе со сменой поколений. **Изобретение книгопечатания** дало человечеству новый импульс, постепенно ведя наш вид к новым образам мысли и действия. Однако каждое поколение замирало именно в той точке, на которой

остановились общественные убеждения в период его воспитания. Те новшества, что были рождены гением, принимались почти исключительно лишь следующим поколением, чей разум был менее предубежден. Так, в настоящий момент во Франции: (1) **Глубокие старики остаются роялистами**; (2) Люди среднего возраста по большей части являются конституционалистами; (3) Юноши же в массе своей преданы имперскому правлению и охвачены военным пылом.

Само существование общественных институтов, сводов законов и морали зиждется на неизменной и необходимой связи **причины** и **следствия** в человеческом разуме. Если бы интеллект не являлся функцией механизма, управляемого незыблемыми законами, было бы решительно невозможно сформулировать общие правила для воздействия на нравственное поведение. Именно благодаря необходимой соразмерности между мотивом и действием существует доверие в отношениях между людьми, а сложившийся ранее характер служит основанием для уверенности в человеке. Одним словом, то **единообразие**, которое история являет нам в поведении людей всех веков и стран, совместимо исключительно с системой необходимости. При любом ином законе деятельности опыт не позволял бы предвидеть будущее, а накопленная веками мудрость была бы лишена внутренней связи и всякой пользы.

Однако вернемся к физиологическим фактам: либо мозг совершенно бесполезен во всем, что касается разума, либо психические явления управляются законами **органической деятельности**. Но органическая деятельность необходимо вытекает из состояния самого органа, а также из природы и силы воздействия раздражителя. Желудок не может выбирать, переваривать ему пищу или нет; он не может отказаться повиноваться стимулам лишь потому, что они вредны или губительны. Точно так же и мозг по необходимости реагирует на причины, которые на него воздействуют, вне зависимости от того, способствуют ли они обретению счастья или сохранению жизни индивида. Физиолог не обязан распространять свои изыскания за пределы констатации самого очевидного факта или анализировать выводы, которые могут быть извлечены из него исследователями иного рода. Но ему позволительно будет заметить, что **доктрина необходимости не является ни удручающей, ни антисоциальной, ни нечестивой**. В своем влиянии на человеческие законы и общественные институты она неизменно отвечает высшим интересам человека, поскольку способствует установлению более строгого соответствия между преступлением и наказанием, одновременно открывая более широкие возможности для сострадания и прощения. Она едва ли способна произвести значительные перемены в сфере чувств: она не стремится ослабить узы благодарности и обязательств и не делает индивида равнодушным к человеческому счастью. Ибо общественные и патриотические чувства не зависят от абстрактных принципов, проистекая непосредственно из органического импульса; любовь же и ненависть инстинктивно пробуждаются как неодушевленными предметами, так и

существами разумными.[143] Когда эти естественные привязанности подавляются преобладанием искусственных страстей, люди могут искать аргументы для оправдания своих новых склонностей, однако сердце никогда не развращается деятельностью интеллекта. Любовь к тому, что благотворно, столь же необходима, как и аппетиты, поддерживающие жизнь; она не может быть подвержена влиянию догм любого рода, за исключением тех случаев, когда их насаждает фанатизм. Наконец, во всём, что касается установлений **Провидения** в вопросах воздаяния и наказания, учения о необходимости и о свободе воли в равной мере оставляют мир таким, каким его находят: погруженным в сомнения и трудности, которые разум не в силах разрешить и о которых каждый судит в меру собственного стяжания благодати и веры.

Та необходимая связь, установление которой было целью предшествующих страниц, господствует над различными формами деятельности мозга, которые принято считать его способностями; она управляет памятью, воображением и суждением в той же мере, что и волей.

Всякий раз, когда на орган мозга оказывается чувственное впечатление определенной силы, в его подвижности происходят необратимые изменения. Вследствие этого при повторении впечатления оно воздействует на индивида уже иначе, нежели при первом его проявлении. Помимо осознания внешнего объекта, с которым соотносится данное впечатление, возникает также узнавание его былого существования. Остается неясным, в какой мере это может зависеть от специфического закона организации или же являться следствием закона ассоциации. Вероятнее, однако, последнее предположение; ибо в самом акте сновидения (при которых прежние впечатления повторяются в отсутствие своих прототипов), осознание их былого существования происходит далеко не всегда.

Различие между идеями, порожденными реальными объектами, и теми, что продиктованы воображением, также всецело устанавливается через **механизм ассоциаций**. Каждое впечатление, вызванное внешним объектом, вступает в связь со многими другими; и когда эта идея возникает вновь как звено в цепи — будь то в ряду воспоминаний или плодов фантазии, — несоответствие её собственных ассоциаций текущим чувственным впечатлениям момента позволяет отличить её от свидетельств органов чувств и рождает убежденность в том, что соответствующий ей объект в данный момент отсутствует. В сновидениях же, где подобное сопоставление между чувственными впечатлениями и образами ассоциаций

[143] Любовь и ненависть — это инстинктивные движения, неизменно относящиеся к качествам, которые влияют на наше благополучие, и совершенно не зависящие от моральных соображений. «Смеются, — говорит **Гельвеций**, — над гневом и ударами ребенка; от этого он часто кажется лишь милее; но негодуют на сильного человека: его удары ранят, и его называют грубияном».

невозможно (поскольку органы чувств в это время закрыты для внешних стимулов), идеи, составляющие сон, ошибочно принимаются за реальность.

Едва ли кто-то станет сомневаться в том, что узнавание прежних впечатлений находится совершенно вне власти воли; оно с неизбежностью следует за повторным воздействием стимула, если первое воздействие было достаточно сильным, чтобы произвести необходимые изменения в мозговом органе. Если человек видит цветок впервые, он не может по желанию воли запечатлеть его в памяти; равно как не может он и отказаться узнать его при повторном знакомстве. Воспоминание составляет столь же неотъемлемую часть впечатления, как и признание его внешней причины. Однако принято считать, что в случае с воспроизведенной в памяти идеей воля активно вмешивается в процесс, регулируя порядок явлений; это убеждение, по всей видимости, не находит подтверждения в наблюдениях.

Для того чтобы идея могла быть воспомянута, совершенно необходимо, чтобы она была связана своими ассоциациями с какой-либо идеей, уже присутствующей в интеллекте. Невозможно одним лишь усилием воли вызвать представления, которые полностью отсутствуют в поле созерцания. Идеи, на которых было приковано внимание, становятся более легковозбудимыми как в силу их первоначальной интенсивности, так и благодаря большему числу ассоциаций, которые они неизбежно успели сформировать.

Идеи удерживают внимание пропорционально силе их воздействия, их связи со страстями и степени свободы ума в момент их возникновения. Когда интеллект целиком поглощен определенной цепью мыслей, внешние впечатления едва воспринимаются. Именно так слепой энтузиазм заставляет своих приверженцев пренебрегать доводами простого благоразумия. Когда разум столь захвачен, дикарь улыбается среди пыток, Муций Сцевола обрекает себя на жесточайшие мучения, а мученики за истину или за ложь с равной готовностью и равным упрямством спешат навлечь на себя внимание даже тех преследователей, что вовсе к тому не стремились.

Сила идеи, или её способность приковывать к себе внимание, зависит от её видимой связи с болезненными или приятными ощущениями, как непосредственными, так и вытекающими из неё впоследствии. Человек, который, никогда не видев льва и не слышав о нём, впервые узрит его в тот момент, когда зверь терзает свою добычу, с гораздо большей вероятностью запомнит это животное на долгие годы, нежели если бы он встретил его в менее внушительной позе.

Другой источник глубоких впечатлений кроется в силе сопутствующих им представлений. Пустяки, замеченные в критические и знаменательные мгновения, навсегда запечатлеваются в разуме. Отсюда берет начало склонность вести летоисчисление от памятных эпох: у женщин — от рождения детей, у граждан — от годов получения ими различных почестей и так далее.

Впечатления значительно усиливаются, когда они следуют чередой, согласующейся с неким каноном, уже усвоенным разумом; при этом каждая последующая мысль естественным образом вытекает из предыдущей. Так, слова и мелодия песни взаимно способствуют закреплению друг друга в памяти.

Вне зависимости от этих свойств, присущих самим впечатлениям, разум не имеет власти над вниманием; следовательно, состояние сосредоточенности быстро угасает по мере истощения побудительной силы идей. Ибо ментальные стимулы, подобно телесным, теряют интенсивность своего воздействия, если они применяются в течение значительного времени. Посему, когда разум оказывается принудительно занят малопривлекательным предметом под влиянием некоего сильного интереса, этот интерес постепенно утрачивает свою силу, до тех пор, пока чаша весов не склонится в пользу отталкивающих мотивов. И тогда иные идеи невольно врываются в разум по тому же закону, который приводит в действие мышцы-антагонисты, когда основные мышцы были перенапряжены продолжительным усилием.

Таким образом, **внимание** — это не отдельная способность, а особое состояние мозгового органа, вызванное силой впечатлений. Оно не может быть направлено одновременно более чем на один поток идей. Внимание редко (если вообще когда-либо) фиксируется на изолированном впечатлении; оно всегда занято множеством идей, следующих друг за другом чередой. Если предметом созерцания становится, к примеру, роза, она пробуждает мысли о расположении её частей, о её цвете и аромате. С ней также могут быть связаны воспоминания о саде, где она выросла, о времени суток и погоде в тот миг, когда она была сорвана, о человеке, находившемся рядом, и о предмете беседы, которая велась в то время. Таким образом, привычные нам идеи сплетаются в бесконечные последовательности.

В явлениях памяти идея, вызванная — непосредственно или опосредованно — чувственным впечатлением, пробуждает другую идею, имеющую определенное отношение к текущим интересам, но составные части которой еще не представлены в сознании отчетливо. Тягостное чувство или беспокойство, вызванное этой неясностью, становится побудительным мотивом для воспроизведения других идей, связанных с предметом, дабы через их ассоциации прийти к искомому понятию. В данном случае, если A является исходной идеей, её ассоциации будут следовать не в естественном порядке их восприятия (A, B, C, D, E, F и т. д.), а в иной последовательности, определяемой их связью с искомой идеей X. Так, если в сознании присутствует образ некоего человека, а искомой идеей является его **имя**, естественными ассоциациями могли бы стать его рост, фигура, платье, а также место и время, когда его видели; однако влияние искомой идеи, вероятнее всего, вызовет в памяти зрительный образ его почерка, который может натолкнуть ум на первую букву его подписи и, таким образом, после нескольких попыток, привести к самому имени.

Феномены памяти носят чисто **органический характер**, независимо от того, возникает ли идея спонтанно или же извлекается намеренно, с полным осознанием цели. В последнем случае интерес, прикованный к искомому понятию, придает устойчивость уже присутствующим мыслям. Мозговые движения, в которых они заключаются, последовательно повторяются до тех пор, пока не пробудится некая ассоциация, ведущая непосредственно к искомому образу, либо пока не наступит утомление. Когда интерес угасает, в сознание вторгаются иные идеи, и разум, не достигнув цели, переключается на другой предмет.

Возможность или невозможность восстановить идею зависит от совершенства или несовершенства ассоциативной цепи, связывающей её с понятиями, фактически присутствующими в уме. Следовательно, некоторые составные части искомой идеи уже должны находиться в интеллекте. Усилия по припоминанию заключаются в повторении ассоциативных цепей, побуждаемых интересом к утраченной идее; и так же, как разум не может волевым усилием вызвать воспоминание о том, что полностью отсутствует в сознании, он не может и продолжать поиск актом воли, когда интерес к предмету угас.

При попытках вспомнить что-либо идеи иногда следуют друг за другом в логической и силлогистической последовательности, так что все этапы процесса можно проследить в обратном порядке. Однако чаще органические движения совершаются слишком стремительно для осознания, и идея вспыхивает в уме мгновенно, словно лишенная всякой связи с предыдущими мыслями. Часто случается и так, что после длительного, но безрезультатного усилия идея возникает спонтанно, вторгаясь в новые цепи размышлений, которыми в тот момент занят разум. По всей видимости, в данном случае мозговая ткань под влиянием предшествующего усилия была приведена в состояние крайнего возбуждения и теперь через определенные промежутки времени независимо от воли повторяет движения, в которых она упражнялась, тем самым случайно порождая искомую идею.

Из этих фактов со всей очевидностью следует, что **память не является отдельной способностью**, присущей особому органу или отделу мозга, но представляет собой результат ассоциативных движений мозговой ткани. Эти движения легче всего происходят в тот период жизни, когда подвижность системы максимальна; они возбуждаются с трудом, когда возраст придает всем органическим тканям плотность и затрудняет их деятельность. Подобно всем прочим органическим движениям, они укрепляются **привычкой**.

Если бы память была отдельной, самостоятельной способностью, то при её угасании все образы исчезали бы в равной степени. Однако ранние впечатления, запечатленные благодаря своей первоначальной интенсивности и частому повторению, остаются неизгладимыми, тогда как более свежие идеи блекнут лишь по причине собственной мимолетной слабости.

Память о недавнем поглощается
В самый миг деянья; в мозге сокрушенном
Лишь юности былой хранятся записи.
— Черчилль

Если бы память была обособленной способностью, из этого неизбежно следовало бы, что и самые ранние из возможных впечатлений должны сохраняться, и ребенок помнил бы всё происходящее с ним, по крайней мере, с самого часа своего рождения. Но поскольку память зиждется на ассоциациях, очевидно, что удержание в сознании множества фактов невозможно до тех пор, пока овладение языком не предоставит инструменты для создания многочисленных и разнообразных связей между отдельными идеями. Интересы живого существа требуют, чтобы все идеи, связанные с любым предметом изучения, были в равной степени доступны для воспроизведения, дабы действия индивида соответствовали подлинной природе обстоятельств; однако это ни в коей мере не согласуется с действительностью. Привычные цепочки мыслей, в силу своего физического преобладания, навязчиво вторгаются в сознание, вытесняя все прочие, более важные идеи, и порождая соответствующие привычки в действиях. Объекты внешнего мира, пробуждающие эти ассоциации, таким образом обретают власть над личностью, что пагубно сказывается как на суждениях человека, так и на его ощущении счастья. **Генри Филдинг** остроумно применил этот закон, заставив сквайра Вестерна бросить погоню за собственной дочерью ради лисьей охоты, которая случайно пересекла его путь во время поездки в Лондон.

Точно так же ряды представлений, связанные с функционированием доминирующих органов, приобретают несоразмерную силу вследствие возбуждения соответствующей части тела. Исав, терзаемый голодом, оказался во власти идей, продиктованных желудком, которые вытеснили все прочие соображения. Мысли о будущем покое, достатке и благополучии, оказавшись слабее зова аппетита, были исключены из его внимания. Те, кому чужды превратности первобытной жизни и кто привык принимать пищу — пусть и самую простую — в строго отведенные часы, вряд ли поймут то состояние ума, которое побудило несчастного охотника продать свое первородство за чечевичную похлебку. Однако более привычный случай, когда по велению страсти обменивается не только право первородства, но и мораль, положение и репутация, когда ради Клеопатры жертвуют целым миром, прояснит суть дела даже самому тугому уму.

Множественность постоянных впечатлений неблагоприятно сказывается на памяти, поскольку возбуждает слишком большое число ассоциаций. Из-за этого благоразумие диктует нам понимание того, какие идеи следует закреплять путем повторения, а какими ассоциативными связями — более не полезными для развития ума — следует пренебречь. Так, когда владение языком становится свободным, постоянное возвращение к правилам грамматики, с помощью которых он был освоен, лишь препятствовало бы самому процессу живого сложения речи.

Для улучшения памяти измышлялись самые разные искусственные методы. В древности, еще до изобретения письменности, средством народного просвещения служил стихотворный строй; в те времена бард был одновременно и законодателем, и жрецом, и врачевателем своего народа. Еще на заре истории искусств можно обнаружить следы произвольных систем упорядочивания, к которым прибегали ораторы в своих выступлениях ради сохранения стройности и логической связи аргументов. Эти приемы заключались преимущественно в соотнесении основных тезисов речи с определенными видимыми предметами в месте собрания; именно от этой практики до нас дошло знакомое выражение «общие места» (common placing). Предпринимались неоднократные попытки расширить эту систему, придав ей форму и содержание полноценной науки. Однако опыт убедительно доказал, что для постоянного практического применения подобные ухищрения совершенно непригодны и во всех отношениях уступают механизмам, которые предназначила для той же цели сама природа. Естественная основа памяти кроется в значимости и увлекательности фактов, подлежащих сохранению, в ясности первоначальных впечатлений и их упорядоченном расположении в цепочке подобных связей. Правильный метод обучения — это наилучшее подспорье для памяти, ибо он представляет факты в их надлежащем порядке, уверенной рукой прослеживая их соответствия и различия. Память, воздвигнутая на таком фундаменте, является не просто механизмом, легко приводимым в действие; само её применение неизбежно ведет к новым и неожиданным сочетаниям. Напротив, воспоминание, зиждущееся на произвольных ассоциациях (как бы искусно они ни были сопряжены), не способно породить ничего, кроме голых фактов в состоянии бесплодной и неинтересной обособленности. Помимо этого неудобства, произвольные ассоциации таят в себе опасность: их легко принять за реальные связи. Смешение же естественной и искусственной памяти неизбежно порождает самые чудовищные и нелепые нелепицы.[144]

Ассоциативные связи, составляющие память, подобно чувственным впечатлениям, не во всякое время пробуждаются с одинаковой легкостью. Изнурительные упражнения, бурные страсти — словом, всё, что заставляет мысли мчаться с чрезмерной быстротой, ослабляет их сцепление. Легкое возбуждение системы кровообращения, достигаемое умеренным употреблением вина, оживляет память наряду с прочими проявлениями умственной деятельности. Эпилепсия, апоплексия и подобные заболевания, повреждающие структуру мозга, вызывают внезапные и необычайные изменения в ассоциативных связях идей. Память о некоторых представлениях может быть полностью стерта апоплексическим ударом, в то время как другие остаются прочно и неизменно запечатленными в разуме. Известны случаи, когда ученые мужи в подобных обстоятельствах утрачивали способность изъясняться на родном наречии, но при этом сохраняли безупречную

[144] Так, в мнемонической системе фон Фейнагля образ Юлия Цезаря вызывается ассоциацией с евреем (Jew). Ребенку, которому понятия преподносятся подобным образом, едва ли удастся избежать смешения римского диктатора с торговцем старым платьем.

память на латынь и греческий; на этих языках они и заговаривали, придя в себя после приступа, к величайшему изумлению слуг и домочадцев.[145] Порой память отказывает в отношении конкретных объектов: забываются люди, или же из памяти ускользают названия самых обыденных вещей. В состоянии бреда повышенная лабильность мозговой ткани оживляет ассоциации, которые долгое время считались безвозвратно утраченными. Воскресают воспоминания раннего детства; предметами галлюцинаций часто становятся те вещи, что годами не занимали ум.

Идеи, которые способны пробуждать внешние объекты, не всегда в полной мере определяют мышечные действия. Они не всегда раскрывают отношения, существующие между объектом и воспринимающим субъектом; следовательно, иные сопутствующие движения вскрываются между ощущением и волей. Если недостаток интеллекта кроется в скудости представлений, животное побуждается к новому, более тщательному испытанию объекта своими органами чувств: оно экспериментирует над ним. Если же, напротив, связь идей с потребностями организма недостаточно ясна, оно исследует и сопоставляет их с тем, что подсказывает опыт: **оно рассуждает**. Природа этого процесса еще подлежит изучению.

Искусство рассуждения во многом зависит от способности связывать объекты и иные впечатления с произвольными знаками. По этой причине оно проявляется в более совершенной форме у стадных животных, нежели у видов, ведущих одиночный образ жизни; и в бесконечно высшей степени — у людей, чьи органы речи стали инструментом для сложнейших и обширнейших комбинаций символики.

Первые шаги человека в использовании знаков заключаются в наречении видимых и осязаемых предметов, которыми он окружен. Однако каждый из этих предметов способен воздействовать более чем на одно чувство и вызывать одновременно множество впечатлений; поэтому следующим шагом в формировании языка становится присвоение имен тем отдельным ощущениям, которые требуют разграничения, а также тем свойствам, в которых, по общему убеждению, эти ощущения берут свое начало.[146]

Объекты и идеи, обладая между собой определенными точками сходства, при рассмотрении их под этим углом зрения способны образовывать группы,

---

[145] Епископ Уотсон приводит исключительный пример подобного рода, касающийся его отца, страдавшего параличом: «Я слышал, — пишет епископ, — как он по двадцать раз на дню спрашивал, как зовут того юношу, что учится в колледже (моего старшего брата), и в то же время он мог без единой ошибки процитировать сотни строк из классических авторов». — «Жизнь епископа Уотсона».

[146] Значительная неточность понятий возникла из-за бедности языка в этом последнем отношении. Поскольку одно и то же имя обычно присваивается как самой идее, так и причине, ее порождающей, эти два понятия часто смешиваются. Отсюда проистекает нелепый софизм о том, что в огне нет тепла, а в сахаре — сладости; как если бы причины этих ощущений не были присущи самим предметам, их вызывающим.

представимые посредством одного знака. Таким образом формируются **идеальные сущности**, которые получают свои наименования и надстраиваются одна над другой в порядке возрастающей сложности. Различные впечатления (affections), которые объекты способны пробуждать, также требуют названий; и поскольку великое множество объектов может вызывать одни и те же идеи и впечатления, разум, приписывая эту способность некой общей причине, также присваивает ей определенное наименование.

Однако, не прослеживая далее развитие языка, достаточно заметить, что умственные операции совершаются более непосредственно при помощи знаков, нежели самих предметов. Все объекты, получившие имена, сколь бы сложным ни был их характер, рассматриваются как единичные сущности; природа же тех различных составляющих мозговых движений, которые они порождают, не становится предметом сознания, за исключением случаев крайней необходимости.

При поверхностном внимании, которое возбуждают объекты, не имеющие тесной связи с преобладающим интересом, интеллект почти не берет в расчет каждое отдельное движение; но когда внимание властно приковывается к объекту, все составляющие его идеи воспроизводятся с такой ясностью и точностью, что каждая поочередно становится различимой и обретает способность возобновлять свои специфические ассоциации. Смутное представление об объекте, таким образом, преобразуется в отдельные впечатления цвета, формы, вещества, блеска, твердости и так далее;[147] а интерес, пробужденный объектом, может быть перенесен на одно из его свойств. Так, при отсутствии ножа ум, обращаясь к свойствам, позволяющим предмету резать, может через ассоциацию прийти к другим субстанциям, обладающим теми же свойствами, и найти необходимое средство в осколке кремня или куске стекла. В ходе этой операции анализируются мозговые движения, составляющие сложную идею; отдельные понятия, относящиеся к каждому свойству предмета, не возникают одновременно и беспорядочно (как при их первоначальном восприятии), но воспроизводятся в последовательности, продиктованной иными идеями, с которыми они вступают в связь в процессе рассуждения. Легкость, с которой осуществляется этот процесс, целиком зависит от **языка**; ибо отдельные впечатления, если они не связаны с определенным именем, слишком мимолетны и несовершенны, чтобы их можно было вызвать произвольно или четко отличить от остальной части сложного движения. Этот процесс анализа применяется в равной степени как к идеям, так и к их внешним прообразам. Вещество, именуемое нами селитрой и изначально известное лишь как природный продукт, прежде не пробуждало в уме никаких иных представлений, кроме своих чувственно воспринимаемых свойств: цвета, вкуса, твердости, способности усиливать воспламенение горючих тел и так далее. Впоследствии опытным путем удалось открыть ее составные части — азотную кислоту и поташ; они же, в свою очередь, были разложены на три элемента: калий, азот и кислород. Подобным

[147] См. Кондильяк

образом наши представления о **добродетели** расчленяются на благожелательность, трудолюбие, честность и прочее; а те, посредством дальнейшего анализа, сводятся к сохранению индивида и благополучию вида.

Та облегчающая роль, которую язык играет в анализе идей, служит также и целям **синтеза**. Если при анализе последовательно и отчетливо оживляются отдельные части одного и того же сложного понятия, то при синтезе единичные впечатления, принадлежащие к разным сложным понятиям, вызывают друг друга в силу их общей связи с некоей третьей идеей. Таким образом возникают новые виды, являющиеся чистым порождением разума. Живописец, к примеру, начинает с вдумчивого наблюдения за сложными объектами, которые представляет его взору натура. Пейзаж аналитически разлагается на дома, воду, небо, листву; те, в свою очередь, сводятся к линиям и цветам, свету и тени, перспективе, композиционным группам, контрастам, эффектам и так далее. Благодаря этому процессу формируются ясные и точные идеи об объекте, который первоначально вызывал лишь спутанную совокупность мозговых движений. Из приобретенного таким образом запаса идей художник черпает материал, который он комбинирует сообразно своим текущим намерениям, создавая воображаемые ландшафты, морские виды, лесные пейзажи, городские улицы и прочее, в соответствии с разнообразными требованиями своих заказчиков. Эти идеальные прообразы направляют его мышечные движения, позволяя реализовывать и воплощать их на холсте.

В данном процессе, который свойственен всем творцам и изобретателям, в мозгу не возникает новых движений; меняется лишь порядок и связь существующих впечатлений благодаря их ассоциации с неким общим понятием, с которым они вновь соединились.

Объекты чувственных впечатлений, в особенности те, что обращены к зрению и слуху, повторяются столь постоянно, что объединяются в бесконечно разнообразные ряды. Таким образом, они обретают способность взаимно возбуждать друг друга в бесконечных сочетаниях. Так, во сне одно и то же первичное впечатление (вызванное, к примеру, несварением желудка), едва пробудив некий зрительный образ, может через него вызвать в воображении бесконечное множество ужасающих картин, порождая в каждом последующем сне новое сновидение. Подобное происходит и в состоянии грёз наяву, в которых идеи последовательно сменяют друг друга, не сдерживаемые осознанием цели; в этом случае ассоциации становятся столь разнообразными, что невозможно предсказать, какое направление могут принять мысли. В тех синтетических процессах, которые составляют часть человеческих размышлений, последовательность идей определяется ведущим представлением о цели или предмете, с которыми остальные идеи имеют определенную связь. Любые ассоциации, возникающие вразрез с этой господствующей идеей, отвергаются и остаются бесплодными. В целом же интерес к предмету придает такую силу связанным с ним идеям, что они исключают все

прочие и препятствуют их вторжению до тех пор, пока не наступит известная степень утомления.

Различная восприимчивость индивидуумов к этим симпатическим ассоциациям зависит от относительной силы их организации. У некоторых людей чувственные впечатления никогда не порождают ясных идей; их движения, как мозговые, так и мускульные, слабо связаны с соответствующими ощущениями; они способны лишь на немногие усилия, за исключением тех, что имеют непосредственное значение для жизни и носят почти инстинктивный характер. Но там, где этот физический недостаток отсутствует, мы обнаруживаем, что у одного человека идеи возникают легче всего в порядке их естественного появления; у другого — согласно отношениям причины и следствия и так далее; у третьего — под влиянием живописной красоты или нравственного соответствия. Таким образом, эти люди проявляют склонность соответственно к памяти, математическому комбинированию, механическим устройствам или совершенствовании в изящных искусствах. Подобные различия, по-видимому, обусловлены отчасти привычкой, а отчасти преобладанием тех идей, что сопряжены с господствующими органическими наклонностями. Так, у людей, не привыкших упражнять свой ум, идеи будут связываться с наибольшей силой в том естественном порядке, в каком они были первоначально восприняты; они будут обладать хорошей памятью.[148]

Те, кто населяет живописные края, и те, чье природное устройство побуждает их проводить много времени на открытом воздухе, вероятно, будут глубоко впечатлены чувственными образами природы и найдут отраду в их описании, будь то на поприще поэзии или живописи. Сильные и бурные страсти порождают склонность к тем сочетаниям идей, которые оказывают наиболее прямое влияние на общество; в то время как математический или механический гений присущ организации пассивной и сдержанной. Влияние общего строения организма на интеллект не подлежит сомнению. Найдется немного людей, в которых половой порыв не пробуждал бы в то или иное время склонности к поэзии и плодам воображения, сколь бы ни был далек их обычный нрав от подобных занятий.[149]

Когда обстоятельства пробуждают склонность к **созиданию** в индивидах, к тому не способных, любой достигнутый ими результат оказывается лишь повторением идей в том же порядке, в каком они были некогда восприняты. В этом процессе задействуется память, а не воображение, и потому плоские пародии на общепризнанные образцы ошибочно принимаются за оригинальные творения. Это заблуждение порой вводит в обман даже ярчайшие умы: «*Угасшие идеи парят в*

[148] Это состояние наблюдается преимущественно у женщин, а также среди пастушеских и полуцивилизованных народов, где устройство общества еще не обрело сложности.

[149] Эти общие принципы следует принимать с большой оговоркой. Человек не есть машина, движимая единственной пружиной; и когда воспитание и общество воздействуют на него, то отнюдь не легко проследить каждый изолированный факт до его конкретной и непосредственной причины.

воображении, подобно полузабытым снам; и фантазия в моменты своего наивысшего упоения начинает с подозрением взирать на свои плоды, сомневаясь, сотворила ли она их сама или же лишь заимствовала» (Шеридан). Именно этой причиной объясняется бесчисленное множество бессмысленных центонов в поэзии и музыке, возрождение устаревших схем в механике, а также обилие общих мест и трюизмов в эссе и серьезных литературных трудах — этих неизменных и неизбежных признаков самонадеянной посредственности. Подобный плагиат, будь он вольным или невольным, в равной степени доказывает зависимость как памяти, так и изобретательности от единого принципа ассоциации; та легкость, с которой эти два процесса можно спутать, служит полным доказательством тождественности их механизмов.

Движения, возбуждаемые отдельными чувственными впечатлениями, неизбежно вовлекаются в великое множество сложных сочетаний, вследствие чего их индивидуальная сила ослабевает и, так сказать, скрывается из виду. Влияние языка в значительной степени способствует тому же эффекту: ибо когда названия однажды закрепляются за сложными идеями, они начинают использоваться подобно счетным жетонам в арифметике; их истинная ценность в обыденных процессах мышления долгое время остается незамеченной. Однако в тех случаях, когда идеи, лишь отдаленно связанные со страстями, влечениями и потребностями организма, становятся побудительными мотивами к действию, представляется крайне важным выяснить точный смысл подобных терминов. Необходимо определить, сохраняют ли все идеи, сопряженные с ними, те же отношения к рассматриваемому предмету, или же они могут подразумевать нечто большее или меньшее, чем кажется на первый взгляд.

В естественном состоянии искусство рассуждения было бы ограничено весьма узкими рамками. Немногочисленные идеи дикаря сосредоточены почти исключительно на предметах первостепенной важности, и их значимость ощущается мгновенно благодаря их непосредственной близости к его жизненным интересам. Но **изобретение языка**, умножив число идей, обременило интеллект его собственным богатством. В особенности введение сложных терминов сделало регулярный анализ идей делом насущной необходимости; ибо в различных комбинациях, в которые входят эти термины, они не всегда представляют одни и те же точные идеи. Напротив, в сознании берет верх то одно, то другое из составляющих их понятий; разум, введенный в заблуждение неизменностью знака, не всегда осознает изменения в самой сути означаемого.

Другой частый источник заблуждений кроется в терминах, служащих для обозначения целых классов идей: подобные слова не способны с равной точностью охватить каждого отдельного представителя класса. Когда же два сложных понятия содержат множество общих признаков, их легко спутать друг с другом и ошибочно счесть синонимами. В подобных — и им подобных — хитросплетениях мыслей подчас оказывается чрезвычайно трудно вызволить истину из лабиринта слов, дабы

привести понятия в тот порядок и соответствие, которые присущи их природным прообразам, или же верно определить их отношение к иным идеям.

Эти трудности становятся еще более весомыми, когда речь заходит о передаче мыслей от человека к человеку. Даже самые привычные слова вызывают в умах разных людей неодинаковые образы; и те самые ошибки, что когда-то разлучили строителей Вавилонской башни, ежедневно случаются в нашем общественном быту. Обычный наблюдатель, не привыкший к уходу за лошадью или обращению с ней, свяжет с этим словом лишь несколько туманных представлений об облике, повадках и пользе этого животного. Жокей же обладает гораздо более обширным и точным набором понятий, касающихся статей, достоинств и физических возможностей коня; и всё это многообразие он вкладывает в упомянутый термин. Художник, будучи, возможно, несведущим в этих деталях, может обладать гораздо более точными представлениями о форме и красоте животного, анатом же обладает познаниями о его внутреннем строении, совершенно неведомыми большинству людей. Если знаки видимых объектов порождают столь различные впечатления в разуме, нетрудно представить, сколь более широкие возможности для ошибок таят в себе те термины, что обозначают отвлеченные, произвольные и идеальные сочетания понятий. Но трудности не ограничиваются и этим: человечество еще больше вводится в заблуждение порочностью тех, кто управляет общественным мнением. Они находят интерес в том, чтобы соединять в сознании идеи самые отдаленные и несовместимые, дабы подчинить себе мир и удерживать общество в рабстве у ложных принципов и **воображаемых сущностей**.[150]

Достаточно краткого опыта, чтобы научить живое существо тому, что идеи, столь путанно и ложно ассоциированные, порождают мотивы, которые не только не ведут к сохранению существования, но, напротив, способствуют его разладу и разрушению. Чувство беспокойства, возникающее в тех случаях, когда природа и связь понятий, побуждающих к действию, не воспринимаются с достаточной ясностью, дает начало новому ряду мозговых актов, во время которых действие воли приостанавливается. Те сложные идеи, значение которых не поддается мгновенному осмыслению, переводятся в новые знаковые системы, дабы точнее определить их ценность; либо же они сопоставляются с иными идеями для изучения их взаимных связей. В то же время ассоциативное мышление воскрешает в памяти схожие стечения обстоятельств в прошлом, дабы они послужили ориентиром для предвидения последствий будущих поступков. Лишь после того, как эти и подобные им процессы представят интеллекту все известные связи данной случайности и убедят разум в направленности импульсов, формируется волевой акт, а за мотивами следуют соответствующие им физические сокращения. Те движения, что возникают

[150] К числу этих entes rationis (сущностей разума), или, вернее, delirationis (сущностей безумия), относятся божественное право, непогрешимость, неписаное право (jus non scriptum) и виртуальное представительство Англии, вкупе со многими иными — идолами, коим поклоняется уходящий час.

в промежутке между внешним стимулом и последующим волевым актом, проистекают непосредственно из самой организации живого существа; они являются столь же необходимым результатом обстоятельств, как и те действия, что принято считать инстинктивными. При инстинктивном порыве существует лишь один сообразный образ действия — мотив здесь единичен и ничем не уравновешен. Однако в случаях, требующих размышления, мотивы многообразны и действуют в противоположных направлениях. Следовательно, в каждом отдельном случае наблюдаемые явления строго соответствуют обстоятельствам, а действие или медление следуют в прямой зависимости от породивших их причин.

В ранние годы, прежде чем опыт успевает внушить мысли о последствиях и осторожности, род человеческий вынужден действовать опрометчиво, повинуясь первым смутным впечатлениям, полученным извне. Но когда идеи об опасности и трудностях прочно укореняются в сознании, разум начинает связывать их с каждым впечатлением, и они сами по себе формируют мотив, противостоящий всем остальным; таким образом, они разрывают прямую связь между **ощущением** и **волеизъявлением**.

Когда направленность импульса не вытекает в интеллекте мгновенно из породившей его идеи, возникающее вслед за этим чувство сомнения и затруднения усиливает живость этих идей, что влечет за собой новые ассоциации более отдаленного характера. Противоречия и соответствия борющихся мотивов интересам индивида начинают ощущаться более отчетливо; когда же их относительная ценность таким образом установлена, говорят, что интеллект совершил **акт суждения**. В этом процессе в органе не возбуждается никаких новых движений, но идеи, присутствующие в разуме, последовательно повторяются до тех пор, пока не будет достигнуто ясное осознание каждой из них и ее связи с исследуемыми обстоятельствами. Таким образом, простые чувственные движения лишь высвобождаются из одних ассоциаций и воссоединяются в других при посредстве языка, с помощью которого более точно устанавливаются отношения между двумя терминами суждения.

Зачастую термины, которыми представлены две идеи, не вызывают всех понятий, необходимых для подобного сравнения; в таких случаях становится необходимым сопоставить их с неким третьим понятием, присутствующим в интеллекте, дабы пробудить ту скрытую ассоциацию, посредством которой они связаны. Так, в суждении «Является ли Петр подданным короля по праву рождения?» — два термина, «Петр» и «король», могут не вызвать аналитической связи соответствующих идей, достаточно точной для разрешения вопроса. Однако когда понятие «подданный» подвергается анализу и сопоставляется с его составными частями — то есть когда сложные идеи «Петр», «подданный» и «король» последовательно повторяются в сознании и их простейшие составляющие глубоко осмысливаются — запускается новая цепь ассоциаций, в которой ведущую роль

играют представления о происхождении и истории Петра. Таким образом формулируются три суждения:

- Все лица, рожденные в пределах владений короля, являются его подданными.
- Петр был рожден в пределах владений короля.
- Петр — подданный короля.

Благодаря развертыванию смыслов, заключенных в понятии «подданный», выявляются идеи о рождении и прочих обстоятельствах, связанных с Петром, которые не возникали при простом повторении его имени. И поскольку отношение Петра к королю уже заложено в этих идеях, то, что поначалу было туманным, мгновенно становится очевидным.

Подобным же образом, когда два мотива побуждают к противоположным волеизъявлениям, а их относительная ценность неразличима при интуитивном восприятии, тягостное чувство сомнения запускает синтетический процесс, в ходе которого веления опыта синтезируются и применяются к рассматриваемому случаю. Если должно быть совершено действие **A**, опыт может подсказать положительный результат **X**, заключающий в себе личную выгоду, которую можно оценить в **5 единиц**, и неудобство, равное **2**. С другой стороны, если последует действие **B**, опыт предрекает последствие **Y**, влекущее за собой выгоду в **2** единицы и неудобство в **5**. Все эти идеи уже содержались в представлениях, формировавших импульсы к **A** и **B**; однако они не могли быть возбуждены по отдельности иначе как посредством ассоциаций, возникающих из гипотез **X** и **Y**, а также их последующего анализа и взаимного сопоставления. Таким образом, пока не совершились эти разнообразные церебральные акты, равновесие между противоборствующими мотивами не могло быть установлено для принятия волевого решения; они являлись необходимыми звеньями в цепи, связывающей ощущение с действием.

В тех немногих случаях, когда идеи тесно связаны со специфическими функциями, процессы рассуждения протекают независимо от языка; при этом впечатления оказываются достаточно сильными, чтобы пробудить все необходимые ассоциации. Однако крайне ограниченные пределы, в которых подобная операция может осуществляться без помощи этого инструмента, очевидны на примере животного мира. Рассуждения животных, проявляющиеся в их действиях, хотя и поражают своей точностью, ограничиваются лишь простейшими, наиболее ясными и часто повторяющимися впечатлениями.

Развитие разума у человека, следовательно, следует в большей степени приписывать совершенству человеческого речевого аппарата и силе его социальных чувств, нежели одному лишь развитию мозга как органа. Это утверждение становится очевидным, если взглянуть на тесную связь, существующую между

мыслительными способностями различных народов и совершенством их наречий.[151] У тех наций, что говорят на высокоразвитом, отточенном языке, даже весьма посредственных способностей достаточно для проведения детальных и глубоких исследований; в то время как у народов с грубой речью даже ярчайший гений и самое удачное стечение обстоятельств едва ли позволяют прийти к простым и легким умозаключениям. Влияние языка на интеллект еще более отчетливо проявляется в том особом направлении, которое он придает национальному таланту. **Итальянский** язык, исполненный гармонии и почти непроизвольно слагающийся в стихи, властно предопределил склонность итальянского гения к поэтическому творчеству. Подобным же образом пластичная гибкость **греческого** языка неудержимо влекла говоривший на нем народ к диалектической тонкости; и по сей день она сообщает остроту и блеск характеру народа, который любая иная нравственная причина, кажется, стремится огрубить и ослабить.[152] Ибо хотя изначально именно интеллектуальные потребности каждого народа придают его языку особый характер, но стоит этому характеру однажды сформироваться, как он до скончания времен начинает определять гений последующих поколений.

Поскольку деятельность разума направлена таким образом главным образом на язык и затрагивает лишь упорядочивание идей, он не властен контролировать или изменять силу первичных впечатлений. Если две противоположные страсти борются за обладание волей, разум, развивая сопутствующие идеи, напротив, неизбежно придает сил той страсти, что уже доминирует, и увлекает индивида в направлении его главенствующей склонности. Мотивы, противостоящие ведущей страсти, ощущаются лишь слабо, в то время как те, что с ней совпадают, действуют с несоразмерной мощью. Оттого и разум, столь властный над мимолетными прихотями благодаря противопоставлению одних склонностей другим, оказывается совершенно бессилен произвести в характере перемены неизменные. На этой истине зиждется сила расхожего афоризма о том, что **философия делает человека твердым в отношении прошлого и будущего, но оставляет его немощным во всем, что касается настоящего**. Как справедливо заметил Вольтер: «Un cœur faible peut subsister avec un esprit fort, car on peut penser fortement, et agir faiblement» («Слабое сердце может уживаться с крепким умом, ибо можно мыслить решительно, а действовать нерешительно»). Рассудок способен оценить взаимосвязь вещей и их отношение к человеческой природе в целом, однако то, какое впечатление они производят на отдельную личность, — это область чувств, а не понимания. Внутри нас таится некое влечение, некая природная предрасположенность, которая разрешает спор между противоречивыми импульсами не на основе общих

[151] Простолюдин и философ имеют одинаковое физическое устройство, но различаются объемом своего словарного запаса.

[152] Именно в этом аспекте, а также в возвышенных представлениях о добродетели и свободе, коих придерживались греческие авторы, заключается ценность языка как образовательной дисциплины. Изучение греческого языка оказало решительное влияние на английскую литературу, а через нее — на сам язык и народ.

принципов, а сообразно собственному своеобразному складу; именно поэтому порой самое мудрое обсуждение завершается наихудшим из возможных решений.

Этот секрет в полной мере ведом драматургам всех времен. Великое сценическое противоборство любви и долга, составляющее основу трагедии, поддерживается на протяжении четырех актов непрестанными рассуждениями о связях и последствиях того или иного образа действий; но в пятом акте любовь неизменно торжествует. Глубокое знание человеческого сердца, составляющее столь значительную часть таланта драматурга, неизбежно ведет трагического поэта к такому финалу. Стоит герою предпочтёт любви любой иной мотив, как он тут же изобличается либо в природной холодности, лишающей его всякого интереса в глазах зрителя, либо в рабском подчинении какой-то иной страсти, менее драматичной по своей сути. Он становится либо жалок и незначителен, либо вовсе перестает быть влюбленным, превращаясь в царедворца, государственного мужа или полководца. Инстинктивное чувство автора и публики восстает против самой возможности пребывания в душе героя холодного и расчетливого благоразумия - в груди, всецело охваченной подлинной страстью.

Эта независимость чувств от разума служит физиологическим обоснованием того факта, что излишняя изысканность стиля и чрезмерное расточительство остроумия губительны для живого тепла в произведениях воображения. *«Погоня за остроумием — самое неодолимое препятствие для способности трогать сердца»* (Мадам де Сталь). **К сердцу нет пути через голову**; воображение можно возбудить вычурными метафорами, а слух — усладить гармоничным слогом, но эти средства не вызывают ответного содрогания во всем организме. Напротив, простота и даже некоторая грубость выражений, передавая ощущение смятенного чувства, могут пленить вопреки оскорбленному рассудку и попранному вкусу.

Для осуществления мыслительного процесса необходима определенная отчетливость мозговых движений; каждое впечатление должно обладать достаточной устойчивостью, чтобы разум успел распознать его составные части. В бреду лихорадки, в безумии или при опьянении повышенная возбудимость мозга препятствует подобной фиксации идей. Ассоциативные связи возникают слишком стремительно для ясного восприятия; впечатления сменяют друг друга, и идеи проносятся чередой, не позволяя своим взаимным отношениям определять порядок этой последовательности. Сильное и мучительное впечатление от света может вызвать в сознании образы огня, ада, сражений, насилия и иных причин страдания, безотносительно к их более непосредственным связям.

В ранние годы живость чувственных впечатлений и восприимчивость живых тканей к раздражению порождают, хотя и в меньшей степени, схожие следствия. Юноша, жаждущий наслаждений, мало склонен к размышлению; подвижность его естества ускоряет реакцию воли прежде, чем успеет начаться процесс рассуждения. В старости, напротив, наблюдается неспособность к переменам, что придает идеям

особую косность. Новые впечатления воспринимаются с трудом и несовершенно, в то время как старые, привычные понятия продолжают властвовать над разумом. Таким образом, к моральным побуждениям — осторожности и недоверию, проистекающим из опыта, — добавляется причина физического свойства. Излишне добавлять, что особенности темперамента могут пронести изменчивость детства через всю жизнь или же вызвать преждевременную неподвижность и неприглядную холодность в саму пору юности.

Резюмируя факты, изложенные на предыдущих страницах: (1) Живое существо не властно выбирать ни впечатления, которые оно получает, ни ассоциации, которые эти впечатления пробуждают; (2) органы чувств, находясь в бодрствовании, решительно видоизменяются под воздействием импульсов, которым они подвержены, а также под влиянием предшествующего склада ума; (3) последовательность, в которой возникают ассоциации, зависит от относительной силы различных идей и их связи с главенствующей идеей, представляющей интерес для индивида. Следовательно, процессы синтеза, анализа и умозаключения не могут осуществляться независимо от побудительного мотива.

Сила идеи зависит от интенсивности породившего её впечатления, которая, в свою очередь, обусловлена: (1) совершенством сенсорных и перцептивных функций; (2) мощью внешнего стимула; (3) его связью с естественными или искусственно приобретенными страстями; (4) состоянием возбуждения (orgasm) тех или иных внутренних органов. Одним словом, сила идеи определяется степенью её близости к инстинкту самосохранения. Поскольку сохранение жизни является той целью, что связывает функции взаимодействия с окружающей средой с функциями питания, осознание пользы, объекта и последствий оказывается неразрывно сплетено с тем непостижимым «нечто», которое именуется **восприятием**. И в той мере, в какой ослабевает связь между внешними объектами и воспринимающим субъектом, вызываемые ими впечатления и идеи утрачивают способность воздействовать на мозговой орган с той силой и постоянством, которые составляют сущность **внимания**.

Живое существо не наделено внутренней властью изменять мощь своей организации; оно не имеет власти над внешними объектами, чтобы регулировать силу их воздействия. Оно также не способно изменять функциональный баланс внутренних органов, чье развитие и возбуждение определяют приятный или болезненный импульс специфических впечатлений. Идеи, проистекающие из впечатлений, зародившихся в самих этих органах (независимо от внешнего раздражения), являются всецело органическими и, по общему признанию как моралистов, так и правоведов, освобождаются от моральной или уголовной ответственности.

Воображение, **внимание**, **воля**, **анализ**, **изобретательность**, **суждение** и т. д. не представляют собой отдельные способности, локализованные в соответствующих

им органах; они суть результат определенных ассоциативных движений, обусловленных импульсами и управляемых сознанием. Следовательно, они не могут влиять на мышечную реакцию иначе, как сообразно природе внешних раздражителей, воздействующих на организм, и специфическому состоянию этого организма в момент их воздействия.

Из этого следует, что мозговой орган не способен давать начало тем движениям, которые формируют идеи, посредством спонтанного действия, не зависящего от побудительного мотива;[153] и, как следствие, он не обладает врожденной способностью определять мышечные движения в отрыве от внешней причины. Одним словом, это материальный орган, подобный всем остальным внутренним органам животного, и он подчиняется тем же законам необходимости.

Поскольку мозг, по всеобщему признанию, является органом мышления, предпринимались многочисленные попытки установить соотношение между интеллектуальными способностями различных видов и степенью развития их мозговой ткани. Однако совершенно очевидно, что одних лишь данных о строении мозга недостаточно для того, чтобы a priori определить меру разума. Как уже было сказано, на функции этого органа существенное влияние оказывает возможность **символического выражения** и склонность передавать идеи другим особям при помощи знаков. Интеллект различных видов в еще большей степени зависит от развития их **органов чувств**. Поскольку чувства являются primum mobile (перводвигателем) мозговой деятельности, очевидно, что, будь мозг механизмом совершенным или несовершенным, он оставался бы одинаково бесполезным, если бы органы чувств не обладали достаточной степенью совершенства для приведения его в функциональное действие.

При оценке умственных способностей животных доводы гордыни и плотоядные наклонности заставляли человечество отвергать их зависимость от тех же причин, что порождают человеческий разум. И хотя основы анатомии человека были изначально заложены при вскрытии животных, очевидный вывод о **сходстве функций**, вытекающий из **сходства строения**, во все века старательно избегался или искусно обходился стороной.

Та самая непреодолимая трудность вопроса о моральном зле, которая во многих других отношениях препятствовала поступательному ходу философии, и здесь вынудила самых проницательных мыслителей впадать в очевидный абсурд. К числу наиболее странных заблуждений следует отнести внутренне противоречивую гипотезу, согласно которой лишь человек наделен способностью чувствовать, в то

[153] При сильном сосудистом возбуждении мозговой орган, подобно другим тканям, может быть доведен до такой степени лабильности, что начинает повторять привычные движения в отсутствие соответствующих внешних причин. Однако, помимо того, что это является патологическим феноменом, следует помнить, что движущая сила по-прежнему кроется в раздражителях, воздействующих на трофические функции. Таким образом, подобные движения ни в коем смысле не являются спонтанными.

время как прочие живые существа — это не более чем сочетания механизмов, поддерживаемые в движении непрестанным чудом. Утверждалось, будто они проявляют внешние признаки ощущений с единственной целью — пробуждать и взращивать в людях чувство сострадания друг к другу. Это заблуждение, каким бы нелепым оно ни казалось на первый взгляд, зиждется на самых расхожих представлениях по данному предмету, если довести их до крайних пределов. И среди множества тех, кто готов высмеять воззрения Мальбранша или Кирвана,[154] найдется лишь немного людей, которые не стали бы отрицать наличие у животных разума или способности в какой-либо мере осознавать цели, к которым ведут их действия.

В то, что животные чувствуют, мы верим на основании тех же свидетельств, что подтверждают чувствительность нашего собственного вида, а именно — на основании внешних признаков. То, что они наделены памятью и воображением, вполне убедительно доказано;[155] и многие их действия оставляют мало сомнений в том, что они выносят суждения на основе тех образов, которые отчетливо запечатлены в их разуме.

Если внешние проявления чувств и поступки животных в общих чертах подобны человеческим, то и вещество их мозговой ткани совершенно идентично. Органы различных видов различаются лишь степенью своего развития и механическим устройством. Органы чувств равным образом обнаруживают общую аналогию у всех видов животных; следовательно, природа их впечатлений должна быть в целом схожей, а вызываемые ими движения мозга — подобными, поскольку одни и те же ткани неизменно реагируют одинаковым образом на воздействие схожих стимулов.

Исходя из этих соображений, едва ли можно сомневаться в том, что различия, наблюдаемые в интеллектуальных способностях здоровых животных, заключаются скорее в количестве и ясности их впечатлений, нежели в рефлекторных движениях, которые эти впечатления возбуждают в мозговой системе.

Из всех органов чувств именно **осязание** позволяет получать наиболее многочисленные и разнообразные впечатления и дает наиболее обширные познания о свойствах внешней природы. Было обнаружено, что умственные способности животных варьируются в прямой зависимости от большей или меньшей степени развития этого органа.[156] Копытные животные, у которых нервы,

---

[154] Г-н Кирван, покойный прославленный ирландский химик и философ, как говорят, придерживался сего необычайного учения, отчаявшись иным путем примирить явления морального мира со своими представлениями о Творце. Прискорбный пример того, как опасно направлять силу нашего разума, сколь бы мощной она ни была, на вопросы, совершенно отвлеченные от свидетельств чувственного опыта.

[155] Сновидения собак служат общеизвестным подтверждением этой истины.

[156] *«Если бы природа вместо рук и гибких пальцев закончила наши запястья лошадиным копытом, кто усомнится в том, что люди, лишенные искусств, жилищ и защиты от*

обычно отвечающие за осязание, заключены в роговую оболочку, cæteris paribus (при прочих равных условиях), более тупы и ограничены, нежели виды, чьи пальцы разделены и покрыты более тонкой кожей. Те животные, которые обладают ключицами, также получают значительное интеллектуальное преимущество благодаря легкости, с которой они могут прикладывать свои конечности к предметам и, таким образом, обретать более точные представления об их физических свойствах. Слон обладает чувством осязания в высшем его совершенстве; и хотя его мозг весьма мал по сравнению с массой всего его тела, это животное бесконечно более сообразительно и разумно, нежели те виды, с которыми оно наиболее близко по общему строению.

Хищные животные получают весьма ясные представления благодаря органу обоняния, который развит у них чрезвычайно сильно, чтобы позволить им преследовать добычу. Собака, следуя за своим хозяином по запаху, дойдя до развилки двух дорог, выберет вторую без раздумий, если первая не дает необходимых признаков; таким образом, животное действует на основе сочетания идей, которое почти достигает формы совершенного силлогизма.

Общественные животные, хотя и бесконечно уступают человеку в своей системе знаков, передают друг другу множество впечатлений. Благодаря этому они обретают способность обучать свое потомство и достигают уровня интеллекта, значительно превосходящего таковой у животных-одиночек — даже тех, чья мозговая организация стоит на более высокой ступени. Тактика перелетных птиц служит очевидным подтверждением этой истины. К той же причине следует относить сообразительность и острый ум обезьяньих племен; архитектурное же мастерство бобров должно основываться на подобном же фундаменте, поскольку бобры-одиночки, хотя по своему строению они тождественны живущим в сообществе, ни в коей мере не обладают этой удивительной изобретательностью.

Животные разных видов, будучи одомашнены и обитая под одной крышей, также перенимают друг у друга многие специфические привычки. Кошки перенимают у собак обыкновение использовать в лечебных целях собачью траву (ægrotis canina), к употреблению которой последних влечет инстинкт; собаки же взамен иногда учатся у кошачьих умывать морду передней лапой, к чему их физиология естественным образом не предрасполагает. Навыки, которые общественные животные приобретают в естественных условиях свободы, зачастую утрачиваются одомашненными особями. Так, тартарские лошади и дикие кабаны гораздо более смышлены, нежели окультуренные породы, оберегаемые человеком и избавленные от забот о самосохранении.

Влияние органов чувств на интеллект еще более наглядно прослеживается у насекомых, чьи волевые способности должны основываться на восприятии,

---

животных, будучи всецело поглощены заботами о пропитании и спасении от хищных зверей, до сих пор скитались бы по лесам, подобно пугливым стадам?» - Гельвеций, «Об уме», стр. 2.

соразмерном их весьма обширной свободе передвижения. Многие из этих существ используют передние конечности подобно рукам, а их усики представляют собой орган осязания, отличающийся поразительной точностью и постоянством в применении. При этом, с другой стороны, их мозг состоит из крошечного и незначительного ганглия — почти такого же, какой управляет движениями червей.

Из этих соображений очевидно, что нельзя полагаться на те оценки интеллектуальных способностей, которые основываются исключительно на **измерении мозга**. Хотя, возможно, если сделать надлежащую поправку на иные причины, размер и степень развития этого органа могут давать сведения, приближенные к истине. Пропорция черепной коробки по отношению к лицу была принята за критерий определения развития мозга; относительный же размер этих частей пытались вычислить с помощью **лицевого угла**. Он образуется пересечением двух линий: одна проводится вдоль основания ноздрей, а другая проходит от выпуклости лба через внешний край зубных лунок. Чем ближе эти линии к образованию прямого угла, тем больше (как принято считать) пропорция черепной коробки относительно лица. Согласно таблицам, составленным на основе этого принципа, лицевой угол европейца составляет 85°, африканца — лишь 70°, а орангутанга — 67°. **Ошибочность** подобного критерия невозможно продемонстрировать более наглядно, чем через несообразность этих выводов. Как бы низко европеец в своей гордыне и алчности ни оценивал своего африканского брата, не может быть никаких сомнений в том, что интеллектуальная разница между этими двумя разновидностями людей гораздо меньше той, что разделяет человека и обезьяну. Однако численное снижение показателей, выраженное в лицевом угле, в первом случае составляет семнадцать градусов, а во втором — всего три. Собака, баран, заяц и низшие виды павианов имеют одинаковый лицевой угол — 30°.

Знаменитый физиолог Земмеринг применил иной метод, результаты которого, как он полагал, более точно согласуются с психическими явлениями. Согласно его взгляду на предмет, мозг можно рассматривать как сочетание двух частей: *«Та, которая непосредственно связана с сенсорными окончаниями нервов, которая принимает их впечатления, и поэтому посвящена целям животного существования, и та часть, которая может рассматриваться как соединяющая функции нервов со способностями разума?»*. Будучи разделенным таким образом, мозг следует рассматривать как совокупность двух принципиально различных органов: органа **чувственного восприятия** и органа **размышления**. Принято считать, что развитие интеллекта прямо пропорционально преобладанию последнего над первым. Данное утверждение, носящее чисто теоретический характер, не только бездоказательно, но и противоречит всему, что на сегодняшний день достоверно известно о психических явлениях.

Более разумную почву для гипотез дает соотношение между нервами чувств и нервами воли. Грубое представление о нем можно составить, сравнив размеры большого затылочного отверстия (foramen magnum — отверстие, через которое

сообщаются головной и спинной мозг) с общим объемом черепа. Величина волевых нервов напрямую зависит от массы и подвижности мышц, которые они приводят в действие. Если эти органы велики, относительная значимость спинного мозга возрастает; он обретает способность в большей степени оттягивать на себя ресурсы церебрального центра, тем самым внося разлад в его деятельность. Общеизвестным и неоспоримым фактом является то, что выдающаяся физическая сила и ловкость редко сочетаются с остротой ума. Античные атлеты неизменно подвергались насмешкам за скудоумие и медлительность: считалось, что для успешных литературных или философских изысканий телесный покой необходим ничуть не меньше, чем свобода от страстей.

Вопрос о сравнительных способностях индивидуумов внутри одного и того же вида остается предметом, по поводу которого существуют значительные разногласия. Истина о внешнем происхождении идей, столь блестяще развитая **Локком**, влечет за собой в качестве следствия тезис о том, что разум человека при рождении представляет собой tabula rasa («чистую доску»). Основываясь на этом допущении, метафизики пришли к убеждению, что мозг изначально в равной степени восприимчив к любым впечатлениям, а все наблюдаемые в индивидах психические особенности следует приписывать влиянию воспитания, законов, обычаев, религии и так далее.

Другие же мыслители, пораженные резким контрастом в интеллектуальном складе коренных жителей тропических и полярных широт, поспешили с выводом, будто непосредственной причиной ментальной идиосинкразии является климат. Вопрос о воздействии климата на физическое устройство организма уместнее рассматривать в ином месте; здесь же достаточно будет отметить, что, поскольку климат влияет на все ткани тела в целом, его воздействие на интеллект должно расцениваться как прямое — через влияние на сенсорную способность, так и косвенное — через потребности, влечения и внешнюю стимуляцию прочих органов.

Однако влияние **церебральной организации** невозможно в полной мере оценить, изучая лишь интеллектуальные особенности целых народов. Куда более прямые и достоверные данные для исследования дают различия между отдельными личностями, находящимися в одинаковых условиях климата, формы правления и прочего. Подавляющее большинство метафизиков, будучи не знакомы с физиологией, но при этом глубоко искушены в абстрактных умозрениях древнегреческих философов и средневековых схоластов, склонны полагать, что случайные обстоятельства и воспитание вносят основной вклад в формирование интеллектуального темперамента и создают ту предрасположенность к различным занятиям, которую проявляют разные люди.

Что касается общих способностей, или **гения**, то каждый физиологический факт и любая аналогия ведут к признанию фундаментальных различий в организации, отличающих отдельных представителей человеческого рода друг от друга.

Структурное совершенство и функциональная мощь всех прочих органов варьируются не только в зависимости от типа темперамента, но и у каждого индивида в отдельности. Не существует двух желудков, которые переваривали бы пищу совершенно одинаково, и нет двух сердец, которые бились бы с одинаковой силой, частотой и мерностью. Следовательно, разумно заключить, что и мозговая ткань допускает подобные же вариации. Одно лишь рождение идиотов подтверждает этот факт; и нельзя убедительно утверждать, будто эти лица являются лишь жертвами болезни, а наши рассуждения должны основываться исключительно на совершенных организмах. Ибо совершенство — есть понятие абстрактное, выведенное из общих наблюдений, при которых достоинства каждого отдельного случая объединяются в идеальном устройстве, не имеющем реального прототипа в природе. У всех индивидов наблюдается преобладание какого-либо внутреннего органа, что обеспечивает ему ведущую роль в организме и накладывает отпечаток своеобразия на гармоничное действие целого; и тот уравновешенный темперамент, в котором каждый орган в точности уравновешен всеми остальными, есть чистый плод воображения. Следовательно, допущение совершенства в церебральном устройстве обычных индивидов представляет собой petitio principii (предвосхищение основания).

Существование врожденных различий в способностях, обусловленных организацией плоти, представляется тем более вероятным, если взглянуть на те особенности мозговой деятельности, что возникают вследствие болезненных состояний этого органа. Так, склонность к водянке головного мозга обычно сопровождается преждевременным развитием как чувств, так и мышления; это придает личности особое очарование, которое лишь усугубляет горе и разочарование, сопутствующие безвременной кончине такого человека. Определенные нервные недуги пробуждают временные таланты, которые бесследно исчезают вместе с угасанием болезни. Этот факт прекрасно известен **шарлатанам** и **самозванцам**, которые, выступая апостолами дьявольской одержимости, **месмеризма** и прочих подобных нелепиц, выдавали его за демонстрацию познаний, кои никогда не приобретались обычным путем учения и штудирования.[157]

До сих пор вопрос рассматривался лишь в отношении общих способностей. Что же касается индивидуального своеобразия таланта или его применимости к конкретным предметам, то здесь прежде всего следует заметить: если память,

[157] Один французский священник, споря с esprit fort (вольнодумцем) из низших слоев общества, настаивал на реальности бесовской одержимости и приводил в пример знакомого крестьянина, который, благодаря вселившемуся в него дьяволу, обрел способность говорить по-гречески. Упрямый спорщик лишь ответил на это, что, прочитав Гомера в переводе, он и сам не прочь обзавестись таким демоном, дабы тот помог ему понять оригинал. Недавно мир удостоился созерцать образчик «вдохновения», порожденного **месмеризмом**; и надобно признать, что это отнюдь не столь прекрасное видение, как «Илиада» Гомера. См. «La Prima Musa Clio» в переводе Дж. Болдуина.

суждение и воображение суть не обособленные способности, а лишь, как указывалось на предыдущих страницах, способы ассоциации, то все различия, зависящие от относительного совершенства этих процессов, должны быть в значительной степени приобретенными, а не врожденными. Некоторые различия, как уже было объяснено, возникают в предрасположенности к этим различным образам действия под влиянием интенсивности чувственной силы и общей быстроты функций. Обостренная чувствительность и быстрота реакции, свойственные юности, неблагоприятны для тех сравнительных ассоциаций, из которых слагается суждение; и там, где эта особенность темперамента преобладает на протяжении всей жизни, человек по своей организации неизбежно будет более склонен к поприщу поэта, нежели математика. Таким образом, хотя почти все образованные люди в юности пробовали себя в стихосложении, в зрелом возрасте им занимаются лишь натуры с истинно поэтическим темпераментом, а также те, кто — invita Minerva — принужден к практике его праздностью, нуждой или склонностью к подражанию. С другой стороны, более ровный и умеренный ток крови, а также менее бурная жизненная сила благоприятствуют упражнению суждения и памяти.

Люди подобного склада обычно преуспевают в критике, механических изобретениях, математике и тому подобных областях; их лишь с большим трудом удается воспламенить до того воодушевления, которое необходимо для поэзии и изящных искусств.

Определенные грани таланта, несомненно, обусловлены **устройством самих органов чувств**. Тонко настроенный слух в сочетании с посредственным интеллектом рождает музыкального гения, чьи суждения в иных областях зачастую лишены практического смысла. Подобное сочетание встречается отнюдь не редко; его характерные черты лишь обостряются из-за недостатка общей культуры — что неизбежно при столь глубоком погружении в музыкальное искусство, — а также вследствие рассеянного образа жизни, сопутствующего этому поприщу.[158]

Подобным же образом и особое устройство глаза, способного извлекать глубокое наслаждение из специфических зрительных образов, может направить человека к занятиям живописью или ваянием.

Исходя из этого взгляда на предмет, можно заключить, что сфера приложения гения, каков бы ни был его масштаб, обычно предопределяется **вторичными причинами**. Сила, с которой внешние предметы воздействуют на чувства, а через них — на разум, очевидно, неодинакова у разных людей. Именно те объекты, что производят наиболее сильное впечатление, определяют явную направленность интеллектуальных усилий. Врожденное влечение к приятным ощущениям

[158] Вопрос о том, кроется ли упомянутая особенность в мозговых центрах чувствительных нервов, как полагали **Галль** и **Шпурцгейм**, или же в их периферических окончаниях, не является предметом данного исследования. Для окончательного решения этого вопроса науке пока недостает фактов.

преследует ту же цель; физическая же неспособность к одним занятиям вынуждает индивида искать удовлетворения в других. Однако более всего воспитание, привычка и случайное стечение неуловимых обстоятельств способствуют раннему формированию склада ума, благоприятствуя возникновению и закреплению особых ассоциаций. Когда эти условия совпадают с **удачным строением мозга** и индивидуальными особенностями темперамента, тогда они порождают те непреодолимые склонности к деятельности, которые сопутствуют величайшим свершениям человеческого разума. Напротив, когда эти слагаемые совершенства вступают в противоречие, способности остаются в пренебрежении и бездействии; любые усилия, не приносящие удовольствия и подавляемые иными побуждениями, редко венчаются выдающимся успехом.

Рассматривая человечество, **разделенное на классы сообразно умственным дарованиям**, нетрудно определить причины, способствовавшие формированию каждого из них. Так, врожденный идиот, занимающий низшую ступень интеллектуальной лестницы, очевидно, обязан своей душевной немощью исключительно физическому строению. Его непропорционально малый мозг и деформированный череп служат тому осязаемым и наглядным доказательством. У глупцов и тупиц упомянутые внешние характеристики проявляются в меньшей степени, однако они всё же вполне доступны для наблюдения. У основной же массы человечества особенности строения дают менее определенные и точные указания, позволяющие судить о соответствующих им психических состояниях. В представителях этой массы преобладающим оказывается влияние воспитания и нравственных причин. Обладая талантами более общего применения, они в меньшей степени способны к достижению исключительного мастерства в конкретной области, нежели индивиды с более высокой организацией, и потому в большей мере зависят от внешних обстоятельств. Тем не менее, привычное упражнение способностей в определенных направлениях может придать их действиям такую точность, которую порой ошибочно принимают за гениальность. Благодаря простому подражанию люди весьма умеренных дарований получают возможность играть заметную роль в обществе, становясь учеными моралистами, юристами, теологами и комментаторами. Это позволяет им исполнять формальности профессиональной жизни с внушительной важностью и регулярностью, с педантичной точностью совершая свой бег по кругу рутины, подобно мельничной лошади. Сильные страсти, обеспечивая концентрацию усилий и заставляя ум напряженно фокусироваться на предмете своего интереса, создают видимость большого таланта и восполняют отсутствие природного гения. Страсть любви оказывает заметное влияние на интеллект; она часто прогоняет косность и медлительность ума в тех случаях, когда иным побуждениям не удается пробудить в человеке волевое начало. Поэтический образ **Кимона** — не более чем преувеличенное изображение явлений, встречающихся в повседневной жизни повсеместно. Человек гениальный, рожденный для того, чтобы вести за собой человеческий род по пути совершенствования, отмечен весьма своеобразным

строением головы. Ей в высшей степени присуще то соответствие нашим инстинктивным чувствам, которое принято называть **красотой**. Мозг, развитый в полной мере и лишенный диспропорций, расширяет черепную коробку, образуя выраженную выпуклость затылка и высокий лоб, благодаря чему лицевой угол становится почти прямым. У индивидов с подобным строением мозговые процессы протекают мощно, ясно и отчетливо, сочетаясь между собой свободно и легко. Улавливаются и осознаются малейшие различия в получаемых впечатлениях, благодаря чему суждения становятся точными, в то время как ассоциации воображения — живыми и быстрыми.

Весьма распространена иная организация, при которой ассоциативные процессы ускорены общей раздражительностью, но идеи лишены четкости, а суждения, следовательно, неточны. То несоответствие, которое наблюдается в данном случае между реакциями и вызвавшими их причинами, и составляет сущность эксцентричности. Этот ложный вид таланта сопровождается капризностью чувств, беспорядочностью привычек и бесплодностью усилий. Подобный душевный склад достоин глубокого сострадания; он — бремя для самого себя и зачастую бесполезен для общества. Едва ли есть нужда приводить здесь в качестве примеров имена Сэвиджа, Дермоди, Чаттертона, художников Барри и Гиртона и, прежде всего, блистательного ипохондрика Жан-Жака Руссо.

Другая разновидность психического состояния, зависимость которого от **телесного устройства** признана повсеместно, характеризуется наследственной предрасположенностью к **безумию**. Подобная организация отмечена особыми физиогномическими признаками: полными, выпуклыми глазами, некоторой диспропорцией в форме черепа, к чему можно добавить симптомы чрезмерного прилива крови к голове.

У закоренелого безумца, занимающего последнюю ступень в интеллектуальной иерархии, наблюдаются явные изменения в видимой структуре и строении мозгового органа, что наглядно подтверждает зависимость мыслительных функций от этих физических особенностей.

На этих основаниях можно аргументированно оспорить возможность существования универсального гения; и примеры энциклопедического совершенства, приводимые в разные эпохи, не могут служить веским возражением. Притязания **Пико делла Мирандолы** или «удивительного» Крихтона едва ли заслуживают доверия. Они возникли в эпоху относительного варварства, когда даже самых незначительных познаний было достаточно, чтобы вызвать всеобщее восхищение. Если бы подобные притязания были выдвинуты при нынешнем состоянии знаний, они не принесли бы претенденту ничего, кроме насмешек; ибо широта охвата поверхностных знаний ныне стала неизменным признаком сопутствующего отсутствия глубины.

Таким образом, и в умственном отношении, равно как и в физическом, человек глубоко своеобразен, самобытен и индивидуален. Можно вывести общие правила и сформулировать абстрактные идеальные сочетания в качестве некоего эталона для сравнения; однако от этого эталона каждый индивид в той или иной степени значительно отличается; от этого идеала совершенства каждый, в большей или меньшей мере, отклоняется:

> Nemo vitiis sine nascitur; optimus ille est
> Qui minimis urgetur.
> («Никто не рождается без пороков; лучший тот, кто обременен ими в наименьшей степени»).

В представленном на этих страницах кратком обзоре жизненных явлений исследование остановилось перед двумя фундаментальными фактами: **ощущением** и **сокращением**. При нынешнем уровне знаний они образуют естественные границы физиологической науки и, по всей вероятности, являются тем самым ne plus ultra, пределом философского поиска. Однако пылкие умы не склонны довольствоваться подобным объяснением. Поскольку феномены органического бытия не обнаруживаются в отдельных атомах, составляющих материю, но зависят от их взаимного расположения и сочетания, их невозможно свести исключительно к свойствам элементарных частиц. Следовательно, остается пространство для того, чтобы можно было заподозрить вмешательство неведомого элемента, к чьим свойствам можно было бы отнести эти необъяснимые проявления в сложном соединении.

Однако не из столь философских аргументов возникли разнообразные теории жизни, во все века искажавшие физиологическую науку, но из более универсального заблуждения, которое в равной степени поразило все общие рассуждения о природе. Человечество, сознавая в себе силу производить определенные изменения в окружающей его материи — по отношению к которой материалы его деятельности кажутся сугубо пассивными, — почти инстинктивно приходит к тому, чтобы приписывать великие явления природы, не поддающиеся иному объяснению, деятельности существ, подобных ему самому: наделенных чувствами, но могущественных пропорционально более обширной сфере их влияния.

Младенчество естествознания у всех народов сопровождалось верой во множество сверхъестественных сущностей. У каждого леса, озера и реки было свое соответствующее божество, а столкновение стихий виделось войной богов. Непосредственным следствием такого взгляда на природу стало учение о том, что видимые и осязаемые виды обязаны своими формами и свойствами вмешательству подобных разумных сил, и что материя, из которой они образованы, сама по себе инертна, неподвижна и бессильна. Развитие познания действительно последовательно низвергло этих сверхъестественных посредников и постепенно

вернуло природные явления в лоно ее собственного владения. Однако изначальное представление об инертности материи слишком прочно укоренилось в умах, чтобы его можно было легко поколебать; и разумные, одушевленные начала движения были лишь заменены иными, более неопределенного свойства — столь же внешними по отношению к массам, на которые они воздействуют, столь же непостижимыми и, добавим, столь же маловразумительными.

«В природе вещей, — говорит Цицерон, заимствуя это положение из греческой философии, — надлежит искать двоякое: во-первых, материю, из которой вещь создана; во-вторых, силу, которая созидает каждую вещь». Следствием столь порочного способа рассмотрения предмета (ибо какова бы ни была действительность, материя и ее движение суть единственные объекты, с которыми соприкасается человеческая организация,[159] и единственные предметы человеческого познания) стало изобретение еще более тонких гипотетических посредников, о которых с уверенностью можно утверждать лишь то, чем они не являются, и которые невозможно представить в действии без непрестанных противоречий и смешения понятий.[160] Под влиянием этого предубеждения всё сущее было разделено на два класса: **материальное** и **духовное**. И вопреки вечной необходимости наделять последний класс сущностей всеми свойствами и проявлениями первого, вопреки отсутствию каких-либо ясных представлений по этому предмету и полной неспособности придать точный смысл любому из этих терминов в их противопоставлении друг другу, человечество всё еще продолжает рьяно отстаивать это различие. Что еще хуже, оно превращает его в лозунг для фанатизма и преследований.[161]

Руководствуясь этой философией, люди пытались отыскать некую движущую силу, которая одушевляла бы органические существа, — силу, отличную от их физической организации и независимую от неё, которая, в силу злоупотребления языком, обозначается термином, уместным лишь для описания совокупности

---

[159] Как с физиологической, так и с филологической точки зрения верно, что мыслить (как утверждал Тук) — значит подвергаться воздействию вещей, «овеществляться» (to be thinged), что буквально передает значение так называемого отложительного латинского глагола «reor». Устаревшие формы английского глагола, «me thinketh» и «me thinks», по сей день служат свидетельством истинности этого положения.

[160] «Могут существовать лишь истины, относительные по отношению к общему способу чувствования человеческой природы; притязание же на познание самой сущности вещей есть нелепость, очевидная при малейшем внимании». — Кабанис

[161] Отрицание возможности постичь сущности, не имеющие ни частей, ни измерений — то есть возможности понять contradiction in terminis (противоречие в терминах), — совершенно несправедливо подвергается обвинениям в нечестии. Не смертным утверждать о Божестве больше, чем Оно само соизволило открыть; но их долг — избегать той бессмысленной чепухи, которая неизбежно ведет к заблуждению и абсурду. Те, кто не знаком с механизмом человеческого разума, были бы удивлены, обнаружив, насколько близко утверждение о Божестве без частей и измерений граничит с абсолютным атеизмом. Вопрос не в том, какова может быть природа высших сущностей, а в том, какой язык способен наилучшим образом передать разуму четкие представления об их бытии и деятельности.

проявляемых ими феноменов. Даже в наши дни «**жизнь**» слишком часто принимают за некую субстанциональную сущность, и, подобно схоластическому bonum, она превращается в —

Живое существо,
Рожденное в пылу суровых полемических раздоров.

Это метафизическое различие между **материей** и **духом** было, однако, слишком тонким, чтобы его можно было постичь без огромного умственного труда; и insana sapientia («безумная мудрость») теории должна была проделать огромный путь, прежде чем прийти к столь совершенной абстракции. Ранние теогонисты, несомненно, были материалистами. Гомеровские боги являлись существами более утонченной природы, нежели человек, однако они очевидным образом были подвластны свойствам материи.[162] Медики в своих первых изысканиях причин одушевленности также останавливали внимание на объектах, которые, хотя и обладали видимостью внутренней силы и подвижности, все же оставались явно материальными. Πνεῦμα, Ψυχὴ, spiritus, anima — греческие и латинские наименования этого гипотетического ens (сущего) — все они намекают на дыхание и совпадают с Моисеевым выражением «дыхание жизни»; насущная и неотложная потребность в этой функции у высших животных, что привело к представлению, будто воздух содержит в себе — или сам по себе является — жизненным началом.

Гиппократ считал теплород не только основой жизни, но и самим Божеством, разумным и бессмертным — тем самым aurai simplicis ignis (дыханием чистого огня), о котором говорили Лукреций и эпикурейцы.[163]

Пифагор заимствовал из Индии первые представления об индивидуальной душе, о её существовании независимо от тела и о её вселении в бессловесных животных в качестве наказания за прегрешения, совершенные в человеческом облике. Это учение, как принято считать, было развито **Платоном**[164] в доктрину о бессмертии души в современном значении этого термина. Таким образом произошло разделение между *психологами* и *физиологами*; с тех пор они нередко вступали в столкновения, но редко приходили к согласию, и как своими

---

[162] «Потекся бессмертная кровь у богини,
Ихор, какой течет у блаженных богов;
Ибо они не вкушают ни хлеба, ни вина искристого».
Илиада, V, 339.

[163] Δοκέει δὲ μοὶ ὃ καλεόμενον θέρμον ἀθάνατον τὲ ἔιναι, καὶ νοεῖν πάντα. κ. τ. λ. — «Мне кажется, что то, что называют теплотой, бессмертно и познает всё...»
— Гиппократ, «О плоти».

[164] Среди древних существовало немало сомнений относительно происхождения этого догмата, как отмечал Павсаний. Геродот замечает: «Ἐγω Χαλδαίους καὶ Ἴνδων τοὺς Μαγοὺς πρώτους διδα ἔιποντας ὣς ᾽αθάνατος ἐστιν ἄνθρωπε ψυχή» — «Я знаю, что халдеи и индийские маги первыми сказали, что душа человеческая бессмертна» (ii. 23). Атеней приписывает эту идею Гомеру.

единогласиями, так и противоречиями лишь неизменно умножали и без того великую путаницу.[165]

Греки, однако же, в свойственном их философии духе утонченности, вскоре обнаружили, что одной лишь души недостаточно для нужд теологии и физиологии одновременно; а потому они выделили в человеческом составе три начала: Σῶμα, ψυχὴ и νοῦς — тело, душу растительную и разум божественный. В конечном итоге сочли необходимым добавить и четвертый элемент, согласно свидетельству следующих стихов:

Bis duo sunt homini, manes, caro, spiritus, umbra,
Quatuor ista loci bis duo suscipiunt.
Terra tegit carnem, tumulum circumvolat umbra,
Orcus habet manes, spiritus astra petit.

Четыре в человеке есть начала:
Плоть, дух, и тень, и мысли высший свет.
Четыре им пути судьба предначертала:
Земля берет плоть, духу — звездный след,
Аид — пристанище для манов и теней,
Что у могил страшат полночных селян.[166]

Процесс накопления заблуждений в этой изощренной системе весьма любопытен и даже забавен. Едва активные силы природы были отделены от масс, коими они должны двигать, их поначалу стали искать в тех телах, что обнаруживают наибольшую степень подвижности и наиболее разительно отличаются по своим свойствам от грубых стихий. Однако разум, еще не обретя своей Που Στω (точки опоры), продолжал углубляться в абстракции до тех пор, пока предмет исследования не стал слишком эфемерным для целей естествоиспытателя; и тогда теоретики были вынуждены вернуться назад, к принципам движения, принятым еще первыми мыслителями, и сконструировать некую материальную растительную душу для оживления простой организации, без которой, как они обнаружили, дальнейшее продвижение было невозможно.

Это **трехчастное деление** пережило все философские революции и по сей день занимает свое место в системах мироздания. «Дух одушевления» Дарвина и «materia vitæ diffusa» Джона Хантера в точности соответствуют античной ψυχὴ, выступая в

[165] Ex divinorum et humanorum male sana admistione non solum educitur philosophia phantastica, sed etiam religio heretica. — «Из нездорового смешения божественного и человеческого выводится не только фантастическая философия, но и еретическая религия».
— Бэкон, «Новый Органон».
[166] Лукиан в диалоге между Геркулесом и Диогеном проводит различие между ψυχή и Εἴδωλον. Первое соответствует manes (манам), второе — umbra (тени). Подобным же образом латиняне разграничивали mens и animus. «Не одно и то же mens и animus; ибо одним мы живем, а другим — мыслим».
- Лактанций, Кн. 7.

качестве непосредственной причины жизненных явлений. Некоторое время это начало фигурировало также под названием «нервной жидкости». Гиртаннер полагал его тождественным кислороду, а некоторые современные физиологи усматривали его в электричестве или гальванизме. Человек, рассматриваемый с точки зрения физиологии, принадлежит к многочисленному классу существ и приводится в движение началом, общим для всех них. Следовательно, **теологическая душа**, отличающая его от прочих животных, явно не причастна к органическим явлениям. Она не является необходимой для телесного существования существа и опирается на доказательства совсем иного рода. Но учение о растительной душе, рассматриваемой то ли как духовная сущность, или как некая утонченная разновидность материи, всецело принадлежит к области естествознания и должна оцениваться по канонам общей философии.

Достаточно лишь малого внимания, чтобы заметить: жизненное начало, равно как и принципы тяготения или избирательного сродства, суть лишь **философские конструкты**, промежуточные звенья между материей и духом. Это некие сущности, балансирующие между бытием и небытием — **абстракции, порожденные механизмом разума и языка** и ставшие результатом особого взгляда на явления. Они не являются необходимыми движущими силами, чье существование подтверждалось бы хоть малейшим доказательством. Наши представления о действии и претерпевании, почерпнутые из наших собственных ощущений, явно ошибочны. В природе нет ничего строго пассивного. Человек осуществляет свои замыслы, лишь используя свойства, присущие различным видам материи, а не вопреки им и не путем прямого господства над ними. Мы привычно говорим, что кислота нейтрализует щелочь, что вода растворяет соль, а стимул возбуждает ткань. Однако в этих случаях ни щелочь, ни соль, ни ткань не являются инертными. Напротив, здесь наблюдается взаимность энергии: эти термины можно было бы с полным правом поменять местами. С равной истиной можно утверждать, что щелочь нейтрализует кислоту, соль проникает в воду, а ткань притягивает или отталкивает стимул. Из этого следует, что, если материи и требуется некое движущее начало, отличное от самой ее субстанции, точно так же необходимо было бы признать и наличие некоего потенциального пассивного начала, дабы сделать это движение возможным.[167]

Хотя человеческий разум, при посредстве языка, способен рассматривать движение отвлеченно от субстанции, в которой оно происходит, он не может

[167] Томас Уиллис, среди мыслителей Нового времени, настойчиво отстаивает идею энергий, присущих материи. «Далее, общепринятое мнение, гласящее, что материя, из которой состоят природные вещи, чисто пассивна и ни в коей мере не движется, если не приводится в движение чем-то иным, неверно; напротив, атомы, кои суть материя подлунного мира, столь активны и самодвижущи (αυτοκίνητοι), что никогда подолгу не пребывают в покое, но повсеместно переходят из одного предмета в другой или же, будучи заключены в одном теле, сами прокладывают себе поры и пути для своего распространения».
- De Anima Brut. cap. 6.

помыслить движение независимо от материи. Подобным же образом, хотя он может рассматривать предмет в отрыве от того или иного качества, он не в силах лишить его всех качеств разом. **Субстрат**, как и многие другие метафизические термины, есть слово, совершенно не связанное ни с какой положительной идеей. Оно не представляет собой ничего. Следовательно, в силу самого механизма мышления, причины движения не могут восприниматься иначе как присущие и неразрушимые, если только не прибегать к понятиям чисто фантастическим и не поддающимся разумному анализу.[168]

Введение самих терминов «**материя**» и «**дух**» порождает еще одно распространенное заблуждение — веру в то, что они представляют собой некие обособленные сущности, и что, как бы ни разнились формы и свойства различных природных видов, все они по своей сути являются одной и той же субстанцией. Различные элементы, взаимодействующие в процессе созидания видимых и осязаемых явлений, чрезвычайно многообразны и способны к бесчисленным сочетаниям. Эти элементы сообщают друг другу движения, в результате которых возникают формы, чей характер и способы действия разительно отличаются от тех, что могли бы быть выведены из природы их составляющих. Следовательно, невозможно установить пределы **движущей силе материи**, пока нам остаются неизвестны любые из возможных её комбинаций.

В частности, законы жизненных связей развиты столь несовершенно, а химия природы изучена так плохо, что утверждение, будто феномены жизни принадлежат к иному порядку, нежели всё остальное в природе, является чистейшим предвосхищением основания. Нельзя сомневаться в том, что существуют материальные причины, достаточные для возникновения различий между химическим и органическим соединением и для развития свойств **чувствительности** и **сократимости**. То, что некий тонкий агент, по своим свойствам аналогичный свету, теплу и электричеству, может входить в качестве звена в цепь жизненной причинности, является положением строго возможным и вовсе не невероятным. Но до тех пор, пока реальность подобного фактора не будет доказана, его допущение на чисто гипотетических основаниях запрещается общим каноном логики: «frustra fit per plura quod fieri potest per pauciora» (тщетно совершать посредством многого то, что можно сделать меньшим).

Однако, если принятие некоего «жизненного начала» будет сочтено необходимым для построения любой рациональной теории жизни, все же возникнет потребность в пересмотре представлений, связываемых с этим термином. Его нельзя рассматривать ни как само по себе ощущающее начало, ни как отдельную сущность, ни даже как основную причину жизненных явлений. Каждый элемент, входящий в состав органического соединения, обладает собственными

[168] Измышление неких «тонких флюидов» как первоначал движения — не более чем попытка поставить слона на черепаху. Их следует либо признать активными видами материи, либо же обратиться к системе духовного (спиритуализму).

неуничтожимыми свойствами, в силу которых он должен вносить вклад, pro modulo suo (в меру своих возможностей), в общий результат. Химические качества кислорода и водорода, физические свойства различных тканей — одним словом, силы притяжения и отталкивания, упругость, гравитация и прочие атрибуты каждой частицы — являются необходимыми и существенными причинами. Их следует считать вносящими столь же важный вклад в формирование и функционирование всей нашей машины в целом, как и тот гипотетический принцип.

Следовательно, отрицая необходимость существования «растительной души» и ограничивая наши исследования свойствами **сократимости** и **чувствительности**, не обязательно считать эти пределы абсолютно непреодолимыми. Но при попытке расширить границы научного поиска, карта должна чертиться лишь по следам открытий, подобных свершениям Колумба, а не заполняться картами воображаемой Terra Australis или призрачной Атлантиды, даже если бы реальность подобных земель подтверждалась столь внушительным авторитетом, как авторитет нового Платона.

Глава VI. Общие замечания о природе болезней, лекарств и т. д.

«Весьма вероятно, что при немногих пособиях против недугов здоровье по большей части оставалось крепким благодаря добрым нравам, коих не портили ни праздность, ни роскошь. Ибо сии два порока сперва изнурили тела в Греции, а затем и у нас. Оттого и нынешняя сложная медицина, не бывшая нужной ни в древности, ни у иных народов, едва доводит немногих из нас до порога старости».
- Цельс

Учения физиологии, сами по себе составляющие предмет возвышенного любопытства, обретают свою главную практическую ценность в приложении к феноменам болезней. И подобно тому как врач черпает в них основания для своих рассуждений об исцелении болящих, так и всякий взыскующий истины может вывести из них принципы, позволяющие правильно направлять образ жизни человека здорового.

Болезнь и здоровье — это состояния, которые столь часто противопоставляются друг другу, что в воображении они обрели характер неких самостоятельных сущностей; их лишь с трудом признают простыми выражениями модальности. Рассматриваемые как вещи, по самой своей природе противоположные и противоречивые, они редко воспринимаются как имеющие общую связь, и уж тем более — как результаты одних и тех же общих законов или следствия одних и тех же принципов действия. Найдется, пожалуй, немного образованных людей, которые впали бы в подобное заблуждение, будь этот вопрос представлен им в его чистом абстрактном виде; однако еще меньше тех, кто в обыденных жизненных обстоятельствах не поступал бы так, словно руководствуется этой ошибкой.

Из предшествующего обзора строения и функций организованных существ явствует, что их существование **сугубо относительно** и что в поддержании жизни они ежеминутно зависят от окружающих их элементов. Для здоровья абсолютно необходимо определенное равновесие между силой внешнего стимула и внутренним принципом противодействия; функции организма расстраиваются, когда воздействия на эту машину производятся в ином порядке или с иной степенью интенсивности, нежели те, что соразмерны его различным потребностям. Следовательно, главные источники болезней следует искать в тех самых факторах, которые наиболее непосредственно способствуют поддержанию жизни; а доктрины медицины должны быть не более чем следствиями из тех физиологических фактов, которые до сего момента занимали внимание читателя.[169]

[169] «Всякое лечебное средство имеет своей целью лишь возвращение измененных жизненных свойств к их естественному типу».
- Биша.

Болезни, зависящие таким образом от неправильной стимуляции, заключаются в нарушении отправления естественных функций; и очевидно, что каждая ткань, обладая собственным, присущим ей способом здоровой деятельности, точно так же подвержена и своим особым видам расстройства. Так, судороги поражают исключительно мышцы, а катаральное воспаление свойственно лишь слизистым оболочкам.

Восприимчивость каждого органа к болезни носит двоякий характер: расстройство может проявиться либо в тех действиях, которые составляют его специфические функции, либо в заболевании его питательной паренхимы, вследствие чего изменяется сама органическая структура. Справедливо, что функции того или иного органа редко нарушаются без некоторой степени органического поражения, равно как и органическая болезнь не может долго существовать, не затрагивая со временем и функции; однако частные недуги по большей части воздействуют преимущественно на одно из этих проявлений, обретая тем самым характер, который крайне важно распознать. Это различие существенно, поскольку органические заболевания, как правило, поддаются лечению гораздо труднее и менее предсказуемо, нежели те, что затрагивают главным образом **функцию**. Ничто, к примеру, не излечивается легче, чем то заболевание легких, что называют катарром, сколь бы яростным ни был приступ этой болезни; в то же время нет недуга более неизбежно смертельного, чем бугорчатая чахотка, которая представляет собой органическое поражение того же самого органа.

Раздражения, вызывающие болезнь, могут ограничиваться лишь теми частями, на которые воздействует болезнетворный стимул, либо же распространяться далее, приводя к расстройству всей системы. Общие заболевания могут быть вызваны причинами, аналогичными по своему действию диффузным стимулам: таковы различные виды лихорадочной заразы. Они также могут брать начало в воздействиях исключительной силы или в поражениях органов, поддерживающих многочисленные и важные сочувственные связи в организме. Воспаления мозга, сердца и желудка вызывают наиболее всеобъемлющие и бурные расстройства в силу их высокой жизнеспособности и всепроникающего влияния на общую экономию организма. Рожа, являющаяся воспалительным поражением кожи, вызывает опасные, а зачастую и фатальные потрясения в организме через симпатические связи этого органа; в то время как флегмона, или обыкновенный абсцесс — подобное же поражение подлежащей клетчатки — должна быть весьма обширной или острой, чтобы вовлечь всю систему в свое болезненное возбуждение.

Органические заболевания вызывают, как правило, менее бурное расстройство организма, нежели функциональные недуги тех же внутренних органов. Однако когда функции жизненно важных органов приостанавливаются или существенно изменяются, и когда цепь органических взаимодействий оказывается разорванной, организм претерпевает расстройство, совершенно не зависящее от влияния

симпатической связи. Таким образом, заболевание печени, почти или вовсе не вызывающее лихорадочного состояния, может стать причиной диспепсии, затрудненного дыхания и водянки, нарушая равновесие функций питания.

Болезни также подразделяют на **острые** и **хронические**, сообразно времени, которое требуется для прохождения их естественного курса. Однако быстроту течения болезни следует оценивать не по её абсолютной продолжительности, а в сравнении с быстротой обычных отправлений пораженной части. Воспаление в клеточной ткани мышцы может пройти все свои стадии за несколько дней; в то время как в костной ткани оно потребует столько же месяцев, чтобы достичь своего завершения. Тем не менее оба этих процесса, в соотнесении с привычной деятельностью данных частей, могут считаться острыми заболеваниями. Следовательно, разграничение на острую и хроническую формы недуга было бы правильнее применять лишь к различным заболеваниям одной и той же ткани.

Существует общий и необходимый закон движения — проистекает ли оно из причин органических или механических, — согласно которому, если силы случайного повреждения недостаточно для полной остановки периодических и повторяющихся движений, вызванные ею отклонения постепенно сглаживаются под воздействием постоянных сил; и в конечном итоге машина возвращается к своему первоначальному и правильному функционированию.[170] Следовательно, не всякое отклонение от здорового возбуждения влечет за собой болезнь, равно как и не всякая болезнь естественным образом завершается разрушением организма.

Незначительные случайные избытки стимуляции влекут за собой соответственное усиление деятельности, что вызывает пропорциональное истощение жизненной силы. Это истощение, в свою очередь, может стать чрезмерным, провоцируя тем самым упадок деятельности, который будет стремиться к противоположной крайности и накапливать возбудимость в степени, лишь немногим превышающей норму. Таким образом возникает осцилляция вокруг точки здоровой стимуляции, которая утихнет лишь после определенного числа колебаний; при этом амплитуда избытка с каждой сменой фаз становится всё менее выраженной, пока болезненные движения постепенно не растворятся в привычных суточных ритмах здорового организма.

Эти колебания зачастую слишком ничтожны, чтобы привлечь внимание, или же проявляются лишь в легком ускорении пульса. Когда же они становятся более интенсивными, они принимают форму лихорадки и становятся предметом врачебного вмешательства.

---

[170] «В ряду событий, длящемся неопределенно долго, действие регулярных и постоянных причин должно в конечном счете возобладать над действием причин нерегулярных».
- Лаплас

Некоторые **избытки стимуляции** уравновешиваются компенсаторными действиями, возбуждаемыми в отдаленных органах; гармония и соответствие в отправлении питательных функций создают основу для принципа взаимного восполнения. Пример пояснит это положение. Если в систему вводится избыток питательных веществ, это стремится вызвать в организме воспалительное усиление деятельности. Временное ускорение функций, обусловленное этим процессом, заставляет кровь в больших объемах проходить через легкие и другие выделительные органы. Благодаря этому излишек веществ, если он не слишком велик, выводится из тела без особого вреда. Именно способствуя этому процессу, физические упражнения позволяют крепкому телосложению переносить известный избыток с относительной безнаказанностью.

В некоторых случаях непосредственные последствия болезненного возбуждения направлены на восстановление привычных функций пораженной части. Воспаление слизистых оболочек, если оно не настолько сильно, чтобы изменить саму структуру ткани, сопровождается усилением секреции с их поверхности; это постепенно снижает чувствительность сосудистой ткани и возвращает её деятельность к здоровой норме. Подобным же образом раздражение, вызываемое обрывками одежды, попавшими в раны от огнестрельного оружия, приводит к образованию абсцесса, посредством которого вредоносный агент выносится на поверхность и удаляется из организма. На этих и других подобных фактах врачи основывали благовидную гипотезу о vis medicatrix,[171] или руководящем начале, которое главенствует над жизненными функциями и, подобно некоему разуму, регулирует их деятельность так, чтобы во всех случаях повреждения стремиться к восстановлению порядка. Согласно этой теории, всякая болезнь есть усилие природы, направленное на восстановление здоровья; следовательно, единственно допустимые врачебные предписания должны заключаться в том, чтобы содействовать её замыслам и воздерживаться от вмешательства в её процессы — за исключением тех случаев, когда они становятся чрезмерными и ведут к гибели организма.

В этой доктрине сокрыт некий мистицизм, чрезвычайно притягательный для слабых умов, против которого, впрочем, не всегда может устоять и самый крепкий интеллект. Во Франции vis medicatrix служит основой врачебной практики; и хотя в Англии к ней не относятся с большим почтением как к руководству в лечении болезней, она всё же проникает в общие рассуждения и порой звучит из уст теоретиков и наставников.

Само положение этой доктрины заключает в себе скрытое противоречие: «регулирующее начало, подверженное беспорядку!». Если бы в животном

[171] Природа, будучи лишена разума, действует сообразно разуму; ибо она способна, как говорит Гален, внушать всем живым существам внутренние порывы к здоровью и самосохранению, ведя за них непрестанную борьбу. (Деметрий Пепагомен, «О подагре», с. 8).

механизме существовало исцеляющее начало, роль врача была бы упразднена; ибо человеку не оставалось бы никакого дела там, где сама природа выставила стража для защиты от внешнего посягательства и силу, способную противодействовать атакам врага и предотвращать их. Тезис о необходимости помогать природе, когда она медлительна в своих действиях, и обуздывать её, когда она слишком бурна, находится в прямом противоречии с основополагающим принципом этой теории. Либо vis medicatrix сама по себе способна сохранить систему и самодостаточна для своих целей, либо это излишний и неоправданный термин, введенный в медицинские рассуждения безосновательно и вопреки философской логике.

Каждое действие, происходящее в организме, является необходимым следствием установившегося баланса причин, воздействующих на жизненное начало. Если на тело воздействует неестественный раздражитель, за ним неизбежно следует неестественное возбуждение; однако это возбуждение не может иметь обязательного отношения к некому целительному намерению. Если возмущающая сила не настолько велика, чтобы одолеть постоянные и обычные принципы движения, баланс функций в конечном итоге неизбежно восстановится; при этом определенные соответствующие явления будут неизбежно сопровождать последовательные стадии процесса, посредством которого насилие, причиненное механизму, нейтрализуется и поглощается его периодическими движениями.

Когда плоти нанесена рана, раздражение от инструмента и воздействие воздуха на разъединенные волокна возбуждают в них воспаление. В результате этого нового образа действия происходит излияние лимфы; эта субстанция становится очагом, в котором формируются новые сосуды — связующие звенья между краями раны. Всё это — следствия, вытекающие из своих причин, и закономерный итог великого закона трофического действия. Однако утверждение о том, что эти процессы направляются неким замыслом или преследуют конкретную цель, опровергается последствиями тех же самых явлений в других частях тела. Так, естественным следствием воспалительного возбуждения в серозных оболочках становится сращение их поверхностей, что препятствует движению органов, которые они обволакивают; и если болезненный процесс оказывается обширным, он неизбежно ведет к смерти. Подобным образом легкие зачастую оказываются припаянными к ребрам, а сердце — прикованным к перикарду. Когда функции этих важнейших органов нарушаются, наступает смерть — как прямой результат мнимых усилий vis medicatrix (целительной силы природы).

Еще один пример бессилия природы в деле исцеления и отсутствия целесообразности в её болезненных проявлениях можно найти в кишечных спазмах, которые принято считать попыткой изгнать причину недуга. Эти сокращения мышечных волокон суть необходимые следствия интенсивности их возбуждения; они тем беспорядочнее и мощнее, чем избыточнее воздействующий стимул. Вследствие отсутствия согласованности в движениях, порожденных столь грубым воздействием, мышечное сокращение в гораздо большей степени препятствует

продвижению раздражающего вещества, нежели способствует его выведению. Первый шаг к исцелению заключается в подавлении этих естественных движений, без чего удаление вредоносного начала достигается лишь с великим трудом и мучениями. Нагноение, происходящее при бугорчатой чахотке, точно так же не приносит никакой пользы, а лишь ускоряет приближение больного к могиле, не обнаруживая ни малейшей тенденции к излечению недуга.

Считается, что феномены лихорадки с особой очевидностью доказывают существование этого гипотетического начала; посему они заслуживают более детального рассмотрения. Симптомы лихорадочного заболевания свидетельствуют о нарушении баланса питательных функций, что в большей или меньшей степени влияет и на состояние сопряженных с ними органов. Это является следствием воздействия возмущающей причины значительной силы; само же возвращение к здоровью сопровождается многочисленными колебаниями, вызывающими повторение феноменов в регулярной последовательности.

Стадии жара, холода и потоотделения при перемежающейся лихорадке следуют друг за другом в строго определенном порядке и повторяются через конкретные промежутки времени. Все лихорадки, не заканчивающиеся летально, имеют тенденцию к разрешению путем прохождения определенного цикла заданной длительности. В странах с более жарким климатом, где жизненная деятельность проявляется свободнее, эти болезни обычно завершаются в нечетные дни, которые по этой причине именуются **критическими**. В нашей же стране, хотя течение болезней отличается меньшим постоянством, они все же обнаруживают склонность подчиняться недельным циклам, претерпевая выраженные изменения на седьмой, четырнадцатый и двадцать первый дни недуга. Когда лихорадка прекращается в один из этих дней, её исход обыкновенно сопровождается заметным усилением секреции — обильным потоотделением, диареей или кровотечением; именно эти факты принято считать доказательствами существования vis medicatrix naturæ (целебной силы природы).

Однако очевидно, что симптомы лихорадки являются не следствием усилий организма, направленных на выздоровление, а лишь эффектами, пропорциональными силе вызвавшей их причины. Если естественное сцепление повседневных жизненных процессов не нарушено чрезмерно, они неизбежно возвратятся к своей прежней регулярности. Если же сила возбуждения окажется достаточной для того, чтобы разрушить эти связи и подменить их новым, болезненным ритмом органической деятельности, то (если только медицинское вмешательство не станет частью причинно-следственной цепи) жизненные процессы с каждым часом будут всё более отклоняться от состояния здоровья и неизбежно завершатся гибелью индивидуума. Патологические изменения, берущие начало в питательных функциях, быстро вызывают в нервной системе такие трансформации, которые нарушают её влияние на все остальное тело. Дыхание и работа сердца становятся неритмичными вследствие расстройства симпатической

связи с тканями головного мозга; и весь этот механизм после более или менее продолжительной борьбы, механизм совершенно разлаживается и останавливается. Другим следствием бурного лихорадочного процесса является местное воспаление жизненно важных внутренних органов, которое способствует быстрому наступлению смерти; и всё же это — прямые результаты естественной реакции организма, когда ей не противодействуют терапевтические меры. При перемежающейся лихорадке данные явления развиваются несколько медленнее, но носят точно такой же характер. Процессы, вызванные болезнетворными причинами, соединяются с повседневными функциями организма, нарушают их гармонию и изменяют распределение циркулирующих жидкостей. Органы брюшной полости становятся очагами болезненного застоя; структура печени, селезенки или обоих этих органов претерпевает изменения; перикард уплотняется и содержит водяночный выпот; за этим следует общая водянка, а воспаление важных внутренних органов нередко ускоряет гибель жертвы.[172]

Если бы внутренняя сила, подобная vis medicatrix, действительно существовала, то предлагаемые ею способы исцеления, несомненно, были бы наилучшими из возможных — однако это утверждение совершенно не согласуется с фактами. Самопроизвольное прекращение лихорадки всегда протекает медленно, непредсказуемо и чревато рецидивами; оно нередко влечет за собой хронические недуги, оказывающиеся более губительными, чем первоначальное страдание. В то же время прием нескольких доз коры на ранних стадиях болезни быстро пресекает патологические процессы и, в большинстве случаев, приводит к окончательному исцелению.

> Hi motus et hæc certamina tanta
> Pulveris exigui jactu, compressa quiescunt.
> («Сии душевные волненья и столь великие битвы усмиряются и стихают, если бросить лишь малую горсть пыли».)

Обливание холодной водой при непрерывной горячке и назначение очистительных средств, предпринятые в самом начале заболевания, редко не дают столь же благотворных результатов. Они подменяют собой естественные процессы и предотвращают бред и иные тяжелые симптомы, которые, сколь бы необходимыми они ни казались для спонтанного выздоровления, неизменно влекут за собой соразмерное усиление опасности и страданий пациента. Утверждать, будто эти процессы являются нарушениями или излишествами в «целительных намерениях» природы — значит прибегать к **предвосхищению основания** (petitio principii). Но даже если допустить подобное, аргумент едва ли станет весомее; ибо

---

[172] Утолщение перикарда часто наблюдалось при вскрытии солдат, умерших от Вальхеренской лихорадки; на поздних стадиях этого заболевания обнаруживалась предрасположенность к воспалению легких, что требовало обильнейших кровопусканий. Из 150 таких пациентов, находившихся под наблюдением автора, пятнадцати потребовалось применение этого средства в течение одного только утра.

того врача сочли бы лишь жалким неумехой в своем искусстве, чьи средства лечения сопровождались бы подобным риском фатальных или прискорбных последствий.

Саму по себе эту гипотезу можно было бы счесть малозначимой; и если бы она служила лишь основой для очередного ложного физико-теологического довода, она была бы безвредна и не заслуживала бы опровержения. Однако она не только делает больного излишне уверенным в безответных силах природы, но и вводит в заблуждение практикующего врача при лечении недуга. Рабское следование за природными процессами или попытки лишь способствовать «критическим выделениям» препятствуют своевременному применению решительных и действенных средств. Руководствуйся медицина исключительно этим принципом, мир лишился бы трудов Карри, Гамильтона и Дженнера. Каждое экспериментальное исследование природы и свойств лекарств проводилось в прямом противоречии с этим правилом и в явное его нарушение. Подобно прочим умозрительным сущностям (entes rationis), порожденным пылким воображением или предложенным расчетливым обманом, сей принцип неизменно парализовал волю к действию и порабощал общественное мнение. Во всех случаях то, что не согласуется с истинной философией — **опасно**, а то, что ложно — **пагубно**. Лишь истина, сколь бы ни противоречила она текущим страстям и ни была несовместима с господствующими системами, является надежным инструментом личного счастья, будучи одновременно рычагом и маховиком всей социальной механики.

Возмущающие раздражители, вызывающие болезнь, могут наносить вред либо своей силой, либо частотой повторения. От последнего способа воздействия природа до известной степени защитила нас законом жизненной силы, который связывает остроту реакции с новизной впечатления. Существует множество раздражителей, которые при частом применении быстро теряют способность воздействовать на организм. Опиум, наперстянка, цикута и наркотические яды в целом являют собой разительные примеры действия этого закона. Редкий человек не испытает на себе сильного воздействия головокружения, тошноты, рвоты и прочих симптомов, возникающих под влиянием этого класса веществ, выкурив свою первую трубку табака; однако после весьма немногих повторений организм становится едва чувствителен к этому стимулу. Именно благодаря этому люди крепкого телосложения способны годами сопротивляться пагубному воздействию чрезмерных количеств вина; и — если перейти от мира физического к миру нравственному — именно так зрелища ужаса после недолгого привыкания перестают вызывать те реакции внутренних органов, из которых слагаются чувства отвращения, негодования и сострадания.[173]

[173] Тягостное ощущение, сопровождающее наиболее сильные эмоции и локализующееся под ложечкой, — будь оно причиной душевного впечатления, как полагает Биша, или лишь его сопутствующим проявлением, — служит мерилом его подлинности. Чисто нравственные поступки, которые должны сопутствовать определенным чувствам, могут совершаться и

Различные **заразные начала**, посредством которых распространяются болезни, демонстрируют множество весьма любопытных изменений в своем действии, обусловленных влиянием привыкания. Наиболее примечательные примеры этого можно встретить в тех лихорадочных инфекциях, которые поражают человека лишь единожды. Однако почти всякий болезнетворный яд утрачивает часть своей поражающей силы в организмах, которые ранее уже подвергались его воздействию. Врачи и сиделки, постоянно находящиеся в окружении заразной атмосферы, становятся жертвами болезней гораздо реже, чем того можно было бы ожидать, учитывая степень их риска. Подобную невосприимчивость к инфекционному влиянию обретают не только отдельные личности, но и целые народы; или, по крайней мере, они переносят натиск болезни с менее тяжкими расстройствами. Так, проказа, для борьбы с которой наши предки основали столько лечебниц, исчезла из Британии как эпидемическое заболевание, а тяжелый тиф (typhus gravior) ныне не только менее распространен, но и менее смертоносен, чем несколько столетий назад.[174]

Тот факт, что подобные исключительные случаи невосприимчивости вытекают из общего закона привыкания, а не зависят от каких-либо специфических свойств самих причин заболевания, подтверждается часто встречающимися отступлениями от общего правила. В этих случаях яд редко проявляет свою полную силу так, как это происходит при его первом воздействии. Когда человеку, уже переболевшему оспой, проводят повторную инокуляцию, эта процедура может пройти совершенно бесследно; в иных же случаях может возникнуть местное воспаление с последующим образованием более или менее выраженной пустулы. Иногда появляется несколько вторичных пустул и даже наблюдается легкая лихорадка; а в редких, исключительных случаях болезнь может в той или иной мере пройти свой

тогда, когда вызвавшие их причины уже не пробуждают эмоций: ибо склонность к действию укрепляется той же самой привычкой, которая притупляет способность чувствовать.

В этом кроется физиологическое объяснение холодной, добросовестной благотворительности, которая с безразличием раздает деньги каждому просящему, не проявляя ни сочувствия, ни душевного усилия. Благородные и живые порывы, побуждающие не только к утолению нужды, но и к утешению страждущих и проистекающие из искреннего сопереживания чувствам страдальца, всегда сопровождаются упомянутыми выше органическими движениями. Отсюда проистекает полная уместность общеизвестного выражения «утроба милосердия», которое в данном контексте является отнюдь не фигурой речи.

[174] Это не следует приписывать исключительно личному иммунитету современных людей. Чистоплотность и более здоровое питание также внесли весомый вклад в ослабление злокачественности этого недуга. Существует, однако, и иная болезнь, чьи симптомы, несомненно, стали мягче по сравнению с тем, какими они были при ее первом появлении в Европе, и на которую изменения в диете и прочие подобные факторы никак не повлияли. В данном случае перемены можно объяснить лишь своего рода «закалкой» конституции, ставшей общей для всего поколения. Можно подвергнуть сомнению, не является ли излечимость этой болезни без применения ртути, которая недавно была объектом эксперимента, не является ли она следствием сниженной чувствительности животного к его специфическому (свойственному ему) яду.

полный цикл. Все эти разнообразные модификации воздействия не могут зависеть от некой неизменной причины; они должны быть следствием соответствующих различий в том отпечатке, который оставил на чувствительных тканях первый приступ болезни.

Влияние привычки неодинаково по отношению ко всем болезнетворным стимулам. В ряде случаев их сила слишком несоразмерна, чтобы допустить применение этого закона. Там, где болезнь проистекает скорее из количественных, нежели качественных нарушений стимуляции, влияние привычки проявляется двояко: ибо, воздействуя на чувствительные ткани, оно стремится **укрепить организм**, в то время как его влияние на сократительные ткани, ведет к усилению предрасположенности к недугам. Последнее следствие особенно ощутимо в слизистых оболочках: будучи часто побуждаемы к болезненному действию, они становятся склонны к расстройству функций по самым ничтожным поводам. Этим объясняется повышенная восприимчивость многих лиц к легочным катарам (флюсам), диарее и, в особенности, к воспалениям горла.

Сила импульса, возникающего вследствие воздействия определенных агентов, уничтожает жизнь столь мгновенно, что это почти исключает саму мысль о некоем промежуточном процессе. Изменения, производимые этими веществами в живых тканях, слишком тонки, чтобы разум мог постичь их — будь то в момент их совершения или по следам, оставляемым ими после смерти. Известно лишь то, что они воздействуют на самые непосредственные первопричины жизни; и пока обычное действие этих причин остается скрытым от нашего созерцания, тщетно пытаться объяснить их болезненные поражения.

Контакт концентрированной пруссовой, или синильной кислоты, со слизистой оболочкой влечет за собой мгновенную смерть в самом строгом смысле этого слова. Погружение в атмосферу углекислого газа производит тот же эффект с почти такой же быстротой. Табачное масло и масло горького миндаля прерывают относительную жизнь после нескольких конвульсий; через эту временную остановку функций головного мозга они пресекают функции дыхания и, таким образом, кладут окончательный предел всей совокупности жизненных сил.

Известно также, что заражение чумой или сыпным тифом способно уничтожить жизнь своим первым же натиском, без проявления промежуточных признаков болезни; однако подавляющее большинство болезнетворных раздражителей оказываются фатальными лишь вследствие тех чрезмерных реакций, которые они возбуждают в организме.

Некоторые крайне агрессивные воздействия, такие как прижигание раскаленным железом или применение наиболее концентрированных едких ядов, вызывают мгновенную смерть той части тела, к которой они приложены. При контакте с жизненно важным органом они могут привести к смерти, парализуя его функции; однако чаще гибель наступает в результате бурной реакции, возникающей

в удаленных органах вследствие омертвения первоначально пораженного участка. Общими последствиями таких поражений являются воспаление и лихорадка.

Если смерть органа не следует за воздействием ядовитого вещества немедленно, за ним наблюдаются все эффекты чрезмерного раздражения: воспаление питающей паренхимы; судороги в мышечных тканях; усиленная секреция слизистых и серозных оболочек. Все эти явления наблюдаются воедино в том случае, когда в желудок попадает едкий яд. Жар и боль в области этого органа указывают на первое, спазматическая рвота — на второе, а обилие извергаемых жидкостей указывает на третье из этих состояний. Когда столь важные внутренние органы подвергаются подобному возбуждению, за этим следуют иные симптомы, обусловленные симпатическим влиянием пораженной части на отдаленные органы. К таковым относятся мышечный тремор и судороги в конечностях, которые столь часто возникают при проглатывании ядов.

Некоторые раздражители направляют свою энергию преимущественно на определенные ткани или органы, воздействуя на общее состояние организма лишь вторично. Ртуть специфическим образом воздействует на лимфатическую и железистую системы; шпанская мушка — на почки и мочевыделительную систему; свинец — на мышцы (в особенности на мышечную оболочку кишечника); а наркотические яды, наряду с летучими раздражителями (от которых они отличаются главным образом силой и концентрацией), оказывают основное влияние на нервную ткань.

Последствия воздействия менее активных болезнетворных стимулов (а именно тех, что действуют путем многократных повторных впечатлений) поддаются определению с большим трудом, за исключением их общих результатов; отсюда проистекает сложность точного установления причин многих недугов, вызванных их воздействием. Подагру и каменную болезнь приписывали множеству противоречивых причин; **происхождение же рака остается совершенно неизвестным**. Прямое влияние употребления спиртных напитков на печень принадлежит к числу немногих достоверно установленных фактов подобного рода.

Влияние **недостаточного возбуждения** оценить гораздо труднее. Повышенная активность органов, проистекающая из накопления жизненной силы, в значительной степени восполняет нехватку стимула, реагируя на менее интенсивное побуждение. В целом можно предположить, что дефицит стимуляции производит эффект болезненно повышенной возбудимости. Однако некоторые органы переносят это состояние лучше других. Когда наступает жизненный период, требующий развития определенных внутренних органов, но при этом отсутствуют стимулы, должные привести их в состояние активного функционирования, весь организм расстраивается вследствие нарушения органического равновесия; но, как правило, лишение стимула переносится организмом гораздо легче, чем противоположная крайность — чрезмерное раздражение.

Исследование двух великих источников нерегулярной стимуляции, воздействию которых подвержено человеческое существо (принимаемая пища и окружающая атмосфера), не принесло вдумчивому исследователю практических результатов, соразмерных их значению для жизнедеятельности; при этом мнения и предрассудки значительно умножили естественные трудности, сопутствующие изучению этого вопроса.

Влияние пищи на организм чрезвычайно обширно. Ежедневное повторение этого стимула делает отклонения от здоровой нормы источником частого беспокойства. Питание воздействует на организм не только через количество и качество соков, извлекаемых в процессе пищеварения, но и благодаря тому импульсу, который получает желудок, выступая в роли простого раздражителя, а также посредством тех впечатлений, которые сей орган, являясь главным средоточием симпатии, транслирует на всё телесное устройство. В состояниях утомления и истощения чувства дурноты и беспокойства немедленно устраняются приемом пищи, стихая едва ли не в момент проглатывания первых кусков — еще до того, как в циркулирующие жидкости может поступить какое-либо пополнение. Стимулирующая сила животной пищи многократно превосходит таковую у растительного рациона; и именно этому свойству, а не какой-либо исключительности продуктов её переваривания, следует приписывать её живительную мощь и тот особый нрав, который она сообщает животным, питающимся ею исключительно.

Именно ввиду этого свойства запрет на употребление животной пищи был принят в качестве **религиозного предписания**: считалось, что слабое возбуждающее действие растительной диеты служит средством для усмирения страстей вкупе с ослаблением физической крепости организма. К сожалению, однако, те самые причины, что ослабляют ответную реакцию, одновременно повышают подвижность чувствительных тканей и усиливают склонность к воображаемым ассоциациям. Вследствие этого идеи вступают в болезненную связь, порождая беспорядочные и капризные желания, которые приходят на смену влечениям, свойственным самой физической природе человека; своей причудливостью они словно мстят за насилие, совершенное над подавленным естеством.[175]

[175] «Но это была не единственная цель, которую преследовали основатели орденов: в чем же, в самом деле, заключалась их задача? В том, чтобы подчинить игу собрание людей в полном расцвете сил, которых уединение и однообразие жизни постоянно возвращали к одним и тем же впечатлениям, заставляя подолгу размышлять о малейших обстоятельствах своего бытия; людей, которым созерцательная медитация и незнание мира, беспрестанно рисуя химерические картины того, что они утратили, неизбежно должны были внушать самые причудливые идеи и самые неистовые наклонности. Надлежало подчинить этих деградировавших существ законам еще более абсурдным, чем они сами — законам, которые нарушали и попирали все права и чувства человеческой природы. Более того: нужно было, по возможности, заставить их одобрять и лелеять само варварство этих законов». — Кабанис.

Всё, что не способно к разложению под живым воздействием желудка, может рассматриваться как яд, поскольку оно неизбежно вызывает расстройство функций кишечного тракта, которое, будучи чрезмерным, способно привести к смерти.

Обратное утверждение, однако, не вполне справедливо: существует множество веществ, обладающих крайне едкими и раздражающими свойствами, которые, тем не менее, вполне поддаются процессу пищеварения. Почти все растительные яды в их естественном состоянии встречаются в соединении с сахаром или растительной слизью. Это обстоятельство лишь увеличивает их опасность, создавая соблазн для вкуса детей и невежественных людей. Этот факт, наряду со многими другими, служит **опровержением доктрины целевых причин**, которая находит столь частое применение, что успела даже проникнуть в обыденную речь,[176] нанося тем самым огромный ущерб философии и истине. Если бы принцип целеполагания распространялся на все мельчайшие подробности, неизбежно вытекающие из общих законов материи, то из этого следовало бы, что в природе существует некое причудливое сочетание изощренного ума и злонамеренности, раз в одном и том же веществе она соединяет качества, столь явно рассчитанные на то, чтобы привести к роковым последствиям.

Поскольку неудобоваримость является мерилом вредности продукта, это последнее свойство, очевидно, не является внутренне присущим тем веществам, коим оно приписывается, но зависит от состояния самого организма. Нередко случается так, что уже после принятия пищи, когда процесс пищеварения начался, внезапное потрясение — к примеру, получение дурных вестей — мгновенно расстраивает чувствительность желудка.[177] В подобных случаях пища, утратив гармоничную связь с живой силой кишечного тракта, превращается в источник болезненного раздражения; возникают яростные спазматические позывы к извержению её из системы, что сопровождается сильной болью и дурнотой. Подобные приступы отнюдь не редкость среди людей, ведущих малоподвижный образ жизни или обладающих слабым пищеварением.

Следовательно, свойства, которые обычно приписываются различным продуктам питания, следует считать верными лишь в самом общем смысле и допускающими множество исключений. Почти каждый человек в зрелом возрасте составил для себя внутренний перечень веществ, которые, будучи в целом полезными, лично для него служат источником неудобств и болезненного состояния. Жирное мясо, являющееся здоровой и питательной пищей, когда желудок способен справиться с его усвоением, вызывает изжогу, дурноту и рвоту у лиц, чьи органы пищеварения слабы и раздражительны.

---

[176] Идея разумного замысла настолько созвучна нашему привычному образу мыслей, что в физиологических и анатомических описаниях почти невозможно избежать употребления выражений, подразумевающих влияние целевых причин.

[177] Кадоган, «Трактат о подагре».

Присутствие пищи в желудке побуждает этот орган к активной деятельности; у людей же слабого телосложения избыточное количество еды или её чрезмерная стимулирующая сила вызывают заметное расстройство в системе кровообращения, сопровождающееся приливами крови к лицу и головной болью. При лихорадочных заболеваниях употребление пищи, требующей значительных усилий пищеварительной системы, особенно вредно — как из-за её прямого возбуждающего действия, так и по причине несоответствия силам ослабленного желудка. Непрестанное мучение больных требованиями принять пищу относится к числу самых нелепых и пагубных предрассудков, бытующих в повседневной жизни.

Чем острее характер болезни, тем проще должна быть предлагаемая пища и тем меньше её количество. В целом, твердые вещества, ввиду сопротивления, которое они оказывают жизненным силам, причиняют желудку больного великое страдание; в то же время те же самые продукты, растворенные в воде и в значительной степени разбавленные, могут быть употреблены с пользою.

Когда неистовство лихорадки утихает, не исключено, что малые количества легкой пищи окажутся благотворными, восстанавливая связь повседневных привычек, которая была прервана непривычным воздержанием, необходимым при первом приступе. Самое бдительное внимание как к количеству, так и к качеству питания в этих обстоятельствах является долгом и врача, и близких; ибо от неблагоразумного поведения в сем вопросе погибает, пожалуй, столько же людей, сколько спасается благодаря чрезвычайному искусству лечащего врача.

Пищеварительные способности здорового человеческого желудка допускают большую широту. Некоторые народы живут исключительно растительной пищей, другие — мясом четвероногих, иные же — рыбой. Однако каждая подобная исключительная привычка сопровождается некоторого рода особенным изменением в устройстве организма;[178] смешанное же питание, состоящее из самых разнообразных продуктов, кое в обычае у **цивилизованных народов Европы**, по-видимому, способствует наиболее полному развитию как животных, так и интеллектуальных сил.

Основные заблуждения, коим подвержено человечество в вопросах диеты, следует искать скорее в **количестве**, нежели в качестве принимаемой пищи. Поскольку наполнение желудка сопряжено с удовлетворением аппетита, а пищеварительные способности организма превышают те, что строго необходимы для поддержания жизни, в живом существе живет постоянная и неизбежная

[178] «Легко заметить, что даже в Европе народы, питающиеся по большей части мясом, склонны к большей свирепости характера, нежели те, чей рацион состоит преимущественно из растительной пищи. То же самое относится и к темпераменту, и к проистекающим из него болезням. Элефантиаз — болезнь, почти не известная древним скифам, питавшимся молоком, — была столь распространена в Александрии лишь потому, что жители этого города привыкли употреблять в пищу различные виды солонины и даже мясо ослов».

- **Корай**, Примечания к Трактату Гиппократа «О воздухе, водах и местностях» и др.

склонность к плеторическому накоплению (избыточности); и лишь немногие из тех, кто обладает средствами для услаждения чувств, имеют мужество ей противостоять. Если классифицировать всё то огромное разнообразие веществ, что служат удовольствиям стола, обнаружится, что они содержат лишь несколько различных первоначал, весьма близких друг другу по своим химическим свойствам. Фибрин, желатин, слизь, фекула (крахмал), масло, сахар и кислоты составляют основную массу веществ, обычно употребляемых в пищу; и все они дают результаты, которые, за самыми незначительными исключениями, чрезвычайно сходны между собой. Пряности и приправы, коими они сдабриваются, редко принимаются в количествах, достаточных для того, чтобы произвести какое-либо постоянное изменение в организме. Вещества, усваиваемые медленно и с трудом, причиняют столь ощутимое беспокойство, что большинство людей избегает их постоянного употребления. Точно так же и продукты, чья вредоносность очевидна, редко используются в пищу, за исключением тех случаев, когда человека принуждает к тому неодолимая нужда.

Губительные последствия излишеств в еде, таким образом, следует по справедливости приписывать скорее чрезмерности, которую они провоцируют, нежели специфическим свойствам отдельных продуктов питания. Чувственные впечатления, которые эти объекты производят на желудок — хотя они и не осознаются нами как непосредственные ощущения — оказывают на этот орган такое же действие, как и на вкус. Они побуждают его к непрерывной деятельности посредством контрастного раздражения, согласно тому закону, по которому живая ткань вновь обретает чувствительность ко второму раздражителю после того, как была истощена действием первого. Именно на достижение этой цели направлены все изощренные ухищрения кулинарии. Кислое здесь чередуется со сладким и пряным; даже вещества с неприятным вкусом допускаются ради силы производимого ими впечатления, дабы подстегнуть пресыщенный аппетит и продлить удовольствие от трапезы.

Утверждение о том, что смешение множества видов пищи является причиной расстройства пищеварения, — тезис довольно древний;[179] однако, подобно многим другим старинным догмам, их древность еще не служит порукой его истинности. Общее сходство свойств всех съедобных веществ препятствует сколько-нибудь значительным химическим превращениям, способным нанести вред пищеварению. Вино и уксус, это правда, делают животную пищу более жесткой, однако в то же время они побуждают живые ткани к большей активности. На самом же деле неумеренность в употреблении одного-единственного блюда влечет за собой все те

[179] ...Ибо поверь, как вредит человеку
Многообразье еды! Вспомни ту пищу, какая
Простой была для тебя; но едва лишь жаркое смешаешь
С вареным, с дроздами — ракушки, — сладость в желчь превратится,
И в желудке поднимет мятеж тягучая влага.
— Гораций, «Сатиры», II. 2.

же неприятные последствия чрезмерного пресыщения, что и разнообразие яств. Французы, чья кухня отличается необычайной изысканностью и которые пробуют всё, что подается к столу, но при этом по привычке остаются умеренными и даже воздержанными,[180] живут долго и сохраняют неугасающую бодрость духа и крепость тела до самых последних дней своей жизни.

Но хотя обычные продукты питания почти все одинаково полезны — при условии, что они перевариваются и ими не злоупотребляют, — существует значительная разница в том, как они воздействуют на слабый или болезненный желудок. Когда деятельность этого органа нарушена, необходимо выбирать исключительно те вещества, которые усваиваются легче всего; в общих чертах они располагаются в следующем порядке: мясо взрослых животных, мясо молодых четвероногих, птица, рыба, яйца, молоко, злаки, бобовые, мучнистые корнеплоды, вареные листовые овощи и сырые огородные продукты. Если же обратиться к первоосновам, то этот ряд выглядит так: фибрин, альбумин, желатин, растительная клейковина, крахмал, сахар, камедь, животные и растительные жирные масла и так далее. Однако в отношении этих различных веществ желудок каждого отдельного человека проявляет крайнюю неопределенность и капризность; посему личный опыт является гораздо более надежным руководителем в их употреблении, нежели общие правила.[181]

Количество пищи, необходимое для поддержания жизни, степень стимуляции, которую она может дать, и уровень сопротивления, которое она может оказать процессу пищеварения без вреда для организма, варьируются в зависимости от климата и привычек человека. В холодных краях требуется больше пищи, чтобы живое существо могло противостоять суровости климата, и для выработки тепла необходима большая степень стимуляции, чем та, что была бы допустима в экваториальных широтах; в то время как обитатели теплых климатов инстинктивно склоняются к выбору растительной пищи, поскольку она обладает меньшим стимулирующим действием, а ее переваривание сопровождается меньшим выделением животной теплоты. Для людей, находящихся в подобных условиях, воздержание от хмельных напитков оказывается добродетелью необременительной; и законодатели предписывали его скорее как физическое, нежели моральное совершенство.[182] **Религия** в ее внешних проявлениях имеет свои географические пределы, и правила обрядов не могут быть универсальными.

---

[180] Одной трапезы в день, притом отнюдь не обильной, достаточно для большинства французов, если не считать утренней чашки кофе. В тех семьях, где мясо подают дважды в сутки, едят не столь плотно, как жители наших островов [Британских].

[181] Полезность того или иного вещества для здоровья обусловлена не только его элементарным составом; плотность сцепления его частиц чрезвычайно влияет на его растворимость. Многие продукты питания, трудноперевариваемые в цельном или сыром виде, становятся полезной и легкой пищей благодаря измельчению и кулинарной обработке.

[182] Итальянец, как бы порочен он ни был, редко променяет роскошь ледяной воды на спиртные напитки.

Пифагор и Магомет, если бы годы их расцвета пришлись на Скандинавию, не стали бы ни проклинать вино, ни запрещать забой скота. Величайшую ошибку совершили те, кто, принеся христианство в Европу, предписал подражать аскезе восточных пустынников. Принуждая жителей Севера соблюдать посты, не соответствующие их положению и опасные для их здоровья, они неизбежно породили лицемерие и привычку к тайному потворству своим слабостям; тем самым они заложили основу для казуистики, самым пагубным образом влияющей на общественную нравственность. И вовсе не дух излишества, но властное требование инстинктивного аппетита побуждало искать разрешения на употребление дичи (пищи в высшей степени стимулирующей) на постных кухнях религиозных общин.

Чем ближе мы продвигаемся к полюсу, тем сильнее становится влияние климата на рацион питания. Гнилая рыба, составляющая изысканное лакомство для лапландца, оскорбила бы желудок в той же мере, в какой она оскорбляет чувства его более южных соседей. Равным образом и обильное употребление дистиллированных спиртов в высоких широтах не влечет за собой тех же пагубных последствий, что в регионах с умеренным климатом; здесь оно, по-видимому, скорее поддерживает силу жизненной деятельности, нежели наносит вред желудку и печени.

В межтропических же широтах мощный отток жидкостей к поверхности тела не позволяет внутренним органам становиться центрами прилива крови, достаточно энергичными для нужд жизнеобеспечения, без помощи значительной стимуляции; посему жители этих мест испытывают инстинктивную потребность в пряностях и острых приправах. Превышение атмосферным жаром температуры животного тела подрывает жизненные силы столь же значительно, как и противоположная крайность в полярных областях. Привычная томность, царящая в этих странах, кажется, требует — или, по крайней мере, допускает — частое употребление крепких спиртных напитков, которые принимаются в сильно разбавленном виде малыми, но регулярными дозами.

Животные в целом нуждаются в пище через интервалы времени, краткость которых пропорциональна активности их функций. Змеи и яйцекладущие четвероногие способны выносить голод в течение невообразимо долгих периодов. Так, удав (Boa-constrictor), доставленный из Индии с посольством лорда Амхерста, принимал пищу лишь однажды за несколько недель; а друг автора этих строк знал человека, который в течение нескольких лет содержал в своем винном погребе жабу; она, судя по всему, ни разу не покидала того места, где впервые обосновалась, и, по всей вероятности, питалась исключительно теми немногими пауками и прочими насекомыми, которым случалось оказаться в пределах ее досягаемости.

Усиленные физические нагрузки требуют более обильного и стимулирующего питания, нежели то, что необходимо для поддержания жизни существа, ведущего малоподвижный образ жизни. Однако было бы ошибкой полагать, что последствия

излишеств устраняются при помощи больших телесных усилий без вреда для здоровья. В особенности охотники считают себя вправе на более глубокие возлияния, чем их изнеженные соседи; и в течение короткого времени они действительно переносят их с кажущейся безнаказанностью. Но чрезмерное напряжение сил, вызванное подобным чередованием тяжелого труда и избыточного пресыщения, подрывает основы организма и редко ведет к здоровой старости.

Человек не может долго существовать, принимая пищу реже одного раза в двадцать четыре часа. Впрочем, смерть от истощения наступает не мгновенно. Существуют достоверно подтвержденные случаи, когда люди выдерживали пост в течение десяти или четырнадцати дней без фатальных последствий. Различия, наблюдаемые в этом отношении у разных индивидов, должны в значительной степени зависеть от того, в каком состоянии — тучном или худощавом — они находились к началу воздержания. Нечто также следует отнести к особенностям конституции; ибо смерть чаще всего наступает скорее от недостатка стимуляции, нежели от отсутствия в организме питательных веществ, необходимых для поддержания жизненно важных функций.

Медицинские и физиологические труды изобилуют историями о невероятно длительном воздержании от пищи. Галлер приводит примеры людей, которые якобы постились месяцами и даже годами; тем самым он, пожалуй, скорее доказывает собственное трудолюбие и обширную эрудицию, нежели демонстрирует силу и здравомыслие своего суждения. Многие подобные истории, несомненно, обязаны своим появлением тому легковерию и любви к чудесному, что сопутствуют невежеству и суевериям, — ведь чаще всего они встречаются у древнейших авторов. Однако еще большее их число, вероятно, порождено либо лживостью самих повествователей, либо прискорбным обманом со стороны тех, кто выдавал себя за подобных «постников».

Недавний случай с «постящейся женщиной из Татбери» принадлежал именно к этому последнему роду. Приковав к себе внимание всей нации заявлением о многомесячном воздержании от еды, она в конечном итоге и с определенным трудом была разоблачена как самозванка. Сумев поначалу обмануть бдительность лиц, назначенных наблюдать за ее поведением, она принимала искателей чудес со всех концов Англии и извлекала обильные средства к существованию из самого лишь притворства, будто более не нуждается в пище. Наконец, однако, разумный скептицизм просвещенного человека[183] привел ко второму, более строгому

[183] Если автор не ошибается, это произошло главным образом благодаря энергичности и находчивости его друга, **мистера Лоуренса** (одно имя которого уже служит ему лучшей похвалой) — одного из самых предприимчивых физиологов и просвещенных хирургов нынешнего поколения.

расследованию; обман раскрылся вследствие быстрого истощения несчастной женщины — на десятый день испытания.[184]

В какой степени все подобные удивительные происшествия следует считать недостойными доверия, при нынешнем состоянии физиологии установить невозможно. Аналогия с животными, впадающими в зимнюю спячку, по-видимому, подтверждает абстрактную возможность подобных случаев; примечательно также, что, согласно Галлеру, те, кто предавался длительному воздержанию от пищи, обыкновенно встречались среди женщин, страдающих истерическими, летаргическими или душевными недугами, при которых деятельность мозга была болезненной и нерегулярной. Еще один важный факт заключается в том, что эти пациенты, как утверждается, по большей части обильно употребляли воду; и нет никаких оснований полагать, что желудок во всех случаях абсолютно неспособен разлагать эту жидкость и извлекать из нее некоторую часть питательных веществ.

Из различных веществ, принимаемых человеческим организмом, те, что употребляются в жидком виде, отнюдь не являются наиболее нейтральными; их применение не только меньше всего соотносится с естественными потребностями, но они также являются наиболее сложными и искусственными по своему характеру. Однако для целей простого разбавления воду можно считать универсальным напитком, так как она служит основой любого состава, используемого для утоления жажды. Вода редко употребляется в состоянии идеальной чистоты; напротив, создается впечатление, что она становится более благотворной для здоровья благодаря обильному насыщению воздухом. В колодезной воде часто содержатся небольшие примеси серной кислоты и ничтожные количества землистых солей; в иных случаях в ней присутствуют известь и железо, удерживаемые во взвешенном состоянии угольной кислотой, что, однако, не делает её непригодной для питья и не дает оснований считать её исключительно лечебным средством. Подобные легкие

---

[184] Прообразом этой леди была Ева Флейген, голландка, которой на протяжении четырнадцати лет (с 1597 по 1611 год) удавалось вводить мир в заблуждение, притворяясь, будто она не принимает никакой пищи, кроме аромата цветов. Священнослужитель и магистраты города Мёрс испытывали её тринадцать дней подряд, так и не обнаружив обмана. Её история была переведена с голландского в 1611 году. Над её портретом в голландском издании помещены следующие стихи:
Meurne hæc quem cernis, decies ter sexque peregit
Annos, bis septem prorsus non vescitur annis,
Nec potat, sic sola sedit, sic pallida vitam
Ducit, et exigui se oblectat floribus horti.
Тридцать шесть лет дева из Мёрса прожила,
Из них четырнадцать ни крохи не брала.
Бледна, слаба, в уединении сидит,
И лишь на сад свой с кротостью глядит.
- «Апология, или Провозглашение могущества и провидения Божия», Джордж Хэкуилл, фолиант 1635 г., с. 440.

примеси не вредны; и они не являются, вопреки расхожему мнению, причинами образования песка и камней.

Вода проточных ручьев обыкновенно чище колодезной, и по этой причине она кажется более пресной и безвкусной. Однако, когда такие потоки протекают через низменные болотистые местности, вода растворяет в себе гнилостные животные и растительные вещества, содержащиеся в почве, становясь таким образом частой причиной диареи и дизентерии.[185]

Вода, получаемая из талого льда и снега, отличается замечательной чистотой, но она не содержит в себе растворенного воздуха, а потому тяжела и обременительна для желудка. На нее несправедливо возлагали вину за возникновение тех золотушных опуханий шейных желез, коим подвержены жители альпийских долин. Однако сие заболевание не менее часто встречается на Суматре, где никогда не видели ни льда, ни снега, тогда как в Тибете, где реки питаются исключительно таянием горных снегов, оно совершенно неизвестно.

Среди напитков, искусственно приготовляемых для нужд цивилизованного человека, наиболее простыми являются настои ароматных растений; они утоляют жажду, мягко стимулируя зев, а также благодаря своему действию в качестве разжижающих средств. Сахаристые и мучнистые отвары утоляют одновременно и голод, и жажду. Ферментированные напитки также обычно содержат некоторое количество неразложившегося сахара и, следовательно, обладают питательными свойствами; однако их главным качеством является способность вызывать опьянение. Пиво, кроме того, содержит настой горького наркотического начала хмеля, что в значительной мере усугубляет вред, проистекающий от его чрезмерного употребления. Молодое пиво содержит значительную долю неразложившегося сахара и крахмалистых веществ (fæcula); со временем всё это превращается либо в спирт, либо в уксус. В крепком пиве преобладает винное (спиртовое) брожение; в более слабых сортах превалирует уксусное; однако почти всё старое пиво является «жёстким» — то есть в его составе присутствует определенное количество уксуса. По этой причине оно вредно для слабых желудков, в которых из-за несовершенства пищеварительных функций постоянно присутствует кислота.[186]

---

[185] Вода Сены известна тем, что оказывает сильное действие на приезжих; тем не менее Пармантье сообщает, что она чище даже бристольской воды. По его сведениям, в одной пинте содержится всего пять гран посторонних примесей, главным образом селенита, известковой земли, азотнокислых и поваренных солей. Но поскольку вода, взятая выше и ниже города Парижа, не выявила никаких различий, поддающихся определению, становится очевидным, что химические опыты не могут обнаружить животные и растительные материи, когда они содержатся во взвешенном состоянии в ничтожно малых количествах.

[186] Добавление нескольких гран карбоната калия в определенной степени исправляет вредные свойства и неприятный вкус жёсткого и кислого пива.

Постоянное употребление пива винят в образовании камней. Если верить истории, столетие или два назад от этого недуга умирало больше выдающихся мужей, чем гибнет ныне во всех слоях общества; этот факт приписывают более обильному употреблению ими солодовых напитков. Данное различие, если оно существует, найдет лучшее объяснение в превосходстве и рациональности современных привычек, а также бóльшей умеренности в употреблении любых видов ферментированных напитков.[187]

Вина значительно различаются по своему составу. В жарком климате виноград вызревает полнее, отчего вина выходят сладкими и густыми; они более питательны. Испанцы и португальцы, однако, доводят брожение до такой степени, что сахар в их сочном винограде разлагается почти полностью; такие вина отличаются прежде всего своей крепостью. Рейнские вина крепки, но в них избыток кислоты. Французские же вина придерживаются золотой середины и потому считаются наиболее благотворными для здоровья. Следовательно, законодатели не заботятся о народном здравии, облагая эти вина столь тяжкими пошлинами, что те становятся недоступны для широкого употребления. Впрочем, не малейшим из зол затяжных и неестественных войн является то, что они влекут за собой расходы, перед которыми любые соображения — как нравственные, так и физические — отступают на второй план и становятся второстепенными, подчиненными фискальным задачам и выжиманию последнего возможного шиллинга в государственную казну.

Крепкие спиртные напитки, как справедливо отмечал Галлер, следует почитать скорее ядом, нежели питьем, ибо они почти лишены водной составляющей, которая, вне всякого сомнения, составляет саму суть утоления жажды.[188] Злоупотребление неразбавленным спиртом быстро притупляет чувствительность желудка и (помимо пагубного опьяняющего действия) наносит вред, вызывая уплотнение тканей желудка и печени, что в конечном итоге ведет к их органическому разрушению. В царствование Георга II было подсчитано, что число ежегодных крещений в пределах

[187] Галлер превозносит пиво как средство, предотвращающее каменную болезнь, и цитирует Киприана, утверждавшего, что среди 14 000 человек, оперированных по поводу сего недуга, не было ни одного любителя пива. Бутилированное пиво благодаря содержащейся в нем углекислоте, возможно, действует как растворитель на некоторые виды камней; однако же несвежее, закисшее пиво, нарушая тонус желудка, может быть справедливо заподозрено в содействии развитию болезни. Неопределенность, царящая в этих вопросах, едва ли делает честь как врачебному искусству, так и тем, кто его практикует.
«Воистину, столь великое разногласие ученейших мужей в столь важном деле заставит усомниться даже тех, кто полагает, будто обладает неким достоверным знанием».
- Цицерон. «О природе богов»

[188] Слово intoxication (опьянение) этимологически означает «отравление»; было бы более уместно относить его исключительно к безумию, вызываемому дистиллированными спиртами. Напротив, drunkenness (пьянство) подразумевает пресыщение влагой и точнее описывает неумеренное поглощение менее крепких ферментированных напитков.

охвата «бюллетеней смертности» сократилось с 20 000 до 14 000 — таков был урон, нанесенный населению этим губительным зельем.[189]

Чай и кофе относятся к возбуждающим напиткам; они прогоняют сон у людей, чей организм не привык к их употреблению. Кофе содержит в себе невыгоревшую крахмалистую субстанцию и потому обладает некоторой питательностью; чай же является чистым стимулятором и не дает иного питания, кроме того, что содержится в сахаре и молоке, с которыми его принято пить. И чай, и кофе не раз становились мишенью для суровых нападок; однако, по всей видимости, они в большей степени способствовали **оздоровлению национального организма**, сдерживая пагубную склонность к пьянству, нежели наносили ему вред, усиливая своим специфическим воздействием раздражительность чувствительных волокон.

Что касается абсолютного количества пищи, необходимого для поддержания жизни, то здесь господствуют различные мнения. В нашей стране среднее количество потребляемого составляет от семи до восьми фунтов в сутки. Чейн полагал здоровой нормой лишь четыре с половиной фунта. Однако при оценке объема пищи следует в первую очередь определить её питательные свойства, так как для поддержания существования требуется меньшее количество животной пищи, нежели растительной. Корнаро довольствовался двадцатью шестью унциями в день, которые состояли из хлеба, яиц и мучного отвара.

В вопросе количества питья допускается большая свобода, поскольку потребность в нем регулируется переменчивой деятельностью секреторных органов. Среднее соотношение питья и твердой пищи оценивалось по-разному. Санкториус определял его как десять к трем; Чейн — как два к одному; а Корнаро принимал лишь четырнадцать унций жидкости на двенадцать унций твердого вещества. Впрочем, цифры едва ли могут служить в этом вопросе универсальным мерилом. В теплую погоду питья требуется больше, чем в прохладную; в сухой атмосфере — больше, чем во влажной. При физических нагрузках организму требуется значительно больше жидкости, нежели в состоянии покоя; точно так же её потребление возрастает при возбуждающей диете в сравнении с диетой простой. Допустимы весьма широкие пределы как в пище, так и в питье, не влекущие за собой немедленной угрозы здоровью; однако именно умеренная и воздержанная диета наиболее благотворно влияет на развитие способностей — как умственных, так и телесных.

В цивилизованном обществе желудок является главными вратами для болезней. Человечество можно разделить на две части: на тех, кому недостает необходимого для поддержания жизни, и на тех, кто имеет чрезмерно много. Оба класса несут кару за несоответствие условий их существования физическим потребностям; однако

[189] В период с 1720 по 1730 год среднее число крещений составляло 18 203. В период с 1740 по 1750 год оно не превышало 14 457.

- Блэк, «Сравнительный обзор».

при оценке их страданий следует всегда помнить, что **бедствия богатых — добровольны**. Даже среди людей среднего сословия большинство живет слишком сытно. Греху чревоугодия присуща некая благопристойная степенность, которая отлично согласуется с лицемерием профессиональной среды; при этом удовольствия стола служат своего рода компенсацией за отказ от иных излишеств, кои считаются несовместимыми с почтенным обликом. В качестве общего правила для этого, как и для всех прочих человеческих вожделений и нужд, можно принять изречение parcâ quod satis est manu («бери лишь необходимое скупой рукой»). Ибо пресыщение, как моральное, так и физическое, есть могила удовольствия; оно поглощает радости настоящего и омрачает своим сумраком будущее.

Сластолюбец
Своим же высшим разумом обманут;
В погоне за восторгом он теряет радость.
Пресытившись дарами естества, тысячи людей взыскуют
Блюд, чей природный вкус истерзан,
И в безумном разнообразии тщетно тщатся
Разжечь — вопреки благоразумию — угасший аппетит.
Ради ль услады это? Познай же вкус более верный
И знай: истинная роскошь — в умеренности.[190]

Природа **атмосферных влияний** — этого второго великого источника нерегулярного возбуждения — изучена далеко не до конца. Было убедительно доказано, что содержание кислорода остается почти неизменным во всех областях: как в переполненном театре, так и на самой бесплодной горной вершине. Следовательно, болезненные состояния, возникающие под воздействием атмосферы, не имеют прямой связи с функцией дыхания. Куда более мощное воздействие оказывает барометрическое состояние воздуха; однако крайне сложно отделить влияние колебаний упругости атмосферы на жизнедеятельность организма от тех эффектов, что проистекают из сопутствующих изменений влажности и сухости. Барометрическое давление окружающего воздуха необходимо для поддержания равновесия между твердыми и жидкими частями тела; оно регулирует расширение различных газообразных и водных составляющих организма ничуть не меньше, чем в случаях со схожим образом устроенными веществами неорганического мира. В полной мере действие этой причины проявляется при использовании **медицинских банок**, которые вызывают прилив жидкостей к тому участку тела, над которым их наложение создает искусственно разреженную атмосферу. Мало найдется людей столь крепкого и закаленного сложения, чье самочувствие оставалось бы неподвластным влиянию этого фактора. Когда воздух в значительной степени утрачивает свою упругость, тело лишается определенной части своих сил: «отрадное рвение и бодрость духа» исчезают, им на смену приходят общая апатия, стеснение дыхания и легкая головная боль —

[190] Джон Армстронг, «Искусство сохранения здоровья», кн. II, ст. 151.

особенно у лиц с более чувствительным и раздражительным сложением. Напротив, повышение упругости атмосферы вызывает подъем реактивных сил организма, обостряет мысль, чувства и волю к действию, сообщая жизненным функциям активность и наделяя само существование особым очарованием, не зависящим от внешних обстоятельств и не связанным с каким-либо осознанным мотивом.

Постоянный избыток влаги в климате порождает соответствующее разжижение соков организма, что формирует флегматический темперамент и обуславливает вялость в деятельности живых плотных тканей. Противоположные климатические условия приводят к обратным результатам в животном организме. Однако более вероятно, что значительная часть этих эффектов проистекает из определенных химических изменений, которые различная степень влажности вызывает на поверхности земли, чем допускать их прямое воздействие на человеческую конституцию.

Резкие колебания влажности и засухи оказывают пагубное влияние на человеческий организм, однако последствия их более заметны в состоянии недуга, нежели в добром здравии; вероятно, они зависят прежде всего от температурных перепадов, обусловленных большей или меньшей интенсивностью испарения.

Влияние температуры проявлено отчетливее, чем воздействие любого иного фактора окружающей среды. Ровный и постоянный климат наилучшим образом способствует развитию организма и сил животных существ. В жарких широтах жизненные процессы протекают стремительнее и, как следствие, быстрее приводят к истощению. **Страсти здесь неистовы, но скоротечны**;[191] мышечная же система, развитая непропорционально чувствительным тканям, не приспособлена к великим или продолжительным усилиям и не служит достаточным противовесом порывам чувств. В крайне холодных климатах вся энергия жизненной силы расходуется на поддержание температуры. Жизненные силы сосредоточены на функциях питания, а соответствующие органы обладают лишь умеренной чувствительностью. Страсти слабы, развитие организма происходит в более позднем возрасте, а само живое существо отличается меньшим ростом.

Внезапные и резкие перепады температуры вызывают болезнь, нарушая равновесие функций; в особенности это проявляется, когда воздействию подвергаются лишь отдельные части тела. Струя холодного воздуха из щели или замочной скважины, понижая температуру участка, на который она падает, настолько повышает его чувствительность, что при возвращении к привычной

[191] «В Испании, к примеру, любовь — это истинная лихорадка, безумие, которое зачастую прекращается лишь вместе с жизнью. В начале сего столетия, — пишет аббат Ришар („История воздуха“), — в этой стране была известна особая секта влюбленных по званию и положению, коя, быть может, существует и поныне. Их именовали embevecidas (опьяненные любовью), и им дозволялось открыто выказывать свои восторженные чувства».
Корай, издание Гиппократа.

температуре воспаление становится неизбежным следствием. Таково обычное происхождение катаров и ревматизмов.

Охлаждение ног, особенно вызванное испарением влаги, влечет за собой сочувственное поражение легких (в особенности если эти органы слабы) и тем самым закладывает основу для чахотки и других легочных заболеваний.

Привычное воздействие очень высоких температур порождает многие эффекты, свойственные жаркому климату. У знатных и состоятельных русских женщин наблюдается такое же преждевременное развитие организма, как и у жительниц Южной Азии, что является следствием злоупотребления горячими ваннами и непрестанных усилий по ограждению себя от суровости их невыносимой зимы. В меньшей степени подобный избыток тепла ослабляет ткани кожи и легких, истощая их жизненную силу; тем самым он делает человека более уязвимым для простуды или иных пагубных последствий, вызванных суровостью времен года.

Сильный холод, как уже было сказано ранее, вызывает омертвение тканей путем истощения жизненной энергии, либо же ведет к смерти через подавление относительной чувствительности. **Сильный жар**, когда он обжигает, действует схожим образом; однако при воздействии через атмосферу он в равной степени истощает чувствительность всех органов, и жертва погибает, мучимая жаждой, оставаясь в сознании до самого конца.

Влияние холода и тепла, равно как и любого иного внешнего воздействия, всегда соотносится с состоянием самого организма. В теле крепкого сложения прохладный воздух вызывает усиление жизненных сил благодаря ответной реакции системы. Кровь, отхлынув от поверхности, скапливается во внутренних органах; сердце, получая такой стимул, бьется с удвоенной силой, в то время как нервная система пробуждается к повышенной активности. Затем кровь, возвращаясь к поверхности, воздействует на аккумулированную чувствительность кожи. В этом органе разливается общее ощущение тепла, которое, если оно не чрезмерно, на редкость приятно. Такое состояние, при условии поддержки физическими упражнениями и достаточным питанием, может сохраняться в течение многих часов, прежде чем субъект будет истощен собственным напряжением сил.

В телах же слабых эта ответная реакция организма столь ничтожна, что ее едва ли можно заметить. Первое воздействие холода оказывается нестерпимым. Кровь, отхлынувшая к внутренним органам, не находит сил возбудить сердечную деятельность и вызывает чувство гнетущей тяжести, ибо сосуды растягиваются сверх предела своей сопротивляемости. Именно эта вялость ответной реакции предрасполагает к появлению ознобышей; истощение кожных покровов заходит столь далеко, что малейшее повышение температуры провоцирует воспаление или даже омертвение пораженных участков.

Крайние перепады атмосферных температур — как жара, так и холод — в равной степени губительны для страждущих; их ослабленные или стесненные жизненные силы не способны на усилия, необходимые для поддержания «животной теплоты» на должном уровне. В наших широтах покои больного редко следует прогревать выше 60 градусов по шкале Фаренгейта. Впрочем, некоторые специфические недуги требуют в этом отношении иного подхода. При заболеваниях легких постоянство температуры приобретает исключительную важность; в таких случаях столбик термометра никогда не должен опускаться ниже 60 градусов. Лихорадочные состояния, напротив, требуют неизменно прохладного воздуха. Предубеждения в пользу жарко натопленных помещений при сыпных лихорадках постепенно уходят в прошлое. В особенности при натуральной оспе пагубные последствия перегрева признаются повсеместно, где опытные врачи имеют влияние на общественное мнение. Однако при лечении кори всё еще преобладает пагубное стремление любой ценой окружить больного согревающей атмосферой.

Еще одно жестокое и подчас роковое заблуждение, которое до сей поры пользовалось доверием, заключается в убеждении, будто душевнобольные способны переносить чрезмерный холод без вреда для здоровья. Напротив, именно по этой причине они более других людей подвержены омертвению конечностей.

Среди философов издавна ведется ожесточенный спор о влиянии климата на **национальный характер**: многие авторы приписывают всё одной этой причине, тогда как другие — возможно, в еще большем числе — и вовсе отрицают её воздействие.[192] Мнение Страбона,[193] занимающее срединное положение между этими двумя крайностями, представляется более философским и наиболее близким к истине. Ибо в жизни существа, чье бытие всецело соотносительно, всякое постоянное внешнее воздействие неизбежно должно производить определенные изменения.

В природе существует некий замкнутый круг причин и следствий, который делает факты нравственные и физические взаимозависимыми. Однако, поскольку физические обстоятельства, окружающие человека, в целом являются первопричинами его душевных состояний, при оценке частных случаев следует отдавать их влиянию определенное первенство. Физические сочетания неорганической природы должны были по времени предшествовать существованию живого существа и, следовательно, в первую очередь определили его нравственные особенности. Не подлежит сомнению, что почва и климат, до известной степени

[192] **Юм** в нашей стране и **Гельвеций** во Франции — наиболее выдающиеся авторы, выступающие в пользу нравственной причинности. Гиппократ и Монтескье — лучшие авторитеты в вопросах физического влияния.

[193] «Одно дано от природы, другое же проистекает из обычаев и упражнения». - Страбон, кн. II.

суровые и бесплодные, являются родителями как умственной, так и телесной бодрости их обитателей.[194]

> «Лишь нищета, Диофант, пробуждает одни лишь искусства;
> В тягостном труде она — наставница».[195]

Сопротивление, которое внешние объекты оказывают действиям организованных существ, служит мощным источником того интереса, который рождает **внимание** и возбуждает **разум**. Представления о тех предметах, над которыми существо обладает бесспорной властью, обычно ложны или неполны. Лишь тогда, когда они чинят препятствия воле, они заставляют прибегать к ловкости и изобретательности как к дополнениям силы, и обуславливают глубокое знакомство со всеми их свойствами.[196] Стимулируя трудолюбие и развивая душевные силы, они дают начало многим искусственным побуждениям и приводят в действие разнообразные нравственные факторы, призванные видоизменить их собственное первоначальное влияние. **Искусства** и **ремесла**, коим они дают рождение, — через вызываемые ими физические перемены и через сосредоточение населения в домах и городах, среди искусственной роскоши и торгового изобилия, — мало-помалу стирают те черты, которые природа изначально запечатлела в человеческом роде. Везде, где человечество достигало многочисленности — иными словами, там, где оно понуждалось к великому умственному развитию и, как следствие, к установлению сносной формы правления, — люди в значительной мере преобразили характер почвы и климата; в равной же степени они произвели и новую модификацию самих себя, которую можно было бы назвать «**цивилизованным темпераментом**».

Таким образом, физические обстоятельства воздействуют на человека, а человек, в свою очередь, воздействует на природу, до тех пор, пока оба не преобразятся и, быть может, не достигнут совершенства. Однако нравственная деятельность по-прежнему остается зависимой от физических причин, в которых она берет начало, и пропорциональна им.

В теплых краях животные потребности немногочисленны и удовлетворяются с большей легкостью. Величайшие усилия человеческого разума обыкновенно направлены на ограждение от холода и накопление домашних удобств; жители же тропических широт вполне могут без них обойтись. Одежда, топливо и добротно построенные жилища являются для них излишеством; а дешевые и доступные радости природы дарят занятие и неизменную отраду их обитателям. Пища в теплых краях также изобильна и добывается без особого труда. У народов, живущих

---

[194] Именно в этом смысле Гиппократ заметил:
«Перемены во всем суть то, что пробуждает разум человека и не дает ему пребывать в покое».
[195] Феокрит.
[196] Отсюда слабость и невежество деспотических правительств; и, напротив, энергия и деятельность властей, уравновешенных друг другом.

в подобных условиях, побуждения к сложным общественным связям и упорному созиданию редки и немногочисленны. Главными стимулами к мысли и действию для них служат бушующие страсти, которыми они одержимы. Любовь, ревность, суеверие, ярость, а также их следствия — ненависть, месть и войны — вот основные двигатели воли в этих обстоятельствах; там же, где эти страсти не властвуют, величайшим наслаждением становятся апатия и праздность. Будучи независимыми от собственности и благ цивилизации, такие люди мало ценят формы государственного устройства; они тем охотнее подчиняются тирании, что она лишь незначительно уменьшает общую сумму их удовольствий или счастья.

В холодных же регионах, напротив, природа почти ничего не дала человеку; лишь путем коллективного и непрерывного труда он вырывает из её скупых рук скудное и ненадежное пропитание. Чтобы выстоять в бесконечной борьбе со стихиями, необходимо накапливать собственность, а усилия должны стать упорными и слаженными. Безопасность накопленного и независимость усилий становятся, таким образом, жизненно важными условиями для процветания человеческого рода; деспотичное же правление, сопряженное с бесчеловечным управлением, здесь неизбежно приводит к сокращению численности населения, его нищете и болезням. Под влиянием подобных нужд общественные связи становятся теснее и сложнее. Для их упорядочивания требуется все большая изобретательность. Подробные своды законов порождают более глубокие и тонкие изыскания в области морали, юриспруденции, коммерции и статистики; естествознание же расширяется благодаря многократным опытам ремесленников и механиков. Короче говоря, поскольку **знание в любом его проявлении есть сила**, к нему жадно стремятся, дабы восполнить природную слабость живого существа, вынужденного противостоять скудной почве и суровому небу.

Подобные сочетания физических условий по большей части оказываются сильнее человека; и в тех немногих случаях, когда их удавалось преодолеть, это происходило лишь под воздействием причин локального и временного характера.[197] Вообще говоря, обитатели жарких стран во все века демонстрировали присущие им черты с неизменным единообразием; северные же народы столь же постоянно выказывали неуклонное стремление к **свободе**, **торговле** и **научному совершенствованию**. Таким образом, повсеместное и всеобщее улучшение участи человеческого рода во всех широтах представляется физически невозможным;

[197] Тир и Карфаген являют собой главные примеры свободных торговых государств, существовавших в весьма жарком климате. Александрия черпала свою торговую энергию из Греции и Рима. Величественные города Азии обязаны своим существованием военным завоевателям, которые, покорив обширные территории, основывали столицы и стимулировали промышленность ради удовлетворения собственной тяги к роскоши. Однако это были искусственные образования, и когда породившая их причина исчезала, народ вновь подпадал под власть своих чисто физических наклонностей. В наших собственных колониальных владениях европейский характер поддерживается исключительно за счет постоянного притока новых поселенцев.

более того, позволительно усомниться в том, могут ли плоды цивилизации обрести постоянство в каком бы то ни было отдельно взятом крае. Европейские переселенцы в Южную Америку и Индию претерпевают в своем духовном облике перемены не менее разительные, чем те, что происходят с цветом их кожи. С другой стороны, многие нравственные черты остаются неразрывно связанными с самой почвой и проявляются в её обитателях даже спустя столетия — невзирая на то, что волны переселений и завоеваний могли принести с собой новую кровь из далеких земель и во многом изменить национальные обычаи.

Эти соображения обретают еще большую убедительность, если применить их к болезням, порождаемым климатом и воздействием внешней среды. Чем менее возделана земля и чем более беззащитны её обитатели перед суровостью времен года, тем отчетливее проявляется влияние, оказываемое на них особенностями местности. Вследствие этого наблюдения за различными состояниями погоды и топографическими особенностями в их связи с господствующими эпидемиями стали вестись врачами менее тщательно — по мере того, как цивилизация даровала человеческому роду надежное укрытие и привнесла большее единообразие в облик земной поверхности. Действие этой причины совершенно очевидно. Возьмем лишь один пример: некое специфическое парообразное испарение, возникающее вследствие разложения животной и растительной материи, и в изобилии встречающееся на болотистых и невозделанных почвах, - делает многие лесистые районы в теплом климате совершенно непригодными для жизни из-за порождаемых им смертоносных злокачественных лихорадок.[198] В регионах с более умеренным климатом этот яд становится плодородным источником перемежающихся лихорадок, диареи, дизентерии, закупорки внутренних органов и водянки; он же формирует особый склад организма, или конституцию, не располагающую к долголетию. Повсюду, где возделывание земли позволило осушить болота, эти вредоносные пары были изгнаны; и края, прежде болезненные и пагубные, превратились в обители здоровья и бодрости.[199]

Теплая одежда, обилие топлива и достаток пропитания — плоды общественной энергии — в значительной мере способствуют ослаблению пагубного влияния

---

[198] См. решительные и философские исследования доктора Бэнкрофта по вопросу заражения.

[199] Таково положение дел в шотландском графстве Бервикшир, которое еще на памяти нынешнего поколения считалось исключительно нездоровой местностью. Говорят, что итальянская mal aria свирепствует и там, где земля возделывается, однако в самом этом утверждении кроется заблуждение. Умеренная обработка земли в благодатном климате вознаграждает земледельца обильным урожаем, и, возможно, влажность тому лишь способствует. Однако требуемая здесь культура земледелия заключается в совершенной системе мелиорации, за которую можно взяться лишь там, где труд защищен законом, а плоды его гарантированы мудрым государственным устройством. Трудность искоренения mal aria, столь долго сохраняющейся в Италии, наглядно доказывает неразрывную связь между свободным политическим строем и той властью над природными стихиями, которая в большинстве случаев необходима для благоденствия человеческого рода.

атмосферных факторов; в то время как новые формы недугов, порожденные плодами человеческого искусства и привычками общественной жизни, возможно, еще более видоизменили их воздействие. Одновременно с этим, приковав к себе внимание практикующих врачей, они заставили их пренебрегать общими условиями различных стран и сосредоточиться на изучении более частных причин болезней. Однако, вопреки величайшим усилиям человека, в характерных заболеваниях разных климатических зон все еще сохраняется печать природы, которую невозможно ни полностью побороть, ни отринуть. В разных странах господствуют не только специфические болезни, но и особый темперамент, который видоизменяет методы исцеления и вносит разнообразие в те медицинские афоризмы, коими руководствуется врачебное искусство в каждой из них.[200]

Помимо ощутимых или поддающихся определению свойств атмосферы, можно задаться вопросом: не проявляет ли она при определенных обстоятельствах в своем влиянии на здоровье иные свойства, которые до сих пор ускользали от исследователей? Влияние **болотных миазмов** и особенностей расположения местности на здоровье было установлено путем наблюдений задолго до того, как эти следствия удалось связать с их конкретными причинами. Специфические последствия этих причин приписывались, таким образом, скрытым свойствам - непосредственным источникам эндемических заболеваний. Ложная аналогия распространила этот образ рассуждений и на эпидемии, которые, возникая в определенный сезон, поражают большинство жителей в местности своего распространения. Постепенно к этим общим представлениям примешались и фантазии юдициарной астрологии: причину эпидемий стали искать в пагубном расположении светил. Таким образом, толкователи вновь прибегли к своему излюбленному методу объяснения — ab ignoto ad ignotius (от неизвестного к еще более неизвестному). Многие эпидемии, ранее приписывавшиеся подобным причинам (такие как чума, оспа, корь и др.), с появлением подлинного научного знания были отнесены к воздействию особых болезнетворных ядов. Будучи растворимыми в атмосфере, они способны порождать болезнь при контакте с организмом, подчиняясь законам, характерным для каждого конкретного вируса.

Открытие этих так называемых болезнетворных ядов, а также зародившееся в духе философии неприятие оккультных причин при объяснении природных явлений, в значительной степени способствовали дискредитации учения об «атмосферных конституциях», существующих независимо от известных и определяемых свойств окружающей среды. Однако есть все основания сомневаться, не привел ли этот новый путь философствования к противоположному пороку — необоснованному преумножению числа инфекций и приписыванию действия вышеупомянутых ядов тем эпидемиям, которые в действительности зависят от иных и более общих причин. Этот вопрос не из тех, что решаются просто; а поскольку он

[200] Ибо не все места дают одни и те же средства исцеления, поскольку окружающий нас воздух не везде одинаков. - Гиппократ. Письма.

влечет за собой введение **полицейских предписаний**, затрагивающих бытовой уклад и повседневные привычки, то в него неизбежно и в значительной степени вплетаются человеческие страсти. Самые противоположные и противоречивые фактические свидетельства приводились медицинскими авторитетами, пользующимися глубочайшим уважением за свои нравственные качества и научные заслуги.

Вопрос еще далеко не решен, однако настоящий случай отнюдь не дает повода для его подробного исследования. Из предшествующих наблюдений следует, что атмосфера способна наносить вред здоровью преимущественно через вещества, которые в ней растворены. К ним относятся **теплород**, вода, заразные болотные миазмы и испарения, исходящие от тел и одежды лиц, страдающих определенными контагиозными заболеваниями. В некоторых случаях воздух также способен удерживать во взвешенном состоянии определенные минеральные яды, становясь тем самым причиной недуга. Ртуть и мышьяк, входя таким образом в контакт с телом, подтачивают здоровье ремесленников, занятых на мануфактурах, где используются эти минералы.

Пути проникновения болезни столь же многочисленны, сколь и поверхности, восприимчивые к раздражению; однако одни и те же вещества действуют неодинаково при воздействии на разные ткани. Сильный и концентрированный аромат цветов вызывает обморок у лиц с повышенной возбудимостью, воздействуя на обонятельные нервы; однако они совершенно безвредны при воздействии на любые другие части тела. **Масло горького миндаля**, столь внезапно несущее смерть при соприкосновении со слизистой оболочкой, не производит никакого заметного действия, если нанести его непосредственно на головной мозг. Ядовитый экстракт, именуемый **кураре** (воррара), лишает жизни лишь при растворении в крови; в то время как **табачное масло** губительно как для кровеносной системы, так и для слизистых оболочек.

Подобным образом, вакцинный вирус действует лишь при контакте с кожей, лишенной эпидермиса; тогда как оспенный яд вызывает болезнь при соприкосновении со слизистыми оболочками — либо в виде вещества, либо будучи растворенным в атмосфере. Заразное начало чумы инфицирует при малейшем прикосновении.

Исходя из этих различий, представляется, что одни вредоносные субстанции воздействуют исключительно на жизненные функции слизистых оболочек, а другие требуют проникновения в общий кровоток, чтобы поразить организм. В последнем случае они могут действовать либо путем изменения состава органических жидкостей, либо, что более вероятно, через влияние на чувствительность капилляров.

Среди этого класса некоторые вещества, благодаря своей более активной и тонкой вредоносной силе, прокладывают путь сквозь эпидермис к всасывающим сосудам кожи и таким образом попадают в систему кровообращения. Другие же, менее активные или менее разреженные, не способны преодолеть этот барьер и становятся действенными лишь при контакте с раневыми поверхностями.

Яды, проникающие в организм через кожу, могут быть остановлены in transitu (в процессе перемещения) путем раннего иссечения пораженной части до того, как всасывающие сосуды перенесут вирус из места его внедрения. Подобный образ действий является общепринятым методом профилактики водобоязни (бешенства). Продвижение некоторых болезнетворных ядов к общему кровотоку сопровождается воспалением всасывающего сосуда, по которому они следуют; таким образом, местное поражение предшествует общему заболеванию организма. В целом же восприимчивость различных тканей к болезнетворным воздействиям пропорциональна активности их функциональной деятельности.

Для иллюстрации этиологии болезней действие ядовитых веществ было выбрано в качестве примера намеренно, так как их природа более осязаема, а производимый ими эффект более очевиден. Однако влияние всех болезнетворных причин схоже и заключается, по сути, в изменении чувствительной силы ткани, на которую они воздействуют. Но хотя механизм возникновения болезни можно описать в общих чертах, причины каждого конкретного патологического изменения далеко не всегда столь ясны. Многие недуги приписываются медиками множеству факторов, что служит верным доказательством того, что истинный агент остался невыявленным. О других же говорят, что они возникают в организме «спонтанно» — выражение, специально придуманное для того, чтобы скрыть невежество того, кто его употребляет, и открыто противоречит основополагающей максиме, гласящей, что **нет следствия без причины**.

Болезненное возбуждение, подобно последствиям любого иного раздражения, изменяется сообразно состоянию того, на кого оно воздействует. Если какой-либо отдельный орган оказывается сравнительно слабым, именно эта часть тела под влиянием общей причины будет более подвержена поражению, нежели прочие. Кроме того, равновесие функций, которое на последовательных этапах жизни смещается в сторону различных органов, порождает особую склонность к определенным заболеваниям в каждый конкретный возрастной период.

Вплоть до середины жизненного пути перевес в кровообращении сохраняется за артериальной системой. По этой причине молодые люди особенно восприимчивы к воспалительным заболеваниям. В самом раннем младенчестве сила артериального тока преобладает в голове и верхних конечностях; этот факт подтверждается недостаточным развитием голеней и бедер в пренатальный период. Следовательно, судорожные расстройства, эпилепсия, хорея (пляска Святого Вита) и та роковая болезнь — гидроцефалия — являются преобладающими недугами

младенчества и раннего детства. С приближением периода полового созревания средоточие артериальной активности перемещается к внутренним органам грудной клетки; в это время сопутствующими болезнями становятся воспаление легких и легочная чахотка. В эту же пору нередко встречается кровохарканье, которое приходит на смену носовым кровотечениям, столь обычным для детей, склонных к полнокровию. С возрастом сила артериального давления ослабевает, и полнокровие (плетора) начинает проявляться преимущественно в венозном русле кровообращения. По этой причине печень, чья функциональная деятельность напрямую зависит от снабжения венозной кровью, становится особенно подвержена заболеваниям. У некоторых субъектов, однако, нагрузка на венозную систему более непосредственно ощущается в сосудах головы, что приводит к летаргии, апоплексии, параличу и тому подобному.[201]

В ранние годы общая интенсивность жизненной энергии вызывает более бурную реакцию на болезненное раздражение, что проявляется в остром характере превалирующих недугов. Глисты и едкие субстанции в prima viæ (первичных путях пищеварения) вызывают у младенцев лихорадку и конвульсии, в то время как в зрелом возрасте они причиняют лишь незначительное неудобство. Этой же причиной следует объяснять и более высокую смертность от коклюша, кори и оспы среди пациентов самого младшего возраста, равно как и большую степень раздражения и сопутствующую опасность при прорезывании первых зубов. Этот процесс часто провоцирует судороги и нарушения в работе кишечного тракта — явления, которые ни в малейшей степени не сопровождают появление вторых зубов в более поздний период жизни.

Местные заболевания, вызываемые определенными раздражителями, подобным же образом пропорциональны жизненной силе того органа, на который воздействует стимул. Воспаление в частях тела, изобилующих клетчаткой, обычно завершается образованием абсцесса; когда же подобному поражению подвергаются слизистые оболочки, их специфический секрет замещается субстанцией, мало чем отличающейся от гноя, содержащегося в нарывах. Воспаление серозных оболочек вызывает выпот свертывающейся лимфы, образующей очаг, в котором быстро формируются новые кровеносные сосуды; они спаивают соседние органы, что препятствует их нормальному функционированию.

Воспаление желез склонно завершаться уплотнением тканей пораженной части либо полным изменением её структуры и функций. Так, случайные удары нередко становятся поводом к развитию рака. В тканях с более низкой жизненной силой чрезмерное воспаление приводит к немедленному омертвению пораженной ткани, которая впоследствии отделяется от здоровых участков благодаря жизненной

[201] Именно облегчением этого венозного полнокровия объясняется польза геморроидального кровотечения — возникшего естественным путем или вызванного искусственно — для сохранения здоровья лиц пожилого возраста.

энергии окружающих абсорбирующих сосудов. В костях этот процесс, длительный и болезненный, именуется эксфолиацией.

Фиброзные органы, не отличающиеся обилием клетчатки, редко нагнаиваются: они плохо переносят воспаление и легко подвергаются омертвению. Однако подагра и ревматизм, являющиеся воспалительными поражениями этих органов, разрешаются без летального исхода путем отложения известковых материй, каковые, будучи чрезмерными, затрудняют работу суставов и ведут к неизлечимой хромоте. Острое воспаление любого жизненно важного внутреннего органа не может протекать без того, чтобы не вызвать общего расстройства системы кровообращения, именуемого лихорадкой. В подобных случаях излечение локального недуга устраняет и общее болезненное состояние организма. Однако если лихорадка порождена причинами общего характера, она может быть купирована путем воздействия на её симптомы.

Болезненное состояние одного органа нередко вовлекает другой в сочувственный недуг. Так, один глаз, одно легкое или одна почка могут спровоцировать воспалительный процесс в парном органе. Подобным же образом затухание болезни в одной части тела может сопровождаться её повторным проявлением в другой, даже если та состоит из тканей иного рода. Так, при поражении околоушных желез, именуемом «свинкой», по мере ослабления первичного недуга нередко наблюдается опухание и воспаление грудных желез. Вторичные же поражения головы и желудка при подагре и ревматизме встречаются повсеместно и пользуются печальной известностью.

С другой стороны, существуют болезни, несовместимые друг с другом. Высыпания оспы и кори не развиваются у одного и того же человека одновременно; точно так же и некоторые хронические кожные заболевания служат достаточной причиной того, почему оспопрививание не дает ожидаемого эффекта.

Подобно тому как болезни возникают вследствие неправильного раздражения, так же они излечиваются с помощью средств, которые уравновешивают их последствия. Как уже отмечалось ранее, возможности врачебного искусства редко оценивались беспристрастно: многие склонны считать медицину лишь пустой мечтой, в то время как другие питают к ней безграничное и почти религиозное доверие. Врач-философ, вероятно, предпочтет судить о ней скорее по тому, чем она может стать в будущем, нежели по тому, чем она, по его глубокому убеждению, является в настоящий момент.

Невозможно, чтобы болезненное состояние сохранялось в каком-либо органе долгое время, не вызывая при этом патологических изменений в его строении. Поскольку ни один орган не существует в полной независимости и изоляции, болезнь неизбежно распространяется на другие части тела, связанные функционально с первичным очагом недуга. В системе питания гармония функций столь тонка, что de proche en proche (постепенно) весь жизненный строй организма

расстраивается из-за стойкого поражения любого из наиболее важных внутренних органов. Так, уплотнение и закупорка печени нарушают функции пищеварения, что приводит к истощению, а также к общей или брюшной водянке. Следовательно, по мере того как болезнь укореняется, её симптомы становятся всё более запутанными и двусмысленными, а исцеление — затруднительным и трудоёмким. Таким образом, фактор времени является одним из важнейших элементов в лечении недугов; именно его упущение служит одной из главных причин тех скромных успехов, в которых принято упрекать врачебную практику. В тех случаях, когда болезненный процесс носит бурный и острый характер, важность этого обстоятельства становится очевидна для обычного наблюдателя. Важность этого фактора становится очевидной в тех случаях, когда болезненное состояние носит острый и стремительный характер. Воспаление, поражающее жизненно важный орган, способно в кратчайшие сроки вызвать в его структуре столь глубокие изменения, что они становятся несовместимыми с нормальным функционированием. До того как подобные изменения произойдут, деплеция (опорожнение), проводимая неуклонно до тех пор, пока она не уравновесит действие раздражающего фактора, способна облегчить течение болезни так же эффективно, как если бы та поразила наименее значимый орган. Однако стоит структурным изменениям свершиться, как возможности медицины мгновенно сужаются, и врач превращается лишь в тревожного, но **бессильного созерцателя**.

Существуют определенные болезнетворные стимулы, мощь которых столь несоразмерна с внутренними силами сопротивления организма, что они мгновенно нарушают жизненные процессы до степени, исключающей возврат к здоровому состоянию. Таков во многих случаях контагий чумы, а также некоторые яды — животного, растительного и минерального происхождения. Над подобными причинами медицина, очевидно, не имеет никакой власти.

К иному классу заболеваний, которые неизменно ставят в тупик искусство врачевания, относятся те, что вызваны не внезапным и мощным, но многократно повторяющимся воздействием. В большинстве случаев они порождаются пагубными привычками, сопряженными с потаканием той или иной излюбленной склонности. Кратковременность и незначительность потрясения, вызываемого каждым повторным воздействием вредоносного фактора, препятствует возникновению такой ответной реакции живых тканей, которая сопровождалась бы болью или явным расстройством основных функций. Вследствие этого пациент редко осознает, что он серьезно болен, до тех пор, пока весь его внутренний механизм не окажется совершенно расстроен (detraquée), или какому-либо из важнейших органов не будет нанесен глубокий ущерб.

Совершенная и научная система медицины неизбежно должна зиждиться на глубоком знании законов здорового функционирования организма. Однако читателю, без сомнения, хорошо известно, насколько далеко мы в настоящее время отстоим от подобной безупречной системы физиологии. **Истина заключается в**

том, что большая часть врачебной практики остается эмпирической, основываясь на совокупности наблюдаемых фактов, счастливых открытиях или, быть может, на инстинктивных склонностях.[202] Едва ли найдутся — если они вообще существуют — общепризнанные методы лечения, которые опирались бы исключительно на априорные аргументы, выведенные из философских и научных аналогий. Лечение лихорадки методом истощения (деплеции), как оно практикуется в наши дни, носит сугубо эмпирический характер. Оно было начато еще школой Гиппократа в древности, но впоследствии оставлено в угоду ученым мечтаниям чистых теоретиков. Сиденгем в эпоху возрождения наук вновь привлек к нему внимание; затем, после многих смен мнений, этот метод вновь канул в небытие под гнетом умозрений Каллена и его оппонента Брауна. Под руководством Гамильтона, Карри, Миллса и других новаторов он вновь обрел былое первенство и, как следует надеяться, более не будет оставлен, разве что на основании опытного приращения медицинских знаний.

Самая утешительная сторона вопроса заключается в том, что те недуги, которые происходят от физических и общих причин и которых человеческая природа не может избежать, составляют класс, наиболее подвластный воле врача. Острые воспалительные заболевания, облегчаемые методами истощения и угашением пламени, разожженного чрезмерным возбуждением, редко бывают упорны, если с самого начала против них ополчиться с должным умением и не позволить им повредить нервные ткани своим первоначальным неистовством. Подагра, ревматизм, те нервные расстройства, что не зависят от органических причин, и всё многоликое племя хронических жалоб — суть плоды роскоши, с одной стороны, и неестественных привычек и чрезмерных напряжений, свойственных сложноустроенным обществам, с другой. **Цивилизация**, в истинном смысле этого слова, едва лишь началась. Моральные и политические науки всё еще пребывают в младенчестве; печатный станок только начинает производить те перемены, которые ему суждено наложить на человеческий род; общественное мнение с каждым часом становится всё более просвещенным в отношении истинных интересов человечества; а ложная религия, ложная мораль и ложная политика с каждым днем утрачивают свою власть над разумом.

Должен возникнуть лучший общественный строй, и должно совершиться некое возвращение к более простым и чистым радостям природы. Было бы, разумеется, излишним полагать, что страсти человеческие перестанут преувеличивать и вводить в заблуждение; однако они обретут верное направление, связь вещей с нашей телесной организацией станет более понятной, и опыт впредь не будет, как прежде, бесплодно утрачиваться человечеством.

[202] Обильное употребление холодной воды при лихорадках (итальянская «dieta acquea») есть лечебное указание, проистекающее непосредственно из инстинкта.

Оценивая значимость медицинского искусства, необходимо, далее, отделять в болезни случайное от того, что сущностно присуще человеческой природе. Бесконечная длительность не является свойством природных сочетаний; и даже при самой совершенной системе медицины человек всё же останется подвластен смерти. Пути к увяданию многообразны; живое существо не есть некое простое единство, но совокупность различных органов, каждый из которых может быть дефектным от самого своего зарождения. Не всякому семени Природы суждено достичь полного расцвета; причины, неподвластные человеку, неизбежно вызывают у иных субъектов преждевременную старость и поспешно сводят их в могилу еще до того, как будет пройдена половина обычного жизненного пути. В подобных случаях не должно винить врачебное искусство. В самых масштабных наших воздействиях на природу мы лишь повинуемся её велениям, и роль наша неизменно остается второстепенной и подчиненной. Пределы человеческого могущества, по правде говоря, не определены; и никакое исследование не способно отделить болезни, которые безусловно неизлечимы, от тех, что таковыми не являются. Достоинство врачебной профессии неоспоримо, если она находится на одном уровне с естественными науками своего времени; в любом обществе она заслуживает уважения — за исключением тех случаев, когда, вступая в союз с корыстолюбием и притворством, она взывает скорее к легковерию, нежели к разуму больного.

С самой общей точки зрения, лекарственные средства действуют либо путем уменьшения общей суммы жизненной силы всего организма или отдельного органа, либо путем противодействия болезненному процессу, либо путем повышения чувствительности, чтобы восполнить возросший уровень жизненной энергии. В некоторых немногих случаях средства применяются даже для того, чтобы благоприятствовать самому болезненному действию, если из опыта известно, что этот процесс завершается восстановлением здоровья.

Те же поверхности, что служат наиболее легким путем для проникновения болезнетворных начал, являются и наиболее восприимчивыми к лекарственной стимуляции. Именно к коже и слизистой оболочке кишечного тракта преимущественно применяются лекарства. Желудок и кишечник в действительности столь всеобъемлюще связаны с остальной экономией организма своими симпатическими энергиями, что едва ли найдется болезнь, на которую не влияли бы изменения в их функциональной силе.

Когда сосудистая деятельность чрезмерна, самым мощным методом укрощения её интенсивности является **кровопускание**. Ибо циркулирующая жидкость есть одновременно и великий источник жизненной энергии, и стимул для сосудистой системы. Чем стремительнее извлекается кровь, тем значительнее оказывается терапевтическое воздействие данного средства. Когда она свободно истекает из вены, в головном мозге и нервной системе происходит внезапное падение органического напряжения, что временно приостанавливает их функции. В этот

интервал бездействия течение болезни нередко пресекается, и немедленно начинается процесс выздоровления.

Лекарственные средства, ускоряющие функциональную деятельность кишечника, смягчают лихорадочное раздражение тремя путями: (1) Удалением естественных выделений (секретов), которые, претерпевая изменения под влиянием недуга, сами по себе становятся источником расстройства. (2) Отвлечением части циркулирующих жидкостей, в чем действие этих средств созвучно целям кровопускания. (3) Возбуждением необычного действия в органах брюшной полости, превращая их в центр прилива (флюксии). Это снижает интенсивность мозгового возбуждения, которое столь мощно воздействует на сердце и артерии.

Наружные средства, применяемые к коже, обладают исключительной эффективностью в регуляции внутренних функций. Когда в результате лихорадочного действия капилляров тепло вырабатывается слишком быстро, обливание всего тела холодной водой восстанавливает равновесие и часто обрывает развитие болезни. В тех же случаях, когда очаг недуга расположен в глубоко залегающих органах, напротив, теплая ванна и воздействие пара — общее или местное, посредством припарок — могут вызвать потоотделение, обеспечить отток крови от пораженного органа и умерить жар. Теплые и холодные средства[203] могут применяться местно: первые — для того, чтобы вызвать временный прилив крови (флюкцию) к отдаленным органам, вторые — чтобы подавить сосудистую активность непосредственно в очаге болезни. Для этой цели с неоспоримой пользой могут применяться лед и ледяная вода.

Применение нарывных средств регулируется схожими принципами: делая кожу средоточием воспалительного процесса, они зачастую вытесняют болезнь из более глубоко залегающих частей организма.

Существует обширный разряд лекарственных средств, воздействующих на кожу через ее симпатическую связь с желудком. Все **тошнотворные препараты** подобным образом расслабляют выделительные сосуды на поверхности тела и вызывают обильное потоотделение, что является одним из наиболее действенных способов снижения лихорадочного жара; их следует употреблять во всех случаях, когда использование вышеупомянутых средств невозможно в силу особых обстоятельств. Лекарства этого класса действуют также на слизистые оболочки легких и почек и применяются всякий раз, когда желательно стимулировать отхаркивание или увеличить отделение мочи.

[203] Средства, наносимые на поверхность тела, могут быть как фактически, так и потенциально горячими или холодными. Стимулирующие средства вызывают ощущение тепла на коже; вяжущие и успокоительные препараты производят холод.

Использование летучих стимуляторов ограничивается теми случаями, когда жизненная энергия пациента оказывается недостаточной, чтобы противостоять болезненному возбуждению. Их многократное введение, благодаря специфическому воздействию на мозговую ткань, способно поддерживать жизнь и помогать организму в борьбе, до тех пор, пока благоприятная перемена в ходе недуга не установит более верное равновесие между жизненной силой и функцией. Нарывные средства, последовательно прикладываемые к различным участкам кожной поверхности, являются одним из наиболее ценных способов достижения этой цели.

Класс лекарств, именуемых **тонизирующими**, обладает сомнительной эффективностью в разгар болезни; однако их польза становится очевидной в период выздоровления. Их воздействие на живые ткани остается совершенно неизученным.

Не вдаваясь более подробно в детали медицинской науки — что породило бы лишь то «поверхностное знание», коего следует столь опасаться, — должно стать очевидным, что лекарственные средства применяются не к болезням, а к функциям. В самом деле, болезни суть лишь умозрительные построения (entes rationis), созданные ради целей классификации; они состоят из групп симптомов, наиболее часто встречающихся вместе, но которые на деле редко бывают совершенно идентичными. Если термин «болезнь» и имеет реальный прообраз в природе, то лишь в тех случаях, когда каждый отдельный симптом рассматривается как самостоятельный недуг. Следовательно, лекарства приписываются к различным сочетаниям признаков, фигурирующим в системах нозологии, лишь постольку, поскольку они рассчитаны на воздействие на те функции, чей недостаток или избыток активности играет решающую роль в возникновении болезненных явлений. Таким образом, одно и то же средство не может быть одинаково эффективным на каждой стадии болезни или для каждого человека, страдающего от недугов, носящих одинаковое название. Специфического лекарства, в самом строгом смысле этого слова, **не существует**, и тот, кто прибегает к помощи шарлатанских снадобий, подвергается двойному риску: риску ошибиться в распознавании недуга и риску неверного соотнесения препарата с уникальными обстоятельствами своего личного состояния.

Общая репутация лекарств подобного рода отчасти зиждется на огромном числе болезней, которые сами по себе не являются фатальными и проходят вопреки применению инертных или совершенно неподходящих медикаментов. С другой стороны, она основывается на множестве недугов, против которых не существует известных средств исцеления. Утопающее отчаяние склонно хвататься за любую соломинку; при хронических и затяжных страданиях, вызванных органическими поражениями, для человека естественно испытывать всё, что ему предлагают, и при каждом новом применении воображать себе мимолетное облегчение. Популярность лжелекарств также в значительной степени питается пересудами и обывательскими рекомендациями. Праздность и скудоумие ищут занятия и собственной значимости

в той суете и интригах, которыми сопровождается подобное бесцеремонное вмешательство; при этом советы раздаются, а послушание вменяется с нетерпимостью и самонадеянностью, прямо пропорциональными невежеству — как общему, так и частному — этого диктующего свою волю самодура. **Мода** — эта верховная распорядительница принципов и практик, для которой изгиб ленты не кажется слишком ничтожным, а судьбы религии — слишком великими, — точно так же правит обширными владениями медицинских предрассудков властью тирана. Никогда не бывает недостатка в **чудесах**, призванных освятить любой её каприз. Подобно чудесным свидетельствам ложных религий, они дают достаточно поводов для веры тем, кто сам желает обманываться; однако, когда пыл увлечения угасает, в них обнаруживается столько сомнений, что это вполне оправдывает конечное пренебрежение со стороны адептов, устремляющихся к новому, еще более пленительному идолопоклонству.

Влияние воображения на исцеление недугов в значительной степени способствует тому, что исследователи впадают в заблуждение относительно эффективности так называемых «специфических средств». Общеизвестно, что всё, вызывающее сильное чувство ужаса или отвращения, способно через потрясение, наносимое всей системе, разорвать цепь взаимосвязанных болезненных процессов и вызвать внезапный переворот во всем жизненном строе организма. Так, глотание живых пауков служило средством купирования лихорадки в тех случаях, когда физические методы лечения оказывались совершенно бессильны. Заговоры и амулеты действуют схожим образом на тех, кто достаточно слаб, чтобы позволить вовлечь себя в заблуждение относительно их связи с грозными и таинственными силами. Эпилепсия, которую древние из-за её тяжелых и пугающих симптомов считали непосредственной карой богов, всегда находилась в исключительном ведении суеверий. Во все века для её лечения применялись религиозные и магические обряды. По поразительному совпадению, именно эти средства с наибольшей вероятностью способны устранить недуг в тех случаях, когда он не связан с органическими нарушениями и в принципе поддается какому-либо облегчению. Эпилепсия и другие судорожные недуги нередко передаются через подражание, а потому с большей вероятностью поддаются исцелению посредством душевных впечатлений. Однако влияние воображения на функции организма не менее очевидно и при многих других болезнях, затрагивающих даже систему питания; это подтверждается случаями истощения и увядания, вызванными проклятиями мнимых ведьм или предсмертными обличениями, обрушенными на невежественных и слабовольных грешников. Металлические тракторы и месмеризм черпают всю свою силу воздействия на жизненный строй именно из этой восприимчивости к внушению. «Именно благодаря пробуждению этой силы (по крайней мере, по моему мнению), — пишет Монтегр, — магнетизеры творят свои

пресловутые чудеса; и все эти чудеса совершаются над умами подвижными или, по крайней мере, в чем-то сомневающимися».[204]

На этом автор намерен — по крайней мере, в настоящее время — остановиться. О многом из того, что обсуждалось на предшествующих страницах, можно было бы сказать еще немало; однако краткий очерк уже успел перерасти в увесистый том. Пытливый исследователь заметит, что создание систематического трактата не входило в задачи автора. Многие детали и даже целые темы были опущены — отчасти потому, что они мало подходят для непрофессионального читателя, но в еще большей степени потому, что они не соответствуют намерениям автора. Если изложенные здесь воззрения подтолкнут вдумчивого мыслителя к более близкому знакомству с физическими фактами; если они предрасположат к морали более **осязаемой**, **ясной**, **терпимой** и **человечной**, нежели та, что ныне преобладает в обществе; если они откроют глаза хотя бы одному законодателю на пагубные последствия того или иного укоренившегося предрассудка в помыслах или деяниях, или же приблизят простого человека хоть на шаг к природе — значит, цель их не останется вовсе не достигнутой. Смиренно предаю сей труд на суд критики просвещенной и беспристрастной. Вздорному же хулителю, сему мимолетному оводу, автор может ответить лишь словами римского эпиграмматиста:

«Improbè facit qui in alieno libro ingeniosus est».
(Нечестно поступает тот, кто проявляет остроумие в чужой книге).

КОНЕЦ

[204] Монтегр, «Трактат о геморрое».

Томас Чарльз Морган

Очерки философии морали

Перевод с оригинального издания 1822 года

«Дух до такой степени зависит от темперамента и состояния органов тела, что если бы можно было найти способ сделать людей мудрее и искуснее, чем они были до сих пор, то я полагаю, что его следовало бы искать в медицине» (лат.)
— **Декарт**

«В нашем нынешнем состоянии деятельность ума столь сильно зависит от верного настроя и благополучия его телесного орудия, что всё, в значительной степени способствующее сохранению или восстановлению здоровья тела, вполне заслуживает внимания ума».
— **Епископ Беркли**. «Сирис».

Г-ну Дестюту, графу де Траси,
Пэру Франции, члену французского Института и проч., и проч.
Учёному и изысканному автору
«Элементов идеологии» (Élémens d'Idéologie);
достойному последователю Локка и Кондильяка;
потомственному дворянину,
но ревностному поборнику свободы;
человеку независимого состояния,
но прилежному и неутомимому служителю науки,
Сей труд, начатый под влиянием его ободрения,
посвящается его покорнейшим слугой и пр.

Т. Ч. МОРГАНОМ.

Предисловие, содержащее некоторые замечания относительно «Рассуждений о скептицизме» преподобного Т. Реннелла

Настоящий труд предлагается вниманию публики, в качестве необходимого продолжения «*Очерков философии жизни*». Враждебность, вызванная изложенными в этом сочинении доктринами, хотя и отличалась скорее язвительностью нападок, чем убедительностью аргументации, но всё же возымела определённое действие. Она поспособствовала распространению предвзятого отношения к спорным вопросам, и ложных представлений о взглядах, получивших одобрение от самых выдающихся континентальных философов, — тех взглядах, которые кажутся единственно способными содействовать прогрессу как физиологической, так и нравственной науки, очищая их от той таинственности и путаницы, в которые они до сих пор были столь последовательно погружены.

Из всех рецензий и критических отзывов на «Очерки философии жизни», а также на те разделы «Лекций» мистера Лоуренса, в которых этот талантливый физиолог поддержал автора своим единомыслием, ни в одной не было проявлено достаточного знания предмета спора. В частности, преподобный автор «**Замечаний о скептицизме**» приступил к дискуссии настолько неподготовленным — как в отношении самого предмета, так и в отношении взглядов своих оппонентов, — что принял предложенное ими определение смысла, в котором они используют слово «жизнь», за попытку объяснения самого явления. И это при том, что явная цель данной части их трудов заключается в отрицании нашего знакомства с каким-либо первоначалом, соответствующим этому слову в наиболее привычном и обыденном его значении. В определении прямо указывается, что термин используется как общее обозначение совокупности жизненных проявлений; и тем не менее наш критик верит — или делает вид, будто верит, — что, формулируя его, такие авторы, как **Биша** и мистер **Лоуренс**, могли вообразить, будто заняты рассмотрением жизненных первопричин.

Враждебность этого автора, как и тех рецензентов, что последовали за ним в таком же духе аргументации, проистекает из другого заблуждения, едва ли менее удивительного для людей, искушенных в метафизических дискуссиях, а именно: из предположения, будто доктрина бессмертия души подвергается опасности, из-за скептического исследования причин животной и растительной жизни. **Локк** в своем письме епископу Винчестерскому, цитируемом в «Опыте о человеческом разумении», уже указывал на последствия подобного связывания двух предметов, совершенно не зависящих друг от друга; к тому же, этот метод ставит догму, опирающуюся исключительно на моральные доказательства, в зависимость от всех тех перемен, что ежедневно происходят в естествознании. Одушевленность, как он

справедливо замечает, это состояние, общее как для человека, так и для самого низшего насекомого или червя; *«и утверждение, что блохи и клещи обладают бессмертными душами, вероятно, будет сочтено слишком большой натяжкой ради спасения гипотезы»*. Тем не менее, наш Христианский Защитник, сей malleolus hæreticorum [молот еретиков] и «левая рука» кембриджской полемики, в своем пылком стремлении оспорить учения, которые, по его мнению, низводят человека до уровня «травы, которую он попирает», поспешно делает выводы и, кажется, на время даже готов примириться с тем, что, когда он отправится на небеса,

Его верная блоха последует за ним.

Однако, проложив себе путь сквозь целые страницы рассуждений о жизни и организации, о мысли и материи, о субстанции и свойствах, он внезапно меняет свою позицию. Теснимый доводами о тождестве ощущений у всех животных, он бросает свою блоху на произвол судьбы, и утверждает, что душа неразумных тварей, пускай она и является по необходимости нематериальной, вовсе не обязательно бессмертна.

Гипотеза о духовной природе души, впрочем, изначально была создана с одной единственной целью — обосновать её бессмертие. Философы, обнаружив или вообразив в бесконечных превращениях материи неоспоримое препятствие для будущего материального существования, приняли идею нематериальной души лишь для того, чтобы удовлетворить нашу «**жажду бессмертия**», и для этого отыскали субъект, которому можно было бы приписать неуничтожимую природу. Утверждается, что нематериальные существа не имеют частей, а следовательно, не могут быть разложены; и поэтому они не могут погибнуть. Опираясь на этот вывод, спиритуалисты постулировали, что материя не может мыслить; а заключив, что мыслящее начало должно быть неким духом, они вообразили, будто тем самым достигли доказательства бессмертия души. Если оставить в стороне эту цепь умозаключений, то жизненное начало животных (вопреки всему, что может сказать по этому поводу богослов) может быть чем угодно: организацией, электричеством, материей или духом. Бессмертие — вот конечная цель и предмет всей этой теории; и такое смешение теологического первоначала с физиологическим поставило христианского апологета перед дилеммой, последствия которой он, по всей видимости, совершенно не предвидел.

Если допустить, на его же собственных условиях, возможность некой нематериальной сущности, и не обязательно даже бессмертной, для одушевления животных, то в абстрактном смысле больше нет никаких причин, по которым и человек не мог бы жить и существовать в силу той же причины. Таким образом, мистер Реннелл становится столь же грозным противником истинной веры, и столь же способствует религиозному скептицизму, как и любой из физиологов, которых он занес в свой собственный index expurgatorius [индекс запрещенных книг]. Своими же усилиями он оказывается отброшен назад, к моральным аргументам, и

вынужден оставить почву, которую попытался отвоевать у физиологии. В области моральных доводов он в своей стихии — Illá se jactet in aulá [Пусть он властвует в этом чертоге]; и если бы он ограничился ею, не сворачивая с пути ради того, чтобы тащить естествознание coram non judice [в некомпетентный суд], и подвергать его суду инквизиции невежественных догматиков, он избежал бы позора от потери самообладания и времени, не принеся при этом никакой пользы делу, которое столь усердно защищал.[205]

Но если бы ученый теолог и доказал свою правоту, обосновав существование своего нематериального разрушимого начала, то с его стороны было бы всё же неразумно ожидать, что оное станет предметом анатомической демонстрации; и не стоило бы выказывать недовольство господами **Лоуренсом**[206] и **Биша** лишь из-за того, что они не заключили это начало в склянку, и не пустили его по рукам в аудитории наравне с прочими своими препаратами.

Истина же заключается в том, что и доктор Реннелл, и другие критики, в целом не понимают сути спора, который физиологи ведут между собой; они, по-видимому, не осознают, что каковы бы ни были личные взгляды Биша и его последователей на вопросы религии, в своих трудах они ополчались не столько на религиозные догматы, сколько на определенные физиологические представления, бытовавшие в их профессиональной среде. Весь предмет дискуссии среди физиологов касается

---

[205] Нет ничего более ложного, чем вывод, сделанный из физиологического материализма: будто бы стоит лишь его признать, и *«бессмертие души, а вместе с ним и все, что отличает человека от травы, по которой он ступает, будет окончательно уничтожено»*. Богословы неосмотрительно слишком полагались на доводы, почерпнутые из умозрительных мнений о природе жизни, и потому вполне естественно чувствуют беспокойство, обнаружив, что почва, выбранная ими, колеблется под ногами. Этот предмет, впрочем, не нов; опасность была предвидена давно, и лучшие авторитеты уже оставили эти позиции. В самом деле, если эти два положения так тесно связаны, то придется либо отказаться от бессмертия души, либо наделить душой не только животных, но и всякую материальную форму, проявляющую энергию, какой бы ограниченной та ни была. Ибо недопустимо, чтобы люди рассуждали на разных основаниях в зависимости от случая, потакая удобству гипотезы. Если мышление и ощущение требуют нематериальной причины лишь потому, что они не могут быть объяснены при нынешнем состоянии наших знаний, то того же требуют гравитация, магнетизм и прочее. Нам известны лишь немногие законы, по которым проявляются эти свойства, но мы ничего не знаем об их происхождении. Либо материя наделена, либо не наделена энергиями. Если она не наделена, тогда все её формы должны быть извне одушевлены или приведены в движение активностью духа: если же, напротив, она в какой-либо степени само-активируема (наделена собственной энергией), специфическое заключение касательно организованных тел является по меньшей мере преждевременным.

[206] Защищая мистера Лоуренса в рамках общего замысла его труда, а именно — в его учении о жизни, я не считаю себя ответственным за все те частные суждения, кои он мог опубликовать: они могут быть истинными или ложными, своевременными или неуместными, что никак не влияет на основной аргумент. Я заявляю об этом не потому, что уклоняюсь от плавания по морю общественного мнения в одной ладье с мистером Лоуренсом, но дабы предостеречься от мелочных придирок, основанных на каком-либо отрывке из его сочинений, который либо стерся из моей памяти, либо не имеет прямого отношения к тому положению, которое я ныне стремлюсь обосновать.

существования **материального** жизненного начала; ни один современный философ не будет исследовать действие нематериального агента, чья деятельность, ex vi termini (в силу самого определения), лежит за пределами нашего понимания. Джон Хантер (не будем углубляться в древнюю историю сего учения) использовал в своих рассуждениях гипотетическую сущность, которую он именовал «materia vitæ diffusá» (распределенная материя жизни), и которую он вводил в действие для разрешения многих трудностей, касающихся жизненных явлений. С такой же целью и **доктор Дарвин** использовал «Spirit of animation», который он равным образом рассматривал как материальное начало; а мистер **Абернети** (в чьем благочестии как христианина никто из знающих его не усомнится в той же мере, в какой не усомнится в его глубоких познаниях в анатомии) полагает, что прослеживает вмешательство электричества, или некоего аналогичного флюида, в действиях живой машины. Так что, если приписывание силы одушевления материальному агенту действительно является материализмом в делах веры, то эти авторы — такие же **материалисты**, как и те, на кого нападает доктор Реннелл. В самом деле, доктор Дарвин подвергался в свое время суровому поношению, как придерживающийся мнений, не слишком благоприятных для ортодоксального вероучения.

В противовес этой гипотезе, которая на практике, как выяснилось, не проливает света на науку, и даже скорее вносит путаницу в некоторые частные вопросы, **французские физиологи** отрицают наличие в явлениях каких-либо следов подобного агента; они утверждают, что, согласно принципам самой здравой философии, нам следует прекращать рассуждения в тех местах, где у нас более нет нити, направляющей наши изыскания. Соответственно, проследив функциональные способности до неких элементарных образований, которые сами они называют «тканями», и будучи совершенно неспособны продвинуть исследования дальше, они рассматривают эти ткани как элементы своей науки — точно так же, как химики считают элементарными определенные вещества, допуская поправки со стороны будущих открытий.[207] Таким образом, если французская физиология и враждебна религии, то лишь в той же мере, что и противостоящее ей учение; и в отношениях этой науки с религиозными догматами нет ничего ни нового, ни необычайного. Следовательно, было бы в высшей степени несправедливо винить немногих лиц в

[207] Хотя это, по-видимому, и является основным поводом для жалоб, истинным «больным местом», вероятно, выступает утверждение, что **мозг есть орган мысли**, а ощущение и размышление — его функции, подобно тому, как выделение желчи есть функция печени. Оба этих положения опираются на одни и те же свидетельства, и если рассматривать мозг лишь как инструмент для мышления (я бы хотел, чтобы доктор Реннелл объяснил, что он под этим подразумевает, или каким образом некое существо может использовать внешний агент для совершения того, что является его собственным врожденным свойством), то из этого можно заключить, что душа в равной степени выполняет все животные функции; а это сводит её к тому, что называют «растительной душой» — сущности, не представляющей большой пользы для богослова.
Если душа использует мозг как инструмент в акте мышления, то мысль является совместным продуктом энергий души и свойств организма; и если признать это, то из этого следует, что душа, сама по себе (per se), к данной функции неспособна.

недостатке, который, если он и существует, присущ самой области их изысканий. Но в действительности доктрины **Биша** и его последователей не содержат никаких догматических утверждений касательно первопричины жизни. Они не отрицают отвлеченной возможности существования материальной причины, равно как и не обременяют свой предмет рассуждениями о причине нематериальной; ибо, даже будучи принятой в качестве исходной данности, последняя никоим образом не может стать частью их исследований. Принимая элементарные структуры за первые познаваемые причины жизненной деятельности, они не объясняют саму жизнь, и не претендуют на это. Их учение может быть истинным, но догмат о бессмертии также может быть истинным; либо же оба они могут быть ложны; или одно может быть истинно, а другое — лишено оснований.

То, что именуется познанием природного явления, есть способность соотносить частный факт с общим. Когда мы говорим, что камень падает вследствие тяготения, то считается, что мы даем техническое объяснение этому явлению. Следовательно, все первопричины, в силу того что они являются первыми, по необходимости должны оставаться непознанными; и **Ньютон**, открыв закон всемирного тяготения, не просветил нас относительно причины, вследствие которой эта тяга возникает. Если когда-либо обнаружится, что гравитация присуща какой-то особой форме материи — например, свету, теплу или электричеству, — то это лишь отодвинет исследование на шаг дальше. Нам всё равно пришлось бы выяснять, почему конкретно эта субстанция заставляет весомую материю тяготеть, вместо того чтобы спрашивать, как мы это делаем сейчас, почему это свойственно материи в целом. Первопричина, коль скоро она не является следствием чего-либо иного, по определению не может быть постигнута человеческим разумом.

По этой причине строгое доказательство существования Божества, основанное на изучении природы, **невозможно**; и любые физико-теологические аргументы, претендующие на что-то большее, чем на простую вероятность, нелогичны и неубедительны. Именно по этой причине догматический атеизм абсурден, а автор «**Системы природы**» (прим.: Гольбах) настолько же неразумен, как и самый ревностный идолопоклонник, отстаивающий существование некоего капризного и страстного фантома, которого он именует своим богом. Основывать веру в будущее состояние бытия на физиологической необходимости — значит занимать слабую и опасную позицию.[208] Это не более чем argumentum ab ignorantia (аргумент, основанный на незнании), который может быть опровергнут любым изменением в состоянии науки. В самом деле, подобный довод нельзя признать до тех пор, пока хоть одно свойство материи остается неизученным. Но поскольку мы никогда не можем быть уверены, что у материи нет свойств, ускользающих от наших чувств, или что она не проявляет сил, не соотносимых с нашими ограниченными органами, подобный аргумент навсегда останется неубедительным. Проще говоря, **мы**

[208] См. «Письмо доктору Реннеллу о приписываемой душе нематериальности».

должны познать всё, на что материя способна, прежде чем получим право утверждать, чего она сделать не может.

С другой стороны, если от физиолога ожидают — в угоду религиозным взглядам господствующей касты — что он примет существование нематериальной души за аксиому, и признает её гипотетической причиной жизни, тогда он не только in limine (у самого порога) сталкивается с возражением Локка, но также сталкивается и с бесплодностью самого этого допущения. Подобный подход есть не что иное, как объяснение ignotum per ignotius (неизвестного еще более неизвестным), и он не ведет ни к каким полезным научным выводам.

Если душа является причиной жизненных явлений, то именно она должна заставлять элементы объединяться в животные соединения и препятствовать им вступать в те химические связи, которые неизбежны при их естественном сродстве, предоставленном самому себе. Следовательно, она должна оказывать **химическое воздействие на материю** и, как следствие, сама должна быть материальной. Будучи же таковой, она неизбежно должна испытывать на себе ответные реакции тела и претерпевать изменения вследствие союза с ним. Будучи материальной, она должна быть либо неразрушимой монадой, и в таком случае она не способна испытывать ни удовольствие, ни боль; либо она должна быть сложным соединением, и тогда, по необходимости, она не может быть бессмертной. Таким образом, со всех сторон обнаруживается прямое противоречие между двумя догматами: о том, что душа есть начало, одушевляющее материю, и о том, что она одновременно является залогом вечного существования.

Доктрина теизма точно так же не зависит от физиологических дискуссий, и не может надежно покоиться на подобном основании. Если бы явления жизни были сведены к законам обычной неорганической материи, это ничего бы не изменило в общем ходе аргументации. Падение камня — такой же dignus vindice nodus (узел, достойный вмешательства бога), как чувствительность или мышечное движение; и (для тех, кто вообще склонен признавать подобные умозаключения) оно служит столь же убедительным доказательством бытия Божества. Но если признать существование этого Существа, то непосредственное одушевление материи открывает столь же обширное поле для проявления Его могущества, как и достижение той же цели через посредство духа. Люди очень часто рассуждают так, будто материю сотворил дьявол; и будто для поиска доказательств божественной энергии и совершенства необходимо покинуть пределы видимого мира.[209]

[209] Люди рассуждают так, будто ими владеет непреодолимое убеждение в вечности материи и будто для доказательства существования Божества необходимо найти в явлениях творения нечто внешнее по отношению к материи. Однако «материя» и «дух» — это термины, не представляющие никаких четких идей: мы не знаем о духе абсолютно ничего, да и с материей знакомы лишь постольку, поскольку она воздействует на наши органы чувств; следовательно, мы не можем делать никаких надежных выводов из подобных предпосылок.

Какие бы теологические выводы ни последовали из научных предпосылок, они безразличны для самих научных изысканий. Задача физиолога — изучать структуру и функции органических существ, и сводить их к простейшим обобщениям; его священный долг — отбросить всё, что является лишь частным мнением, и исключить любые соображения, не основанные на наблюдаемых фактах. Физиолог отступает от всякого верного метода и роковым образом вводит своего ученика в заблуждение, когда прибегает к помощи гипотетического начала лишь потому, что не может объяснить факты, находящиеся перед ним. Наставник обязан бесстрашно следовать указаниям природы и представлять вещи такими, какими он их находит, будучи уверенным, что Божество не может противоречить самому себе и что **вещи видимые** суть единственные непогрешимые **мерила вещей невидимых**. Избрав сей путь, исследователь может столкнуться с кознями корыстолюбцев или фанатиков; более того, ему, быть может, придется бороться с действием законов, которые делают столь же мало чести религии, сколь и просвещенности нашего века, или противостоять решениям, ведущим к подавлению всякого свободного исследования. Но да послужит ему утешением мысль о том, что его деяния находят одобрение у людей просвещенных и добродетельных, и что он, в меру своих сил, послужил делу истины и способствовал благу человечества.

Взаимосвязь нравственной и физической истины есть следствие, столь непосредственно вытекающее из единства Божества, что едва ли возможно не усомниться в искренности тех, кто приходит в негодование от любой попытки расширить пределы естественных наук. Кажется, что они обнаруживают почти инстинктивное сознание того, что в их же собственном символе веры не всё благополучно; и, вне всякого сомнения, человек, требующий от нас принесения в жертву нашего разума — лучшего и величайшего дара небес, — является либо откровенным плутом, либо человеком самого скудного ума.

Сознавая, что физиология не дает веских аргументов ни в пользу, ни против определенных религиозных воззрений (за исключением единственного ложного вывода о физической необходимости бессмертной и нематериальной причины органических явлений), автор «*Очерков философии жизни*» старательно избегал вовлечения позитивной науки в дискуссии о вопросах чистой веры. Он прямо

Нематериальность постулируется ради того, чтобы прийти к бессмертию. Но если все нематериальные формы бессмертны, то из этого с необходимостью следует вечность души a parte priori (от предшествующего); таким образом, доктрина о нематериальности души скорее подрывает, чем поддерживает учение о нашем подчинении всемогущему Творцу.

На каждом шагу мы сталкиваемся с сомнениями, противоречиями и абсурдом. Опрометчивость и самонадеянность, принимающие идеи и термины, которые мы вынуждены формировать под воздействием внешних факторов на наши чувства, за представителей истинно сущего, не могут закончиться ничем, кроме разочарования. Мы ничего не знаем о происхождении вещей и не можем ничего о нем знать; мы говорим лишь о собственных концепциях, и они, конечно же, не являются достаточным основанием для той неистовой нетерпимости и омерзительных преследований, которые позорят любые догматические секты.

заявлял, что отстаиваемые там физиологические воззрения не имеют никакой необходимой «связи с учением о бессмертии души», и подкрепил это утверждение авторитетом епископа Уотсона,[210] который, будучи истинным христианином и ученым-химиком, был вполне способен очертить границы, разделяющие науку и религию.

Следовательно, хотя я охотно признаю, что метод рассуждения, примененный в этой книге, может представлять опасность для ложной религии, и способствовать формированию привычек мышления, губительных для всего того, что, не будучи от Бога, обманным путем навязывается нашему легковерию. Но автор все же надеялся, что, ограничиваясь строгими рамками своих профессиональных занятий, он вправе рассчитывать на обыкновенную скромность, которая удержит заинтересованного или введенного в заблуждение оппонента от открытых нападок на его свободу мысли или чистоту его намерений. Во всяком случае, он пребывал в уверенности: если та ревнивая подозрительность, с коей любые корпорации почти повсеместно защищают подступы к своим интересам, и заставит священнослужителя на мгновение заподозрить, что свободное исследование способно угрожать его вере — вместо того чтобы твердо полагаться на неизбежное согласие веры с природой и наукой, — то такой оппонент, по крайней мере, будет вести спор хладнокровно, опровергать сдержанно и, превыше всего, воздержится от ядовитых инвектив и приписывания мотивов, которые наносят не меньший вред самим обвинителям, нежели жертвам их враждебности. Посему автор не без удивления обнаружил, взяв в руки памфлет «Христианского защитника», что объект его атаки нашел в нем столь же мало христианского милосердия, сколь мало в самом «защитнике» оказалось способностей; невежество этого верхогляда выглядело еще более оскорбительным из-за преследовательского рвения фанатика. Автор испытал глубокую скорбь за свою alma mater, увидев имя её официального представителя под подобным сочинением.[211]

---

[210] «Сии догматы зиждутся всецело на авторитете Священного Писания; и наиболее здравомыслящие богословы воздерживались от смешения философских изысканий с религиозной верой».

— Мемуары Уотсона, том I.

[211] «...И сколь прискорбно, если не сказать смехотворно, видеть в нашу эпоху, как почтенная и одобряемая многими корпорация предпринимает серьезную попытку искоренить сию ересь, прибегая при этом к такой (я вынужден это сказать) нетерпимости и пошлости, будто от его успеха зависит существование всякого священного для людей принципа. У порога исследования, которое должно было быть СТРОГО ФИЛОСОФСКИМ, нас встречает проповедь о вере, разуме, молитве и Священном Писании, о французской "Энциклопедии", о различных газетах, об "Эдинбургском обозрении" и бог весть о чем еще: и все лишь потому, что автор решил сражаться с призраком, им же самим и вызванным.

Увы, бедный Кембридж! Плохо дело обстояло бы с твоей славой, если бы все твои сыны рассуждали подобным образом; и благо, если всего блеска твоих Барроу и Ньютонов хватит, чтобы прикрыть бесчестие, принесенное приютившейся в твоих стенах теологией, подобной этой». — Письмо к преподобному Т. Реннелу о приписываемой нематериальности души.

Защитнику христианства следовало бы помнить, что он не огражден неуязвимой броней своей кафедры; он обращается к публике через посредство слова, которое не знает привилегий и ставит противников, каково бы ни было их положение, в условия полного равенства — за исключением лишь той разницы, что может заключаться в закалке их оружия или в ловкости, с которой они им владеют. Ему следовало бы также знать, что судьи в его споре не потерпят дерзости, присваивающей себе монополию на добродетель и не видящей в инакомыслии ничего, кроме преднамеренной злобы. Они не позволят внушать себе, будто **Юмы**, **Гиббоны** и **Болингброки** предавались своим разумным сомнениям в спорных вопросах лишь для того, чтобы оправдать ПОТАКАНИЕ РАСПУТНЫМ ПРИВЫЧКАМ; или что это «ПОТАКАНИЕ ЕСТЬ НЕИЗМЕННАЯ ЦЕЛЬ И ПРЕДЕЛ ВСЕХ ИХ ВОЗРАЖЕНИЙ И ВСЕХ ИХ ПРИНЦИПОВ». Они не допустят, чтобы мужей чистой жизни и безупречных нравов, людей, посвятивших себя кропотливым изысканиям и глубоким исследованиям, обвиняли в «разврате», «гордыне» или «невежестве» только потому, что те не обладали близоруким умом «Защитника христианства» или были лишены того поверхностного, самовлюбленного самодовольства, которое лениво почивает в уверенности в непогрешимости своих первых впечатлений.[212]

В то время, когда это издание впервые увидело свет, автор «Очерков» находился на Континенте, и помыслы его были заняты иными трудами. Чувствуя, сверх того, что на страницах этого сочинения нет ничего, на что не мог бы ответить любой младший студент, и что его высокомерие и желчность заслуживают лишь осмеяния, автор решил воздержаться от немедленного ответа и оставить книгу вместе с её возражениями, руководствуясь правилом valeant quantum valere possunt — пусть они значат ровно столько, сколько стоят. В сущности, все обвинения, направленные лично против него (за исключением разве что тех, которыми он был причислен к разряду «распутных, надменных или невежественных скептиков» — обвинение, которое, будучи разделено с Юмом, Вольтером и иными, могло бы быть безропотно снесено личностями куда менее скромными и более выдающимися, нежели он), сводились лишь к попытке тайком выставить Юлия Цезаря в качестве авторитета под личиною Цицерона, и к построению метафоры на основе труда Спалланцани

[212] ..Если некое лицо придерживается мнения, служащего для него источником великой выгоды, и защищает оное без прямодушия и спокойствия, призывая, быть может, Законодателя покарать тех, кто склонен сомневаться в его истинности, то резонно предположить, что мотивы сего лица нечисты; что оно, по меньшей мере, столь же остро ощущает полезность сего догмата для самого себя, сколь и его истинность.
И все же, если бы кто-либо наделил «Защитника Христианства» оскорбительным прозвищем и столь же щедро обвинил его в мошенничестве и лицемерии, как он сам обвинял философов в гордыне и излишествах, он поднял бы невообразимый крик. С другой стороны, если бы обвинения его были обоснованы и если бы у философов хватало скромности скрывать свои дурные привычки за софистическими мнениями, позволительно было бы спросить: чем же они хуже многих богословов, кои, не краснея, ведут жизнь, прямо противоположную тем священным учениям, за проповедь которых им платят.

там, где тот вступал в противоречие с Вергилием. Обе эти погрешности могли быть совершены без какого-либо существенного ущерба для доводов автора.

Однако, хотя с точки зрения аргументации самозащита и не требовала ответа, клеветнические нападки на нравственную направленность доктрин, которые автор «Очерков» отстаивал наряду с писателями более именитыми, казалось, требуют некоторого внимания; а фанатичные и крикливые возгласы «Христианского заступника», сколь бы нелепыми они ни были,[213] послужили поводом для того, чтобы без промедления представить публике краткий **очерк системы морали**, которая может быть выведена из физиологических истин, изложенных в предыдущей публикации.

Не все способны судить о философских доводах; но каждый видит, что всё подрывающее основы общества и поощряющее порок — гнусно и презренно, даже если, par l'impossible, это было бы физической истиной. Поэтому представлялось необходимым дополнить уже изданный труд ещё одним, демонстрирующим практические следствия, вытекающие из его положений. Это нужно для того, чтобы показать, что **скептицизм**, в котором обвиняли автора, совсем не ведет к той распущенности нравов, которую «Христианским заступникам» угодно приписывать любой системе, кажущейся им враждебной по отношению к их платной иерархии (stipendiary hierarchy). Обязательства к добродетели во всех ее проявлениях, вплетенные самой природой в устройство видимого мира, по меньшей мере столь же властны, непреклонны и действенны, как и те, что основываются на самой совершенной религиозной системе — системе, подверженной разнообразным толкованиям разной степени достоверности, и подкрепляющей свои веления карами, которые не обязательно и не в строгом смысле применимы к каждому грешнику.

Любая система, предполагающая, что материальный мир столь несовершенен и ущербен в своих нравственных механизмах, что для его поддержания требуются сверхъестественные наказания (тем самым подчиняя вечность интересам земным), представляется настолько **унизительной** для той высшей мудрости, которой приписывается создание всего сущего, что с самого начала вызывает сильное подозрение. То, что человек мог быть устроен так, будто он совершенно не пригоден для поддержания общественного союза, необходимого для его существования на земле, без влияния побуждений, исходящих с небес, уже само по себе поразительно; но то, что это обстоит именно так, при том что религиозная истина окутана столь густой пеленой тайны и мрака, — это представление, которое еще труднее согласовать с божественной мудростью и благостью. Едва ли можно поверить, что трудов всех философов и богословов с самого начала задокументированной истории оказалось бы недостаточно для установления неоспоримых религиозных

[213] Rien n'ôte l'envie de rire, comme la peur d'être lapidé. (Ничто так не отбивает желание смеяться, как страх быть побитым камнями).

истин — будь эти истины действительно необходимы для благого земного управления миром; и это в то же время, когда мы видим, как движения самого ничтожного сорняка, или самого невзрачного лишайника, направляются с непогрешимой точностью.[214]

Целью настоящего труда является открытие тех принципов, которые могут быть явлены наблюдением за природой и простым опытом. Автор не ставит целью подвергнуть сомнению великие догматы европейской веры; но, оставив их на время в стороне, желает исследовать, не внушает ли сама природа те нравственные обязанности, которые толкователи религии притязают преподавать единолично: и, следовательно, не таит ли в своей груди даже самый сухой скептик мотивы к нравственному поведению, по крайней мере, достаточные, чтобы освободить его от насмешек и недоброжелательных подозрений того круга людей, к которому принадлежат «Христианский защитник» и его соратники по «Обозрениям» — круга, который в данном случае нет нужды определять более подробно. Даже если признать истинность религиозных догматов в полной мере, вечное существование не может быть подчинено лишь целям этой преходящей жизни; напротив, скорее земное бытие зависит от интересов вечных. Посему нам должно быть позволено без порицания исследовать, каково физическое происхождение морального долга и какова **подлунная санкция** нравственного поведения.

Если допустить, что наше бытие — как нынешнее, так и грядущее — проистекает из мудрости, могущества и благоволения одной и той же Великой Первопричины, то наши интересы в этих двух состояниях не могут быть противоречивыми. Лишь ложным религиозным системам изучение природы способно нанести вред. Если какой-либо церковник (независимо от его веры — будь то магометанин, христианин или индус) соизволит счесть опасным этический кодекс, выведенный из подобного изучения, он прежде всего обязан доказать, что этот кодекс ложно выведен из фактов. Ибо любая попытка очернить его инвективами и обличениями является prima facie свидетельством опасения быть уличенным в противоречии с великой книгой Природы и с тем вечным учением, которое Провидение в ней раскрыло.

Если бы было верно, что некая совокупность взглядов действительно оправдывает то, что принято считать самозабвением в пороке и преданностью распутным удовольствиям, то одного этого обстоятельства было бы достаточно,

[214] Система морали, содержащаяся в божественном откровении, относится к отношениям, установленным между Богом и Его творениями; естественная же мораль непосредственным образом касается отношений между человеком и человеком. Они, безусловно, не могут противоречить друг другу, но поскольку вторая служит одним из лучших критериев для изучения первой, чрезвычайно важно изучать их по отдельности. Некоторые лица пытались доказать, что религиозная санкция абсолютно необходима для целей гражданского общества, дабы поддержать роковой союз **трона** и **алтаря**. Однако общество существовало при всех религиозных системах, как ложных, так и истинных; следовательно, объектом религии является мир иной; ее влияние на мир сей косвенно и является лишь следствием того, что она исходит из той же воли, которая вызвала к жизни мир видимый.

чтобы бросить тень серьезного сомнения на их истинность. Однако если бы при дальнейшем исследовании эти взгляды подтвердились, это только лишило бы означенные удовольствия клейма распущенности, показав, что в действительности они созвучны нашей природе. Впрочем, мы никогда не слышали ни об одной философской системе, которая пыталась бы подорвать всеобщие суждения человека о великих основах морали. Изучение Природы вновь и вновь убеждает нас в мудрости и уместности обуздания наших животных порывов, а также в конечных преимуществах добродетели — как для отдельной личности, так и для всего общества. Следовательно, обвинения, выдвинутые «Христианским защитником» и его сподвижниками, являются гнуснейшей и беспочвенной клеветой, пущенной в ход с целью дискредитировать ученых и писателей в глазах народных масс, не способных ни взвесить философские доводы, ни оценить достоинства специальных дискуссий. Подобные наветы опровергаются каждой моральной аксиомой, встречающейся в трудах обвиняемых, и в еще большей степени — их безупречным жизненным путем: ибо, если не брать в расчет те ошибки, что являются общим уделом человечества во всех его проявлениях, наиболее назидательные примеры добродетельной жизни можно найти именно среди тех, кто посвятил себя глубочайшим поискам философской истины.[215]

---

[215] СМЕРТЬ ВОЛЬТЕРА И Д'АЛАМБЕРА

Поскольку «Христианский защитник» вновь извлек на свет нелепые и бездоказательные басни о кончине Вольтера и д'Аламбера, я, будучи в Париже, воспользовался случаем, чтобы получить свидетельства единственных ныне живущих лиц, которые действительно присутствовали при этих событиях.

Нижеследующие документы являются решающими в данном вопросе; и так как свидетели находятся в весьма преклонных летах, представляется важным, чтобы их показания стали достоянием общественности. Первый документ — это выдержка из письма доктора Бюрара, который в качестве помощника врача неотлучно находился при Вольтере в его последние мгновения.

Оно начинается так: «Я почитаю за счастье иметь возможность, отдавая дань истине, уничтожить воздействие лживых россказней, кои распространялись о последних часах господина де Вольтера. По долгу службы я был одним из тех, кому было поручено следить за течением его болезни (совместно с господами Троншеном, Лорри и Три, его лечащими врачами); я не покидал его ни на мгновение в его последние часы и могу засвидетельствовать, что мы неизменно наблюдали в нем ту же силу характера, хотя вследствие своей болезни он, должно быть, испытывал ужасные страдания». (Здесь следуют подробности истории болезни). «Мы строжайше запретили ему говорить, дабы предотвратить развитие кровохарканья, которым он страдал; посему он непрестанно поддерживал связь с нами посредством записок на небольших карточках, на которых писал нам свои вопросы: вопросы: мы отвечали ему устно, и если ответ его не удовлетворял, он неизменно излагал свои замечания письменно. Таким образом, он сохранял ясность ума до самого последнего мгновения; а вздорные россказни, пущенные в ход, заслуживают лишь глубочайшего презрения.

Нельзя даже утверждать, будто некто поведал о тех или иных обстоятельствах его кончины как очевидец; ибо под конец доступ в его покои был закрыт для всех. Те, кто приходил осведомиться о здоровье больного, оставались в гостиной или в соседних комнатах. Слова, приписываемые маршалу де Ришелье, столь же вымышленны, как и всё прочее.

Париж, 3 апреля 1819 г.

Движимый этими чувствами, я представил — возможно, поспешно и без должного внимания к личным соображениям, беглый и краткий очерк нравственной системы, которая раскрывается при изучении человека видимого и осязаемого, рассматриваемого лишь как обитателя сего мира, безотносительно к каким-либо религиозным или философским гипотезам о первопричинах его жизненных отправлений. Я не могу не выразить надежды, что делу истины не будет нанесен ущерб скудостью моих познаний, и что моими ошибками или неясностями не воспользуются для предвзятого суждения по вопросу, для должного решения которого мне, быть может, недостает сил. Настоящий момент может показаться неблагоприятным для того, чтобы быть услышанным беспристрастно, ввиду яростного противодействия тех, чьи интересы идут вразрез с распространением

(Подпись) БЮРАР, врач.

Это свидетельство доктора Бюрара было во всех подробностях подтверждено мне маркизой де Вильет, приемной дочерью Вольтера, которая также находилась при нем в его последние минуты. Следующий документ — письмо от моего доброго друга, ученого и любезного господина Пужана, члена Академии надписей, чье имя служит синонимом искренности и простоты. Оно касается кончины Д'Аламбера.

Париж, улица Малых Августинцев, 27 февраля 1819 г.
«Господин кавалер!
Отвечаю с обычной моей откровенностью на письмо, коим вы почтили меня 21-го числа текущего месяца. Вот чистая правда.
Я имею некоторое право на доверие, ибо был учеником и самым близким другом покойного господина Д'Аламбера, несомненно, лучшего из людей. Ложно утверждение, будто покойный господин маркиз де Кондорсе находился в его комнате в тот час, когда он предал земле свой бренный прах. В течение нескольких дней его и вовсе не было в Париже. Полагаю, он пребывал в Ла-Рош-Гийон, у покойной госпожи герцогини д'Анвиль.
Господин Д'Аламбер скончался, склонив голову мне на грудь, с хладнокровием мудреца и спокойствием добродетельного человека. Никакого страха перед будущим, которое должно пугать лишь нечестивца; никакой аффектации, которая чаще всего есть лишь притворная слабость. Я не стану говорить здесь ни о его глубоких познаниях, ни об изысканном литературном вкусе — просвещенная Европа отдает ему должное. Но людям добродетельным будет отрадно узнать, что вся его жизнь была не чем иным, как чередою добрых дел.
Имею честь пребывать и проч., и проч.
ПУЖАН,
кавалер Суверенного ордена Св. Иоанна Иерусалимского,
и т. д., и т. д.

Происхождение подобных историй, здесь опровергаемых, понять несложно. Будь они правдивы, они доказывали бы лишь то, что человек, изнуренный болезнью, не обладает той же твердостью характера, что и в пору расцвета сил. Но, истинны они или ложны, они превосходно отвечают умственному складу суеверных сплетников, кои меряют человечество во всех его проявлениях мерилом собственного наглого скудоумия и обретают удовольствие в сильных ощущениях, напрягая свое ограниченное воображение так, как никогда не смогли бы напрячь свой еще более ограниченный рассудок.
Верил ли «Христианский заступник» этим глупым россказням или нет, придает ли он им значение или не придает — я предоставляю ему в полной мере воспользоваться плодами этой дилеммы.

истины, а также вследствие отчаянных и злонамеренных козней части прессы, которая — столь же глупо, сколь и порочно — силится **насаждать фанатизм как инструмент государственного управления**.

Но хотя подобные лица и их приспешники составляют самую крикливую и на данный момент, пожалуй, самую многочисленную клику, они отнюдь не являются высшими авторитетами в вопросах мнения; между тем сам ход вещей с каждым днем подрывает их вес в глазах лучшей части общества. Однако именно эта пагубная деятельность ханжей и пройдох, более ненавистная, нежели тех самых простаков, коих они вводят в заблуждение; именно это делает подобную дискуссию столь насущно необходимой. Нет ни доблести, ни пользы, ни мужества в том, чтобы нападать на мнения уже поверженные; нет и благородства в том, чтобы тревожить безмятежное и довольное собой невежество, что в тишине покоится на обломках развенчанных догм.

Опровержения требует ошибка живая, процветающая и пагубная; бесстрашной атаке должно подвергнуть искажение истины — продажное, корыстное и полное интриг. Пусть те, кто полагает, будто автор этих страниц переоценил свои силы или неверно избрал себе цель, признают (ибо отрицать это невозможно): путь, по которому он пошел, не ведет ни к праздному наслаждению, ни к мирской славе, ни к жалованью, ни к высоким чинам.

Глава I. Об организации и её отношении к морали

«Разве всякое животное не обладает непреодолимым инстинктом, которому оно неизбежно повинуется? Что же такое этот инстинкт? Это устройство органов, действие которых проявляется со временем».
- Вольтер, «О нравах».

Если философия разума и сделала какой-либо шаг навстречу устойчивости и точности, присущим естественным наукам, если ныне её можно счесть хоть в какой-то мере чем-то превосходящим некое неразрывное сплетение сомнений и заблуждений, — то этим улучшением мы всецело обязаны мыслителям Нового времени. С той эпохи, когда Локк дал развитие ясному принципу, гласящему, что «чувства суть единственный путь к познанию», история наших восприятий стала предметом успешного изучения, а феномены их были сведены к общим законам с такой точностью, которая почти не оставляет желать лучшего. Однако метод, которым следовал великий основоположник метафизики, редко и весьма несовершенно применялся к исследованию человека как существа волящего и действующего; и эта важнейшая область познания по сей день может почитаться за бесформенный и неупорядоченный хаос.[216]

Учения о морали столь тесно переплелись с гипотетическими представлениями о существовании, природе и конечных судьбах души, что отношения человека к внешней природе, а также воздействие и противодействие физических сочетаний и общественных установлений на его способности были упущены из виду или рассматривались лишь как нечто второстепенное; в то время как сама попытка подчинить данный предмет строгим процессам индукции и анализа — затрагивает столь многие интересы и рискует поколебать столь многие предрассудки, что подобное предприятие справедливо может считаться не только трудным, но и опасным. Именно по этой причине исследования неизменно начинались с самых

[216] За исключением трудов Кабаниса и Дестюта де Траси, мне не известны никакие иные недавние работы, пролившие бы свет на этот предмет, каковой пребывает почти в том же состоянии, что и во времена греческих философов. Две школы по-прежнему противостоят друг другу, точь-в-точь как в Греции; обе догматически утверждают свои гипотезы и воздвигают на духовной или материальной теории те здания, кои более всего угодны воображению автора.
Я в полной мере сознаю опасность этого утверждения, но истина понуждает меня заявить, что писатели шотландской школы, как мне представляется, скорее отбросили науку назад, нежели способствовали её прогрессу. Облекая засушливый предмет своих трудов в очарование стиля и красноречия, они придали широкое хождение и моду системе, зиждущейся на самом вопиющем petitio principii [предвосхищении основания]. Их системы великолепны и внушительны, но лишены доказательств; а их сочинения, более риторические, нежели логические, рассчитаны на то, чтобы прельщать в той же мере, в какой они способны вводить в заблуждение.

отвлеченных размышлений и велись синтетическим путем, пока не завершались сводом обязанностей, составленным без какого-либо учета способностей и склонностей того «механизма», коим они призваны управлять.

Неизбежными плодами такого превратного пути разума становятся неуверенность, противоречия и полное расхождение между теорией и практикой; это доходит до такой степени, что неспособность морально-философских трактатов упорядочить дела в реальной жизни стала притчей во языцех. Теми же немногими правилами, достойными доверия в житейских делах, которыми человечество все же располагает, оно обязано лишь **грубому и эмпирическому наблюдению** за ходом общественной жизни. Нравственные явления, подобно явлениям физического мира, суть факты, зависящие от порождающих их причин; их действие во все века оставалось неизменным, а следовательно, и природа их постоянна. Посему рассуждать о том, каким живое существо могло бы или должно было бы быть в отрыве от означенных причин, столь же неразумно, как строить теорию мироздания, исключая из нее любую из реально действующих сил. Никакие выводы, почерпнутые из умозрений о природе, достоинстве и конечном предназначении человека, не могут быть признаны истинными, если они не подтверждаются жизненными реалиями; и лишь те неоспоримые факты, к которым сводятся эти реалии, образуют верное основание для здравой и убедительной системы нравственности.

Метод, принятый на последующих страницах, будет опираться именно на такой взгляд на предмет. Цель данного труда — не в построении утопической теории о том, каким человек **должен** быть, но в исследовании причин, делающих его таким, какой он **есть**, дабы выяснить, кем он **способен стать** при более благоприятных условиях общественного устройства и цивилизации.

Причины, созидающие нравственное бытие человеческого вида, суть: особенности строения, которыми определяются интеллектуальные возможности; отношения живого существа с внешней природой в целом; и те связи, которые оно поддерживает с представителями своего собственного вида в их общественном союзе. Дабы постичь работу машины, необходимо прежде всего ознакомиться с её механизмом. Все отношения между людьми проистекают из потребностей индивида, а также из применения его способностей ради их удовлетворения. Таким образом, исследование этих потребностей, законов их возникновения и того, каким образом они воздействуют на движущие волокна, относится к числу первооснов науки о нравственности.

Это те позиции, которые затрагивает нравственная и естественная философия. Ощущение и реакция суть конечные пределы анализа всех органических явлений, рассматриваются ли они в отношении к самому строению как к механизму, или же к индивиду и его виду как к существам чувствующим и разумным. Действие и претерпевание охватывают собой всю полноту как нравственного, так и животного существования. Движения живой организации, направленные на её собственное

сохранение, относятся к области **физиологии** и **медицины**; в то же время в их отношении к обществу они составляют предмет изучения **моралиста**. Нарушения этих движений в первом случае именуются болезнями, во втором — пороками; однако в обоих случаях эти факты принадлежат к одному порядку, управляются одними и теми же законами, проистекают из сходных причин и стремятся к одной и той же цели.

Впечатления, которые философия причисляет к нравственным побуждениям к действию, являются лишь частью тех движущих сил, что вызывают явления жизни. В этом смысле воздействие общества на индивида и индивида на общество образует лишь ветвь естественной истории человека и может быть наилучшим образом понято лишь в тесной связи с остальными её частями. Человек как живое существо связан своей организацией с долгой цепью созданий, существующих по общему закону и проявляющих великое множество сходных феноменов. Характерными отличительными чертами этих существ являются восприимчивость к внешним воздействиям и последующая ответная реакция; они, хотя и в самых разнообразных сочетаниях и видоизменениях проявляются у каждого вида и особи, судя по всему, подчиняются единому механизму, принцип которого неизменен для всех.

Чувствительность — это свойство живого волокна, она наделяет его восприимчивостью к изменениям, которые не обусловлены ни механическим ударом, ни химическим воздействием;[217] реакция же — свойство, обнаруживаемое в каждом живом органе через некие специфические движения, вызывающие перемены либо в состоянии самой машины, либо (посредством деятельности особи) в окружающих её предметах.[218] Каждая живая структура наделена означенными качествами в той мере и в том виде, которые наилучшим образом приспособляют её к исполнению предначертанной функции в общем механизме; и каждое животное обретает в совокупности своего строения чувствительность к внешней природе, и способность воздействовать на неё в степени, достаточной для поддержания своего существования. Однако какими бы разнообразными и сложными ни были проявления жизни у самых высокоорганизованных видов, вся совокупность жизненных феноменов — начиная с полета поэтической фантазии и философских изысканий, и до едва заметного роста простейшего лишайника — в равной степени сводится к двум общим фактам: **ощущению** и **реакции**.

Эти способности заложены в различных живых структурах лишь как потенции; они пробуждаются к деятельности только под воздействием определенных

---

[217] Это определение выражает тот смысл, в котором данный термин употребляется физиологами; они используют его для обозначения жизненной силы, присущей как животным, так и растениям. Чувствительность не обязательно подразумевает наличие сознания, которое может сопутствовать, а может и не сопутствовать деятельности ощущающих волокон. См. «Философия жизни».

[218] Движущую силу животных обычно именуют сократимостью; однако сей термин, пожалуй, излишне теоретизирован.

субстанций, специфичных для каждой конкретной организации[219] и во всех случаях являющихся внешними по отношению к её строению.[220] Семя растения оставалось бы инертным, пока не сгнило бы и не погибло, если бы не воздействие тепла и влаги. Подобно этому, глаз остается неспособным выполнять свою функцию, если катаракта преграждает путь свету; точно так же и страсть может дремать в бездействии, если внешним поводам, вызывающим её возбуждение, не позволено вступить в силу.

Вещества, рассматриваемые в их отношении к чувствительности живых структур, называются стимулами (раздражителями); стимулы, которые, воздействуя через интеллект, порождают произвольное движение, именуются мотивами.

Сознание, или **восприятие**, это видоизменение чувствительности, тесно связанное с существованием особой системы органов — головного мозга и нервов. Оно является необходимым дополнением к способности к передвижению — качеству, жизненно важному для тех видов, которые не могут поддерживать жизнь за счет питательных веществ, доступных повсеместно на земной поверхности. Растения, питающиеся углекислотой и водой, которые вступают в контакт с их сосудами благодаря изменениям в атмосфере, остаются привязанными к почве; животные же, не способные существовать на подобных материалах и вынужденные самостоятельно искать пропитание, в силу этой необходимости оказываются зависимы от системы органов передвижения. Для управления этими органами требуется способность различать внешние объекты, с которыми животное таким образом вступает во взаимодействие.

Глубина и тонкость восприятия соразмерны двигательным способностям каждой отдельной особи, а также количеству и разнообразию веществ, с которыми эти способности позволяют ей соприкасаться. Уровень интеллекта ниже того, что достаточен для самосохранения животного, подвергал бы его ежечасной опасности; с другой стороны, знакомство с теми частями природы, которые не способны влиять на его благополучие, не принесло бы никакой пользы. Те самые чувства, что необходимы для безопасности индивида, могут равным образом становиться проводниками знаний, рожденных из чистого любопытства; ибо раз установив связь с любым заданным свойством материи, мы открываем дверь к исследованию всех сочетаний, в которых это свойство проявляется, независимо от его возможного

[219] Именно в этом отношении чувствительность отличается от механического удара, эффект которого пропорционален силе импульса, какова бы ни была природа движущегося тела. Чувствительность живого волокна могут возбудить лишь немногие строго определенные вещества: например, свет — для глаза, колебания воздуха — для уха, кровь — для полостей сердца и так далее. Сила ответного движения, возбуждаемого в живом волокне, не остается неизменной при любых обстоятельствах или во всех случаях стимуляции. Одна крупинка рвотного камня вызывает в желудке гораздо более сильное действие, чем фунт хлеба.

[220] Все стимулы являются внешними по отношению к поверхности, на которую они воздействуют; хотя некоторые стимулирующие вещества, вырабатываемые внутри самого организма, в этом смысле могут рассматриваться как внутренние.

влияния на воспринимающий субъект. Однако можно смело утверждать, что ни одно живое существо не может познать объекты, не обладающие какими-либо общими свойствами с субстанциями, от которых зависит собственное выживание животного.

Следовательно, существует абстрактная возможность не только бытия бесконечного множества существ, непостижимых для наших органов чувств, но и наличия в ощущаемой материи бесконечного множества свойств, которые мы не в состоянии помыслить; а значит, и соответствующих следствий, причины которых мы не можем оценить. Относительно подобных существ и свойств человек, однако, не может ничего утверждать, поскольку они не составляют части его опыта. Если же, исходя из такой абстрактной возможности, он дает волю своему воображению и гипотетически вводит их в свои рассуждения, он вынужден облекать их в атрибуты, заимствованные у материальной природы. Тем самым он наделяет их характером и типом деятельности, которые по самому их определению им не свойственны. Опираясь на подобные предпосылки, невозможно сделать ни одного безопасного шага; такая попытка может лишь привести к замене невежества заблуждением, и обратить вспять, а не ускорить движение разума.[221]

Восприятие того, что существует во внешней природе, и способность к передвижению тесно взаимосвязаны, и поэтому нервная и мышечная системы служат взаимным дополнением друг друга. Первая из них (фиксируя перемены, происходящие в окружающих животное объектах, а равно и многие изменения в самой машине его организма) является средоточием тех состояний, которые мы именуем потребностями; вторая же предоставляет средства для превращения этих потребностей в **наслаждения**.

От модификаций этих двух систем зависят характерные нравственные различия, выделяющие те или иные семейства животных: они делают их более или менее деятельными, смелыми, хитрыми, изобретательными и т. д., а также определяют их склонность к жизни в одиночестве, в сообществе или в моногамном союзе. Для того, чтобы подобный механизм действовал с достоверностью и эффективностью, очевидно, что его движения должны пребывать в совершенной гармонии, и в связи с внешней природой: ни одна из этих сторон не может претерпеть сколь-нибудь значительных изменений без того, чтобы не вызвать расстройства в жизненных процессах; такое расстройство, перейдя определенные границы, неизбежно влечет за собой гибель индивидуума. Следовательно, чем проще организация, и чем меньше её связей с внешним миром, тем вернее её движения и тем менее они подвержены случайностям. Совершенство человеческих

[221] Именно так человечество пришло к тому, чтобы наделить Божество антропоморфным естеством. Он гневается или радуется; Он выбирает средства для достижения целей; Он слышит, видит, судит, изъявляет волю и действует подобно человеку. Однако подобные образы бытия в корне противоречат атрибутам нематериального, всемогущего и всеведущего Божества. Такова неизбежная немощь твари перед лицом своего Творца!

чувств, широта двигательных способностей и проистекающее отсюда многообразие связей человека с природой и обществом подчиняют наш вид, в силу механической необходимости, гораздо более значительным отклонениям в деятельности, нежели прочих животных. Это порождает болезни, пороки и несчастья, от которых избавлены бессловесные твари в силу своего более ограниченного существования.

Способность воспринимать качества предметов и подчинять их пользе - подразумевает не только осознание спонтанных перемен, происходящих внутри машины и меняющих её отношения с внешней природой, но также и восприятие тех изменений, которые внешние факторы производят в теле в момент своего воздействия. Таким образом, всякое изменение — проистекает ли оно из причин внутренних или вызвано внешним раздражением — сопровождается удовольствием, болью или безразличием, служа индикатором того, к чему следует стремиться, чего следует избегать, а что — оставлять без внимания. В строгом смысле слова понятия **удовольствия** и **боли** должны ограничиваться ощущениями, вызванными физическим воздействием на сами нервы. Но в обыденной речи они наделяются куда большей широтой значений; их прилагают ко всякому случаю, когда живое существо осознает либо беспрепятственное отправление функций, либо некое затруднение в проявлении своих сил. Более того, эти понятия распространяются и на идеи, которые, в силу своей ассоциативной связи с причинами страданий или наслаждений, способны изменять состояние индивида.

Дабы определенные боли и удовольствия вызывали соответствующие реакции в мышечной системе, Природа заложила в различные виды животных особые врожденные предрасположенности или склонности к движению. Они сопряжены с подобающими им ощущениями, и приводятся в действие при непосредственном возникновении вызывающих их сенсорных причин: эти склонности суть **влечения**, **страсти** и **инстинкты**. Необходимость подобного устройства механизма самоочевидна. Одушевленное существо может испытывать общее чувство слабости и дискомфорт в области желудка, указывающие на потребность в питании; однако этого было бы недостаточно, чтобы привести машину в сообразное движение, если бы, согласно изначальному закону, сии ощущения не пробуждали необходимую потребность искать и поглощать пищу, сопровождаемую инстинктивным предпочтением веществ питательных тем, что не приносят никакой пользы. Без подобного устройства животное погибло бы задолго до того, как разум смог бы подсказать ему первые шаги индукции, необходимые для установления связи между ощущением и объектом, на который оно указывает.

Врожденные склонности не являются исключительной особенностью для органических соединений. Подтверждением этой мысли служит неизменность кристаллических форм в царстве минералов. Растения также обнаруживают две весьма примечательные тенденции: стремление корня расти вниз, в то время как стебель устремляется вверх (независимо от положения семени), и стремление верхней поверхности листьев тянуться к свету. По мере восхождения по лестнице

органического мира и усложнения структуры живых существ, эти склонности становятся всё более многочисленными и разнообразными. У низших животных всегда можно заметить отчетливые стремления, касающиеся выбора среды обитания и пищи. С развитием дифференцированных половых органов проявляется и соответствующий ряд половых влечений. Развитая способность к передвижению неизменно сопровождается повышенной восприимчивостью к нравственным впечатлениям; страх присущ всем животным, способным спасаться от опасности бегством, в то время как яростные страсти обнаруживают те, кто преследует живую добычу.[222]

Всякий раз, когда действие становится результатом ощущений или цепи умозаключений, основанных на ощущениях, нам кажется, будто мы понимаем это явление целиком, и мы не ищем иную причину. Однако, когда действие совершается без участия сознания, связь между причиной и следствием полностью ускользает из виду, и подобный случай начинают относить к иному разряду фактов. Тем не менее, все организованные действия можно свести к специфическим устремлениям. Почему нерв чувствует? Лишь потому, что он организован таким образом, чтобы проявлять этот феномен. Чувствовать — это его устремление или естественный образ действия;[223] точно так же свойством мышцы является сокращение. По той же причине один сосуд выделяет жир, другой — костную ткань, третий — желчь. Это первичные факты, неразрывно связанные со структурой; за их пределы исследование проникнуть не может, и именно на них должна с удовлетворением опереться Философия.

Общий закон природы гласит: по мере того как элементарное устройство материи усложняется, образуемые ею соединения обнаруживают устремления, всё более отличные от свойств составляющих их элементов. **Избирательное сродство** представляет собой силу более высокого порядка, нежели гравитационное притяжение между массами. Нутритивное притяжение, существующее между простейшими организованными волокнами и их питательными соками, порождает результаты еще более сложные. Соединение двух или более первичных органических волокон сопровождается развитием еще более великих и удивительных сил. Сердце и спинной мозг — это два первых органа, формирующихся в зародыше; они наделены стремлениями к действию, которые созидают всё остальное животное существо.

---

[222] Животные склонности относятся частью к ощущениям, частью к реакциям, а частью — и к тому, и к другому одновременно. Как правило, врожденная предрасположенность к определенному изменению чувств сопровождается сопутствующей склонностью к ответной реакции. Так, чувство стыда влечет за собой покраснение, страх — мышечную дрожь и т. д.

[223] Хотя для чувствующего существа «чувствовать» означает претерпевать (страсть), в нервном волокне это может рассматриваться лишь как действие. Нерв воспринимает удар; но мы чувствуем потому, что он активно откликается на этот импульс и приходит в движение под влиянием стимула. В этом смысле ощущение можно рассматривать как разновидность ответной реакции; в движениях же растений эти два явления кажутся неразрывно слитыми.

Склонность простой органической молекулы есть не что иное, как некое обыкновение, определяющее её химический состав. Орган всегда проявляет одну тенденцию в том, что касается его органического строения, и другую, определяющую его функцию; но даже простейшие сочетания органов и отдельных живых существ, помимо этих предрасположенностей, обнаруживают стремления, которые ставят их в определенное отношение к **внешнему миру**. Как возникают подобные стремления — наука провозгласить не в силах. Настолько же трудно вообразить, почему человек получает удовольствие или страдание от того или иного предмета; почему конкретные ощущения порождают конкретные размышления и поступки; почему животное бежит от боли или ищет удовольствия, — как и понять, почему птица вьет гнездо, а бобр строит свою хижину. И любое из этих явлений ничуть не более непостижимо, чем тяготение камня или соединение кислоты со щелочью.

Из всех этих наблюдений становится очевидным, что не существует принципиального различия между стремлением действовать, исходя из восприятия удовольствия или боли, и стремлением инстинктивным; между склонностью, относящейся к отправлению функций внутренним органом, и той, что имеет своим объектом некие отношения животного с внешним миром. Иными словами, ощущение, разум, аппетит, страсть и инстинкт в равной мере являются **свойствами живого механизма**, непостижимым образом зависящими от первичного способа его существования.[224]

То, что развитие склонностей является прямым следствием комбинации элементов и не может быть выведено *a priori* из их чувственно воспринимаемых качеств, — истина общеизвестная.[225] Следовательно, в очень сложных сочетаниях не всегда возможно обнаружить, от какого именно из элементов происходит то или иное новое явление. Тем не менее, существует множество фактов, связывающих некоторые нравственные наклонности с определенными частями организации.

Склонности животных в отношении пищи (которые столь значительно влияют на все их повадки), очевидным образом связаны с особенностями строения кишечного тракта. Целый ряд привычек отчетливо прослеживается в их зависимости от половых органов, поскольку они пробуждаются к деятельности их возбуждением, и полностью исчезают при кастрации. Клинические проявления болезней также указывают на тесную связь между определенными внутренними органами и различными страстями. Так, легочные заболевания часто порождают необычайный прилив надежды, а некоторые болезни печени сопровождаются меланхолией, и даже влекут неестественную склонность к самоуничтожению —

[224] Поскольку эти склонности варьируются у разных видов сообразно их различному строению, у нас есть те же основания рассматривать организацию и склонность как причину и следствие, как и в любых других случаях, когда мы признаем подобные отношения.
[225] Невозможно вообразить никакой связи между едкостью щелочи и кислоты и инертностью нейтральной соли, образующейся в результате их соединения.

склонность самого абстрактного свойства, совершенно не зависящую от внешних обстоятельств. Существуют расстройства женского организма, которые извращают аппетит, порождая самое причудливое влечение к неудобоваримым и вредным веществам. Схожие эффекты вызывает и беременность — факт, который нередко становился орудием для злоупотреблений и служил предлогом для достижения самых корыстных целей.[226]

Не углубляясь далее в физиологические аргументы, можно утверждать, что сказанного достаточно для доказательства того, что реакции воли и мысли зависят в той же мере от общего устройства организма, что и от специфической природы внешних раздражителей. И нет причин сомневаться в том, что чувственные впечатления по своей сути одинаковы у всех животных, наделенных пятью чувствами; следовательно, различие в их действиях должно быть обусловлено различием в склонностях, проистекающих из их соответствующей организации.

Справедливо не только то, что отдельные органы подобным образом видоизменяют ход мыслей и поступков, берущих начало в чувственных восприятиях, но и то, что они сами порождают многие такие последовательности без видимого вмешательства внешних стимулов.[227] Болезненные состояния являют нам множество подобных феноменов. Так, галлюцинации ипохондриков со всей очевидностью порождаются расстройством функций пищеварительного тракта. Равным образом нередко случается, что пароксизм эпилепсии начинается с ощущения в конечностях, технически именуемого aura epileptica (эпилептическая аура), которое ползет по членам и поднимается к голове. Достигнув этой части тела, оно вызывает конвульсии и потерю чувств. В некоторых случаях этому моменту предшествует или сопутствует ужасающее видение — фантом в образе гоблина, великана или демона, который, как кажется больному, наносит ему удар по голове в то самое мгновение, когда сознание его угасает. Смутное беспокойство, неугомонность и бесцельный поиск неведомого объекта, возникающие у весьма чувствительных натур по завершении периода полового созревания, застенчивость и робкая стыдливость женщины, внезапный пыл и пробуждающийся разум мужчины — всё это суть проявления идей и склонностей сугубо органического свойства. Идеи, возникающие в сновидениях, имеют то же происхождение. Первым звеном в причинно-следственной цепи кошмара обычно становится расстройство работы легких или желудка.[228]

---

[226] Вопрос о том, насколько далеко мы можем следовать за Биша в обобщении этих фактов, остается, пожалуй, не вполне ясным. Однако учение этого в высшей степени оригинального автора при внимательном рассмотрении заслуживает доверия; впрочем, его истинность или ложность не столь существенна для того, кто ограничивается вопросами морали. Раз существование страстей признано, их происхождение имеет мало значения.

[227] См. Кабанис.

[228] Хотя эти органические расстройства порождают волевые акты и цепи идей, на первый взгляд независимые от внешних стимулов, они, тем не менее, никогда не вызывали представлений, которые невозможно было бы свести к чувственному образу. Данный факт

Таким образом, живое существо черпает непосредственно из своего устройства не только способности к восприятию и движению, но и предрасположенность действовать определенным образом на всякое раздражение — от укола булавки до сложнейших сочетаний общественного влияния. К этому добавляются и некие побуждения к деятельности, проистекающие из физиологического состояния разных органов, которые по отношению к внешнему миру могут рассматриваться как спонтанные.

Из различных склонностей, порождаемых организацией тела, не все в равной мере связаны с конкретным объектом. Так, опасение дает средства для избежания опасности, но чрезмерный страх разрушает все силы к сопротивлению. Временная дрожь и слабость, вызываемые страхом, суть органические движения, влекущие за собой самые гибельные последствия. Покраснение лица или рукоплескание от радости не приносят индивиду никакой пользы; напротив, органические движения, запечатлевающие страсти на челе, подвергают живое существо опасности, позволяя окружающим разгадывать его намерения в самом их зарождении. Инстинкты, порожденные недугом, несут на себе печать своего болезненного происхождения и редко приводят к благотворным результатам. Тот факт, что животное существует, заставляет признать, что врожденные склонности к действию благоприятствуют устойчивости и благополучию организма. Однако существуют и такие склонности, целью которых является не сохранение особи, а сохранение вида.

Человек, в особенности предназначенный **для жизни в обществе** и обреченный посвящать великие труды и заботы воспитанию своего потомства, сотворен с поразительной способностью к сопереживанию. Он побуждается к действию с чрезвычайной силой под впечатлением от радостей и страданий других людей; он становится счастлив или несчастен не только в силу их благоденствия или бедствия, но и в зависимости от их чувств по отношению к его собственному характеру и поступкам. **Симпатия**, хотя она и проявляется наиболее полно в человеке, в той или иной степени присуща всем видам животных, имеющим разделение полов. Даже среди неорганических веществ отмечались явления, в некоторой степени сходные. Такова, к примеру, способность упругих тел вибрировать в унисон друг с другом, когда характер их эластичности одинаков. Следует, однако, заметить, что, поскольку симпатия есть форма животной чувствительности, было бы логической ошибкой считать её строго аналогичной любому состоянию материи, не обладающей этим свойством.

Симпатия также существует между различными органами одного и того же индивида; она проявляется с наибольшим разнообразием и интенсивностью между теми органами, чья чувствительность наиболее высока — в особенности между

служит веским косвенным подтверждением истинности учения Локка: ибо если бы здоровый организм развивал некие врожденные идеи, то и болезненно измененная структура в силу физической необходимости должна была бы порождать иные идеи, специфические для каждого отдельного недуга.

желудком, кровеносной системой и головным мозгом. В этом отношении локальные симпатии подчиняются тому же закону, который действует между отдельными особями. Симпатические наклонности, как и склонности более неопределенного характера, иногда возникают под воздействием болезни.

Активность симпатии между людьми носит **скорее животный**, нежели рациональный характер, так как она в большей степени управляется внешним впечатлением, чем внутренним убеждением. Вид слез и крови пробуждает чувства по самым ничтожным причинам — чувства, которые, возможно, не возникнут при зрелище тяжких бедствий, если те лишены этих внешних признаков. Многие мощные симпатии целиком зависят от одного лишь названия; таковы узы товарищества среди вольных каменщиков, людей одной профессии или уроженцев одной деревни. В целом, однако, чувства пробуждаются тем сильнее, чем явственнее проявляется расположение со стороны окружающих. Сила сочувствия (симпатии) многократно возрастает, когда она охватывает **большие массы людей**. Именно этим и объясняется то, что движениями армий зачастую движут сильные порывы воодушевления или паники, порой совершенно безотносительно к разумным на то основаниям. На этой же причине зиждется львиная доля успеха ораторского искусства: именно поэтому живое слово обладает куда большим влиянием, нежели письменные труды, прочитанные в тиши и уединении кабинета. При определенных обстоятельствах мощь симпатических влечений столь велика, что она подавляет или вовсе устраняет любые индивидуальные черты характера. В отдельно взятом солдатском полку существует столько же оттенков природного мужества, сколько в нем людей, — и все же редко случается так, чтобы воины не вступали в бой или не обращались в бегство все как один.

Именно под воздействием подобных всепроникающих симпатий целые общества иногда охватывают **эпидемии воодушевления**; они обретают неодолимое стремление к некой определенной цели, сохраняющееся на протяжении более или менее длительного времени. Так рождаются эпохи аскетического монашества, времена рыцарства, периоды религиозных распрей, революционных волнений и тому подобное. В такие времена даже мудрецам крайне трудно избежать общего влияния, а люди великих знаний, привыкшие к глубоким размышлениям, даже становились **жертвами месмеризма**; так и методизм находит приверженцев среди людей самых противоположных душевных складов. Поэтому правительствам стоит проявлять крайнюю осмотрительность, принимая на себя удары подобных порывов: прямое противодействие лишь усугубляет недуг и редко обходится без свержения тех властей, что пытаются ему сопротивляться.

Организованные существа не созданы для бесконечного существования. Помимо врожденной хрупкости самого механизма, существует великое множество причин расстройства его работы, повреждения и разрушения. Прежде всего, поскольку склонность к действию есть лишь некая потенция, её проявление — при прочих равных условиях (cæteris paribus) — количественно определяется силой

воздействующей причины. Определенная степень стимуляции может доставлять удовольствие, иная же — причинять боль; сама же эта стимуляция зависит от перемен и случайностей внешнего мира, которые редко подвластны живому существу и потому не могут неизменно соответствовать его потребностям. Величина удовольствия или боли, вызываемых внешними обстоятельствами, также подвержена колебаниям. Однако пределы, в которых боль или удовольствие пробуждают склонность, аппетит, страсть или инстинкт именно в той пропорции, что отвечает нуждам организма, крайне узки. Вследствие этого ответная реакция неизбежно оказывается либо избыточной, либо недостаточной по отношению к той мере, которая одна лишь способна обеспечить здоровье и счастье.

И этим дело не ограничивается. Согласно основному закону жизненной экономии, при определенных обстоятельствах возникают колебания в силе чувствительности отдельных органов, вследствие чего их восприимчивость к раздражению либо возрастает, либо убывает. Одна и та же точная доза стимула не всегда производит одинаковый побудительный эффект. Немногие люди не замечали за собой, что в разное время они поддаются волнению от совершенно различных по силе воздействий; и страсти, подобно аппетитам, имеют свои мгновения голода и пресыщения. Состояние чрезмерной чувствительности и деятельности органа именуется **оргазмом**; состояние же уменьшенной силы называется **коллапсом**.

Оргазм одного органа обычно становится причиной коллапса других. Деятельность желудка (возьмем этот пример) приостанавливает или ослабляет мыслительные способности. Благодаря схожему механизму возбуждение одной страсти обыкновенно усмиряет остальные. Когда некое стремление связано с отправлением определенной функции, приостановка этой функции — будь то из-за отсутствия подобающего раздражителя или по причине какого-либо внешнего препятствия — становится поводом к крайнему обострению этого стремления. Ужасающие ответные реакции, вызванные нестерпимым голодом или обманутой любовью, служат неоспоримым доказательством этого закона.

Частое присутствие причин, возбуждающих функции, с другой стороны, способно укрепить силу склонности, формируя привычку; однако при чрезмерном усердии оно может уничтожить или приостановить эту склонность, истощая соответствующий орган.[229] В то же время склонность может угаснуть и вследствие длительного отсутствия поводов для её проявления. Наконец, каждая склонность,

[229] Так, слишком частое потакание естественной наклонности поначалу усиливает сопутствующее ей желание и делает его удовлетворение частью периодических циклов деятельности; но постепенно чрезмерное возбуждение органов, снижая их тонус и жизненную силу, делает их непригодными для исполнения своих функций. Сопутствующие удовольствия притупляются, уступая место пресыщению и отвращению.

имея свой особый объект, может быть либо избыточной, либо недостаточной по отношению к нему, нарушая этим общую гармонию человеческой деятельности.[230]

Когда внешние поводы к действию возникают слишком часто, или обладают чрезмерной силой, это может привести к тем же пагубным последствиям, что и неумеренность самой склонности. Будет ли человек, предрасположенный к гневу, спровоцирован ничтожной обидой, или же кроткий нрав будет доведён до предела многократными и вопиющими оскорблениями — в обоих случаях ответная реакция окажется одинаково яростной.

Непомерное усиление любой склонности может таить в себе опасность в силу избыточности вытекающих из неё действий. Так, самцы многих видов насекомых погибают от истощения, вызванного неистовостью половых импульсов в период оплодотворения. Сильный приступ ярости порой влечёт за собой апоплексический удар из-за чрезмерного напряжения, которое он возбуждает в кровеносной системе. Подобное возбуждение может также оказаться пагубным, нарушая отношения субъекта с окружающей природой. Непомерный голод способен побудить животное напасть на противника, гораздо более могущественного, чем оно само, и тем самым превратить его в жертву собственной агрессии; или же он может заставить животное заглатывать субстанции, которые оно не в состоянии переварить, что становится причиной болезни и смерти.

Эта изменчивость силы побуждений насущно необходима для работы органической машины, поскольку потребности, по самой природе вещей, не могут во всякое время оставаться неизменными. Свирепость и жестокость более потребны хищному животному, когда оно голодно, нежели когда оно пресыщено пищей. Отвага или робость были бы вредны, если бы они развивались независимо от присутствия опасности.[231] Однако это обстоятельство сопряжено с тем неудобством, что сиюминутные нужды могут не соответствовать долгосрочным интересам индивида. Почти все нравственные неудачи в жизни проистекают из преобладания настоящего над будущим,[232] из отсутствия предвидения или слабости впечатлений

---

[230] Чрезмерное действие может проявляться двояко: оно либо возбуждает систему питания органа, вызывая воспаление, либо обрушивается на саму функцию, делая её несоразмерной практической пользе; именно в этом заключается различие между сатириазисом и просто неумеренным желанием.

[231] Ничто так постоянно не отравляет жизнь, как чрезмерные и беспричинные страхи.

[232] Многие болезни являются результатом подобных попыток устранить сиюминутное зло. Разрывы тканей вызываются чрезмерным напряжением; мочевой пузырь может лопнуть от собственных сокращений; смерть наступает от активных кровотечений, вызванных локальным возбуждением; а судорога челюсти часто возникает из-за легкого раздражения незначительной части тела.

Хотя (в общем смысле) стремление любого органа к действию направлено на благо всего механизма, он преследует лишь конкретную цель, связанную с функцией данной части. Сердце, получая стимул от притока крови, сокращается, чтобы избавиться от раздражителя, не принимая во внимание тот эффект, который эта кровь может произвести в организме; а результатом может быть как здоровье, так и лихорадка или воспаление. Точно так же обстоит

от грядущего. Именно по этой причине неотвратимость и быстрота наказания составляют столь важную часть законодательства; благодаря им мотивы наказания становятся актуальными и действенными для системы, тогда как они теряют свою силу, будучи отодвинуты в далекую перспективу.

Зло избыточности в некоторой степени устраняется тем, что в определенных случаях, когда некое стремление грозит увлечь животное в опасное положение, само это обстоятельство может привести в действие иную наклонность, способную противостоять первоначальному ведущему импульсу, приостанавливая или усмиряя его до здорового уровня. Противопоставление страсти и склонности имеет величайшее значение в деле воспитания. Уничтожение страстей — это мечта аскетов; подобные попытки никогда не предпринимаются без самых плачевных последствий как для общества, так и для отдельной личности,[233] однако успешное противопоставление одной наклонности другой — цель, которая чаще всего находится в нашей власти. Гордость, тщеславие, соревновательность, страх и стыд расставляются, подобно часовым, для надзора за прочими предрасположенностями и в руках проницательных наставников превращаются в добродетели.

Когда одна и та же возбуждающая причина воздействует на две различные наклонности, эффект оказывается пропорционален их относительной силе. Если волк приближается к овчарне, вид овец пробуждает в нем **плотоядные инстинкты**, однако пастух и его собака одновременно воздействуют на его **робость**. Если в этот момент зверь сыт, робость, скорее всего, возобладает, и волк сохранит спокойствие. Если же он доведен до крайности голодом, случится обратное: голод пересилит страх, и хищник атакует загон.

Когда одновременно пробуждаются две или более наклонности, они могут либо совпасть, порождая явное действие, либо вступить в противоборство. В первом случае они увеличивают интенсивность действия: множество мелких мотивов создают эффект единого мощного порыва. Во втором случае они могут либо уравновесить друг друга, удерживая волю в состоянии абсолютной нерешительности, либо же одна из них, оказавшись сильнейшей, возобладает и

дело и с нравственными качествами: они соразмерны своим физиологическим причинам, а не своим нравственным целям.

[233] Последствиями попыток подавления страстей для индивида, даже в случае успеха, становятся безумие, призрачные и фантастические идеи и стремления, а также физическое нездоровье; чаще же это приводит к замещению их другими наклонностями: обману, порочным и тайным пристрастиям и тому подобному. В больших сообществах это порождает грубейшее лицемерие и самый дикий фанатизм. Квакеры, которые, казалось бы, обуздали свои страсти, на деле лишь удерживают их в естественных границах. Это вероучение в силу обстоятельств тесно ограничено средними слоями общества. Его приверженцы, как правило, имеют возможность становиться главами семейств; в лоне домашнего круга и среди торговых занятий их страсти находят предназначенный им простор, не сталкиваясь с теми случайными причинами, что вызывают ужасающие взрывы, составляющие несчастье жизни. Это, однако, разительно отличается от аскетического самоотречения.

вызовет соответствующее действие; при этом сила оного будет выражать степень превосходства доминирующей тенденции над теми, что ей противостояли.

Природа волевого акта в некоторых случаях может определяться единственной склонностью, но, как правило, она является результатом взаимодействия многих. Так, если голод побуждает льва или лису пойти на захват добычи, лев совершит нападение, проявляя отвагу, а лиса — прибегая к хитрости.

Сила специфических наклонностей, как известно, весьма разнится у отдельных особей одного и того же вида. В человеческом роде это проявляется с особенной силой: каждый человек наделен врожденными особенностями ума, столь же неизменными и отчетливыми, как и те, что характеризуют различные роды прочих животных. Одного человека в пословицах называют лисом, другого — змеей, третьего — агнцем, ввиду сходства их нравов с повадками упомянутых животных. Эта изменчивость человеческого склада зависит от многообразия впечатлений, к которым восприимчива натура человека; воздействуя на его телесное устройство и нарушая его органическое равновесие, они порождают наследственные предрасположенности и особенности. Более обширная власть внешних факторов также способствует формированию привычек, которые изменяют естественный баланс органических наклонностей и дают начало искусственным темпераментам.

Жизнь организованных существ представляет собой не череду разрозненных фактов, но непрерывное и нераздельное целое, в котором прошлое оказывает колоссальное влияние на будущее. Каждое мало-мальски сильное впечатление производит необратимое изменение в подвижности этого «механизма», давая перевес определенным идеям и повышая активность конкретных наклонностей.[234] У необразованной части рода человеческого большинство людей усваивает, таким образом, некое излюбленное словцо, которое через краткие промежутки времени и зачастую весьма неуместно вплетается в разговор. Точно так же и сквернословие, поначалу призванное дать выход гневу, став привычкой, допускается человеком уже неосознанно и используется как праздная и бессмысленная вставка.

Всякий, кто внимательно изучал собственный разум или разум окружающих, не мог не заметить существования определенных господствующих идей, которые воспитание или случайность привычно закрепили в фокусе внимания и которые, таким образом, составляют «состав ума». Эти идеи связываются со всеми прочими мыслями и меняют их направление, образуя своего рода центры в воображении,

[234] Законы привычки и ассоциации не только облегчают деятельность в определенных направлениях, но и ослабляют силу наклонностей в других. Non omnia possumus omnes [Не всё мы можем всё]. Фанатик менее пригоден к рассуждению, нежели другой человек. Грубый ремесленник не способен к тонким операциям. Люди, привыкшие к действию, более склонны к интуитивным догадкам; те же, чьи привычки носят созерцательный характер, достигают наибольших успехов в последующих размышлениях и т. д. и т. п.

вокруг которых группируются все впечатления внешнего мира и от которых они получают свою окраску.

Таким образом, нравственное бытие человека слагается из весьма немногих ходов мысли, которые от колыбели до могилы повторяются вновь и вновь под воздействием возникающих чувственных впечатлений. Каждая отдельная мысль, видоизменяясь под влиянием этих господствующих идей, сообщает определенный характер и направление тем помыслам, что следуют за ней. Таким образом, склонности, которые поначалу заявляли о себе лишь благодаря своей физической силе, со временем укрепляются, оттачиваются привычкой и начинают деспотично властвовать над всем течением жизни. Именно действием этого закона объясняется то исключительное значение, которое справедливо придается ранним впечатлениям. Ошибки в нравственном и физическом воспитании, допущенные еще в объятиях кормилицы, нередко выковывают первые звенья той интеллектуальной цепи, что сковывает человека до последнего часа его существования. Несчастья ребенка предопределяют судьбу взрослого, взращивая болезненную чувствительность и раздувая пламя страстей, которые прорываются наружу в зрелом возрасте, дабы завершить вечер жизни безнадежным разочарованием и бесплодным раскаянием.

Домашние животные одного и того же вида, хотя и гораздо более схожие между собой, нежели представители рода человеческого, при внимательном наблюдении все же обнаруживают поразительные различия в характере. Лошади существенно разнятся по своей смелости или раздражительности, а человек привычно всматривается в морду незнакомой собаки, пытаясь понять, кротка она или свирепа.

Среди столь великого многообразия невозможно вывести общие истины иначе как путем абстрагирования от индивидуальных особенностей, равно как невозможно и применить их к частным случаям, не сделав предварительной поправки на каждую существующую индивидуальную особенность.[235]

Связь между определенным душевным складом и определенным физическим темпераментом не ускользнула от народного наблюдения: выражения «хладнокровный человек» или «человек горячей крови» служат для обозначения специфического устройства ума через его связь с телесными причинами. Подобные наблюдения достаточно верны, чтобы стать основой для общих рассуждений; они привычно и безотчетно используются нами для составления быстрых, интуитивных суждений о людях, с которыми мы внезапно соприкасаемся. Однако человеческий характер формируется под воздействием совокупности множества причин, и нельзя

[235] При издании законов для целых народов очевидно, что подобные индивидуальные особенности не должны приниматься в расчет, ибо их невозможно подчинить точному исчислению. Кроме того, поскольку цель законов заключается в обуздании порочных поступков, проистекающих из таких причин, от законодателя требуется скорее противостоять склонностям, в которых они зарождаются, нежели проявлять к ним сострадание.

полагаться на один лишь темперамент в своих догадках относительно поведения отдельных личностей. По правде говоря, примеры идеально чистых темпераментов редки из-за постоянного смешения рас, происходящего в больших городах; с другой стороны, образование, мода, привычки и почти бесконечное разнообразие мотивов, порождаемых цивилизацией, значительно умаляют власть чисто физических причин. Именно в этом и заключается главное отличие цивилизованной жизни от варварского или дикого существования. В конечном счете, однако, темперамент берет и неизменно будет брать верх; он придает жизни человека тот тон, колорит и внутреннюю последовательность, которые сохраняют своего рода драматическое единство его характера. Именно в этом смысле изречение naturam expellas furca [Гони природу вилами… (а она всё равно вернется)] представляется особенно обоснованным и применимым.

Не останавливаясь на душевном устройстве, отмеченном явным недугом, и не приводя в пример безумцев, маньяков или закоренелых ипохондриков, следует заметить, что физиологи выделили пять основных разновидностей темперамента, обладающих ярко выраженными особенностями в преобладающих наклонностях: **нервный**, **мускульный**, **сангвинический**, **желчный** (или меланхолический) и **флегматический**.[236] Хотя смешение кровей редко позволяет этим темпераментам существовать в абсолютной чистоте, всё же редко случается и так, чтобы темперамент ребенка наследовался в равной степени от обоих родителей. Иногда преобладает влияние отца, иногда матери; а порой в потомстве проявляется темперамент более отдаленной ветви рода. Если бы дело обстояло иначе, человечество уже давно пришло бы к полному слиянию всех темпераментов и превратилось бы в совершенно однородную расу. Как правило, в каждом индивиде достаточно отчетливо проступают черты одного из чистых темпераментов, накладывая отпечаток своеобразия на всё его **нравственное** и **физическое** бытие: на его здоровье, склонности, жестикуляцию и на само выражение лица. Именно это наделяет человека той совокупностью особенностей, благодаря которым он является самим собой, а не просто абстрактным воплощением рода человеческого.

К влиянию темперамента следует добавить и **влияние пола**, которое проявляется в бесчисленном множестве деталей. У человеческого вида любовь отца к своему потомству — чувство весьма смешанное; оно состоит из некоторой доли сочувствия и, в гораздо большей степени, из эгоизма, гордости и жажды власти. Всё это лишь подкрепляется и укореняется в силу привычки и предрассудков. Для

[236] Древние, будучи внимательными наблюдателями, хотя и слабыми мыслителями, подметили и описали эти различия с достаточной точностью, однако исказили свои наблюдения множеством ложных теорий. Их сангвинический и флегматический темпераменты основывались на чисто физиологических различиях. Меланхолический и даже желчный типы относятся, скорее, к области патологии; ибо если они и не свидетельствуют прямо о болезни, то указывают, по меньшей мере, на состояние организма, близкое к ней. Выделение же нервного и мускульного темпераментов — заслуга французских физиологов.

женщины же эта любовь — органический импульс, который мужчина столь же неспособен прочувствовать, как неспособен он вскормить младенца бесплодными железами своей груди. Чувства мужа и жены отнюдь не взаимны; и общество, проводя резкую черту между обязанностями и привычками, которых оно ожидает от обоих полов, лишь следовало естественному инстинкту. Быть может, не стоит удивляться тому, что женщина, наделенная глубокими чувствами и острым осознанием своих великих талантов,[237] с негодованием отвергла несправедливость, которую физическая сила и **злоупотребления мужского законодательства** обрушили на женскую часть человечества. Но теория, порожденная этим чувством — о полном равенстве полов и их равной пригодности к одним и тем же жизненным ролям, — опровергается в равной степени анатомией, физиологией и неизменным опытом истории. Прекрасная поборница этого неортодоксального мнения, сама будучи истинной женщиной и в чувствах, и в облике, являла собой разительный пример, противоречащий ее собственной доктрине. Женский темперамент, кажется, редко достигал тех крайностей, в каких он проявился в ее печальной и эксцентричной судьбе.

Женский темперамент в гораздо большей степени определяется нервическим, нежели мускульным началом. Когда же нищета, принуждая к постоянному тяжкому труду, предъявляет чрезмерные требования к мускульной системе женщины, половые различия в ее формах и облике стираются быстрее; детородный период завершается раньше, и сами душевные привязанности, вероятно, претерпевают подобные же изменения. Чувствительность женщин гораздо выше, чем у мужчин: этот факт подтверждается остротой и разнообразием их недугов, превосходной тонкостью их чувств и значительно большей быстротой восприятия. Те заключения, к которым мужчина приходит путем медленных и мучительных усилий мысли, в женском уме возникают почти самопроизвольно. Женщина одним интуитивным взглядом мгновенно переносится от предпосылок к следствиям; ее рассуждения туманны, а в ее суждениях больше от ощущения, нежели от рефлексии. Как следствие, женщины всегда проявляли себя наилучшими советчицами в тех чрезвычайных ситуациях, где надлежащий образ действий должен определяться первым впечатлением.

Подвижность волокон, сопутствующая высокоразвитой чувствительности и порождающая в женском организме явления истерии, сообщает также ту капризную изменчивость страстей и подобные апрельской погоде переходы от улыбок к слезам, которые составляют очарование прекрасного пола для праздных и ничем не занятых поклонников, но в то же время внушают ужас и отчаяние тому, чье время и внимание поглощены жизненными заботами.[238]

[237] Мэри Уолстонкрафт — «Права женщин».
[238] См. Гельвеций.

Другой и более важной причиной нравственных различий является существование отчетливых **разновидностей человеческого рода**. Г-н Лоуренс насчитывает пять таковых, и каждая отмечена своими физиологическими особенностями. Не останавливаясь на исследовании происхождения этих разновидностей, достаточно будет заметить, что они сопровождаются весьма отчетливыми степенями развития органов головного мозга, в силу чего темнокожие разновидности оказываются менее восприимчивы к определенным впечатлениям и менее способны к определенным реакциям, нежели европейская или белая раса. Исходя из этого факта, мы можем усомниться в возможности их существования при той же плотности населения и на том же уровне цивилизованной утонченности. «*Чудовищная вера в то, что миллионы созданы ради одного, никогда не подвергалась сомнению или оспариванию во всех тех обширных краях, что населены человеческими расами с приплюснутыми и сжатыми передними и верхними частями черепа*».[239]

Помимо органических различий, присущих индивиду от рождения, в первые годы жизни возникает множество других различий физического происхождения. Болезненное, полное страданий младенчество может заложить основу для конституциональной раздражительности и нетерпимости. Лишая человека многих удовольствий, которыми, как он видит, наслаждаются другие, недуг имеет сильную тенденцию развивать и усиливать антисоциальные и эгоистические наклонности, обостряя зависть, ненависть и гнев — особенно в тех случаях, когда ум, предоставленный самому себе, лишен возможности или вкуса к развитию собственных внутренних богатств. Постоянная борьба с внутренним чувством дискомфорта, а также с внешними унижениями и разочарованиями, неизбежно сопутствующими телесному уродству, способствует развитию той злобы и раздражительности, которые порой не без оснований приписывают людям, что:

«Лишены прекрасных пропорций,
Обкрадены коварною Природой»,

и помогает сформировать характер, который Шекспир столь верно воплотил в Ричарде III, ставшем истинным beau idéal подобного темперамента. Впрочем, не исключено, что деформация скелета, оказывая давление на те или иные внутренние органы, может препятствовать их правильному функционированию и через них также влиять на природные наклонности человека.

[239] То есть темнокожие разновидности. По этому любопытному и достойному величайшего интереса предмету читателю следует обратиться к опубликованным лекциям г-на Лоуренса, в которых он найдет основные факты, собранные с глубоким прилежанием и проиллюстрированные чрезвычайно острыми замечаниями. Вопреки суесловию, лицемерию и злопыхательству, этот труд должен перейти к потомкам в ряду произведений, составляющих славу нашего века и отечества, и стать неотъемлемой частью любой философской библиотеки, достойной этого имени.

Сила органической склонности может быть чрезмерной сама по себе; равным образом она может стать таковой по отношению к другим склонностям, если те развиты недостаточно. Ибо подобно тому, как движение не может совершаться одновременно в двух противоположных направлениях, так и поступок не может подчиняться сразу двум конфликтующим стремлениям. Следовательно, в гармонично организованном живом существе эти стремления служат взаимными ограничителями, препятствуя какой-либо одной наклонности взять верх. Страсть, сила которой сама по себе не превышает меры, необходимой для достижения её конкретной цели, может, тем не менее, обрести неподобающее господство вследствие отсутствия или слабости её естественных противовесов.[240] Мы находим общеизвестный пример этого факта в поведении некоторых лиц высокого звания и независимого достатка; лишенные тех стимулов, что движут людьми, вынужденными трудиться ради пропитания, они легко предаются беспорядочному потаканию своим чувственным влечениям. В этом завидном, но в действительности несчастном положении любовь к изящной словесности и политическое честолюбие остаются единственными силами, способными противостоять низменным аппетитам; однако ни то, ни другое не является импульсом постоянным или всепоглощающим.[241] **Во все времена люди праздные были склонны к распутству и пороку**.

Характер живого существа есть результат совокупного действия всех его склонностей; и это взаимное влияние страстей и инстинктов друг на друга чревато важными последствиями: ибо отсюда следует, что любая перемена в той или иной склонности, усиление или ослабление любого животного импульса могут вызвать полный переворот в характере и душевном складе человека. Влияние периода полового созревания являет собой многочисленные и разительные примеры этого закона, даруя богатейшую пищу для поэзии, романов и драматических произведений.

Постоянное повторение множества мелких обстоятельств или же внезапное потрясение от единственного сильного впечатления способны пробудить к жизни склонность, которая от природы была слаба и находилась в подчинении у других; вследствие чего первоначальный склад личности может претерпеть глубокие изменения. Подобные перемены, носящие временный характер, отнюдь не редкость. Трус, загнанный в угол, становится отчаянно смел; а опьянение, нарушая

---

[240] Церебральная и мускульная системы находятся в состоянии взаимного противодействия. Когда преобладает первая, следствием становятся нервическая или болезненная чувствительность, раздражительность и склонность реагировать по малейшему поводу; когда же верх берет мускульная система, медлительность восприятия, безразличие и нечувствительность к мелким невзгодам и радостям делают человека тугодумным и тяжеловесным, но при этом упрямым и настойчивым в своих действиях.

[241] Даже Юлий Цезарь, Марк Антоний и некоторые из наших наиболее честолюбивых современных государственных деятелей находили время для того, чтобы прослыть отъявленными повесами.

естественное органическое равновесие, заставляет свои жертвы изменять привычному нраву — обстоятельство, которое следует рассматривать как некоторое ограничение применимости известной истины in vino veritas («истина в вине»).

Таким образом, любая страсть способна стать инструментом преображения личности: любовь, мщение, тщеславие, честолюбие и алчность — каждая из них не раз служила либо исправлению дурных наклонностей, либо разрушению благих.[242] Этим объясняется тонкое философское замечание о том, что крупные выигрыши в лотерею чаще приносили их обладателям несчастье, нежели благоденствие. Внезапный шок от полного переворота в судьбе разрушает привычки, нарушает сложившееся равновесие страстей и порождает новые наклонности, которые не гармонируют ни с воспитанием, ни с прежними представлениями человека. Поведение становится неровным, желания — безмерными, и дальнейший жизненный путь напоминает плавание без руля и компаса.

Для того чтобы внезапное впечатление произвело стойкое изменение в органическом равновесии, оно должно быть мощным и подкрепленным сопутствующими обстоятельствами. Обычно перемены, вызванные подобным образом, кратковременны и длятся, в зависимости от случая, от нескольких секунд до более значительных периодов. Иногда эта активность ограничивается лишь одним внешним объектом, в других же случаях она носит общий характер. Отсюда проистекают тысячи капризов характера и тот весьма необычный феномен, когда поведение человека в мелочах совершенно не соответствует его поступкам в великих делах; толчок важного обстоятельства нарушает привычный баланс и пробуждает страсти, которые обычно пребывают в бездействии.

При изучении поступков людей и рассмотрении их поведения сквозь призму вышеизложенных законов, обнаруживается, во-первых, коренной переворот в нраве, склонностях и расположении духа, сопровождающий развитие человека от юности до глубокой старости по мере последовательного расцвета и угасания различных внутренних органов.[243]

Существует и иной род перемен, причину которых можно усмотреть в череде чувственных впечатлений, в воспитании, примере, предрассудках, а также в частных обстоятельствах, таких как **сословие**, **состояние**, **национальная принадлежность** и социальное окружение. Равным образом наблюдается и множество малых

---

[242] На протяжении долгой жизни люди последовательно попадают под власть различных наклонностей, начиная с любви и заканчивая алчностью. Когда человеку кажется, что он победил страсть, обычно выясняется, что страсть просто оставила его.
«*В сердце человеческом происходит непрерывная смена страстей, так что угасание одной почти всегда означает торжество другой*» — **Ларошфуко**, «Максимы».

[243] То же преобладание артериальной системы над венозной, которое делает молодых людей подверженными тяжелым и частым воспалительным заболеваниям, обуславливает и схожую порывистость в их нравственной сфере, делая их менее расчетливыми и менее склонными руководствоваться отдаленными соображениями.

переворотов — ежедневных, ежечасных и мгновенных, — вызванных жизненными событиями, кои сменяют друг друга в стремительной последовательности.

Во всем этом многообразии поведения и настроений, волеизъявление строго предопределяется возбуждением, текущим органическим равновесием данного момента и привычным ходом мыслей и действий, формирующих личность. В этом смысле поступок всегда сообразен: то есть пропорционален вызвавшим его причинам и ratio recipientis (восприимчивости субъекта). Однако из этого отнюдь не следует, что он будет сообразен в значении гармонизации с необходимостью случая, или поспособствует сохранению и благополучию живого существа. Если равновесие в устройстве организма изначально нарушено, если один темперамент решительно преобладает или какой-либо орган доминирует, реакция едва ли может быть соразмерна возбуждающей причине. Если же возбуждающая причина избыточна по отношению к общей чувствительности системы, она неизбежно вызывает чрезмерное действие, которое увлекает волеизъявление за пределы его цели;[244] или, наконец, если влиянию внешнего побуждения способствуют привычки, то волевой акт совершается с легкостью, исключающей раздумье, и это приводит к неблагоприятному и несообразному результату.

Помимо этих источников заблуждений, существуют и другие, имеющие бесконечно важное значение; они вступают в силу, когда движущая мощь чувственного впечатления кроется в его ассоциациях. Этого особенно следует опасаться в отношении сложных языковых понятий, которые редко пробуждают именно те идеи, кои они призваны представлять, и никакие иные, кроме тех, что должны быть с ними связаны. Это неведение подлинной **ценности языка** является едва ли не самой распространенной причиной ошибок в поведении. Ибо если страсти, в силу своей неумеренности и извращенности, служат неисчерпаемым источником бедствий, то частота вспышек страстей во многом коренится в ошибочных расчетах, и в тех ложных положениях, к которым эти расчеты приводят. В силу некой органической потребности человек повсеместно стремится к счастью, и случаи, когда долг и личные интересы действительно несовместимы, встречаются редко. Таким образом, преступления обычно суть ошибочные попытки обрести благо, если только они не являются неизбежным следствием порочных общественных установлений.[245]

Подавляющее большинство удовольствий и страданий возникает из **ассоциации идей**, а не из прямого воздействия стимулов на органы чувств. Из всех зрительных и слуховых впечатлений лишь немногие черпают свою ценность непосредственно в цвете, расположении световых лучей или качестве звуковых колебаний; в большинстве своем они воздействуют на нас как знаки письменной или устной речи, которые, в свою очередь, являются знаками идей, а зачастую — лишь отражениями

[244] Опьянение служит иллюстрацией этого положения.

[245] Αμαρτάνει ἡ ψυχὴ ὅτι ἐφιεται ἀγαθε. — «Душа заблуждается, ибо стремится к благу». (Саллюстий, «О богах и мире»).

других мыслей. Всякий шум символизирует движение. Неизвестные звуки внушают тревогу, выступая вестниками неведомых перемещений. Едва слышный ночной шорох, пробуждающий мысль о скрытой опасности, пугает сильнее, чем раскат грома. Когда же мы не в состоянии судить о расстоянии, с которого доносится звук, мы впадаем в заблуждение относительно их причин. Шум может представлять собой либо масштабное движение на значительном удалении, либо незначительное перемещение в непосредственной близости. Так, в момент засыпания биение артерий в голове можно ошибочно принять за звуки некоего насилия в дальней части дома. Ценность флагов или партийных цветов, очевидно, заключается в вызываемых ими ассоциациях, а вовсе не в самом созерцаемом объекте.

Однако если символическое значение впечатлений порой трудно уловить, то и сами впечатления, когда они объединены в достаточно сложные группы, разум охватывает лишь после глубокого размышления. Если сложное впечатление не сопровождается сильным ощущением, большая часть его элементов остается незамеченной, вследствие чего формируется ложное представление об истинных свойствах объекта. Так, следуя примеру **Кондорсе**,[246] мы не осознаем и тысячной доли зрительных впечатлений, получаемых при созерцании ландшафта, до тех пор, пока не изучим каждую его деталь по отдельности снова и снова. Тем не менее, все эти подробности должны быть отчетливо и последовательно рассмотрены и осмыслены, прежде чем в сознании сложится целостная картина.

Огромная масса человечества всецело поглощена **обеспечением насущных жизненных потребностей**; у людей остается мало досуга для изучения менее заметных свойств предметов, для исследования отдаленных последствий физических (и тем более нравственных) сочетаний, когда они не проявляются в их повседневных наблюдениях. Сладкий вкус ядовитой ягоды очевиден, однако предостеречь от её пагубных свойств могут лишь тонкие ботанические различия, выявление которых требует усилий, а осмысление — досуга. Гибель целой крестьянской семьи, ставшей жертвой неспособности отличить съедобный гриб от поганки, служит частым и печальным примером действия этого закона разума. Куда более роковыми оказываются безумие и потрясения, сотрясающие целые народы и проистекающие из подобных же заблуждений относительно нравственных сочетаний!

Если от сухого и отвлеченного рассмотрения человечества мы обратимся к истории нашего вида — причем не только к эпохам тьмы и невежества, но и к современному его состоянию, озаренному всем светом просвещения двух последних столетий, — мы увидим, что эта причина бедствий продолжает действовать с пугающей силой. И если в некоторых странах Европы народы ведут борьбу с невежеством, отвергая обманчивость лукавых общественных установлений и стремясь привести их в соответствие с современным уровнем знаний, то

[246] См. Логика.

подавляющее большинство наций по-прежнему страдает от всевозможных **социальных зол**, пребывая в нищете, рабстве и глубочайшем заблуждении; их разум скован ложными ассоциациями или открытой силой; их стремления к труду и общественному процветанию сдерживаются суеверием или парализованы деспотизмом.[247] Первоосновы общественного союза и пружины человеческих привязанностей познаваемы лишь путем упорных изысканий, добросовестных наблюдений и острого индуктивного анализа. Та окраска, которую невежество и эгоизм накладывают на общественное устройство, остается лишь на поверхности; однако, попадая в поле всеобщего внимания, она ложится в основу общественного мнения, становясь тем самым «движущим мотивом» национальной воли. Так человечество блуждает от ошибки к ошибке; его несет сквозь череду мнимого благоденствия, лишенного прочного счастья, и подлинных бедствий, не приносящих полезного урока.

Но даже если время от времени и встречаются случаи, когда язык служит верным толкователем мысли, когда внешние впечатления дают всё необходимое для сообразного волеизъявления и когда ни пагубная привычка, ни преобладающий природный импульс не вносят искажений в цепь причинно-следственных связей, всё же может случиться так, что сопутствующие обстоятельства окажут неблагоприятное воздействие на конечный благотворный результат. Существуют физические и материальные факторы, без которых определенные добродетели не могут существовать. **Общественные институты**, дух времени, легкость или трудность добывания средств к существованию, характер господствующей религии и множество иных причин того же рода, над которыми отдельный человек не властен, — всё это с неодолимой силой воздействует на поведение, определяя нравственный облик личности. Влияние авторитета, соблазн примера, моральное и физическое сопереживание между людьми порождают повальные заблуждения и распространяют фанатичные движения, вовлекающие в свой поток индивидов с самыми разными привычками и любым природным складом. Подобно тому как мы употребляем ту пищу, что принята в стране нашего проживания, и облачаем свои тела в платья, предписанные обществом, так и значительная часть нашего характера

[247] Закон, конституция, общественный порядок, кощунство, клевета, подстрекательство к мятежу, легитимность, атеизм, фанатизм и так далее — всё это сложные термины, значение которых в настоящий момент, даже в среде одного из самых просвещенных народов Европы, остается неопределенным и зыбким. Они находят применение в случаях самых противоположных; их используют преднамеренно и превратно, дабы пробудить ложные ассоциации ради целей самых низменных. Поистине, можно усомниться в том, уцелело ли хоть одно сложное понятие, касающееся религии или правления, которое лицемерие не сделало бы подозрительным, а коварство не извратило бы. Через сто лет авторы наших дней станут непонятны без особого ключа к их провозглашаемым взглядам. Слова, лишенные таким образом точного смысла и не допускающие положительного определения, подобно людям без твердых принципов, поочередно становятся пособниками чужих страстей и слепыми орудиями любой партии и любого интереса.

является результатом национальной воли, а наш интеллект и мораль черпаются из общенационального эталона.

Эта организованная машина, сложенная из множества подчиненных частей, существующих в силу их взаимных связей и при содействии множества внешних причин, над которыми он почти не властен, в любое мгновение подвержена риску расстройства своих функций и строения. Это происходит из-за избытка или недостатка её собственных жизненных сил либо тех стимулов, которыми и поддерживается в ней жизнь. Постоянно меняющаяся восприимчивость к внешним впечатлениям влечет за собой соответствующую изменчивость движущих сил; и те самые причины, что в одно мгновение благоприятствуют устойчивости и благополучию, в другое — становятся изобильными источниками разрушения и хаоса.

В каждом нарушении действия, будь то физиологическое или нравственное — в беспорядочном ли биении пульса, или в вожделениях порочной воли, — обнаруживаются одни и те же явления: несоразмерность между чувствительностью и причинами, которые на неё воздействуют и приводят органы в состояние активности. Все движения могут быть сведены к первичным факторам стимуляции, чувствительности и действия; и именно от отношения этих факторов к потребностям живого существа и общества зависит здоровье или целесообразность конечного результата. Различные ошибки в деятельности, которым подвержена эта машина (при всей их природной схожести), могут рассматриваться с нескольких точек зрения и быть разделены на отдельные классы.

Когда нарушение в работе системы питания, или в функциональной деятельности отдельных частей, ведет к прерыванию, ослаблению или разрушению жизнедеятельности органов, такое отклонение именуется **болезнью**. Когда же нарушение стремится расстроить связь живого существа с внешним миром и порождает искажения воли, затрагивающие прежде всего личность самого субъекта, их называют **пороками**. Если расстройство воли затрагивает интересы общества, то вытекающее из него действие обозначается как **преступление**. Незначительные отклонения воли, лишенные последовательности или связи и несоразмерные вызвавшим их случайным причинам, именуются капризами или **безрассудствами**. Но когда эти расстройства приобретают постоянный характер, а несоразмерность причины и следствия становится более глубокой и очевидной из-за примеси ложных восприятий и ложных ассоциаций идей, они составляют сущность **безумия**.[248]

[248] Чрезвычайно трудно дать психологические определения душевному здоровью, безумию и глупости. Это не абсолютные состояния, а лишь различия в одной и той же функциональной деятельности, отделенные друг от друга оттенками столь тонкими, что разум не в силах их уловить. Что касается обитателей домов для умалишенных, то их недуг охарактеризовать легче; однако по миру ходит бесчисленное множество безумцев — весьма

Должно быть предельно очевидно, что эта классификация крайне произвольна и пригодна лишь для грубой и приблизительной оценки поведения и нрава. Если солнечный удар вызывает воспаление мозга и больной под его воздействием наносит вред обществу, мы сострадаем его положению и не помышляем о наказании. Если же к подобному проступку приводит сильное возбуждение от хмельных напитков, мы испытываем некоторое сочувствие к преступнику, но всё же караем его вину. Но если действие берет начало в чрезмерном стимуле морального порядка, мы отказываем в любом снисхождении и обрушиваем на виновного всю тяжесть негодования и презрения.[249] Если малейшее волнение воздействует на органы, наделенные болезненной чувствительностью, и влечет за собой самоубийство, такой поступок приписывают безумию. Если же весьма мощная случайная причина пробуждает привычную склонность к тому же исходу, деяние считается преступным, а труп пронзают колом — дабы покарать выживших родственников, не принимавших в преступлении никакого участия. При всех этих разнообразных отклонениях явления в равной степени сводимы к двум фактам: чрезмерному возбуждению или же расстроенной предрасположенности к восприятию воздействий.

У низших классов животных подобные нарушения в действиях, как нравственные, так и физические, немногочисленны и редки. Простота их организации, немногочисленность наклонностей и устойчивость чувствительности, почти не подверженной ни чрезмерному возбуждению, ни угнетению, обеспечивают неизменное единообразие в отправлении их жизненных функций. Лишь млекопитающие и птицы восприимчивы к лихорадке; в целом же болезни среди низших животных редки и необычны. Равным образом и их связи с внешним миром крайне ограничены; будучи же ведомы побуждениями, не встречающими противодействия, они редко подвергаются расстройству. Однако по мере того, как функции животных становятся разнообразнее и обширнее, они делаются всё более склонны к диспропорции и беспорядку.

Один из важнейших источников заблуждений, коим подвержены произвольные действия, почти исключительно присущ человеку: он кроется в отношениях, существующих между отдельной личностью и остальными представителями её вида. Для животного, чьё существование совершенно независимо от всех прочих чувствующих существ, потребности его организма являются единственным мерилом добра и зла. Но как только жизни двух индивидов оказываются связанными, необходимо принимать во внимание нужды обеих сторон. Может случиться так, что обретение сиюминутного удовлетворения или избежание немедленного зла одним существом окажется несовместимым с благополучием другого. Таким образом, определенное проявление органической наклонности

добродетельных или, по крайней мере, безобидных членов общества, — чью болезнь было бы трудно отличить от здравомыслия иных их менее эксцентричных соседей.

[249] Причина этого различия не относится к данной части предмета обсуждения.

может быть благом для самого субъекта, но злом — в отношении окружающих. Хищная наклонность служит источником удовольствия и блага для плотоядного животного, но является явным злом для его жертвы. Следовательно, если бы существование и счастье этих двух видов были неразрывно связаны, это вскоре привело бы к исчезновению обоих родов. Акт охоты, отвечающий насущной потребности животного в пище, оказался бы прямо противоположным его общему интересу, если рассматривать его в контексте связи с тем существом, которое оно истребило.

В высшей степени это приложимо и к человеческому роду. Индивид, неспособный существовать в изолированной независимости, равным образом не может вступать в тесный контакт с себе подобными без того, чтобы его кажущиеся мгновенные интересы время от времени не вступали в **столкновение с интересами других**. Удовлетворение преходящих желаний, таким образом, редко совместимо с содействием общим интересам. Опыт, в самом деле, вскоре научает необходимости сочетать настоящее с будущим, и органы благодаря привычке обретают способность откликаться на весьма сложные побуждения; однако в той мере, в какой мотив становится столь сложным и основывается на соображениях отдаленных перспектив, он делается слабым и ненадежным в своем действии. Сиюминутные впечатления обладают большей побудительной силой, нежели воспоминания или предвидения; и даже в натурах самого осторожного склада они действуют с мощью, превосходящей ту меру, что совместима с неизменной предусмотрительностью и благоразумием. Сила разума, кроме того, проявляется лишь в той мере, в какой **общественные институты**, **распределение богатств** и **сложность социальных связей** обеспечивают многообразие точек зрения и цепочек последствий, способных одновременно воздействовать на различные страсти. Ибо даже величайшее напряжение мысли не в силах ни на йоту изменить сложившееся равновесие органических влечений. Разум упорядочивает и делает явными те немногие мотивы, которые могут возникнуть в силу обстоятельств, и тем самым способен изменить их относительную значимость, открывая новые грани ситуации. Однако непосредственное влияние каждого отдельного мотива на органические влечения остается неизменным; оно может быть скорректировано лишь переменой в физическом состоянии самих органов. Разум воздействует на наши идеи, а через них — на наши отношения с внешним миром, но движущие силы машины нашего организма он оставляет в точности такими, какими их находит. Когда некая страсть возбуждена чрезвычайно сильно, она откликается животным порывом даже на слабейшие побуждения, вопреки глубокому осознанию того, что они ничтожны как разумные основания для действия. В душе действительно разгорается конфликт, но воля устремляется вперед наперекор доводам рассудка.[250]

[250] Video meliora proboque / Deteriora sequor. (Вижу и одобряю лучшее, а следую худшему. — лат.)

Там, где мотивы для действий немногочисленны — как это бывает в первобытной жизни, — сфера деятельности разума весьма ограничена. Все сопутствующие обстоятельства ощущаются непосредственно и постигаются воспринимающим субъектом интуитивно. Даже самое продолжительное раздумье едва ли может прояснить их глубже; с другой стороны, неукротимая сила импульса (не сдерживаемая иными притязаниями) подталкивает к действию слишком стремительно, не оставляя места ни для предвидения, ни для колебаний.

Когда же, напротив, цивилизация привносит в каждое жизненное обстоятельство множество мелких и запутанных интересов, воздействующих одновременно на надежду и страх, корысть и амбиции, родительскую привязанность, любовь и так далее, — даже самый хладнокровный разум оказывается не в силах распутать каждую нить и проследить за всеми изгибами в цепи причинно-следственных связей. Важнейшие соображения упускаются из виду, а связь между причиной и следствием истолковывается превратно, из-за чего события беспрестанно опровергают расчеты благоразумия.

В этом отношении сама наша организация становится предателем наших интересов, поскольку мотивы, льстящие господствующей страсти, навязываются сознанию снова и снова, почти полностью вытесняя любые доводы противоположного свойства. Колебания перед действием прекращаются, как только исчезает сомнение в его направленности: ни медлительность, ни окончательное решение не подвластны нашей воле, но с необходимостью вытекают из состояния органов и являются модификациями, вызванными исключительно внешним воздействием.[251] Когда страсть получает удовлетворение, органическое равновесие смещается, и мы неизменно поражаемся числу и значимости доводов, теснящихся в нашем воображении — доводов, которые, казалось, намеренно оставались в тени, пока длилось раздумье.

В самих законах животной природы заложено неустранимое несовершенство, которое делает абсолютный разум и добродетель заведомо недостижимыми. Ибо, хотя соразмерность между возбуждением и ответной реакцией есть неизменный и необходимый закон нашего бытия, он отдает человеческий род на произвол всех последствий беспорядочного стимулирования. И вопреки тому, что счастье должно быть плодом поведения, проистекающего из душевного равновесия, а не из преобладания какой-либо одной страсти, этот закон принуждает живое существо поочередно подчиняться каждой из них, по мере того как возраст, пол и случайные обстоятельства пробуждают их к жизни.

Половое влечение (возьмем его в качестве примера) по необходимости обладает огромной силой, дабы побуждать людей к супружеству и воспитанию детей. В

[251] Это соображение ускользнуло от проницательного взора Локка, когда он полагал свободу воли в некоей мнимой способности приостанавливать волеизъявление независимо от внешних причин.

цивилизованном обществе труд, потребный для поддержания существования, столь обременителен, а плоды его столь ненадежны, что даже мощнейших инстинктов оказывается недостаточно, чтобы предотвратить частое безбрачие. И все же, сила этой страсти является одним из самых плодотворных источников человеческих бедствий и заблуждений. Ее влечение направлено на весь пол в целом, тогда как предустановления природы и общества (пребывающие в данном случае в совершенном согласии) требуют, дабы оно сосредоточилось **лишь на одной женщине**. Таким образом, в то время как интересы рода диктуют, чтобы в пору полового созревания инстинкт брал верх над всеми личными соображениями и главенствовал над прочими чувствами, интересы общества и самой личности требуют от него крайней осмотрительности. Он должен сообразоваться не только с законностью союза в рамках общественных отношений, но и с нравственными качествами избранного объекта, а также с такими привходящими обстоятельствами, как сословие, богатство, вероисповедание, связи и, прежде всего, с возможностью содержать семью.

Бесспорно, многие из этих затруднений проистекают из искусственных и поистине противоестественных сочетаний; в благоустроенном государстве возможность вступления в брак должна быть, как правило, доступна представителям всех сословий. И всё же представляется в высшей степени утопичным ожидать от каких-либо общественных институтов искоренения вынужденной проституции, порочных пристрастий, несчастных страстей и неудачных браков — ибо каждое из этих явлений суть смертоносный яд для счастья как общественного, так и частного. Эти наблюдения в равной мере приложимы и к иным страстям: в замысле природы совершенно необходимо, чтобы обида возбуждала жажду мщения, а насилие провоцировало отпор; в противном случае общество не могло бы существовать. Более того, для самого устройства организма необходимо, чтобы ответная реакция была соразмерна скорее видимому, нежели действительному ущербу; ибо именно впечатление, а не реальность, определяет волеизъявление.

Существование подобных несовершенств в нравственной деятельности человека отнюдь не является исключительным фактом. Закон природы предначертал организованным существам в целом упорядоченный путь, ведущий от первой крупицы бытия через неразрывную цепь изменений к окончательному увяданию и смерти индивида. Однако в подавляющем большинстве случаев этот путь оказывается подчинен власти множества случайностей. Жизнь одного животного поддерживается ценой преждевременной гибели тысячи других существ, и все же она в любой момент может быть пресечена воздействием стихий или иными внешними причинами. В замысле природы **индивид — ничто, вид — всё**. Зародыши жизни, по всей видимости, рассеиваются с щедростью, не знающей границ; однако их развитие ограничивается не менее внушительной скупостью. «*Было подсчитано, что если бы потомству одной-единственной сельди было*

позволено размножаться беспрепятственно и без потерь в течение двадцати лет, оно составило бы массу, в десять раз превышающую размеры Земли».[252] Не останавливаясь для проверки этого поразительного предположения, едва ли можно сомневаться в том, что повсюду, где существует подходящее пристанище для принятия зародыша, сам зародыш не заставит себя долго ждать; и если поблизости не окажется естественного врага, способного положить предел его размножению, то в конечном итоге[253] достаточным орудием для этой цели станет **голод**. В жизненном устройстве медоносной пчелы обнаруживается еще более разительное отклонение от совершенного порядка и гармонии — ежегодное избиение трутней, без которого преждевременное истощение ресурсов улья привело бы к полному исчезновению вида.

То, что неким индивидам суждено рождаться с предрасположенностью к безнравственному поведению, не более удивительно, чем появление на свет других существ, обремененных склонностью к недугам. В действительности это лишь один и тот же факт, рассматриваемый под разными углами. И нравственное, и физическое зло суть неизбежные следствия конечной природы человеческого бытия. Всему, чему предназначено прейти и погибнуть, должно содержать в себе явное или относительное несовершенство и немощь, дабы сие разрушение могло совершиться. Следовательно, должны существовать причины, которые в отношении конечного существа являются злом. Однако лишь гнет физического зла способен открыть путь к нравственному падению; ибо там, где нет места страданию, не может быть и желаний; не существовало бы и собственности; а без них человек был бы неуязвим для себе подобных, и само преступление стало бы невозможным.

Из предшествующих страниц можно вывести следующие факты: (1) Способности к чувствительности и передвижению необходимы для существования таких организованных существ, кои нуждаются в питании пищей, не поступающей к ним самопроизвольно, но добываемой посредством поиска. (2) Эти способности сводятся к трем составляющим: **раздражению**, **восприятию** и **реакции**, которые присущи также и растительной жизни и охватывают собой все нравственные и физиологические явления. Они неизбежно ограничены определенными видоизменениями, обусловленными изначальным устройством субъекта. **Ощущение**, **разум**, **аппетит**, **страсть**, **инстинкт** — суть свойства этого механизма, зависящие от элементарного способа его существования. (3) Определенные склонности к специфическим видам реакции и ощущения очевидным образом связаны с развитием конкретных внутренних органов. Они не только видоизменяют ход мыслей и волевых актов, порождаемых внешними стимулами, но и дают начало иным, независимо от последних. (4) Таким образом, действие стимулов варьируется

[252] Бингли, «Экономия природы», раздел «О сельди».

[253] Спор между Мальтусом и его оппонентами касается исключительно скорости, с которой события движутся к этому финалу; сама же реальность стремления к размножению не может быть подвергнута сомнению без отказа от очевидных фактов.

в зависимости от точной степени развития органов и склонностей. (5) Эти данные определяют природу и меру мысли и действия. (6) Однако они слишком сложны и изменчивы, чтобы можно было с абсолютной точностью свести последующие действия к потребностям субъекта. (7) Каждый биологический вид наделен присущими ему склонностями. В человеческом роде пол, возраст и темперамент порождают многообразие этих наклонностей. (8) Характер животного есть совокупный результат всех его стремлений. (9) Значительная часть движущей силы определенных разрядов стимулов проистекает из их значения как знаков идей. Следовательно, из-за ошибочных ассоциаций ответные реакции могут стать несоразмерными. (10) Сложные ощущения также нередко воспринимаются лишь частично и, как следствие, не производят должного эффекта в виде ответного действия. Но даже в тех случаях, когда цепь причинности ведет к возникновению сообразной реакции живого существа на внешние факторы, сопутствующие обстоятельства могут воспрепятствовать ее проявлению. Эти многообразные причины заблуждений порождают болезни, пороки и преступления. (11) Поступки могут быть классифицированы как благие или дурные в зависимости от их отношения к индивиду per se (самому по себе), а также к нему как к члену общественного организма. Обусловленная этим сложность мотивов еще более усиливает неопределенность в действиях «животного механизма».

Выводы, вытекающие из этих фактов в рамках естественной истории человека, охватывают почти всё, что может быть доказано в науке о морали. Прежде всего очевидно, что хотя грубое и огульное применение наград и наказаний в обществе по необходимости основывается на предполагаемом равенстве людей, всё же склонности и искушения каждого отдельного индивида являются специфическим результатом его особенного темперамента, привычек и потребностей. Нравственные причины воздействуют не на некую «неделимую целостность», как это было принято воображать, а на совокупность живых органов, каждый из которых вносит свой вклад, pro modulo suo (соразмерно своим силам), в определение движений всего целого. Таким образом, каждый индивид движется по собственной орбите и лишь он один является тем единственным судьей, кто способен с точностью определить мотивы своего поведения. При подобном положении вещей нет ничего более нелепого, чем мысль о том, что человек должен или может быть иным, нежели он есть — за исключением тех случаев, когда общество способно направить случайные причины действий более благоприятным образом для благополучия человеческого рода.

Многие охотно утверждают, что мы не должны подчиняться своим страстям и обязаны внимать голосу разума. Однако если на деле человек слишком часто склонен действовать вопреки разуму и потакает своим страстям в ущерб собственным высшим интересам, становится очевидным, что побуждения к иному образу поведения либо отсутствуют, либо фактически оказываются слабее влечений противоположной направленности. Ибо явления не могут происходить постоянно

без вмешательства некоей преобладающей причины; а потому все рассуждения, основанные на абстрактных соображениях долга и упускающие из виду действительно принуждающие силы организма, по необходимости тщетны и непоследовательны.

Данные соображения приводят к важнейшим выводам. **Во-первых**, они со всей очевидностью демонстрируют действие той же необходимости в причинности нравственных явлений, которая, как мы видим, управляет событиями физического мира. Существование некоего принципа или силы «свободной воли» не только не подтверждается фактами, составляющими предмет настоящей главы, но и совершенно несовместимо с их существованием; подобная сила лишь послужила бы к расстройству того механизма, в котором она бы пребывала. **Во-вторых**, следует заметить, что коль скоро действие обусловлено природой стимула и человек, следовательно, является созданием обстоятельств, в которые он помещен, его ответственность за свои поступки не является ответственностью моральной; её истоки следует искать в иных причинах, нежели свобода выбора.

Его нравственные понятия и та трансформация его действий, что подчиняет их моральному правилу, не являются следствием власти живого существа над самим собой, но должны проистекать из внешних по отношению к индивиду источников. Природа этого влияния должна быть раскрыта теми же средствами, что и любые другие принципы, а именно — путем наблюдения за фактами, а не посредством гипотетического допущения. В последующих главах будет показано, что подобное допущение совершенно излишне для объяснения подобных феноменов.

Какие бы предположения ни строились относительно природы первопричин жизни, подобные предвзятые мнения не могут быть допущены вопреки фактам, подробно изложенным на предшествующих страницах. Теории надлежит судить по фактам, а не факты по теории; следовательно, до тех пор, пока не будет доказана ошибочность предпринятого здесь анализа перцептивных и волевых действий, его необходимо принять со всеми вытекающими из него последствиями. Здесь нет места утверждениям, будто этот анализ благоприятствует тому или иному мнению, будь оно модным или ортодоксальным, или же нет. Природа не может лгать; и её толкователи должны быть либо изобличены в заблуждении, либо признаны в качестве наставников. Посему было бы благоразумно для тех, кто склонен оспаривать изложенные здесь доктрины или клеветать на их авторов, сперва убедиться в том, что приведенные факты не являются неоспоримыми; в противном случае, если истинность фактов будет признана, возражения обратятся против самих оппонентов.

Впрочем, было бы несложно показать, что не существует необходимой связи между учениями о свободе воли или необходимости и доктринами спиритуализма

или материализма. Те, кто склонен воздвигать некую нематериальную[254] или непостижимую сущность ради обоснования свободы воли, со всеми вытекающими отсюда нравственными последствиями, следует осознать: какова бы ни была природа действующего начала, человек не способен помыслить действие в отрыве от причины. Если дух существует и проявляет себя в нашем телесном механизме, он неизменно должен действовать, подчиняясь некоему свойству, определяющему именно этот, и никакой иной, образ действия — свойству, которое и составляет его **необходимость**. Без определяющей причины действие не могло бы иметь четкого направления, то есть не обладало бы движущей силой и не приводило бы ни к какому результату. Следовательно, природа субстанции — будь то материя или дух — не играет роли для данного вопроса: в обоих случаях **свобода воли есть невозможная химера**. Однако решить эту проблему можно лишь на основании фактов, и только их. Либо законы, изложенные в этой главе, действительно управляют человеческими поступками и определяют их исход, либо нет; и в этом вопросе читатель должен судить самостоятельно.

[254] Священное Писание оставило прямое рассмотрение этого вопроса незатронутым; однако святой Павел в отрывке, входящем в чин заупокойной службы, по всей видимости, выступает как материалист.

Глава II. Свобода и необходимость

В тот самый миг, когда **Локк** путем исчерпывающего анализа установил тот общий факт, что чувства являются единственным путем к познанию, он тем самым — косвенно и по существу — предрешил вопрос о свободе и необходимости[255]: ибо если принять первое положение, то из него следует, что не может существовать никакой силы или начала, способных нарушить те отношения, которые Природа установила между разумом и материей. Весь процесс волеизъявления становится доступен нашему наблюдению; вся череда явлений предстает в их необходимой связи, и не остается ни единого момента, в который воображение могло бы внедрить некоего нового посредника, дабы расстроить цепь причинно-следственных связей и дать начало проявлению свободной воли. Если ни одна идея не может быть порождена иначе, как через чувственные впечатления, то и весь ход размышлений должен управляться случайностью внешнего воздействия и теми ассоциациями, которыми оно сопровождается; но так как свободная воля, если она и существует, может проявляться лишь в деятельности разума, то и волевые акты должны быть столь же строго детерминированы самой природой идей рефлексии.

Труды последователей Локка, по сути, стали лишь развитием этого великого принципа; и представляется невозможным для беспристрастного мыслителя признать его истинность, не принимая при этом и того заключения, к которому он ведет.

Доказательство, полученное при исследовании интеллектуальных феноменов, было подтверждено физиологическими наблюдениями за тем механизмом, в котором эти феномены возникают; тем самым связь определенных волевых актов с определенными причинами становится еще более разительно очевидной.

Три факта — **раздражение**, **ощущение** и **реакция**, — составляющие элементы любого физиологического действия, в равной степени образуют и совокупность всех психических явлений. И подобно тому, как для объяснения сложнейших операций ума не требуется иных данных, так и при анализе в них невозможно обнаружить ничего сверх этого. В обычных отправлениях организма необходимая причинная связь не только ясно просматривается, но и очевидно является существенной для сохранения тела. Однако, поскольку интеллектуальные процессы принадлежат к числу средств, способствующих этой же цели (участвуя в великом деле питания через регуляцию добычи пищи), та же необходимая причинность требуется и в ментальных феноменах — подобно биению пульса или секреции желез.

[255] Чтобы избежать этого вывода, Локк усматривал свободную волю в гипотетической способности к колебанию (приостановке решения). См. выше.

Метафизики до сего времени привыкли рассматривать разум как господина над телом; или, вернее, рассматривать его изолированно, принимая во внимание лишь высшие и наиболее возвышенные проявления мысли и воли. **Интеллект**, способный вслед за Ньютоном проникнуть в бездну пространства, и **воля**, которая вместе с Гэмпденом или Расселом готова обречь себя на гибель в дерзновенном отстаивании истины и свободы, — всё это позволяет вообразить, будто они обладают некоей врожденной силой, неподвластной никаким внешним обстоятельствам. Однако, когда те же благородные способности рассматриваются в их не менее реальной роли — как служители низменных нужд нашей телесной природы (инструменты, с помощью которых мы добываем пищу, одежду и кров, защищаемся от вредоносного воздействия внешнего мира и приспосабливаем всё сущее ради приумножения приятных ощущений и избегания впечатлений пагубных), — из этого тотчас и почти интуитивно следует, что между **разумом** и **материей** должна существовать незыблемая связь. Посредством этой связи любая случайность во внешнем мире порождает единственно возможную ответную реакцию и предопределяет в живом существе то движение, которое в той или иной степени соответствует его насущным потребностям.

Если бы разум существовал как некое нематериальное начало, свободное от всякой связи с материей, за исключением лишь способности воспринимать её явления, то утверждение о его способности определять волю независимо от любых внешних и чувственных причин выглядело бы более правдоподобным. Ибо, будучи бесстрастным, он оставался бы не затронут собственными решениями; но когда подобное существование рассматривается в единстве с материальной и органической структурой, способный получать вред или пользу от любого внешнего объекта и вынужденный поддерживать свое существование посредством ряда произвольных действий, направленных к определенным целям, — необходимая связь причины и следствия во всех его решениях является sine qua non для продолжения этого союза.

Каковы бы ни были высшие предназначения человеческого рода, первой и непосредственной целью его познавательных и волевых способностей является земное сохранение индивида; восполнение тех звеньев в цепи причинности, которые одни лишь непроизвольные функции обеспечить не в состоянии: одним словом, удовлетворение желаний. Для исполнения этой задачи существенно важна физическая и необходимая связь причины и следствия. Если бы внешние объекты воздействовали на чувства не согласно неизменному закону, а были бы способны капризно производить различные следствия в разное время, бесспорно, никакое знание было бы невозможно. Подобным же образом, если бы желание не регулировало реакцию с той же неизменностью, если бы одни и те же желания могли безразлично возбуждать различные видоизменения действия, очевидно, что

знание (или, пользуясь более элементарным термином, восприятие) не могло бы способствовать сохранению живого существа, коим оно призвано руководить.[256]

Представления, кои могут быть приняты касательно первопричины животной жизни, совершенно безразличны для решения данного вопроса: ибо, сколь бы возвышенно ни мнил человек о собственной природе и о своем психологическом существе, его мысли и поступки суть и могут быть не чем иным, как движениями его телесного устройства.[257] Но всякая материальная комбинация обладает своей модальностью, определяемой строжайшей необходимостью. Нет никого, кто не был бы совершенно лишен рассудка и притом утверждал бы, что человек может желать движений в направлениях иных, нежели те, к которым предрасположены его сочленения, или что он может проявить силу, превосходящую сократительную способность мышц, приводимых им в действие. Человек не способен составить представление о каком-либо качестве или роде материи, не находящемся в связи с тем или иным из внешних органов чувств. Таким образом, его мыслительные способности теснейшим образом ограничены физической необходимостью его строения. Более того, он не властен над суждениями, которые формирует относительно качеств объектов, или над своим восприятием удовольствия и боли.[258] Они действительно меняются по мере перехода от юности к старости, от неопытности и новизны — к знакомству и привычке; однако на каждом

---

[256] Для обеспечения сообразной реакции должно существовать фиксированное отношение: во-первых, между воспринимающей нервной системой и органами, о потребностях которых она должна судить; во-вторых, между нервной системой и внешней природой, дабы одни и те же причины всегда, caeteris paribus, возбуждали одни и те же впечатления; и, наконец, между нервной и мышечной системами, с той целью, чтобы движения были пропорциональны их поводам: и эти отношения никогда не нарушаются несовершенствами в самой машине или в наших приобретенных понятиях без соответствующего расстройства функций. Очевидную иллюстрацию этой истины представляют ментальные галлюцинации. Тесная связь причины и следствия присуща природе машины; но привычка рассматривать разум абстрагированно от тела набросила тень на эту истину, которую нелегко рассеять.

[257] Это положение поддается доказательству: ибо хотя разум и можно представить способным мыслить независимо от материи, всё же тот факт, что в союзе с телом он действует исключительно посредством церебральной системы, со всей очевидностью подтверждается (вопреки любым придирчивым возражениям) явлениями апоплексии, сна, истерии, ипохондрии и проч., во всех коих состояниях разум претерпевает изменения под воздействием телесных состояний.

Впрочем, нет ничего более туманного, нежели понятия, коих придерживаются относительно сей духовной составляющей нашего существа. Когда её принимают за первопричину жизненного действия, её мыслят как нечто распределенное по всему телу, подобно тому как магнетизм пронизывает железо; когда же её рассматривают как двигатель мысли и интеллекта, она восседает в мозгу, точно на троне.

Как бы то ни было, первопричины движения могут лишь привести машину в действие; характер же самого действия должен определяться особенностями механизма: а ведь основополагающим законом любого механизма является причинная необходимость.

[258] «Что касается истины, мы устроены так, что едва лишь очевидность предстает перед разумом, мы более не вольны медлить с суждением. Чем более туманны вещи, тем более мы вольны колебаться». — **Бурламаки**.

Автору следовало бы сказать: «...тем более мы принуждены колебаться».

последующем этапе этих превращений они остаются таковыми, каковы они есть, независимо от воли и будучи выше её власти.

Подобным же образом живое существо не властно над своими нуждами и желаниями: оно не может по своей воле стать голодным или сытым; оно не может вызвать в себе половое влечение до наступления зрелости, равно как и приказать ему исчезнуть, когда природа требует продолжения рода. Но всё это соответствие средств целям, а причин — следствиям, было бы бесполезным и нелепым, если бы в тот момент, когда внешний объект вызвал восприятие, а внутренняя организация определила его воздействие на машину, некое неведомое и независимое начало могло бы внезапно вмешаться и нарушить ход вещей, вызвав ответную реакцию, не имеющую никакой необходимой связи с обстоятельствами, в которых она возникла.[259]

Одним из важнейших источников заблуждений касательно природы волеизъявления является разграничение **инстинкта** и **разума** — разграничение, которое, сколь бы полезным оно ни было для определенных целей, не имеет под собой никаких оснований в самой природе их причинности. Среди многообразных проявлений необходимости к действию, присущих живому механизму, далеко не все являются в равной степени повелительными и безотлагательными. Существуют обстоятельства, в которых определенное действие жизненно необходимо для сохранения самого существования. Таковы первые вдохи после рождения, первые попытки сосания, усилия, предпринимаемые для отражения грозящих опасностей, и многие другие. В подобных случаях побудительная сила ощущения, согласно первоначальному закону природы, неразрывно связана с требуемым мышечным движением, и это неизбежно влечет за собой результат. Эта связь не обусловлена ни ассоциацией идей, ни какими-либо предвзятыми представлениями о средствах и целях; напротив, следствие вытекает из причины подобно тому, как приходит в движение механизм от нажатия пружины.[260] Мы осознаем действие этого механизма в тысячах поступков, совершаемых нами под влиянием внезапных обстоятельств, безотносительно к какому-либо конкретному результату. Ту же причинно-следственную связь мы усматриваем и во многих движениях животных, поскольку

---

[259] «Ни одно из одушевленных существ не остается безразличным ко всем своим восприятиям: они всегда включены в его чувствительность, в его способность подвергаться воздействию, причем таким образом, что одни восприятия кажутся ему тем, что называют приятным, а другие — тем, что называют неприятным: именно это и составляет способность проявлять волю». - **Де Траси**, «О воле» (De Tracy, Volonté), 59.
Согласно этому определению, воля не может быть активной силой; пассивная же восприимчивость не может порождать независимых движений. Данное определение не смешивает, как могло бы показаться, волю с мотивом. Термин «мотив» является строгим синонимом «стимула». Неправильно утверждать, что желания или отвращения, надежды или страхи являются мотивами; они суть внутренние аффекты, вызванные мотивами. Нет даже уверенности в том, что они являются звеньями в цепи причинно-следственных связей.
[260] См. «Очерки философии жизни».

не можем допустить, чтобы они были способны осознавать или предвидеть последствия, к которым приводят их действия.

В наших более осознанных волевых актах мы либо заранее знаем по опыту, либо судим по аналогии, что данные движения приведут к определенным последствиям, и совершаем действие ради достижения желаемого результата. Однако оба эти случая в равной степени поддаются общему анализу, сводящемуся к трем фактам: стимулу, ощущению и реакции. В первом случае ощущение, относящееся лишь к одному влечению, производит эффект с неизменностью, соразмерной простоте самого механизма. В другом же случае, когда ощущение связано с несколькими влечениями через сложную цепь рефлексивных идей, результат может видоизменяться в зависимости от особенностей текущих ассоциаций и относительной активности тех тенденций, которые они приводят в действие.

Впрочем, даже самый запутанный ход мыслей и желаний можно свести к определенному числу движений, для которых нельзя указать иной причины, кроме зависимости от фундаментального закона органического строя. Последовательные цепочки из рассуждений, составляющие процесс обдумывания, целиком определяются врожденной способностью воспринимающего субъекта к рефлексии, проистекающей из его особого темперамента и опыта. Невозможно указать иную причину, по которой те или иные ощущения должны обладать более сильным приятным или болезненным воздействием, нежели другие, и, как следствие, возникать чаще и ярче, порождая более мощные ассоциации, — разве только то, что таков **инстинкт** или **врожденная особенность** воспринимающего.

Каждое формируемое нами простое суждение есть акт инстинктивный, зависящий от того закона нашего восприятия, который позволяет нам разлагать сложные идеи; и каждое волеизъявление есть инстинктивное движение, возникающее из фундаментального закона органического строя, связывающего желание объекта с мышечным движением, необходимым для его обретения. Мы изъявляем волю — и мышцы повинуются; мы испытываем воздействие — и следует движение; однако связь между этими звеньями остается тайной природы, в которой мы выступаем лишь пассивными и неосознающими инструментами.[261] Таким образом, наши рассуждения и волевые акты суть лишь более сложные **проявления инстинкта**, и разделение, установленное между этими классами явлений, является сугубо произвольным и не опирается на какое-либо действительное различие.

Соответственно, действия могут переходить из разряда разумных в разряд инстинктивных и наоборот. Первые попытки младенца сосать грудь инстинктивны,

[261] Здесь не утверждается, будто отсутствие понимания механизма волеизъявления доказывает его несуществование; напротив, доказывается, что волевое и инстинктивное действия тождественны по своей сути, а их видимые различия целиком зависят от вариативности возбуждающих причин. Необходимо особо отметить этот факт, дабы предупредить преднамеренное превратное истолкование.

последующие же — разумные и волевые. Необученное стремление парировать удар — инстинктивно; то же действие у боксера-ученика осознанно; а у искушенного мастера оно становится неосознанным и непроизвольным. Все приобретенные последовательности действий — будь то движения танцоров или игра на музыкальных инструментах — непрестанно переходят из одного класса в другой и причастны к природе обоих. В каждом из этих случаев действие в равной степени сводится к следствию, связанному с другим следствием фундаментальным и врожденным законом тех структур, в которых они протекают. Однако в инстинктивных действиях воля, по общему признанию, бессильна, и правоведы единодушны в том, чтобы освобождать человека от **моральной ответственности** за них. То, что они не выносят аналогичного решения в отношении разумных действий, обусловлено не различием в их механизме, но иными причинами, которые станут очевидны в дальнейшем.

Применяя термин «инстинкт» к какому-либо акту, мы лишь констатируем тот простой факт, что он напрямую зависит от функционирования организма; и сложнейший пример разума и волеизъявления есть не что иное. Однако мы склонны использовать термин «волеизъявление» для обозначения специфической функции и рассматривать волю как некий орган или активное начало движения. Внимательный анализ идей показывает, что собирательный термин «воля» по праву должен представлять лишь совокупность отдельных влечений, желаний и страстей, которые и являются истинными пружинами индивидуальных действий.[262] Изобретение этого термина обусловлено общими механизмами языка, а превращение его в некую **метафизическую сущность** (ens) — ошибка, далеко не новая в истории логики. Раз уж подобная ошибка совершена, и воображаемый объект должным образом воцарился в умах, приписывание ему определенной функции следует само собой; так воздвигается различие между тем, чтобы желать, и тем, чтобы волить (различие, которое достаточно трудно обосновать через определение), открывает простор для её предполагаемой активности. Однако

[262] Если бы слово «воля» обозначало реальную способность или орган, а не совокупность влечений, то этот орган или способность должны были бы подчиняться какому-либо закону; ибо представление о действии без направления есть абсурд. Но если воля связана каким-либо законом, она более не является свободной волей. Соответственно, когда отстаивается гипотеза о свободе воли, её защитники определяют в качестве её цели или объекта счастье либо благо. «*Воля*, — говорит Бурламаки, — *есть не что иное, как та сила души, посредством которой она сама по себе и в силу активного начала, присущего её природе, определяется к поиску того, что ей приятно, действует определенным образом и совершает или воздерживается от действия с видом на счастье*» («Принципы естественного права», с. 15). Было бы крайне затруднительно объяснить, чем эти слова отличаются от прямого провозглашения необходимости, или же какая польза в подмене множества отдельных приятных впечатлений общим термином «счастье», который они и представляют. Когда мы говорим: «воля свободна искать счастья», мы лишь утверждаем, что «организация обладает силой направлять тело к тем объектам, которые ей приятны». Чтобы поддержать гипотезу о свободной воле, данная фраза должна была бы подразумевать, что «разум обладает властью придавать по своему усмотрению любую ценность каждому конкретному ощущению и импульсу».

прежде чем пытаться доказать, что воля активна, превращая её тем самым в некий орган «философской свободы», последовательный мыслитель обязан доказать, что подобный орган или сущность вообще существует или может быть обнаружен в действии как необходимая часть организованного механизма.

Ощущение того, что воля активна, очевидно, проистекает из того обстоятельства, что каждое волевое действие является результатом текущего состояния тела. Оно, повинуясь собственным стремлениям и реагируя на любое внешнее противодействие своим желаниям, совершает акт в силу внутреннего импульса или скрытой в нем «пружины». В этом и заключается различие между **силой вещей** и **силой личностей**: в первом случае мы действуем сообразно потребностям нашей собственной организации; во втором — согласно воле той стороны, которая навязывает нам свои условия. Впрочем, это различие лишь умозрительно, ибо власть личностей целиком зиждется на их господстве над вещами и на их способности так располагать обстоятельства, чтобы принуждать наши органы приходить к определенным волеизъявлениям.

Чувство волеизъявления, в котором мы воплощаем некую абстрактную сущность (ens), есть не что иное, как приятное сознание беспрепятственного отправления функции; подобно тому, как **чувство сомнения** — лишь сознание некой заминки или трудности, вызванной колебаниями противоположных и конфликтующих тенденций, находящихся под воздействием последовательных цепей идей. И то, и другое суть следствия специфических органических состояний, и они исчезают, когда эти состояния меняются.

Можно предположить, что чувство воления не является даже причиной мышечных действий,[263] исходя из многочисленных случаев инстинктивных движений, при которых подобное чувство вовсе не возникает. В акте ходьбы это чувство сопутствует лишь первому усилию и не возвращается до тех пор, пока усталость не станет чрезмерной — когда неспособность мышц к дальнейшему движению требует преодоления со стороны более сильного мотива, властно приковывающего к себе внимание. С другой стороны, чувство воления ощущается сильнее всего в тех случаях, когда господствующее влечение наиболее неудержимо увлекает субъекта в одном единственном направлении. **Страстный человек, в действительности бессильный в своей воле, — это именно тот человек, кто воображает, будто он проявляет волю с величайшей энергией**.

Но, как бы то ни было, все феномены органической жизни, все установления общества, воспитание, законодательство и само поведение людей по отношению друг к другу единодушно указывают на действие физической необходимости в человеческих мыслях и волеизъявлениях.[264] На страницах этого труда данное положение будет принято не как гипотеза, но как закономерный вывод из

[263] См. Дестют де Траси, «Трактат о воле» (Traité de la Volonté).
[264] См. «Очерки философии жизни», гл. 5.

наблюдаемых фактов, который может быть опровергнут лишь более обширными наблюдениями или более строгими умозаключениями.[265]

Противоположная **гипотеза о свободе воли**, содержит в себе внутреннее противоречие. Идея волеизъявления, не зависящего от мотива или идущего ему вопреки, — это нелепость, столь очевидно опровергаемая опытом, что она отвергается повсеместно; мнимую же свободу усматривают в способности выбирать между конфликтующими мотивами. Однако способность выбирать между мотивами есть не что иное, как способность определять их относительную силу и решать, какой из них окажется преобладающим:[266] иными словами, это означает изъятие движущей силы из области внешнего и перенесение её внутрь нас самих. Это равносильно упразднению мотивов и возвращает нас к той самой нелепости, которую — пусть и в иных выражениях — отбрасывает всякий здравомыслящий человек, как бы мало он ни был искушен в данном вопросе.

Принимая теорию свободы воли, недостаточно вообразить, будто мозг и нервная система не участвуют в деятельности интеллекта; необходимо также, чтобы воздействие разума на материю было независимо от мышц. Как только любая организованная система включается в цепь причинно-следственных связей, её феномены неизбежно начинают определяться состояниями этой системы. Замечено, что мощно развитый мышечный аппарат побуждает индивидуума предаваться определенным атлетическим упражнениям, отвращая его тем самым от занятий сидячих; в то же время те, чьи мышцы слабы, с той же неизбежностью приходят к развитию склонностей интеллектуальных. Таким образом, данная система органов играет важнейшую роль в определении идей, желаний, общественного положения, добродетелей и пороков воспринимающего субъекта, и происходит это столь очевидным образом, что вряд ли может быть оспорено.[267] Между отрицанием воздействия материального тела и отрицанием самого его

---

[265] «Эта неодолимая необходимость, перед которой столь смехотворно унижено тщеславие софистов и из-под ига которой они пытаются — не имея к тому ни средств, ни мотивов — ускользнуть посредством ухищрений, вновь являет себя во всех гипотезах и подавляет нас как своей очевидностью, так и своей силой». — **Де Траси**, «О воле», стр. 501.

[266] Не будет лишним напомнить, что мотив — это реальное воздействие на организм, полученное впечатление. Мы говорим о мотивах как о вещах, которые должны побуждать к движению; тогда как, выражаясь строго, это вещи, которые побуждают.

[267] «Едва ли найдется такое человеческое действие, которое не было бы началом столь длинной цепи последствий, что никакое человеческое провидение не в силах узреть ее конец». — **Гоббс**, «Левиафан», гл. 31.
Мышечная и нервная системы находятся в состоянии взаимного противодействия; относительный размер головного мозга и затылочного отверстия (foramen magnum — отверстие, через которое спинной мозг выходит из черепа) принимался за эталон для определения интеллектуальных способностей животных. Не слишком настаивая на этом аргументе, можно в целом допустить, что чем крупнее двигательные нервы по отношению к остальной части церебральной системы, тем более тяжеловесными и ограниченными оказываются интеллектуальные способности. Этот факт нельзя считать безразличным для волеизъявления, поскольку на человека не могут влиять мотивы, которые он не способен воспринять или оценить.

существования нет середины; материальные же существа могут действовать лишь сообразно законам материи, то есть через необходимую сцепленность причин.

Доктрина свободы воли — хоть ее сторонники и упорствуют в ней как в абстрактной теории, тесно связанной с человеческим счастьем и достоинством, хоть она и провозглашается с помпой в качестве неоспоримого основания для длинного ряда важных следствий и защищается от нападок не столько доводами и убеждением, сколько осуждением и преследованиями, оно неизбежно отвергается, как только дело доходит до фактов. При вступлении в область действительности его неукротимая природа немедленно обнаруживается, так как предмет исследования запутывается в неразрешимых противоречиях. Если индивид обладает властью произвольно реагировать на те или иные случайности, то каким образом опыт может служить полезным руководством в делах человеческих? Если история пригодна для того, чтобы предугадывать результаты политических комбинаций; если знание мира позволяет человеку с достаточной точностью предсказывать поведение тех, с кем он ведет дела, — значит, человеческая воля стеснена и ограничена **неким законом**, обуславливающим такое единообразие; а следовательно, она перестает быть свободной.

Опять же, если люди вольны выбирать по своей воле, почему они не всегда избирают тот образ действий, который является благим? Либо они не знают его (и тогда невежество сковывает волю), либо, зная его, не могут ему следовать, что является прямым противоречием гипотезе. Утверждать, что люди порочны, злы, преданы мирским удовольствиям и тому подобному — значит уходить от сути вопроса: ибо если они таковы, то они не властны в своем выборе, находясь под явным влиянием некой предопределяющей причины. Первородный грех и свободная воля — это положения, заключающие в себе взаимное противоречие.

Длительный ряд наблюдений и глубокое знакомство с метафизическими дискуссиями, которые обычно считаются необходимыми для исследования этого предмета, почти неизменно отталкивают любопытство рядового читателя; теологические же тонкости, в которые он был облечен, лишь усиливают замешательство и отвращение. Из этого обстоятельства возникла преобладающая склонность взывать скорее к страстям, нежели к разуму, и настаивать на том, что **доктрина необходимости** является унизительной и опасной, вместо того чтобы доказывать её ложность.

Утверждение, что некое положение ведет к умалению нашей личной значимости или угрожает сохранности нашего имущества, представляет собой наиболее верный способ завладеть вниманием и подкупить суждение. Даже самый неискушенный ум обладает своего рода инстинктивным восприятием того, что истина и польза тесно связаны между собой; и предположения о последствиях редко не достигают цели, порождая предвзятость. Однако свидетельства истины по своей природе совершенно независимы от подобных соображений. Когда некое

положение уже установлено, его последствия могут стать предметом дальнейшего изучения; но делать их критерием проверки еще не исследованных тезисов — значит нарушать простейшие каноны логики и философии.

Абсурдность становится более очевидной, когда, как в этом случае, подобная линия аргументации используется для опровержения прямых наблюдений и очевидных фактов. Подобный довод оборачивается против того, кто его выдвигает, ибо факты говорят сами за себя и тотчас бросают тень подозрения на здравый смысл рассуждений, гипотетически им противопоставляемых.

Мнение может быть унизительным для человечества лишь в той мере, в какой оно, по причине своей нелепости, обнаруживает несовершенство наших способностей к рассуждению, или их полную невозможность. Если человек помышлением не может прибавить себе росту хотя бы на локоть, то не может и убавить его. Он таков, каков он есть; и принимать некое положение лишь потому, что оно ставит человечество на ходули, столь же высокомерно, сколь нелепо и непоследовательно.

Учение о необходимости почитается опасным, поскольку в нем видят разрушение веры в грядущее воздаяние и кару, полагая его несовместимым с нравственным долгом. Это умозаключение отнюдь не верно; вопросы свободы и необходимости совершенно безразличны для данной проблемы. Гипотеза о свободе воли, в изложении богословов, отличается от гипотезы необходимости лишь тем, что заменяет физическое господство материи над телесными органами некой метафизической склонностью души, которая, по их словам, предрасполагает, не принуждая (то есть проявляет силу, которая вовсе не является силой). Священное Писание прямым текстом лишает нас подлинной свободы действий, утверждая, что «человек склонен к злу, как искры, чтобы лететь вверх»; и тем самым оно опровергает ту личную вменяемость, ради сохранения которой учение о необходимости пользуется столь дурной славой. Не бывает общего следствия без общей причины, и существование этой причины — будь она в душе или в телесном устройстве — равно враждебно как философской свободе воли, так и вытекающей из неё моральной ответственности.

Сообразно этой истине, которую, по-видимому, ощущали и основатели наших догматических систем, вменяемость снимается ими с индивида, и выводится из первородного греха прародителя всего человеческого рода. Подобно тому, как человек осужден еще до часа своего рождения, и притом не за собственные проступки, спасается он лишь особым действием божественной благодати, независимо от каких-либо приписываемых ему заслуг. Всё это дело зиждется лишь на божественном гневе и милости и не зависит от одних только деяний. Если человек не может обрести спасение без крещения, равно как и совершить малейший поступок, угодный очам Божьим, без Его особой помощи и содействия, то о личных заслугах не может быть и речи.

Цель нашего труда не в том, чтобы доказать логическую последовательность, разумность и нравственную направленность сего учения, равно как и не в том, чтобы проследить его согласие со Священным Писанием, на коем оно основано; однако, коль скоро таково общепринятое и ортодоксальное верование, было бы верхом высокомерия и абсурда со стороны тех, кто его исповедует, клеймить учение о необходимости печатью нечестия.

Утверждение, будто учение о необходимости подрывает склонность людей к добродетели, внушая мысль о невозможности сопротивляться судьбе, совершенно ложно; напротив, оно дает гораздо более твердое ручательство доброго поведения, нежели доктрина свободной воли. Ибо если наше счастье столь неразрывно связано необходимой причинностью с определенными правилами поведения, и если поступки сами по себе изначально являются благими или дурными и влекут за собой собственную награду или кару, то само это соображение становится побудительным мотивом, заставляющим нас выбирать и определять свой образ действий с величайшей тщательностью. Справедливо, что люди стеснены необходимостью, проистекающей из их собственного устройства; однако первая из этих необходимостей — **стремление к счастью**; и знание неизбежных последствий того или иного поступка в той мере, в какой они ясно осознаются и глубоко прочувствованы, действует независимо от любой внутренней силы воли, определяя саму природу действия. Согласно учению о свободе воли, наше счастье находится в наших собственных руках, однако счастье это обретается в мире ином, а последствия дурных поступков могут быть прощены нам по воле Законодателя. Необходимость же есть закон слепой, не оставляющий нам иных надежд, кроме тех случаев, когда мы способны управлять причинами, призванными содействовать нашему собственному благу.

Следовательно, существует принципиальное различие между доктриной необходимости и доктриной **предопределения**. Согласно последней, если предопределена цель, то предопределены и средства её достижения, вне зависимости от наших собственных усилий. Напротив, согласно учению о необходимости, если цели желанны, мы знаем, что они достижимы лишь путем применения средств, ведущих к ним; и само осознание этого факта является одной из причин, влияющих на поведение и определяющих наш образ бытия и действий.

Что касается всеведущего существа, то в силу того, что все события предвидены и неизбежны, для него активное волеизъявление может считаться метафизической невозможностью. Однако человек, не ведая предначертанного и осознавая, что никакая цель не может быть достигнута иначе как через соответствующие ей средства, в силу своего инстинктивного стремления к счастью вынужден прибегать к этим средствам, насколько он способен их различить. Он знает, что (предопределено это или нет) события не могут наступить иначе как через действие порождающих их причин; следовательно, управление причинами должно служить побуждением для человеческой воли, вопреки любым теоретическим построениям.

На деле же природа редко позволяет теории вмешиваться в свой естественный ход; и религиозный фаталист — пусть он и отказывается принимать лекарства или пытаться отвратить чуму соблюдением чистоты — под влиянием своего особого кредо вовсе не воздерживается от еды, питья, самообороны в бою или уклонения от явных опасностей.

Еще одно возражение, выдвигаемое против доктрины необходимости, заключается в том, что, исключая понятия заслуги и вины, она якобы ниспровергает само право наказывать преступников. Это возражение основано на неверном понимании природы и цели наказания, о чем необходимо сказать несколько слов.

Поскольку наши действия находятся под властью физической необходимости и определяются совокупным воздействием индивидуальной организации и внешних обстоятельств, из этого следует, что свойства добра и зла следует искать не в причинах, порождающих действия, а в тех последствиях, которые эти действия неизбежно оказывают на чувствующих существ. Химическую или механическую силу, изменяющую состояние неорганического тела, нельзя назвать ни доброй, ни злой; ибо тело, претерпевающее такое изменение, лишено чувствительности, и невозможно провести сравнение, чтобы отдать предпочтение первому состоянию его бытия перед последним. Однако для существа, чувствующего всякое изменение, абсолютное оно или относительное, может стать причиной большей или меньшей степени легкости для выполнения его функций, — может вызывать в нем приятные или тягостные впечатления; и именно по отношению к таким изменениям исключительно применимы эпитеты «добро» и «зло».[268]

Великий закон самосохранения, действующий через ощущения удовольствия и страдания, заставляет человеческий род ненавидеть и избегать последних, а также искать и любить первые. Иными словами, мы переносим качества, воспринимаемые нами в собственных ощущениях, на те внешние причины, которые, по нашему наблюдению, способствуют их возникновению. С этой инстинктивной оценкой внешних факторов связан инстинкт мщения как средство для отражения вредоносных причин. Дети и люди страстные в порыве чистого импульса бьют и уничтожают предметы, вызвавшие их недовольство, даже если те неодушевлены и

---

[268] Удовольствие и страдание — это изменения, которые живое существо воспринимает внутри самого себя; добро и зло — это собирательные термины для классификации внешних объектов в зависимости от их отношения к этим физическим состояниям. Следовательно, они неприменимы иначе как по отношению к воспринимающим существам. Однако распространенной ошибкой является предположение, что общие термины подразумевают наличие неких общих причин; это ведет к бесплодным изысканиям касательно абстрактных сущностей.
Такова родословная стоических представлений о добре и зле и нелепого отделения «благого» от «полезного». «*Поскольку удовольствие и страдание порождаются в нас воздействием определенных объектов на наш разум или тело, причем в разной степени, постольку то, что способно доставлять нам удовольствие, мы называем добром, а то, что способно причинять нам страдание, мы называем злом, и ни по какой иной причине, кроме этой самой способности, и т. д. и т. п.*». — **Локк**, кн. II, гл. 24, разд. 42.

неспособны почувствовать их гнев. Однако даже небольшого опыта достаточно, чтобы придать новое направление этой склонности, и ограничивать наказание лишь теми деятелями, которые, будучи наделены чувствительностью, являются законными объектами нашего негодования. Первичная, или инстинктивная, цель наказания состоит в том, чтобы причинить боль, заставить обидчика страдать в качестве возмездия пострадавшей стороне за перенесенные ею мучения;[269] следовательно, суровость наказаний служит точным мерилом **варварства народов**. Однако разумная цель наказания, которую рано или поздно открывает опыт, заключается не в удовлетворении злобы, а в исправлении правонарушителя.

Таким образом, люди справедливо подвергаются поощрениям и наказаниям не как моральные существа, с которых причитается мера страдания в обмен на страдания, причиненные ими другому, но как существа чувствующие, способные отвратиться от определенных склонностей под воздействием боли и лишений.

Наказание за проступки есть применение физической силы, направленное на увеличение суммы человеческого счастья. Право на это, как будет показано далее, проистекает из власти и разума; моральная же сообразность заключается в способности наказания обуздывать порочные и опасные наклонности. Подобно тому как глупо наказывать предметы неодушевленные, так и порочно причинять страдания сверх меры, необходимой для исправления. Поэтому на законодателях лежит обязанность соразмерять суровость своих установлений с необходимостью, продиктованной обстоятельствами; или же, выражаясь менее строго, они не имеют права налагать чрезмерные наказания.

Представление о наказании в его связи с моральной ответственностью есть не что иное, как развитие инстинкта мщения. Именно через подобную ассоциацию идей мы оказались склонны изображать Существо, стоящее выше всякого гнева и страстей, как по преимуществу мстительное. Таким образом, поскольку наказание как акт мести не знает иных границ, кроме ярости оскорбленной стороны, естественным образом возникло понятие о наказании бесконечном — единственно соразмерном гневу Того, чьи атрибуты во всем почитаются бесконечными. Из этого анализа идей следует, что **полезность** является одновременно единственным мерилом добра и зла, основанием наших суждений о нравственных качествах и законной мерой воздействия, оказываемого на чувствующие существа.[270] Эта истина

---

[269] Или, скорее, для удовлетворения инстинктивной злобы, которую порождает боль.

[270] «*Чему, в самом деле, можно приписать свойство полезности, если не тому, что приносит удовольствие?*» (Дюмон, «Теория вознаграждений», с. 257).
Если «полезное» есть то, что приносит удовольствие, а удовольствие и страдание суть мерила добра и зла (будучи одними и теми же фактами, рассматриваемыми с двух разных точек зрения), то **полезность**, **удовольствие** и **благо** суть термины взаимозаменяемые. В действительности они никогда не вступают в противоречие, кроме как в ложных и ограниченных представлениях о действии или цепи действий, к которым они прилагаются.

находит свое привычное применение в наших представлениях об обращении с домашними животными. Та степень причинения страдания, которая необходима, чтобы приручить их для наших нужд и службы, не считается аморальной, какой бы суровой она ни была. Недавно в газетах мы читали отчеты, написанные с величайшим хладнокровием, о превосходных преимуществах забоя китов с помощью ракеты Конгрейва, которая прокладывает себе путь огнем до самых их внутренностей; и в то же время всё общество единодушно негодует на человека, подвергающего свою лошадь беспричинному избиению. На сходном принципе зиждется и то, что считается дозволенным кастрировать животных ради изменения качества их мяса или для того, чтобы сделать их более покорными; однако признается решительно неверным калечить менее важные органы ради удовлетворения простой прихоти.

Учение, которое подобным образом делает **пользу критерием блага**,[271] встречало немало праздных придирок и до сих пор поносится как нечестивая подмена явленной воли Божьей мирскими мотивами. Невежество или недобросовестность теологов на каждом шагу превращают в нечто туманное то, что само по себе ясно, и своим лукавым софистическим жонглированием препятствуют прогрессу человеческого разума.

Оценка естественного закона мерилом откровения (каким бы почтенным ни был его источник) есть полное извращение логического метода. Верховный Творец Вселенной не может противоречить самому себе; и лишь по Его воле, явленной в Его творениях, мы можем судить о притязаниях любого откровения на достоверность. Неважно, сколь убедительны чудеса или сколь внушительны свидетельства, которыми оно подкрепляется: любой разумный человек немедленно отвергнет его как ложное, если оно призвано санкционировать свод правил, идущий вразрез с основными началами естественной морали.[272]

Это учение, за которое столь много порицали **Эпикура**, является также учением Локка, Мальбранша и Саута (см. Энсор, «Независимый человек», т. 1, с. 303), равно как и большинства наиболее просвещенных философов всех времен.

[271] «*Моральное добро и зло*, — говорит **Локк** (кн. 2, гл. XXVIII, § 5), — *есть не что иное, как согласие или несогласие наших вольных действий с каким-нибудь законом, по которому волей и властью законодателя навлекается на нас добро или зло*». Это представление, будучи строго теологическим, тем не менее основано на принципе пользы: ибо, если наше счастье не подчинено воле законодателя, его предписания перестают быть морально добрыми или злыми. Однако между естественным и богооткровенным законом существует та разница, что в первом случае награда и наказание являются непосредственными следствиями соблюдения или несоблюдения правила — причина и следствие здесь связаны неразрывно; в то время как в законе богооткровенном эта связь случайна, может быть отменена и обременена множеством условий.

[272] «*Естественный закон есть закон старший, пред которым все более современные религии должны склониться, как его младшие сестры*». — **Туссен**, «Предварительное рассуждение о нравах».

Поведение же, которое справедливо квалифицируется как «полезное», — это то, что способствует приведению внутренних движений организма в состояние упорядоченное, здравое и ведущее к счастью; то, что посредством развития общества максимально приумножает численность рода человеческого, предоставляя при этом его чувствительности величайшую сферу деятельности. Такое соответствие самой природе вещей и является печатью достоинства человеческих поступков перед Богом в рамках естественного закона; общество не может отклониться от этого закона, не столкнувшись со страданиями и лишениями, и именно в этом карающем последствии наиболее явственно обнаруживается воля Небес. Если же в наших суждениях о поступках возникает противоречие между естественной и явленной моралью, между тем, что полезно, и тем, что дозволено или предписано, то либо наши представления о пользе данного акта ложны, либо само откровение истолковано неверно или же оно истине не соответствует.

До высшей степени прискорбно размышлять о тех поверхностных софизмах, многократно опровергнутых, которыми по сей день встречают этот довод. Больно слышать упорные утверждения, будто **доктрина пользы** — лишь пустой предлог для оправдания эгоистичного и порочного поведения. Можно смело спросить: кто из философов когда-либо понимал под «полезностью» холодный и бессердечный расчет личных интересов, ставящий индивида в изоляцию от его рода или в состояние открытой войны с ним? Какой философ, достойный этого имени, когда-либо утверждал, что совершение преступления допустимо, если обеспечена безнаказанность? И всё же никогда не иссякнет порода людей с ограниченным умом или развращенным сердцем, готовых поднять шум против мыслителей и преследовать своей клеветой и инсинуациями любого, кому достает мужества защищать независимое мнение.

Принцип полезности — это единственный абсолютный критерий поступков, допускающий строгое и точное применение. Провозглашаемая воля Небес может истолковываться по-разному и подвергаться сомнению; однако, за исключением весьма немногих и редких случаев, общее согласие человечества не может постоянно заблуждаться в суммировании тягостных или приятных последствий, которые проистекают для общества из поведения отдельной личности.

Принятие этого мерила ни в коей мере не лишает законной силы религиозную санкцию; напротив, оно в высшей степени полезно и придает этой санкции дополнительный вес, сдерживая порочных и корыстных людей в их попытках выдавать за веления Небес поступки, пагубные или безразличные по своей сути. Если иго истинной религии благо, а бремя её легко, то нет ноши более тяжкой, чем суеверие. Однако всё, что обременительно и не приносит плода, должно в конечном счёте стать ненавистным; вместе же с суеверными обрядами люди слишком часто склонны отбрасывать и нравственные обязанности, которые были неправомерно с ними связаны.

Именно из-за возведения религиозной санкции не просто в ранг главенствующего мотива, но в статус исключительного влияния, любое малейшее ослабление народного легковерия[273] приводило к воцарению распущенности. Это вынуждало людей поддерживать ложную религию актами преследования (к соблазну чистосердечных и благочестивых), лишь бы не допустить притока света, который, внезапно разрушив привычные формы веры, мог бы предать народ во власть его необузданных страстей. Истинные или мнимые опасности свободного исследования напрямую зависят от этого заблуждения, которое противопоставляет будущее настоящему и, сталкивая интересы небесные с интересами земными, проводит ложную черту между нашими выгодами и нашим долгом.

Другим и наиболее роковым заблуждением, вытекающим из подобного взгляда на предмет, является доктрина, утверждающая, будто порывы страстей порочны по самой своей сути, а главная задача жизни состоит в том, чтобы искоренить их влияние. Это наставление находится в прямом противоречии с природным инстинктом; требования его физически невыполнимы. И в то время, как оно вносит путаницу в наши представления об истоках человеческих деяний, оно же повергает в отчаяние души совестливые и робкие, поощряя при этом нравственное попустительство в тех, кто совершил лишь малый проступок.

Аристотель — философ, который среди всех греков был наиболее сведущ в физиологии — полагал, что сущность блага заключается в гармонии и соразмерности поступков, и определял добродетель как середину между двумя пороками: избытком и недостатком.[274] Он ясно видел, что ни одна склонность или предрасположенность, коей человек наделен от природы, не может быть лишена своего предназначения или являться излишеством и изъяном в общем мироустройстве. Все излишества, в которых повинен человек при обращении с «внеприродными факторами» (non-naturals), и за которыми следуют неизбежные кары, тотчас изобличают заблуждение. Тем не менее, ни один философ не был столь безумен, чтобы утверждать, будто еда и питье суть зло лишь потому, что злоупотребление ими губительно для здоровья. Столь же нелепо полагать, будто любые иные природные склонности, порожденные здоровой деятельностью наших органов, порочны сами по себе и в общем смысле; однако во всех расхожих нравоучениях страсти, подобно дьяволу в судебном иске, фигурируют как главный источник зла и предаются всеобщей и безоговорочной анафеме.

Учение о действии физической необходимости в психических процессах удостоится еще более пристального внимания, когда предметом обсуждения станет

---

[273] Например, при падении пуританства во времена Карла II.

[274] «Ибо чрезмерные, равно как и недостаточные занятия гимнастикой губят телесную силу. Подобным же образом и питье, и пища, если их слишком много или слишком мало, разрушают здоровье, тогда как соразмерность создает, взращивает и сохраняет его. То же самое справедливо и для благоразумия, мужества и прочих добродетелей и т. д.»
- Аристотель, «Никомахова этика», кн. II, гл. 2.

природа долженствования. Впрочем, само это слово и тот чувственный образ, который оно вызывает, прямо противоречат гипотезе о свободе воли. Ибо как может воля быть свободной, если она обязана (то есть скована) какими бы то ни было соображениями или обстоятельствами?

Свобода, по сути, есть понятие, применимое исключительно к избавлению от принуждения со стороны лиц; приложение же его к силе вещей есть метафизическая нелепость, проистекающая из незнания истинной природы этих отношений. Мы свободны тогда, когда обладаем властью следовать велениям нашего естества. Абсурдно полагать свободу в позволении совершать невозможное физически; и не менее нелепо искать ее в способности совершать поступки, физически тягостные и противные нашей природе. Следовательно, когда мы наиболее свободны, мы действуем наиболее безоговорочно в согласии с установленными законами: а именно теми законами, что управляют устройством нашего организма и определяют его склонности.

Чем пристальнее мы исследуем понятие свободы воли, тем более призрачным оно кажется и тем более противоречащим не только наблюдаемым фактам земного и материального бытия, но и — что для иных умов покажется куда более убедительным — тем отношениям, кои приписываются существам нематериальным. Ибо трудно вообразить, каким образом духовная свобода человека может сосуществовать со всемогуществом Божества: ведь Бог не может даровать подобную власть иным существам, не освободив при этом их поступки от своего контроля окончательно. Тщетно издавать законы, если те, для кого они созданы, презирают само возмездие; судья в силах покарать, но он не властен предотвратить само преступление.[275] Если не по какой-либо иной причине, то хотя бы ради величия и достоинства Божества следует оставить теорию свободы воли.

Учение о необходимости, тем не менее (здесь уместно повторить этот факт), принимается в рамках данной дискуссии как доказанная истина; как закон, ставший очевидным благодаря всем тем явлениям, что уже были нами рассмотрены. Если же кто-то сочтет, что следствие не вытекает из посылок, и если сторонник свободы

[275] Эта истина находит подтверждение в каждом предании о деяниях дьявола. Сей дух, согласно его описаниям, претерпел предельную кару Божью, но не был уничтожен, а потому волен следовать собственным порочным наклонностям наперекор всемогуществу Творца. Бог изображается противодействующим плодам его злобы актами силы и милосердия, однако Он предстает бессильным предотвратить открытые проявления этого нечестия. Он не может обуздать волю дьявола или пресечь его деятельность иначе как посредством «принуждения личностей» — того физического стеснения, коим располагают лишь существа конечные и ограниченные.
В рамках гипотезы о необходимости дьявола можно рассматривать как исполнителя подчиненной роли в общем строе вещей, способствующего — пусть и вопреки своим намерениям — гармонии целого. Однако, согласно представлению о свободе воли, вера в существование подобного деятеля во вселенной (как бы её ни пытались приукрасить) едва ли отлична от чистого дуализма. И лишь манихеи нашли в себе мужество признать это неизбежное следствие.

воли останется непоколебим в своем мнении, он волен вводить свою излюбленную движущую силу во всех тех случаях, когда сумеет доказать, что субъект не руководствуется неизбежным влиянием мотивов. Когда он продемонстрирует свой принцип в действии и подтвердит его работу неоспоримым фактом, возразить будет нечего. Однако во всех случаях, где эта попытка окажется безуспешной, во всех случаях, где между причиной и следствием прослеживается явная соразмерность, он обязан признать выводы, вытекающие из этого положения. И это — всё, чего я прошу в последующих главах.

Глава III. О происхождении и развитии нравственных идей

Если признать доктрину физической необходимости, то неизбежным следствием станет то, что человек не властен над собственными поступками; что во всех случаях он вынужден реагировать на стимулы внешних обстоятельств сообразно особенностям своего темперамента и прочему, не имея при любых обстоятельствах возможности произвольно выбирать между двумя или более способами ответа на это воздействие. Каким же образом, возникнет вопрос, он обретает способность следовать предписанным правилам поведения и достигать того единообразия и постоянства характера, которые отличают добродетель от порока? Решение этой трудности заключается в воздействии общества на составляющих его членов.

Чтобы детально разъяснить этот факт, необходимо исследовать состав и происхождение тех основополагающих идей, на которых преимущественно строятся нравственные суждения.

Как уже было показано, простого ощущения удовольствия и боли достаточно, чтобы вызвать в существе, способном выражать мысли с помощью языка понятия блага и зла, которые суть лишь общие термины, обозначающие те общие свойства удовольствия или страдания, которые мы находим во всех ощущениях, не являющихся абсолютно безразличными для наших страстей, или которые мы приписываем внешним причинам, вызывающим эти ощущения. Всё, что приносит приятное ощущение, само по себе и в той мере, в какой длится это ощущение, является **благом**. Однако живое существо представляет собой не простую сущность, а сложную совокупность из множества органов, и поэтому оно восприимчиво к самым разным состояниям, что зачастую находятся в тесной взаимозависимости.[276]

Эта связь органов и ощущений подчиняет значительную часть наших удовольствий и страданий гармонии или диссонансу всего «механизма» в целом. Таким образом, ощущения и их причины начинают оцениваться не только по их собственной природе, но и по тем ощущениям, которые они, в силу сцепления жизненных процессов, призваны вызвать. Так, например, вкусная, но неудобоваримая пища, являясь благом по тому впечатлению, которое она производит на нёбо, оборачивается злом из-за тех ощущений, которые она вызывает в кишечнике. Мы вынуждены корректировать наше первоначальное суждение о ней, опираясь на опыт преобладающего зла, причиняемого расстройством здоровья.

[276] *«Далее, хотя то, что способно произвести любую степень удовольствия, само по себе есть благо, а то, что способно произвести любую степень боли, есть зло, всё же часто случается, что мы не называем их так, когда они вступают в соперничество с чем-то большим того же рода; ибо когда они соперничают, степени удовольствия и боли по праву получают предпочтение».* — **Локк**, кн. II, гл. 24, разд. 42.

Таким образом, любое приятное ощущение в силу своих последствий может превратиться в зло; и наоборот, боль может начать рассматриваться как благо. Подобным же образом страдание, предотвращающее множество иных страданий, и удовольствие, лишающее многих других радостей, меняют свое отношение к добру и злу. Так, путем простого наблюдения за собственными ощущениями, человек приходит к осознанию различия между двумя рядами идей, которые поначалу должны были казаться ему совершенно тождественными: понятие блага отделяется от простых физических удовольствий и начинает применяться лишь в отношении более прочного и долговечного счастья.

Среди последствий, влияющих на само существование или благополучие индивида, нет более значимых, чем те, что порождаются его собственными поступками через ответные реакции других чувствующих существ. Человек, в силу своей исключительной зависимости от себе подобных, чувствителен к радости и страданию, проистекающим из его общения с обществом, ничуть не меньше, чем к воздействию стихий, необходимых для его физического выживания. Вследствие этого его действия подчиняются новому критерию полезности; они измеряются их способностью вызывать в других людях ответные реакции, благоприятные или неблагоприятные для его благополучия. То, что само по себе может быть безразличным или даже полезным, способно превратиться во зло, если оно разжигает гневные страсти в окружающих и тем самым провоцирует враждебность и насилие.

Точно так же симпатия и общественные привязанности определяют разнообразие удовольствий и страданий, проистекающих из удовольствия или боли, которые мы наблюдаем в других. Это заставляет нас наделять причины качеством блага или зла в зависимости от их двойственного влияния на общество и на отдельную личность. Мы воздерживаемся от того, что, по нашему восприятию, причиняет страдания другим, ибо не можем выносить зрелища их несчастий; и мы лишаем себя многих радостей ради служения окружающим, поскольку ощущение, которое мы при этом обретаем, физически сильнее и приятнее тех чувств, что возникли бы в результате потакания собственным прихотям.

Подобные акты носят сугубо органический характер; и такое расширение понятий добра и зла является лишь результатом наблюдения — подобно нашим суждениям о цветах или любом ином свойстве осязаемой материи, которые могут корректироваться опытом.

Помимо вреда, который может проистекать из определенных образов поведения вследствие ответных реакций со стороны других людей, существуют и опосредованные последствия. Они могут оказаться губительными для самого субъекта действия в силу их тенденции наносить ущерб обществу, неотъемлемой частью которого он является.

Ценность этих деяний кроется не в последствиях какого-то единичного случая, но в тех результатах, которые наступили бы, если бы каждый позволил себе их совершение. Одиночное ограбление или убийство может быть совершено безнаказанно, и преступник, возможно, усмотрит в этом акте временную выгоду; но если бы каждый человек присвоил себе такую же привилегию, существование собственности стало бы невозможным, а жизнь в одночасье сделалась бы полной опасностей и лишений. Общество, действительно, являет нам примеры торжествующего злодейства,[277] когда корыстные натуры пренебрегают этими последствиями и живут за счет человеческого рода. В случаях же общественных преступлений порок особенно часто торжествует, обладая богатством, властью и даже почестями. Однако эти исключения ни в коей мере не колеблют общего правила. Во-первых, общество достаточно печется о собственных интересах, чтобы не допускать безнаказанности для многих преступников. Во-вторых, подобная враждебность к роду человеческому может проявляться лишь в череде открытых деяний, которые в долгосрочной перспективе неизбежно определяют репутацию виновного. Люди закономерно начинают проявлять осторожность в отношениях с ним, так что шансы на его конечный успех оказываются даже ниже, чем в любой азартной игре. Что касается тех масштабных злодеев, которые строят свое состояние на руинах собственного отечества, их расчеты оказываются еще менее благоприятными для них самих. Ибо, помимо риска навлечь на себя бесчестие, разорение и даже смертную казнь на пути к власти, они обречены на мучительное осознание того, что навлекают несчастья на своих детей до самого позднего потомства.

Весь опыт мировой истории доказывает, что в общественной жизни даже самые удачливые преступники — те, кто сумел передать своим детям неоспоримый венец, — на поверку обнаруживали, что приобрели его ценой собственного счастья. Безумная страсть к тирании над другими таит в себе не меньше личных страданий, чем безропотный отказ от собственных законных свобод.[278] В делах частных и домашних преступное поведение, даже если оно было единичным, оказывается еще более губительным. Ибо никто не может быть полностью застрахован от разоблачения или избавиться от гнетущего осознания того, что кара или позор могут настигнуть его в любой миг. Более того, человеческая душа устроена так, что даже самые ценные блага, будучи обретены, не приносят того удовольствия, которое они

[277] Число этих исключений, впрочем, не столь велико, как принято считать; и мысль Платона в качестве общего положения вполне справедлива: «*Ни город, ни человек не могут быть счастливы, если они не проводят жизнь в благоразумии и справедливости*». (Платон, Письмо VII).

[278] Следует, однако, признать, что именно в этом случае истинную связь причин и следствий — то, как в действительности поступки влияют на счастье, — уловить труднее всего. Посему редко случается, чтобы виновный осознал тщету своих помыслов прежде, чем жизнь начнет ускользать из его рук; в этот миг их суетность или разумность уже не имеют для него никакого значения. Поприще его пройдено; и хотя он может сокрушаться о содеянном, возможности для исправления у него более нет.

сулили в ожидании. Когда же обладание ими отягощено воспоминанием о том, что они куплены ценой утраты душевного покоя, они становятся воистину постылыми.

Но прежде всего стоит заметить, что человек в такой степени является рабом своих привычек, что никто не становится преступником внезапно. Прежде чем решиться на тяжкое посягательство против общества, индивид должен уже быть готов громоздить одно насилие на другое, тем самым погружаясь в такой образ жизни, опасности и злосчастья которого никто не посмеет отрицать.

По мере того, как общественное устройство становится всё более сложным, взаимосвязь между поведением и его полезностью становится всё более многообразной; движущая же сила внешних факторов всё дальше отходит от чисто физической природы стимула. Следовательно, определения добра и зла уже не так тесно привязаны к тому, что в первую очередь приносит лишь страдание или удовольствие; в поступках становится меньше инстинктивного и больше рационального начала.

Естественное действие внешнего раздражителя заключается в том, чтобы вызвать немедленную ответную реакцию, направленную на обретение предлагаемого удовольствия или на предотвращение причиняемой им боли. В ранние годы жизни тело реагирует на чувственные впечатления с исключительной стремительностью. В этот период существования все органические процессы своей быстротой свидетельствуют об остроте чувствительности и мощи жизненных сил.[279] Кровообращение и пищеварение протекают быстрее, болезни протекают острее, а ощущения становятся ярче. Разнообразие и интенсивность впечатлений, сопутствующие такому строению организма, подстегивают волю с поспешностью, неблагоприятной для размышления. Воспринимающий субъект не осознает ценности и половины тех сложных ощущений, которые он получает, а опыт еще не снабдил его память аналогиями, с которыми он мог бы их сравнить. Юность — это вечная жертва видимости и веления своих первых впечатлений. Но по мере того как жизнь близится к зрелости, это физическое состояние организма, столь необходимое для его роста и развития, постепенно утрачивает свою остроту. Знакомство с миром рождает потребность более внимательно прослеживать цепи причин и следствий. Надежда и страх примешивают свои доводы ко всем чувственным впечатлениям и, уравновешивая прочие склонности, разрывают изначальные органические связи между стимулом и реакцией. На их месте устанавливаются иные связи, в которых между ощущением и его конечным результатом вклиниваются длинные ряды идей.

[279] Пульс младенцев обычно бьется со скоростью 120 ударов в минуту; органические же функции, настроенные не только на сохранение жизни, но и на увеличение массы тела во всех направлениях, обладают такой силой и быстротой действия, которые делают организм гораздо более восприимчивым к внешним впечатлениям.

Весь жизненный путь человека посвящен подобного рода обучению. Каждая неудача или крушение надежд становятся поводом для недоверия к первым впечатлениям, побуждая подвергать их ценность сомнению и сопоставлять их по аналогии с предшествующими схожими сочетаниями обстоятельств. Результат каждого случая, запечатленный в памяти, превращается в неоспоримый факт, чья движущая сила влияет на все будущие жизненные построения до самого конца дней. Это — **фундаментальный закон деятельности мозга**, над которым индивид не имеет власти. Некоторые люди от природы более осторожны и склонны к осмотрительности, нежели другие; существуют и такие личности, которых не способен научить никакой опыт. Все это всецело зависит от природного склада и, подобно мудрости или гению, не может быть привито по одному лишь желанию наставника.

Данное наблюдение в равной степени применимо как к сменяющим друг друга поколениям людей, так и к прогрессу цивилизации в целом. Дикари, эти младенцы общества, выказывают ту же неутомимую восприимчивость к ощущениям, ту же готовность к действию и то же неведение последствий. Однако по мере совершенствования общества множатся факты и наблюдения, мотивы усложняются и, воздействуя одновременно на множество влечений, придают жизни ту последовательность и единообразие, которые не могут возникнуть из мимолетного преобладания отдельных порывов.

Именно так сама человеческая организация под давлением обстоятельств вырабатывает понятия добра и зла, меняя их применение к частным случаям по мере обретения более точных знаний о свойствах материи и направленности действий. Мерило пользы остается неизменным, однако оно связывается со все более длинными цепями последствий; переставая опираться на одни лишь физические впечатления, оно само начинает оцениваться в соотнесении с совокупностью всех наших ощущений. В ходе исторического развития меняются не только наши представления о направленности поступков, но и сами поступки способны менять свое отношение к нашему счастью. Сила и свирепость, необходимые для сохранения жизни в первобытном состоянии общества, становятся опасными и невыносимыми, когда они проявляются в недрах благоустроенных государств.

Но в любых жизненных условиях, каковы бы ни были представления индивида о направленности действий, он неизбежно находится под влиянием внешних факторов в том виде, в каком они предстают перед ним со всеми ассоциациями, наслоившимися в силу опыта, воспитания и общественного мнения. Однако среди огромного разнообразия суждений, выносимых людьми, подавляющее большинство суть предрассудки, а зачастую и заблуждения. По мере накопления знаний эти предрассудки нисходят от людей просвещенных и наблюдательных к невежественным слоям общества, которые, таким образом, всегда плетутся в хвосте остального мира.

Под воздействием этой причины, равно как и под более тяжким гнетом физических нужд, бедные слои населения оказываются более подвержены необходимости совершать преступные деяния, нежели прочие. Согласно доктрине нравственной вменяемости, за свои проступки они должны были бы подлежать более мягким наказаниям; в то же время, согласно доктрине пользы, они требуют более суровых кар, дабы уравновесить их сильную склонность к преступлению. И общество, столь сурово карая за правонарушения представителей трудящихся и необразованных классов, дает решительное свидетельство об истинной природе и происхождении наших идей по этому предмету.

Выводы о добре и зле, к которым мы таким образом приходим, ведут к следующему логическому следствию: зло по самой своей сути вплетено в ткань нашего существования. Для чувствующих существ, подверженных разрушению и ущербу от окружающих стихий, физически невозможно избежать тех грубых воздействий внешней материи, что причиняют боль. Столь же невозможно, чтобы живые существа, обреченные поддерживать жизнь собственными усилиями и побуждаемые к этим усилиям собственными ощущениями, были избавлены от сильных желаний; последние же, оставаясь неудовлетворенными, становятся источником наших горьчайших страданий. Таким образом, физическое зло проистекает непосредственно из организации живого существа и его отношений с неодушевленной материей; а моральное зло есть прямое следствие физического страдания.

Таким образом, великий вопрос о происхождении зла сводится к еще более общему: а именно, зачем были созданы существа, подобные нам — чувствующие и разумные? Ибо раз дана способность чувствовать, то восприимчивость к удовольствию и боли вытекает из нее как неизбежное следствие. Удовольствие и боль соотносительны, и существование одного находится в неразрывной зависимости от существования другого; сама же по себе чувствительность, не ведающая ни удовольствия, ни боли, была бы злом, если бы не была полнейшей бесполезностью. Для решения этой проблемы представляются безусловно необходимыми два положения: первое умаляет бесконечную благость Божества,[280] а второе — Его всемогущество (а именно, что не Он сотворил материю, но связан ее врожденными свойствами и вынужден придавать ей форму сообразно своим целям,

[280] Бесконечная благость не может, согласно здравой логике, приписываться Божеству без опровержения доктрины вечных мук. В отношении демонов и отверженных мы не можем утверждать, что Бог благ, без явного злоупотребления языком*. Чем глубже мы исследуем наши идеи и чем большую точность придаем нашим словам, тем очевиднее становится, что мы совершенно неспособны утверждать что-либо положительное о природе и атрибутах Существа, которое столь тщательно скрыло себя от человеческого взора. Нам остается лишь безмолвное поклонение.

* Правосудие именуется «благим», поскольку оно способствует умножению счастья — либо через исправление правонарушителя, либо через назидательный пример; однако ни одна из этих целей не достигается вечными муками, которые всецело принадлежат к области мщения.

подобно тому, как гончар пользуется вязкостью глины). Только на этой последней гипотезе может устоять догмат, который компенсирует существующее зло будущим и вечным блаженством. Ибо какое отношение имеет всемогущество к возмещению? С другой стороны, утверждение, что вещи таковы, каковы они есть, по воле Божьей, выражает лишь смирение перед божественным промыслом, но не дает никаких оснований для заключения о Его моральных качествах. Из столь противоречивых и неудовлетворительных рассуждений мы не можем извлечь иного определенного вывода, кроме осознания полной неспособности человека постичь сей предмет. Нам мнится, будто мы заняты изучением самой сути вещей, тогда как весь наш спор идет лишь о словах — в тщетной попытке распутать путаницу и противоречия нескольких абстрактных понятий.

Но вернемся к теме. Даже если в самом начале жизненного пути человеческая воля была бы столь же чистой доской (**tabula rasa**), как и разум; если бы не существовало врожденных органических предрасположенностей, чей природный избыток или недостаток мог бы влиять на нравственный облик личности, — и тогда человек очень рано, задолго до наступления поры моральной ответственности, оказался бы скован тысячью не зависящих от него обстоятельств. Эти обстоятельства неразрывно связывают его с эпохой, страной и сословием, с которыми случай соединил его существование, и определяют общий строй его поведения на протяжении всей жизни.

В системе, которая основывает отправление правосудия или даже частную оценку характера на личных заслугах или провинностях индивида, все эти соображения потребовали бы точного и тщательного взвешивания — что на практике было бы совершенно невозможно. Однако опыт и необходимость направили человечество по верному пути, вопреки несовершенству и ошибочности его теорий: и наказания назначаются в некотором соответствии со значимостью преступления для общества, силой искушения и сложностью его раскрытия; при этом совершенно не принимаются во внимание ни сама личность преступника, ни особенности его естества, ни его социальное положение, невежество или нужды.

Но если такова природа наших суждений — если мы инстинктивно склонны классифицировать вещи и поступки как добрые или злые в зависимости от того, приносят ли они нам страдание или удовольствие, — то почему же тогда, могут возразить мне, человечество так стремится доискиваться до **мотивов** и строить своё мнение о людях скорее на основе их предполагаемых намерений, чем по их явным и очевидным деяниям? Ответить на этот вопрос несложно. Все наши суждения о людях и их поступках определяются тем удовольствием или болью, которые эти действия способны причинить нам самим. Мы легко поддаемся искушению не замечать и прощать те проступки, от которых не можем пострадать лично. Человек, не имеющий дел с финансами, легкомысленно относится к подделке документов. Все люди более или менее снисходительны к преступлениям против нравственности, пока речь не заходит об их собственных семьях; и нет ничего более

привычного, чем слышать замечание: «Этот человек — большой подлец, но со мной он всегда был добр и справедлив». Подобные суждения — вопрос чистого инстинкта; существуют даже натуры, столь болезненно подвластные зависти и ревности, что они испытывают страдание от чужого морального совершенства; и они ненавидят в той же мере, в какой отчаиваются в возможности ему подражать.

Когда, однако, наше общение с отдельными людьми затягивается на значительный период времени, мы судим о них скорее по общему складу их поведения, чем по отдельным явным поступкам, так мы оцениваем влияние окружающих. Дабы составить об этом предварительное суждение, мы вынуждены изучать наклонности тех, с кем вступаем в общественные отношения, и подвергать тщательному разбору мотивы, которые привычно ими движут — только так мы обретаем почву для предположений о будущем. Посему, когда обнаруживается, что в силу некоего странного стечения обстоятельств вредоносный поступок был продиктован мотивами, которые в долгосрочной перспективе делают человека полезным или приятным для общества, само пагубное свойство его действия рассматривается как чистая случайность. Таким образом, **мотивом измеряется не поступок, но сам человек**. Соответственно, если обнаруживается, что некто по привычке совершает оскорбительные деяния из-за постоянных ошибок в расчете благих и общественных побуждений, его ненавидят и избегают так, словно намерения его изначально были дурны; если же он вызывает жалость вместо негодования, то лишь потому, что гнев в подобных случаях в значительной степени смешан с презрением.

Однако в этом кроется и нечто большее. И социальные, и подражательные наклонности в равной мере заинтересованы в выявлении преобладающих устремлений тех, с кем мы связаны. Между людьми, чьи чувства и поступки созвучны, существует инстинктивное притяжение. Нас непреодолимо тянет к одним натурам и отталкивает от других, вне зависимости от каких-либо корыстных побуждений. Благодарность, которая является в той же мере физическим расположением, что и нравственным чувством, также более непосредственно связана с мотивами, нежели с поступками. Отсюда проистекает сильная склонность, независимая от личных интересов, к исследованию внутренних механизмов человеческого разума; к этому нас еще более побуждает неосознанное стремление подражать всему, что мы видим вокруг, вплоть до самого образа мыслей и суждений людей, в кругу которых мы живем. В силу всех этих причин мы неизбежно приходим к необходимости тщательно изучать мотивы и придавать им значение куда более важное, нежели самим поступкам, которые затрагивают нас более непосредственно.

Если бы побуждения, владеющие человеческим сердцем, подвергались строгому и беспристрастному разбору, они послужили бы наилучшим основанием для отправления правосудия. Поскольку целью закона является не месть, а предотвращение преступлений, было бы крайне полезно применять наказания, соответствующие причинам зла, а не самому деянию. Однако существует одно

возражение: многие действия, признанные преступными в силу общепринятых условностей, могут проистекать из мотивов, направленных на достижение общего блага. При всеобщем отсутствии работы контрабанда может стать средством пропитания для голодающей семьи; подобным же образом и кража порой оказывается лишь родом деятельности, избранным ввиду полной невозможности приложить свои силы в более оправданном направлении. Но наказать преступника гораздо легче, чем преобразовать общество; и люди до самого конца будут упорствовать в умножении суровых уголовных законов, лишь бы не обременять себя хлопотами, сопряженными с трудными реформами.

Тот факт, что чувства изначально не связаны с моральными категориями, доказывается следующим соображением: чувства ненависти и одобрения возникают гораздо раньше, чем само понятие нравственности. Будучи неразрывно связанными с удовольствием и болью, они должны были пробудиться одновременно с первым проявлением человеческого существования; в то время как потребовалась бы смена многих поколений, прежде чем идеи добра и зла могли бы быть осознаны абстрактно, в отрыве от ощущений удовольствия и боли, в которых они зародились. И еще больше времени должно было пройти, прежде чем возникло бы ясное понимание того, что **не всякое страдание есть зло** и не всякое удовольствие — благо.

Распространенная ошибка родителей и наставников заключается в том, что они пытаются проповедовать и рассуждать о чувствах, предписывая их как некую обязанность; тогда как никого невозможно — и никогда не будет возможно — заставить чувствовать силой логических доводов. Чувство либо возникает естественным образом из самой природы организма, либо не возникает вовсе. Любви и ненависти не учат. Их можно поощрять там, где они уже существуют, прибегая к поведению, способному разжечь страсть; или же их можно подавлять противоположным обращением — но их невозможно привить извне. Следовательно, не моральное качество поступка пробуждает наши чувства, но именно чувства определяют наши суждения о его моральной природе. И хотя многие люди черпают свои суждения ex traduce — из преданий или словарей, а не из собственного сердца, — это не меняет общего положения дел в отношении человечества в целом.

Связь идей добра и зла с понятиями правильного и неправильного представляет собой процесс еще более отдаленный и длительный. Если бы человеческий род был способен к изолированному и самостоятельному существованию, то вероятнее всего, понятия добра и зла оставались бы неизменно связанными с причинами, способными вызывать удовольствие или боль. Всякий раз, когда два человека оказывались бы в сфере деятельности друг друга, несовместимость их интересов, безусловно, давала бы о себе знать; однако мысль о том, чтобы отказать себе в удовольствии ради пользы или удовлетворения другого, никогда бы не возникла. Ибо, поскольку сочувствие не могло бы существовать между индивидами, самой своей природой предназначенными для независимости, никто не согласился бы

оставаться там, где его поведение подлежало бы контролю. Лишь необходимость подчиняет человека влиянию своего вида и делает его покорным игу власти.

В состоянии независимости, ничего не получая от себе подобных и ничего от них не требуя, он оставался бы свободным от всяких уз; будучи же предоставлен собственной биологической организации, он в своем поведении руководствовался бы исключительно темпераментом. Он непреодолимо следовал бы импульсам, полученным от природы, и потому не знал бы иного правила поведения, кроме велений собственной воли.

Достаточно беглого взгляда на устройство и естественную историю человеческого рода, чтобы убедиться: человечество никогда не жило и не могло жить в подобной независимости друг от друга.[281] Продолжительный период младенчества, предшествующий развитию физических сил, трудность добывания пищи и противостояния более могучим животным в условиях одиночного существования, врожденное стремление сопереживать чувствам других, способность понимать выражение их лиц и сообщать им свои идеи — всё это факты, последствия которых невозможно ни отрицать, ни оспорить. С какой бы точки зрения ни рассматривались человеческие существа — взираем ли мы на их чисто животное существование или принимаем в расчет их высокие интеллектуальные способности, — **отдельный индивид явно несовершенен**; как союз двух полов необходим для продолжения существования вида, так и союз двух умов необходим для развития каких бы то ни было идей, выходящих за рамки удовлетворения

---

[281] «Человек по природе своей есть существо общественное». — **Аристотель**. «Политика», кн. I, гл. 2.

«Я не настолько заблуждаюсь, чтобы предполагать существование некоего естественного состояния, предшествующего гражданскому обществу и подобного состоянию дикарей, как на том настаивают некие софисты-мизантропы; равно как не настолько я невежествен в природе своего вида и отличающих его чертах, чтобы верить, будто человек рожден скитаться по лесам или что общественное состояние является для него состоянием насилия». — **Филанджери**, том 1, стр. 46.

«Но разве родиться и быть вскормленным не значит уже быть существом общественным? Человеку требуются годы, чтобы достичь зрелости, и одного этого было бы достаточно, дабы признать его более склонным к общежитию, нежели любое другое животное: ибо он из всех дышащих существ нуждается в самом долгом воспитании, прежде чем обретет независимость от родителей.

Не будет ли тогда величайшим попранием истины утверждение, будто общество возникло из войны, тогда как любовь была причиной человеческого бытия, а взаимная привязанность — средством, коим он достиг возмужания? Не тщетно ли говорить, будто страх перед врагами или осознание собственной слабости загнали бродячих людей в общество и заставили их объединяться в союзы для нападения или защиты; в то время как само рождение и природа детей, а также обычное течение жизни в нескольких поколениях естественным путем устанавливают общество и правление?

И не легкомысленно ли рассуждать о "социальном контракте"? Поистине, сие кажется в высшей степени абсурдным; ибо сие предполагает, будто люди без всякой причины пошли наперекор своим чувствам и привычкам и разбрелись друг от друга, дабы затем встретиться и заново учредить посредством договора то общество, которое уже было скреплено крепчайшими и нежнейшими узами». — **Энсор**.

первичных природных потребностей. Жалкая и разобщенная жизнь дикарей, блуждающих в пустынных землях (столь часто и столь ложно превозносимая философами — ошибка, весьма естественная для чувствительных умов, погруженных в пороки разложившейся и падшей цивилизации), должна по справедливости рассматриваться скорее как запустение и деградация вида, как истинное вырождение животного, нежели как образ его неискушенного и простого младенчества.[282]

Но с возникновением общества начинается как совпадение интересов, так и противоборство разных воль; а вместе с ними, как следствие, и подчинение поведения правилам, отличным от велений чувств и страстей. Законы органического действия, проявляющиеся в устройстве общества, обнаруживают поразительное сходство с законами, управляющими совокупным движением отдельных масс грубой материи. Если два тела, свободно движущиеся в пространстве, попадают в сферу взаимного притяжения, возникает новое движение, определяемое совокупным соотношением их соответствующих масс и первоначальных импульсов. Если движущая сила одного тела значительно превосходит силу другого, более мощное тело сообщит слабейшему собственное направление. Однако, если между их импульсами соблюдается определенная пропорция, каждое из тел, испытав воздействие другого, несколько отклонится от своего первоначального пути и устремится по новому курсу, который отчасти продиктован его собственным исходным порывом, а отчасти заимствован у другого тела. Подобным же образом, когда двое людей сближаются в социальном союзе, и физические или нравственные силы одного значительно превосходят силы другого, сильнейший навязывает более слабому те движения, что проистекают из его собственных устремлений. Но если их силы почти равны, каждый из них соразмерно своим возможностям внесет вклад в формирование общей воли, которой оба в дальнейшем будут подчиняться.

В любом объединении, будь то семья или целая империя, неизменно должно наличествовать некое общее направление, или **всеобщая воля**, дабы придать этой общности характер единого целого. Совокупность индивидов, каждый из которых преследует лишь собственные прихоти, неизбежно распадется, ибо в ней отсутствует то единство цели, которое и составляет истинную сущность общества.[283]

---

[282] Филанджери, цит. соч.: «Человек в целом всегда был таким, каков он есть. Это не означает, что у него всегда были прекрасные города, двадцатичетырехфунтовые пушки, комические оперы и женские монастыри. Но у него всегда был тот же инстинкт, побуждающий его любить самого себя, спутницу своего удовольствия, своих детей, своих внуков, творения своих рук. Это то, что никогда не меняется от одного края вселенной до другого. Поскольку основы общества существовали всегда, значит, всегда существовало и некое общество. Мы вовсе не были созданы для того, чтобы жить подобно медведям».
— **Вольтер**, «Опыт о нравах», Вступительное рассуждение.

[283] «Декарт сказал: „Я мыслю, следовательно, я существую“; и на этом первом признанном факте он стремился воздвигнуть всю свою метафизическую систему. Подобным же образом

Рука Природы заложила начало сего порядка в недрах семей, подчинив дитя в течение долгого периода его младенчества физическому превосходству родителя. Покорность — это первый жизненный урок; именно так формируются привычки к действию, которые, проистекая не из врожденных наклонностей индивида, а из общей организации общества, оказываются более тесно связаны с потребностями всего человеческого рода.

Беспристрастное созерцание этого единственного факта должно было бы отвратить философов от их причудливого положения о первоначальном равенстве людей. Подобное равенство — физическая невозможность; ибо люди не только в целом отличаются друг от друга, но возраст и пол обуславливают важнейшие различия в физической силе, остроте ума и телесной ловкости. Там, где силы столь неравны, равенство власти существовать не может. Между тем равенство власти (как будет показано далее) является необходимым условием для равенства прав. Однако выводить из этого закона «божественное право творить несправедливость» — значит прибегать к низменной софистике, к аргументу, подменяющему должное употребление злоупотреблением. Ибо, хотя **источником всякого практического права действительно является сила**, всё же мнение — это мощнейшая из всех сил, и только разум дает безопасное и достаточное средство для регулирования отношений между властью и подчинением. Следовательно, наши изыскания должны быть направлены не столько на генеалогию наших прав, сколько на их целесообразность. Если то, на что претендуют в настоящий момент те или иные стороны, на деле полезно для всех сословий и ни для кого не обременительно, то мало значения имеет, как это соотносится с обычаями древних евреев или порядками того вселенского монарха, коим был Адам. На самых ранних этапах развития общества одна лишь грубая сила решает вопрос о свободе; и среди людей существуют лишь два класса — **победители** и **побежденные**;[284] но цивилизация тем и гордится, что апеллирует не к мечу, а к общественному мнению и разрешает внутренние споры нравственной силой правосудия. Перед лицом такого трибунала тщетно хвалиться древностью злоупотребления, «будто порок, длящийся долго, не становится от этого лишь застарелым заблуждением».[285] Именно разум, а не

в политике можно сказать: „Мы чувствуем сообща, следовательно, мы существуем“. Ибо любая нация, признающая в себе эти чувства симпатии, может с уверенностью взирать в будущее; она не мертва, она не разорвала узы своего союза, и её граждане не утратили способности совершать великие дела, жертвуя личными интересами ради блага отечества. Многие совершенно выродившиеся народы более не знали этого чувства. Многие империи, образованные путем неловкого объединения провинций, не имеющих ничего общего друг с другом, никогда его не испытывали».
- Bibliothèque Universelle, Art. sur „Os Lusiados“.

[284] Лакедемоняне и илоты; римляне и их рабы (причем плебеи немногим превосходили рабов, когда их лишали прав путем обмана); франки и галлы; саксы и бритты; норманны и саксы. Победители никогда не сливаются на равных условиях с побежденными, за исключением тех случаев, когда последние слишком сильны, чтобы их можно было обезоружить и поработить.

[285] Энсор об управлении государством.

формальное правило, должен выносить решение по притязаниям спорящих сторон.[286]

Каким бы ни было состояние человеческих мнений, неоспоримым остается тот факт, что родители могут и должны осуществлять деспотическую власть над своими детьми в их младенчестве. Этот контроль закладывает длинную цепь привычек и ассоциаций, варьирующихся в зависимости от устройства общества и сословной принадлежности; они воздействуют на человека задолго до того, как он обретает способность следовать велениям собственной воли. С первыми проблесками разума человек, таким образом, знакомится с двумя путями действия и привыкает к двум рядам свойств, четко отличимых друг от друга: Приятное и неприятное (добро и зло); Правильное и неправильное. Первые суть естественные веления его собственной воли; вторые же исходят от воли чужой.

Наш собственный язык сохранил этот факт почти в неприкосновенности, исключая всякую возможность ошибки. Как указал нашему вниманию Хорн Тук,[287] слово **Right** (правильное/право) этимологически означает то, что было ordered (заказано, приказано); а **Wrong** (неправильное) — то, что было wrung (искажено, вывернуто) или отклонено от предписанной линии поведения. К этим словам в строгом смысле не могут быть привязаны понятия добра или зла, удовольствия или боли. Человек, однако, отнюдь не столь слеп или порочен, чтобы его распоряжения — будь то в роли государственного деятеля или главы семейства — не имели общей тенденции содействовать благополучию рода человеческого. Но даже если бы он был гораздо более эгоистичен и нечестив, чем есть на самом деле, любовь и почтение, которые дети неизменно питают к своим родителям, побуждали бы их признавать общую правомерность родительских велений. Так, незаметно для самих себя, они начинают связывать с понятием правильного (right) представление о сообразности, а с понятием неправильного (wrong) — идеи опасности и порочности.

---

[286] Такова природная робость человека, что прецедент подменяет собой все прочие аргументы. Доказательство того, что некий обычай бытовал в лесах Германии среди наших предков-саксов или в варварстве феодальной анархии, вербует больше сторонников, нежели демонстрация его целесообразности или доказательство его гармонии с современной цивилизацией и зрелой наукой.

[287] Я не говорю «открыл», ибо требовалось лишь мгновение внимания к этим словам, чтобы почти интуитивно постичь их происхождение и смысл. Здесь нет места для изысканной изобретательности этимолога; слова остаются в своем первозданном состоянии, не изменившись со временем ни по форме, ни по применению. Ханжи и плуты инстинктивно объединились в очернении этого замечательного аналитического труда — «Развлечения Пёрли» (Diversions of Purley), который, проливая слишком яркий свет на метафизические фокусы церковных и государственных шарлатанов, грозит в конечном итоге подорвать их ремесло. Локк анализировал мысли человека; Тук — его слова, инструменты мысли; а современные физиологи, стремясь проследить законы, управляющие органическими структурами в целом, коснулись самого механизма мышления. Таким образом, тремя разными путями мы прибыли в ту же точку: что дает, пожалуй, сильнейшую вероятность в пользу их доктрин, которую любое положение, не доказуемое математически, способно принять.

Таким образом, люди бессознательно и постепенно приходят к убеждению, что эти термины относятся к некоему абстрактному свойству, общему для всех сочетаний обстоятельств, к которым они применимы; и именно из этого почти неизбежного заблуждения выросли утонченные и глубокие изыскания греков в поисках summum bonum — высшего блага.

Благодаря естественному стремлению родителей содействовать благу своих детей и склонности людей в малых сообществах устанавливать для себя равные и мудрые законы, понятие «**необходимо**» (must) быстро сливается с понятием «**должно**» (ought). Волевые импульсы, которые первоначально были навязаны младенцу вопреки его собственным желаниям, отчасти в силу убеждения, а отчасти по привычке, со временем как бы укореняются в его натуре и начинают действовать как постоянные причины, определяющие его поведение.

В простейших общественных объединениях, которые опыт доныне представлял на рассмотрение философа, индивиды уже претерпели глубокие изменения. Они разительно отличаются от существ в том «естественном состоянии», которое столь часто полагалось гипотетической основой для множества рассуждений. Ныне должно быть очевидно, что подобное состояние никогда не существовало и не могло существовать, если только не предположить, что люди возникли из земли сразу совершенными и независимыми — без родителей и без полового влечения. Следовательно, представления, свойственные даже самым диким племенам в пору их младенчества, нельзя считать спонтанным продуктом их собственной физиологической организации; напротив, они являются результатом утончения, достигнутого трудом и наблюдениями всего общества в целом.

Вышеизложенные положения кажутся столь самоочевидными, что едва ли стоило бы дольше задерживаться на этом предмете. Однако противоречащие им взгляды укоренились в человеческих умах слишком прочно, чтобы можно было надеяться на их безоговорочное принятие при первом же изложении. Даже если мы допустим **теорию нравственного чувства** — то есть некоей особой способности или органа в человеческом устройстве, предназначенного для познания моральных отношений, — предсуществование фактов, подлежащих наблюдению, всё равно остается необходимым условием, если только мы не пожелаем вернуться к ложному учению о врожденных идеях. Если же это предсуществование признано, то в моральных отношениях, как и в любых других, нет ничего такого, что требовало бы вмешательства какой-то особой, специфической способности. **Краниологи**, безусловно, могут признавать существование нравственного чувства наряду с чувством прекрасного, восприятием цвета, гармонических созвучий и тому подобного; на том же основании они могли бы вообразить и некую отдельную способность и орган для восприятия каждой отдельной идеи. Однако истинность или ложность их учения в том, что касается анатомических фактов, безразлична для метафизического вопроса. Восприятие остается одним и тем же актом, осуществляется ли оно простым или сложным органом, частью мозга или же всем

мозгом целиком; и идет ли речь о восприятии внешнего объекта, модальности или любого иного отношения, в нашем понимании оно должно быть во всех случаях совершенно тождественным — то есть представлять собой состояние живой чувствующей структуры, порождаемое внешним стимулом.

В подтверждение этой истины можно заметить, что собаки, кошки и вообще все животные, подчиненные власти человека, обладают отчетливыми понятиями о правильном и неправильном; и, насколько позволяют их ограниченные выразительные способности, проявляют признаки стыда, страха и лукавства, вызванные этими идеями.

Понятия об **абстрактном праве**, которые на первых порах развиваются благодаря благосклонности родителей к своим детям и проистекающей из неё разумности их наставлений, в процессе жизни осознаются еще отчетливее через действие прямо противоположное. В самом раннем из мыслимых состояний общества (объединении нескольких семей, связанных узами крови как происходящие от единого корня) можно предположить, что простота социальных связей и привычки семейной привязанности на протяжении многих поколений сохраняли бы полное равенство в управлении общими делами; и что волеизъявления, исходящие от всех глав семейств коллективно, были бы разумны и благотворны для всего общества в целом. Однако опыт оправдывает противоположный вывод. Дикари не только не способны всегда определять, что для них действительно лучше (в силу незнания свойств материи и последствий своих поступков), но и под влиянием неистовых эгоистических порывов — неизбежного следствия их жалкого и нищенского существования — проявляют коварство и насилие в отношениях с окружающими. Поскольку их инстинктивные привязанности развиты недостаточно, их побуждения неизбежно вырождаются, принимая тиранический и грубый характер.

Но как бы ни были посеяны первые семена общественной жизни, и в чем бы мы ни видели истоки человеческого союза — в простоте ли сельской невинности или в порочности дикой нужды, — мы имеем все основания полагать, что дальнейший ход событий неизбежно ведет к разрушению той первичной ассоциации идей, которая связывает понятия «правильного» или «установленного» с понятием истинного блага.

Общество на любой стадии своего развития усложняется быстрее, чем философия успевает за ним следовать, а наблюдение — фиксировать природу и тенденции его множащихся связей. Человечество почти ежедневно вынуждено действовать сообразно обстоятельствам, изучить которые оно не имеет ни времени, ни возможности. Это открывает безграничный простор для заблуждений добродетели, равно как и для хитрости и обмана, вводящих в заблуждение благонамеренных людей. Таким образом, по прошествии не столь долгого времени наиболее лукавые, если не наиболее сильные физически, неизбежно обретают

чрезмерную власть над делами, подменяя общую волю общества собственными капризами и давая тем самым весьма веский повод для разграничения того, что установлено, и того, что должно быть установлено. По мере того как общество в своем движении приближается к состоянию полуцивилизации, несоответствие между этими мерилами поступков становится всё более явным, а различие между законом государственным и законом естественным — всё более доступным обыденному пониманию.

Таким образом, перед взором исследователя предстают три ряда проявлений человеческого поведения: (1) **Индивидуальная воля**; (2) **Законодательное установление**; (3) **Абстрактное право**. Постепенно вырабатывается нравственный кодекс, отличный от юридических обязательств и карательных санкций; он зиждется на предварительных представлениях о целях общественного устройства и на суждениях о средствах, кои с наибольшей вероятностью ведут к их достижению.

То, что наши идеи рождались именно таким образом, представляется очевидным как из их анализа, так и из фактов, которые преподносит нам жизненный опыт. В каждом случае, когда некое обязательство проистекает из насущных потребностей самого человеческого организма, даже самый неразвитый ум не может впасть в заблуждение. Однако по мере того, как обязанности начинают более зависеть от превратностей общественного бытия и менее — от физической организации человека, совесть становится уязвимой: предрассудки могут направить её по ложному пути, а лжеучителя — ввести в обман. Этот факт убедительно доказывает, что **мораль есть наука приобретенная**, а не следствие некоего особого врожденного чувства. Подобный вывод неизбежен, и даже если из него нельзя будет извлечь никакой иной пользы, решение этой трудной задачи обладает, по крайней мере, тем преимуществом, что очищает предмет исследования от значительной доли мистицизма. Ход рассуждений, приведший нас к данному этапу изысканий, прямо противоположен тому, которому до сих пор следовали в вопросах морали. Начиная с самых абстрактных и общих понятий, философы воображали, будто нравственные отношения суть вечные истины, не зависящие от существ, для которых они существуют, и не связанные с той организацией, из которой они проистекают; что они неизменны вовеки, стоят выше времени и неподвластны обстоятельствам.[288] Установив таким образом a priori стандарт идеального совершенства, они сочли, что человек связан некими метафизическими узами, обязывающими его стремиться к этому идеалу, от которого, однако, его отвращают причины столь же метафизические и непостижимые. Признавая при этом, что человек ни в одном случае не достигал этой вершины, они упорствуют в

[288] «Существует две философии: одна предшествует опыту, восходя к абсолютной идее долга в соответствии с чистыми велениями разума — это первичная идея, призванная дать наиболее абстрактный тип долга, заключая в себе лишь чисто интеллектуальные концепции, предполагаемые до всякого опыта; другая же философия сопутствует ему».
- Из французского изложения доктрин Канта; ссылка утеряна.

утверждении, что она ему доступна; и как бы они ни пытались завуалировать суть дела, здесь кроется явное противоречие.

Придерживаясь этого ретроградного пути, они не только сузили сферу действия нравственных принципов, удалив их от наших надежд и страхов, но и сосредоточили внимание своих последователей исключительно на индивидуальных соображениях. Это заставило их упустить из виду те общие и могущественные причины, которые воздействуют на общество как на единое целое. Ввиду этих соображений представляется необходимым подробнее остановиться на вопросе происхождения моральных идей и более детально рассмотреть ступени, по которым мы восходим к тем утонченным понятиям о нравственности, что отличают человека на высшей стадии цивилизации.

С самого момента рождения начинается влияние человеческого рода на отдельную личность. Самые глубокие, самые действенные понятия внушаются нам в младенчестве; и даже сам язык, усвоенный от родителя, оказывает немалое влияние на будущий характер, поступки и способности потомка.

Действие этой причины основывается не только на физическом превосходстве родителя, позволяющем ему навязывать ребенку свою волю. В гораздо большей степени оно черпает силу в естественной привязанности, которая покоряет волю младенца, а также во врожденной склонности нашей природы одобрять и имитировать всё, что мы замечаем в поведении тех, кого любим.

Подражание — это столь же естественный и властный инстинкт, как и любой другой (из числа тех, что не служат непосредственно сохранению жизни), которым мы руководствуемся. В детях он непреодолимо силен и проявляется во всех их забавах. Быть как папа и поступать как папа — вот в чем заключается смысл жизни мальчика; и именно под воздействием этого непреодолимого импульса мы усваиваем зачатки речи еще до того, как обретаем способность наделять звуки значением как символами идей.[289]

Влияние родительской власти не только навязывается ребенку лично, но и внушается примером. Этой дисциплине подчинены не только дети, но и жена — в силу её физической слабости. Из всех форм правления домашняя — самая деспотичная; и именно по этой причине те, кто заинтересован в навязывании человечеству столь пагубного строя, небезосновательно принимают её за прообраз абсолютной монархии. В той мере, в какой человек невежественен и беспомощен,

[289] Глубокий и проницательный философ, синьор Дельфико из Неаполя, в блестящем эссе, написанном специально на эту тему, проследил действие данного принципа в некоторых важнейших общественных связях; он полагает его тесно связанным с социальным инстинктом. Для текущих целей достаточно заметить, что это одно из самых эффективных средств изменения индивидуальности детей и привития им семейного и национального характера.

это превосходство мужского пола проявляется более отчетливо,[290] а повиновение женщины становится более рабским и безоговорочным. Весь уклад семьи дикаря, таким образом, способствует тому, чтобы запечатлеть в сознании ребенка необходимость подчинения; так у него формируются ясные и отчетливые понятия о том, что есть «должное» и что — «приятное».

Наряду с дисциплиной родительской власти возникает и иное ограничение органических склонностей. Взаимодействие детей между собой накладывает еще одно ограничение на их органические склонности. В больших семьях легко проследить действие этого фактора в безмолвном подчинении слабейших воль решениям тех, кто отличается большей неукротимостью; при этом каждый индивид занимает в своем кругу именно то место, которое соответствует относительной силе его разума.

В любых дружеских союзах, во всех объединениях, комитетах, корпорациях, клубах и прочих собраниях неизменно обнаруживается, что один или несколько человек берут на себя руководство общим делом, в то время как остальные без борьбы соглашаются с их предложениями. В большинстве случаев сила характера ощущается инстинктивно; с самого начала, вступая в новое сообщество, человек понимает, суждено ли ему вести за собой или следовать за другими. К несчастью, это свойство не связано ни с выдающейся добродетелью, ни с превосходством таланта; и мы часто видим, как целые сообщества оказываются под началом самых ничтожных личностей.

Действенность этого принципа в формировании характера, однако, лучше всего осознается через его отсутствие — как в случае со своевольными детьми, испорченными родительским потворством. Из-за своей чрезмерной привязанности такие родители слабеют духом до такой степени, что начинают сами принимать закон от своего потомства, вместо того чтобы диктовать его. Не менее примечательно это проявляется и в «взрослых детях» — праздных принцах и аристократах тех стран, где бразды правления сосредоточены в руках одного лица, которое отстраняет состоятельных и знатных граждан от участия в государственных делах.

Привилегированные сословия общества, устроенного подобным образом, будучи ограждены от всякого борения умов или страстей, влачат свое пресное существование в тесном семейном кругу или в узких сообществах, где каждое их желание предугадывается, а любая прихоть немедленно удовлетворяется. Не зная противоречий, они в своем поведении слишком часто доходят до необузданности, своенравия и нелепости. Как правило, они менее способны к великим или полезным начинаниям и в меньшей степени могут выдерживать сложный или продолжительный ход размышлений, нежели представители других классов

[290] Когда в дело вступает интеллект, превосходство нередко оказывается на стороне женщины.

общества. Будучи лишь позолоченным украшением престола, они не способствуют ни его укреплению, ни ограничению его власти; равно бесполезные для своего отечества и для самих себя, они искупают свои тягостные привилегии жизнью, исполненной мучительной праздности или пагубных излишеств.

Именно в вопросе взаимного контроля английское общественное образование обнаруживает столь решительное превосходство над прочими системами воспитания. Оно утверждает подлинную и действенную систему взаимного нравственного научения, основанную не на сухих предписаниях и утомительных увещеваниях, но на опытном доказательстве воздействия одного ума на другой и на практическом знакомстве со способами достижения успеха в общественном взаимодействии. В этих неоднородных сообществах юношей всех возрастов и званий, где каждый занимает то место, которое отведено ему его личными качествами, все они непрестанно заняты восполнением недостатков, исправлением пороков или, по крайней мере, стремлением скрыть те страсти, которые они, возможно, не в силах обуздать. Они сознают их столь же пагубными для самих себя, сколь и ненавистными для общества.[291] Принцип подчинения, который природа заложила в человеческий механизм и который действует у других стадных животных, ставит наиболее сильных и смелых во главе стада; он дарует подлинно божественное право природы — внушать доверие и повелевать.

По мере того, как человечество продвигается по пути цивилизации, господство вида над индивидом утрачивает характер физического принуждения и осуществляется скорее через общественное мнение, которое служит мотивом, попеременно воздействующим на все человеческие наклонности. Едва юноша освобождается от родительской опеки, он оказывается брошен в мир, сила которого ощущается в первое же мгновение соприкосновения с ним.

Даже если требования общества не обусловлены насущной необходимостью добывать средства к существованию, желание нравиться пробуждается под

[291] Безнравственность, в которой обвиняют государственные школы, отнюдь не является неотъемлемой чертой этой системы; она приносится из домов детей, которые копируют в школе пороки, увиденные ими во время каникул. Напротив, для наших великих школ сущностно важна разумная свобода, которая позволяет развиваться нравственным способностям и дает возможность укорениться смелым, мужественным и независимым взглядам.
Повсеместный надзор наставников, в той мере, в какой он может быть осуществлен, напротив, подавляет свободу воли ребенка и внушает ему мелкие и гнусные страсти (шпионаж, трусость и раболепие), что губительно для всякой морали. Если такой надзор и сохраняет на время практическую чистоту в отношении порочных наклонностей, то лишь ценой утраты здорового самообладания и способности к сопротивлению — тех качеств, которые должны защищать ученика при вступлении в большой мир.
В действительности автору не доводилось замечать — и он не слышал подобных жалоб от университетских тьюторов, — чтобы воспитанники Итона, Вестминстера и других подобных заведений вели себя более необузданно или беспорядочно, чем те, кто обучался в менее либеральных учреждениях; в то время как высокое чувство чести, великодушие и общественный дух присущи им в высшей степени.

действием тысячи иных причин. Стремление снискать знаки отличия, почести или милости, жажда утвердить за собой определенное место в свете побуждают юного искателя удачи скрывать или подавлять в себе те склонности, что не согласуются с чувствами и предрассудками окружения. Пороки и добродетели, манера держаться, мнения и сами страсти — всё это заимствуется под диктовку моды; и счастлив тот, кто, поддаваясь сей склонности к подражанию и восприимчивости к чужим влияниям, не утрачивает окончательно самобытности своего характера и не приносит в жертву свои принципы и чувства на алтарь светской испорченности.

По мере того, как общество движется по пути прогресса, индивидуальные особенности становятся всё более стесненными, а некий внешний лоск всё более равномерно покрывает великие черты человечества. Едва ли можно ошибиться, с первого взгляда определяя нацию, к которой принадлежит тот или иной европеец, хотя общее однообразие нравственного облика стремительно стирает даже эти крупные штрихи. Подобным же образом поселянина легко отличить от горожанина, а студента — от солдата; ибо на каждом человеке лежит печать того сословия, членом которого он является. Сменить цвет кожи или чувствительность нервов для него едва ли проще, чем отбросить те взращенные в домашней среде особенности, которые привычное общение с окружающим его кругом навечно вжгло в его характер.

Эти наблюдения, ставшие уже общими местами применительно к чисто внешним проявлениям, не менее уместны и в отношении более сокровенных движений человеческого духа. Наши привычки в мыслях, речах и поступках по большей части отмечены печатью определенной народности; и склад ума, подобно покрою платья, должен следовать общепризнанному образцу, дабы стяжать его обладателю одобрение общества. Даже язык, на котором мы говорим, властвует над нашим разумом и в значительной мере преображает само наше естество. Язык есть тот инструмент, без коего мы не в состоянии ни формировать идеи, ни обмениваться ими, ни воспринимать сведения. Грамматические формы и словоизменения, которые он усваивает, те удобства или препоны, что он создает для анализа сложных понятий, богатство или скудость его словаря — всё это накладывает отпечаток на литературу и науку целых народов, а следовательно, и на характер составляющих их людей.

Если мысленно совлечь с человека все те изменения, кои он претерпел в обществе — будь то под влиянием побуждений, просветивших его волю, или же под воздействием чужой воли, — то интеллектуальный остаток окажется поистине ничтожным. Но то, что справедливо в отношении индивидов, верно и для сообществ, и для всего человеческого рода в целом. Понятия о добре и зле, справедливости и собственности, религии и государственном устройстве — всё это представления, выработанные взаимодействием человека с человеком; они ни при каких обстоятельствах не могли бы возникнуть в воображении одинокого существа. Однако полное развитие нравственных понятий требует более сложного

переплетения противоречивых интересов, нежели то, что можно обнаружить в тесном кругу отдельной семьи. Едва лишь значительное число семей объединялось на ограниченном пространстве, тот же процесс, что протекал внутри каждой из них, неизбежно повторялся и в масштабах всего общества.

В подобных условиях острое давление физических нужд, а также относительное равенство сил (как телесных, так и духовных) у противоборствующих сторон могли породить более или менее длительный период раздоров и насилия — до тех пор, пока одна семья не устанавливала господство над прочими или пока общество не вырабатывало систему справедливого правления. Весьма вероятно, что малые племена не раз распадались и разделялись: либо в стремлении избежать угрозы нищеты, либо из-за попыток более слабых семей освободиться от влияния сильных. Однако влечение полов, радость общественного сожительства, узы крови и необходимость в сотрудничестве вновь и вновь скрепляли этот союз, не давая зачатками государства окончательно рассеяться; пока, рано или поздно, коллективный опыт или влияние некоего благодатного гения не порождали систему общественного устройства, в соблюдении которой каждый видел бы свой интерес и которую каждый стремился бы защитить.

Можно предположить, что необходимым предварительным условием для такого порядка вещей должно было стать формирование **понятия собственности**. Однако для этого собственность должна была сперва возникнуть на деле и получить защиту как посредством личных усилий, так и силами коллективных соглашений, ради чистого удовольствия и выгоды, которые они приносят, в течение долгого времени, прежде чем могла быть присоединена моральная идея, или пока этот предмет получит свое правовое понятие. Общество, следовательно, порождает собственность, а собственность формирует представления о различных связанных с ней отношениях; таким образом, само это понятие является следствием, а не причиной общественного союза. Нам известно, что дикари весьма смутно представляют себе суть собственности: они могут совершить кражу прямо на глазах у владельца, не испытывая ни стыда, ни угрызений совести. Даже **лакедемоняне** (чье государственное устройство во многих отношениях было столь искусственным, и чья политическая конституция оставалась незыблемой в своей первозданной чистоте дольше, чем где-либо еще сохранялась свобода,[292] — будь то в прежние времена или в последующие) придерживались весьма своеобразных взглядов на осуществление этого права.

Первой собственностью, не являющейся абсолютно недолговечной, которой могли владеть члены зарождающегося государства, были по преимуществу вещи личного обихода: одежда, украшения и оружие. Риск, сопряженный с кражей или насильственным отъемом этих предметов, удерживал от подобных посягательств до

[292] Если можно именовать свободой состояние, основанное на рабстве. Впрочем, сословие воинов в Спарте действительно было свободным, пускай и за счет изнурительного труда илотов.

тех пор, пока средства для приобретения аналогичных вещей оставались доступными. Поскольку обладание ими доставляло большое удовольствие, а утрата была сопряжена с серьезными лишениями, само физическое ощущение потери побуждало пострадавшего стремиться к возврату имущества и мстить за нанесенную обиду. Он был готов убить вора силой, хитростью или при содействии других членов его семьи. Подобным же образом и дети, жаждущие всего, что попадается им на глаза, склонны к негодованию, когда у них забирают игрушку, чтобы вернуть её законному владельцу; и происходит это не в силу ложного представления о праве, а просто потому, что они лишаются удовольствия. Лишь после многих столкновений в их маленьком сообществе вырабатывается отчетливое понятие о meum и tuum (мое и твое).

Представление о праве собственности, которое под защитой цивилизованного правления вплетается в наши первые мысли и кажется почти инстинктивным, постепенно вырастает из самого факта существования его объекта. Привычное пользование желанными благами, вероломное или насильственное их отнятие, сопротивление подобным попыткам, насилие, смута в обществе, затяжные распри и угроза всему племени — всё это необходимые предпосылки, предваряющие либо властный запрет на подобные посягательства со стороны сильнейших, либо всеобщее соглашение множества семей о взаимном обеспечении сохранности своего имущества. Впрочем, всё это могло и, вероятно, должно было происходить как вопрос простой целесообразности задолго до того, как с понятием нечестности стала связываться идея преступления. И вполне вероятно, что даже такое соглашение было бы крайне трудно поддерживать до тех пор, пока собственность ограничивалась лишь предметами личного пользования.[293]

С первыми зачатками **скотоводческого** или **земледельческого** уклада, когда собственность распространилась на владения, находящиеся вдали от личной защиты владельца, для их сохранения потребовалось совокупное влияние множества семей. Личный интерес заставлял пастухов или земледельцев давать друг другу взаимные гарантии и с величайшей настойчивостью и суровостью выступать против тех, кто пытался присвоить плоды их трудов.

Первые соглашения подобного рода, несомненно, носили характер простого оборонительного союза, а их целью было совершение скорой расправы над общими врагами. Однако постепенно обычай и прецедент установили определённые

[293] Де Траси справедливо замечает, что иметь потребности и способности — значит обладать чем-то; и что наши способности, в особенности, являются собственностью в полном смысле этого слова. Они, несомненно, представляют собой единственную реальную и существенную собственность, тогда как все остальные виды зависят от общественных соглашений. Понятия о справедливости и праве могли сформироваться лишь в процессе наблюдения за результатами труда, когда эти результаты находились в состоянии значительной незащищенности. Мысль о присвоении способностей другого или о порабощении ближнего относится исключительно к области физической силы и не могла дать толчок никакому нравственному развитию.

наказания за определённые проступки, а соображения удобства заставили передать право судить и карать в руки общественных властей. Так, благодаря постепенному установлению твердого порядка (как свершившегося факта) в сочетании с осознанием проистекающей из него пользы, возникло мерило для оценки характера человеческих деяний; тем самым был сделан шаг к формированию абстрактного понятия права. Но прежде, чем идеи обрели подлинную точность, общественное устройство должно было претерпеть множество усложнений, а человек — изобрести множество искусств. В конечном счёте, само представление о выгодах, которые проистекают от повиновения, уважение к установленным властям, а также опыт, свидетельствующий об опасности личной расправы, законного наказания и общественного недоверия, порождают — сначала — привычку к честности, а в конечном счете — нравственное чувство долга и чувство стыда и отвращения к самой гнусности воровства.

Сообразно этому взгляду, мы обнаруживаем два факта, каждый из которых служит веским доказательством истинности данного анализа: во-первых, распад всех нравственных понятий в пылу войны; во-вторых, повсеместное разрушение моральных уз в тех обществах, где низшие классы совершенно лишены какой-либо собственности. Даже в самых благопристойных и утонченных государствах право собственности во время войны защищено крайне слабо; и военная добыча кажется столь же естественной солдату, который дома презирал бы кражу, как и самому распутному и падшему члену общества.

С другой стороны, нет более верного мерила для проверки честности нации, чем способ распределения в ней собственности. Всякий раз, когда низшие слои населения бедны и не устроены, когда они угнетены деспотичным правительством или несправедливыми землевладельцами, неизменно обнаруживается, что они выказывают меньше уважения к моральным обязательствам, нежели в тех случаях, когда у них есть хотя бы малая доля собственного имущества, которую необходимо защищать, — ведь именно это позволяет им прочувствовать саму природу долга. Попытки постичь природу этого права путем абстрактных изысканий на редкость неудачны, что со всей очевидностью доказывают логические баталии, призванные установить, в какой именно момент естественные дары природы становятся чьей-либо собственностью.

Если предположить, что в лесу выросло дикое яблоко и двое дикарей одновременно протянули к нему руки, то, согласно отвлеченным понятиям, их право на этот плод было бы равным. Однако никакое инстинктивное осознание этой абстрактной истины не смягчило бы ярости их борьбы за обладание им. Весь этот вопрос сводится лишь к проверенной временем целесообразности и зависит от той пользы, которую человечество в целом находит в установлении подобных отношений.

Если бы в человеческой природе существовал некий врожденный принцип, способный априори развивать абстрактные начала морали независимо от феноменов действительной цивилизации, то представления людей были бы едины. Однако **универсальных моральных аксиом не существует**, за исключением лишь тех немногих, что столь непосредственно связаны с отправлением органических функций, что их невозможно ни игнорировать, ни истолковать превратно. По сути дела, то, что утвердилось в каждой отдельной стране или сообществе, и является мерилом ее национальной морали. Даже самое гнусное из человеческих установлений — домашнее рабство — почиталось народами, среди которых оно бытовало, не только законным, но и абстрактно справедливым.[294] Подобным же образом везде, где узурпация позволяла отдельному лицу или классу лиц подменять волю всего общества своими собственными желаниями, издаваемые ими предвзятые, абсурдные и порочные законы принимались за право, до тех пор, пока новое перераспределение сил внутри общества не порождало новое законодательство. Когда закон устанавливал различные наказания за убийство дворянина, священника или простого гражданина, нравственная оценка преступления на протяжении веков следовала за его правовой квалификацией; там же, где убийство раба сопровождается юридической безнаказанностью, личное человеколюбие находится в глубочайшем упадке, а совесть пребывает в мертвенном сне.

Данный анализ и генеалогия понятия собственности применимы и ко многим другим моральным представлениям. Определенное действие признается вредным для общества; общество ограничивает индивида, и это правило формирует понятие нравственного долга. Когда же общественная сила концентрируется в руках немногих, прихоти этих немногих становятся мерилом правды и эталоном общественного мнения.

Таким образом, развитие общественной воли является sine qua non (необходимым условием) для формирования здравой морали. В той мере, в какой узурпация подменяет общественную волю частными интересами, народ будет подвергаться развращению, а его нравственные понятия окажутся ограниченными и неполноценными. Всякий раз, когда индивид или целый класс оказываются таким образом полностью вытеснены за пределы общества и им нечего больше ждать от человеческого рода, всякие ограничения их природных наклонностей исчезают; они беспрепятственно предаются порывам, продиктованным их отчаянным и бедственным положением.[295]

---

[294] Аристотель утверждает, что варвары по самому порядку природы были предназначены к рабству — точно так же, как люди современные выводили свое право властвовать над неграми из различия в цвете кожи.

[295] Подобное положение вещей прекрасно иллюстрирует автор «Роб Роя» в образе своего героя, чьи благороднейшие человеческие порывы отклоняются от своего естественного пути под влиянием ложного и ужасного положения в обществе.

Теперь мы можем ясно видеть, что основные черты, наиболее общие и непосредственные общественные связи являются плодом самой **организации** и неизбежно вытекают из действия её внутреннего механизма. Формирование семей и племен столь же тесно связано с особым сочетанием органов и специфическими законами человеческой жизнедеятельности, как сокращение мышц или секреция желез. Сами же отношения между родителем и ребенком, мужем и женой, а также связь между трудом и вознаграждением определяются самопроизвольной работой этой машины.

Существование этих отношений как фактической данности должно предшествовать осознанию их целесообразности. Следовательно, для такого осознания не требуется никакой иной способности, кроме той, что позволяет нам постигать связи между природными явлениями. В нравственной науке заключено не более загадок, чем в любой другой отрасли философии: в ней нет ничего таинственного и ничего, что следовало бы принимать на веру. В той мере, в какой общественные отношения тесно связаны с органическими функциями, они повсеместно признаются и уважаются всеми народами. Даже самый жестокий тиран, имея определенный интерес в благосостоянии и приросте своих подданных, вынужден до известной степени считаться с теми связями, благодаря которым это благосостояние достигается. Если же в порыве своеволия и прихоти он издает законы, слишком грубо попирающие их, инстинкт самосохранения вооружает общество против него, и он погибает — жертва собственного безрассудства.

Однако по мере того, как иные общественные отношения возникают из искусственных сочетаний, в которых организация заинтересована лишь в малой и несовершенной степени, они принимают различные формы в зависимости от разнообразия причин, их породивших**. Законы об охоте и акцизах**, **регулярные армии**, **религиозные институты**, **законы о печати** (хотя последние и имеют жизненно важное значение для свободы и счастья общественного человека) лишь косвенно связаны с самой возможностью его существования и удовлетворением его животных инстинктов. В этих вопросах представления носят сугубо условный характер, а нравственные чувства подчинены воспитанию, сословному положению и интересам сторон. Те, кто лично ущемлен ложным устройством дел в этих частностях, испытывают инстинктивное чувство обиды и, когда это возможно, проявляют инстинктивную реакцию, стремясь изменить закон. Однако лишь с высоты философского умозрения можно по достоинству оценить сокровенную природу и направленность подобных отношений, равно как и доказать неустранимый порок дурных общественных институтов.

Нравственные понятия необразованных людей в любом состоянии общества тесно ограничены их нуждами и слабостями. Аксиомы их философии скорее ощущаются, нежели осмысливаются; они пользуются плодами своих простых кодексов, но не постигают их теоретического обоснования. Расширение границ познания за пределы этой точки требует такого накопления богатств, которое

позволило бы освободить часть членов общества от необходимости **изнурительного труда**. С этим условием приходит изобретение письменности, а также точность в мыслях и языке; судьбы человечества всё более отдаляются от чисто физических сочетаний и ставятся в более тесную зависимость от распределения знаний. В таком положении вещей нравственное развитие каждого поколения зависит от тех изменений, которые оно наследует от поколения предшествующего; от преобразований, кои неизбежно накладывают отпечаток на плоды его собственного опыта.

Таким образом, влияние человеческого рода на индивидуума распространяется через весь запас идей, являющийся общим достоянием общества. По мере того, как продвигается великое дело цивилизации, новый свет проливается на свойства внешнего мира, на устройство и функции человеческого организма, а также на последствия общественных союзов. Именно в этом кроются плодотворные элементы нравственных перемен. Следовательно, истоки народной нравственности следует искать не только в прямом воздействии человека на человека, но и в косвенном влиянии социума — в тех переменах, которые оно производит на самом лике Земли. Каждое новое удовольствие порождает новую потребность, а каждая новая потребность усугубляет **неравенство**, коим жребий разделяет людей. Бедность растет бок о бок с богатством, невежество множится вместе с полнотой информации, преступления учащаются по мере того, как пробуждаются и обретают энергию человеческие способности. В то же время огромная масса человечества, обреченная на непрестанный и угнетающий труд ради того, чтобы немногие могли достичь праздности и изобилия, всё более и более отдаляется от самой возможности упорядоченного и нравственного образа жизни.

Таковы обстоятельства, над которыми отдельный человек не властен, но которые с необоримой силой определяют его нравственное состояние. Они формируют, по правде сказать, лишь малую часть теорий или систематических трактатов; однако без их учета конечное совершенствование общества безнадежно, а философские изыскания — абсолютно тщетны.

Проблема, которую они ставят, не имеет простого решения. До сих пор шествие цивилизации, хотя оно бесспорно увеличило мощь и благосостояние общества в целом, не принесло отдельному человеку счастья, соразмерного затраченным усилиям. В наших установлениях, касающихся распределения богатства, кроется некий явный порок, враждебный свободе и распространению истины; в то же время сохраняется множество закоренелых предрассудков, не менее пагубных для нравственного развития. Именно эти вопросы являются подлинными предметами философского исследования; и их рассмотрение со временем вытеснит те аскетические и монашеские системы морали, которыми в настоящее время ограничена наука о человеческих поступках.

После установления четких различий между естественным порядком волеизъявлений, порядками предписанным и разумным (соответствующим трем модусам воли: «хочу», «должен» и «следует»), те, кто имел досуг для созерцания, получили достаточно данных. Это позволило им не только выстраивать теоретические системы морали на отчетливых основаниях **пользы**, **религии**, **чести** и **государственной политики**, но и выдвигать иные, чисто гипотетические концепции (такие как общность имущества или бесконечное совершенствование человеческого рода). Последние, будучи теоретически обоснованными, на практике оказываются сугубо утопичными и совершенно неприменимыми к человеческой жизни. Система морали, основанная на изучении строения и функций человека, могла возникнуть лишь на почве глубокого знакомства с физиологией и всестороннего исследования инстинктивных принципов действия, а также тех реакций, которые они вызывают в общественном взаимодействии. Теоретическое постижение такого порядка вещей, очевидно, недостижимо. Однако, хотя первые изыскания и не могли выявить истинную основу подобного кодекса, само его существование должно было ощущаться в гармонии, заметной при самом поверхностном взгляде. Соответственно, труды моралистов полны описаний благородства и красоты его проявлений. Но поскольку причины, от которых зависели эта сообразность и красота, упускались из виду или истолковывались неверно, их — что вполне естественно — приписывали чему-то внутренне присущему самим законам, в отрыве от любых внешних соображений. Само направление развития человеческого интеллекта благоприятствовало этому представлению. Понятия το πρεπον (подобающее) и το καλον (прекрасное) были неизбежными порождениями ложной логики; их никогда не приняли бы за самостоятельные сущности, если бы господствовала более совершенная система взглядов.

Философия реалистов, однако, наделяя плотью абстракции и приписывая своим вымышленным сущностям различные качества и добродетели, способствовала — или, вернее сказать, вынуждала к — формированию **априорной системы морали**. Этот фактор и по сей день столь сильно довлеет над нашими представлениями, что принятие иного хода рассуждений сопряжено с риском превратного истолкования и предания анафеме. Однако порядок природы не может быть изменен по воле малодушных или порочных; и неизбежно настанет время, когда в вопросах нравственности, равно как и в физике, факт будет предпочтен вымыслу, а метод индукции окончательно вытеснит грезы и догадки метафизиков-мечтателей.

Глава IV. О физических причинах, способствовавших нравственному развитию

На предшествующих страницах была предпринята попытка доказать, что нравственное развитие человека не является прямым следствием его индивидуальных способностей, но представляет собой результат той особенности его организации, которая подчиняет его влиянию его собственного вида. Обосновывая это положение, мы показали, что понятия «правильное» и «неправильное» в их первоначальном употреблении, должно быть, были лишены всякого нравственного смысла; они выражали лишь отношение к воле авторитета, которому субъект считал себя обязанным повиноваться. Было также показано, что нравственное значение — или само понятие уместности и неуместности — постепенно наслоилось в результате опыта **удовольствия** или **боли** и убежденности в том, что польза или вред в действительности сопутствуют тем двум линиям поведения, к которым относятся данные термины. Что по мере усложнения общественных интересов приобретался дальнейший опыт, указывающий на частое расхождение между тем, что предписывается в действительности, и тем, что, согласно наблюдениям, должно было бы предписываться. Таким образом, было проведено различие между правом **позитивным** и правом **абстрактным**, и возникло ложное представление, будто этот термин выражает некую сущность, имманентно присущую всем предметам, к которым он прилагается.[296] И, наконец, было показано, что сии понятия, будучи выведены из созерцания фактов, не заключают в своей природе ничего таинственного, что требовало бы гипотетического допущения особого органа или способности для объяснения их происхождения.

Приходя к этим выводам, невозможно не заметить, что формированию и распространению нравственных понятий способствуют или препятствуют физические причины, способные ускорять либо сдерживать движение общества. Они определяют ту или иную степень тесноты общественного союза и, как следствие, ту или иную меру интенсивности, с которой человеческий род воздействует на индивида и преобразует его.[297] Влияние этих причин на

[296] Это один из многих случаев, когда сложные термины вследствие постепенного отпадения некоторых из составляющих их идей или привнесения новых элементов полностью меняют свое символическое значение. Постепенность этого процесса, а также забвение или пренебрежение этимологической историей используемых слов, без сомнения, явились главной причиной неясности, столь долго окутывавшей понятия «правого» и «ложного» и искажавшей нравственные системы глубочайших философов.

[297] «Дух веков меняется вместе с изменением обстоятельств, способствующих его формированию; и перемены, которые время производит в физическом состоянии народов, оно производит также в их состоянии нравственном и политическом». — Филанджери, том 1, стр. 154.

нравственные и политические сочетания, выведенное из философского обзора всемирной истории, могло бы составить предмет множества томов и стать темой, достойной внимания самого всеобъемлющего ума. На последующих страницах вниманию читателя будут представлены лишь некоторые из наиболее значимых фактов; это делается с целью более детального разъяснения подлинной генеалогии нравственных понятий, а также дабы явить законодателям и моралистам те мощнейшие рычаги, которые до сих пор приводили в движение человечество en masse. С помощью этих же рычагов при более благоприятном стечении обстоятельств народы могли бы и далее продвигаться по поприщу цивилизации к состоянию более прочного благоденствия и более всеобщего счастья.

Самые ранние эпохи общественного существования теряются во мраке веков; и, если не считать примеров, представленных туземцами Нового Света, нам ничего не известно о тех первых шагах, которые человечество сделало в развитии своих способностей. Однако везде, где существовала хотя бы отдельная семья (а это, очевидно, простейшее из возможных состояний человеческого бытия), какими бы слабыми и невежественными ни воображались составляющие её индивиды, по прошествии нескольких поколений они неизбежно должны были накопить определенный запас знаний и собственности, достаточный для того, чтобы самым существенным образом повлиять на своё нравственное состояние.

Ранняя история Европы представляет нравственное и интеллектуальное совершенствование её диких племён, как последствия от появления неких **высокоодаренных личностей**, чьи выдающиеся способности и познания позволили им указать путь к цивилизации и единым усилием вынуждали тех, на кого распространялось их влияние, к внезапным и стремительным преобразованиям. Этих деятелей, однако, почти неизменно описывали как людей, почерпнувших свои преимущества в иноземных странах, уже значительно продвинувшихся по пути прогресса; считалось, что они лишь переносили новшества из более благодатных краев. Поток света излился в Грецию из Египта, в то время как сам Египет, вероятно, черпал вдохновение в Индии. Вполне возможно, что философские и экономические системы, дошедшие до нас через эту преемственность, сами были лишь разрозненными фрагментами цивилизации — быть может, столь же совершенной, как и та, что известна нам ныне, но уничтоженной некоей великой социальной или природной катастрофой. Но, как бы то ни было, общество на каждом этапе своего развития было обязано личностям, взращенным в его собственных недрах, чье более совершенное природное устройство или положение среди себе подобных позволяло им переступать интеллектуальные границы своей эпохи и страны. То они ускоряли развитие примитивных племен, подобно полубогам и героям древности, то расширяли пределы науки, подобно **Галилеям**, **Ньютонам**, **Гарвеям**, **Говардам** и **Бентамам** более просвещенных времен.

Чем проще устроено общество, тем очевиднее превосходство, даруемое исключительными природными задатками, и тем значительнее результаты,

вытекающие из деятельности и влияния выдающегося гения. Невежество и скудоумие рода человеческого суть одновременно как источники того одиозного **политического неравенства**, которое омрачает раннюю историю человечества, так и той блистательной славы, неведомой для более просвещенных веков, которая возводила изобретателя ремесла или создателя общественного института в ранг божества. В той мере, в какой деятельность этих благодетелей человечества может быть прослежена в её влиянии на нравственность, обнаруживается, что ей обычно сопутствовала или предшествовала значительная перемена во внешних условиях жизни народа; секрет же их власти редко не был связан с внедрением некоего материального усовершенствования.

Открытие способов добывания огня, должно быть, оказало колоссальное воздействие на судьбу нашего вида: **напрямую** — через устранение множества тягостных ощущений, кои до тех пор ожесточали нрав людей и сковывали их взаимные привязанности; **опосредованно** — через ремесла, которым оно незамедлительно дало толчок и которые неизбежно потребовали более тесного союза разрозненных семей. Мифологическое сказание, которое, приписывая это открытие Прометею, представляет его одухотворяющим человека огнем, похищенным с небес, едва ли можно счесть преувеличением истины.[298] Едва ли возможно, даже призвав на помощь всё наше воображение, в полной мере постичь то безрадостное состояние, в котором пребывал род человеческий, будучи лишен помощи этого могущественного средства. Его роль в приготовлении пищи, благотворно влияя на результаты пищеварения, должна была способствовать **смягчению нравов** и уменьшению той угрюмости, что неизменно сопутствует жизни, полной нужды и лишений. Огонь позволил — если можно так выразиться — приручить человека, сосредоточив его деятельность вокруг хижины, в которой он обитает. Без помощи огня в жарком климате человек не смог бы противостоять буйству растительности; господство лесов, за редким исключением, навечно обрекло бы его на пребывание в состоянии простейшего общественного устройства. Без огня металлы не нашли бы полезного применения, а без них невозможно было бы развитие ремесел, которые, улучшая наши физические условия, в не меньшей степени способствуют зарождению понятий собственности и иных общественных отношений, столь сильно влияющих на развитие разума.

Первые укротители травоядных животных произвели глубокий переворот в судьбе человеческого рода. До тех пор, пока деятельность общества ограничивалась лишь охотой и войной, те немногие предметы, к которым человек мог питать

---

[298] Эсхил справедливо заставляет Прометея похваляться спасением рода человеческого от полного истребления; ибо без помощи огня человек был бы подвержен гораздо большему числу опасностей, а сама жизнь была бы столь шаткой, что обществам стоило бы огромных трудов сохранять свою численность неизменной.
«Я смертных спас от гибели, чтоб, в прах разбиты,
В Аид они не канули».
(Эсхил, «Прометей прикованный», ст. 235)

интерес как к средствам удовлетворения своих нужд, почти полностью находились под его личным присмотром. Лук и стрелы редко покидали его руки, а силки или грубая рыболовная снасть могли быть легко укрыты от взора грабителя-соседа. В подобных условиях, как уже отмечалось ранее, понятие собственности как нравственного отношения не могло быть выкристаллизовано с какой-либо значительной долей точности. Представление о собственности как о физическом факте (а именно: что моя рука принадлежит мне, а моя хижина не принадлежит соседу) неизбежно возникает у любого наделенного чувствами существа, обладающего сложным строением органов и многообразием желаний и живущего в сообществе с себе подобными. Подобным же образом стремление защищать плоды своего труда является необходимым следствием чувства удовольствия и боли, неразрывно связанных с обладанием и лишением. Эти задатки проявляются даже у животных: пес сражается за свою кость, а самка до последнего защищает свое потомство. Однако идея воздержания от кражи из чувства порядочности никогда не встречалась в племенах, где достижения цивилизации еще не достигли того уровня, при котором создается собственность, требующая для своего существования санкции в виде общественных гарантий.

На этой стадии развития общества человек, движимый порывами редко удовлетворяемых желаний, подстегиваемый лишь наполовину восполненными нуждами и раздражаемый тягостными ощущениями, возникающими на каждом шагу, едва ли склонен ценить собственную жизнь или уважать чужую. Он суров, яростен, жесток и неумолим. Когда же удовлетворяются те два единственных влечения, к которым восприимчива его натура, он впадает в угрюмый и глубокий покой, от которого его могут пробудить лишь возвращение первейших нужд или присутствие явной опасности. Со своей семьей он груб и деспотичен, к чужаку же он относится с подозрительность и коварством, а по отношению ко всему, что несет в себе угрозу враждебности — свиреп и неумолим, подобно тигру. В том, что касается немногих предметов, обеспечивающих его существование, он проявляет ту же находчивость и изобретательность, которые являются неотъемлемыми чертами человеческого вида во всех его проявлениях; однако воображение его редко выходит за тесные рамки насущных животных нужд. Таким образом, во всех деталях первобытный дикарь своими инстинктивными наклонностями напоминает плотоядных животных, чей образ жизни он перенял. Одинаковые внешние обстоятельства порождают сходство повадок у существ, чья природная организация делает их способными к достижению совершенно разных уровней интеллектуального развития. Это в достаточной мере доказывает, что умственные способности являются лишь скрытыми возможностями; сами по себе они ничего не порождают и не определяют, так как приводятся в действие исключительно при посредстве внешних впечатлений.

Когда созерцаешь беспомощное и жалкое состояние человечества в эту раннюю эпоху, воображению трудно проследить те шаги, которые могли привести к

установлению пастушеского уклада; и возникает искушение приписать весь этот процесс воле случая. Несомненно, однако, что человек, первым сумевший обзавестись одомашненным стадом, был гением высочайшего порядка. Весьма вероятно, что первые попытки подчинить животных службе человеку были предприняты в отношении собак,[299] с целью использовать их природные способности в качестве подспорья на охоте; однако главной физической причиной наступления **пастушеской эпохи**, должно быть, стало существование обширных равнин, на которых в исконной свободе обитали жвачные животные. Наблюдение за их образом жизни могло внушить некоему предприимчивому и деятельному уму замысел об их содержании в искусственных загонах; впрочем, возможно, первым толчком к осуществлению этого проекта послужила случайная находка отбившейся от стада особи или детеныша, чья мать была убита охотниками.

С появлением стад в привычках человека должны были произойти немедленные перемены. Процесс ограждения, приручения и защиты поголовья скота неизбежно требовал объединения усилий множества рук и непрерывности труда, что значительно повышало ценность объектов этого труда. **Разделение труда** естественным образом привело к неравенству при распределении прибыли; индивидуумам приходилось заключать многочисленные соглашения для регулирования обязанностей и раздела общей собственности. Эти соглашения, несмотря на их очевидную пользу, нуждались в защите со стороны авторитета общественной власти. Нарушитель подобных договоров, если ему удавалось избежать насильственной смерти от мщения со стороны общины, он неизбежно был бы изгнан из этого союза. И по мере того, как практическая польза подобного устройства становилась всё более очевидной, с нарушением установленных правил стало постепенно ассоциироваться не только чувство опасности, но и понятие позора.[300] Следовательно, хотя у пастушеских народов весьма сильны хищнические и воинственные наклонности, коим свойственно пагубно влиять на нравственные чувства, право собственности в кругу отдельных объединений пользуется почти всеобщим уважением.[301]

---

[299] Данный предмет сопряжен с величайшими трудностями. Качества, которые делают собаку столь ценной для человека, не проявляются с достаточной силой ни у кого, кроме тех искусственных разновидностей, что считаются продуктом одомашнивания. Таким образом, применение средств, по-видимому, предшествовало осознанию цели. Не служит ли это аргументом против наших общепринятых мнений относительно происхождения этих разновидностей? Достаточно ли полно мы изучили факты, на которых основываются различия между видом и разновидностью?

[300] Восприимчивость к похвале и порицанию является инстинктивной для всех социальных животных, однако она не обязательно связана с нравственными качествами. Она представляется частью инстинкта подражания или, по крайней мере, тесно с ним связанной. В порочных сообществах «ложный стыд» (mauvaise honte) бывает вызван отсутствием дурных наклонностей; и это чувство заставляет одного и того же человека поочередно становиться то героем, то распутником, то дуэлянтом, то святым.

[301] Говорят, что и у воров есть понятие о чести, однако это утверждение совершенно лишено оснований; узы между членами мошеннических союзов никогда не бывают крепче, чем того

Приручение скота неизбежно сопровождается **изобилием пищи** — обстоятельством, которое у всех животных притупляет их природную свирепость, и которое в человеке сильнейшим образом воздействует на общественные чувства. Ее роль в пробуждении новых потребностей и способов их удовлетворения оказывается еще более решающей. Именно к этой эпохе история относит возникновение астрономии, чему способствовал досуг, присущий пастушескому образу жизни. Эта наука стала необходимостью для пастухов, направляя их скитания по бескрайним равнинам в поисках корма для стад, а также во время еще более масштабных миграций, предпринимаемых, когда прежние пастбища истощались. Не без некоторой философской обоснованности поэты избрали именно этот этап развития цивилизации как образец чистейших нравов и нежнейших привязанностей, находя их в изобилии материальных средств и простоте жизненного уклада. Однако простота пастушеской жизни, в силу самой природы вещей, неизбежно сопровождается соразмерной ей **грубостью**. Искусственные потребности общества на данном этапе слишком малочисленны, чтобы требовать от человеческой изобретательности больших усилий для их удовлетворения или побуждать, в качестве ответной реакции, к глубоким размышлениям о нравственных взаимосвязях. Запасы пищи, хотя и значительные в сравнении с теми, что дает охота, все же недостаточны для существования высокой плотности населения; общественные элементы пребывают в слишком сильной изоляции, что препятствует их объединению в сложные социальные структуры. С другой стороны, тяготы и опасности, сопутствующие частым переселениям, а также неизбежно возникающие при этом столкновения, сохраняют в характере ту долю свирепости, которая отличает охотничьи племена. Именно сочетание этих причин порождает **романтический склад ума**, противопоставляя великие пороки и великие добродетели: гостеприимство, щедрость и верность соседствуют с жестокостью и вороватой хитростью арабов и прочих кочевых народов, которые и по сей день сохраняют пастушеский или близкий к нему уклад жизни.

В естественном порядке вещей пастушеская эпоха должна предшествовать **эпохе земледельческих объединений**, поскольку возделывание земли неразрывно связано с той помощью, которую человек получает от труда прирученных четвероногих животных. Однако маловероятно, что эти ступени цивилизации сменяли друг друга со сколь-нибудь значительной быстротой. Природные условия, благоприятствующие разведению стад, не тождественны тем, что естественным образом ведут к практике земледелия. Посему вероятно, что это позднее изобретение стало следствием миграции некоего пастушеского народа за пределы

требует самая настоятельная необходимость момента. Подобные союзы зиждутся на самом холодном и близоруком эгоизме; в их основе лежит не невежество, а презрение к подлинным общественным отношениям. Было бы абсурдно полагать, что те, кто вероломен по отношению к обществу в целом, останутся верны друг другу сверх того предела, где общая опасность порождает общность интересов. Разбойничьи шайки постоянно терзаемы страхом предательства, ибо трусость или алчность почти всегда находят среди них того, кто выдаст своих товарищей в руки правосудия.

земель, пригодных для его привычного существования, в края с более высоким плодородием. Там сама природа предлагала плоды, способные склонить людей к новым, более прибыльным трудам.

Именно культуре злаков человечество обязано внезапным и колоссальным расширением своих интеллектуальных и физических сил, а также мгновенным усложнением социальной системы. К этому периоду следует отнести: значительно более дробное разделение труда; зарождение торговли; возникновение городов; превращение мстительного наказания и jus vagum (неупорядоченного права) страстей в систему регулируемого судопроизводства; принятие подробных сводов законов, более точных политических санкций, а также более организованных и упроченных институтов.[302]

Сам факт широкого распространения земледелия подразумевает формирование весьма точных представлений о собственности и наличие общепринятой системы, обеспечивающей практическую безопасность труженику в течение долгого промежутка времени, который проходит между посевом и жатвой. Однако подобная безопасность не могла бы существовать без наличия общественной воли, приводимой в действие общественной силой; что равносильно некоему подобию регулярного правления — правления, возможно, чисто патриархального или чисто демократического, простого во всех своих установлениях, но способного с достаточной точностью внушить все основополагающие понятия нравственной системы.

Первые элементы такой системы могли, пожалуй, возникнуть в ранее существовавших пастушеских сообществах; однако, поскольку в пастушеских союзах не существует прямой собственности на землю, они не могут породить те индивидуальные права, которые побуждают к умственным изысканиям и исследованию общих положений. Совсем немногих правил достаточно для руководства населением, чье общение бывает редким и случайным, для которого меновая торговля не является повседневной привычкой и которое избавлено от всех тех утонченностей и условных понятий, что придают такую болезненную активность страстям.[303] На основе подобного сочетания элементов едва ли можно вообразить нечто, хотя бы отдаленно напоминающее уравновешенное и стабильное государственное устройство; и мы имеем все основания доверять историкам, когда

---

[302] «И справедливо они называли Деметру виновницей их законов, посему и именовали её Фесмофорой (Законодательницей), как ту, что установила законы». — Фурнут (Корнут). «О природе богов».
«В жертву приносят тогда двухгодовалых овец, по обряду,
И Законодательнице Церере». — Вергилий. «Энеида», IV, 57.

[303] «Свободные от религиозных предрассудков и внешних культов, бедуины терпимы; несколько почитаемых обычаев служат им законом; их принципы подобны добродетелям, которых достаточно для их разрозненных сообществ и патриархального правления». Таков портрет современных арабов, представленный Деноном в его труде об Египте.

они хронологически связывают начало возделывания зерновых культур с учреждением сложных законодательных систем.[304]

Первичное освоение земли, по сути, должно было происходить точно так же, как и присвоение любых других самопроизвольных даров природы. Едва у индивида возникала мысль об извлечении пользы из почвы, он, по всей вероятности, избирал местом для своих трудов некий отдаленный и безлюдный уголок; вложив в него свой труд, он терпеливо ожидал вознаграждения за свое усердие. Опыт быстрого умножения злаков при подобном способе обработки естественным образом становился стимулом для остальных; однако, поскольку земли поначалу было в избытке, новым искателям удачи было бы проще занять свободные участки, нежели вытеснять прежних владельцев. Весьма вероятно, что по мере истощения почвы земледелец часто менял бы место своих трудов, пока открытие удобрений не придало одному и тому же участку возрастающую ценность. В таких условиях совместная обработка земли и создание общественных хранилищ были бы вполне естественным порядком вещей. Но по мере того, как опыт доказывал изменчивость ценности земли в зависимости от мастерства, с которым ее возделывают, частное присвоение, по всей вероятности, вскоре стало бы преобладающим.

Однако до тех пор, пока свободной земли оставалось в достатке, людям было бы столь же несвойственно спорить о праве владения ею, как и сражаться за воздух, воду или любое другое общее благо природы. Таким образом, определенные участки по привычке начинали бы ассоциироваться с конкретными людьми и семьями, закрепляясь за ними в силу личной привязанности еще до того, как нужда могла бы подтолкнуть к насильственному отчуждению собственности у владельца. Тем не менее, не успело бы смениться и нескольких поколений, как начались бы посягательства на земельные владения. Рост населения начал бы оказывать давление на средства к существованию, лучшие земли оказались бы полностью заняты, и их обладатели почувствовали бы необходимость в самозащите. Эта часть общества, будучи наиболее многочисленной и сильной, превратила бы свою волю в закон; и эта воля породила бы кодекс распределительной справедливости. Привычка, осознание пользы, указы правительства и проклятия тех, кто кровно заинтересован в поддержании этого закона, постепенно, но неуклонно облекли бы сухие декларации общественной воли в моральную (а нередко в религиозную) санкцию. Нечто подобное, как не трудно заметить, происходило в ходе колонизации Америки, прежде чем правительства, воспользовавшись при этом европейскими

[304] В данном случае не стоит придавать слишком большого значения этимологии; однако любопытно заметить, что греческий корень νεμω является общим как для слова νομος (закон), так и для νομαι (разделы земли); а латинское «lex» и наше английское «law» (англосаксонское Lag) связаны с мезоготским LAGJAN — «класть» или «помещать». В ранней истории зафиксированы случаи раздела земель между народом согласно аграрному закону; следовательно, термин νομαι может подразумевать земельные наделы, распределенные по закону. Однако представляется вероятным, что оба слова ведут свое происхождение от более высокого истока — от общей для обоих понятий идеи распределения.

представлениями, закрепили право собственности на землю за собой и посредством дарения или продажи распределили её под гарантией собственной власти.

Теоретики склонны воображать, будто земля изначально удерживалась вследствие разделов, произведенных по общему соглашению — подобно тому, как в наши дни огораживаются и распределяются пустоши. Однако это предполагает, что теоретическое понятие **права** предшествовало самому факту **владения**, на котором оно основано; подобная преемственность идей очевидно невозможна.[305] К чему, спросят нас, делить землю до того, как она обрела ценность? И каким образом она могла стать ценной независимо от её обработки?[306] Предполагать некое всеобщее стремление к пахоте и севу в отсутствие всякого опыта — явная нелепость. Подобная практика, несомненно, должна была зародиться в кругу частных лиц, а посему поземельная собственность возникла раньше, чем стала возможной сама идея аграрного закона.

К эпохе земледелия относится создание постоянных запасов, значительно превышающих насущные потребности общества, а также последовавший за этим рост ремесел и торговли. С зарождением земледелия возникло множество интересов, было порождено обилие идей, и к жизни были призваны такие пороки и добродетели, которые человек не мог бы даже вообразить до тех пор, пока не сложились общественные отношения, их обусловившие. Именно в этом состоянии общества появилась возможность налогообложения, возникли громоздкие правительства, существующие за счет народа, и возникла нужда в деньгах. Если верить преданиям героической эпохи, не только цари-пастухи, но и правители юных земледельческих общин не были освобождены от необходимости сельского труда; даже женщины царского рода занимались самым грубым домашним хозяйством.[307]

---

[305] Именно этот путь развития мысли — от владения к праву — придал столь всеобщее распространение силе «давности владения» (prescription); не только как наиболее удобному порядку вещей, но и как наиболее естественному или созвучному спонтанным ассоциациям идей.

[306] То, что идея права вытекает из факта владения, а владение проистекает из пользы, извлекаемой из почвы, становится очевидным из тех своеобразных форм, в которых эти явления проявлялись у североамериканских индейцев. Карвер сообщает нам, что «обеспечение прав на охоту и охрана земель, которые они в силу долгого обладания считают своими, являются основными причинами их раздоров. Будучи чужды идее частной собственности, тем не менее, самые неотесанные из них прекрасно знакомы с правами своей общины на владения, коими они распоряжаются, и решительно противятся любому посягательству на оные». — «Путешествия».

[307] Андромаха самолично кормила коней Гектора:
Ныне же вы мне воздайте за корм, что в избытке великом
Вам Андромаха, дочь Ээтиона великодушного,
Ставила прежде — пшеницу, по вкусу подобную меду.
— Илиада, VIII, 185–187.
См. также: Potter's Antiquities, vol. ii., p. 361, где приводятся примеры подобных фактов из священной истории.

Латинское слово pecunia служит живым свидетельством того, что на заре меновых отношений их правила диктовались поголовьем скота, в котором и оценивалась стоимость товаров. Подобное мерило, изначально присущее пастушеским племенам, оказывается слишком грубым для нужд сколько-нибудь развитого земледельческого народа; посему использование металлической валюты должно было неизбежно последовать за разделением ремесел и возникновением городов. Сие изобретение потребовало значительного прогресса в искусстве исчисления — искусстве, которое и поныне сохраняет мощную власть над умами и продолжает занимать первенствующее положение как лучшее средство развития интеллекта.

Однако едва ли не самым примечательным нравственным следствием, порожденным этой материальной причиной, стало **возникновение ренты**. Ценность, которую возделывание придает почве, вскоре позволила бы владельцу возвыситься над необходимостью личного труда, как только плоды этой земли стало возможно накапливать при помощи некоего долговечного эквивалента.

Мысль о том, чтобы предоставить право пользования землей более бедным и трудолюбивым соседям в обмен на ежегодную плату, напрашивалась сама собой. Таким образом, владение землей превращалось в источник покровительства, власти и почета; так, в силу одного лишь стечения обстоятельств, возникала земельная аристократия, что имело важнейшие последствия для общества. В то же время новые отношения между землевладельцем и арендатором придавали значительную сложность юриспруденции страны, что приучало разум к более широким навыкам общего рассуждения. Таким образом, к земледельческому периоду можно отнести установление в обществе обособленных каст,[308] учреждение сложной религиозной системы[309] и возникновение новых источников власти, заключавшихся в искусстве введения в заблуждение и управления общественным мнением.

Развитие интеллекта неизбежно должно было следовать за возрастающей сложностью интересов и порожденной ими искусственной деятельностью; а в тех странах, где обстоятельства благоприятствовали изобретению мореплавания, торговля, должно быть, открыла еще более обильные источники знаний, установив постоянное сообщение между различными центрами цивилизации.

Давление нужд, возникших из этого нового состояния общества, должно было на раннем этапе побудить к поиску некоего способа придания идеям постоянства, посредством **системы видимых символов**. Поскольку греческая цивилизация была

[308] Наши европейские аристократии, хотя и были основаны на праве меча, никогда не смогли бы обрести наследственную власть в государстве иначе как через влияние земельной собственности. Подобно торговой аристократии, аристократия меча слишком часто переходила бы из рук в руки, чтобы способствовать закреплению семейных привязанностей и укоренению сословных предрассудков.

[309] Путем выделения земель или установления земельной десятины для целей общественного богослужения.

заимствована у других народов, на основе истории этой страны невозможно проследить прямую связь между этими фактами; однако примеры Мексики и Перу подтверждают предположение о том, что даже малейший прогресс в цивилизации неизбежно влечет за собой попытку создать подобный инструмент. Ничто, следовательно, не служит более ярким доказательством варварства ранних римлян, чем тот факт, что консулы были вынуждены прибегать к вбиванию гвоздей в дверной косяк, как к единственному доступному им способу ведения государственного летосчисления. По-видимому, вопреки притязаниям на троянское происхождение, этот народ перенимал плоды цивилизации медленно и неохотно, лишь в процессе враждебных столкновений с этрусскими городами.

До того как земледелие или, в лучшем случае, одомашнивание скота сделались повсеместным занятием, число предметов, достаточно значимых для человека, чтобы нуждаться в наименовании, оставалось сравнительно небольшим; общественные же связи были слишком просты, чтобы вызвать потребность в частом взаимном общении. Соответственно, у бродячих диких племен мы находим словарный запас, стесненный теснейшими рамками и существенно разнящийся даже у жителей соседних селений. В подобных обстоятельствах едва ли могло возникнуть стремление запечатлеть с помощью постоянных символов те скудные идеи, которые способен породить столь несовершенный язык. Постижение абстрактных понятий при помощи столь грубого инструмента и при отсутствии достаточных побуждений было бы, пожалуй, невозможным; интеллектуальные способности должны были вечно пребывать в бездействии, если только какое-либо внешнее физическое воздействие не пробуждало любопытство и не стимулировало активность народа, находящегося в подобном положении.

Каковы бы ни были мнения относительно первоначального заселения Американского континента, очевидно, что многие столетия миновали для его народов, не предоставив большинству из них ни малейшего шанса выйти из состояния беспомощного младенчества их политического бытия. Потребность в письменных документах среди них была столь ничтожна, что даже сильный инстинкт подражания, неотделимый от самой природы живого существа, лишь в одном-единственном случае породил такое простое средство, как рисуночное письмо.

В практике земледелия и в том новом круге трудов и интересов, к которому оно дало толчок, можно найти стимул, неизбежно ведущий к изобретению письменности. «*По мере того,* — пишет **Дежерандо**,[310] — *как общества множатся и продвигаются по пути цивилизации, потребность в этом новом роде знаков с каждым днем становится всё более ощутимой. Возникали соглашения, которые необходимо было закрепить постоянными знаками, служащими им поручителями и свидетелями; устанавливались законы и правила, которые надлежало донести до*

[310] См. Дежерандо, «О знаках», т. 1

всех, о которых нужно было напоминать беспрестанно и которые желали передать потомству; совершались открытия, важность которых требовала сохранения; происходили события, представлявшие общий интерес, которые стремились увековечить в памяти каждого. Связи между членами сообщества множились, объединяя людей, разделенных пространством и временем, и порождая в них нужду в общении и взаимопонимании. Наконец, чем более просвещенными становились люди, тем более расширялись их потребности и тем большую ценность они придавали любым воспоминаниям. Им приходилось всё чаще прибегать к тем знакам, которые одни лишь были способны зафиксировать мысли надежным и долговечным образом. Им надлежало поставить искусство создания этих знаков в число искусств первой необходимости».

Чтобы определить интеллектуальный уровень народа, лишенного письменности, недостаточно рассматривать состояние низших сословий в странах, где искусство чтения и письма не получило широкого распространения. Огромное количество терминов, введенных в письменные труды и порожденных литературными изысканиями, усваивается языком высших классов, а от них нисходит к самым невежественным слоям населения.[311]

Даже самый бедный и невежественный крестьянин черпает крупицы света из общего источника цивилизации, и весь народ оказывается под воздействием, которое в огромной степени преображает качество его ума. В христианских странах, в особенности, в уши простого люда еженедельно изливается поток терминов, выражающих самые отвлеченные идеи; и пусть они не всегда дают отчетливые понятия, они все же побуждают к размышлению и направляют ход мыслей, оказывая решающее влияние на умственное развитие. Следовательно, недостаточно лишь вообразить себе мрак Средневековья, перечислив примеры невежества, заблуждения, предрассудки и безумства той бедственной эпохи. В пору ее глубочайшего затмения, когда даже лучшее образование было:

> non light,
> But rather darkness visible
> («не светом, но зримой тьмой»),

схоластические споры велись с недюжинной силой. Понятия, переходившие таким образом от духовенства к мирянам — пусть и не всегда здравые или плодотворные, — тем не менее упражняли умственные способности и приучали суждение к таким положениям, что были бы совершенно недосягаемы без помощи письменности.

[311] В городе Дублине существует племя несчастных существ, населяющих угольные подвалы, выстроенные под новыми улицами, где дома еще не возведены. Эти люди не платят за жилье, обитая там лишь из милости, и настолько лишены средств к существованию, что являются, быть может, самыми обездоленными бедняками в лоне гражданского общества. Однако, не имея ни ремесла, ни какого-либо образования, они по своему интеллектуальному развитию едва ли уступают — если вообще уступают — представителям обычного рабочего класса.

Влияние искусства письма на язык и интеллект подтверждается множеством исторических фактов. **Осада Трои** — событие столь отдаленное от времен, задокументированных историей, что само его право занимать место в летописях вызывает сомнения; порой кажется, что его следует окончательно изгнать в призрачную область мифологических вымыслов. В ту эпоху, к которой приурочено это событие, искусство письма, по всей видимости, еще не было известно. Ведь если бы оно существовало, до нас дошли бы анналы, способные либо подтвердить реальность этого факта, либо прямо опровергнуть гомеровскую гипотезу. Именно благодаря письменности мы имеем возможность отличать Карла Великого, воспетого Ариосто, от подлинного восстановителя Западной империи. Считается, что между эпохой, приписываемой Троянской войне, и рождением Гомера прошло едва ли три столетия.[312] Однако сколь огромна интеллектуальная пропасть между варварством гомеровских «царей-поваров» и тем уровнем общественного развития, который предполагает само существование языка, способного породить «Илиаду»! Это язык, который не мог бы сформироваться без помощи письменности. Еще один поразительный пример влияния литературных сочинений на интеллектуальные судьбы народов мы находим в трудах **Данте**. Его творения мгновенно вознесли тосканский диалект на такую вершину совершенства, которая самым разительным образом контрастировала с грубостью языка его непосредственных предшественников. Впрочем, не стоит полагать, будто отдельный человек при любых обстоятельствах волен подобным образом созидать и преобразовывать; ибо сами личности суть лишь порождения обстоятельств, и для проявления их деятельности необходимы такие сочетания условий, которые, воздействуя на общество в целом, способны увлечь весь народ в том же направлении, куда устремлен великий ум. Однако подобные случаи могли повторяться вновь и вновь в эпохи более глубокого невежества и косности; люди высокого полета мысли и возвышенного гения могли посвящать себя поэтическим трудам, не оставляя при этом неизгладимого следа в национальном наречии — и лишь по причине отсутствия столь мощного инструмента, какой дает **искусство письма**. Оценивая этот любопытный феномен итальянского языка, следует постоянно помнить, что Данте не изобретал новых слов; он лишь выбирал из множества существующих форм выражения сложных времен и наклонений самые изящные и аналогически верные, отсекая грубые и искаженные окончания, принятые в сельских и менее цивилизованных общинах. Руда, из которой он извлекал свой чистый металл, была уже собрана в трудах его предшественников; многое в ней, вероятно, сформировалось благодаря их неуклюжим попыткам облечь в слова мысли, рожденные самим стремлением писать. Даже их ошибки были необходимым предварительным этапом для трудов Данте. Любой самобытный писатель в любой области изысканий вносит свой вклад в сокровищницу общественного интеллекта, очищая и уточняя язык в той мере, в какой это касается идей, над которыми он трудился. Таким образом, влияние доброй книги зависит не столько от

[312] Согласно некоторым источникам, эти события разделяет всего 168 лет.

содержащихся в ней истин, сколько в той легкости, которую оно дарует другим, позволяя им мыслить точно и неуклонно продвигаться к последующим открытиям.

Существует и иной взгляд на вещи, проливающий свет на этот примечательный факт. Системы письменной символики не всегда были одинаково совершенны; и каждая из них, сообразно своим достоинствам, приводила народы к совершенно разным ступеням цивилизации. Если сравнить бесписьменные племена Северной Америки с перуанцами, мексиканцами, египтянами, китайцами, греками и современными нациями, живущими в эпоху после изобретения книгопечатания,[313] можно проследить определенную и весьма выраженную трансформацию народного разума, сопровождающую каждый шаг на пути к совершенствованию искусства закрепления мысли. Поистине огромен разрыв между лишенными законов, искусств и удобств сообществами воюющих кочевников; медленно прогрессирующей цивилизацией греков; застойной, бесплодной цивилизацией китайцев и тем стремительным развитием всех полезных и глубоких наук, которое последовало за появлением печатного станка. Подобное же сравнение арифметических знаков римлян и арабов в их влиянии на человеческий ум, или же рассмотрение соотношения между алгебраическими символами и наукой, которой они дали рождение, выявляет влияние этого фактора с поразительной и исчерпывающей ясностью.

Среди причин, повлиявших на формирование нравственных идей, нет, пожалуй, более значимых, чем те неведомые физические сочетания, что обусловили существование различных вариаций человеческого рода. Природа их малоизучена; до такой степени, что существование этих разновидностей можно с большой долей вероятности приписать изначальному и первозданному формированию каждой отдельной расы. Этот вопрос, впрочем, не относится к предмету нашего нынешнего исследования. Ибо были ли эти обособленные расы порождены влиянием климата на единый исходный вид, или же различные виды были с самого начала сотворены в гармонии с этими условиями — нравственный итог остается неизменным.

Поскольку передние и верхние отделы головного мозга получили у человека наибольшее развитие, и именно они наиболее отчетливо отличают его от низших животных, представляется разумным приписать именно деятельности этих долей те интеллектуальные феномены,[314] которые столь характерны для человеческого существа. Следовательно, каковы бы ни были причины, стеснявшие развитие этих отделов и сделавшие их меньшими у иных разновидностей человека по сравнению с **Европейцем** (что превращает эти разновидности в своего рода промежуточные

[313] Искусство книгопечатания приведено здесь по той причине, что, хотя оно и не влияет на формирование идей напрямую так, как это делают конкретные формы символики, оно косвенным образом привносит исключительную точность в словоупотребление и, как следствие, в мышление тех народов, где оно широко распространено.

[314] Данное утверждение не зависит ни от материалистической, ни от спиритуалистической гипотезы, оставаясь в равной степени верным для обоих случаев.

звенья между организацией европейца и строением животных), эти причины следует признать факторами, оказывающими существенное влияние на нравственное состояние вида.

Поразительно, что ни в одном случае **темнокожие расы** не достигли постижения тех нравственных идей, которые сопутствуют свободе и подлинной цивилизации или, возможно, служат их первопричиной. Время и случайность, действуя в столь грандиозном масштабе, какой являет нам большая часть земного шара на протяжении всей задокументированной истории, должны были бы — согласно простой теории вероятностей — породить среди некоторых темных племен очаги цивилизации, подобные тем, что существовали у белой расы, если только некая могущественная предрасполагающая причина не направляла ход событий.

Нельзя отрицать, что примечательное упрощение формы черепа, наблюдаемое у темных рас, в значительной степени видоизменяет интеллектуальные способности; и вывод о том, что это обстоятельство служило препятствием для цивилизации, которое до сих пор так и не было полностью преодолено, опирается на веские доводы вероятности. В каких именно специфических свойствах ума заключается это несовершенство — сформулировать не столь просто. Что касается обыденных человеческих добродетелей, то темные расы, будучи поставлены в равные условия, не уступают белой. Добро и зло производят на их чувства то же впечатление и действуют тем же образом, пробуждая чувства любви и ненависти; однако можно обоснованно усомниться в том, что общее равновесие страстей здесь одинаково. Аналогия подводит нас к выводу: поскольку темнокожие расы по своему строению стоят **ближе к животному типу** и лишены той части мозга, которую можно считать органической основой для более благородных и интеллектуальных побуждений, то их сугубо животные наклонности должны более решительно преобладать в волевых актах и приводить к более необузданным реакциям. Факты поразительно согласуются с подобной гипотезой; однако не так легко удостовериться в том, обусловлена ли вся разница между открытыми деяниями дикарей и поступками белого человека в схожих обстоятельствах действительной неспособностью первых к высшим понятиям, или же она, в сущности, проистекает из отсутствия условий для их необходимого развития. Признавая — а этот факт едва ли можно отрицать — что «темная» организация менее благоприятна для спонтанного нравственного развития, нежели «белая», необходимо также признать, что способность извлекать пользу из опыта белой расы, воспринимать её идеи и перенимать её обычаи - никогда не подвергалась честному испытанию. Взаимоотношения европейцев с Америкой и Африкой сводились главным образом к насилию и грабежу; их действия были направлены исключительно на подрыв интеллектуальных сил своих жертв и отчуждение их привязанностей. Нет ни

единого аспекта, в котором влияние христианства[315] на наши чувства проявлялось бы более негативно; ибо даже самих демонов — этих идеальных воплощений абстрактного злонравия и порока — невозможно представить способными на большие злодеяния против человечества, чем те, что на протяжении многих лет совершали по отношению к своим менее цивилизованным собратьям приверженцы этой благодетельной религии.[316] Остается лишь гадать, в какой мере при ином обращении темнокожие племена могли бы извлечь пользу из европейского просвещения. Отдельные исключения не следует принимать за типичные образцы; равно как и создание независимого правительства чернокожих не может считаться решающим доводом.

Главная трудность в том, чтобы пробудить в дикарях интерес к самосовершенствованию, заключается в тщетных попытках внушить им те же потребности и желания, что свойственны европейцам. Как едко было замечено, единственные европейские изобретения, которые дикари, по-видимому, жаждут заполучить — это бренди и порох.[317] Однако эта трудность не носит исключительно органического характера; ведь и среди цивилизованных народов мы видим низшие классы,[318] пребывающие в таком состоянии нужды, которое ложится глубочайшим позором на правительство, доведшее их до подобного упадка; и живя на виду у всех благ и удобств цивилизации, они не стремятся обрести даже те из них, что находятся в ближайшем доступе.

Когда подобное безразличие к внешнему миру — будь оно приобретенным пороком или врожденным недостатком — укореняется в человеке, всякое значительное интеллектуальное развитие неизбежно исключается; ибо напрочь отсутствуют мотивы, способные пробудить ту живость ума, которая необходима для дальнейшего совершенствования.

Другой источник **отсталости темнокожих рас**, в некоторой степени связанный, вероятно, с вышеупомянутым, кроется в их меньшей способности к упорному и настойчивому труду. Представители темных ветвей человечества, как правило, более капризны в своих волеизъявлениях и менее постоянны в желаниях; и, за исключением тех случаев, когда речь идет о насущном пропитании или

---

[315] Это замечание направлено не против морали христианского учения, а против заносчивых притязаний некоторых его поборников, кои полагают, будто нравственность, предписанная Новым Заветом, служит мерилом чистоты их собственных поступков, в то время как сами они находятся в вечном противоречии с ней. Судя по явным деяниям людей (особенно мужей государственных), можно было бы предположить, что заповеди, оставленные их Искупителем, следует понимать и исполнять в смысле, прямо противоположном их буквальному значению. В столь унизительных обстоятельствах меньшее, на что можно было бы рассчитывать, — это толика взаимной терпимости к умозрительным разногласиям.

[316] Истребление карибских племен; бесчинства испанцев в Южной Америке, негритянское рабство и т. д. и т. п.

[317] Труды Джона Хантера.

[318] Ирландцы.

удовлетворении жажды мести (страсти, к которой они, по-видимому, сравнительно более склонны), они скорее пылки, нежели решительны, более чувствительны к обидам, чем способны к сопротивлению, и в гораздо большей степени подвластны сиюминутным впечатлениям, нежели дальновидным расчетам.

Сравнительный обзор нравственных способностей различных разновидностей человеческого рода до сих пор остается насущным пробелом (desideratum) в истории развития разума. Факты, рассеянные по описаниям различных путешествий, еще никогда не были собраны воедино и сфокусированы. Равно как и ни одно из племен, составляющих эти расы, не изучалось с намерением придать накопленному опыту большую точность и полноту. На поверхностные, а зачастую и ошибочные замечания мореплавателей, касающиеся новых открытий, едва ли можно полагаться как на данные, достаточные для серьезных философских целей.

Между тем, теперь уже накоплено достаточно сведений, которые позволяют с уверенностью утверждать, что даже самые отсталые из темнокожих рас не лишены способности вступать в нравственные отношения, сколь бы сомнительной ни казалась их возможность создавать сообщества столь же сложные, какими отличается европейская цивилизация. Имеются веские основания сомневаться в том, позволит ли само природное устройство этих рас когда-либо существовать им столь же плотными популяциями и, как следствие, входить в столь же тесное нравственное соприкосновение, какое часто демонстрировала белая раса. Однако не подлежит сомнению тот факт, что при содействии европейского просвещения они вполне способны образовывать пастушеские и даже земледельческие союзы. Прискорбное убеждение в том, как будто некие исключительные формы веры необходимы для спасения творений справедливого и благого Бога от неотвратимого проклятия — вне зависимости от времени и обстоятельств — породило благонамеренные, но ошибочные попытки обращения первобытных племен Африки и Америки; попытки эти одновременно несвоевременны и нерациональны.[319] Первоочередные нужды этих народов, очевидно, лежат в материальной плоскости. Первое наставление, в котором они нуждаются, — это обучение тем **искусствам** и **ремеслам**, которые смягчают сердца, одновременно улучшая условия их земного существования. Именно такие занятия являются необходимыми предтечами более возвышенных и чистых представлений о нравственности, без которых религиозные догматы и таинства становятся лишь поводом к фанатизму и нетерпимости. С другой стороны, любая система наставления, которая берет начало в сугубо идеальных абстракциях, будучи предложена народу, который не знакомом с промежуточными понятиями, связывающими эти абстракции с миром чувственным, не может породить ничего, кроме пассивного принятия определенных словесных формул. Подобное согласие, будучи лишенным идейного наполнения, столь же

[319] Лоуренс полагает, что при любых обстоятельствах обращение в веру невозможно в силу органического несовершенства самих субъектов.

ничтожно пред Богом, сколь и бесплодно в своих полезных результатах для человека.

О влиянии климата на нравственность и судьбы народов велось немало споров; и если, с одной стороны, это влияние считали первостепенным, то с другой — его полностью отрицали. Человек, однако, в такой степени является существом, определяемым внешними связями, что ни одно обстоятельство окружающей природы, способное воздействовать на его восприимчивость, не может считаться для него совершенно безразличным.

Влияние климата проявляется двумя различными путями: **во-первых**, через прямое воздействие тепла, света и влаги на живые волокна организма; **во-вторых**, через его косвенное действие — посредством тех изменений, которые он вносит в земные плоды и в иные условия, тесно связанные с нашими потребностями и удовольствиями. То, что тепло или холод климата оказывают мощное воздействие на человеческую конституцию, а следовательно, и на нравственный характер, не подлежит сомнению. Тот факт, что жаркий климат способствует обострению чувствительности и развитию нервных тканей в ущерб мышечным, не может быть безразличен для вопросов морали. Однако существует и другое следствие этого состояния, чье влияние проявляется с еще более повсеместным признанием, а именно — преждевременное созревание. В странах, где пора детства на несколько лет короче, чем в наших краях, где репродуктивные органы созревают для своих функций задолго до того времени, когда раскрывается разум и формируются те привычки мышления и поведения, которые подразумеваются под понятием «образование», их влияние на судьбы человеческого рода оказывается куда более решительным. В то же время старость, наступающая с соразмерной быстротой, не оставляет достаточного промежутка времени для тех продолжительных и упорных усилий, которые необходимы для обретения богатства или познания. Следовательно, совокупные труды народов, находящихся в подобных условиях, оказываются менее эффективными и требуют смены гораздо большего числа поколений для достижения успеха.

Второе воздействие климата, проявляющееся через плоды земные, бесконечно более важно и открыто для наблюдения. Поскольку все жизненные функции представляют собой реакцию организма на внешние стимулы, характер и сила деятельности неизбежно зависят от качества и количества этих стимулов. Таким образом, по мере того как природа чинит препятствия легкому удовлетворению желаний — при условии, что они не являются совершенно непреодолимыми, — живое существо побуждается к новым свершениям. Оно вовлекается в деятельность, которая не останавливается на удовлетворении первейших естественных потребностей, но множит средства достижения благ и удовольствия, порой самые изысканные и искусственные.[320] В тех краях, где плодородие земли требует лишь

[320] См. «Очерки философии жизни».

ничтожных трудозатрат, где благодаря мягкости климата потребность в топливе, крове и одежде ощущается менее остро, необходимость в сотрудничестве осознается не столь глубоко; там недостает побудительных мотивов для того, чтобы природная общительность человеческого вида развилась во всей своей полноте. Растрата жизненных сил, вызванная физическим трудом, также предрасполагает живое существо к покою; и коль скоро дневное пропитание добыто, **праздность становится высшим наслаждением жизни**. В обществах, что находятся в подобных условиях, влияние правительства на народное благополучие не настолько непосредственно; и даже в периоды самого сурового угнетения оно находит своих жертв менее бдительными и менее готовыми к сопротивлению, нежели в странах, где природа была не столь расточительна на свои дары. Таким образом, прослеживается очевидная гармония в расселении темнокожих рас в теплых поясах земли, где щедрость природы восполняет их сниженную способность к органическому сопротивлению. Следует также заметить, что повсюду, где обстоятельства вынуждали их мигрировать в более суровые и негостеприимные края, они оказывались не в силах вести войну против природы и вырождались как численно, так и телесно, являя собой примеры самого жалкого и беспомощного существования, в котором только может теплиться жизнь.

Первым и важнейшим условием для умножения и развития общества в умеренных поясах земли, где сельское хозяйство требует непрерывных и совместных усилий, является **свобода**. Та самая грубая и слепая тирания, которая столь легко переносится азиатами, повергла бы европейские нации к неминуемой гибели. Даже в Италии и Австрии, где азиатский принцип правления существует во всей своей теоретической чистоте, природный инстинкт самосохранения принуждает злополучного самодержца вести государственные дела с некоторым подобием внимания к интересам народа. По мере умножения потребностей средства их удовлетворения должны развиваться соразмерно, иначе роду человеческому грозит вымирание. Следовательно, в условиях сурового климата **уважение к правам собственности** становится насущной необходимостью. Поскольку разделение и кооперация труда здесь также требуются более настоятельно, законы, правила и сословные различия, санкционирующие и направляющие возникающие при этом новые отношения, должны множиться с большей быстротой и изощренностью, нежели это абсолютно необходимо в теплых краях. Посему, хотя история и может указать на множество исключений, а географические параллели не являются точными данными для определения степени свободы или цивилизованности той или иной нации, всё же, чем шире поле исследования, тем решительнее факты будут соответствовать этому общему положению.

В рассуждениях подобного рода мы склонны часто впадать в неуверенность и разочарование из-за ошибки, заключающейся в ожидании слишком многого от какой-то одной изолированной причины. Первый исследователь любого закона

склонен слишком поспешно переходить к частным выводам; те же, кто следует за ним, обнаруживая его просчеты, слишком легко приходят к сомнению в верности самого принципа, из которого были выведены столь ложные заключения. Но возвращаясь непосредственно к предмету нашего обсуждения, следует отметить, что климат — лишь одна из многих причин, влияющих на природу и способности человека; его воздействие может как усиливаться, так и сдерживаться совокупным влиянием иных факторов, в той или иной степени благоприятствующих его проявлению. Так, если взять общеизвестный пример, религиозный фанатизм азиатских народов побудил их к такому рвению в войне (и, как к отдаленному, но неизбежному следствию — в торговле и искусствах), которого едва ли можно было ожидать от обитателей восточных широт. Армии народов, чьи мириады некогда сдерживались горсткой греков, под этим влиянием едва не покорили весь обитаемый мир.

Подобным же образом благоприятные условия для местной торговли породили энергичную деятельность Тира и Карфагена, вопреки тем же самым природным факторам, которые были общими как для этих городов, так и для их ленивых и праздных соседей. Но каковы бы ни были причины общественной свободы и тесного социального единения — проистекают ли они главным образом из высшей организации **кавказской разновидности человека**, зависят ли в большей степени от удачного географического положения наций, в которых утвердились подобные институты, или же, как полагают многие, возникли в результате игры многочисленных противоречивых и случайных факторов, как моральных, так и физических, — само их существование неразрывно связано со всесторонним развитием интеллекта.

Там, где большая часть общества в силу существующих институтов или стечения обстоятельств фактически отстранена от управления государственными делами, интерес к исследованию общих истин едва ли может возникнуть. Ум, занятый исключительно повседневной рутиной, с трудом возвышается над самыми насущными природными потребностями. В подобных обществах — пускай вблизи двора отдельные лица и могут отличиться на литературном поприще, а в столице может проявляться некая насажденная и полуварварская цивилизация — народ неизбежно остается в невежестве и огрубении. Варварские установления черпают свое долголетие в тех ложных и узкокорыстных интересах, которые они сами же и порождают. Наука в таких условиях обречена на медленный и неуверенный прогресс — как по причине малочисленности её служителей, так и из-за гнета авторитетов и подозрительности привилегированных сословий. Оттого и случалось так, что вопреки примеру свободных государств, вопреки знаниям, привносимым зарубежной литературой, и неуклонному росту интеллекта, сопутствующему торговле, обитатели **деспотических стран** сталкивались с величайшими трудностями при попытках установить более свободный строй и свергнуть власть угнетателей. Ибо недостаточно того, чтобы горстка предводителей обладала

ясностью взора и чистотой помыслов. При переворотах любого рода немногие движущие силы должны действовать сообща с массами; там же, где народ пребывает в крайнем невежестве и упадке, вожди слишком часто обречены на ту же прискорбную участь, что постигла руководителей недавней неаполитанской борьбы.

Сопротивление, с которым приходится сталкиваться реформаторам, чаще всего принуждает их к принятию крайних мер; сила же, необходимая для сокрушения деспотии, слишком велика, чтобы **невежественная чернь** могла распоряжаться ею мудро и безопасно. Таким образом, корысть привилегированных сословий, провоцирующая преждевременные преобразования, оказывается столь же пагубной в поражении, сколь и в победе.

В странах, где каждый призван участвовать в выражении общественной воли, пробуждается дух деятельности, проникающий во все отрасли человеческого познания. Для свободного человека любой предмет представляет интерес; а привычка к поиску истины, единожды утвердившись, поддерживает разум в состоянии непрестанного подъема, который отвергает влияние авторитетов и освобождает интеллект от самого тяжкого ига — этого необоримого препятствия на пути к прогрессивному совершенствованию.

В колыбели греческой свободы была взлелеяна и её философия; она, хоть и зиждилась на ложной логике и на основаниях чисто умозрительных, возвела интеллектуальные способности человеческого рода к высшему пределу проницательности, на который те, возможно, только способны. Язык и общественные нравы, породившие Сократа, почти не оставляют желать лучшего для нравственного развития человека, если не считать их недолговечности.

История греческой философии, то подспорье, которое она дала уму, и те цепи, которыми она сковала человеческий разум, достаточно известны. Какова бы она ни была, её памятники сохранились посреди великих руин цивилизации, последовавших за вторжением варваров в Римскую империю; она слилась с учениями господствующей религии и составила единственный интеллектуальный капитал последующих веков. Влияние, которое она оказывала, сочетая в себе тончайшую изощренность диалектики с глубочайшим невежеством в вопросах подлинной природы вещей и наделяя непререкаемым авторитетом положения, бесконечно далекие от истины, стало серьезной преградой для того развития способностей, которое в ином случае свойственно народам в пору их расцвета — прежде чем они будут испорчены многообразием желаний или истощены непосильным трудом.

Долгому сохранению той эпохи, когда цивилизация находилась в состоянии застоя или упадка, способствовали еще два обстоятельства: (1) возникновение обособленной и властной иерархии; (2) разделение населения на две касты — завоевателей и завоеванных. Обширные завоевания Римской империи поначалу

пагубно сказались на интеллектуальном развитии человечества, поскольку сосредоточили знания исключительно в единой великой столице мира. Ибо, хотя они и могли придать внезапный импульс общественному бытию некоторых менее просвещенных народов, установленные ими отношения господина и раба, а также замена национального правления провинциальным управлением были крайне неблагоприятны для дальнейшего прогресса.[321]

С падением Западной империи европейский мир оказался разделен на увядающую, выродившуюся Греческую империю и дикие, пребывавшие в младенчестве королевства северных захватчиков. В первой из них ложная и порочная философия, туманное, догматичное и полемическое богословие, закоренелые привычки к ложным умозаключениям, частая смена династий и постепенно нарастающее давление мусульманских врагов стали достаточными причинами для того, чтобы стеснить разум в теснейших рамках.

Однако в зарождающихся государствах Западной Европы существовали задатки для стремительного и мощного прогресса цивилизации; при благоприятных обстоятельствах они могли бы привести к величайшим результатам. Северные племена, завладевшие прекраснейшими провинциями Западной империи и в конечном итоге покорившие сам Рим, были расой с нерастраченными чувствами и исключительной энергией. Дух, побудивший их покинуть родные леса и добыть себе острием меча более богатое наследие, едва ли располагал к тому, чтобы склониться перед духовным или светским деспотизмом. Их общественные установления были по своей сути свободными; и если бы им хватило умеренности и благоразумия, чтобы слиться с покоренными народами и наделить их собственными привилегиями, они быстро упрочили бы свободу на столь обширном пространстве, что навеки обеспечили бы судьбы человечества. К несчастью, они ввели **феодализм**; привязав покоренные расы к земле в качестве крепостных, они разделили и раздробили свои силы до тех пор, пока их малые независимые общины одна за другой были поглощены королевствами и империями, повсеместно отравленными той самой тиранией, с помощью которой мелкие вожди некогда утверждали свое притязание на право существовать за счет чужого труда.

Ясность их представлений об управлении государством и та энергия, с которой они были готовы отстаивать свои права, отчетливо проявляются в устройстве древних правительств почти всех европейских стран. Испанские кортесы, французские «Мартовские» и «Майские поля», английский парламент служат неоспоримыми доказательствами первого; частая же смена династий, междоусобные войны в монархиях и вольнолюбие славных республик Италии свидетельствуют о втором.

[321] Подтверждением этой истины в наши дни служит законодательная уния Ирландии с Англией.

Злой рок Европы, обративший племена завоевателей в христианство, подчинил их не сравнительно чистой морали Евангелия, но власти **церковной иерархии**, чья тирания сочетала в себе всё самое ненавистное с тем, что есть наиболее презренного в деспотизме. Необходимость жить мечом, которую завоеватели сами на себя наложили, воздвигла непреодолимую преграду на пути развития литературы и искусств. В то время как духовенство удерживало господство над умами в вопросах веры, оно сумело присвоить себе и исключительное право на владение всеми светскими знаниями. И всё же **дух свободы** яростно сопротивлялся этому двойному гнёту. Лонгобарды, занявшие благодатнейшие земли Италии, по вероисповеданию были арианами; и та независимость мышления, которую они сохранили даже тогда, когда оставили свою свободную веру ради нелепостей и мистификаций иной церкви, продолжала жить на протяжении многих поколений: лишь после того, как в силу нечестивого союза церкви и государства деспотия священническая и монархическая на протяжении многих веков сливалась в едином, упорном и согласованном заговоре, свободы Италии были окончательно сокрушены. Дух французской монархии угас при Людовике XIV, а испанской — при Карле V. В Англии же свобода, хоть и часто стесняемая, попираемая и презираемая, никогда не покидала своего святилища в сердцах народа. Даже в самую глубокую ночь невежества, в рабстве суеверий, под гнетом норманнских королей и их преемников, она время от времени вспыхивала ярким пламенем, позволяя англичанам идти во главе европейских народов по пути как гражданской, так и религиозной реформации;[322] пока, наконец, в годы Великой революции и в не менее достопамятную эпоху американской независимости, она не вознесла их на ту высшую ступень материального процветания и интеллектуальной культуры, которой только достигала человеческая природа за весь долгий период писаной истории.

Но если запутанный лабиринт греческого богословия и диалектики в эпоху глубочайшего упадка этой нации послужил тому, чтобы еще крепче сковать цепями современную Европу, то, с другой стороны, именно блистательный пример греческой свободы и ровный свет греческой литературы первыми пробудили в народах сознание возможности лучшего политического устройства, нежели то, под которым они стенали. В то же время свободные дискуссии соперничающих греческих философских сект, в пору их чистоты, открыли тщетность слепого преклонения перед авторитетами и научились оценивать по достоинству величие разума.

Возрождению классической учёности мы обязаны значительной частью современной цивилизации (греческие и латинские идеи до сих пор определяют как

[322] Дух поиска, пробужденный Уиклифом, продолжал незримо действовать и подготовил почву для великой национальной реформации.

наши представления, так и наши поступки);[323] однако, если бы энергия западного интеллекта не расширила поле изысканий за тесные рамки, установленные первыми учителями, если бы она не разорвала оковы греческой философии и не проложила собственные пути к познанию, величайшее преимущество этой победы было бы утрачено для человечества. Посему представляется необходимым установить причины, которые постепенно привели к отказу от древних систем и принятию иных — тех, что лишь теперь начинают оказывать своё действие и обещают наложить совершенно новый отпечаток на грядущие века.

Развитию существующей цивилизации в значительной мере способствовали три причины сугубо физического свойства. Открытие магнитной полярности, открывшее взору новый мир и представившее интеллекту бесконечное множество новых образов, одновременно с тем обогатило повседневный обиход разнообразием природных веществ и продуктов человеческого труда. Это дало соответствующий простор разуму, открыло новую сферу деятельности для воли и усложнило торговые отношения, что, в свою очередь, привело к умножению законов, расширению общих рассуждений и изменило как абстрактные воззрения философов, так и практические представления людей с более заурядным складом ума.[324]

Вопрос о том, насколько физиологическое влияние тех продуктов питания и пряностей, что ввозятся из Америки и Индии, могло изменить саму организацию человеческого вида, не допускает поспешного или краткого решения;[325] однако разнообразие новых интересов, возникших благодаря посредству **компаса**,

---

[323] Даже в наши дни мы лишь начинаем избавляться от нелепой привычки открывать поэму призыванием музы, что при нынешнем складе ума является бессмысленной банальностью. Епископский посох — это жезл авгура; религиозный календарь заимствован у языческого Рима; римская юриспруденция в той или иной степени пропитывает все кодексы Европы; господствующие представления о возвышенном и прекрасном — греческие; таковы же и формы, наиболее почитаемые в живописи и трагедии, особенно во Франции; гуморальная патология греков накладывает отпечаток на наш язык и до сих пор сохраняет влияние на медицинскую практику. Лишь греческая свобода ныне находится под запретом, однако язык свободы всё ещё преподают в наших школах.

[324] Так, открытие антиподов и прочие успехи в географии, столкнув натурфилософию с суеверием, породили новый интерес, враждебный диктату авторитета; в то же время, уличив церковь в фактических ошибках, это создало мощное предубеждение против её непогрешимости в вопросах чистого вероучения.

[325] Чай, кофе, табак, шоколад, ваниль и специи — это вещества, оказывающие прямое воздействие на нервную систему. Иные же товары, ввозимые из Нового Света, увеличивая долю растительной пищи, способствуют уменьшению плотоядных привычек вида. Если сравнить череду стимулов, воздействующих на желудок в наши дни, с тем порядком, что преобладал в Англии, когда народ не употреблял иного напитка, кроме эля, и большую часть года питался солониной, не имея ни картофеля, ни других съедобных овощей, ни апельсинов, лимонов или иных плодов, которые торговля ввезла, а искусство садоводства акклиматизировало в стране, то данное положение не покажется совершенно надуманным. Не настаивая, впрочем, на физиологическом воздействии подобных причин, нельзя ни игнорировать, ни упускать из виду их нравственную эффективность в деле изменения течения идей и замены древних привычек новыми.

значительное расширение средств и колоссальный рост числа фактов, представленных для осмысления, можно рассматривать как факторы, расширившие в сложной прогрессии область человеческого разума. Своим мощным первоначальным импульсом они способствовали пробуждению энергии, развеяли долгую ночь невежества и провели четкую демаркационную линию между цивилизациями древнего и современного мира.

Одним из последствий этого изобретения, наиболее значимым для нравственного развития человека, стала перемена путей, по которым торговля осуществляла свои операции. Прежние сношения с Востоком, посредством сухопутных перевозок и Красного моря, не только увеличивали стоимость восточных товаров, удерживая тем самым торговлю в узком русле, но и неизбежно создавали монополию в пользу тех стран или городов, которые благодаря своему географическому положению господствовали на Средиземном море. Открытие компаса сделало торговлю доступной для любого края и для каждого народа, обладающего морским портом и наделенного энергией, достаточной для постройки судов и мореплавания. С возникновением множества подобных очагов коммерции зародились и новые центры искусств, литературы, свободы и интеллектуальной активности во всех сферах человеческой деятельности.

Судьбы человеческого рода более не зависели от участи одного-единственного народа. Варварство, эгоизм и нелепое своенравие отдельного деспота уже не могли погасить свет истины кратким властным указом. Философ, гонимый в одном государстве, мгновенно находил прибежище в другом; а идеи, которые в Риме или Мадриде обрекли бы их проповедников на «апофеоз костра», в Лондоне или Амстердаме принимались с благосклонностью или вознаграждались почестями. Благодаря возникновению этих независимых школ мысли был обретен «пробный камень» для проверки истинности суждений, оказавшийся ценнее даже того, чем владели древнегреческие философские секты; ибо национальные предрассудки превратились в препятствие для слепой покорности догмату ipse dixit («сам сказал») какого-либо признанного авторитета. С этой же причиной связано и колоссальное расширение народного влияния, проистекающее из растущего благосостояния общества. Произошел коренной переворот в положении дел: деньги сделались «нервом войны», что наложило мощную узду на произвол тиранов и заставило их при осуществлении своих военных предприятий искать поддержки народных интересов или, по крайней мере, притворяться, что они действуют им во благо.

С другой стороны, благодаря возникновению политических сил, не зависящих от размеров территории, увеличилось число суверенных государств. Это сделало честолюбивых и беспокойных монархов уязвимыми во многих отношениях и не позволило какому-либо одному государству навечно установить свое решающее превосходство. Так, торговля Нижних Земель предотвратила установление всемирной монархии Испании; торговля Англии и Голландии расстроила необузданные амбиции Людовика XIV, а торговля Англии в конечном итоге

сокрушила всю объединенную мощь Европы, сосредоточенную в железной хватке и приводимую в движение всеобъемлющим гением Наполеона.

В задачи настоящего тома не входит прослеживание причин до их самых отдаленных последствий; достаточно лишь указать на общую причинно-следственную связь, предоставив каждому читателю возможность самостоятельно следовать этой нити рассуждений. Однако небезынтересно будет заметить, что, хотя внезапный приток торговых богатств в целом улучшил благосостояние народов тех стран, которые оказались к нему причастны, он также смягчил нравы, обеспечил досуг для получения образования, позволил извлечь пользу из изобретения книгопечатания и, как следствие, принять активное участие в Реформации. Вполне очевидно, насколько сильно эти причины способствовали великому английскому мятежу и его более удачливому детищу — **Славной революции 1688 года**, и в какой мере эти события помогли подготовить Американскую и Французскую революции. Их влияние на нравственное и физическое развитие человека следует признать непостижимо великим!

Другой ход мыслей, связанный с этим фактом и заслуживающий хотя бы краткого упоминания, касается формирования системы коррупции, призванной обмануть и сковать новую силу — общественное мнение, которое благодаря переменам в положении народа окрепло и стало представлять угрозу для монаршей власти. Именно в этой причине кроется корень значительной части современных войн в Европе и интриг правительственных кабинетов, бумажного кредита, налогообложения и угнетения низших классов ради созидания денежной аристократии. Сюда же следует отнести возросшую умственную активность угнетенных сословий, праздность, безразличие и относительное невежество nouveaux riches (нуворишей), а также новое распределение движущих сил общества, которое неизбежно повлечет за собой еще более глубокие и обширные перемены в судьбах человечества.

Одновременно с великим переворотом в европейских делах, вызванным открытием компаса, и в немалой степени содействуя тем же целям, последовало **изобретение пороха**. Изменив само военное искусство, оно настолько преобразило отношения между государствами, что существенным образом ускорило цивилизацию рода человеческого.

Едва ли можно сомневаться в том, что обычай вести войны является следствием инстинктивной склонности. Даже не прибегая к гипотезе о существовании особого «органа жестокости», достаточно одних лишь алчности, отвращения к труду, страсти к игре, а также превратностей и разнообразия хищнической жизни, чтобы найти в них мотивы, ведущие к вражде. В среде же диких племен давление избыточного населения создает неисчерпаемые поводы для приведения этих страстей в действие. Тот важный факт, что человеческому роду присуща **способность к быстрому размножению**, часто оспаривается; аргументы при этом

черпаются из данных, слишком очевидно несовершенных, чтобы служить неоспоримым доказательством. Однако, дабы раз и навсегда решить этот вопрос в утвердительном смысле, достаточно заметить, что любой вид животных, подчиненный действию случайностей, таких как чума, мор и голод, должен обладать внутри себя способностью к размножению, далеко превосходящей то, что достаточно для поддержания или медленного увеличения его фактической численности, иначе род неизбежно погиб бы. Все остальные организованные виды, как животные, так и растительные, наделены силой размножения, неизмеримо превосходящей крайние пределы физической возможности их развития; и это есть неизбежное следствие того закона, который делает их взаимно добычей друг друга.[326]

Лишь человек избавлен от сей необходимости; ибо, будучи ненасытным истребителем других видов, сам он не предназначен в пищу ни одному из них; и война, голод и миграции стали неизбежным следствием той стремительности, с которой человеческий род множился на самых ранних ступенях развития общества.

По мере того, как цивилизация укрепляет мощь человеческого рода, это бедствие — наряду с большинством других природных зол — постепенно смягчается. **Умножение искусственных потребностей** становится действенной преградой для безрассудного прироста населения, в то время как сосредоточение национальных сил увеличивает производство продовольствия, делая его объем неизменно соразмерным нуждам государства. Таким образом, если, с одной стороны, цивилизация предотвращает губительный голод, то с другой — она не допускает и того чрезмерного изобилия, которое по закону неизбежной реакции должно за ним последовать и спровоцировать род на слишком стремительное размножение.

---

[326] Столь ярое неприятие данного факта со стороны определенных лиц, по-видимому, проистекает из убеждения, будто он ведет к эгоистической доктрине, проповедующей пренебрежение к низшим классам. В действительности же теория **Мальтуса**, при надлежащем её понимании, более благоприятна для принципов свободы. Ибо если виду свойственно стремление к слишком быстрому размножению, то тем более необходимо, чтобы его способности к приумножению средств к существованию были предоставлены самим себе в строжайшей неприкосновенности; они не должны быть стеснены ни десятинами, ни налогами, ни вечным вмешательством монополий и ограничений.
С другой стороны, поскольку в природе не существует иного препятствия для размножения, которое не порождало бы притом неисчислимых бедствий, за исключением лишь нравственного чувства, из этого следует, что пробуждение сего чувства есть первейший долг государственных мужей. Достичь же этого можно лишь через возвышение простого гражданина до более высокого сознания собственного достоинства — путем покровительства его трудолюбию, расширения его свобод и предоставления ему максимально возможной доли прямого влияния на управление общественными делами.
Все эти жалкие уловки в виде благотворительного обучения, работных домов, больниц, библейских обществ и вмешательства богатых в частный быт бедняков действуют в прямо противоположном направлении: они делают народ безразличным к судьбе своего потомства и служат прямым поощрением к заключению безрассудных браков.

Главными признаками этого воздействия цивилизации являются искусственные поводы для войн, а также сдержанность и человечность, с которыми ведутся военные действия. Между народами, сражающимися за само существование, война на истребление неизбежна. Подобно всем прочим плотоядным животным, человек, терзаемый нехваткой пищи, становится жестоким и кровожадным; его же нрав смягчается, а наклонности становятся благороднее по мере того, как радости жизни начинают преобладать над страданиями.

Война же, напротив, ведет к упадку цивилизации, разрушает общественные устои, притупляет добрые чувства человечества и дает ложное направление национальной энергии. Вместо привычки к регулярному созидательному труду она навязывает торговцу — азарт спекуляций, а солдату — хищнические и беспорядочные порывы бродячего дикаря.

Влияние изобретения пороха на вышеупомянутые факты многообразно. Прежде всего, оно способствует ослаблению тяги к войне, лишая столкновение его личностного характера. Вспышки гнева теперь в меньшей степени провоцируются индивидуальным сопротивлением противника, а личное тщеславие получает куда меньше пищи в триумфах, достигнутых благодаря лишь собственной отваге и физической мощи.[327]

Другим непосредственным следствием этого открытия стало то, что ратное дело сделалось менее несовместимым с общественными и цивилизованными привычками. В те времена, когда успех в бою зависел более от телесной силы, нежели от мастерства, воин был вынужден проводить всю свою жизнь в ежедневных атлетических упражнениях. Тем самым он полностью отделял себя от тех, кто посвящал досуг литературным трудам или занимался мирными искусствами земледелия и ремесла. Так естественным образом возникли два разряда граждан, существенно различавшихся по своей природной силе: одни, упоенные своей мощью и не признававшие иных путей, кроме насильственных, с презрением взирали на вторых. В итоге представители обоих сословий огрублялись и становились менее восприимчивы к дальнейшему духовному и социальному совершенствованию.

Покой и безмятежность ученого досуга обладают особым очарованием, а обретение знаний дарует наслаждение, которое находило бы отклик во все века, не будь оно подавлено суровой жизненной необходимостью. Не стоит полагать, будто грубые бароны нашей ранней истории, даже пребывая в неведении на сей счет, могли оставаться совершенно нечувствительными к тем преимуществам, которое ученость духовенства давала ему над светскими вождями во всех вопросах мирской политики. Таким образом, их отчужденность от мирных искусств была вынужденной, а презрение к грамоте — скорее следствием, чем причиной их

[327] «Ныне это мужество и сама эта сила стали бесполезны. Люди сражаются, не касаясь друг друга, и умирают, не различая того, кто их убивает». — Филанджери, т. I, стр. 155.

фактического положения. Соответственно, мы видим, что как только обстоятельства позволили им сбросить доспехи и сменить замки на городские резиденции, они первыми прославились среди современников своими политическими размышлениями, научными и метафизическими изысканиями, а также изящными искусствами — поэзией, музыкой и танцами, доходя порой до крайней утонченности и изнеженности.[328]

Изобретение пороха, ставшее непосредственной причиной этой перемены в нравах высших сословий, превратилось в действенный **фактор уравнивания** и нанесло смертельный удар системе феодализма. Эта система подавляла лучшие способности человека, препятствовала развитию наук и — через равное разложение нравов и притупление интеллекта — унижала как рабов, ставших ее жертвами, так и тиранов, которых она поддерживала.

Превратив битву в вопрос расчета и мастерства, изобретение пороха освободило высшие классы от необходимости развивать исключительно физическую силу и в то же время, породив спрос на глубокие знания, создало для них стимул к **совершенствованию ума**. В то же время оно обеспечило таланту внезапный и огромный перевес над знатностью происхождения; оно сокрушило аристократию меча, сделав народ независимым от территориальных владык в поиске полководцев и вождей; и таким образом сделало горожанина более склонным к воинской службе, а солдата — более добропорядочным гражданином; это облагородило его нрав на войне и наделило его полезностью и достоинством в лоне мира.

Еще одним важнейшим преимуществом, вытекающим из изобретения пороха, является **равенство**, которое он поддерживает между соперничающими народами, а также безопасность, которую он обеспечивает цивилизованным государствам от набегов более диких, но физически более сильных наций. Судьбы человечества теперь лучше защищены от амбиций отдельных личностей и от внезапных, сокрушительных регрессов, подобных тому, что сопровождал падение Римской империи.

Общим итогом этих разнообразных последствий стало: (1) **возвышение низших классов** общества; (2) **смягчение нравов** высших сословий; (3) **ограничение военных действий** непосредственно моментом сражения; (4) **утверждение уважения к мирным искусствам** посреди международных конфликтов. Благодаря этому фактору общество уже выиграло от уменьшения ужасов войны и установления большего равенства между гражданами одного государства. Именно пороху потомки будут отчасти обязаны учреждением тех конституционных правительств, которые рано или поздно должны прийти на смену укоренившимся деспотиям. Никакое просвещение, никакой общественный дух не смогли бы

[328] Лорд Герберт из Чербери, графы Суррей и Эссекс, маркиз Вустер (автор «Века открытий»), сэр Ф. Сидни и др.

защитить подобные конституции, пока в недрах общества сохранялось неизменное физическое неравенство между людьми.[329]

Но пока изобретение пороха и компаса подготавливали постепенную революцию в европейском обществе, поистине бесконечными и неизмеримыми оказались последствия иного великого плода человеческого гения — замкового камня в своде цивилизации и якоря надежды, на котором ныне в полной безопасности покоятся судьбы человечества. Влияние **печатного искусства** — это предмет, масштаб которого превосходит границы самого пристального изучения и истощает даже силы воображения. Подобно времени и пространству, оно ошеломляет разум своим величием, и, подобно им, постигается лишь в немногих своих деталях.

Попытка составить хоть сколько-нибудь адекватное представление о тех переменах, которые это изобретение призвано произвести в судьбах рода людского, тем более затруднительна, что значительнейшая часть его воздействия еще только должна начаться. Первое применение этого инструмента неизбежно было направлено на воплощение идей, господствовавших среди немногих просвещенных, и на распространение в широких слоях общества тех знаний — какими бы они ни были, — которые доселе протекали лишь по самым узким каналам. Старинные книги, напечатанные готическим шрифтом — плоды трудов Кэкстонов и де Вордов, — разыскиваются коллекционерами и покупаются по баснословным ценам как образцы искусства в пору его раннего младенчества. Однако истинная их ценность заключается в том, что они являют собой наглядное свидетельство интеллектуального состояния человечества в эпоху великого изобретения. Книги суеверного благочестия, схоластическое богословие, магия, астрология, алхимия и ошибочные трактаты по естествознанию были среди первых плодов печатного станка; и потому не подлежит сомнению, что именно эти сочинения пользовались наибольшим спросом. Если мы обратимся к первым печатным книгам, дабы отметить предрассудки, владевшие умами под видом незыблемых истин, и перечислить заблуждения, имевшие хождение в обществе — о призраках и ведьмах, о философском камне и симпатических снадобьях, о магических и суеверных обрядах исцеления недугов, о вымышленных существах: грифонах, фениксах, единорогах и саламандрах; если мы вспомним о ложной истории и хронологии, не говоря уже о грубейших искажениях в понимании божественных атрибутов и мироздания, — мы увидим истину столь плотно окутанной ложью, а естественное состояние человека — столь угнетенным его ошибками и невежеством, что к жалости невольно примешивается презрение.[330] Воображение с отвращением

[329] Одно только превосходство, которое порох даровал пехоте над кавалерией, послужило мощным толчком к возвышению народа за счет ослабления аристократии.

[330] Мало найдется книг, столь же любопытных с этой точки зрения, как **«Ошибки и заблуждения» Брауна**, в которой мы видим могучий ум, борющийся с предрассудками своего века, прилагающий невероятные усилия для опровержения заблуждений, ныне

отвращается от картины, которая — подобно человекоподобному облику обезьяны — унижает нас даже в самом отражении нашего превосходства.

Возрождение древней системы знаний, принадлежащей иной ступени цивилизации, чьи памятники дотоле покоились в забвении под спудом заброшенных библиотек, последовало с поразительной быстротой и ознаменовало собой первые шаги на пути развития человеческого разума. Та неукротимая энергия, с которой совершался этот процесс, составляет характерную черту исторического портрета XV и XVI столетий — черту, примечательную даже на фоне той исключительной интеллектуальной гибкости, что была порождена воодушевлением от этого нового дела. В подтверждение сего достаточно упомянуть труды типографии Альда, каждое издание которой могло бы само по себе составить дело всей жизни его редакторов. Наступила эпоха комментаторов и критиков; и, хотя в это время разум оттачивался, вкус очищался, а интеллект расширялся благодаря новым горизонтам изысканий, деятельность печатного станка привнесла лишь немногочисленные действительно важные дополнения в область положительного знания. Пользуясь выражением отнюдь не новым, необходимо было **встать на плечи древних**, дабы суметь взглянуть поверх их голов; само же стремление сделать классиков доступными для чтения было естественным устремлением века, непосредственно последовавшего за их обнародованием. Другая причина, приведшая к тому же результату, заключалась в безопасности, равно как и в легкости этого пути к почестям и достатку. Исправлять ошибки, обнаруженные у Гомера, было куда менее опасно, нежели разоблачать те заблуждения, что вкрались в религию; и на любые текстовые искажения можно было нападать с куда большей уверенностью, нежели на догматы, привнесенные основателями церкви.

Наконец, однако, импульс, сообщенный печатным станком, стал ощутим во всеобщем и одновременном оживлении всех областей полезного знания. **Бэкон**, воспользовавшись возможностями, которые открыло это новое искусство для обогащения ума сведениями о деяниях человечества и накопленном веками опыте, пришел к ясному пониманию истинного источника наших ошибок. Его титанический гений сумел проложить новый маршрут и указать путь к совершенствованию; явился **Галилей**; естествознание получило столь мощный и внезапный толчок к развитию, что это было подобно второму рождению; **Гарвей**

повсеместно оставленных, и с величайшей осторожностью касающийся тех мнений, которые в наше время сокрушаются без всяких церемоний.

Когда ревностные и фанатичные гонители нововведений (которые, пускай и страшатся ныне сжигать еретика, не гнушаются убивать его репутацию) чувствуют, как кровь вскипает в них против любого, кто дерзнет с ними не согласиться, им не мешало бы принять целительное снадобье: оглянуться на двести лет назад и увидеть, как их собственные нынешние догмы оспаривались и почитались за опасное богохульство. Тогда, устремив взор в век грядущий, они могли бы предвидеть возможность — нет, неизбежность — того, что и их нынешние суеверия, опускающиеся в класс вульгарных (грубых) заблуждений; и таким образом, возможно, они могли бы быть удержаны от преследования предвкушением позора, который потомство обрушит на их собственное ханжество и нетерпимость.

открыл кровообращение; **Сиденгам** очистил медицину от бесчисленных заблуждений; и, наконец, явились **Локк** и **Ньютон**, дабы утвердить господство истины в двух великих областях — науке нравственной и науке естественной. Все эти чудесные проявления человеческого разума и проницательности уместились в краткий промежуток в полтора столетия;[331] и все же по сей день подавляющая часть ценных трудов, вышедших из-под печатного пресса, была направлена на искоренение представлений, посеянных в умах первыми плодами книгопечатания, и на опровержение доктрин, которые первые печатные книги призваны были упрочить. Даже теперь борьба между закоснелыми предрассудками прошлого и современными преобразованиями продолжается, поглощая все силы наиболее цивилизованных и просвещенных народов. В таком случае бесконечно трудно предугадать ту **поступь разума**, которая последует, когда система основополагающих истин будет твердо и окончательно установлена; когда интеллект — не стесненный более бесполезным и вредным хламом, не изнуренный противоречивыми мнениями и бесконечными спорами — беспрепятственно продолжит свой путь и уверенным шагом устремится к цели совершенствования.

Политические и нравственные последствия изобретения книгопечатания слишком очевидны, чтобы остаться незамеченными. Однако его органическое влияние на человеческий род до сих пор остается совершенно неизученным. Регулярное чтение имеет прямую тенденцию изменять баланс первобытных движущих сил, трансформируя их отношения с внешней природой. Просвещая ум относительно свойств природных веществ, а также касательно взаимосвязи и причинности нравственных обстоятельств и сочетаний, чтение освобождает «человеческий механизм» от капризной тирании личных страстей и порождает привычку действовать, руководствуясь более общими взглядами и более дальновидными расчетами. Благодаря бесконечному разнообразию впечатлений, которые оно запечатлевает в памяти, чтение предотвращает чрезмерное возбуждение любого единичного стимула и настраивает все движения живого существа на лад более совершенной гармонии. Таким образом, оно способствует сглаживанию личных особенностей и делает людей более причастными к духу своей нации или, вернее, более человечными по своему характеру. Книгопечатание может рассматриваться как сила, успешно противостоящая различиям в физическом устройстве и темпераменте, а также всем специфическим и исключительным случайностям жизни. Занимая время, которое в ином случае было бы отдано скуке или излишествам, чтение равно противостоит как необузданным порывам чувств,[332] так и тем более тяжким преступлениям, кои совершаются под подстрекательством ума, снедаемого самим собой. Вместе с тем оно отдаляет индивида от первопричин тех цепей безрассудных и аморальных поступков,

[331] Бэкон родился в 1569 г. Ньютон умер в 1726 г.

[332] В наше время пристрастие к чтению весьма значительно подорвало пагубную привычку к пьянству и грубому разврату, в коих наш народ дотоле столь справедливо обвинялся.

которые, обратившись в привычку, нарушают естественное равновесие склонностей и приводят субъекта к физической неспособности к добродетели и счастью.

Постоянное и мягкое возбуждение, порождаемое привычкой к чтению, поддерживает интеллект в состоянии необычайного подъема, соразмерно развивая чувствительность нервов; в то же время сидячий образ жизни, коего требует сие занятие, уменьшает мышечную силу и вызывает значительное изменение в балансе этих двух систем. Подобное обстоятельство, при удержании его в определенных границах, следует рассматривать как совершенствование животной экономии.

Преобладание мышечных органов над мозговыми обуславливает решительное различие в характерах как целых наций, так и отдельных личностей. Когда школьник бросает книги ради биты для крикета или молодой студент пренебрегает университетскими обязанностями ради охоты, их поведение именуют праздностью; ибо их усилия не имеют тенденции способствовать достижению тех целей, ради которых они подчинены литературной дисциплине, поэтому они представляются бесполезными и непоследовательными. Однако подобные склонности суть полная противоположность праздности; они обусловлены активностью тех органов, над которыми воля имеет лишь слабую власть. Беспокойное нетерпение в заточении, раздражительные порывы скуки и частая перемена положения тела, коими сопровождаются принудительные занятия людей подобного склада, разительно отличаются от сонного, вялого прозябания тупых и немощных натур, когда последних принуждают к усилиям, превышающим их природные силы и к коим они не имеют решительного волеизъявления.

В человеческом организме нет системы, более подвластной господству привычки, нежели **мускульная система**. Несколько лет тяжелого труда чрезмерно увеличивают определенные мышцы, в то время как череда немногих поколений, избавленных от необходимости трудиться, влечет за собой уменьшение мускулов рук и бедер, сужение объема грудной клетки из-за бездействия ее мышц и общее нерасположение — как умственное, так и телесное — к двигательному усилию. Это обстоятельство порождает необходимость в частых браках между представителями различных сословий, дабы предотвратить формирование несовершенных и испорченных темпераментов и вдохнуть жизнь, здоровье и силу в те расы, коих общество прокляло полным избавлением от трудов — трудов, кои не менее необходимы для телесного совершенства, чем для истинного счастья.

Преобладание мускульной системы есть характерная черта диких племен; преобладание же системы церебральной является прерогативой цивилизованного человека, и способствуя развитию упомянутого состояния, печатный станок оказывает влияние не только в нравственном отношении, предоставляя средства к обучению, но и в физическом, повышая органическую предрасположенность к умственной культуре. Однако совершенство нашей природы заключается в mens sana in corpore sano — в здоровом духе, живущем в здоровом теле; в гармоничном

взаимодействии всех наших способностей, как духовных, так и телесных. Следовательно, воздействие тех причин, которые в гражданском обществе стремятся возбуждать ум за счет истощения поддерживающего его организма, по самой своей сути порочно. Разумеется, развитие всех без исключения способностей не может быть доведено до совершенства в одном и том же индивиде; дикарь-охотник неизменно будет обладать более крепкими конечностями и более острыми чувствами, нежели цивилизованный горожанин. Однако тщедушный и деформированный скелет, непропорционально большая голова и близорукий взгляд обитателей великих городов отнюдь не являются неизбежными спутниками цивилизованного образа жизни. Подобных последствий можно было бы избежать, уделяя умеренное внимание гимнастике как неотъемлемой части общественного воспитания.

В благоустроенном государстве шести или восьми часов в день вполне достаточно для дел или образования; остальное же время с пользой может быть потрачено на обучение владению оружием и другие полезные упражнения, призванные придать бодрость телу и энергию духу, столь необходимые в часы истинных трудов. Человек не был рожден для того, чтобы стать лишь живым ткацким станком или вьючным животным; и любая система, обрекающая народ на непрестанный труд в мануфактурах и мастерских, **в корне ошибочна**. Причем это замечание относится не только к низшим слоям общества. Чрезмерное возбуждение церебральной системы, которое сопровождает труд людей ученых профессий, становится в равной степени пагубным, когда они вынуждены предаваться чрезмерному и непосильному напряжению сил. Существует частный пример этого явления, представляющий особый интерес ввиду тех прискорбных утрат, которые за последние несколько лет понесло из-за него общество. Я имею в виду склонность к самоубийству, которую, по всей видимости, порождает избыточное умственное усердие.

Причины самоубийства двояки. С одной стороны, это сильные эпизодические потрясения, воздействующие на здоровый организм; с другой — незначительное случайное волнение, влияющее на мозг, который в силу привычного переутомления доведен до состояния болезненного возбуждения, не слишком, пожалуй, далекого от хронического воспаления. В памяти читателя без труда возникнут образы людей высоких дарований и мощнейшего интеллекта, чьи чувства были сокрушены обстоятельствами, которые никак не задели бы куда менее ценных членов общества. Самоистребление таких личностей можно объяснить лишь болезненным состоянием мозга, вызванным избытком их умственных занятий. Это состояние, хотя и не препятствует обычным функциям организма, оказывается несовместимым со здравой деятельностью в моменты любого чрезвычайного волнения. Здесь не место пространно излагать мысли, которые напрашиваются сами собой; достаточно лишь отметить сей факт и сделать из него важный моральный вывод: необходимо

соблюдать гармонию и умеренность даже в развитии тех способностей, применение которых более всего необходимо для нашего счастья.

Влияние книгопечатания на нравственное состояние народа, отнюдь не ограничивается трудами, прямо направленными на внушение моральных принципов или, напротив, на развращение читателя. Прежде всего, повышая общий интеллектуальный уровень человека как живого существа, оно расширяет его возможности, делает его труд более эффективным и, следовательно, умножает его благосостояние. Возрастающая легкость и комфорт, которые таким образом привносятся в жизнь, служат мощнейшим инструментом общественной морали — и этот факт невозможно подчеркивать слишком часто. Человек, вопреки всему его хваленому разуму, наиболее действенно движим своими привязанностями и страстями; прямое же следствие изобилия предметов первой необходимости, добываемых умеренным трудом, заключается в том, чтобы **облагораживать** первые и **обуздывать** последние.

В литературе встречается описание случая, поразительно иллюстрирующее влияние внешних обстоятельств на естественные человеческие симпатии; ниже приводится краткое изложение этого рассказа: два друга, пробираясь сквозь леса Америки, сбились с пути. После нескольких дней тщетных попыток выбраться нужда и отчаяние стали стремительно настигать их. По мере того, как угасала надежда и усиливался голод, их привычная привязанность остывала и исчезала. Взаимные упреки и перебранки постепенно сменились мрачной угрюмостью; в конце концов друзья стали сидеть поодаль друг от друга, предаваясь чувствам самой яростной ненависти. Это ожесточение продолжало расти до тех пор, пока надежда в том или ином обличье вновь не явилась их воображению и новое усилие не вызволило их из опасности. С возвращением безопасности их враждебные чувства улеглись, и о них вспоминали лишь как о странном явлении, заслуживающем того, чтобы быть запечатленным в анналах истории.

Искусство книгопечатания, повышая производительность человеческого труда в целом, тем самым способствует и росту нравственности. Здесь уместно заметить, что подобное приращение сил носит не только сравнительный характер. Бытовало мнение, будто образование приносит труженику пользу лишь постольку, поскольку оно возвышает его над ближним и позволяет выгоднее сбыть плоды своих усилий. Из этого делался вывод, что бесплатное обучение отдельного человека наносит ущерб остальным равным ему по положению, наделяя его своего рода исключительной привилегией, на которую не вправе претендовать никто, кроме тех, кто заслужил её собственным прилежанием. Подобные рассуждения, однако, зиждутся на ложном представлении о предмете. Образование — это не просто преимущество одного перед другим, но безусловное, **абсолютное благо**. Если бы всё человечество владело грамотой, каждый стал бы счастливее — подобно тому, как если бы природа внезапным актом удвоила физические силы живого существа, не увеличив при этом его потребности в труде. Поэтому всякое распространение

знаний есть общественное благо. В действительности образование и земное благополучие связаны столь неразрывно, что когда неблагоприятное стечение обстоятельств препятствует свободному проявлению способностей труженика или когда плоды его трудов поглощаются непомерными рентами, церковной десятиной или налогами, образование перестает быть предметом стремлений. В таких условиях любые попытки даровать просвещение безвозмездно тщетны: лишь немногие снизойдут до того, чтобы принять этот дар, и еще меньшее число сумеет извлечь из него пользу, когда оно будет получено. Лишаясь доступа к знаниям и возможности жить в относительном достатке, бедные слои населения быстро подвергаются моральному разложению, и принимают ли их пороки обличье распутного и дикого насилия, как на юге Ирландии, или же облекаются в форму праздности, пьянства, проституции и нечестности, как в великих городах Англии, последствия их одинаково плачевны, одинаково губительны для низших классов и пагубны для мира и благоденствия всего общества.

Однако величайшее преимущество, извлекаемое из широкого распространения образования и преумножения числа книг, заключается в том **принципе равенства**, который они стремятся утвердить. Если бы каждый был способен вникать в суть человеческих интересов, в человеческом обществе не могло бы долго сохраняться никакое иное превосходство, кроме превосходства таланта и трудолюбия. В таких обстоятельствах никто не мог бы надеяться на сохранение тайного влияния или на приумножение своих богатств путем одурачивания и обмана. Дерзкие притязания отдельных классов навязывать веру или требовать повиновения вопреки разуму или во вред общим интересам общества наталкивались бы на кару или осмеяние; и просвещенный народ не упустил бы ни единого случая, чтобы сокрушить насильственное объединение так называемых «привилегированных сословий», если бы таковое существовало и посягнуло на общественные свободы. Ибо без свободы не может быть ни гражданской добродетели, ни общественного процветания, ни национального счастья.[333] Священники могут ханжески витийствовать, судьи могут грозить карой, люди совестливые будут проповедовать Евангелие Христово, а человеколюбцы — исполнять его милосердные заветы; однако большая часть людей неизбежно подчиняется давлению обстоятельств, и погрязает в пороках всякий раз, когда ее лишают возможности здраво упражнять свои природные способности.

Человечество в достаточной мере осознаёт это влияние прессы; и все те, кто желает жить, не прилагая ни труда, ни капитала, или стремится самолично

---

[333] «Ибо Зевс, широкогремящий, лишает человека половины его достоинства, едва лишь настигнет его день рабства».
Гомер. Одиссея, XVII, 322.
Достаточно обратить внимание на всеобщее разложение нравов, царящее в наших колониях, где утвердилось рабство; это институт, который портит всё, что попадает в сферу его влияния, и воздает несправедливостью и жестокостью, распространяя аморальность и истощая национальные ресурсы.

распоряжаться государственной казной и общественной властью, питают едва ли не инстинктивный страх перед этим своим самым грозным врагом. Там, где пресса не стеснена оковами, усилия подобных лиц должны возрастать, а их надежды на успех — таять. Там ложь приходится утверждать с еще большим бесстыдством, а обман — применять с еще большим усердием; там всякий путь к убеждению умов должен охраняться день и ночь; там суеверие вынуждено облекаться в одежды разума, а голословное утверждение — принимать облик доказательства. Государственный муж должен казаться, по крайней мере, честным и мудрым, а проповедник смирения и воздержания обязан скрывать собственную гордыню и покупать право на свои слабости ценой лицемерия. Отсюда проистекает та **непримиримая война**, которая ведется против прессы во всех сообществах, где отсутствует полное и свободное народное представительство и где, как следствие, интересам узких групп позволено разрастаться и укрепляться вопреки общему благу. В тех случаях, когда подобные интересы опираются на физическую мощь нации, прессу подавляют путем неприкрытого насилия. Тогда император может дойти до такого безрассудства или дерзости, чтобы открыто провозгласить свою враждебность науке; или же еще более невежественный монарх может запретить своим подданным даже задумываться над определенными темами. Однако там, где народ еще сохраняет право голоса в управлении собственными делами, силу приходится заменять обманом, и никакая уловка не считается слишком софистической, если она служит цели обуздания человеческого разума. Духовенство обвиняет своих оппонентов в **богохульстве** (мнимом и немыслимом преступлении);[334] магистрат поднимает крик о **крамоле**, а под рукой всегда находится «законник прерогативы» — самое омерзительное пресмыкающееся, которому когда-либо позволяли осквернять святилище свободы, пока оно подтачивает сами его основания. Такое существо неустанно сковывает прессу и преследует защитников истины под предлогом столь лживым, какой только может выразить язык, и который никакая власть, никакое стародавнее право, никакой положительный статут не могут сделать законом — согласно любому кодексу, кроме закона сильного.

Подобный обман, однако, не может быть эффективным вечно; в конечном счете маска неизбежно будет сорвана. Самое искусно симулированное благочестие и самая ловко подделанная добродетель в конце концов утратят способность вводить в заблуждение. Заговорщики против общественной свободы более не смогут скрываться в рядах людей достойных и честных; даже самые скудные умы научатся применять мерило очевидных интересов, и корыстолюбивый верноподданный станет столь же презренным, как бродячий фигляр, астролог или алхимик.

Не останавливаясь на подробном разборе более отдаленного и косвенного влияния прессы на человеческое счастье, достаточно будет заметить, что по мере того, как знание становится достоянием народа, оно — вопреки самым мощным государственным институтам — неизбежно влечет за собой соответствующие

[334] Deorum injuriæ diis cura (Обиды, нанесенные богам, — забота самих богов).

изменения в распределении национальных сил. Та же система гражданского устройства, которой достаточно для управления ордой невежественных дикарей, не сможет удовлетворить потребности просвещенной и интеллектуальной расы; а с распространением просвещения с необходимостью должно прийти и **расширение прав**. Так, на примере нынешнего французского правительства можно заметить, что, хотя его внутреннее устремление (nisus) решительно направлено на стеснение общественной свободы, а король — как в силу обстоятельств, так и по природному складу — настроен к демократии более враждебно, чем его несчастный предшественник и родственник, он, тем не менее, до сих пор был вынужден воздерживаться от посягательств на права своих подданных в большей степени, чем любой французский монарх со времен Генриха IV. И причина тому единственная — народ стал более образованным и цивилизованным. Всякий раз, когда этой истиной пренебрегают или ее игнорируют, и нацией правят власти, менее просвещенные, чем народные массы, возникает **опасность революции**, прямо пропорциональная тому разрыву, который существует между правителями и управляемыми.

По мере того, как цивилизация движется вперед, а господство разума становится все более обширным и незыблемым, влияние случайных факторов на нравственные и интеллектуальные явления делается менее прямым и непосредственным. Однако на протяжении последнего столетия возникла сила, наложившая весьма значительный отпечаток на само общественное бытие и способная, по всей вероятности, определять судьбы Европы в глазах далеких потомков — я имею в виду **государственный долг**.[335] Если рассматривать одни лишь непосредственные последствия этого способа привлечения средств и принимать в расчет только те перемены, которые он произвел в общем положении целых народов, нельзя не признать, что влияние его отнюдь не маловажно. Развитие промышленности, вызванное им, с одной стороны, и рост военной мощи — с другой, неизбежно наложили глубочайший отпечаток на нравы населения. В то же время расточение собственности и убытки, порожденные внезапными и капризными перемещениями торговых потоков, хотя и приносили пользу в отдельных случаях, в целом должны были препятствовать поступи цивилизации в Европе. Без этой «левой руки» деспотизма ни Американская, ни Французская революции не встретили бы того сопротивления, с которым столкнулись; исполинское могущество Наполеона не было бы взращено до своей полной зрелости столь несвоевременным противодействием, равно как и не было бы оно в конечном счете сокрушено, чтобы уступить место союзам, гораздо менее основанным на разуме. Весь европейский континент, от Тахо до самой Москвы, не был бы наводнен разрушительными

[335] Государственный долг, будучи общественным отношением, а не результатом какого-либо нового открытия в физическом мире, может стать поводом для придирок в связи с его упоминанием в данной главе. Однако, в сущности, он представляет собой использование бумаги для целей металлического денежного обращения; и так как он влияет на распределение богатства и положение человека в соотношении его потребностей и средств, он гораздо более уместен в этой части исследования, нежели в разделе, посвященном моральным причинам и связям.

армиями, сеющими нужду, страдания и склонность к беззаконию. Правительства не были бы низвергнуты, а народы — перекроены; и человечество не было бы оскорблено циничными расчетами «душ» и «полудуш». С другой стороны, однако, общественное мнение не испытало бы столь мощного потрясения, а по чрезмерным притязаниям не был бы нанесен столь сокрушительный удар. Если чувства и интересы людей были попраны честолюбивыми завоевателями, то и ответная реакция разума оказалась соразмерно масштабной; и если ныне мир угнетен более повсеместно, то он и более повсеместно исполнен решимости это угнетение свергнуть.

Но если от этих более спорных вопросов обратиться к внутреннему воздействию системы государственного кредита, то последствия ее окажутся не менее значительными. Если бы система заимствования средств для государственных нужд ограничивалась, как того следовало бы ожидать, лишь залогом национального имущества, то произошло бы немногим более, чем простой переход этой собственности из рук заемщиков в руки лиц, предоставивших свой капитал. Ибо, выплачивая проценты в размере дохода с одного акра, собственник оказывается в том же положении, как если бы он попросту продал этот акр (выкуп .в данном случае едва ли возможен). Не подлежит сомнению, что, по справедливости, именно такой способ заимствования и должен был быть принят. Собственники имущества имеют право распоряжаться им по своему усмотрению: тратить его на порох и пушки точно так же, как на скаковых лошадей и ананасы; и это не влечет за собой никакой несправедливости по отношению к потомкам. Безусловно, существует моральное обязательство не расточать общественное достояние, полученное от предшественников; напротив, поскольку мы унаследовали от предков великие блага, нам надлежит передать детям политическое и экономическое наследие, приумноженное нашими собственными трудами. Однако обязательство это слишком отвлеченно, чтобы принимать его в расчет в делах практических или противопоставлять интересам и предрассудкам, возникающим ежесекундно.

Предоставление денег в займы, если свести его к простейшим элементам, есть не что иное, как ссуда определенного количества продуктов производства. Эти продукты потребляются лицами, нанятыми заемщиком, в течение того времени, пока они трудятся ради осуществления целей, на которые потребовались деньги. Средства, заимствованные правительством, можно рассматривать как капитал, в конечном счете расходуемый на содержание, пропитание и одежду для рабочих (занятых изготовлением оружия и боеприпасов, а также их применением против врага), чиновников и прочих слуг государства, коим выплачиваются собранные таким образом деньги.

Для того чтобы подобная сделка была реальной, необходимо, чтобы заимствованные деньги существовали в действительности; чтобы за потребляемые таким образом блага в самом деле отдавалась некая ценность. Простой вексель не

является платежом; иными словами, он не может служить представителем реализованной ценности. Тот, кто берет в долг вексель, не заимствует саму ценность. Пока займы остаются реальными, деньги можно брать в долг лишь до тех пор, пока на рынке наличествует соразмерная им стоимость. Иными словами, государство, прибегая к займам, может потреблять лишь тот избыток средств над потребностями общества, который принято называть свободным капиталом. И хотя подобное положение дел в любой степени было бы достаточно тягостным для растущего населения, сама тяжесть этого бремени полагала бы естественный предел такой операции. Однако, когда правительство упускает из виду этот принцип и, допуская выпуск бумажных денег, не подлежащих размену на звонкую монету, получает возможность занимать больше, чем рынок в действительности может предложить, оно, по сути, **берет взаймы труд, который еще только предстоит совершить**.[336] Утверждается, будто эти бумажные эмиссии представляют основной капитал нации: фермы, суда, мануфактуры и прочее; но всё это не имеет подлинной ценности, кроме той, которую оно обретет благодаря будущему труду, совершенному при их посредстве.

Для подобного способа заимствования почти нет иных границ, кроме пределов абсолютных производительных сил нации; и проценты по средствам, собранным таким путем, могут незаметно вырасти до суммы, превышающей всю годовую стоимость основного капитала страны. Однако задолго до того, как этот предел будет достигнут, налоговое бремя через пошлины на предметы первой необходимости будет переложено с землевладельцев и капиталистов на плечи трудящихся. Так «дети труда», едва покинув колыбель, становятся рабами государственных кредиторов; им суждено производить блага, необходимые для содержания рантье, прежде чем им самим позволят вкусить хоть какую-то долю плодов собственного усердия. Подобный долг — это закладная не на накопленный капитал общества, но на **кровь и пот грядущих поколений** до самого последнего колена.

Помимо нелепости и несправедливости этой системы, существует и еще более глубокий обман, кроющийся в самом способе расходования средств. Фиктивная валюта, пущенная в обращение, дает работу огромному количеству новых рук и тем самым создает видимость национального благоденствия — и это происходит в силу тех самых обстоятельств, которые на деле ведут нацию к краху. Поскольку военные расходы представляют собой лишь чистую растрату, очевидно, что всякий раз, когда определенная часть средств обращения проходит через руки правительства для

[336] Выражаясь современным языком, это означает, что рост населения стимулируется капиталом, который еще только предстоит создать. Возникает спрос на труд, превышающий реально существующие средства для его поддержания; а поскольку этот труд является совершенно непроизводительным (с точки зрения приумножения природных богатств), процесс не может зайти слишком далеко, не вызвав в итоге глубокого упадка и бедствий.

подобных целей, соответствующая доля человеческого труда просто развеивается по ветру и уничтожается.

Если бы эти деньги взыскивались посредством налогообложения в течение того же года, убыток был бы реализован и, как следствие, ощутим. Но когда средства берутся в долг, а задолженность консолидируется, эта сумма вновь является миру под личиной капитала и воспринимается так, будто она действительно им является. Держатель государственных ценных бумаг живет и тратит средства так, словно сумма, числящаяся за его именем в банковских книгах, вложена в производительные операции торговли или сельского хозяйства, тогда как на самом деле она представляет собой **величину отрицательную**. Бумажные деньги, действительно, возвращаются в обращение, но при этом поглощается определенный объем овеществленного труда и расходуется капитал, который не только не возрождается для поддержания нового труда, но и снижает продуктивность прочего капитала в прямой пропорции к сумме процентов, взимаемых для выплат государственному кредитору. Именно здесь кроется ложность утверждения, будто деньги, собранные и израсходованные внутри страны, не приносят убытка обществу, а лишь переходят из рук в руки, поддерживая в процессе этого перехода множество прилежных тружеников. На самом же деле все обстоит иначе: с точки зрения прибыли и убытка, эти средства с тем же успехом могли быть просто розданы бездельникам или растрачены самими налогоплательщиками на разгул и излишества. При каждом подобном обороте денег действительно совершается определенный труд; однако этот труд ничем не пополняет запас национального достояния, в то время как он вызывает к жизни **непроизводительное население**, которое иначе не могло бы существовать.

В сложившихся обстоятельствах акт заимствования — это не более чем передача клочков бумаги от одной стороны другой. Ни одно общество не могло бы позволить себе в действительности ежегодно изымать столь огромные суммы из своих торговых и сельскохозяйственных оборотов и при этом содержать свое население; между тем «военное население», как правило, только увеличивается. Из этого следует, что вся транзакция — **иллюзорна**; что она не могла бы состояться без манипуляций с денежным обращением — то есть без искусственного его расширения путем выпуска бумажных знаков, которые не обеспечены в полной мере суммами, обозначенными на их лицевой стороне.

В этом отношении существует огромная разница между тем, как берет в долг правительство, и тем, как это делает частный торговец. В обоих случаях кредитор продолжает тратить средства так, словно деньги по-прежнему находятся в его полном распоряжении и питают его собственное дело. Однако, в то время как купец-заемщик благодаря своим коммерческим усилиям создает ровно столько продукта, сколько необходимо для обеспечения и его самого, и капиталиста — возмещая к концу года каждую копейку капитала, — правительство-заемщик, подобно расточительному недорослю, проматывает сам капитал. Оно не

производит абсолютно никакого продукта ни для собственного потребления, ни для потребления своего кредитора. Таким образом, государственный долг становится не просто мерилом утраченного и уничтоженного капитала, но выражением того объема капитала, который еще только предстоит создать, чтобы должным образом прокормить существующее население. Проценты по долгу в данном случае эквивалентны содержанию всего того числа рабочих, что заняты производством благ, потребляемых держателем государственных бумаг в течение срока займа. Эти люди, по сути, **трудятся впустую**; и для того, чтобы они могли хоть как-то существовать, средства на их содержание изымаются из совокупного дохода от труда всей страны в целом. Это означает, что каждый член трудящейся части общества потребляет ровно на столько же меньше. Если бы подобные перемены касались лишь добросовестной передачи **реальной собственности**, то сила обстоятельств (повторюсь) удержала бы долг в разумных пределах. Однако, когда сделка становится чисто номинальной и сводится, по сути, к передаче векселей, выписанных на будущие поколения — то есть бумаг с фиктивной стоимостью, — этот процесс не знает естественных границ и может продолжаться до полного разорения общества. В сложившемся положении вещей неизбежно совершается одно из двух мошенничеств. Либо **труженик**, теряя половину плодов своего труда в виде налогов, оказывается обманутым номинальной ставкой заработной платы; либо **народ**, устав от страданий, сбрасывает это бремя и через акт банкротства возлагает на кредитора все убытки, понесенные нацией вследствие столь расточительных трат.

Такой взгляд на государственный долг в достаточной мере объясняет трудности, сопровождавшие **возврат к выплатам наличными**. Этот шаг означал фактическое признание наших потерь и изъятие из торгового оборота такого объема капитала, который был необходим для покрытия разницы между реальной и видимой стоимостью денег. Подобное изъятие окончательно погубило бы любую нацию, если бы она была хоть немного менее трудолюбива и менее бережлива, чем наша.

Никто не станет отрицать, что **налог, возложенный таким образом на потомков** ради безвозмездного обеспечения потребления столь огромного сословия, как держатели государственных ценных бумаг (ибо капитал, которым они якобы владеют, есть лишь призрачная фикция), — такой налог безрассуден, расточителен и пагубен. Не менее очевидно и то, что он несправедлив и преступен. Следует открыто признать, что в войне, затрагивающей само существование нации, труженик заинтересован в ее исходе ничуть не меньше, чем собственник, и равным образом обязан вносить свой вклад в защиту общества; **но так как рабочий не владеет капиталом и не имеет иных средств к существованию, кроме своего труда**, всякий вносимый им вклад должен рассчитываться с величайшей тщательностью. Его скромные средства следует затрагивать в самую последнюю очередь, ибо то, что изымается у него, есть ущемление в предметах первой необходимости, тогда как богач жертвует лишь излишками. Мало кто в действительности начинает меньше есть и пить или менее тепло одеваться

вследствие налогообложения, за исключением простого труженика; для него же каждый уплаченный налог — это прямое уменьшение его физического благосостояния в этих насущных потребностях. Следовательно, рабочий имеет **двойное право на голос** в управлении общественными делами. Однако при нынешнем порядке вещей собственность притязает на исключительное право законодательствовать и распоряжаться государственными средствами — и, по сути, пользуется этим правом единолично. На деле же Англия со времен Елизаветы ни разу не вела войн за свое национальное выживание, если не считать кратких вторжений претендентов из династии Стюартов.

Можно также признать, что труд настолько зависит от капитала, что ни один из них не может быть совершенно безразличен к другому; но поскольку всё бремя лежит на стороне труда, а все блага — на стороне капитала, было бы вопиющей несправедливостью обременять трудолюбие потомков содержанием сразу двух разрядов потребителей под предлогом рентного платежа с тех случайных выгод, которые могут перейти к ним по наследству.

Войны нового времени, следует, однако, повторить, были отнюдь не справедливыми и не необходимыми; а в войнах, рожденных кабинетными интригами или монаршими притязаниями, у народа нет никакого интереса. Война против Французской революции, ставшая причиной столь безрассудного расточительства, была войной против народа, войной против трудящихся классов; это была война с целью склонить шею добродетели и честного труда под ярмо немногих привилегированных и надменных особ. Эта война, начатая в несправедливости и продолженная в обмане, завершилась (если только она завершена) тем, что само человечество оказалось повергнуто к стопам полудюжины регулярных армий.

Последствия налога, столь тяжким бременем возложенного на труд будущих поколений, определяются тем соотношением, в котором государственный долг находится к ресурсам нации. В Англии это соотношение оказалось достаточно высоким, чтобы в корне исказить положение различных сословий и статус всей страны по отношению к остальной Европе. Оно разорвало и уничтожило ту золотую цепь преемственности, что соединяла высших членов общества с низшими посредством столь тонких и едва уловимых градаций чинов, что они были почти неразличимы глазом; ту цепь, что связывала воедино всю нацию общностью интересов, чувств и стремлений.

- Оно искоренило сословие йоменов;
- Оно разорило мелкого торговца и развратило богатством крупного дельца;
- Оно превратило купца в игрока, а фермера — в спекулянта;
- Оно обезлюдило деревни и переполнило города;
- Оно опустошило поля, чтобы заполнить работные дома.

Последствия этого очевидны: в росте невежества, в умножении нищеты и, следовательно - преступности; в неуверенности в вознаграждении за труд, что оказывается еще более пагубным, нежели само его обесценивание; в соразмерных трудностях при создании семей; в распущенности нравов и отношений между полами, а также в подрыве почти всех моральных устоев нации. Личная порочность и государственная нестабильность идут рука об руку; именно это дает нам право называть те или иные правительства благими или дурными. Если бы продажные и немощные администрации не влияли на частное счастье и личную добродетель; если бы неизбежная причинно-следственная связь не соединяла общественную расточительность с разорением частных лиц, то управление государством не было бы предметом общественной заботы, и народу действительно «не оставалось бы ничего иного, как повиноваться законам». Но поскольку связь эта реальна, тесна и непосредственна, долг каждого человека, сочувствующего своему роду или любящего добродетель, — ревностно следить за действиями государства. Худшим из лицемеров и самым презренным из притворщиков является тот, кто берется судить о делах частных лиц, кто стремится вмешаться в домашний быт бедняков, дабы регламентировать их религиозные обязанности и принуждать к нравственному поведению, но при этом: **пренебрегает** великими истоками народной морали; **преследует** всякого, кто желал бы преградить путь потоку развращения, который смывает саму возможность производительного труда; **уничтожает** тем самым сильнейшее побуждение к упорядоченному и здоровому образу жизни.

Существует и еще одно последствие огромного государственного долга, вызывающее меньше споров, ибо оно признается как сторонниками, так и противниками этого бремени; оно заключается в том духе азартной игры, который сей долг привносит в общество и едва ли не узаконивает в нем.[337] Лавочник, который побоялся бы даже показаться за игорным столом, ставя полкроны на волю случая при броске костей, средь бела дня смело шагает в Чейндж-алли, чтобы вверить языку слухов нечто большее, нежели всё свое состояние. Что для такого человека ничтожная прибыль от розничной торговли? Прибытие курьера благодаря «удачному попаданию» может принести ему в десять раз больше, чем годовой доход от его дела. Если он выигрывает, шальные деньги лишь подстегивают его к небывалой роскоши и пагубному расточительству; если же проигрывает — счет сводится либо с помощью пистолета, либо через процедуру банкротства.

И это еще не все. Дух наживы, проникнув таким образом в торговлю, не ограничивается лишь одним руслом. Он прокладывает себе путь в торговлю зерном, сахаром и любым иным товаром, подвластным монополии или воле случая; и купцы, более не довольствуясь обычной рыночной прибылью, помышляют лишь о доходах,

[337] Это, очевидно, должно возрастать по мере увеличения долга и числа лиц, на законных основаниях занятых передачей акций или иным образом законно заинтересованных в колебаниях рынка.

кои можно извлечь посредством интриг и ловкачества.[338] Во всем этом нет ни личной порочности, ни индивидуальной развращенности. Это непреодолимая сила обстоятельств, которые определяют ход событий. Люди стремятся и всегда будут стремиться к богатству повсюду, где их пониманию открываются источники наживы. Цель всего рода человеческого состоит в том, чтобы сделать свой труд как можно более прибыльным и воспользоваться своим мастерством ради облегчения физических усилий; и было бы чрезмерным ожидать, что те, чье существование зависит от их ежедневного прилежания, станут вникать в отдаленные сплетения обстоятельств или взирать на связи в своей торговле оком философа. С тем же успехом мы могли бы порицать торговца огнестрельным оружием или порохом за грабежи и убийства, орудием которых служит его товар, или же возлагать на содержателя таверны ответственность за излишества его посетителей.

В наши времена государственный кредит принял новую форму, выразившуюся в ограничении выплат наличными или выпуске ассигнований, не подлежащих размену на звонкую монету, на основании парламентского акта. Губительные последствия этой отчаянной меры в её непосредственном воздействии на торговлю — независимо от её влияния на общественное доверие — слишком глубоко ощущаются каждым членом общества, чтобы требовать на этих страницах каких-либо пояснений. Этот предмет уже удостоился всестороннего законодательного обсуждения в собрании, о котором небезопасно говорить нечто большее, нежели то, что его мудрость и его свобода от частных интересов, по-видимому, пребывают в совершенном равновесии. Влияние этой меры на нравы, хотя оно и менее очевидно на первый взгляд, ничуть не менее обширно и не менее важно. Из всех причин, ввергающих великие народы в пучину нравственного разложения, нет, пожалуй, более пагубных, чем те, что вызывают внезапные и частые перемены в частных состояниях граждан. Со времен краха приснопамятного «**Пузыря Южных морей**» ни одно событие по силе своего воздействия на собственность не могло сравниться с Актом об ограничении наличных платежей; ничто иное не привнесло такого смятения в жизнь и не подорвало в такой мере нравы англичан.

Эта мера, которую по степени честности можно сопоставить лишь с поистине «королевским» мошенничеством — порчей металлической монеты, — оказалась бесконечно более вредоносной. В случае с порчей монеты степень ее обесценивания легко определить, а следовательно, всё общество может немедленно отреагировать на это изменение. В первом же случае обесценивание было изменчивым и ощутимым лишь в своих отдаленных последствиях; таким образом, оно открыло путь тысячам видов обмана, равно соблазнительных как колоссальностью прибыли, так и трудностью разоблачения.

[338] «Дух коммерции еще не угас под гнетом духа биржевых спекуляций; хотя дух спекуляций относится к духу торговли так же, как дух фракционности — к духу свободы». (Олдкасл, «Замечания по истории Англии»).

Впрочем, даже не принимая во внимание те махинации, что сопряжены с прямой бесчестностью — такие как подделка документов, выпуск фиктивных векселей и тому подобное, — для нашей цели достаточно взглянуть на более отдаленные последствия того внезапного общественного расстройства, которое вызвала эта мера. С первым распространением бумажных денег, не подлежащих по желанию владельца размену на звонкую монету, началась неограниченная эмиссия банкнот частных банкиров. С ними же возникли и те торговые операции, которые превратили фермера и мельника в монополистов и позволили каждому мелкому лавочнику расширить свое дело до размеров, вдвое или втрое превышающих его реальный капитал. Возможности, открывшиеся таким образом для коммерции, оказались слишком соблазнительными даже для людей умеренного нрава; натуры же пылкие и увлекающиеся пускались в самые дикие и химерические авантюры ради приумножения своего состояния. Обстоятельства войны благоприятствовали подобным спекуляциям, и нувориши, перестав быть лишь горсткой удачливых выскочек, превратились в многочисленный и влиятельный общественный класс, подражающий манерам и превосходящий в пороках и расточительности саму земельную аристократию. Легкость, с которой деньги выдавались практически под любой залог, и огромные прибыли, извлекаемые из внезапного господства над всей европейской торговлей, не только толкали купца на далекие и рискованные предприятия, но и с самого начала приучали его жить так, будто прибыли уже были получены. Можно привести примеры, когда банкирские дома, сохраняя всяческую видимость процветания, перебивались от одной уловки к другой, распоряжаясь общественными деньгами более двадцати лет и при этом ни на мгновение не оставаясь в состоянии выполнить свои обязательства. Пороки и нелепости, порожденные этой **эпохой иллюзорного благоденствия**, более уместны в произведениях драматургов и романистов; они слишком часто выставлялись на потеху публике, чтобы стоило вновь перечислять их на этих страницах. Последствия же последовавшей за тем неизбежной реакции имеют куда более серьезное значение: они более роковы, более разлагающи и более непоправимы.

Конечным итогом этой «тепличной» системы торговли и производства стало перенасыщение всех рынков известного мира. Это приняло такие масштабы, что английские промышленные товары продавались в Южной Америке по ценам ниже их себестоимости. Крах, столь же масштабный и внезапный, как и предшествующее ему процветание, обрушился на тех, кто вложил в дело свои неправедно нажитые средства. Для покрытия убытков за счет новых авантюр брались новые займы; и чем отчаяннее были эти предприятия, тем более сокрушительным оказывался итог. Затем последовала череда массовых банкротств и махинаций с передачей имущества. В ход пошли все средства сутяжничества, юридической и коммерческой изворотливости, лишь бы сохранить видимость былого блеска и обеспечить привычную роскошь, к которой торговец пристрастился столь недавно. Не обошлось и без тяжких преступлений, частота которых добавила новые черты ужаса к бедствиям того времени.

По мере того, как развивались эти события, реальная стоимость валюты всё более отдалялась от её номинала. Все устоявшиеся отношения — между должником и кредитором, лендлордом и арендатором, дарителем и одаряемым — исказились и пришли в полное расстройство. В то время как плата за труд либо оставалась неизменной, либо росла крайне медленно и непропорционально, цены на предметы первой необходимости взлетали с пугающей быстротой. Вместо открытой и честной попытки ответить на этот рост соразмерным увеличением заработной платы — что, обнажив корень зла, могло бы положить предел его разрастанию, работодатели, страшась последствий, столь явно предсставших перед ними, прибегли к ложной и жалкой уловке — увеличению сборов в пользу бедных. Непосредственное действие этого злосчастного налога, когда он перестает быть лишь средством облегчения превратностей судьбы и становится существенной частью великой системы внутренней экономики, заключается в том, чтобы разрывать все узы сочувствия в обществе; предавать полному забвению всякое понятие о мужестве и независимости; подрывать трудолюбие, потворствовать праздности и подстегивать рост населения быстрее, чем растет спрос на труд. Одним словом, этот налог превращает деятельный и трудолюбивый народ в сборище полуголодных эгоистов, ведущих тяжкую борьбу за существование. Они судорожно цепляются за всё, что сулит им минутное наслаждение, с тревогой ожидают перемен и в равной степени не дорожат ни своей репутацией, которая более не приносит им веса в обществе, ни самой жизнью, ставшей лишь затянувшимся страданием.

Как только перемены в торговых отношениях, последовавшие за перенасыщением всех рынков — или, выражаясь той чрезвычайно удобной фразой, призванной скрыть все ошибки и пресечь всякое дознание, «переходом от войны к миру», — внезапно затормозили развитие промышленности, все эти бедствия разрослись до устрашающих масштабов. Голодающая и лишенная работы беднота дошла до отчаяния, и число преступлений умножилось до пугающей степени. Впрочем, даже это — лишь недостаточное мерило того упадка, порока и разлагающих общество пагубных привычек, в окружении которых эти преступления совершались. Денежные потери могут быть восполнены новыми усилиями, а национальное бедствие — исправить возвращением благоденствия; однако нравы народа, подвергшиеся столь глубокому разрушению, требуют смены многих поколений для своего восстановления.

Среди бесчисленных проявлений ежедневно растущей безнравственности, проистекающих из одной великой причины, нет ничего более тщетного, немощного и по-детски наивного, чем уповать на действенность постоянных увещеваний или суровость наказаний. Совершенно напрасно призывать к честности и трудолюбию тех, кому эти добродетели не приносят ни уважения, ни достаточных средств к существованию; бессмысленно подвергать людей лишениям или даже самой смерти, когда лишения и смерть в равной степени становятся спутниками даже тех, кто воздерживается от преступлений. За подобными попытками, впрочем,

угадывалось явное стремление принудить народ к суеверной религиозности. Но даже если оставить в стороне неизбежные выводы, возникающие при слишком пристальном анализе мотивов такого порыва, и убежденность в том, что религиозное смирение внушалось лишь ради достижения политической покорности, — несостоятельность подобного суррогата истинных основ морали более чем очевидна.

В естественном порядке вещей Бог даровал этому миру первенство перед миром иным, сделав внимание к земным интересам сиюминутной необходимостью, дабы уберечь человеческий род от голодной гибели. Мотивы для достойного поведения Он неявным образом заложил в самих законах природы; и если для укрепления этих обязательств Он соизволил добавить санкцию в виде будущих наград и наказаний, то санкция эта всё же остается вспомогательной и вторичной. Соответственно, жажда будущего блаженства сильнее всего проявляется в тех, у кого меньше всего причин беспокоиться о своем земном благополучии; и хотя крайнюю бедноту можно довести до фанатичного исступления или склонить к слепому подчинению обрядам и традициям, ее невозможно удержать в границах морального долга, если только труд ее не будет свободен от всяческих оков и не получит достойного вознаграждения. В поведении значительного общественного класса наблюдается столь вопиющее противоречие, что их действия по праву навлекают на себя самые суровые и гнусные обвинения. Эти люди, деятельно суетящиеся в благотворительных и религиозных обществах (не говоря уже о союзах более сомнительного толка), беспрестанно разглагольствуют о пороках народа; и в то же время они с величайшим упорством поддерживают тех лиц и те начинания, что и сделали народ таковым, каков он есть. Они заявляют, будто стремятся к цели, но противятся средствам, коими единственно эта цель может быть достигнута. Мнимые друзья добродетели, они враждебны свободе; проповедники трудолюбия, трезвости и религиозного порядка, они одобряют любые прожекты по обложению труда налогами, лишающие бедняка последних остатков самоуважения. Они притворяются, будто желают возвысить человека, в то время как **принижают гражданина**; и они требуют наибольшей покорности именно в тот миг, когда уничтожают последние стимулы к смирению и послушанию.

Нет нужды далее продолжать обзор материальных причин, влияющих на прогресс нравственного и общественного развития; отмеченных пунктов вполне достаточно, чтобы доказать: лишь немногие перемены могут произойти в физическом состоянии наций, не внося при этом определенных корректив в их нравственный облик. Можно было бы привести и другие примеры второстепенных влияний, таких как открытие искусства дистилляции, привычное употребление опиума турками или воздействие географического положения на выбор конкретных видов национальной деятельности и тому подобное. Однако цель настоящего издания состоит не в том, чтобы исчерпать тему, а скорее в том, чтобы пробудить любопытство и побудить других последовать тем же путем размышлений.

Многим может показаться, что предметы, вскользь упомянутые в этой главе, имеют мало отношения к общему замыслу и конечной цели всей книги. Однако, прежде чем предаваться подобным рассуждениям, автор выражает надежду, что читатель сам отыщет те нити, которые связывают отдельные части труда в единое целое. **Человек в такой степени является существом, сотканным из связей, что для него не существует ничего малозначительного**. Если даже движения самой далекой звезды, мерцающей в небесах, воздействуют на бег нашей Земли, помогают определять её положение в пространстве, её климат, её плоды и, таким образом, влияют на судьбу человека, который есть порождение всех этих обстоятельств — то какие сочетания факторов, существующих на поверхности земли или развивающихся в недрах общества, могут быть сочтены совершенно безразличными для его поведения и лишенными власти над его благополучием и счастьем!

Глава V. О влиянии общественных институтов на нравственность

«Ни один человек никогда не устанавливает законов; всякого рода случайности и несчастья, выпадая на нашу долю по-разному, устанавливают для нас всевозможные законы».
- **Платон**, «Диалоги».

В сопоставлении с воздействием мощных материальных факторов, кои были рассмотрены в предшествующей главе, влияние нравственных сочетаний на поведение индивида оказывается слабым и второстепенным. Тем не менее подобные сочетания факторов вполне естественным образом привлекали к себе более пристальное внимание мыслителей. Происходило это потому, что в их случае связь между причиной и следствием представляется более ясной и очевидной, а также потому, что этическая детерминация служит благовидным средством управления поведением **многих**, не требуя при этом никаких жертв со стороны **немногих**. Покорность, терпение, трудолюбие и бережливость (составляющие, по мнению Берка, beau idéal жизни труженика) могут проповедоваться на фоне разрастающихся работных домов и непомерного налогообложения; однако для того, чтобы привить низшим классам нравственность путем улучшения их физического состояния, требуются добродетель и талант куда более высокого порядка, нежели тот, что может привнести в это дело нынешнее воспитание привилегированных классов. **Влияние вещей**, по сути, столь неизменно и деспотично, что любая попытка модифицировать их воздействие кажется узкому эгоистическому сознанию столь же утопичной, как и попытка изменить сам ход природы. Напротив, мнения и общественные институты, будучи подвержены вечным переменам, обладают в глазах людей — если позволительно будет так выразиться — большей пластичностью; человек проникается убеждением, что они в гораздо большей степени подвластны его воле и контролю.

В предыдущей главе, однако, было показано, что существуют определенные физические факторы, безусловно необходимые для любых нравственных сочетаний, поскольку они воздействуют либо непосредственно на само общественное устройство, либо опосредованно — через свои необходимые нравственные предпосылки. Следовательно, хотя воспитание или нравственное развитие человека и проистекает из взаимного влияния индивидов друг на друга, само это влияние предопределяется внешними обстоятельствами через их связь с нашими потребностями и способностями и, как следствие, через их воздействие на формирование волеизъявлений.

Общественные институты, в сущности, являются лишь выражением воли — либо всего общества в целом, либо тех, кто завладел его силой. И волеизъявления эти, подобно воле отдельного индивида, неизбежно определяются обстоятельствами

той стороны, от которой они исходят. Достоинство всякого подобного сочетания заключается в его соответствии и гармонии с нуждами народа, для которого оно создано. Следовательно, институты, порожденные самой силой вещей и потому неизбежно гармонирующие с обществом, в котором они возникли, являются более совершенными и долговечными, нежели те, что стали плодом личной воли. Именно по этой причине британская конституция просуществовала столь долго, вопреки своим колоссальным теоретическим изъянам; в то время как разнообразные формы правления, наспех созданные в ходе стремительного развития Французской революции, неизменно терпели крах. Ибо, сколь бы ни был искусен ум и сколь бы ни были обширны взгляды философов, они всегда будут бесконечно далеки от того, чтобы охватить все пружины и рычаги, приводящие в движение общественный механизм. В данном случае, как и во всех прочих, природа действует искуснее, чем человеческое мастерство.

Это единственный веский и обоснованный довод, на который опирались тори в своих попытках очернить идею реформ; однако этот же аргумент оборачивается против них самих с многократно возросшей силой. Ибо именно сопротивление, которое деспотичные правительства оказывают силе вещей, пробуждает в нациях мощную волю (делая революции не только справедливыми и целесообразными, но необходимыми и неизбежными) и вынуждает народ вводить новшества, превышающие его понимание. Люди решаются на это ради достижения целей, которых предшествующие поколения могли бы достичь незаметно и постепенно, если бы корыстные интересы немногих не возобладали над общественным благом.[339] Если, в дополнение к этим соображениям, принять в расчет все те несчастья, коими сопровождаются революции и кои проистекают не от ошибок преобразователей, но от яростного противодействия их порочных и корыстных врагов, то бремя вины, возлагаемое в подобных случаях на народ, окажется воистину ничтожным. Оно несравненно меньше того, на что могли бы со сколь-либо пристойным видом сетовать те, чьи дурные советы и еще более пагубное поведение стали непосредственными причинами народного недовольства и национальной реакции.

Исследование, целью которого было бы определить, **моральные или физические причины** имеют большее влияние на дела человеческие, едва ли позволило бы постичь их подлинную взаимосвязь. Ибо первые суть лишь причины

[339] Этот вопрос блестяще разобран в кратком эссе **Бэкона «О новшествах»**. Софистика, к которой прибегают противники реформ, представляет собой избитый и банальный довод, основанный на возможных злоупотреблениях. Поскольку поспешные реформы, не считающиеся ни с мнениями, ни с предубеждениями или обстоятельствами, и не считаются ни с сопротивлением, ни с практической осуществимостью, — опасны, а следовательно, следует избегать всяких реформ вообще. Теоретики и мыслители-созерцатели могут первыми указывать на необходимость перемен; но вина ложится на людей практических, если своим несвоевременным противодействием очевидным истинам они столь решительно восстанавливают против себя общественное мнение, что утрачивают свое естественное превосходство в народных собраниях.

непосредственные; какова бы ни была их энергия — велика она или мала, и сколь бы значительным ни было их действие, сами они являются лишь следствиями более отдаленных физических обстоятельств, из которых они и возникли.

Приведем пример, доступный наблюдению каждого: Англия, при всей добродетели и высоком духе свободы, который долгое время лелеяли ее жители, едва ли могла бы стать ареной религиозной реформации, если бы располагалась ближе к средоточию Католицизма; равно как не могла бы она с такой легкостью стать ареной независимого и народного правления, будь она расположена, подобно равнинам Ломбардии, в сфере влияния Испании, Франции и Германии; будь она разделена, подобно Италии, горными хребтами и изрезана великими реками, и тем самым открыта для череды вторжений какого-нибудь Франциска или Карла Пятого. Географическое положение Венеции и Голландии было не менее существенным фактором для процветания и незыблемости свободы в этих государствах.

Против этого положения нельзя приводить довод о том, что раз свобода существовала и у народов, находившихся в иных условиях, то ситуация является лишь случайностью. Ибо в политических сочетаниях лишь немногие причины — если таковые вообще найдутся — обладают достаточным весом, чтобы предопределять судьбы наций независимо от всех прочих влияний. Следовательно, самое большее, что можно заключить о любой причине, — это то, что она дает определенный результат, если иные обстоятельства не враждебны её действию; и всё же эта причина может оставаться sine qua non в данных обстоятельствах.

Пусть не всякий народ, вкусивший плоды гражданской свободы, обязан этим благословенным даром исключительно своей географической изоляции, однако всем им в их стремлении к независимости должны были благоприятствовать некие физические условия. Ведь величайшие порывы воли неизбежно остаются бесплодными, если они не подкреплены средствами и инструментами для осуществления своих намерений. Так, политическая раздробленность Италии, ставшая в итоге одной из причин гибели её независимых республик, на первых порах служила средством защиты каждого государства от внешней агрессии, предоставляя им необходимое время для укрепления своих неокрепших институтов. Подобным же образом и римская свобода, хотя она и стала непосредственным следствием воинственного пыла народа, в более глубоком смысле проистекала из тех трудностей, которые римляне испытывали, стараясь прокормить себя в тесных пределах собственных границ; это вынуждало их вступать в борьбу и познавать собственную силу.

Общественные институты должны либо возникать спонтанно в недрах самого общества, либо привноситься извне. В первом случае они являются чистым отражением чувств и степени просвещенности народа; и так как цель, для достижения которой они предназначены, совпадает с тем, к чему люди стремятся сами по себе, такие институты становятся для народа тем же, чем инструмент

является для мастера. Если же подобные инструменты устроены должным образом, они будут не только чутко откликаться на естественные движения общества, но и подтверждать, а также укреплять те тенденции, которыми эти движения направляются. Благодаря своему обратному воздействию на национальный разум, они будут поддерживать эти тенденции даже тогда, когда внешние обстоятельства, давшие им первоначальный импульс, частично сойдут на нет.

При таких условиях эффективность того или иного института будет весьма значительной; более того, она будет казаться гораздо большей, чем она есть на самом деле. **Суд присяжных**, бесспорно, обладает способностью прививать людям любовь к справедливости и побуждать их гордиться честным исполнением своих обязанностей, равно как и оберегать ту свободу, на которой этот суд зиждется. Однако при поверхностном взгляде он кажется машиной, работающей самой по себе и порождающей всю пользу, наблюдаемую в его работе. В руках людей смелых и честных он, несомненно, является наиболее действенным залогом как общественной, так и частной свободы; сами формы его будут воздвигать преграды на пути тирании даже после того, как дух, которому он обязан своей силой, несколько угаснет. Но стоит этому духу окончательно испариться, стоит присяжным стать продажными, робкими, пристрастными, фанатичными или невежественными, — и вскоре станет очевидно, сколь ничтожно истинное влияние этого установления и сколь глубоко его работа зависит от неизменности тех причин, в которых оно берет свое начало.

Именно в этой истине кроется причина столь краткого века всех подобных сочетаний. **Институты суть порождение особого склада человеческих умов**, а ход событий беспрестанно трудится над изменением этого склада, давая жизнь новым материальным обстоятельствам, которые порождают новые желания, новые средства и новые мнения. Оттого кажется, будто события и доктрины сменяют друг друга циклично: каждый цикл, в свою очередь, вызывает к жизни институты, находящиеся с ним в гармонии, упраздняет те, что возникли в иных обстоятельствах, и готовит почву для других, которые будут отсеяны в будущую эпоху.

Когда общественный институт привносится извне — будь то завоевателем, миссионером или тираном, имеющим средства для понуждения народной воли, — его влияние будет всецело зависеть от того, насколько он срастется с чувствами народа. Если материальные условия жизни нации будут решительно противостоять такому установлению, тогда оно не пустит корней и не принесет никаких плодов. Если же, напротив, обстоятельства благоприятствуют учреждению, оно постепенно изменит склонности народа и предрасположит его к тому, чтобы приспособиться к его влиянию. Нередко случается, что при внедрении чужеродного учреждения само оно подвергается изменениям; и хотя формально оно продолжает существовать, по

существу оно может быть отвергнуто, изменившись настолько, что более не соответствует своему первоначальному замыслу.[340]

Когда учреждение, изначально отвечавшее духу нации, перестает быть таковым вследствие перемен в условиях жизни и настроениях народа, оно может начать действовать в направлении, прямо противоположном его исконному предназначению. **Во-первых**, оно может вводить народ в заблуждение относительно истинной природы обстоятельств, заставляя его верить, что раз форма сохраняется, то и цель, ради которой эта форма была установлена, всё еще обеспечивается. **Во-вторых**, это происходит через те искажения, которые коррупция вносит в функционирование и влияние учреждения. Когда, к примеру, угасает патриотизм, представительная система по воле коррупции превращается в куда более эффективное орудие тирании, нежели открытый и ничем не ограниченный деспотизм; и привилегии, которые укрепляют истинную Палату общин в ее противодействии королевской узурпации, стали бы прямой угрозой свободе, окажись они в руках сборища коварных заговорщиков, ложно именующих себя представителями народа.

Из этих соображений становится очевидным, что институты, возникающие стихийно, суть лишь сопутствующие явления, а не причины тех нравственных феноменов, которыми они сопровождаются; что институты, привнесенные извне, редко производят великие перемены в состоянии народа, за исключением тех случаев, когда народ уже созрел для их принятия; и, следовательно, перемены, вызванные таким образом, рано или поздно произошли бы и без вмешательства подобной причины. Их влияние, таким образом, зависит от их роли как инструмента и всецело проистекает из их пригодности для осуществления некоего предшествующего намерения — намерения, которое является необходимым следствием особых обстоятельств, в которых находится общество.

В целом, институты можно разделить на два класса: **административные** и **наставительные**. Административные охватывают те общественные механизмы, которые регулируют поведение общества; наставительные включают в себя всё то, что предназначено для формирования и изменения его мнений.

Влияние государственного управления на нравы проявляется различными способами. Хорошо отлаженная система власти в самих своих деталях дает огромное количество первообразных идей, которые приносят плоды в умах людей; в то время как ложные и порочные сочетания стремятся запутать самые элементарные понятия о праве и бесправии. Поскольку свободные формы правления осуществляются открыто, при свете дня, а все государственные интересы

[340] В качестве примера первого из этих условий можно, пожалуй, рассматривать Англо-сицилийский кодекс. Суд присяжных во Франции служит иллюстрацией второго; третье же наиболее разительно проявилось в судьбе христианства, когда оно было вверено попечению честолюбивого и склонного к интригам духовенства.

обсуждаются публично, у граждан свободных государств с величайшей ясностью и точностью формируется огромное множество нравственных понятий; те же идеи, если они и ведомы подданным деспотического правления, воспринимаются ими лишь как туманные и неприложимые к жизни абстракции. Равное отправление правосудия подобным же образом закрепляет в умах людей границы дозволенного и запретного. Напротив того: (1) **привилегии** и особые суды для разных сословий; (2) наказания, соразмерные не вине, а **положению** преступника в обществе; (3) произвольные штрафы и приговоры; (4) и, прежде всего, порочное судопроизводство и постоянное крючкотворство — всё это ведет к упадку и помрачению нравственных чувств народа. Во всяком обществе существует великое множество людей, которые в силу недостатка способностей или образования, либо за неимением времени и условий для осмысления собственных идей, не знают иного мерила добра и зла, кроме того, что прописано в законах страны. Они полагают справедливым и должным всё, что дозволено законом. По этой причине любые произвольные и условные уложения, сколь бы удобны они ни были в иных практических отношениях, представляют опасность для общественной морали, поскольку внушают ложные представления о подлинной значимости человеческих поступков. Если за два различных преступления назначается одинаковая кара, в сознании человека непросвещенного они естественным образом уравниваются в своей тяжести. Так, незаконная охота на зайца или контрабанда бочонка спиртного могут подтолкнуть преступника к деяниям поистине гнусным, ибо они не подвергнут его большей опасности или позору, нежели те, на которые он уже обрек себя. Таким образом, пагубное влияние дурных правительств на каждом шагу оборачивается против благоденствия народа; наступают времена и обстоятельства, при которых для любого сословия в государстве становится невозможным исполнять свой долг перед обществом, а для гражданина — сохранять добропорядочность в личной и частной жизни.

Это же наблюдение с еще большей силой применимо к **образовательным учреждениям**. Их несовершенство может проявляться либо в порочном методе передачи знаний, либо в насаждении заблуждений, предрассудков и лжи под личиной истины, что сбивает с пути тот самый народ, наставниками которого эти институты себя провозглашают. К примерам изъянов первого рода можно отнести громоздкую систему письменных знаков у китайцев и порочную логику схоластов. Примеры же второго рода в той или иной степени обнаруживаются почти в каждой из существующих систем религиозного воспитания; в значительной части того, что именуется светским образованием; в морально-нравственных установках большинства мелких частных пансионов и тому подобном. Методологические ошибки менее опасны, поскольку несовершенные методы сами по себе причиняют неудобства, а потому служат для человечества стимулом, побуждая его искать пути к совершенствованию. Тем не менее, ложный метод философствования, введенный еще древними греками, до сих пор продолжает отравлять некоторые из важнейших отраслей знания. Второй изъян куда более пагубен, ибо он сопряжен не только с

заблуждениями, но и с преступлениями тех, кто управляет государственными делами. Ложная система знаний порождает ложные интересы; эти же интересы приходится защищать, намеренно удерживая народ в том невежестве, из которого подобные хитросплетения и возникли. В этом порочном круге рождается фаланга, враждебная народу, всегда готовая слиться с власть имущими и заинтересовать их в сохранении своих притязаний. Это порождает ограничительные законы о печати, сожжение книг, инквизиции и аутодафе, со всеми сопутствующими им бедствиями междоусобиц, нетерпимости и гонений. Только в подобных обстоятельствах индивиды могут набраться дерзости одновременно утверждать, что Евангелие есть правило веры и поведения, ниспосланное Богом человеку, и в то же время извергать анафемы на тех, кто стремится сделать это правило доступным каждому. Только при таком стечении обстоятельств люди обретают смелость называть Божественное откровение опасным, если оно не подкреплено их собственным толкованием; они притязают на то, что их личное посредничество необходимо для осуществления замыслов, без которых само Божество потерпело бы неудачу в Своем стремлении благодетельствовать человечеству. Там, где подобным институтам позволили возникнуть и укрепиться в самом сердце общества, они оказались губительными для народной нравственности. Ибо провозглашаемая цель любого института — придать неизменность тем условиям, из которых он возник, и навечно закрепить те цели, что казались благом в момент его основания. Однако корыстные и порочные интересы лживых наставников зиждятся исключительно на глубоком невежестве народа и могут процветать лишь до тех пор, пока это невежество сохраняется. Когда бы ни случалось какой-либо группе людей подобным образом завладеть общественным мнением и хитростью обеспечить себе содержание за счет государства, его главной целью становится поддержание в народе постоянного благоволения к тому институту, который служит им источником пропитания. Они стремятся пресечь любой луч света, способный разоблачить их собственный обман, и насаждают пассивную, лишенную сомнений веру в свои догмы. Это влечет за собой умственное оцепенение, которое лишает разум способности к свободному проявлению его собственных сил.

Нет нужды прослеживать далее эту цепь последствий и вновь повторять, что **невежество** — это плодовитая мать всех наших преступлений и всех наших злосчастий. История последних двух тысячелетий служит непрерывным подтверждением этой истины.

Жажда власти настолько присуща человеческой природе, что она простирает свои притязания на всё, что только способен охватить разум. Тот, кто соединил воображаемое путешествие на Луну с проектом договора о разделе территорий между европейскими монархами, высказал сарказм не только в адрес колонизаторов Америки и морали королей, но и в адрес самого человеческого рода. Не довольствуясь плодами земли в течение нашей отмеренной жизни, мы

притязаем на право распоряжаться ими до скончания веков и предписывать самым далеким потомкам, кто должен, а кто не должен ими пользоваться. К счастью,

Закон Господень, как и закон земной,
Не терпит уз, чья вечность неизменна.

Подобным же образом законодатели устремляют все свои помыслы на то, чтобы придать бесконечную прочность плодам своих трудов, словно их законы — не только лучшие из возможных в существующих обстоятельствах, но и обладающие некоей эластичностью, позволяющей им адаптироваться к любым возможным случайностям. **Ликург**, обязавший спартанцев не изменять его законов до своего возвращения и затем лишивший себя жизни, дабы обеспечить их вечность, поступил лишь как самодовольный (хоть, быть может, и благонамеренный) фат. Когда же пребывавший на жалованье **Берк** утверждал, будто Парламент-конвент навеки связал англичан обязательствами перед потомками Вильгельма, он сочетал в себе невежество верхогляда с порочностью наймита.

Напротив, мудрый и философски мыслящий законодатель постарается придать своим установлениям лишь такую долю прочности, которая позволит им выстоять под ударами судьбы и отразить злонамеренные нападки, — оставляя при этом широко открытой дверь для введения тех перемен, которые время и опыт могут признать необходимыми. «*Тот, кто не хочет применять новые средства*, — говорит Бэкон, — *должен ждать новых бед*; *ибо время — величайший новатор*, *и если время своим чередом меняет вещи к худшему*, *а мудрость и совет не меняют их к лучшему*, *то каков же будет конец?*». Именно это подразумевается под частым возвращением конституции к её первоосновам, хотя выражение это обычно используется лишь для того, чтобы польстить пристрастию людей к устоявшемуся порядку. Первоосновами благой конституции не может быть ничто иное, кроме **свободы и счастья народа**; существующие формы — лишь средства; течение времени, меняя положение дел, делает формы непригодными для достижения их цели; возникают злоупотребления, и неизменность самой формы становится оправданием и предлогом для злоупотреблений. **Возвращение к первоосновам** есть не что иное, как преобразование форм с целью привести их в соответствие с текущими обстоятельствами и тем самым восстановить их действенность. Применительно к Великобритании возвращение к первоосновам означало бы предоставление права представительства городам, которые прежде никогда не пользовались этой привилегией, и лишение его многих других поселений, обладавших им с глубокой древности. Если бы обстоятельства даже способствовали выработке системы предотвращения абсолютной власти, превосходящей по качеству Палату лордов и Палату общин, нам следовало бы обратиться к эпохе еще более древней, нежели возникновение парламентов, и применить те самые принципы, коим эти собрания обязаны своим учреждением.

Влияние правительств на укрепление нравственности прямо пропорционально той широте возможностей, которые они предоставляют для **свободного развития ума**, и тому, насколько беспрепятственно они подчиняют общественные институты контролю общественного мнения. Ибо если правительство не склоняется перед силой вещей, но сохраняет старые формы, когда те перестают служить своим истинным целям, то закон и насущная необходимость начинают диктовать противоречащие, враждебные друг другу обязанности. Напротив, когда закон предписывает лишь то, что внушают правильно понятые интересы народа (то есть когда он исходит от полного и свободного представительства всех классов общества), естественное право и закон писаный говорят на одном языке; тогда они становятся всеобще понятными и почитаемыми.

Среди лиц, кровно заинтересованных в незыблемости существующих злоупотреблений, широко распространено ханжеское обыкновение сетовать на непостоянство и капризность народа — обвинение, совершенно лишенное оснований. Великий закон привычки (влияющий на наши нравственные решения ничуть не меньше, чем на движения мельчайшего мускульного волокна) с неодолимой силой влечет народ ко всему устоявшемуся.[341] Можно смело утверждать, что революции терпят крах в той же мере из-за нежелания нации расстаться с привычным заблуждением и склонности к половинчатым преобразованиям, в какой и из-за опрометчивой, безрассудной погони за новшествами.[342] Существует мало злоупотреблений или нелепостей столь великих, чтобы время не придало им некоего подобия законности; и наследственные монархи не находят для народа более веского аргумента в свою пользу, чем тот факт, что иудеи в своей ранней истории, находясь под непосредственным гневом Небес, установили выборную монархию.[343] Почти нет причин опасаться, что по-настоящему свободные государства станут вводить поспешные новшества; самобытная гибкость их природы допускает медленный, но непрерывный процесс развития, который ведет институты вперед, pari passu, в ногу с совершенствованием эпохи. Это делает совершенно излишними те внезапные и беспорядочные порывы, per saltum, кои неизбежно случаются при деспотических правлениях.

---

[341] *«Иногда может возникнуть необходимость изменить законы побежденного народа; но ничто не может заставить лишить его нравов или даже обычаев, кои часто и составляют все его нравы».* — **Д'Аламбер**, «Анализ Духа законов». К этому он мог бы добавить, что подобное столь же трудно, сколь и неоправданно.

[342] Если бы Наполеон утвердил во Франции реформированную религию вместо того, чтобы поддерживать римско-католическую иерархию, он преуспел бы гораздо больше — как ради собственного блага, так и ради дела христианства.

[343] Первые два еврейских царя были избраны духовенством без учета знатности их происхождения; однако вскоре монархия стала слишком могущественной для священства. На самом деле королевская власть по своему происхождению неизбежно является выборной, так как те, кто обладает силой возвести короля на престол, естественно, стремятся удержать эту силу за собой; и только насилие и привычка могут примирить нацию с возможностью того, что престол унаследует ребенок, безумец или изверг.

По мере того, как власть сосредоточивается в немногих руках, правительства всё более решительно тяготеют к неоправданному постоянству; в то время как правление, являющееся выражением воли всех, неизбежно склонно следовать за переменами в этой самой воле. По мере приращения знаний или изменения обстоятельств, общественные институты будут приспосабливаться к событиям и идти в ногу с прогрессом общества.

В таком государстве ни власти не потребуют жертв бóльших, чем того требует благосостояние общества, ни отдельные личности не поступятся своей свободой сверх того, что совершенно необходимо для их собственной безопасности. Законы, в силу внутренней энергии самого общества, будут сообразовываться с положением дел в государстве, а различные классы граждан займут подобающее им положение (assiette), так что ни один из них не будет теснить другого.

Безусловно, верно, что при таких обстоятельствах законы будут служить выражением не только мудрости нации, но и её невежества и заблуждений: так, в законах Римской республики отразились её воинственные и амбициозные устремления, а также дикое невежество в познании природы и, как следствие, суеверие граждан. Но человек — как в общественном, так и в частном своем качестве — не способен полностью освободиться от собственной натуры и возвыситься над властью внешних обстоятельств. Его воля ограничена его возможностями. Однако весь ход истории доказывает, что тягчайшие беды, порождаемые народными заблуждениями и капризами, легки и мимолетны в сравнении с теми, что проистекают из эгоизма, оплошностей, ограниченности ума, роскоши, лености и даже превратно понятого благодеяния власти, сосредоточенной в руках немногих индивидов.

В самой природе вещей заложено, что богатство — которое есть лишь иное наименование силы — должно давать его обладателю политическое превосходство. И поскольку великая цель всякого правления заключается в том, чтобы обеспечить каждому надежное владение его достоянием, законы всех государств неизбежно приобретают склонность потворствовать накоплению. Таким образом, и искусство, и природа объединяются ради установления неравенства между людьми, разделяя народ посредством некоей поляризации на две крайности: **богатство** и **нищету**. Богатые малочисленны и могут без труда объединяться, чтобы с помощью выгодных им институтов приумножать те естественные преимущества, которые дает само по себе обладание капиталом. Со временем всякое правление, подчиняясь этому вектору, склоняется к **деспотизму**, который является старостью наций. Подобно старческому увяданию человеческого организма, он предвещает близкий распад, выражающийся в концентрации сил в наиболее влиятельных частях при холоде и оцепенении конечностей.

Там, где общественные установления не созданы для того, чтобы противостоять этой естественной тенденции, она нарастает с ускоряющейся силой; власть

постепенно ускользает из рук тех, кому она вверена, а интересы, которые они должны представлять, предаются забвению. В конечном счете всё приходит к тому, что **множество людей живет лишь ради блага немногих — или даже одного**; и нет более страшного проклятия, которое могло бы обрушиться на человечество.

Человеческие способности, будучи соразмерны (если можно так выразиться) его потребностям, находят свою здоровую сферу применения именно в усилиях по удовлетворению этих нужд. Следовательно, всякий раз, когда средств оказывается слишком много или слишком мало, способности эти приходят в негодное и болезненное состояние. Если законное применение этих способностей не позволяет удовлетворить первейшие природные нужды, страсти неизбежно пробуждаются в судорожной и антисоциальной **борьбе за существование**. Если же, напротив, средства к существованию имеются в чрезмерном изобилии, способности, лишенные повода для своего проявления, впадают в капризную и дурно направленную активность, не менее пагубную для высших интересов общества. Одним словом, крайности бедности или богатства суть великие первопричины жизни, полной порока и несчастий. Это физические бедствия, и если позволить им распространиться, никакие моральные устои не окажутся достаточно сильны, чтобы их обуздать.[344] Существование любой из этих крайностей одинаково неблагоприятно для добрых нравов. Бедные лишены как времени, так и побуждений к учению, богатые же презирают знание; в то же время власть имущие напрямую заинтересованы в подавлении просвещения и распространении заблуждений.

Неравенство состояний, доведенное до крайности, оказывает также влияние, весьма враждебное общественным и сострадательным наклонностям человека. **Крайняя нищета**, делая борьбу за существование слишком мучительной, не оставляет места для этих чувств; крайнее же богатство и роскошь, порождая бессердечную жажду удовольствий, ставят индивида вне пределов досягаемости привязанностей, оставляя его в неведении и почти лишая представления о чужом страдании. Самые милосердные классы в любом обществе — это те, кто находится лишь немногим выше абсолютной нужды. Бедный ирландский фермер никогда не

---

[344] Огромное неравенство в состояниях граждан всегда является следствием дурных законов: ибо человечество достаточно склонно к праздности и наслаждениям, чтобы обеспечить быстрое обращение богатств там, где отдельные семьи не поддерживаются пристрастными институтами. Таким образом, для восстановления равенства нет необходимости в каких-либо суровых или революционных переменах.
«Он (законодатель) не будет пытаться установить равенство насильственными мерами, которые всегда имеют лишь временный эффект, никогда не достигают своей цели и, сверх того, несправедливы и пагубны. Он ограничится тем, что будет максимально уменьшать самое роковое из всех неравенств — неравенство в просвещении; развивать все таланты, давать им равную свободу для проявления и открывать каждому гражданину в равной мере все пути к богатству и славе... Он ограничится тем, что не допустит ни майоратов, ни субституций, ни родовых выкупов, ни привилегий и т. д. и т. п.» — **Комментарий к «Духу законов»** Монтескье (Де Траси).

закрывает свою дверь перед нищим, но делит картофель своих детей с первым же странником, взывающим к его жалости.

Плачевное состояние общества, в котором господствует подобное неравенство состояний, наглядно иллюстрируют времена правления Людовика XIV и Людовика XV во Франции. Народ — бедный, невежественный и несчастный; двор — превращенный то в вертеп, то в монастырь; пресса, принужденная к молчанию; ученые, согнанные в академии и поставленные под контроль министра; знать и высшее духовенство — развращенные, расточительные и зависимые; варварская полуцивилизация в столице и при дворе; беспросветное невежество и дикость в провинциях; суеверия и преследования, царящие во всем королевстве.

Это состояние бедственности и бессилия, в котором ни один народ не оставался бы долго по доброй воле, если бы не чудовищное неравенство в распределении сил. Число тех, кто извлекает из этого выгоду, слишком мало, а число угнетенных — слишком велико, чтобы подобное устройство могло сохраняться без насилия над общественной волей. Если бы удалось провести анализ совокупности причин, поддерживавших такую систему, это дало бы ценный урок относительно истинного значения общественных институтов как факторов нравственного влияния.

Французская монархия, как и большинство деспотий современной Европы, возникла на почве упадка аристократии; она черпала всю свою мощь из тех структур и связей, которые были заложены этим сословием. Ее основными элементами были оружие и богатство в руках немногих, в то время как невежество, нищета и покорность стали уделом большинства. Едва ли стоит говорить, что общее состояние народа проистекало из обстоятельств, имевших скорее материальную, нежели нравственную природу. Весьма вероятно, что, за исключением нескольких благодатных мест, цивилизация среди галлов никогда не достигала значительного расцвета. Череда событий, сопутствовавших падению Римской империи, уничтожила эти очаги просвещения, изгнала тех образованных людей, что успели спастись бегством, а те, кто уцелел, были истреблены;[345] в итоге страна, чье население поредело наполовину, а материальные ресурсы были вконец истощены, вскоре погрузилась в пучину варварства, в коем пребывали её новые военные захватчики, разделившие между собой земли и поработившие народ.

Установленный тогда порядок распределения собственности и система примитивных законов, призванных его охранять, сохранялись на протяжении веков почти без изменений, ибо материальные и духовные основы, их породившие, оставались практически прежними. В этот долгий период форма правления

---

[345] *«Марсель, Арль, Отён, Лион, Трир были процветающими городами, мирно пользовавшимися своими муниципальными правами, подчиненными мудрым* римским законам... но едва бургунды, готы и франки пришли в Галлию, как многолюдные города исчезли».* **– Вольтер**, «Опыт о нравах и духе народов», т. 2, гл. XVII.
* Относительно мудрости этих законов подробнее будет сказано далее.

колебалась между **монархией**, **аристократией** и **теократией** — в зависимости от обстоятельств и преобладания личных талантов правителей; для народа же время не приносило перемен. Лишенные возможности обогащаться, действовать сообща или приобретать знания, простые люди изнывали под бременем бесконечных войн своих враждующих господ, пока Людовик XI наконец не укрепил единоличную власть монарха, а кардинал Ришелье не сокрушил феодальное могущество знати, низведя её до положения низких и подобострастных слуг престола.

Однако постепенно, под давлением обстоятельств, оказавшихся сильнее даже этих установлений, народ стал продвигаться по пути к достатку и просвещению. Росли города, процветала внутренняя торговля, а раздоры их тиранов придали дополнительное значение большим городам. Однако система по-прежнему сохранялась, тяготея над нацией подобно тяжкому бремени; ибо земля всё еще находилась в собственности дворянства и духовенства, которые, будучи связаны общим интересом, действовали сообща, дабы угнетать и вводить в заблуждение. Тщетно Лига и Фронда на мгновение вносили раскол в ряды привилегированных сословий. Народу не хватало знаний и сплоченности, чтобы воспользоваться случаем и сокрушить установления своих предков. Интересы, враждебные общественному благу, упрочились со временем и сосредоточили в себе всю полноту власти — как силу меча, так и силу убеждения.

До этого момента мы видим систему деятельной и эффективной, поскольку она всё еще находилась в гармонии с состоянием нации. Как нравственные, так и физические силы общества всё еще были мобилизованы на её поддержку, а сами её формы, рассчитанные на подавление народной энергии, способствовали сохранению нищеты большинства и приумножению власти, влияния и физического превосходства богатых, на которых эта система и зиждилась.

Однако, вместе с окончательным упрочением монархии влияние прессы, совершенствование земледелия, расширение торговли, интеллектуальная борьба на почве религии и мощный поток просвещения, хлынувший из Голландии и Англии — словом, сама сила вещей начала торжествовать над институтами. Богатство и знания постепенно распространялись в среде третьего сословия (tiers état); Париж стал средоточием политических и духовных движений; и каждый последующий год прибавлял веса общественному мнению и возвышал значимость народа в той же пропорции, в какой пороки правительства и привилегированные сословия истощали и уничтожали ресурсы деспотизма. В периоды правления Людовика XV и Людовика XVI монархия, казалось, существовала исключительно в силу приобретенной инерции; сами причины её бытия окончательно отмерли, уступив место новым общественным сочетаниям.

На всём протяжении этого долгого периода история французского общества демонстрирует нам силу институтов, когда они созвучны состоянию и духу народа,

и их немощь, когда этот дух и состояние им враждебны.[346] Возвышение, развитие и окончательный триумф общественного мнения над регулярными армиями, над безграничной властью трона и духовным деспотизмом клира дают бесценный материал для понимания истинного значения идейных союзов. Никогда в обозримой истории не существовало системы более прочной, нежели **союз трона и алтаря во Франции**; однако печатный станок и компас, просвещение и торговля[347] одержали верх; и если эту монархию всё еще можно считать существующей, то само её бытие должно служить лишь предостерегающим маяком для других правительств, напоминая им о необходимости своевременных преобразований и приведения государственных институтов в соответствие с новым распределением власти среди людей.

Существует, однако, иная точка зрения, которая в её связи с вопросами морали заслуживает самого пристального внимания: она касается влияния институтов на поведение человека в пору их расцвета, а также тех добродетелей и пороков, которые они делают неизбежными, и тех, что они отвергают как несовместимые со своей природой.

Каждая отдельная форма правления предлагает гражданину свои особые мотивы, управляющие не только его общественной, но и домашней жизнью. Они определяют образ его нравственного существования столь сурово, что человек признается добродетельным или порочным лишь постольку, поскольку он пребывает — или не пребывает — в гармонии с общей системой.[348] Под этим влиянием формируются не только его характер и поступки; даже его суждения и предубеждения относительно самых элементарных основ нравственности подчиняются тому же руководству. Так, убийство Цезаря, предмет восхищения граждан свободных государств, почитается святотатственной изменой в глазах подданных деспотических правительств.

---

[346] «Из этого следует заключить, что институты могут совершенствоваться лишь пропорционально росту просвещения в народных массах, и что те из них, которые признаются лучшими в абсолютном смысле, не всегда являются таковыми в смысле относительном; ибо чем они совершеннее, тем сильнее они противоречат ложным идеям; и если они вступают в конфликт с чрезмерно большим их числом, то могут удерживаться лишь путем чрезмерного применения силы. С этого момента исчезает свобода, счастье и, прежде всего, стабильность».
— Комментарий к «Духу законов» (**Де Траси**)

[347] Торговля Франции, по правде говоря, была скудна, и рост богатства в этой стране был обусловлен преимущественно внутренней торговлей; однако, признавая коммерцию одной из отдаленных причин Революции, необходимо принимать в расчет моральное влияние английской, голландской и американской предприимчивости.

[348] Эта мысль, вероятно, и давшая импульс к написанию «Духа законов», могла бы привести Монтескье к гораздо более философскому заключению, нежели его система страха, чести и самоотречения; однако времена, в которые он писал, были неблагоприятны для свободы слова, а следовательно — и для свободы мысли.

Но если взять пример, менее двусмысленный в своих проявлениях, то фундаментальные представления о собственности отличаются при разных формах правления. В **свободных государствах** собственность рассматривается как врожденное и неотъемлемое право, черпающее свою силу в самом великом законе природы. Согласно же монархическому принципу, она является лишь милостью и благоволением короны, в которой одной сосредоточено право не только на все вещи, но и над всеми людьми.

Последствия столь нелепых и пагубных принципов, отражающиеся почти на каждом аспекте морали, весьма обширны; они столь же разрушительны, сколь и повсеместны. Тот, в ком сосредоточены все права, естественным образом становится источником общественных суждений; и тогда понятия правильного и ложного, более не соотносимые с природой вещей, следуют за капризами и подчиняются jus vagum (изменчивому произволу) правящего монарха.[349] Если король набожен — подданный становится суеверен;[350] если он сластолюбив — распутство возводится в степень добродетели, а прелюбодеяние становится кратчайшим путем к почестям.[351] Таким образом, характер нации меняется с каждым новым царствованием, а зачастую и по нескольку раз в течение одного и того же правления,[352] в таких условиях уважение к добродетели или твердые взгляды на жизнь и принципы поведения становятся морально невозможными.

Существует, воистину, один специфический порок, который никогда не может стать всеобщим в народе, если только монархия не питает его своими стимулами, — и это лесть. Даже при аристократии, которая, по сути, является лишь раздробленной монархией, сей порок ограничен лишь низшими слоями общества и практикуется исключительно ради поддержания жалкого и презренного существования людьми, коим «надежда на объедки всё еще тешит душу».[353] Но при дворах лесть — это общее занятие; упование смиренного и украшение фаворита; предмет изысканий Сенеки и Плиния; она столь же приятна Траяну, сколь и Нерону. Дух, унижающий себя ежедневным повторением незаслуженных похвал, оправданием пороков и притворным видением добродетелей, не может быть способен ни на что великое или благородное, — более того, он утрачивает даже обыденную честность в повседневных житейских делах. А те, кто внимает приторным славословиям в адрес нечестивых и ничтожных королей, воспеваемым в храме Божьем устами,

---

[349] «Подобно тому как голод порождает болезни и смерть, а мертвые и умирающие разносят смертоносную заразу среди еще выживших членов общества, так и пороки монархии воспринимаются и распространяются во всех направлениях всеми индивидами; пока последний из подданных, в меру своих жалких возможностей, не становится столь же развращенным, как и величайший из государей». (Энсор, «О государстве», т. 1, с. 135)

[350] Французский двор в эпоху мадам де Ментенон.

[351] Двор Карла II в Англии и Людовика XV во Франции.

[352] «Но воля царей сколь порывиста, столь и изменчива, и часто сама себе противоречит» (Саллюстий, «Югуртинская война», с. 400, издание Var.).

[353] Плавт, «Менехмы».

посвященными служению Ему, но кощунственно преданными служению лжи,[354] неизбежно начинают считать любые различия между добром и злом лишь условностью — правилами, созданными для руководства слабыми и порабощения простаков, но совершенно неприменимыми к поведению великих и власть имущих.

В абсолютных монархиях личные заслуги не только не способствуют успеху, но, как правило, служат наиболее неодолимым препятствием к продвижению по службе. **Интриги**, **изворотливость**, **податливость**, **развращенность** — как нравственная, так и корыстная — суть необходимые условия для возвышения и обретения почестей. «Будь посредственным и раболепным — и ты достигнешь всего» (фр. «Médiocre et rampant, et l'on arrive à tout»). И это не просто огульная сатира. Сей принцип действует повсюду, где безраздельно властвует один человек; он равно влияет и на христианина, и на мусульманина, на просвещенного европейца и на дикаря-африканца. Там, где этот принцип торжествует, мужество характера и простая добродетель становятся совершенно невозможными. Все усилия направлены на внешнюю видимость, тогда как истинная суть вещей никого не заботит; ложь отравляет саму кровь общества, и наиболее образованный человек оказывается худшим и самым опасным его членом.[355]

Другой отличительной чертой абсолютных правительств является **неравенство** и зыбкость законов. Само обстоятельство, при котором права подменяются привилегиями, а в обществе устанавливается жесткое кастовое различие, подрывает основы ясных и здравых представлений о справедливости. При старом французском порядке нередко случалось, что преступника благородного происхождения лишь подвергали тюремному заключению за деяние, за которое его подкупленный сообщник — его же собственный слуга — был колесован. Древний закон наших диких предков, устанавливавший денежную цену за человеческую жизнь, и ценивший случайность титула выше самой сути человечности, был менее возмутительным и менее губительным для нравов.

Можно сказать, что это крайний случай; однако сам принцип внутренне присущ монархии, и он проявляется во всех государствах ровно в той степени, в какой в них преобладает монархическое начало. Даже всех усилий и стараний человечества оказалось недостаточно, чтобы изгнать министерское влияние из судов королевских правлений и защитить гражданина от чрезмерных наказаний в тех случаях, когда корона заинтересована в судебном преследовании.

---

[354] См. придворные проповеди наиболее почитаемых проповедников Людовика XIV во Франции и иже с ними (hoc genus omne) как на родине, так и за рубежом.

[355] Слово «honnête» во французском языке утратило свое изначальное значение «скромный», став синонимом «учтивости»; это, впрочем, строго соответствует этимологии, ибо люди, переставшие краснеть от порока, не могли снести упрека в неотесанности. Подобно этому и слово «vertu» [добродетель] стало означать любовь к изящным искусствам, а не приверженность добрым нравам.

Другой порок, общий для монархических и аристократических правлений и совершенно неведомый свободным государствам, — это шпионаж. В узурпированной власти (а абсолютная монархия стоит во главе этого ряда, несмотря на свои нелепые притязания на легитимность) живет инстинктивное осознание своей природы, порождающее непрестанное предчувствие опасности; и там, где этот страх засыпает, просыпается королевское любопытство, жаждущее знать всё, что происходит в обществе. Любимый министр или фаворитка всегда находили кратчайший путь к влиянию на монарха, снабжая его ежедневной порцией сплетен: историями домашних раздоров, придворных интриг и рассказами о том, как дамы пренебрегают приличиями и добродетелью. Дабы насытить даже этот ничтожный и мелочный порок, разложение проникает во все слои общества: слуг подкупают, друзей склоняют к предательству. Когда же в дело вмешиваются государственные интересы и в ход пускаются агенты, рассылаемые не только для того, чтобы доносить о происходящем, но и дабы подстрекать к преступлениям и сеять семена мятежа; когда наемников всех рангов и сословий подкупают, чтобы они втирались в доверие, нашептывали, подавали идеи, раздували старые обиды, искушали и предавали — кто тогда пожелает склониться под бременем повседневных трудов? Кто не ухватится за краткий и легкий путь к богатству и почестям?[356] В народе, оказавшемся в столь прискорбном положении, сама добродетель обратится в порок; станут создаваться союзы ради сохранения общественной морали через мрачное посредство шпионов. Понятия о добре и зле смешаются до такой степени, что даже благочестивые люди, ослепленные избытком рвения, начнут грешить против первейших заповедей человеколюбия; тогда исполнится чаяние жестокой королевы Неаполитанской, и ремесло доносчика более не будет клеймиться позором.

Поскольку существование абсолютных монархий зиждется на уничижении народа, такое правительство не может искренне и честно желать развития национальных сил. Обладатели неограниченной власти присваивают себе права отеческого попечения; и, дабы поддержать сей притворный образ, они тщатся удержать народ в состоянии беспомощности и невежества, свойственных младенчеству. Подобно большинству родителей, они более озабочены тем, чтобы дети вели себя смирно, нежели развитием их способностей; и такие правители вполне довольны тем, что народ пребывает в праздности, до тех пор, пока он не доставляет беспокойства и не проявляет строптивости. Но даже когда подобное правительство искренне желает добра (а существуют ведь мотивы, побуждающие монархов стремиться хотя бы к материальному процветанию своих подданных), всякое его вмешательство, как правило, приносит лишь вред. Никто не может разбираться в чужих делах столь же досконально, как сами заинтересованные стороны; и даже самый просвещенный муж не способен упорядочить механизмы торговли и промышленности так же успешно, как они настраиваются сами собой,

[356] «Там, где за пороки следуют награды, едва ли кто-либо пожелает оставаться добродетельным даром».
Саллюстий, «Фрагменты историй», кн. 1.

повинуясь естественному ходу вещей. В лучшем случае, там, где всё зависит от воли одного человека, системы управления меняются с каждым новым царствованием. На деле же неспособность этого единственного человека направить столь огромную массу по какому-то определенному пути часто заставляет его метаться от одной случайной меры к другой. Он вынужден поощрять одной рукой то, что стесняет другой: назначать премии за производство и тут же воздвигать преграды и таможни, препятствующие обращению товаров; открывать порты и облагать их пошлинами; основывать колонии и монополизировать их плоды; осушать болота и устанавливать предельные или минимальные цены, а также размер заработной платы; покровительствовать одной отрасли торговли в ущерб остальным; налагать запреты и вмешиваться как в мельчайшие подробности, так и в масштабные замыслы промышленности и сельского хозяйства.[357]

В подобном государстве налоги взимаются не на общественные нужды, а на содержание двора, и потому они не знают иных границ, кроме пределов физической возможности. Наша королева Елизавета стоит особняком среди венценосных особ: она предпочитала, чтобы её богатства находились в обращении на службе подданных, а не лежали мертвым грузом в её собственной казне. «Старый порядок» во Франции к своим чудовищным расходам добавил еще и необычайную нелепость, освободив привилегированные сословия от бремени налогообложения. Следствием всех этих ошибок и преступлений становится нищета народа, а нищета порождает пороки и безнравственность. Тот, кто не способен поддерживать жизнь честным промыслом, в силу необходимости становится вором; и народ, в котором всякое сословие теснит стоящее ниже него и в котором все ведут тяжкую борьбу за существование, неизбежно утрачивает гражданские добродетели и становится черств к любым общественным привязанностям. В таких обществах богаты лишь те, кто получает содержание из государственной казны, в то время как нищета тяжким бременем ложится на трудолюбивые классы. Предрассудки происхождения здесь даже не нужны для того, чтобы превратить ремесло в нечто низменное, а торговлю — в занятие унизительное; не требуется это унижение и для того, чтобы поощрять бесчестие и множить обман. Таким образом, в то время как голод доводит низшие классы до распущенности, подхалимство и интриги развращают высшие круги. Улыбка короля — единственный путь к богатству; и сколько бы благ ни находилось в его распоряжении, число соискателей всегда оказывается еще большим. Нужда и честолюбие изощряют их ум и разжигают страсти до тех пор, пока не остается ничего, чего бы они не совершили или не претерпели, дабы вытеснить соперника или снискать благосклонность покровителя.

[357] Ничто не может служить лучшим доказательством полной неспособности правительств регулировать подобные материи, нежели те нелепости, в которые впадало даже народное собрание (состоящее из людей, чьи интересы напрямую затронуты), пытаясь установить твердую цену на зерно. «Сельскохозяйственные отчеты» служат памятниками абсолютной неэффективности законов в попытках изменить ход природы и невозможности управлять вещами иначе, нежели посредством влияния самих вещей.

Особенность **абсолютных монархий** заключается в том, что, поощряя глубочайшую пропасть между богатством и бедностью, они в то же время удерживают людей состоятельных и независимых на максимально возможном расстоянии от государственных дел и власти. Знати и земельной аристократии действительно дозволено приумножать великолепие двора; они привязаны к нему домашними и лакейскими должностями, которые дают лишь унизительное отличие, не наделяя ни истинной властью, ни серьезным занятием. При таком дворе монарх, стремящийся к незыблемости существующего строя, не должен желать ничего лучшего, кроме как видеть свое дворянство преданным игре и галантным приключениям; и подобные дворы закономерно становятся рассадниками этих пороков, кои никогда не получают широкого распространения там, где время заполнено регулярными и необходимыми делами. Но кто же суть порождения подобных обстоятельств? Граммоны и Поменары, Ришелье и Честерфилды, Портсмуты и Шрусбери — все эти герои и героини Кребийона, Бен, Дидро и Дюкло.[358] И все это — то самое состояние общества, которое превозносят моралисты и которое столь рьяно отстаивают проповедники христианства! Вот он, тот «общественный» порядок, вокруг которого призывают сплотиться народы; ради которого сражаются солдаты, а судьи налагают штрафы, бросают в темницы и вешают; за который молятся священники, епископы провозглашают анафемы, а министры выносят проскрипции! О, святые и почтеннейшие лицемеры! Вы распространяете библии; вы преследуете, словно закоренелых преступников, авторов пасквилей и богохульников, посягнувших на ваше достоинство и неприкосновенность; вы посылаете миссионеров, дабы доводить до фанатизма народ внутри страны или сеять раздоры среди далеких наций; вы порицаете невинные забавы и усердно стремитесь насадить иудейскую строгость в наши воскресные дни — но при этом вы неустанно трудитесь над тем, чтобы укрепить и освятить каждое укоренившееся злоупотребление и, нанося удар по свободе, отравить в самом зародыше нравственность нации.

Из этого обзора последствий абсолютной монархии мы видим: поскольку она зиждется на неравном распределении власти, знаний и богатства, все её институты направлены на то, чтобы увековечить или углубить то неравенство, на котором она основана. Правительство, сумевшее достичь полного контроля над этими факторами, могло бы существовать вечно. До тех пор, пока обстоятельства благоприятствуют этой тенденции, **народ** — слабый и беззащитный — остается скованным институтами, действующими против него. Но когда народ обретает богатство и просвещение, он достигает фактической свободы даже при тех же формах правления, что прежде угнетали его предков; и в скором времени он

---

[358] *«Честолюбие при праздности, низкопоклонство при гордости, желание обогащаться без труда, отвращение к правде, лесть, измена, вероломство, нарушение всех своих обязательств, презрение к обязанностям гражданина, страх перед добродетелью государя, надежда на его пороки и — что хуже всего — вечное осмеяние добродетели составляют, по моему мнению, характерные черты большинства придворных, обнаруживавшиеся во все времена и во всех странах»*. — **Монтескье**, «О духе законов», кн. III, гл. 5.

получает возможность установить более совершенную систему законов. Таким образом, всё влияние государственного устройства проявляется через действие материальных причин, с которыми оно неразрывно связано.

Вышеприведенные рассуждения о политических институтах в равной степени применимы и к религиозным союзам. Каждой ступени развития общества, каждой эпохе цивилизации соответствует свой символ веры; от чудовищно уродливого идола новозеландца до отвлеченного божества Платона — каждый оттенок мнений имеет своих приверженцев, ему лишь свойственных. Поскольку сила религии зиждется всецело на силе убеждения, религиозные институты неизбежно вынуждены либо подстраиваться под текущее состояние народа, либо утрачивать всякий вес и влияние на человеческие умы. Поэтому природный инстинкт всякой иерархии состоит в том, чтобы удерживать народ в том интеллектуальном состоянии, из которого некогда возникла она сама. Перемены для них — величайшая опасность, а нововведения — предмет глубочайшего сокрушения. Чтобы избежать их, духовные власти в большинстве стран стремились завладеть общественным образованием; в то же время, благодаря союзу с престолом, они до поры до времени получали возможность принуждать тех, кого не удавалось обольстить.

Католическая религия в том виде, в каком она существовала до Реформации, являла собой одно из самых поразительных сочетаний сил, когда-либо воздействовавших на человеческий разум. На протяжении многих столетий она оказывала самое мощное влияние, которому мысль когда-либо подвергалась. И всё же она оказалась совершенно беспомощной перед натиском реформаторов в тех странах, где обстоятельства благоприятствовали их деятельности; весь её авторитет рухнул в прах, как только она перестала соответствовать текущему состоянию цивилизации.

Даже в периоды своего самого пышного расцвета и величественного преуспевания религиозные системы черпают влияние скорее в своей **гибкости**, позволяющей им извлекать пользу из «гения эпохи», каков бы он ни был, нежели в способности оказывать прямое сопротивление. Они достигают гораздо большего успеха, потакая предрассудкам, нежели пытаясь их искоренить; и когда по неосмотрительности они вступают в противоречие с господствующими интересами, требуется вся физическая мощь государства, чтобы поддержать их верховенство. Даже тот религиозный институт, самый сплоченный и деятельный — религия, гордящаяся своим божественным и чудесным происхождением, сочетающая внушительные догматы с простой моралью, — склонялся перед всеми формами правления и всеми стадиями развития цивилизации. Если оставить в стороне её боговдохновенные заповеди и рассматривать лишь внешние формы, мы увидим, как она вступает в союз с преступлениями Константина и поощряет своими отпущениями грехов свирепость Хлодвига; защищает своими громовержцами трон Цезарей и поставляет аргументы в пользу свободы и равенства республиканским пасторам. Она сочетается с **философией Эпикура** под кардинальской мантией и

окрашивает цинизм кальвиниста в ещё более глубокие тона меланхолии. Она — это и высокомерный, догматичный и нетерпимый Рим; и податлива, благостна и милосердна там, где ее узурпаторским интересам противостоит ровный свет разума.

Книга, в которой заключена сама суть христианства, воистину изобилует множеством нравственных аксиом, прямо враждебных многим из этих различных обличий религии; однако сила обстоятельств неизменно торжествовала над влиянием абстракций. Против развращающего воздействия богатства и власти аксиомы не могут служить щитом; более того, они не могли быть даже поняты дикими ордами, которые разорили и разделили Римскую империю. Эти свирепые и нецивилизованные племена не знали языка Евангелия, не постигали его изречений; и вся совокупность исторических свидетельств доказывает, что требовалось второе откровение, исходящее от самой природы, дабы они смогли извлечь пользу из первого и обрести способность оценить ту мораль, которую оно проповедует.

Характер религии действительно разнится даже в пределах трех королевств Британской империи. В **Шотландии**, серьезная до суровости, но скромная в своем внешнем обличии, она уверенно зиждется на фундаменте религиозной и политической свободы. В **Англии** — пышная, надменная и блистательная — она стремится слиться воедино с аристократией и притязает, по собственному праву, на ту непогрешимость, в которой более не желает уступать своему более древнему сопернику. Будучи врагами свободы прессы, представители английской иерархии на практике отрекаются от всех тех аксиом, что единственно могли бы оправдать их собственный откол от преемников святого Петра. В **Ирландии** же, еще более богатой и еще более аристократичной, она еще сильнее отделена от народных интересов ввиду преобладания католического населения. Лишь в Шотландии господствующая религия устояла бы собственной силой, лишись она поддержки светской власти; и только в Шотландии она оказывает по-настоящему всеобщее влияние на нравы и убеждения. В Англии, и с еще большей неизбежностью в Ирландии, богатства и мощь церкви были бы направлены по иному руслу, если бы этот вопрос был вынесен на суд всего общества. Причина тому — исчезновение тех исторических условий, в которых зародилась англиканская церковь; сама же иерархия, не сумев развиваться в ногу с прогрессом века, утратила поддержку общественного мнения. В Ирландии же государственная церковь неизменно держалась исключительно на силе.

Часто и смело утверждается, а также повсеместно считается, будто влияние религии послужило мощным инструментом, ускорившим развитие общества. Однако это невозможно там, где религия порабощена могущественной иерархией и **насаждается острием меча**. Природа подобных институтов тяготеет к регрессу или, в лучшем случае, к застою; они служат скорее оковами для мысли, нежели стимулом для интеллектуального развития. Тот факт, что мораль Нового Завета принадлежала к куда более высокому цивилизационному порядку, чем мораль северных

завоевателей Европы, неоспорим; но именно по этой причине она была менее эффективна в деле воздействия на их обычаи. Монархи и феодальные вожди, поддаваясь порывам, действительно становились монахами и раздавали свои земли духовенству в страхе перед грядущим концом света, того мира, в котором они жили;[359] они правили своими королевствами по воле своих духовных наставников, но при этом не становились менее кровожадными, распутными или тираничными; они были всё так же склонны попирать права других суверенов или угнетать народы, вверенные их собственной власти. Доктрины и примеры, почерпнутые в **Ветхом Завете**, напротив, слишком удачно сочетались с их беззаконным и неистовым нравом. И пока духовенство, благодаря своим связям с Римом, поддерживало жизнь в пороках древней цивилизации, миряне, объединив суровую и мрачную мифологию своих языческих верований с жестокостями иудейской истории, еще более оскверняли новую религию суеверием и преступлениями. На кроткие заповеди **Евангелия**, которое, несомненно, явилось реформой одновременно в нравственной, религиозной и политической системах той эпохи, когда оно проповедовалось, они привили судебные поединки, абсурдные ордалии, омерзительные и унизительные покаяния, а также поток ложных и гнусных моральных аксиом. Распространив свое влияние далеко за пределы того грубого невежества, в котором они зародились, эти идеи в той или иной степени заразили nascent-цивилизацию итальянских республик; они не утрачены окончательно даже в наши дни в новых комбинациях Священного Альянса. «Государь» Макиавелли едва ли мог возникнуть в воображении гения, не искушенного в услужливой морали папской софистики. Поэтому, вместо того чтобы считать религию одной из причин европейской цивилизации, было бы сообразнее с истиной утверждать, что превратность обстоятельств заразила и осквернила её всеми пороками развращенного общества, всеми заблуждениями варварства и невежества. В то же время несправедливое распределение знаний и власти даровало столь искаженной религии сверхъестественную долговечность, превратив её в орудие затяжных бедствий, угнетения и мрака.

Европейское духовенство как сословие ставит себе в великую заслугу то, что в «темные века» церковь поддерживала слабое, мерцающее пламя науки и просвещения; как если бы случайное и побочное преимущество могло определять характер деятельности, направленной на совершенно иные цели. Занимаясь науками своего времени, клирики тех лет способствовали развитию цивилизации лишь в той мере, в какой интересы церкви случайно совпадали с интересами человечества в целом. Монополия на ученые профессии, которой они завладели, и ревностные ограничения, коими они сковывали пробуждающийся разум своей пребывавшей в варварстве паствы, делают их притязания на звание лидеров

[359] Весьма примечательно, что алчность духовенства и его жажда стяжания земель не открыли глаза мирянам на нелепость утверждения об «adveniente mundi vespero» [приближающемся закате мира]. При подобном исходе — в чем была бы заслуга дающего? И в чем выгода принимающего?

цивилизации в высшей степени нелепыми. До тех пор, пока существует хотя бы один закон, карающий за провозглашение любого религиозного мнения, духовенство должно довольствоваться своими богатствами и властью, оставив — как за собой, так и за своими предшественниками — всякие притязания на роль цивилизаторов или просветителей рода человеческого.

Что касается исключительно вопроса образованности, то можно с полным основанием предположить: если бы те независимые и предприимчивые племена воинов, что хлынули в Европу, были предоставлены самим себе — не стеснены в формировании собственных понятий и не принуждены слепо перенимать чужие, — они создали бы систему литературы и философии, значительно превосходящую те жалкие обрывки и лоскуты античного знания, которые еще несколько столетий назад составляли единственное интеллектуальное богатство христианского мира. Вся история церкви отмечена борьбой между **разумом** и **авторитетом**; и едва ли не каждое столетие являло свидетельства природной мощи северных народов в лице тех немногих личностей, что разбивали оковы церковных и государственных суеверий. Идя навстречу преследованиям и смерти, они за свой краткий жизненный путь успевали посеять достаточно добрых семян, дабы сохранить непрерывную традицию преемственности лучшего мироустройства, нежели то, что существовало в действительности.[360]

Католическая церковь в том виде, в каком она долгое время существовала в Европе, была плодом особого распределения знаний и богатств; подобно деспотическим светским правлениям, она являлась следствием материального состояния общества. За тот долгий путь, что был обеспечен неизменностью породивших её причин, интересы, коим она дала жизнь, настолько окрепли и тесно сплелись со всей структурой общества, что на континенте она до сих пор сохраняется как обособленная корпорация, хотя её влияние как института почти

---

[360] К числу величайших бед, унаследованных современной цивилизацией, относится сохранение римского права, которое более чем любая другая причина способствовало варваризации и запутыванию наших общественных институтов, а также искажению наших представлений о справедливости. Кодексы различных северных племен, хотя и были несовершенны и несправедливы во многих своих положениях, отличались простотой форм и здравыми фундаментальными принципами; благодаря этому они были превосходно приспособлены к тому, чтобы совершенствоваться по мере интеллектуального развития народа. Напротив, римский кодекс, отягощенный ошибками, пороками деспотизма и крючкотворством юристов, был рассчитан лишь на то, чтобы сковывать разум и удерживать цивилизацию в застойном состоянии.
«*Мы видели, что вначале римская юриспруденция была неопределенной, произвольной, запутанной и мистической. Мы видели, что она была в большей мере плодом частного мнения, нежели общей воли — таков был её характер при республике; при империи же к прежним изъянам добавился налет деспотизма, вызванный сосредоточением законодательной и судебной власти в руках императора. Мы также видели, что попытки исправить зло и беспорядок, заложенные в самом кодексе, привели лишь к их приумножению, пока система Юстиниана не нанесла последний удар, завершив окончательное расстройство правосудия*».— **Дельфико**, «О римском правосудии».

полностью сошло на нет. Будучи привита к политическим системам современности, она поддерживает своё паразитическое существование лишь благодаря их опоре. Её доходы собираются и распространяются под защитой штыков, а её догмы принимаются с покорностью, ибо диктуются жерлами пушек. Однако её влияние на мнения и поведение исчезло вместе с теми причинами, что его породили. Власть устоявшегося порядка какое-то время поддерживала эти догматы, опираясь на контроль над образованием и выражением мнений; но время и материальные перемены взяли верх, и система, более не отвечающая интеллектуальным потребностям человеческого рода, пришла в неизбежный и окончательный упадок.

Когда какой-либо религиозный институт рассматривается в пору его наивысшего могущества, когда его догмы принимаются безоговорочно, а его установления признаются повсеместно, принято считать, что он обладает огромной властью над нравственным поведением и служит мощным инструментом преобразования общественного животного. Это, однако, гораздо менее очевидно, чем в случае с политическими институтами, которые имеют более непосредственное отношение к повседневным интересам и делам.

Влияние любой церкви на общественную мораль сильно преимущественно в тех вопросах, которые меньше всего касаются счастья. Главным критерием нравственности является **польза**, и добродетели практикуются ради тех очевидных благ, которые они приносят, или ради удовольствий, пробуждаемых в нас естественным сочувствием, — и это в гораздо большей степени, нежели в силу каких-либо туманных расчетов о причинах и следствиях в мире ином. Поистине, люди редко заглядывают в самих себя и дают осознанную оценку страданий или удовольствий, кои могут проистекать из тех или иных жизненных перипетий: их привычки слагаются под воздействием воспитания, обусловленного временем и материальным положением человека; к добродетели же или к пороку людей, в конечном счете, влечет общее давление обстоятельств. Следовательно, когда церковь проповедует некую добродетель, успех ее начинания зависит от того, насколько сие деяние совместимо с положением народа; и одна и та же религия видела сменяющие друг друга эпохи то бережливыми и трудолюбивыми, то умеренными, а то погрязшими в распутстве, расточительстве и роскоши. Она созерцала, как одни пороки и добродетели угасали, дабы уступить место новым сочетаниям, кои, в свою очередь, сменялись иными. Один и тот же нравственный кодекс, одни и те же религиозные установления почитались как в ханжескую, но благочестивую и деятельную эпоху Протектората, так и в беспутное, аморальное и развращенное правление Карла II. В обе эти поры священнослужитель призывал к праведности и уважению к морали. Христианство — будь то в лоне господствующей церкви или в общинах пресвитериан и индепендентов — оставалось неизменным во всем, что касалось нравственности; и все же его влияние на народ разительно отличалось в зависимости от различных политических и материальных условий.

Напротив, влияние религиозных институтов проявляется со всей силой в том, что касается одних лишь обычаев и обрядов. Традиции, знакомые нам с колыбели, соблюдаются в силу привычки, от рассеянности или от скуки. Подобно покрою нашего платья, мы принимаем их без раздумий и не осознавая их своеобразия, до тех пор, пока они не начинают препятствовать какому-либо насущному интересу. Тогда магометанин начинает пить вино, иудей — есть свинину, индус пренебрегает обрядом очищения, а католик нарушает пост; в этот момент влияние церкви либо прекращается, либо сохраняется лишь для того, чтобы отравлять горечью раскаяние и множить тщетные сожаления.

Именно по этой причине простые и примитивные религии, по-видимому, оказывают наиболее благотворное воздействие на мораль: **во-первых**, потому что они могут существовать лишь среди простых и первобытных народов, где жизненные обстоятельства не вовлекают — или, вернее, не принуждают их — к отчаянной борьбе за существование; **во-вторых**, потому что такие религии предъявляют крайне мало требований к поведению и предписывают лишь те обязанности, которым само состояние общества естественным образом благоприятствует. Установленный обычай периодически возвращаться к размышлениям на нравственные темы, несомненно, полезен, так как он побуждает задумываться об истинном значении поступков и способствует распространению здравых понятий о морали; однако в этом отношении устоявшиеся религии следует рассматривать лишь как **этические институты**, в которых религиозная санкция является чисто случайным элементом.

Что касается упомянутой санкции (за исключением периодов фанатизма, который представляет собой чистой воды болезнь), то она, как правило, не оказывает определяющего влияния на поведение, и на нее нельзя с уверенностью полагаться как на единственный регулятор нравственности. Многовековой опыт служит тому непрестанным доказательством. Нет народа более привычно благочестивого, нежели ирландские католики, и нет другого, кого обстоятельства чаще толкали бы на отчаянные бесчинства. Этого общеизвестного примера, заменяющего собой тысячи иных, вполне достаточно. Но также стоило бы отметить малую эффективность куда более непосредственной и, следовательно, более грозной санкции — санкции закона. В самом деле, закон и религия в их обычном сочетании ежедневно оказываются бессильными перед влиянием жизненных обстоятельств. В то самое время, когда пишутся эти строки, кары закона стали суровее и многочисленнее, чем когда-либо; Британия наводнена распространителями Библий, молитвенными домами и обществами по искоренению порока — и все же преступность, жестокая и варварская, редко когда была столь частым явлением.

Быть может, кто-то спросит: неужели вы предлагаете упразднить подобные сдержки? Неужели вы оставите человечество на произвол стихийного столкновения противоречивых интересов и собственного понимания пользы? Таков, по сути,

стандартный ответ на любые предложения по общественному улучшению. Однако доказать недостаточность чего-либо не значит доказать его абсолютную бесполезность; и утверждать, что те или иные институты сами по себе не действуют или подвержены злоупотреблениям, не значит заявлять, будто их невозможно заставить служить интересам человеческого рода. В целом же можно заметить следующее. (1) По мере того, как стремления людей освобождаются от оков ложных установлений, санкции закона и религии становятся менее необходимыми для предотвращения анархии; (2) в той же степени, в какой социальное напряжение делает эти санкции необходимыми, оно же делает их и неэффективными.

Влияние материальных условий даже на самые отвлеченные и абстрактные умозрения прослеживается в истории всех религий. **Евреи**, народ угнетенный и несчастный, чей век проходил то в унизительном рабстве, то в жутком голоде, пребывая в зыбкой независимости они приняли **мрачную** и **свирепую** религиозную систему, которая служила отражением их собственного тягостного самоощущения. Религия же Греции была соткана из празднеств, песен и жизнелюбия — она являла собой образ их благодатного климата и еще более благотворных политических установлений. Мифология Севера, подобно жизни его обитателей, была преисполнена лишь кровопролития и разгула. Даже само христианство в своих внешних проявлениях четко разделяется на северное и южное; так, католицизм Испании и Италии более ослепителен и чувственен, нежели в Германии или в нашей собственной стране. Религия Магомета черпает многие свои черты (и, как следствие, значительную долю своей незыблемости) из влияния климата. Запрет на вино и свинину, равно как и допущенное многоженство, присущи лишь жарким поясам земли и чужды инстинктам, развившимся в холодных широтах. Это воздействие физических причин распространяется также на богатство и бедность, на горы и равнины, на города и села. Каждое сословие и каждое положение вещей имеет свои религиозные особенности; и даже там, где преобладает некая высшая сила, способная препятствовать этим влияниям и брать их под контроль (распространяя единую веру на огромные пространства земли), она все же не в силах окончательно подавить их действие. Стоит лишь распасться тем союзам, что видоизменяли и ограничивали их мощь, как эти влияния с прежней неумолимой силой вновь обретают свое безраздельное господство.

Сила законов, насаждаемых под угрозой немедленного и внушительного наказания, представляется средством, наиболее рассчитанным на изменение общественного характера: несомненно, во всем, что касается государственного управления, пока свод законов сохраняет свою полную силу, он неизбежно оказывает существенное влияние на народ, которым руководит. Не будь это так, само различие между благим и дурным правлением осталось бы неведомым. **Беспристрастное правосудие**, совершенно **свободная торговля** и **пресса**, не стесненная тиранническими законами, противными разуму, должны обуславливать более совершенное состояние общества — как в нравственном, так и в физическом

отношении, — нежели кодекс привилегий, монополий и цензуры. Однако для того, чтобы благие институты могли приносить пользу, нация, призванная ими обладать, должна ощущать в них потребность и желание, достаточно сильное, чтобы породить общественную волю к их утверждению. Там, где подобные установления существуют, а любовь к свободе крепка, народ и государственная система находятся в постоянном взаимодействии: **Система** дает беспрепятственное выражение общественной воле; **Народ** оберегает чистоту самой системы.

В этом смысле сила общественных институтов огромна; они способны противостоять великим потрясениям — как нравственным, так и, в некоторой степени, физическим. Но когда дух, одушевляющий конституцию, иссякает, когда возникают обстоятельства, определяющие новые стремления и новые союзы, закон превращается в мертвую букву, и немощь государственного устройства проявляется в каждом общественном деянии.[361] В настоящий момент, когда государственные институты Европы повсеместно вступают в противоречие с интеллектуальными и нравственными потребностями населения, едва ли найдется страна, где политическая практика соответствовала бы теории установленных законов. В одних государствах мы наблюдаем систему крайне подозрительную и ограничительную, враждебную в равной мере и справедливости, и человечности, но действующую под сенью конституционного представительного строя. В других же мы видим законы, вобравшие в себя всё самое одиозное и гнусное, что присуще деспотизму, однако обращенные в ничто тем презрением и отвращением, которые они внушают обществу.

Из этого факта можно вывести непреложную истину: дарование конституций не входит в число прерогатив монаршей власти. Там, где сила общественного мнения почти уравновешена силой меча, формальное признание такого способа решения вопроса может быть целесообразным: народ принимает как дар то, что он еще недостаточно силен, чтобы истребовать силой, а автократ — то, что он уже не вполне властен удержать. Но если это лишь внешняя видимость, если силы сторон не находятся в равновесии, подобная сделка окажется совершенно бесплодной. Либо народ, будучи сильнее, закрепит свои приобретения в более решительных формах, либо правительство, взяв верх, сведет на нет или вовсе отменит все либеральные положения своих «жалованных» хартий. Установления Екатерины, Фридриха, Иосифа, Леопольда и Людовика XVIII не были ни долговечными, ни плодотворными — за исключением тех немногих случаев, когда они случайно совпадали с духом эпохи, в которую были провозглашены.

С другой стороны, теоретические конституции, сколь бы мудро они ни были составлены народным собранием, окажутся неспособны укорениться или принести

[361] Этот факт наглядно иллюстрируют наши законы против колдовства, которые фактически утратили силу, когда народ достиг достаточного просвещения, чтобы осознать ошибочность представлений, на которых они зиждились. В самом деле, любые законы повсеместно перестают действовать, когда они более не соответствуют общественному мнению.

практическую пользу, если это собрание не отражает общего интеллектуального уровня народа и не ведает его истинных нужд и желаний. Недавние времена явили множество примеров этой истины, которые заставляют нас прийти к выводу, что великие законодатели древности не создавали свои системы de novo, а скорее собирали и упорядочивали уже существовавшие обычаи и законы стран, на благо которых они трудились. Поистине, ничто не кажется более невозможным, чем предположение, будто законы Спарты могли быть добровольно приняты в качестве эксперимента каким-либо сообществом людей; будто представители обоих полов могли по единому мановению решиться отбросить чувства и инстинкты своей природы ради некоего умозрительного блага, о котором они не имели ни малейшего представления.

Среди наиболее мощных и определяющих нравственных влияний, которым подвержена наша природа, **образование**, вне всякого сомнения, занимает первое место. Общественные институты, имеющие своей целью воспитание, призваны оставлять в душе самые глубокие следы и оказывать наиболее решительное сопротивление внешним воздействиям. Если бы человек или группа людей могли обрести полную власть над всем ходом наших мыслей и направлять каждое наше впечатление, самые суровые деспотии могли бы существовать вечно. Именно к этой цели стремятся все национальные системы образования; однако здесь чаяния их основателей разбиваются о **власть вещей** — тот естественный порядок событий, который дает человеку воспитание куда более значимое, чем влияние любых искусственных систем.

В туманных и отвлеченных вопросах религиозной веры влияние воспитания оказывается решающим. Богословские догматы, которые мы безропотно принимаем в раннем детстве, при нашем вступлении в мир не наталкиваются на опытные доказательства их ложности — в отличие от тех причудливых и восторженных представлений о повседневной жизни, что мы черпаем в школах, колледжах или в идеализированном мире книг. Доказательства (каковыми бы они ни были), определяющие судьбу религиозных теорий, трудно обрести и еще труднее постичь; доводы здесь настолько противоречат друг другу, что любая дискуссия обыкновенно служит лишь к умножению сомнений. Однако катехизисы и ранняя муштра укореняют в ребенке веру в догматы, которые впоследствии никогда не беспокоят его разум — за исключением тех случаев, когда возникает необходимость передать их, путем повторения того же процесса, собственному потомству. Благодаря этому целые народы из поколения в поколение сохраняют неизменную веру, в то время как их практическая нравственность претерпевает беспрестанные изменения.[362]

[362] Одной из главных причин такого положения дел является то, что люди в массе своей не встречают в противовес предрассудкам своего раннего воспитания ничего, кроме иных предрассудков, столь же далеких от возможности быть тщательно изученными и понятыми. За единственным исключением (которое каждый читатель волен толковать в свою пользу), любая религия требует принимать на веру ровно столько же, сколько и другая. Несмотря на

В той мере, в какой **воспитание людей** расходится с «**воспитанием вещей**», и в той мере, в какой понятия, навязываемые человечеству в интересах немногих влиятельных лиц, противоречат интересам национальным, — успех этих усилий оказывается всё менее совершенным. В вопросах духовных — чем абсурднее и нелепее внушаемые идеи, тем шире они распространяются. Происходит это потому, что ни природа, ни общество не предоставляют условий для их непроизвольного исправления; с другой же стороны, чем дальше идея отстоит от наших обыденных представлений, тем меньше она дает поводов для сравнения и суждения, и тем большего труда требует её осознанная проверка. Однако когда предпринимаются попытки ввести народ в заблуждение относительно основополагающих принципов государственного устройства и заставить его принять политические догмы, опасные и унизительные, — **повседневный опыт** сводит на нет даже самые искусно выстроенные системы. И те, кого нельзя переубедить доводами разума, становятся прозелитами собственного кармана. В таких обстоятельствах государственные школы, цензура печати, наемные краснобаи, исказители истины, ложь путем умолчания и ложь прямая — всё это оказывается одинаково тщетным. Вопрос сводится к физическому факту ощущения; и каждый человек, оценивая тягостные или благоприятные впечатления, полученные им под влиянием своего правительства, выносит суждение о его характере и направленности независимо от любых отвлеченных рассуждений.

В последнее время в кругах привилегированных классов стало модным стремление завладеть системой общественного образования с прямой целью поддержания существующего порядка вещей, независимо от его достоинств; путем внушения — ex traduce — слепой веры в его божественное происхождение и в то, что этот порядок является единственно возможным для существования общества. Была разыграна внезапная и великая забота о духовном благополучии рабочих классов, дабы привить им покорность и терпеливое перенесение обид в делах земных. Однако опыт уже разрешил этот вопрос, доказав, что свидетельство фактов стоит выше свидетельства мнений. Нужда обучила народ столь искусно, что открыла ему глаза на истинные намерения самых коварных из его новоявленных наставников. Люди научились видеть в Библейских обществах едва ли не ловушку для своей независимости, а в Ланкастерских школах — лишь очередное орудие налогообложения. Именно в этом кроется истинная причина нынешнего спроса на сочинения, клеймимые как «двухпенсовая макулатура», и на иные издания, враждебные существующему строю. Стороны, вставшие на путь противостояния,

---

бесконечное множество сект, существующих среди христиан, заслуживают внимания лишь три направления мысли: деизм (или полное отрицание Евангелия), унитарианство и католицизм; всё прочее — лишь внешние отличия при отсутствии существенной разницы. Догматы и обряды Англиканской церкви слишком уж напоминают папизм, существующий под иным названием и с иным главою.

прекрасно понимают друг друга; и поборники «общественного порядка, алтаря и престола» уже начинают поносить народное просвещение как общественное зло.[363]

Подводя краткий итог значению общественных институтов в целом, можно утверждать, что они **могущественны** как инструменты реализации насущных интересов общества, как средства закрепления и упрочения тех привычек мысли и действия, которые отвечают потребностям народа. Однако они **бессильны**, когда превращаются в способ искусственного продления связей, более не совместимых с народным благоденствием или не соответствующих духу времени.

Каков бы ни был характер этих институтов в момент их зарождения, они неизменно созвучны либо мудрости, либо глупости того общества, в котором возникли; их же беспрепятственное сохранение зависит от статического состояния нации — как в нравственном, так и в физическом отношении. Долгое торжество деспотизма и мрака в Средние века обуславливалось не столько пагубным совершенством церковной дисциплины, сколько слабостью самого населения, сокрушенного войнами, мором и нищетой. Ибо, хотя церковь была сильна, а деспотичные монархи подчас доводились ею и аристократией до последней степени политического изнеможения, они всё же продолжали править во всей полноте своей власти.

Самые долговечные из институтов — китайская монархия, католическая иерархия, военная республика Рима и еще более поразительный строй Лакедемона — обрели свою незыблемость благодаря сохранению тех материальных условий, в которых они некогда возникли. Рим пал, когда размах его завоеваний нарушил равновесие между различными сословиями государства, а богатства изменили характер их потребностей и нужд. Католичество с каждым днем все более отступает под натиском прессы. Спарта пала перед лицом прогресса цивилизации, и Китай также склонится перед новыми законами, когда его сношения с Европой привнесут в жизнь народа иные искусства, иные цели и идеи, отличные от тех, что довлели над ним на протяжении столь многих веков.

Следовательно, любые попытки навязать нравственность с помощью принудительных и искусственных институтов — это тщетный и праздный труд. Нелепо ожидать от законов, религии, наставлений или наказаний такого направления национального развития, которое вступало бы в противоречие с насущными потребностями эпохи и страны. Потребности живого существа и средства, которыми оно располагает для их удовлетворения, суть истинные слагаемые всех его волеизъявлений. Там, где власть человека наиболее велика, а его

[363] Народное образование уместно лишь при народном правительстве, где частные интересы не могут существовать за счет нации. «*Вот, на мой взгляд, дух, в котором должно направляться воспитание в наследственной монархии; при этом, однако, следует соблюдать осторожность и крайне скудно распространять просвещение среди низших классов народа, ограничивая его почти исключительно религиозным обучением*». — Комментарий к «О духе законов» (**Де Траси**).

деятельность наименее стеснена, его поведение, как правило, отличается наибольшим постоянством. Общество же, которое обеспечивает достойное вознаграждение за труд всем классам и не допускает чрезмерного накопления богатств в руках немногих (со всеми вытекающими последствиями в виде праздности, роскоши и надуманных потребностей), имеет больше всего шансов стать устойчивым и нравственным, а значит — процветающим и счастливым.

Глава VI. О правах и обязанностях

На предшествующих страницах этой книги была предпринята попытка продемонстрировать действие **физической необходимости** в феноменах разума посредством прослеживания подчиненности интеллектуальных органов общим законам, управляющим функциями тех частей организма, чье назначение является чисто телесным. Автор стремился доказать с помощью анализа **моральных понятий**, что они суть результаты простого наблюдения, проистекающего из взаимодействия человека с человеком и той взаимной зависимости, которая присуща общественному характеру нашего вида. Наконец, были представлены некоторые обстоятельства, наиболее влиятельные в определении форм общества и в изменении процесса порождения идей, поводом для возникновения которых служат эти самые формы.

В ходе данного исследования была предпринята попытка показать, что понятия **правого** и **неправого** возникли из изначального неравенства представителей вида и того факта, что более сильный навязывает свою волю более слабому. То, что сопоставление порядка предписанных волеизъявлений с порядком органических или спонтанных волений, породило идеи третьего порядка, проистекающие не из веления и не из импульсов отдельной личности, но из вечной природы вещей; того порядка, который один лишь сообразен подлинным потребностям живого существа.

Подобное развитие нравственного понятия права, однако, не нарушает исконной связи между мотивом и действием: ибо действуем ли мы в угоду нашим частным животным склонностям, либо повинуясь велению закона или правилу абсолютного права — мы в равной степени стремимся избежать зла и обрести благо, кои природа, карательные санкции или разум в нашем воображении неразрывно связали с самой сутью дела.

В силу этого обстоятельства, заслуга и вина приписываются индивиду не на основании некоего отвлеченного рассмотрения его явных поступков, кои во всех случаях одинаково направлены к одним и тем же общим целям. Напротив, они приписываются наблюдателем как существом чувствующим, вынужденным оценивать все объекты сообразно их способности причинять ему страдание или доставлять удовольствие. Невежественный дикарь обращает свои привязанности без различия на одушевленные и неодушевленные предметы, на бессловесных тварей и разумных созданий — в зависимости от того, как они воздействуют на его чувствительность. И если разум и опыт научили цивилизованного человека сохранять подобные чувства лишь для субъектов нравственности, у него все же нет иных слов для выражения своего отношения к материальным причинам удовольствия и боли, кроме «любви» и «ненависти». **Нам нравится сахар и неприятен алоэ; и мы не можем сказать ничего большего о добродетельном и порочном**. Это проистекает не столько из бедности языка, сколько из общности

самой природы явлений: суждение в обоих случаях тождественно, хотя степень животного порыва в одном из них более интенсивна, чем в другом.

Подобно тому как свойством живого организма является стремление к удовольствию и избегание боли, так же естественно для него любить причины первого и ненавидеть причины второго. И подобно тому, как опыт исправляет наши суждения о добре и зле, связывая их с более отдаленными последствиями поступков, он отделяет чувства от причин чисто чувственного блага или зла, чтобы связать их с действием более общим и нравственным. Из этих соображений было показано, что связь между наказанием и нравственным проступком есть акт инстинктивный, не связанный с разумом; и что наказание применимо исключительно к **существу чувствующему** как внешний стимул, а не к существу нравственному как возмездие за преступность. Это подводит нас к рассмотрению права на наказание и, следовательно, к вопросу о правах в целом.

Хорн Тук, защищая свое определение прав как «вещей предписанных» и опровергая возражение о том, что подобное определение посягает на неотъемлемые права человека, отвечает следующими словами: «Право, которое я чту, — это не то право, которому поклоняются льстецы, не jus vagum, не прихотливое веление государей и министров; я следую закону Божьему, когда следую законам человеческой природы, о которых мы и без всяких человеческих свидетельств знаем, что они должны исходить от Бога; и именно на них основаны права человека, или то, что предписано человеку».[364] Законы человеческой природы, или сообразность вещей, несомненно, суть то единственное мерило, коим мы можем судить о том, чего правительство вправе ожидать от гражданина, а гражданин — требовать от правительства.[365] И совершенно верно, что, взывая к своим правам, мы всегда ссылаемся либо непосредственно на веления естественного закона, либо на установления некой предсуществующей конституции; однако, если не считать их за argumentum ad verecundiam, обращенный к властям предержащим, или за призыв к согражданам о поддержке, подобные воззвания весьма тщетны; ибо истребование права ничего не значит против силы превосходящей. Следовательно, необходимо исследовать сей вопрос еще глубже, заглянуть в саму природу и выяснить, каким образом люди пользуются какими-либо правами de facto; ибо права должны были

[364] «Развлечения Перли» (Diversions of Purley), т. 2, стр. 14.

[365] Поскольку это правило может быть постигнуто лишь путем наблюдения и a posteriori, оно может толковаться спорящими сторонами по-разному. Посему, когда народ заявляет требование о правах, оно неизменно наталкивается на утверждение, будто целью его является своеволие. В этом кроется одна из причин апелляции к древности — как если бы установленное было непременно правым. Не существует критерия, в коем сошлись бы обе стороны: а потому они взывают к установленному как к факту положительному. Таким образом, сообразность ни в коем случае не может быть источником прав: она есть лишь мерило для их осуществления. Абстрактное же понятие исполнено сомнений и неопределенности.

существовать на практике прежде, чем они могли стать предметом умозрительного изыскания.

В состоянии совершенной дикости и независимости (если бы таковое состояние было возможно) права человека были бы строго соизмеримы с его физической силой; а его свобода была бы ограничена лишь пределами возможного. Но поскольку по самой своей природе человек вынужден искать общества себе подобных, эта необходимость обязывает его подчинять свои действия воле тех, кто сильнее его, и сообразовываться с пределом выносливости тех, кто слабее. Иными словами, применение его физических сил ограничено как его склонностью к сочувствию, так и его собственной беззащитностью.

В этом состоянии обособленности — будь оно вообще совместимо с его природой — он пользовался бы правом делать лишь то, что позволяет его телесное устройство, и не более того. Мы не можем утверждать, будто он обладал бы правом летать, переваривать раскаленные угли или поднимать тяжести, превосходящие его мускульную силу, только лишь на том основании, что он не стеснен волей другого человека. Следовательно, в таком состоянии (где принуждение со стороны других лиц отсутствует, свобода абсолютна, а права максимально обширны) мы видим, что живое существо было бы предоставлено своим естественным желаниям, дабы использовать все свои способности для совершения всего, что они позволяют, в погоне за счастьем.

Из этого анализа явствует, что вещи, именуемые нами **правами**, во всех случаях суть **возможности** (powers); свобода совершать некое действие или применять природные способности в заданном направлении, не будучи стесненным внешней силой. Совершенно очевидно, что для осуществления власти необходимо ею обладать; а потому в гражданском обществе, прежде чем индивид или сословие смогут пользоваться своими правами, они должны обрести такое влияние на чувства и помыслы остальной части общества — будь то посредством морального или физического превосходства, — которое нейтрализовало бы всякое сопротивление. Ибо согласно закону животной природы, когда двое людей оказываются в сфере действия друг друга, тот, кто способен сильнее воздействовать на страдания и радости другого — тот, кто сильнее — неизбежно навязывает свою волю оппоненту. И поскольку не существует иного средства ограничить абсолютную свободу, кроме как через волеизъявление превосходящей силы, то нет и иного способа избежать абсолютного рабства, кроме как принять внушительную позицию перед лицом тех, кто склонен к тирании.

В простейшей форме социального бытия, в которой только может существовать человек (а именно — в независимой семье), права и обязанности её членов вытекают непосредственно из соотносительной силы мужчины, женщины и потомства. В самых грубых формах жизни правит исключительно физическая сила, и заведенный порядок меняется при каждом перераспределении этой мощи: когда отец стареет,

а ребенок достигает зрелости, последний берет руководство на себя. Однако по мере развития **цивилизации** главенствующую роль берет на себя интеллектуальное превосходство; сила воли вытесняет чисто физическую мощь, и незримое влияние исподволь перерастает в авторитет. Так, мы часто обнаруживаем, что слуга правит госпожой, госпожа влияет на министра, в то время как министр управляет королем; и государственные дела, таким образом, оказываются во власти самых низменных и ничтожных интересов.

Ложным является утверждение, будто люди, вступая в общественный союз друг с другом, взаимно отказываются от некой части своей свободы, дабы обеспечить себе безмятежное обладание её остатком. Если под свободой понимать способность использовать наши дарования для удовлетворения своих желаний, то это отнюдь не так: ведь даже в самом дурно устроенном обществе индивид обладает несравненно большей властью над свойствами материи, нежели в условиях обособленной независимости.[366]

Однако, хотя совокупная мощь общества в целом возрастает, значительно превосходя простую сумму сил составляющих его единиц, в силу законов органического развития здесь протекают те же процессы, что и в лоне семьи; некоторые индивиды неизбежно и неотвратимо берут на себя главенство, навязывая свою волю согражданам и извлекая из этого союза гораздо большую выгоду, нежели остальные. Это дает начало различным известным формам правления — **монархиям**, **аристократиям**, **теократиям**, **демократиям**, — в зависимости от того, какая сила получила наибольшее развитие: мощь меча, знания, богатства или общественного мнения. При любом из этих порядков каждый человек и каждый класс людей стремится захватить как можно большую долю руководства делами, в той мере, в какой позволяют их относительная сила и значимость.

Однако там, где подобный порядок сохраняется в течение долгого времени, все стороны привыкают к своему фактическому положению и начинают считать его единственным, на которое они вправе претендовать. Таким образом, они приходят к мысли о некоем **метафизическом свойстве** самой идеи своего права и упускают из виду его физическую природу, средства, которыми оно обеспечивается, и цель, ради которой оно заявляется и осуществляется. Между тем, будь подобные перемены более частыми, люди научились бы возводить свое положение к его

[366] «Говорят, будто дикари нуждаются в малом; на самом же деле они нуждаются во всем, лишенные даже понимания того, что могло бы быть им полезно. Дикари живут лишь для того, чтобы существовать, и существуют лишь в своих чувствах; за чревоугодием и расточительством неизбежно следуют голод и нужда; не ведая ни предвидения, ни памяти о прошлом, каждый день для них — лишь отрезок неизведанного бытия. Они столь обездолены, что ирокезы выделяются среди прочих индейцев как строители хижин: ибо обычными их жилищами служат пещеры, созданные природой, или вырытые ими самими землянки. Таковы прерогативы, добродетели и радости людей, не достигших цивилизации, — тех, кто, пребывая в дикости и невежестве, следует лишь своим инстинктам и страстям». — «Natural government».

истинным причинам и называли бы свои привилегии более подобающим образом — не своими **правами**, но своей **силой**.

Этот процесс в точности аналогичен тому, посредством которого развивается представление о моральном качестве верного в противовес дурному; и механизм человеческого разума требует, чтобы, квалифицируя обязанности как нечто должное к исполнению, мы точно так же почитали бы те возможности, которыми общественное устройство позволяет нам пользоваться, как нечто должное к обладанию.

Сторонники моральной теории, основанной на воле Божьей, считали великим преимуществом то, что такая система наделяет права человека священным происхождением, призванным внушать благоговение сильным мира сего и воодушевлять многих на сопротивление посягательствам немногих. Однако в высшей степени прискорбно, что если мы станем искать волю Божью в умозаключениях из действия вещей и из провозглашенных таким образом законов природы, у нас не окажется средств придать подобному толкованию хоть какую-то достоверность; так что все партии вольны толковать великую книгу сообразно внушениям своих интересов и страстей. Одна выдающаяся писательница провозгласила монархию, аристократию и народ тремя началами, присущими самой природе, — хотя опыт дает множество примеров государств, успешно и благополучно ведущих свои дела в отсутствие двух из этих составных частей общества. Но если она (не имевшая корыстных интересов, способных ввести в заблуждение) столь явно и превратно истолковала предлежащий ей текст, то чего же ждать от тех, чье верховенство зиждется на способности искажать и неверно применять его?

Дело, однако, обстоит куда хуже, когда мы ищем основание права в особых откровениях, обладанием коими хвалятся различные народы. Ибо в отношении них невозможно привести все человечество к согласию; и можно смело утверждать — по крайней мере, о подложных откровениях, — что они измышлены с единственной целью порабощения и унижения человеческого рода. Как о естественной, так и об откровении явленной религии можно также заметить, что одного лишь знания воли Божией едва ли когда-либо хватало для того, чтобы побудить сильных мира сего уважать Его установления в пользу слабых.

С начала времен, при любых религиозных воззрениях, свободы человека и вопрос его прав обсуждались на острие меча; и народы наслаждались большей или меньшей свободой в зависимости от их просвещенности или невежества, их независимости или упадка духа, от того, было **большинство** сильнее, либо слабее правящего меньшинства. Поэтому, пусть даже в качестве эвфемизма или залога умеренности победителя, народ, будучи в силе, неизменно требовал лишь соблюдения своих прав, однако объем и характер этих прав всегда определялись мерой того сопротивления, которое им противопоставлялось.

В процессе постепенного становления зарождающихся государств составляющие их индивиды занимают подобающие им места сообразно своей относительной силе; это происходит в силу спонтанного устремления, подобного **избирательному сродству** в химии. Там, где при распределении власти ключевую роль играет физическая сила, может случиться множество раздоров и переворотов, прежде чем окончательно выяснится, в чью пользу склонились весы. Но там, где в дело вступают богатство или знания — в особенности последние, — исход дела обычно решается мгновенно: жрец вещает в окружении чудес, оракулов и вызванных им призраков, а невежественный и робкий народ трепещет и повинуется.

Однако, поскольку знания и мощь правящей части общества никогда не были столь всеобъемлющими, чтобы охватить все пружины человеческих дел и подчинить себе каждое действие индивида, со временем баланс сил в недрах государства неизбежно меняется. Либо проявляется некий новый элемент, либо возникает новая комбинация, либо же общее развитие или упадок народа изменяет его отношения с хранителями власти. До тех пор, пока правительство соблюдает общие интересы общества, вопрос о народном сопротивлении возникает редко. Однако если в силу некоего стечения обстоятельств рождается интерес, враждебный установленному порядку, наступает **пора испытания сил**. Представители этого частного интереса сопоставляют выгоды покорности с выгодами противодействия, принимая в расчет вероятность успеха или поражения; в итоге они либо продолжают повиноваться, либо восстают — в зависимости от того, какие доводы в пользу того или иного пути перевешивают.

Если вследствие неверного расчета в действие вступает интерес, не располагающий силой, необходимой для свержения существующей власти или подчинения её своим целям, побежденные объявляются **изменниками** и несут наказание, обрекаемые на позор буквой закона. Если же, напротив, их предприятие венчается успехом и они подтверждают правомерность своих притязаний, доказав свое превосходство в силе, их провозглашают **героями** и **патриотами**. Имена их передаются потомкам в ореоле славы, которую беспристрастный суд историков может со временем подтвердить или оспорить, но которая никогда не ставится под сомнение, пока сохраняется их собственное господство. Это единственный источник права и обязательств, который признается — и когда-либо признавался — на практике с самого начала человеческой истории. Любая попытка основать свободы человека на ином фундаменте лишь введет народ в заблуждение и отвлечет его внимание от единственных средств сохранения своей свободы — от развития собственных умственных способностей и физических ресурсов до поддержания общественного духа.

В этом взаимодействии и противоборстве правителей и подданных сила сильнейшего является источником власти, а сила слабейшего — её пределом. В любом государственном союзе, за исключением единственной формы правления — посредством полного народного представительства, физическая мощь народа

превосходит мощь правительства; однако волеизъявления людей из-за отсутствия сосредоточенности представляют собой лишь множество разрозненных единиц, которые с трудом поддаются сложению в единое целое. В руках же правительства, напротив, вся государственная мощь приводится в движение единой волей (или чем-то весьма к ней близким); таким образом, она может последовательно обрушиваться на каждую отдельную группу граждан, вызвавшую её враждебность. Редко случается так, чтобы поведение правительства было оскорбительно для всей массы граждан сразу. Многие привязаны даже к самым худшим администрациям корыстными мотивами, некоторые — просто по привычке или из чувств; большая же часть тех, кто не одобряет принимаемые меры, может удерживаться от действий своими страхами или любовью к покою.

Это обстоятельство весьма благоприятно для общественного спокойствия, которое в противном случае оказывалось бы под угрозой при каждом незначительном волнении в недрах общества. Стоит заметить, что трудность приведения в движение огромных масс возрастает по мере того, как прогресс цивилизации множит мотивы к действию и повышает общую осведомленность народа. Бедная и невежественная толпа под давлением нужды или подстрекаемая демагогом может восстать по любому ничтожному поводу. Однако народ, которому есть что терять и который осознает силу общественного мнения, решится на подлинную революцию лишь в том случае, когда угнетение станет поистине невыносимым. Британское правительство сохраняет стабильность, не зная смены династий, уже более ста тридцати лет; и со времен Генриха VII до настоящего момента — если, как и следует, рассматривать мятеж и революцию как единое движение — общественное спокойствие лишь изредка нарушалось народным сопротивлением, за исключением событий, порожденных той самой революцией. Напротив, в предшествующий период истории страны мы находим лишь череду гражданских войн и общественных бедствий, проистекавших исключительно из той легкости, с которой народ поддавался на призывы к восстанию.

Причина этой перемены двояка. Благодаря прогрессу цивилизации все противоборствующие стороны начинают лучше осознавать свои **истинные интересы** (которые гораздо более схожи, чем принято воображать); но также и силы различных сословий в государстве приходят к большему равновесию. Сила мнения, развивающаяся в просвещенном народе, служит для того, чтобы держать правящую сторону в узде и умерять ее порывы. Таким образом, даже в тех государствах, где свобода подданного не имеет конституционных гарантий, — если общественное мнение имеет возможность проявлять себя — государственное правосудие редко попирается вопиющим образом.

Когда с течением времени интересы, послужившие основой для установленного порядка, претерпевают изменения, новые интересы, приходящие им на смену, могут либо ниспровергнуть существующие институты, либо постепенно подточить и развратить их. Влияние богатства и роскоши в государстве обычно проявляется

вторым путем; влияние же физической силы — будь то со стороны народа, армии или аристократии — действует первым. Стремление к **интеллектуальному совершенствованию** всегда направлено в сторону умеренности или практического улучшения действующих институтов, ибо умы людей в силу привычки привязаны к тому, к чему они привыкли. Поэтому требуется колоссальное давление на просвещенный народ, чтобы принудить его к восстанию.

Однако, когда притеснения тиранического правления преграждают средства к существованию и превращают жизнь в **бремя, ставшее невыносимым**, воля народа сосредоточивается на единственной цели — сопротивлении. И тогда, без всякого прямого заговора или предварительного соглашения, общественная воля действует столь же неуклонно, как и воля самой сплоченной власти. Когда положение дел доходит до этой точки, участь правительства становится безнадежной: достаточно сущей мелочи, самого непредвиденного и менее всего способного вызвать подозрение случая, чтобы привести массы в движение — и революция совершается без особого труда.[367]

Согласно такому взгляду на общество, мы узнаем, что его составляющие массы — корпорации, касты и сословия, на которые оно разделено, — пребывают в состоянии равновесия и, подобно частицам грубой материи, остаются в покое (или почти в покое) лишь тогда, когда их движущие силы уравновешены. Следовательно, действительная форма и состояние любого правительства, не находящегося накануне перемен, с изрядной точностью отражают относительную силу различных классов этого общества. Там, где на деле соблюдаются так называемые **права человека**, сам человек является предметом уважения и опасения. Гражданин обладает богатством, разумом, средствами влияния и способностью к действию; он свободен от губительных предрассудков; он с точностью сознает свои истинные интересы и готов их отстаивать. Если же эти качества отсутствуют, никакая «мертвая буква» конституции не сможет их заменить. Правительства — то есть люди, облеченные властью, — всегда будут присваивать себе столько полномочий, сколько позволит им народ; и их посягательства неизменно будут простираться до самых пределов сопротивления.[368]

Там же, где, напротив, суверен всевластен, а законы безмолвствуют, народ пребывает в бедности, невежестве и предрассудках; он запуган малейшим проявлением силы, ослеплен ложными учениями и скован давней привычкой к

---

[367] *«Никакая власть не может быть столь велика, чтобы оставаться долговечной, когда над ней тяготеет страх».* - Цицерон, «Об обязанностях».

[368] *«Ученейший Вико с великим проницанием полагал, что известное изречение Солона „познай самого себя“ было скорее политическим, нежели моральным наставлением. Преисполненный истинного чувства справедливости, Солон этим девизом напоминал угнетенному народу о том, что они — люди, равные в правах с теми, кто их притесняет».* — **Дельфико**, «Исследование истинного характера римской юриспруденции», Неаполь, 1815, стр. 73.

терпеливому страданию, не осознавая собственной физической мощи и будучи не в силах пожелать своего освобождения.

Таковы факты, которые являет история в отношении прав народа, насколько это касается их практического осуществления. Если бы иное развитие идей наделило их именем **сил**, а не **прав**, многих неясностей удалось бы избежать, и истинная природа их неотчуждаемости предстала бы во всей очевидности.

Утверждать, что никакой конкретный закон, нарушающий конституционный принцип, не имеет обязательной силы — значит произносить фразу, лишенную всякого смысла, ибо обязательная сила любого закона зиждется на его карательной санкции. До тех пор, пока законодатель остается господином общественной силы, его законы, каковы бы они ни были, обладают обязательной силой; и заявления о том, что его установления несправедливы, насильственны и пагубны для общественного благоденствия, не удержат его от проявления своей воли. Если же эта фраза призвана успокоить совесть и подстрекнуть к сопротивлению, она имеет немногим больше значения, поскольку к восстанию людей толкают инстинктивные порывы; лишь немногие индивиды, прежде чем решиться на него, сводят между собой и тиранами счета «дебета и кредита».

Неотчуждаемые силы, однако, суть вещи куда более понятного свойства; ибо силы природы, хотя и могут быть уравновешены или приостановлены, никогда не уничтожаются; и те побуждения, которые природа запечатлела в человеке ради сохранения его существования, не могут быть ограничены или подавлены без немедленного ущерба для мощи и благоденствия всего общества.

Неотчуждаемая сила/власть (**power**), таким образом, — это власть, осуществление которой столь тесно связано с человеческим счастьем, что ни один народ не согласится добровольно отказаться от неё, разве что под давлением превосходящей силы. И каким бы официальным ни был политический закон, приостанавливающий её действие, этот закон никогда не будет иметь в обществе постоянного веса, достаточного, чтобы удержать людей от стремления обрести то, что он запрещает. Поскольку противоречие между законом и великим кодексом природы доступно простому восприятию, всякий чувствующий человек будет инстинктивно склонен отказывать такому закону в какой-либо моральной силе, невзирая на его карательные санкции. Хотя осуществление власти и приостановлено, пока закон сохраняет свою мощь, органическое стремление к действию остается неизменным. В этом смысле, и только в этом, власть является неотчуждаемой, ибо никакая человеческая сила не способна изменить законы природы.

В тех государствах, где права человека почитаются, где его естественная способность к благотворной деятельности не сдерживается тираническими институтами, все силы общества развиваются стремительно, а счастье и комфорт каждого отдельного гражданина поощряются в высшей степени. Деспотические

государства, напротив, всегда сравнительно слабы; в то время как в тех странах, где народ, в силу склонности к своеволию, присваивает себе власть сверх своих знаний и сил, быстро впадают в анархию и хаос.

Если от рассмотрения прав обратиться к анализу **обязательств**, то приводимый довод получит еще более неоспоримое подтверждение. Понятие обязательства в его моральном значении прекрасно передается тем наглядным образом, который заключен в самом этом слове: а именно — нечто связывающее и сдерживающее. Абсолютной свободы — или безразличия ко всем способам действия и избавления от всяких обязательств — в самой природе вещей не существует. Каждая форма материи обладает определенными качествами и свойствами, которыми установлены и определены её отношения с остальной природой. Кислота не вольна в своих отношениях с щелочью; равно как и твердое тело не может реагировать двояким образом на один и тот же импульс. Это замечание в равной степени применимо как к искусственным механизмам, так и к живому организму, который столь разительно их напоминает.

Но если спросят: в чем заключается природа этого обязательства? Какова причина, заставляющая кислоту воздействовать на щелочь именно так, а не иначе? Мы ответим: её **физическое строение**. Подобным же образом и машина совершает определенные движения, поскольку расположение её колес и рычагов, её грузов и сил сопротивления неизбежно диктует единственный способ действия. То же самое справедливо и для человека, чья организация и чувствительность устроены и преобразованы так, чтобы приходить в определенное движение под воздействием благодеяний и обид, надежд и опасений, и сообразно реагировать на приложение этих причин. Таким образом, влечения его природы - суть те обязательства, что побуждают его искать общества себе подобных и жить в союзе с ними; его же нужды и немощи лишь подтверждают обоснованность этого долга.

Подобным образом и все врожденные склонности органического строения животного способны определять его поведение сообразно их побудительной силе. Ребенка обязывают его страх и любовь к родителям; воины же и суды государей принуждают подданных к повиновению. Различие между физическими и моральными мотивами, хотя и полезно на практике, не является философски верным: ибо действуем ли мы под влиянием приятного или болезненного ощущения или же из опасения при наступлении известных обстоятельств столкнуться с тягостными либо радостными последствиями — механизм остается в точности тем же самым. **Обязанность стремиться к благу и избегать зла** остается неизменной; и, подчиняясь превосходящей силе, идущей вразрез с нашей волей или разумом, мы лишь признаем, что страх перед карой мучительнее, нежели отказ от собственных

склонностей или предполагаемые последствия отступления от того, что признано должным.[369]

Мотивы, равным образом, подразделяют на благоразумные и обязывающие; то есть на те, что определяются надеждой на благо, имманентно присущее самой сделке, и те, что действуют через страх перед законодательными карами. Это различие очевидно ложно: ибо с тем же успехом можно назвать благоразумным повиновение закону, а стремление к внутреннему благу — обязательным. Обязательство в обоих случаях действует одинаково, принуждая живое существо искать приятных ощущений и избегать боли. Ибо даже когда мотивом служит страх оскорбить или надежда угодить высшему существу, поступки в равной степени направляются животной склонностью, удовлетворение которой есть удовольствие, а пресечение — страдание. Все, что было написано или проповедано о силе морального долга, о разумности повиновения законам — будь то Божьим или человеческим, — сводится лишь к этому факту; и человек бывает справедливым, щедрым, честным или благочестивым (когда его действия являются результатом расчета, а не темперамента) ровно по той же причине, по которой он отдергивает руку из кипящей воды.

То, что в определенных случаях может быть выгодно ограничивать термин «обязательство» лишь теми силами, которые воздействуют на нас через влияние личностей, допускается охотно; однако было бы совершенно невозможно, при всем уважении к подлинной природе наших идей, ограничить термин «мотив» лишь воздействием обстоятельств.

Восприятие целесообразности и полезности той линии поведения, которая характеризуется как добродетельная или благая, есть простой акт суждения, подобный восприятию наличия или отсутствия любого чувственного качества во внешнем объекте; почтение и уважение, которые люди, не окончательно развращенные, питают к добродетели даже в моменты своих собственных отступлений от неё, суть неизбежное следствие того закона, который подчиняет все наши восприятия поиску блага и отвержению зла.

Однако осознание **сообразности** (разумности) поступка — лишь один из множества мотивов, и потому оно не всегда обладает решающей силой в определении поведения. Ибо, хотя разум и способен со всей строгостью доказать непогрешимость общего положения, надежда и страх будут искажать его применение в каждом конкретном случае. Кроме того, когда страсти чрезмерно

---

[369] В этом и заключается смысл утверждения **Беккариа** о том, что обязанность в её моральном смысле есть сокращенный знак умозаключения, а не идеи, поскольку она выражает вывод, сделанный из сопоставления силы вещей с силой лиц.
«*Слово „обязанность“ есть сокращенный знак умозаключения, а не идеи. Попытайтесь отыскать идею, соответствующую слову „обязанность“, и вы ее не найдете; совершите умозаключение, и вы поймете себя сами и будете поняты другими*».
(«О преступлениях и наказаниях», стр. 10, прим.)

возбуждены, то локальное и частное благо или зло, на которое они указывают, приобретает в человеческих чувствах господствующий вес и влияние, далеко превосходящее его действительную и внутреннюю ценность. Движущая сила осознания сообразности может быть укреплена благодаря **воспитанию** или связи с нашим благоговением перед Высшим Существом; и напротив, его влияние может быть ослаблено дурными привычками, привычным потаканием личным прихотям и любовью к немедленным наслаждениям.

Во всем этом нет ничего, что не наблюдалось бы в любом другом акте нашей воли. Моралисты, однако, твердят нам, что это осознание является строго обязательным и должно всегда определять наше поведение. Если под подобными увещеваниями они подразумевают лишь то, что внушения этого чувства наиболее надежны, что они уберегли бы человека от многих заблуждений и вернее всего привели бы его к счастью, — такое суждение неоспоримо. Но если под словами «должно» и «обязательно» они подразумевают некую **метафизическую силу**, независимую от обычных законов моральной причинности, которую человек волен проявлять или не проявлять по своему усмотрению, — то подобные суждения столь же далеки от истины, как и утверждение, будто воля способна беспредельно увеличивать сократительную силу мышц.

На практике повсеместно обнаруживалось, что этот мотив сообразности не являлся обязательным для тех, кто обладал властью; из чего мы вынуждены заключить, что его внутренняя сила безусловно уступает силе различных личных побуждений. И коль скоро это является физическим фактом, нелепо полагать, будто взывания к морали могут принести какую-либо пользу, за исключением тех случаев, когда силы находятся в почти равном равновесии и малейшее добавление веса к любой из чаш склоняет чашу весов. При обсуждении великих политических интересов более чем ребячеством было бы медлить в раздумьях о том, что должно существовать; нам следует останавливаться лишь на познании того, что может быть, или, вернее, того, что неминуемо должно быть. Ибо только на этом основании гражданин может действовать с хоть какой-то надеждой на достижение общественного благоденствия.

Чувство сообразности — лишь одно из многих обязательств; и пока кровь горяча, а жизненные силы в расцвете, наша природа подвластна множеству обязательств куда более категоричных и абсолютных. Обязательства, порождаемые привязанностями, как правило, имеют большее влияние, нежели те, что проистекают из расчетов разума. Так, любовь ребенка к родителю укрепляется, когда к механическому импульсу, заложенному воспитанием, добавляется развившееся чувство благодарности к благодетелю. Точно так же привязанность к правительству служит бесконечно лучшим залогом повиновения, нежели принуждение со стороны **карательных законов**. Самые мощные побуждения к праведному и благородному поведению (там, где они вообще существуют) — это те,

что проистекают из природной чувствительности и естественного преобладания общественных симпатий.

В действительности, любые наклонности, господствующие в устройстве каждой отдельной личности, строго предопределяют её действия — так же неизбежно, как вращение является вынужденным движением колеса вокруг своей оси, или как систола и диастола суть обязательные действия сердца. В отношении них индивид совершенно лишен контроля; он бессилен совершить любое движение, которое противоречило бы их велениям.

Подобным же образом и обязательства, возникающие под воздействием чужой воли, целиком проистекают из относительной слабости обязанной стороны. Ибо воздействует ли законодатель через любовь, страх, благодарность или осознание пользы — это влияние в равной степени зависит от неспособности субъекта искать свое счастье иным путем, кроме подчинения правящей власти. Всякий раз, когда человек может избежать власти или ускользнуть от бдительности законодателя, он освобождается от своего обязательства; и по тому же принципу, когда он находит последствия неповиновения более сносными, нежели страдания или позор подчинения, он становится столь же свободен. Тот, кто дерзает умереть, более не раб превратностей жизни; он изъят из-под действия всякого закона и стоит выше любого контроля.

И поскольку всякое право или власть де-факто проистекают из силы, то и всякая обязанность есть следствие слабости — или же предрасположенности подвергаться воздействию, страдать или извлекать выгоду под влиянием навязывающей стороны либо господствующего мотива.[370]

Коль скоро таково необходимое и неизбежное положение вещей, то с какой целью нам обращаться к абстрактным методам исследования и искать некое метафизическое право, которое не может воздействовать ни через какую санкцию? Продирайтесь сквозь многотомные труды Гроция или Пуфендорфа; уточняйте, подразделяйте и проводите тончайшие различия — и всё же вам не удастся отвратить ни единого абсолютного монарха даже от самого пустячного каприза! Именно реальный баланс сил, действительная слабость королей перед лицом регулярных армий друг друга, а также перед богатым и просвещенным населением сдерживают современные правительства. Это заставляет их прислушиваться к разглагольствованиям законников и подчиняться силе общественного мнения. При этом они пользуются софистикой юристов ad captandum vulgus (ради привлечения толпы) точно так же, как заключают свои договоры во имя Пресвятой и

[370] «*Поскольку суверенитет составляют сила, мудрость и благоволение, мы должны, напротив, предположить в подданных слабость и нужду, из коих и проистекает зависимость*». — **Бурламаки**.

Нераздельной Троицы — лишь для того, чтобы внушить трепет подданным и вести народ к тем целям, которых желает достичь министр.

Но в возражение против этих взглядов спросят: «Неужели нет прав, по закону принадлежащих человеку общественному; неужели нет иных преград тирании, кроме пределов физической силы?» — ответ на этот вопрос можно смело доверить опыту последних тридцати лет. Какую пользу принесли самые неоспоримые доводы, самые признанные принципы гражданских прав перед лицом революционных трибуналов — будь то ультра-террористов или ультра-роялистов? Какую силу имеют эти права против самовластных монархов Пруссии, Австрии и прочих участников «Священного союза королей против народов»? Выводите ли вы свои права из естественного закона? Но люди, облеченные властью, редко чтят природу или человечность. Основываете ли вы их на явленной воле Божьей? Лицемер в священнических одеждах ничуть не менее открыто попирает заповеди Евангелия. Единственный путь обжалования высочайшей воли и прихотей деспотов — это обращение к общественному мнению и к мечу. Ибо они открыто и во всеуслышание:

Свою веру возводят
На священный текст пики и мушкета;
Разрешают все споры
Непогрешимой артиллерией;
И доказывают истинность догматов
Апостольскими ударами и побоями.
(Сэмюэл Батлер)

Посему не является врагом свободы или недругом человечества тот, кто, отвлекая внимание людей от праздных и бесплодных умствований, направляет его к истинным источникам народного благоденствия. **Народы земли**! Если вы желаете, чтобы человечество уважали, — сделайте его достойным уважения; поддержите достоинство человеческого рода, возвысив ценность отдельного человека; сплачивайтесь, сотрудничайте друг с другом; взращивайте международное благорасположение и пресекайте узколобые, разобщающие предрассудки; ибо великие интересы народов тождественны везде, где только встречается человек, на любой земле, хранящей отпечаток его стоп. Укрепляйте себя познанием, деятельностью, энергией воли, верной оценкой причин и следствий — и тирания станет невозможной!

Таков мог бы быть ответ на возражения оппонентов, однако он не исчерпывает существа дела. У тирании есть естественные пределы; существуют принципы, которые нельзя нарушать безнаказанно. Неоспоримая истина заключается в том, что потенциально существует некое правило поведения, строго согласующееся с человеческими потребностями; правило, которое выражало бы всю совокупность отношений, кои сама природа человека требует соблюдать в общении людей между

собой. Будучи соблюдаемым, это правило сделало бы человечество настолько счастливым, насколько позволяет его естество, увеличило бы его численность до предельных границ и предоставило бы величайшую возможную свободу личным склонностям каждого.

Сообразно этому правилу, человек от природы обладает неотъемлемыми правами, в которых нельзя отказать, не уменьшив тем самым общую сумму счастья. Везде, где живет знание хотя бы о части этого правила, человечество в целом будет стремиться к его осуществлению и не удовлетворится никаким правительством, которое препятствует его действию. Это стремление есть факт, оказывающий определенное влияние на волю сильнейшей стороны; его движущая сила — закон природы, который невозможно вычеркнуть из общего кодекса. Впрочем, остается лишь сожалеть, что ее относительная сила недостаточна для того, чтобы придать общественным делам благотворное направление.

Подобное правило, если бы его удалось отыскать, было бы рассчитано не просто на абстрактного человека, но на существ, наделенных индивидуальными особенностями, живущих в различных климатических условиях, на разных почвах и в разном политическом положении, обладающих различными приобретенными идеями и по-разному сформированными потребностями.[371] Оно, следовательно, не могло бы быть единым для всего человечества и по этой причине не может быть определено a priori.

Однако методом опыта и наблюдения можно начертать общие контуры этого правила в степени, достаточной для того, чтобы указать, какие полномочия можно без опаски доверить правительствам, а какие следует оставить народу; дабы обрести, с одной стороны, стабильность и безопасность, а с другой — мир и преумножение средств. Достаточно лишь поверхностного знакомства с нравственной и физической историей человеческого рода, чтобы знать: свобода личности, собственности и убеждений суть блага, без которых ни одно разумное существо не может быть удовлетворено и на которые ни одно правительство не может посягнуть, не ослабив тем самым нацию в её внешних сношениях и не поставив под угрозу свою собственную безопасность внутри страны.

Широкое распространение этого знания само по себе служит преградой для нападок деспотизма; и везде, где оно существует, оно ipso facto накладывает

---

[371] «Кажется, природа, жаждущая явить свое величие в многообразии своих физических творений, в равной мере желает заставить сиять свои чудеса в разнообразии тел нравственных. У каждого правительства есть свои особые пружины, приводящие его в действие. Но те из них, что заставляют его действовать в одно время, оставляют его в бездействии в другое. Нравы одного столетия никогда не совпадают с нравами столетия предшествующего или последующего; интересы наций меняются подобно поколениям, и всего нескольких лет или разницы в один меридиан достаточно, чтобы сделать пагубным в одно время или в одном месте то, что было полезно в другое время или в ином месте». - **Филанджери**, кн. 1, гл. 5.

определенные ограничения на произвольные и беспринципные изъявления воли тирана. Ибо, даже если знание это не приводит к принятию официальных постановлений в пользу народа, оно в то же время просвещает волю деспота относительно его собственных истинных интересов и обуздывает его той видимостью сопротивления, которую оно противопоставляет произволу. Именно поэтому даже в тех европейских государствах, где управление поставлено хуже всего, а народ наиболее жалким образом повержен к стопам суверена, дела ведутся лучше, чем при дворах магометанских. Это знание укрепляет слабейшие народы против их тиранов, а самые свободные — против них самих; и там, где сие правило неведомо или презираемо, наступающая вслед за тем анархия или политическое бессилие в изобилии доказывают, что законы природы нельзя нарушать безнаказанно.

Если же возразят, что полученные таким образом выводы касаются общества в целом и зачастую неприменимы к отдельным личностям; что тиран может извлекать выгоду из своего деспотизма, в то время как последствия его дурного правления падут лишь на его невинное потомство, — на это можно ответить, что подобные исключения встречаются реже, чем принято считать, и что то же самое возражение может быть выдвинуто против любых систем вообще. Политические и моральные преступления процветают при любом существующем нравственном или религиозном учении; и там, где общественное мнение и правосудие бессильны нанести удар, крайне редко случается, чтобы иные санкции оказывались хоть сколько-нибудь действенными против угнетения и несправедливости.

Что же касается прав, проистекающих из особых соглашений между государем и народом — из хартий, иммунитетов, писаных конституций и прочего, — то они остаются совершенно безжизненными, когда сила или подкуп ослабляют сопротивление народа и дают правительству возможность безнаказанно их попирать. Их действенность зиждется исключительно на воле и способности нации добиваться исполнения их условий; формы же, которые они порождают, лишь облегчают отстаивание этих постановлений. Предоставляя сопротивлению законное русло, они, несомненно, направляют умы людей к независимости и заменяют союзы, порожденные своеволием и беспорядком, союзами, зиждущимися на порядке и благопристойности, которые концентрируют и воодушевляют общественную волю. Однако в ином отношении они не меняют природы вещей и оставляют отношения между правителем и подданными ровно в том же состоянии, в каком застали их.

Любое состояние общественного бытия служит иллюстрацией этой истины. Повсеместно мы видим, что **общественная сила** распределяется между различными классами общества в строжайшем соответствии с их относительным влиянием; она переходит из рук в руки после непродолжительного сопротивления при каждой перемене в положении граждан. Воинственный народ с оружием в руках редко можно поработить; а просвещенная нация, благодаря, находчивости и

ловкости, сумеет извлечь выгоду из любого стечения обстоятельств и, неустанно следуя своей цели, в конечном итоге добьется политического верховенства, которое привилегированный класс мог узурпировать при менее благоприятных стечениях обстоятельств.

Следовательно, народу бесполезно сетовать на порочность администраций или уповать на добродетель своих правителей в надежде обрести свободный строй. Чтобы стать незыблемой, **свобода должна быть завоевана и поддерживаема энергией самих граждан**. Хартии, по сути, могут дароваться (octroyées) или разрываться (déchirées) по прихоти деспота; ибо они — лишь пергамент и воск, мертвая буква, если их не оживит мужество и доблесть тех, в чью пользу они составлены. Нациям, в которых свобода клонится к закату, а конституция разлагается, следует винить лишь собственное своенравие и безрассудство, толкающие их променивать свои коренные интересы на ничтожные и второстепенные выгоды. Там, где просвещенность народа равна просвещенности его правителей, власть не может продвинуться ни на шаг в своих посягательствах без добровольного отступления со стороны самой нации. Как бы ни было целесообразно карать должностные злоупотребления и как бы естественно ни было негодовать на тех, кто наносит нам вред, едва ли справедливо выносить приговор преступлениям, в которых сам судья является соучастником виновного.

То, что источником прав на практике является сила, подтверждается общим состоянием общества почти во всех его сферах. В Европе едва ли найдется хоть один акр земли, который не удерживался бы правом меча. Принцип uti possidetis (владение по факту) повсеместно является признанным правом завоевателя. Статус-кво до начала войны (status quo ante bellum) — это универсальный порядок при равновесии сил или взаимном истощении; в то время как «горе побежденным» (vae victis) — это мера, отмеряемая именем небес тем, кто совершенно беззащитен.[372]

Реальный перевес в государстве в конечном счете всегда склоняет чашу весов в пользу тех, кто им обладает. Однако случай может порой даровать временное торжество той стороне, которая без этого случая немедленно взмыла бы вверх, оказавшись легче на весах судьбы. В одних ситуациях привычка, в других — предрассудок, в третьих — сама лишь сила **инерции** (vis inertiae) поддерживают порядок вещей, который иначе не продержался бы и часа; и тогда мы видим, как те, кого в обиходном языке можно назвать сильнейшей стороной, повинуются слабейшей. В данном случае, однако, упомянутая случайность, привычка, предрассудок, сила инерции или что бы то ни было еще, налагают на народ реальное обязательство — они связывают его действия, препятствуют проявлению его силы, становясь «величиной со знаком минус» в политическом расчете, что на деле и склоняет баланс в пользу угнетателей. Но поскольку подобные обстоятельства суть лишь случайности, они не могут обладать большой устойчивостью; и когда они

[372] Генуя, Польша, Саксония, Парга, Ионические острова и т. д. и т. п.

исчезают, власть мгновенно переходит из рук в руки. При таком порядке вещей, где эти случайности временно верховодят, узурпированная власть всегда держится лишь на искусных приемах (tour de force); и ее обладатель, подобно канатоходцу, вынужден прилагать усилия, которые подвергают его опасности падения или, в лучшем случае, стремительно истощают всю его энергию и деятельную силу.

Самым пагубным недостатком правящего сословия является его интеллектуальная скудость. Она порождает высокомерие в моменты триумфа и притязания на осуществление власти, которой это сословие не способно распорядиться; частое же проявление собственной некомпетентности разрушает те оплоты общественного мнения, что служат лучшей защитой немногих от большинства.

Поскольку целью общества является приумножение его сил, из этого следует, что благоразумно требовать или безопасно предоставлять лишь те права, пользование которыми совместимо с этой целью. Осуществление победившей фракцией полномочий, превышающих её способность ими управлять, в кратчайшие сроки подорвет жизненные силы государства и в конечном счете низвергнет её собственную недолговечную власть. По самой природе вещей это зло органически присуще деспотическим правительствам в силу непомерного тщеславия никем не ограниченной власти и полной неспособности одного разума, сколь бы мощным он ни был, охватить все дела великого народа. Тем не менее, это заблуждение с завидным упорством вменяют в вину правительствам демократическим, будто лишь они одни подвержены подобному пороку. Своеволие и анархия, столь явно проявляющиеся в крайностях некоторых народных правлений, суть беды преходящие, порожденные по большей части невежеством самой эпохи. Но злоупотребления монархической и аристократической власти — этот произвол, (*который под внушительными именами справедливости, общественного порядка, религии, благотворной дисциплины, законного правления и т. д. и т. п. скрывает полную незащищенность личности и собственности и добавляет низость лицемерия к преступности тирании*), куда более губителен для счастья и гораздо полнее истощает ресурсы нации. Он оскотинивает народ и делает его непригодным к самоуправлению, если когда-либо возникнут обстоятельства, благоприятные для лучшего политического устройства и восстановления свободы.

Поскольку «право», согласно вышеизложенному, есть лишь синоним «власти», остается выяснить природу и обязательность jus gentium; и задача эта не представляется сложной. Сам этот кодекс, как абстрактная теория, является — или должен являться — не чем иным, как логическим выводом из законов природы; описанием тех практик, которые, будучи приняты в ведении международных дел, способствовали бы уменьшению частоты и ужасов войны и содействовали бы всеобщему благу человека. Как сила деятельная и влиятельная, обязательность jus gentium зиждется на разумности его предписаний и на авторитете общественного мнения.

В сообществах диких и невежественных война означает разрыв всех гражданских связей. Но по мере того, как человечество цивилизуется, народ, возрастая в знаниях и силе, обретает более тонкое сочувствие и более острое чувство приличия; люди становятся преградой для своеволия и власти монархов, которые уже не могут вести свои войны иначе как при молчаливом согласии и деятельном содействии нации.

Сосуществование нескольких равносильных государств в пределах сфер действия друг друга становится еще более мощным сдерживающим фактором в управлении внутренними делами. В подобных обстоятельствах государь, развязывающий войну, обретает подлинную опору, если ему удается убедить собственный народ и соседние державы в том, что его начинание справедливо и продиктовано законной необходимостью самообороны. Посему он издает манифесты и прилагает все усилия, дабы выставить свои притязания в самом выгодном свете. С этой целью он апеллирует к трактатам, к обычаям, к истории и к очевидной логике обстоятельств; таким образом, определенные традиции могли сформироваться, а кодекс обычного права — установиться задолго до того, как правоведы написали об этом предмете хотя бы строку.

Санкции этой системы права, принуждающие монархов к ее соблюдению, заключаются, с одной стороны, в угрозе остаться без поддержки своего народа, а с другой — в риске быть втянутыми в сокрушительную войну с соседними государствами. Там, где эти кары неприменимы, право народов остается лишь мертвой буквой; там же, где они действуют, правители государств неустанно трудятся над тем, чтобы обойти его предписания. В самый недавний период некоторым монархам удалось бросить им вызов; и они по собственному усмотрению распорядились судьбами малых государств, оказавшихся в их власти, без малейшего видимого уважения к справедливости или человечности.

В лучшие времена все усилия международной политики направлены на то, чтобы «давать обещание на словах, но нарушать его по сути». Договоры, коим суждено, как заявляется, длиться вечно, заключаются во имя Святой и Нераздельной Троицы, тогда как в действительности они мыслятся лишь как временная приостановка вражды; в них каждая предлагаемая статья — это ловушка для легковерия для противоположной договаривающейся стороны. Со всех сторон эта пресловутая система законов соблюдается лишь постольку, поскольку она отвечает интересам соблюдающей стороны; но стоит лишь представиться возможности нанести удар или достичь великой цели, как ее повсеместно нарушают и предают осмеянию.

Из вышеизложенных наблюдений мы можем заключить, что термин «право», будь то в значении прилагательного или существительного, не может быть употреблен с этимологической точностью иначе как в отношении некоего ранее

установленного кодекса или авторитета, обладающего средствами подкреплять свои указы карательными мерами.

Правое поведение в этом смысле есть то, что предписано: либо **законами природы**, чья санкция заключается в их собственном действии; либо **верховной силой общества**, чья санкция состоит в лишениях и страданиях, которые эта сила способна обрушить на тех, кто противится ее воле; либо, наконец, **кодексом**, исходящим (или предположительно исходящим) от сверхчеловеческой власти, чьими санкциями являются сверхъестественные муки и блаженства в ином мире, дополняющие те страдания и удовольствия, что вытекают из причинно-следственных связей в законах природы.

Обычно говорят, что человек имеет право на вещи либо тогда, когда закон присуждает их ему, либо когда наши знания позволяют сделать вывод, что обладание ими этим лицом принесет пользу человечеству. Эта польза может быть как прямым следствием права данного индивида, так и косвенно заключаться в обеспечении общего принципа, который невозможно нарушить ни в одном отдельном случае, не поставив под угрозу саму возможность его общего применения.

Хотя разумность и правомерность осуществления любого **права** могут быть измерены лишь степенью его соответствия подобному правилу, и хотя сам этот термин принят в силу своего рода скромности, вещи, подразумеваемые под этим наименованием, по сути своей являются **силами** (powers). Утверждение этих прав может увенчаться успехом лишь через демонстрацию моральной или физической силы, достаточной для их поддержания и осуществления. Следовательно, выражение «человек имеет право исполнять свой долг» является логически порочным. Общество действительно вправе требовать от него исполнения долга, и он обязан подчиниться либо понести кару за неповиновение; но утверждать, будто человек имеет право быть принужденным, право подвергнуться наказанию или силу быть слабым — значит допускать явное смешение понятий и слов.

Смысл, который смутно прослеживается в подобной фразе, заключается лишь в том, что согласно некоему стандарту действий или правилу оценки поведения, считается правильным (right) или предписанным (ordered), чтобы человек совершил упомянутый поступок. Однако в данном случае право принадлежит не ему: это право власти, налагающей обязательство; для самого же человека это является обязанностью или долгом.

Теперь, когда почва подготовлена, природа конкретных прав демонстрируется без труда: и прежде всего — права наказывать. Поскольку любое общество имеет свою цель, его интересы неизбежно страдают всякий раз, когда действия отдельного лица препятствуют достижению этой цели. Поэтому те, в чьих руках сосредоточена общественная сила, инстинктивно приходят к необходимости наказывать нарушителя. Это образ действий, к которому их понуждают законы их собственного

устройства; и это право, или власть, будучи производным от природы, ограничивается лишь тем физическим сопротивлением, которое оно может встретить со стороны правонарушителя или тех, кто ставит себя в один ряд с ним. Повторение подобных актов порождает прецеденты; прецеденты закрепляются в виде правил, а правила, в конечном итоге, превращаются в обнародованные законы. Так человечество, повинуясь собственным инстинктивным порывам, обретает уголовный кодекс с его карательными последствиями.

Следовательно, право наказывать покоится на тех же основаниях, что и право принимать пищу, ходить или выполнять любые другие естественные функции организма; иными словами, на власти, которую дает устройство живого существа — не только совершать мускульное усилие, но и увеличивать сумму счастья чувствующего существа, совершающего это усилие.

Для государственных властей право наказывать есть их сила; для народа же обязанность подчиняться заключается в той пользе, которую нация извлекает из действия закона, или же в её неспособности сопротивляться власть имущим. Если закон неразумен, заинтересованность в повиновении ослабевает; это, уменьшая власть законодателя, ограничивает его права некими рамками разумности.

В любом ином смысле, кроме этого, абсурдно утверждать, что верховная власть не имеет права; ибо она не стеснена никакими реальными обязательствами. Писаная конституция, которой она, по справедливости, должна была бы подчинять свои волеизъявления, сама по себе не обладает внутренним принципом действия, за исключением тех случаев, когда она одушевлена мужеством и добродетелью граждан; верховная же власть будет подчиняться её предписаниям лишь до тех пор, пока народ сохраняет бдительность, дабы карать за нарушения.

Неясность, окутывающая сей вопрос, проистекает из двусмысленности, с которой употребляется термин «право» (right): то для обозначения правила, то для обозначения разумного основания. Если неуклонно следовать этимологии этого слова, места для заблуждения не останется. Прямая (right) линия — это линия, которую предписано проводить определенным образом: теоретически это кратчайшее расстояние между двумя точками, на практике же — линия, проведенная по направляющей линейке (ruler). Если бы люди условились иначе, этот термин с тем же успехом мог бы прилагаться к линии, которую предписано чертить циркулем, — равноудаленной во всех своих частях от точки, именуемой ее центром. Подобным же образом правильное (right) поведение есть поведение, предписанное правящей властью, которая повелевает нашими волеизъявлениями через абсолютное господство над нашими страданиями и удовольствиями — вне зависимости от того, угодно ли этой власти избрать круговое или прямолинейное движение. Поскольку это единственный смысл, в котором данное слово может употребляться с точностью, из этого следует, что такие фразы, как «Бог имеет право»

или «Верховная власть имеет право» — если под ними всегда подразумевается некое обязательство, — суть полнейшая бессмыслица.

Бога, как и любое иное существо, следует рассматривать как связанного его собственными атрибутами и имеющего в них основание для своих деяний; основание, на которое человек вправе полагаться в тех умозаключениях, которые он может из этого вывести. Равным образом и те, в чьих руках сосредоточена высшая земная власть в государстве, должны иметь мотивы, вытекающие из их интересов — как правителей, так и людей частных, — которые, согласно здравому смыслу, должны влиять на их поведение и кои в действительности полагают пределы их свободе действий. Однако в отношении них нам следовало бы говорить, что Бог и верховная власть имеют основания совершать или не совершать нечто; но было бы неверным утверждать, что они имеют право придерживаться того или иного правила. Следовательно, притязание на право, предъявляемое народом своим правителям, бессильно, если не рассматривать его как воззвание к их разуму, к их интересам и к их страстям. Это справедливо и в тех случаях, когда оно апеллирует к общей природе вещей, и тогда, когда оно основывается на некоем конституционном устройстве, разумность которого предполагается заранее. В целом же это сводится к следующему: *«Требуемое столь справедливо и уместно, что вы не можете в этом отказать, не поставив под удар свою репутацию в глазах народа и тем самым не подвергнув опасности собственную безопасность»*.

В любом ином смысле понятие «неотъемлемых прав», которые на деле подавляются и попираются всякий раз, когда у какого-нибудь проходимца находится двести или триста тысяч вооруженных головорезов, дабы навязать свою волю человечеству, — подобное выражение даже хуже, чем просто нелепо; ибо оно в высшей степени опасно. Если народ, полагаясь на букву этого определения, потребует подобных прав, не будучи в силах подкрепить свои притязания, он совершенно точно столкнется с «предписывающей силой» веревок и штыков, кои самым незамысловатым образом превратят его права в бесчинство и мятеж.

Право наказывать в такой степени является вопросом простого физического превосходства, что характер всех правовых и политических институтов служит лишь чистым отражением страстей и интересов господствующей стороны. Любой кодекс законов, по сути, есть прямое следствие того, каким образом распределена в государстве общественная сила. Там, где законы создаются народом, они обретают умеренность благодаря двойственному положению законодателя, который одновременно является и властелином, и подданным. Возможность самому стать жертвой карательного акта сковывает страсти законодателя и часто заставляет его вспоминать о том, что он воздействует на человека. Когда же законы исходят из воли одного индивида, этот сдерживающий фактор отсутствует; деспот не может сказать haud ignara mali («познав беду, учусь сострадать»), равно как не ощущает он и побуждающего jam proximus ardet («у соседа уже полыхает»); он проникается (ибо такова слабость человеческой природы) мыслью, что он слеплен из лучшей глины,

нежели остальное человечество, что он — существо высшего порядка. Сострадание умирает в его груди, в то время как на всех его прихотливых волеизъявлениях запечатлеваются насилие и грубая сила. Именно по этой причине даже самые лучшие кодексы, будучи составлены исключительно мужчинами, несправедливы в своих постановлениях касательно женщин; и по той же причине законы Англии, созданные земельными собственниками, суровы к арендатору и благоприятствуют лендлорду.

Если бы право наказывать в действительности основывалось на каком-либо ином обязательстве, кроме обладания достаточной властью для исполнения своей воли, преступники были бы вправе взывать к абстрактной несправедливости закона и тем самым уклоняться от его применения. Так, в деле о клевете ответчик мог бы настаивать на том, что написанное им — правда, а правда не может быть преступлением; напротив, истина, высказанная наперекор власти и во имя отечества, есть добродетель, которую всякое благоустроенное правительство обязано чтить. Он мог бы с уверенностью заявить, что правовая норма, стирающая грань между истиной и ложью, идет вразрез со здравым смыслом и вечной природой вещей; что предлог сохранения общественного спокойствия есть не что иное, как откровенная софистика, ибо нарушает мир тот, кто совершает преступление, а не тот, кто его обличает.[373] Можно было бы также утверждать, что эта догма была установлена извращенно и злонамеренно облаченными в горностай заговорщиками, посягнувшими на свободы своей страны; что само это притязание дерзко, а довод — ложен и выдвинут явно с целью подчинения общественного мнения и упрочения заблуждений.

Если наказание любого преступника основывается на каком-либо принципе нравственного права, то подобное оправдание должно иметь силу. Ибо если право проистекает из законов природы, то в самой природе нет ничего более отличного друг от друга, нежели истина и ложь; если же оно зиждется на явленной воле

[373] Эта юридическая фикция опирается на другую, еще более вопиюще противоречащую действительности, а именно: якобы не существует такой несправедливости, для которой у закона не нашлось бы средства правовой защиты. На этой аксиоме юристы выстраивают софизм: коль скоро суды открыты для преследования государственных преступников, то нет ни пользы, ни необходимости в апелляции к общественному мнению.
Опровержение этих нелепых притязаний представляется совершенно излишним; найдется ли человек столь невежественный, чтобы не знать о множестве обид, против которых не только закон не имеет средств защиты, но и никакой закон в принципе иметь их не может?
Злоупотребления министров, в особенности, редко выражаются в осязаемых, явных деяниях, но состоят из бесчисленных неопределимых правонарушений, ведущих к пагубному истреблению общественной свободы. Посему целью здесь является не столько наказание, сколько смещение министра; и если народ имеет право управлять собой, то разумно, чтобы он обладал и властью обнародовать свои суждения о государственных чиновниках.
Более того, следует помнить, что министр редко вступает на преступный путь без санкции, полученной в результате коррумпированного и незаконного сговора с властями; и против этого может устоять лишь общественное мнение. Обращения к закону или к законодательным собраниям в подобных случаях — лишь пустое словоблудие.

Божьей, то Откровение учит нас: «Будь справедлив и не бойся». Если же, с другой стороны, это право выводится из того негласного договора, который мы именуем нашей конституцией, то сама эта конституция предписывает, что ни одно преступление не должно караться под предлогом совершения другого; а ведь злословие и нарушение общественного порядка суть два совершенно разных правонарушения.

Однако, что ответит на это правосудие? Оно примет торжественный и невозмутимый вид, преисполненный притворного величия и важности. Оно поднимет крик о поругании основ, обвинив ответчика, или бросит его в темницу за неуважение к суду. Оно будет цитировать авторитетов и повторять уже опровергнутые положения так, словно это неоспоримые доводы; и, в конечном счете, оно наложит штраф и приговорит к заключению, ибо таков закон и таковы воля и прихоть власти, этот закон поддерживающей.[374]

Можно, однако, представить случай ещё более убедительный. Вообразим **олигархию, захватившую бразды правления** и правящую столь пагубно, что весь облик страны оказывается отмечен печатью нужды и разорения: налоги становятся непомерными, возможности для труда — стесненными, а торговля — поверженной в прах из-за бездарного руководства узурпаторских властей. Предположим далее, как и следовало ожидать, что подобное положение дел вызовет в народе ропот и негодование. И предположим, что эти захватчики, опасаясь за свои доходы, склонят мнимых народных представителей к подрыву основных законов страны и введению антиконституционных ограничений общественной и частной свободы. В таком случае, если бы право наказывать имело под собой хоть какое-то реальное основание, помимо одной лишь возможности наносить удары, разве само это правило не должно было бы послужить к упразднению подобного исключения?

Законы, как уже было сказано, берут своё начало в жажде мести, и дух этого мщения по сей день проявляется в формах нашего уголовного кодекса, который выставляет на первый план личную обиду короля, вместо того чтобы рассматривать вред, нанесенный обществу. Именно в преобладании этого воззрения кроются истоки тех бесчисленных притеснений и практических несправедливостей, что порочат и позорят суды Европы: это и **допрос под пыткой**, и сами истязания, и

[374] Наказание за хулу на господствующую религию есть акт грубой силы и прямое противоречие праву на свободу суждения, на котором зиждется протестантская церковь. Это зиждется на том же самом принципе, что возводил протестантов на костры в правление Марии и подвергал гугенотов драгонадам при Людовике XIV. Пусть на практике этот принцип менее кровав, по сути своей он не менее гнусен и абсурден. «Как? — возможно, спросят нас, прибегая к обычному предвосхищению основания, — неужели вы позволите поносить святыни?» Разумеется, нет; однако исследовать — не значит поносить, и даже само высмеивание — довод, который более всего порицают лишь потому, что более всего его страшатся, — окажется бессильным, если будет ложно применено к вещам истинно священным. Того, кто вздумал бы подпирать авторитет Эвклида цензурными запретами, сочли бы безумцем; и никто не страшится возможности высмеять Ньютона.

лишение подсудимого защитников, и отказ в предоставлении подробного перечня обвинений; это и предоставление последнего слова обвинителю, и различие в силе доказательств, требуемых для публичных и частных дел,[375] и те несоразмерные, варварские наказания, которые едва ли окончательно изгнаны даже из судов самых просвещенных народов.

Лишь в самое последнее время человек начал осознавать, что нагромождение обиды на обиду, несправедливости на несправедливость и насилия на насилие противоречит подлинным интересам рода человеческого. Потребовалась немалая сила наблюдения, чтобы заметить: наказания полезны лишь в качестве примера, как мотивы, воздействующие на волю; и чтобы понять — для достижения пользы они должны быть соразмерны тем обстоятельствам, к которым применяются, и тем интересам, на защите которых стоят. Еще более значительное усилие мысли потребовалось для того, чтобы осознать, что наказание является лишь одним из множества мотивов, и его роль куда успешнее исполняют меры, ослабляющие искушение и делающие преступление менее необходимым или менее привлекательным. Этому же способствует образование, которое представляет человеческие интересы в наиболее ясном свете и оберегает подданного от ложных расчетов и нелепых предрассудков.

Для рождения подобных идей требовалось предварительное существование народных правительств, которые могли бы явить прообразы такого порядка вещей, вытекающего из естественного взаимодействия людей и спонтанного согласования интересов, возможного лишь там, где учитывается мнение каждого. Филантропия и философия, следуя за ними, обнаруживают и распространяют знание о связях, скрытых за этими фактами, и тем самым максимально сближают интересы управляемых и управляющих. Однако вечная природа вещей остается неизменной. Закон по-прежнему остается волей сильнейшего, хотя и волей более просвещенной и разумной, нежели прихоти деспота.

Куда бы ни обратился взор, доказательства и примеры этой истины множатся. Те, кто в данный момент наделен властью, неизменно захватывают привилегии, наиболее отвечающие их желаниям: они устанавливают монополии и присваивают исключительные права на общие дары природы — дичь, рыбу в реках и морях и даже на имущество потерпевших крушение моряков, которое ярость стихии может

[375] Лишь недавно в Ирландии для осуждения за государственную измену стало требоваться наличие двух свидетелей. Есть основания полагать, что во время восстания 1798 года множество невинных людей погибло из-за лжесвидетельства одного-единственного свидетеля. Этот факт, по имеющимся сведениям, был отмечен г-ном У. Карраном в жизнеописании его отца, чем привлек внимание «Эдинбургского обозрения» (Edinburgh Review), и через этот журнал был доведен до сведения лорда Холланда. Последний провел через палаты парламента билль, приводящий закон о государственной измене в Ирландии в соответствие с английским правом в данной части. Таково благо свободной прессы даже в самых обыденных её проявлениях, и такова сила, которую она дает отдельному человеку для принесения пользы всему человечеству.

выбросить на их берега. При этом за нарушение этих ложных и абсурдных установлений они карают наказаниями, соразмерными скорее ревнивому самолюбию законодателей, нежели истинному отношению преступления к интересам общества.

Общепризнанной аксиомой британской конституции является положение о том, что никакие налоги не могут взиматься без согласия подданного. В то же время столь же неоспорим и тот факт, что большинство народа не представлено в Парламенте. Тем не менее, если бы кто-либо из не имеющих своего представительства отказался платить налоги или попытался ниспровергнуть существующий порядок вещей, он был бы подвергнут самому суровому наказанию. С точки зрения естественной справедливости, разума и здравого порядка, кара должна была бы обрушиться на тех, кто попирает права народа; однако сила наносит удар именно тем, кто осмеливается эти права отстаивать. Никакая софистика, никакие юридические уловки не способны изменить суть этих фактов или оправдать существующий порядок какими-либо доводами, кроме права силы.

Если же обратиться к примерам за пределами нашего отечества, то различные проскрипции, сопровождавшие каждый новый этап Французской революции, были неприкрытыми актами необузданной власти, хотя и совершались под ложной видимостью законных процедур. Между этими самопровозглашенными «законными» актами правительства и ответной реакцией народа, именуемой убийствами и грабежами, нет никакой существенной разницы. Наполеон, попирающий конституции империи, и Людовик XVIII, нарушающий Парижский договор, ничем не отличаются от «сентябристов» и террористов. В обоих случаях мы видим силу, торжествующую над справедливостью; но пока правительство существует, его волеизъявления вынуждены носить маску правосудия, ибо эти изъявления воли суть единственный источник, из которого могут проистекать законы страны.

Согласно международному праву, полное подчинение государства, подтвержденное договором, лишает его права на jus postliminii (право восстановления в прежнем состоянии) при последующем отвоевании. Однако, когда после падения Наполеона старые правительства вновь обрели верховную власть, эти мечтания и справедливые разграничения, проводимые учеными мужами, так и не были приняты во внимание.[376]

Такова природа вещей: во все века и во всех странах воля сильнейшего ipso facto становится законом (ограниченная лишь необходимостью не попирать открыто все предрассудки, не оскорблять все общественные мнения и тем самым не побуждать

[376] В Генуе, Болонье и других местах не только были свергнуты революционные правительства вопреки нормам международного права, но и старые институты, существовавшие еще до революции, были упразднены, дабы уступить место новым порядкам под тем предлогом, что повторное занятие законных престолов являлось актом завоевания.

народные массы к утверждению своего физического превосходства). С какой же политической целью нам следует изнурять свой ум поисками моральных санкций, которые, как неизменно доказывает опыт, слишком слабы, чтобы обуздать волю? Подобный путь изысканий представляется лишь пустой тратой времени; его разумнее было бы употребить на изучение интересов правителей и управляемых, а также на просвещение их разума, дабы привести их стремления к максимально возможному согласию, какое только допускают их взаимные отношения. Именно на этом зиждется необходимость в органических законах, вверяющих право исправлять и поддерживать конституцию иным рукам, нежели обычные органы законодательной и исполнительной власти. До тех пор, пока рядовое законодательное собрание не признает над собой высшего авторитета и не связано обязательством сообразовывать свои постановления с конституционными принципами, не может быть никакой гарантии прочности системы. В таком случае не существует и средств для восстановления обветшавших институтов, кроме грубой силы, которая ведет скорее к революции, чем к реновации. Если бы подобная власть была вверена некоему третьему государственному органу в Англии, вопрос о реформе был бы давно разрешен ко взаимной выгоде всех противоборствующих партий.

Обсуждение этого вопроса о праве, возможно, затянулось сверх меры, однако четкое разграничение нескольких заключенных в нем идей имеет первостепенное значение. Именно из-за путаницы, царящей в умах по этому поводу, возникало столько распрей касательно **народного суверенитета**, легитимности монархов, права на смертную казнь, а также права британской Палаты общин продлевать срок своих полномочий до семи лет и так далее. Во всех этих случаях использование термина «**право**» приводило к неразрешимым трудностям. Если притязание на право основывается на некоем предустановленном правиле, то для придания ему силы человек должен обладать властью налагать обязательства на своих детей до самых далеких потомков. В таком случае достаточно того, что наши предки приняли те или иные установления, чтобы принудить нас подчиняться им во веки веков. Если же, напротив, право апеллирует к разуму, то сам вопрос становится тщетным, так как обе стороны притязают на обладание истиной, а существующие власти не допускают, чтобы доводы разума имели больший вес, чем устоявшиеся порядки, «мудрость наших предков» или их собственные волеизъявления. Таким образом, в столкновении противоречивых метафизических понятий люди втягиваются в бесконечные споры, призванные просветить их совесть, но способные лишь сбить с толку их волю. Между тем, если бы однажды был ясно признан тот неоспоримый факт, что мы обладаем всеми нашими правами, как естественными, так и гражданскими, которые мы черпаем из осуществления наших органических функций; и что совершенно бесполезно обладать какой-либо властью по закону, если на деле мы не можем и не в состоянии её применить. В таком случае перед людьми встали бы лишь два вопроса: (1) обладаем ли мы в действительности властью устраивать общественные дела по нашему усмотрению? (2) И если так, то разумно

ли и выгодно ли для человечества устраивать их тем или иным образом? Тогда не было бы нужды в пустых взываниях к истории и прецедентам; не возникло бы повода вопрошать, как в том или ином случае поступили наши невежественные и свирепые предки тысячу лет назад. Мы бы лишь спрашивали: как этот закон или эта власть действуют в великом механизме общества? Порождают ли они благо или зло? Способствуют ли они счастью или множат страдания?

Вопрос о праве на смертную казнь свелся бы, таким образом, к нескольким вопросам о фактах: (1) Действительно ли казнь преступника эффективно предотвращает преступление? (2) Причиняет ли рассматриваемое преступление столько же страданий, сколько сопутствует смертной казни? (3) Не достигнут ли той же цели столь же успешно и надежно иные, менее жестокие средства? (3) Одним словом: **выигрывает или проигрывает общество от подобной практики**? Во всем этом подходе мало запутанных идей, требующих разъяснения, и нет нужды проводить метафизические разграничения. Это простой вопрос ощущений; и общество, если к нему обратиться, может сразу определить, что оно чувствует по этому поводу.

Огромнейшее влияние цивилизации на человеческое счастье прекрасно иллюстрируется историей этого единственного отношения — связи между преступлением и наказанием. В ранние эпохи развития общества самые дикие и личные порывы мести служили мерилом правосудия, вершимого индивидами друг над другом, — мерилом, приносившим неисчислимые беды и сковывавшим созидательные силы рода человеческого в самых тесных пределах. С первыми проблесками цивилизации осуществление мести было изъято у отдельного лица и передано в руки общественной власти. Благодаря этому шагу поток зла останавливался на наказании преступника, и насилие более не порождало насилие, как это бывало прежде, когда родовая вражда переходила от отца к сыну на протяжении многих поколений.

Страсть, утратив свою былую личностную направленность, стала более склонна внимать голосу разума, а наказания лишились части своей кровавой свирепости. Месть за частные обиды постепенно сменилась заботой о сохранении общественного спокойствия, а со временем и эта цель, в свою очередь, стала вторичной по отношению к исправлению правонарушителя. Таков был путь человеческого разума в поисках истины; и на этом пути интерес (безусловно необходимый для самосохранения, но опасный для общества при неизбежных злоупотреблениях) превратился в широкий и всеобъемлющий философский принцип, в защитника морали и деятельного распространителя мира и благоденствия.

Стоя ныне на этой интеллектуальной вершине и бросая взор назад, на тьму, из которой мы вышли, мы прежде всего осознаем **стремительность нашего недавнего прогресса**. Если сравнить состояние наших знаний триста лет назад с

современными представлениями, мы не сможем не преисполниться восхищением и благоговением перед достижениями последних веков, а также состраданием и удивлением при виде почти неподвижного состояния человеческого разума на протяжении многих предшествующих им столетий. Однако минутное размышление дает ключ к этой тайне: орудием столь великого совершенствования, двигателем столь поразительной мощи является **печатный станок**. Мифические образы древности — многоокий Аргус или многорукий Бриарей — кажутся лишь бледными и холодными выдумками в сравнении с подлинным развитием знаний и силы, почерпнутых из этого источника, который делает нынешнее поколение поистине исполинским в сопоставлении с предками. От высочайших сфер науки до самых скромных чувственных удовольствий, от измерения небес до изготовления простой булавки — влияние прессы навязывается даже самому ограниченному уму. Слава и почтение его достославным изобретателям! И да падет десятикратный позор и бесчестие на того, кто своим нечестивым прикосновением или осквернённым дыханием дерзнет пресечь его триумф или преградить ему путь!

К вопросу о праве собственности добавить почти нечего. Само это отношение вытекает непосредственно из человеческой природы; ибо существо, чья жизнь неразрывно связана с чередой потребностей и их удовлетворений — материалы для которых не существуют в бесконечном изобилии, но требуют труда для их подготовки и приспособления к целям — должно либо владеть ими, либо погибнуть. Процесс, посредством которого сам факт владения породил идею права собственности, уже был объяснен. Взгляд, который только что был принят для права в целом - проливает дополнительный свет на это объяснение. Физическая неспособность обособленного и независимого индивида защитить свою собственность от посягательств других столь же независимых лиц самоочевидна. В воображаемом естественном состоянии собственность не могла бы существовать, ибо владение ею было бы столь шатким, что никто не стал бы простирать свои помыслы далее насущных потребностей текущего момента.

Собственность, таким образом, представляет собой силу, обретенную человеческим родом благодаря действию социальных чувств; и сила эта столь значима, что ее можно назвать великой целью гражданского и политического союза. Соответственно, как уже было замечено, во всех случаях, когда правительство в своих установлениях столь несправедливо, что лишает трудолюбивых членов общества возможности получить достойное вознаграждение за их труды, народ утрачивает всякое уважение к общественным институтам и впадает в состояние варварства, предаваясь преступлениям. Поскольку собственность проистекает из совместной деятельности общества и существует лишь под защитой общественной силы, из этого следует, что порядки, на основании которых ею владеют, должны, по самой природе вещей, определяться той волей, которая приводит эту силу в действие. Следовательно, хотя крайне превратное и капризное решение этой воли могло бы до такой степени подорвать совокупную мощь общества, что ввергло бы

его в состояние ужасающего варварства, или же — при внезапном исполнении — вызвало бы отчаянное противодействие правящей стороне, всё же, пока эта крайняя грань не перейдена, закон, то есть воля верховной власти, должен неизменно определять права гражданина как в отношении владения, так и в отношении распоряжения имуществом на случай смерти (post mortem).

Нам, однако, часто твердят, что крайне несправедливо лишать человека возможности завещать свое имущество по собственному усмотрению; что принадлежащее ему — принадлежит лишь ему, и так далее. Но, поскольку покойный не может физически владеть чем бы то ни было, его воля обретает силу лишь в той мере, в какой она совпадает с волей общества. Следовательно, дарителем выступает не завещатель, а государство: именно оно, определяя судьбу благ, на которые более не может претендовать ни одно живое существо, постановляет, что завещатель вправе иметь в этом вопросе определенный голос.

Причины такого решения вполне очевидны; но если иные, более весомые мотивы побудят законодателя принять иной порядок, то — поскольку природа не наделила гражданина властью удерживать собственность на каком-либо ином основании, кроме общественной воли — нельзя утверждать, что подобное решение нарушает его права. Верховная власть в государстве может, таким образом:

- ограничивать порядок наследования;
- производить передел земель;
- принимать аграрные законы;
- или удерживать всю землю в общей собственности ради блага всех.

Именно на этом основании государство предъявляет права на землю в виде налогов, десятины и прочего, ибо лишь в зависимости индивида от общества заключается его обязанность уплачивать эти или любые другие установленные сборы.[377] Следовательно, при любых революциях те, кто вступает во владение конфискованным имуществом, обладают столь же законным титулом, как и старые владельцы. В ходе любых революций новые владельцы конфискованного имущества обладают столь же законным титулом собственности, что и прежние хозяева. Непрочность их владения обусловлена не сомнительностью метафизического права личности,[378] а нестабильностью той власти, которая является источником законов. Новый суверен (будь то деспот или законодательный орган) может прийти к власти

[377] В Пьемонте король по своему желанию приостанавливает действие закона о должниках и кредиторах в пользу своих придворных, и не существует силы, способной ограничить это право.

[378] Справедливо, что на стороне прежнего владельца стоит сила, порожденная предрассудками и привычками народа; люди, привыкшие видеть его во владении, воображают, что его изгнание нарушает порядок. Противодействие этой силы общественного мнения, однако, составляет часть нестабильности новых властей.

и установить иной порядок вещей; перед лицом этого суверена индивиды лишены силы, хотя и связаны многочисленными обязательствами.

Таким образом, при всякой революции совершается немало частных несправедливостей, когда частные интересы уступают место общественной необходимости. Однако во всех случаях, когда носители власти (будь они законными правителями или воцарившимися лишь вчера) посягают на средства к существованию большинства или просто сеют тревогу относительно их сохранности, народ проявляет свою физическую силу и, вооружившись собственной волей, производит новый, более справедливый раздел собственности. Так закон действительно меняется, но его санкция остается неизменной; и в этом заключается вся теория Французской революции.

Вопрос о **десятине**, таким образом, существенно упрощается. Сторонники этого права духовенства ссылаются на законность первоначального дарения. Однако, исходя из абстрактной справедливости, нынешнее поколение имеет такое же право востребовать десятину обратно, какое прежнее поколение имело на ее дарование. Мы имеем не больше оснований порабощать землю, нежели личности наших потомков; ибо общество во все времена испытывает нужду во всей совокупной производительной силе земли. Следовательно, налоги не могут черпать свою законность в одном лишь праве давности; на них можно претендовать на постоянной основе лишь в силу негласного согласия ныне существующих властей. На самом же деле волеизъявления умерших людей не имеют и не могут иметь никакой силы, за исключением той внутренней силы, что проистекает из их целесообразности; в противном случае ни одно укоренившееся общественное зло невозможно было бы искоренить.[379] Таким образом, духовенству надлежит довольствоваться плодами собственных заслуг; ибо, если Законодательное собрание сочтет за благо, оно обладает как по справедливости, так и на деле властью заменить или отменить этот налог, не будучи связано в своей воле ничем, кроме общественной пользы и законных притязаний нынешних бенефициариев, кои разумно и осмотрительно было бы уважить.

Вполне вероятно, что на ранних стадиях цивилизации земля повсеместно находилась в общем владении; однако почти во всех странах известного нам мира она фактически перешла в руки частных лиц по праву меча. Римляне силой изгоняли

[379] Более того, десятины были дарованы духовенству в качестве вознаграждения за услуги, которые надлежало исполнять; следовательно, они не являются простым владением: если общество не нуждается в этих услугах, соглашение, по самой природе вещей, утрачивает силу. Если народ волен принять закон, запрещающий рукоположение священников, то он тем более (à fortiori) вправе определять порядок их содержания. Десятины, в сущности, принадлежат не конкретному служителю, а церкви — этому ens rationis, или метафизической сущности. Церковь есть часть государства — иного существа того же рода. Отбросив эти абстракции, мы обнаружим, что право принадлежит и может принадлежать только народу. Бенефициарию же принадлежит лишь узуфрукт (право пользования), обремененный условиями, кои могут быть изменены по воле народа.

владельцев из завоеванных провинций всякий раз, когда им это было удобно; северные же племена, сокрушившие Римскую империю, следовали тому же правилу с еще большей суровостью. Один лишь штат Пенсильвания выкупил свои земли у их исконных владельцев. Ирландия была дарована Англии Папой Римским — при том лишь незначительном условии, что коренное население будет покорено или истреблено; на тех же основаниях Южная Америка была отдана испанским монархам.

Когда государство в течение долгого времени существует без насильственных переворотов и сопутствующих им конфискаций собственности, переход имений от отца к сыну в установленном порядке порождает представление, будто в этом укладе заключено нечто большее, нежели простое удобство распоряжения. Так даже право первородства начинает пользоваться уважением, словно бы оно было основано на самих законах природы. Но в странах, подверженных частым переменам, понятия, почерпнутые из голых фактов, берут верх над идеями порядка и целесообразности; там собственность насильственно переходит от одного лица к другому, не вызывая при этом особого волнения. В Турции государь почитается единственным собственником земли, и воля его в этом отношении неоспорима.

Свобода собственности, следовательно, как и все прочие права, есть власть, в действительности опирающаяся на способ распределения общественной силы и на вес мнения в государственных делах. Однако эту власть невозможно ограничивать сверх определенных пределов, не навлекая на общество великих и чреватых бедами последствий; и нет истины более непреложной, чем та, что деспотизм подобен дикарю, который, желая сорвать плод, срубает само дерево.

Условия обладания личной свободой покоятся на том же основании, что и все прочие права.[380] Каждый человек является рабом другого в той мере, в какой его радости и страдания зависят от этого другого; и никто не в силах управлять действиями себе подобных, иначе как властвуя над побуждениями, которые заставляют их покоряться. Даже полевые звери укрощаются не иным каким-либо средством. На ранних этапах развития общества естественное неравенство людей выражено гораздо сильнее, нежели в цивилизованных государствах, где даже самый незначительный человек обретает вес и значимость благодаря тому классу, к которому он принадлежит. Ибо различные сословия, увеличиваясь в численности по мере того, как они утрачивают знатность и богатство, в своих низших слоях сохраняют такие способы влияния, пренебрегать которыми никогда не бывает безопасно. По достижении определенной ступени прогресса рабство становится физически невозможным; повсеместное распространение знаний и единство

[380] Увы! Нет смертного, который был бы свободен.
Он раб либо богатства, либо судьбы,
Либо толпа в городе, либо писаные законы
Мешают ему поступать по своей воле.
- Эврипид, «Гекуба», 865.

интересов в полной мере позволяют низшим классам общества отстаивать свою независимость.

В самом деле, можно усомниться, смогло бы это проклятое установление (институт) просуществовать в колониях столь долго, если бы вся мощь цивилизации не была направлена на дикую и беспомощную расу, которая, в дополнение к глубочайшему невежеству, обладает органическим строением, наделяющим её меньшими ресурсами, нежели те, которыми располагает белый человек.

Личное и домашнее рабство, как известно, ведут своё происхождение от войны; и над народами, среди которых рабы были многочисленны, всегда довлела угроза рабских восстаний. Состояние рабства настолько чуждо естественным потребностям и желаниям человеческого рода, что лишь самые веские внешние мотивы могут заставить человека смириться с ним. В самом природном порядке нет ничего, что было бы рассчитано на придание этому состоянию постоянства. Ни время, ни привычка не могут внушить страждущему мысль о том, что его положение согласуется с каким-либо общественным или естественным правилом. Идея насилия и исключительности всегда преобладает в его уме, а понятие о праве господина никогда не сможет превратиться в сознание его справедливости. И всё же физиологический процесс формирования обязанности одинаков как для раба, так и для наёмного слуги; страх голода, принуждающий последнего трудиться за деньги, пожалуй, столь же ужасен и, безусловно, более властен, чем страх телесного наказания, который воздействует на первого и склоняет его к покорности.

Внутреннее различие между этими двумя ситуациями заключается в том, что подчинение слуги есть обязанность, наложенная природой, и её исполнение, следовательно, способствует приумножению счастья; подчинение же раба есть навязанное людьми состояние, враждебное интересам человеческого рода и потому служащее источником несчастья.

Осуществление власти над личной свободой наших ближних — это не способ приумножения, а средство истощения наших ресурсов.[381] Везде, где господствует институт рабства, **труд обходится дороже**, нежели в обществах свободных людей. Дороговизна труда есть утрата могущества, и она становится почти непреодолимым препятствием на пути к общественному совершенствованию. Урон, наносимый нравственности столь унизительным состоянием человечества, являет собой еще более ужасное зло, чреватое неисчислимыми страданиями как для господина, так и для раба; народ же, чье население состоит из рабов, редко способен проявить всю свою мощь в противостоянии с соседями. Следовательно, если права суть способности содействовать счастью через свободное применение наших сил в определенных направлениях, то владение рабами не подпадает под эту категорию.

[381] Д-р Генри утверждает, что рабство вышло из употребления в Англии, поскольку хозяева обнаружили, что работа выполняется наемными слугами дешевле, чем рабами. — «История Англии», кн. 5, гл. 3.

Это лишь власть причинять вред самим себе, произвол, злоупотребление и порожденный невежеством просчет, коих не допустит ни одно разумное общество.

Таким образом, ни применительно к господину, ни применительно к рабу, **рабство не может ни именоваться, ни считаться правом**; ибо, с одной стороны, это власть, которой невозможно распорядиться с выгодой, а с другой — ей не станут подчиняться иначе как под постоянным гнетом внешнего насилия. По мере развития цивилизации и пробуждения общественных симпатий власть порабощения подвергается все более строгому ограничению. В подлинно цивилизованном обществе все лучшие природные чувства восстают против института, обрекающего на страдания столь значительную часть человеческого рода; порождаемые этим тягостные чувства становятся побудительным мотивом для того, чтобы направить энергию мудрейших и лучших членов общества на решительные действия. Так формируется могучая сила общественного мнения, которая, как подтверждает опыт, оказывается достаточной для преодоления любого сопротивления, вызванного личным произволом.

Богословы склонны присваивать себе заслугу этого улучшения в гражданской жизни; однако рабовладельцы, всеми силами противившиеся Акту об отмене рабства, были столь же ревностными христианами, как и те, кто провел этот закон через Парламент. На самом деле, в феодальные времена служители церкви входили в число крупнейших рабовладельцев; и везде, где они обладали безмерной властью, они отказывались от неё лишь тогда, когда под влиянием и примером мирян им становилось стыдно продолжать подобную практику. Их интересы (как священников, враждебных всяким новшествам) и их притупленное сострадание (как людей, вознесенных над нуждой и избавленных от необходимости трудиться) слишком часто приводили их к союзу с деспотизмом, в чьих бы руках он ни находился. Как сословие, за редчайшими исключениями, они проявляют ревностное противодействие свободе и фанатично подавляют любой свет просвещения, враждебный их господству; и в настоящий момент священники на Континенте повсеместно проповедуют и насаждают политическое рабство, сковывая мирян цепями.[382] Пока народы Европы пребывали в бедности и невежестве, церковь и пальцем не пошевелила, чтобы вызволить их из рабства; и когда, по прошествии веков, иные силы привнесли богатство и знания, возвысив человека в его собственных глазах, церковь была вынуждена следовать за ними, но никогда не шла в авангарде прогресса.

Высказывание подобных замечаний, вероятно, даст повод тем, чьи интересы затронуты, клеймить человека, их выдвигающего, во враждебности к религии. Однако, прежде чем бросаться подобными обвинениями, обвинителю надлежит задуматься о том, сколь малую услугу он оказывает христианству, смешивая его со

[382] Приходское духовенство Франции, Италии, Шотландии и католической Ирландии являет собой множество достойных исключений из этого правила. Причины такого образа мыслей слишком очевидны, чтобы нуждаться в изложении.

всем тем, что есть гнусного и ужасного в преследованиях. Если рабские доктрины, исповедуемые слишком многими священнослужителями, действительно являются доктринами евангельскими, то свет естественного разума заставит всякий чувствующий и мыслящий ум отвергнуть их, какими бы весомыми ни были свидетельства в их пользу; ибо небеса не могут быть лживы или непоследовательны, а закон Божий запечатлен в наших глубочайших инстинктах, которые одобряют стремление к свободе и сопротивление угнетению.

Юристы разделяют права на совершенные и несовершенные; иными словами, на права, которые могут быть законно защищены силой, и права, которые могут поддерживаться лишь в судебном порядке. Это различие основано на самой природе. Живой организм, порождая желания и предоставляя средства для их удовлетворения, ставит существо в самые разнообразные отношения с внешним миром. В отношении тех из них, что наиболее непосредственно необходимы для сохранения живого существа, право или способность к действию самым тесным образом связаны с обязанностью к его осуществлению. Право на самооборону сопряжено с властным инстинктом, повелевающим оказывать сопротивление. На сей инстинкт никакое внешнее обязательство повлиять не может; ибо, поскольку лишение жизни есть тягчайшее наказание, коим располагает закон, он совершенно лишен средств воздействовать на волю того, на чье существование посягают силою.

С самим нашим существованием неразрывно связаны вещи, которые либо существенно необходимы для его продолжения, либо настолько сопряжены с нашим счастьем, что без них жизнь становится невыносимой. Оттого сопротивление посягательствам на **личную свободу**, **собственность**, **жизнь** и **честь наших жен и детей** есть инстинкт едва ли менее властный, и право на свободу подобных действий признается справедливым и разумным законодателями, правоведами и моралистами. Точную черту, за которой заканчиваются права совершенные и начинаются те права, которые общественное существо должно вверить попечению законов, определить трудно;[383] ибо невозможно судить о частных инстинктах каждого человека или оценить значение, коим он наделяет тот или иной предмет. Европейское законодательство лишило подданных права на самостоятельную защиту личной чести, не создав при этом специальных судебных инстанций для её охраны. Посему обычай оставляет это право в ведении самого человека; и **дуэлянты**, если в поединке соблюдались честность и равенство сторон, обычно освобождаются от наказаний, предусмотренных за убийство. В качестве общего правила можно заметить, что право лишать жизни не должно признаваться

[383] *«Тем не менее, совершенные права можно отличить лишь по их ценности; и невозможно установить ту ценность, при которой возникает свобода прибегать к крайнему насилию».* — Пейли.

В целом, однако, общество вправе лишать индивида права защищать свои интересы, когда нарушение оных не влечет за собой непоправимого зла и когда общество обладает полнотой власти для эффективной защиты атакованного индивида.

законом при защите тех интересов, посягательство на которые не карается смертной казнью.

Среди способностей, которыми наделен человек, те, что проистекают из естественной деятельности его организма и необходимы для самого существования, именуются **естественными правами**; те же, что он обретает благодаря общественному взаимодействию, зовутся **правами приобретенными**. Обязательства, защищающие первые, коренятся в самой природе вещей; те же, что поддерживают вторые, — в силе человеческих личностей. Проводимое различие между правами, от которых можно отказаться, и теми, от которых отказаться нельзя, основано на уже упомянутом смешении понятий права и обязанности. Право отца на своих детей не может быть отчуждено, ибо оно неразрывно связано с обязанностью защищать и кормить их — обязанностью, которая является непреложной для каждого правильно устроенного живого существа. Свой личный интерес в ребенке как в неком владении отец может отринуть; но обязанность по воспитанию потомства не может быть отменена без угрозы для самого существования человеческого вида.

Подводя итог в нескольких словах результату данного исследования, следует сказать: то, на что человек претендует под наименованием прав, в действительности является силами; а именно — силами действовать ради приумножения счастья. Их первым основанием служит органическая возможность их осуществления; утверждение, будто человек имеет право на совершение чего-либо физически невозможного, есть абсурд. Вторым их основанием является возможность таким образом контролировать волеизъявления себе подобных, чтобы они не препятствовали деятельности наших органов в этом конкретном направлении. Всем людям присуща внутренняя склонность навязывать свою волю другим и попирать права ближнего ради расширения собственной власти. Следовательно, свобода не может быть всеобщей, за исключением тех случаев, когда силы всех классов в государстве равномощны.

Осознание нравственной оправданности любого права есть мотив, призванный заставить уважать это право в силу тех удовольствий, которые оно предлагает, или тех страданий, от которых оно избавляет общество в целом. Лишь в этом соображении заключается весь вес морального обязательства; и хотя для человека разумного этот вес должен быть первостепенным, на деле это случается крайне редко. Этот мотив сталкивается с великим множеством иных побуждений, проистекающих из влияний, воздействующих на личные склонности, и подавляется ими. Поскольку это является фактом (причем фактом, неизменно наблюдаемым с самого начала писаной истории), со стороны моралистов тщетно надеяться на какие-либо действенные перемены в делах человеческих посредством воззваний к разуму; и столь же абсурдно полагаться на нравственные побуждения как на обладающие de jure тем весом, которого они лишены de facto.

Надлежащее распределение власти в государстве может быть достигнуто лишь через соразмерное распределение знаний и добродетели среди его граждан. Свобода, подобно самой жизни, есть состояние вынужденное; она не может безмятежно покоиться на одних лишь общественных институтах, но должна поддерживаться активным напряжением тех самых сил, коими эти институты были рождены. Обязанность слабого повиноваться сильному коренится в самой его подверженности воздействию чужой воли. Обязанность же сильного не злоупотреблять своим верховенством обусловлена опасностью утраты власти вследствие её неверного применения, а также вероятностью того, что равновесие сил изменится не в его пользу, если жертва, побуждаемая к отпору, обретет волю, противостоять которой угнетатель будет уже не в силах.

Нравственные и физические обязательства — равно как и воздействие на волю со стороны людей или обстоятельств — по сути своей тождественны; они зиждятся на совокупности страданий и радостей, кои означенные лица или предметы способны вызвать. Поскольку эти величины неизменны, они не подлежат произвольному искажению; посему убеждение заключается лишь в том, чтобы сделать очевидной связь между причиной и следствием и придать импульс естественным склонностям, предлагая уму идеи, способные пробудить их к действию.

Подобное сведение всех прав к **праву сильного** отнюдь не означает, что человечество отдано на милость прихотям немногих деспотов; напротив, оно служит утверждению свободы, запечатлевая в сознании народа необходимость исполнения своих гражданских обязанностей перед обществом и недопустимости отказа от тех средств самообороны, без которых народ вряд ли может рассчитывать на сострадание или снисхождение со стороны любого правительства. Подобный подход также благоприятствует свободе, демонстрируя, что существуют определенные права и силы, от которых в силу самой природы вещей невозможно отказаться безнаказанно. Он утверждает, что политическое равенство находится под защитой естественного закона и опирается на осязаемые факты, а не на метафизические грезы. Наконец, это служит делу свободы, внушая умеренность сильнейшим и предостерегая носителей власти от своевольного злоупотребления своим превосходством — ибо такое злоупотребление ставит под угрозу стабильность и ограничивает полезность той самой власти, которой они распоряжаются во вред.

Выводы, сделанные относительно гражданского поведения, в равной мере применимы и к управлению индивидуальными силами. Все способности организма строго соразмерны его потребностям. Сила мышечного движения, пищеварения, чувственного восприятия — всё это адаптировано к своим конкретным целям. Следовательно, их нельзя принуждать к чрезмерной активности без потери внутренней энергии, без риска истощения и болезни. Мучительные последствия излишеств составляют совокупность нравственных обязательств к умеренности и

трезвости в обращении с внешними факторами жизнедеятельности. В той мере, в какой индивид пренебрегает этими обязательствами, он становится менее способным противостоять стихиям, добывать пропитание, сохранять свое положение в обществе и наслаждаться жизнью через здоровое функционирование своих органов -

Быть слабым — значит быть несчастным,
И в деянии, и в страдании;

И для отдельного человека, и для гражданина счастье достижимо лишь при условии сохранения крепости организма (как духовного, так и телесного) — крепости, не подточенной излишествами, не скованной невежеством и не стесненной посягательствами частных интересов на общественную волю.

Заключение

Мы подошли к тому моменту, когда — если наблюдения, изложенные в предшествующих главах, достаточно обоснованы — читатель сможет сформулировать ясную и исчерпывающую теорию человеческой деятельности. Такая теория позволит поставить предмет нашего изучения в один ряд с естественными науками, одной из ветвей которых он, по сути, и является. В стремлении превратить нравственную науку в результат эмпирических наблюдений, не обремененный доктринами сугубо абстрактного мышления, мы скорее возвышаем, нежели принижаем её в иерархии человеческих изысканий. Мы приобретаем гораздо больше в точности и практической пользе, нежели теряем от отсутствия тех иллюзий, чья возвышенность в значительной мере проистекает из их неопределенности.

В механике одного лишь взгляда на колеса и рычаги работающей машины достаточно, чтобы ученый наблюдатель мог определить направленность её движений, даже не будучи знакомым с силой, дающей ей импульс. То же самое применимо и к живому организму. Является ли primum mobile (перводвигателем) жизненного действия нематериальная душа, гальванический или иной неведомый флюид, либо же сила, присущая самим живым волокнам, — это ни в малейшей степени не может повлиять на феномены, из которых только мы вправе делать какие-либо обобщения или приходить к выводам относительно способностей живого существа.

Соображения, вытекающие из **абстрактной идеи долга**, даже если признать их вполне обоснованными, крайне бесплодны в том, что касается совершенствования человеческого рода. Ибо если понятие морального обязательства никогда не имело на массы людей такого влияния, которое вырвало бы их из-под власти мирских воздействий, но неизменно оставляло их именно в том состоянии, в какое привели бы их обстоятельства без всякого стороннего вмешательства, то в теории причинности такое обязательство следует рассматривать как несуществующее. С другой стороны, будучи допущено в наши рассуждения, оно придает крайне досадную неопределенность нашим представлениям о поведении и о средствах, вложенных природой в наши руки для улучшения физического и нравственного состояния народов.

Если же, напротив, мы станем рассматривать человеческое поведение как предопределенное необходимостью, а человека — как существо, во всех случаях обязанное действовать в согласии со своими органическими и глубоко личными чувствами пользы (то есть совершать то, что обещает ему благо, наиболее привлекательное для его воображения), то вся область морали, понимаемой как искусство, сведется к тому, чтобы: (1) определять истинное значение поступков; (2)

прослеживать их до самых отдаленных результатов; (3) искать пользу поведения в его наиболее широких и общих последствиях.

Все, что касается заботы о собственном теле (умеренность, трезвость, чистота, гимнастика), в равной степени относится как к области **медицины**, так и к области **морали**. В этом аспекте нравственная и естественная науки тождественны: полезность добродетели столь очевидна, что болезни и страдания оказываются неотделимы от порока. Та же тесная связь прослеживается и в отношениях, возникающих на почве собственности. Благоразумие и бережливость, равно как и расточительность и безрассудство, влекут за собой вполне определенные последствия для нашего состояния, избежать которых невозможно. Станем ли мы тогда утверждать — лишь потому, что не всегда способны подняться на высоту, позволяющую охватить взором всю цепь событий, — что тот же закон не действует в отношении нашего поведения в делах гражданских и политических?

Моральный кодекс, составленный должным образом, должен представлять собой вывод из физиологии, политической экономии, статистики и опыта влияния поступков на жизнь общества. Открытие лишь одного физического факта (соотношения между способностью человечества к размножению и количеством средств пропитания) ведет к важнейшим нравственным последствиям. Ибо если в этой пропорции таится непреодолимая склонность к моральному упадку, бороться с которой можно лишь силой нравственного чувства, то в самом этом следствии заложен высший мотив для улучшения положения низших классов, для повышения достоинства и ценности человека, для распространения просвещения и обеспечения свободы.

Кодекс, основанный на наблюдениях, не стал бы проповедовать искоренение страстей, которого достичь невозможно; он не учил бы, что человек должен быть иным, нежели его делает собственная организация. Такой кодекс не стал бы внушать, что порок сам по себе приносит одно лишь удовольствие и что без внешних наказаний в нем нет ничего отталкивающего. Он не провозглашал бы наказания актами мщения — будь то со стороны оскорбленного божества или общественных властей. Он вменял бы преступление в вину человеку не как свободному деятелю, а как существу **чувствующему**, подверженному влиянию внешних мотивов. И, наконец, он не искал бы в метафизических связях обоснования прав и обязанностей; напротив, рассматривая их как **физические факты** — как проявление сил и подчинение необходимости, — он учил бы, что человек гражданский, равно как и человек природный, не может иметь прав там, где он не способен проявить силу, и не может уклониться от обязанности, иначе как избегая тех страданий, в которых и заключается её обязывающая власть.

В такой системе **добродетель**, **благоразумие** и **наслаждение** стали бы строгими синонимами, поскольку отказ от сиюминутного удовольствия никогда не требовался бы иначе, как в качестве цены за большее вероятное благо. Вся прелесть

и притягательность, внутренне присущие добродетели, стали бы очевидны, будучи избавлены от суровой и отталкивающей маски, в которую облачил их фанатизм. Наши обязанности, перестав быть повинностями, исполняемыми по воле законодателей или под страхом неведомых и безмерных кар, сделались бы предметом желаний и сожалений даже тогда, когда само физическое устройство человека могло бы наиболее противиться их исполнению. Пугающая свита демонов и людей, едва ли менее отвратительных нашему нраву, чем сами демоны, не может в таком естественном порядке вещей не могут быть необходимы для поддержания доброго строя; потребность в подобных признаках возникает лишь в тех обществах, где человек, будучи лишен своего естественного места и вынужденный растрачивать силы во вред себе, не находит в своих трудах того вознаграждения, которое природа определила их мотивом и целью. Там, где нужда, лишения и безнадежное невежество сопутствуют в равной мере как трудолюбию, так и праздности, как воздержанности, так и распутству, — там, возможно, и потребен некий грозный призрак, полубог-полудьявол,[384] дабы понукать людей к их тягостному труду. Однако, не говоря уже о кощунственности подобных искажений образа великого Творца природы, такое состояние общества не станет терпеть ни один добродетельный человек и не решится защищать ни один мудрец.

Согласно кодексу, подобному тому, что мы ныне рассматриваем, жертва порочных привычек или необузданных страстей стала бы объектом сострадания. Инстинктивное чувство, отвращающее человека от зла, должно при любых обстоятельствах заставлять его испытывать неприязнь к тем, кто запятнан тяжким преступлением: ибо чувство это, тесно переплетенное с инстинктом самосохранения, не может быть изменено никакими умозрительными суждениями. Но, как и всякое иное инстинктивное движение, оно может в определенных случаях смягчаться разумом и направляться с большей уверенностью и точностью к достижению своей особой цели в организме. Такой подход умерялся бы глубоким осмыслением причин и последствий человеческих поступков. И хотя неисправимого преступника по-прежнему сторонились бы, как избегают извержения вулкана, схода лавины или любого иного физического источника страданий, человеческое сострадание всё же брало бы верх. Преступник рассматривался бы в двойственном качестве — как деятель и как страдающее лицо; и на земле, как и на небесах, было бы больше радости о раскаявшемся грешнике, нежели о том, чьи заблуждения никогда не вызывали ни тени сомнения, ни вздоха сожаления.

Убежденность в том, что человек не властен над собой в одиночку, и что вся сила, коей он распоряжается применительно к собственному естеству, черпается им из социума, заставила бы общественное внимание чаще и эффективнее обращаться

[384] «Суеверие же, как указывает само его название, есть страстное суждение и представление, порождающее страх, который унижает и сокрушает человека, полагающего, что боги существуют, но что они приносят лишь скорбь и вред». - Плутарх, «О суеверии».

к фундаментальным институтам. Это научило бы нас тому, что великие преступления, принимая характер эпидемии, проистекают из роковых ошибок в общественном устройстве и несовершенства тех механизмов, что призваны способствовать развитию цивилизации. Ныне же изъяны этих институтов замечаются лишь в периоды великих политических потрясений. Впредь к законотворчеству не подходили бы столь легкомысленно, а общественная мораль не ставилась бы под удар ради того, чтобы выжать ничтожный налог или поддержать нелепую привилегию. Уголовный и исправительный кодексы не были бы перегружены множеством диссонирующих и противоречивых узаконений, порожденных нынешней страстью к бесконечному производству законов.

При такой системе был бы принят критерий действия, который никогда не давал бы сбоев, за исключением тех редких случаев, что относятся скорее к области казуистики, нежели к реальной жизни; критерий, который, в отличие от подхода Пейли, был бы един для всех людей, независимо от их веры или скептицизма в вопросах религии; критерий, который, следовательно, сохранял бы свою силу и при самых внезапных переворотах в мнениях, и при любых превратностях, коим подвержены созданные человеком общественные институты; но прежде всего — критерий, который никакие интересы отдельного класса или сословия не смогли бы извратить и поставить на службу политическому и духовному упадку остального общества.

КОНЕЦ